



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

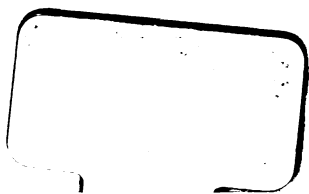
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

CONFINED TO
THE LIBRARY.

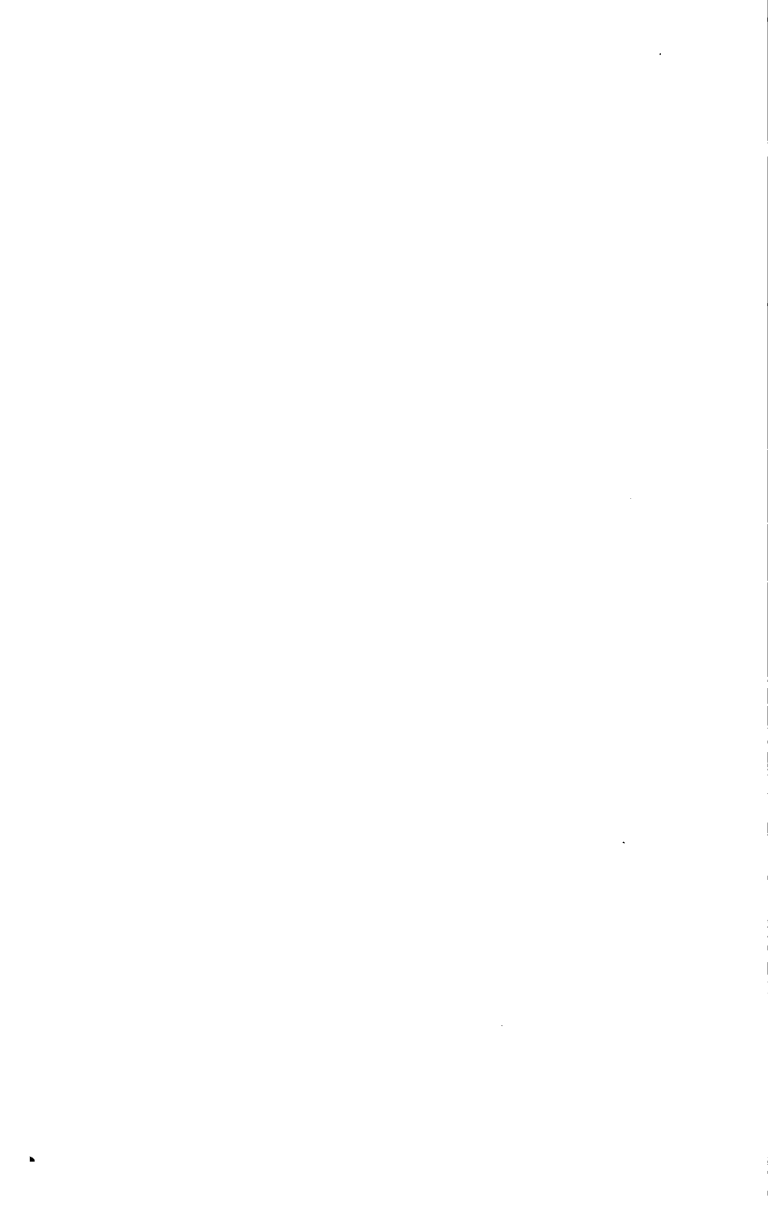


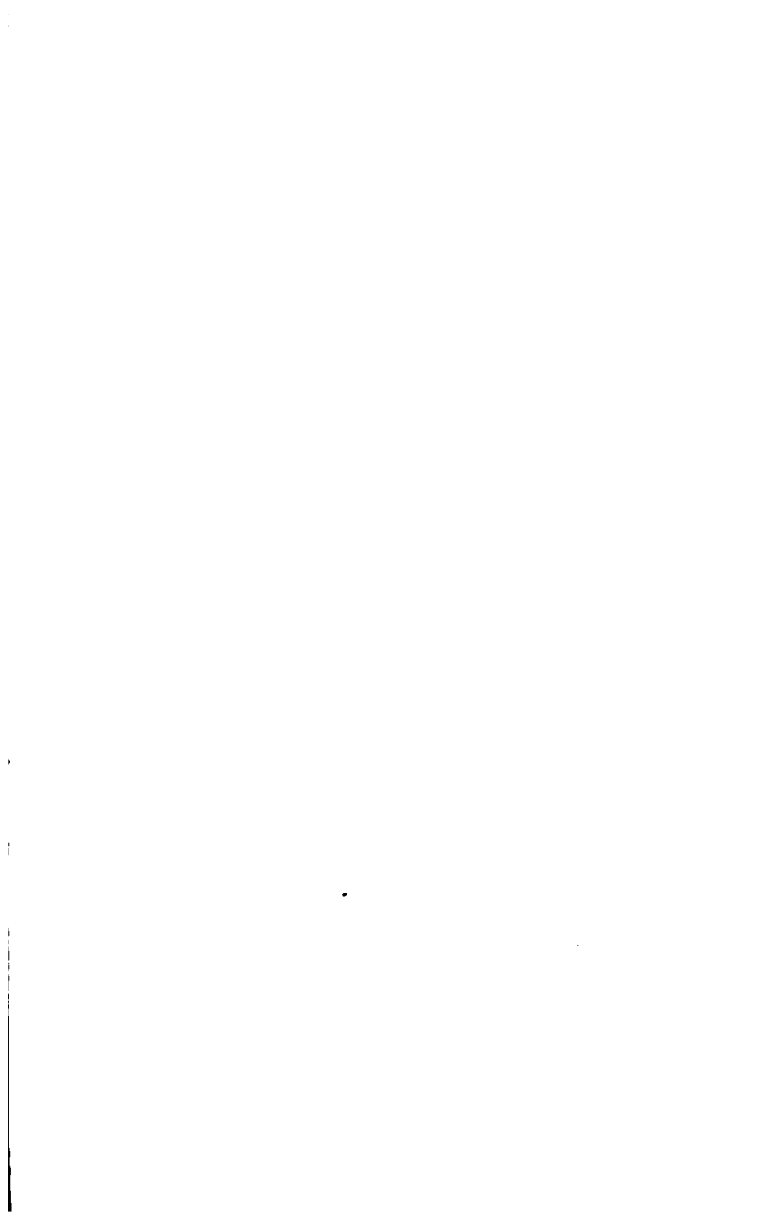
PG3361.S33.A1.1858(5)





302575907





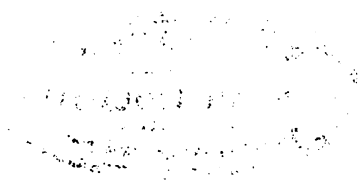


СОБРАНІЕ СОБННЕНІИ

СЕНКОВСКАГО.

VIII.





PG3361.S33.A1.1858(8)

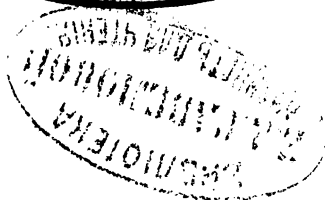
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СЕНКОВСКАГО

(БАРОНА БРАМБЕУСА).

Confined to Library

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1859.

A



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ чтобы по отпечатаніи было представлено въ Цен-
сурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Пе-
тербургъ; 28 марта 1859 г.

Ценсоръ С. Палаузовъ.

Въ типографіи В. Безобразова и К^о.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВОСЬМАГО ТОМА.

СТР.

Русская словесность. Критика изящныхъ произведений. Русский языкъ.

Русскія Историческія драмы.....	3
Историческій романъ. Есть ли у насъ литература?	
Что и гдѣ есть критика? Состояніе литературной критики въ Англіи, Франціи, и Германіи.	
Вальтеръ-Скоттъ и его подражатели.....	29
Драма изъ эпохи самозванцевъ.....	49
Черная женщина и животный магнетизмъ.....	83
Восточная драма.....	109
Новая драма изъ грекоримскаго міра.....	133
Греческія стихотворенія новыхъ поэтовъ.....	183
Письмо трехъ тверскихъ помѣщиковъ къ барону Брамбеусу.....	200
Резолюція на челобитную сего, онаго и проч.....	235
Обвинительные пункты противъ барона Брамбеуса	247

Философія.

Сократъ и Платонъ.....	257
Декартъ и картезіанизмъ.....	290

Естествознаніе. Медицина.

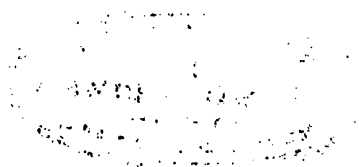
Душевные болѣзни.....	351
Искусственныя минеральныя воды.....	363
Ганеманнъ и гомеопатія.....	439
Медицинская полемика.....	487
Иппократъ и его ученіе.....	546



РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

КРИТИКА ИЗЯЩНЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ.

РУССКІЙ ЯЗЫКЪ.





РУССКІЯ ИСТОРИЧЕСКІЯ ДРАМЫ.

По поводу сочиненій: *Россія и Баторій*, историческая драма барона Розена. — *Торквато Тассо*, большая драматическая фантазія, сочиненіе Н. К. (Кукольника), и *Торквато Тассо*, драма (М. Кирѣева). 1833.

«Россія и Баторій», драма барона Розена, преимущественно обратила на себя лестное вниманіе *. Она написана хорошими стихами; языкъ ея плавеиъ, звучеиъ, силенъ, примѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ; предметъ чрезвычайно важенъ. Но, говорятъ, поэтъ рѣшился передѣлать ее по новому плану: я уважаю его рѣшеніе—оно совершенно законное, и возлагаетъ на критика обязанность не говорить ни слова о содержаніи поэмы, пока она не будетъ передѣлана, то есть усовершенствована. Но мы можемъ говорить вообще объ исторической драмѣ и о предметѣ, который онъ избралъ, и разсматривать историческую и поэтическую его сторону, не дѣлая отнюдь никакихъ примѣненій къ его творенію.

Я не знаю границъ, въ которыхъ должна удерживаться историческая драма, ибо границы эти нигдѣ

* Въ 1833 году. Изд.

не опредѣлены, и, при нынѣшней распутицѣ литературныхъ правилъ, даже опредѣлить ихъ невозможно. Но воображеніе поэта должно дѣйствовать: слѣдственно исторія должна быть нарушена. Все искусство состоитъ, кажется, въ образѣ нарушенія: никто не имѣетъ права порицать поэта, когда, для занимательности своей повѣсти, измѣняетъ онъ исторію такъ, что ни сама исторія, ни сопряженныя съ нею пользы человѣчества, не могутъ за то прогнѣваться. Итакъ, коль скоро историческая драма вѣрно, или по-крайней-мѣрѣ довольно вѣрно, осуществляетъ мысль данной эпохи или даннаго событія, исторія должна простить ей остальное; коль скоро драма не исказила, не запятнала ни одного чистаго и добродѣтельнаго историческаго характера, пользы человѣчества ничего не теряютъ отъ вымысла поэта. И это послѣднее условіе считаю я даже важнѣйшимъ, нежели первое, ибо вся польза, которую человѣчество получаетъ отъ исторій, заключается въ образцахъ прекрасныхъ и возвышенныхъ характеровъ, предлагаемыхъ намъ къ удивленію и подражанію, чтобъ облагородить въ нашихъ глазахъ собственный нашъ родъ, чтобъ возбудить въ насъ соревнованіе къ доблести, чтобъ принести облегченіе умственнымъ страданіямъ обществъ. Драма, которая, для занимательности поэтическаго вымысла, нарушаетъ это условіе, есть не поэма, но оскорбленіе величества рода человѣческаго и чаша яду для высшей общественной нравственности. Поэтому, я даю поэту весьма обширное поле: онъ можетъ значительно измѣнять исторію, чтобъ забавлять мое воображеніе; но покорно прошу его ува-

жать прекрасные историческіе характеры, ибо это святныя слабой и тлѣнной нашей природы. Если онъ станетъ произвольно взваливать на нихъ гнусные поступки и злодѣянія и чернить память великихъ покойниковъ исторіи, то я не усматриваю никакого поощренія для честности и добродѣтели, не вижу никакой выгоды быть человѣкомъ. Ужъ лучше тогда быть историческою лошадей, ибо никто еще, для риѣмы, не сказалъ о прославленномъ конѣ Александра Великаго, что онъ былъ дурной рысакъ и слѣпъ однимъ глазомъ! Нѣтъ ничего унижительно для изящнаго художества, ничего недостойно великаго таланта, какъ добровольно оклеветать знаменитый историческій характеръ: кого исторія передала поэту чистымъ, изъ того можетъ онъ, ежели хочетъ, сдѣлать образецъ всего прекраснаго и высокаго, но онъ не въ правѣ пятнать его славу оскорбительнымъ вымысломъ. Для гнусныхъ дѣйствій есть довольно мерзавцевъ въ исторіи, и ихъ никто не пожалѣетъ, когда поэтъ, чтобъ усилить мое отвращеніе къ злодѣянію, припишетъ имъ одну лишнюю подлость. Это главный догматъ литературнаго моего вѣроисповѣданія, и, по моему мнѣнію, онъ основанъ на существѣ высшей общественной нравственности. Онъ показываетъ также, что я не принадлежу къ числу Гюго-поклонниковъ.

Простое соединеніе двухъ собственныхъ именъ, «Россія и Баторій», уже представляетъ уму много историческаго и много поэтическаго: оно тотчасъ возбуждаетъ въ насъ прекрасное, патріотическое понятіе — Россіи въ борьбѣ съ Баторіемъ, и торжества народнаго ея

духа надъ усиліями завоевателя, даже въ такое время, когда уныніе и бездѣйствіе овладѣли верховною властію, распоряжавшею ея судьбами. Это поэтическая сторона эпохи. Другая, то-есть положительная ея сторона, можетъ болѣе или менѣе казаться сходною съ историческою истиною, смотря по мѣсту и времени, въ какихъ происходитъ дѣйствіе. Если дѣйствіе происходитъ во Псковѣ, то исторія въ правѣ немножко поморщиться на поэзію. Чтобъ примирить ихъ въ этомъ случаѣ, надобно предположить, что Баторій вознамѣрился завоевать Россію, и что Россія, представляемая Псковомъ, спасла сама себя — однимъ словомъ, что Псковъ разрушилъ всѣ планы Баторія. На это исторія въ состояніи возразить, что мысль эпохи совсѣмъ не та. Война между Баторіемъ и Россіею была война возмездія, а не съ цѣлію покорить государство. Баторій стремился не въ центръ Россіи, а въ западный ея уголъ. Занятый своимъ романическимъ планомъ крестоваго похода противъ Турокъ, враговъ христіанства, безъ денегъ и нерѣдко безъ пороху, съ 35,000 войска, онъ не могъ и думать о порабощеніи Россіи. Онъ болѣе успѣвалъ своимъ счастіемъ и стеченіемъ обстоятельствъ, чѣмъ матеріальною силою. Пока Баторій стремился на Новгородъ, можно еще было предполагать въ немъ честолюбиваго завоевателя; но когда онъ сообразилъ, по собраннымъ свѣденіямъ, что этотъ городъ слишкомъ силенъ для его арміи, и изъ Порхова поворотилъ на Псковъ, война для него была уже кончена. Тогда онъ рѣшительно оставилъ всѣ свои прежнія намѣренія, и взятіемъ Пскова хотѣлъ только выиграть нѣсколько

выгоднѣйшихъ статей въ трактатѣ, приблизиться къ областямъ, въ которыхъ Швеція уже начинала съ нимъ войну, и принудить царя къ скорѣйшему заключенію мира, о которомъ давно уже шли переговоры, чтобъ обратить силы свои противъ Шведовъ, а потомъ противъ Турокъ. Итакъ во Псковѣ, дѣло уже было не между Россією и Баторіемъ, но просто между скорѣйшимъ или медленнѣйшимъ подписаніемъ трактата — вопросъ болѣе дипломатическій, чѣмъ стратегическій — и Пскову нечего было спасать Россію, потому-что она находилась внѣ всякой опасности. Псковъ могъ только спасти отечество отъ тягостныхъ условій трактата, но, по несчастію, отъ нихъ онъ не спасъ его: Россія согласилась на всѣ требованія врага, и трактатъ былъ подписанъ, хотя Псковъ не былъ взятъ. Въ такомъ положеніи дѣлъ, я вижу только Псковъ и Баторія въ личной борьбѣ, но Россія и Баторій уже сошли со сцены.

Но я готовъ употребить мое посредничество, чтобъ сблизить исторію съ поэзією въ этомъ спорномъ дѣлѣ. Для театральнаго эффекта, поэзія можетъ украсить суховатый историческій фактъ блистательною и утѣшительною мечтою, и исторія не должна гнѣваться, когда ее такъ великолѣпно украшаютъ. Этотъ вымыселъ не только необходимъ для сцены, но даже весьма удаченъ. И сколько чудесныхъ поэтическихъ видовъ открываетъ тогда намъ такъ одушевленная воображеніемъ эпоха! Псковитяне и Баторій съ одной стороны — ибо я нахожу еще болѣе поэтическимъ для сцены и лестнѣйшимъ для народнаго духа поставить всѣ силы

и весь геній Баторія передъ однимъ городомъ Псковомъ, и сокрушить ихъ объ его стѣны, чѣмъ передъ цѣлою Россією; съ другой стороны — Россія и Баторій; съ третьей — царь Іоаннъ Грозный и Баторій; съ четвертой — царь Іоаннъ и несчастный цѣревичъ, падшій невинною жертвою этой политической и домашней бури. Сколько великихъ, истинно-драматическихъ и живописныхъ характеровъ — царь, цѣревичъ, его супруга, царица, Борисъ Годуновъ, Шуйскіе, Баторій, Замоискій, Курбскій, и даже самъ іезуитъ Посевинъ! Сколько драмы повсюду! Отечественныя бѣдствія, сила русскаго патріотизма, бореіе страстей въ царскихъ палатахъ, казни, страхъ, ужасъ, сыноубійство! Поэзія несется волнами. Здѣсь есть довольно предметовъ — не для одной — для нѣсколькихъ полныхъ драмъ. Россія въ борьбѣ съ Баторіемъ во Псковѣ можетъ составить обильный происшествіями сюжетъ для большой драматической поэмы; другой такой же сюжетъ, и еще могущественнѣйшій, еще болѣе драматическій, ожидаетъ поэта въ сыноубійствѣ. Отъ его искусства зависитъ еще разнообразить каждый изъ нихъ счастливымъ сочетаніемъ событій, заимствованныхъ изъ другаго сюжета — или въ драму между Россією и Баторіемъ ввести сыноубійство въ видѣ бѣлаго эпизода, въ видѣ одной изъ тѣхъ ужасныхъ, кровавыхъ молній, которыя, потрясая и раздирая умъ, сердце и воображеніе, готовятъ ихъ къ дальнѣйшимъ ощущеніямъ, сильнымъ, великимъ, торжественнымъ — или въ страшную драму между отцемъ и сыномъ ввести величественную картину отечества

въ отчаяніи, забытаго своимъ вождемъ и борющагося собственными своими силами съ опаснымъ врагомъ. Я не усомнюсь сказать, что нуженъ талантъ почти сверхъ-естественный, чтобъ въ полной мѣрѣ и достойнымъ образомъ исчерпать всю поэзію этой эпохи. Двѣ высокія внутреннія драмы души предстоятъ здѣсь къ развитію, и каждая изъ нихъ требуетъ едва ли не гения Шиллерова: Курбскій, великій измѣнникъ, подъ Псковомъ передъ лицомъ Россіи — мучитель и сыноубійца въ Москвѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что хотя послѣдняя заключаетъ въ себѣ гораздо болѣе поэтическихъ красоть, болѣе предметовъ для тонкихъ философскихъ соображеній и сильныхъ картинъ страсти, зато первая въ состояніи быть поучительнѣе и принести болѣе утѣшенія; но я не могу оставить заведенной мною рѣчи о поэтической сторонѣ этой эпохи, не упомянувъ о томъ, что представляется моему воображенію самымъ глубокимъ, самымъ неисчерпаемымъ источникомъ поэзіи.

Многіе наши сочинители въ стихахъ и прозѣ думаютъ, что прекрасно изобразили характеръ Іоанна Грознаго, когда представили его загадочнымъ и непонятнымъ. Не понимать-то и мы умѣемъ: обязанность писателя и поэта развить создаваемый имъ характеръ такъ, чтобы мы поняли его насквозь. Мнѣ однакожь кажется, что въ Іоаннѣ нѣтъ ничего загадочнаго, ни темнаго. По-крайней-мѣрѣ, мое объ немъ понятіе весьма опредѣлительно, и я готовъ изложить его откровенно. Я не знаю въ новѣйшей исторіи ни одного характера величественнѣе въ ужасномъ родѣ, болѣе

драматическаго, болѣе живописнаго, чѣмъ Грозный. Царь Іоаннъ былъ тиранъ въ полномъ значеніи слова, привыкшій къ крови, любившій кровь, какъ всѣ, которые однажды ея вкусили. Онъ презиралъ человѣка, ибо безъ этого нельзя быть тираномъ. Но онъ не былъ ни Неронъ, ни бухарскій ханъ, который рубить головы только для того, чтобъ показать, что онъ можетъ рубить ихъ, когда онъ захочетъ. Одаренный благородною страстію къ славѣ, высокимъ умомъ и неукротимымъ нравомъ, онъ считалъ страхъ и строгость необходимымъ средствомъ правительства; но пылкость его почти всегда превращала это средство въ ужасъ и тиранство. Онъ съ удовольствіемъ проливалъ кровь, поздравлялъ себя съ успѣшнымъ дѣйствіемъ чрезмѣрной строгости, приписывалъ слѣдствія внушеннаго ею страха своему уму, и купался въ преступленіяхъ, пока думалъ, что онъ дѣйствуетъ прекрасно, и что цѣлый свѣтъ судить объ немъ точно такъ же, какъ его льстецы и онъ самъ. Письма Курбскаго въ первый разъ открыли ему глаза. Но письма Курбскаго, измѣнника, презираемаго Іоанномъ, не могли еще сдѣлать въ немъ того потрясенія, какое произвело поведеніе Баторія. Этотъ умный, образованный, благородный Венгерецъ, настоящій рыцарь безъ страха и безъ упрека, стяжавъ своими доблестями два престола, наполнялъ всю Европу самою прекрасною славою, тогда какъ Іоаннъ наполнялъ ее ужасомъ и омерзѣніемъ. Баторій, увлекаемый рыцарскимъ духомъ, который многихъ еще оживлялъ въ то время, душевно гнушался поведеніемъ Іоанна. Не будучи Полякомъ, и

слабо поддерживаемый тѣми, для которыхъ жертвовалъ всѣмъ, онъ не имѣлъ никакого повода раздѣлять народныя ихъ предразсудки и ненавидѣть Россію. Но онъ, по убѣжденію своего сердца, ненавидѣлъ Іоанна Мучителя, былъ личный ему врагъ, и, въ то же время, какъ оружіемъ велъ войну съ Россіею за выгоды буйной и неблагодарной Польши, которою весьма былъ недоволенъ, онъ объявилъ отъ своего имени нравственную войну Грозному. Онъ заставилъ Курбскаго писать къ нему изъ Полоцка — Баторій и самъ былъ скоръ на строку — онъ самъ писалъ къ нему, обнажалъ передъ его глазами всю его жизнь, изображалъ его преступленія и тиранство самыми рѣзкими красками, закидывалъ его своими посланіями, вызывалъ его на поединокъ, какъ врага челоуѣчества, печаталъ объ немъ книги въ Германіи и посылалъ ихъ къ нему, чтобъ поразить сердце его ужасомъ, испугать, усовѣстить. Карамзинъ, судя поверхностно и не вникая въ тогдашній духъ Европы, называетъ письма Баторія *грубыми*!..... Не со стороны ихъ грубости историкъ и поэтъ должны смотрѣть на нихъ, но со стороны цѣли и духа, съ какими были они писаны, и дѣйствія, какое произвели. Тогда только Іоаннъ, умный отъ природы и страстный къ славѣ, почувствовалъ всю отвратительность своихъ поступковъ, которые до-тѣхъ-поръ, вмѣстѣ съ своими льстецами, почиталъ онъ неподражаемыми. Онъ содрогнулся при мысли, что вся Европа знаетъ объ его преступленіяхъ, и что имя его повсюду въ омерзѣніи. Онъ не могъ не сравнить прекрасной славы, которою

пользовался Баторій, возникшій такъ высоко съ нижнихъ ступеней общества, съ отвращеніемъ, какое поселяла къ нему въ сердцахъ европейскихъ государей картина грязной и кровавой его жизни, его, потомка столькихъ властелиновъ, одного изъ могущественнѣйшихъ и благороднѣйшихъ самодержцевъ въ мірѣ! Онъ, кажется, даже завидовалъ Баторію. И тогда именно началась эта величественная, чудесная, истинно-драматическая борьба въ душѣ мучителя, эта несравненная внутренняя трагедія, кончившаяся страшнымъ раздирающимъ уныніемъ. Грозный сталъ гнушаться самимъ собою. Онъ стыдился самого себя передъ Баторіемъ; набожныя понятія вѣка пробудились въ его груди, и онъ вообразилъ себѣ этого героя орудіемъ небснаго мщенія; онъ тайно призналъ его выше себя, и когда посланецъ принесъ къ нему новое отъ него письмо, новый язвительный упрекъ его совѣсти, и спрашивалъ объ отвѣтѣ, онъ сказалъ только: — *Кланяйся брату, королю!* Никогда не могъ я безъ нетерпѣнія читать въ Карамзинѣ строку, гдѣ описывается это происшествіе, которое называетъ онъ «неслыханнымъ униженіемъ». Какъ! это—униженіе? униженіе, самая торжественная минута жизни Іоанна, гдѣ религія, добродѣтель, совѣсть и чувство долга человѣка, одержали такой верхъ надъ закоснѣлостью въ преступленіи, надъ гордостью властелина, надъ порывистымъ, бурнымъ нравомъ мучителя? Ежели это униженіе, то я не знаю въ земномъ существованіи человѣка никакой славы свѣтлѣе и возвышеннѣе этого униженія. Въ этомъ отвѣтѣ вижу я душу Іоанна во всемъ ея

величіи: это такой яркій, радужный психологическій феноменъ, какой только можетъ создать самое пылкое воображеніе великаго поэта. Еслибъ оно не находилось въ исторіи, я не желалъ бы для своего безсмертія ничего другаго, какъ выдумать и развить подобное положеніе человѣческой души: я былъ бы Шекспиромъ. Сколько здѣсь драмы!..... Перенесенное на сцену мощнымъ талантомъ, это неподобное положеніе въ состояніи явиться самымъ патетическимъ, растрогать, изумить и уничтожить зрителя. Надобно только обнять его во всемъ пространствѣ, сильно схватить душою, и смѣло, мгновенно, перекинуть въ душу слушателя! И не здѣсь конецъ высокаго: умъ и сердце мучителя восторжествовали надъ его самолюбіемъ, надъ всѣми его понятіями; но среди печали, унынія, угрызений совѣсти, онъ тотъ же человѣкъ, какъ былъ прежде. Онъ не въ силахъ управлять своимъ огненнымъ, вулканическимъ нравомъ. При первомъ сопротивленіи его волѣ, онъ забываетъ обо всемъ, и убиваетъ всякого, кто ему противится. Онъ даже убиваетъ собственнаго своего сына, котораго обожаетъ, и, убивъ, повергается въ отчаяніе. Послѣ раздирающей сцены, о которой говорили мы выше, сыноубійство поразило бы зрителя, какъ громомъ, исторгло бы у всего собранія длинный, пронзительный стонъ. Отецъ и сынъ возбуждали бы въ насъ сочувствіе, и даже приверженность, ибо человѣкъ не можетъ смотрѣть безъ сочувствія, безъ любви, на душевныя страданія другаго человѣка. И посреди клятвъ и обѣтовъ, Іоаннъ еще долженъ имѣть припадки вспылчи-

вості и жестокости, вспомошествоваемые привычнымъ его презрѣніемъ къ человѣку, раболѣпствующему передъ его своенравіемъ, которые приводили бы его въ новое, еще сильнѣйшее отчаяніе, и дѣлали бы его истинно, безпредѣльно несчастнымъ. Такимъ точно представляетъ его намъ исторія, хотя, по несчастію, ни одинъ историкъ не представилъ его такимъ, ни одинъ даже не замѣтилъ единственной въ своемъ родѣ, подлинно драматической, нравственной войны Баторія съ сѣвернымъ Тиберіемъ — и такимъ я понимаю характеръ его для театра. Тутъ нѣтъ ничего темнаго, ни загадочнаго: напротивъ, все ясно для того, кто знаетъ человѣческое сердце и умѣетъ владѣть трагическими эффектами. Россія и Баторій одно дѣло — Баторій и Іоаннъ Грозный другое. Первое, то есть осада Пскова, можетъ быть предметомъ только прекраснаго историческаго романа; второе есть подлинно поэтическое, высокое и доселѣ новое. Я не набиваюсь никому съ моими понятіями, ибо всякъ въ состояніи выдумать многое гораздо умнѣе моего — но говорю, что еслибъ я изображалъ характеръ Грознаго, я бы смотрѣлъ на него съ этой точки, и еще окружилъ бы его игрою другихъ страстей, супружеской, родительской, сыновней любви, всѣми родами любви, чтобъ ярче и сильнѣе отразить его отъ поверхности нѣжныхъ чувствованій, и зрителя ослѣпить его лучами. Царица, царевны и царевичъ Теодоръ не были безъ сердца, безъ слезъ, безъ страданія: они пособили бы мнѣ растрогать слушателей. Не знаю, какъ бы я все это исполнилъ; но

чувствую, что оно такъ должно быть въ драмѣ, которой нѣтъ въ природѣ безъ сильныхъ страстей и сѣльной интриги. Но довольно о драматической эпохѣ и объ исторической драмѣ вообще: перейдемъ къ драматической фантазіи.

Два рѣдкія явленія озаряли нашъ горизонтъ въ прошедшее лѣто, и оба остались почти непримѣченными, что по-истинѣ должно быть огорчительно для тонкости нашего взора и образованности нашего вкуса. Картина Карла Брюлова, выставленная въ Академіи Художествъ, картина, подѣ которою Фанъ-Дейкъ и Тиціанъ не постыдились бы подписать свое имя, и которая въ Италіи всю публику привела бы въ восторгъ и сладостный трепетъ — эта картина не оставила между нами послѣ себя даже громкаго эхо: весьма немногіе постигли все ея достоинство; большая часть посѣтителей сказала, что она хороша, но неокончена — тогда, какъ нельзя прибавить къ ней ни одной черты, не испортивъ высокой ея изящности; прочіе предпочли ей подлѣ стоявшіе портреты. «Торквато Тассо», большая драматическая фантазія, сочиненіе, принадлежащее къ самой высокой поэзіи, которое, бывъ написано по-французски, заставило бѣ всю Европу, съ голосу парижскихъ журналовъ, вопить отъ удивленія — объ этомъ сочиненіи никто почти у насъ не знаетъ!..... Одинъ только баронъ Розень, сочинитель предъидущей драмы, благородно отдалъ ему справедливость въ «Сѣверной Пчелѣ», разобравъ съ жаромъ поэта и безпристрастіемъ благомыслящаго дарованія, которое умѣетъ ловко преклонить колѣно

передъ соперникомъ несравненно выше себя; но прекрасный огонь его похвалы потухъ въ сырости осеннихъ нашихъ тумановъ, и не сообщился публикѣ.

Первыя творенія музы Байрона встрѣтили точно такую же холодность въ англійской публикѣ. Одинъ знаменитый писатель, нынѣ государственный человѣкъ*, совѣтовалъ ему даже никогда не писать стиховъ. Вальтеръ-Скоттъ взялъ перо въ защиту Байрона, и убѣдилъ Англію, что она имѣетъ новаго великаго поэта. Я желалъ бы, чтобъ Вальтеръ-Скоттъ воскресъ изъ могилы, и оказалъ другую подобную услугу намъ, Русскимъ: по скромной недовѣрчивости къ собственнымъ нашимъ силамъ, мы не смѣемъ подумать, чтобъ между нами возникъ необыкновенный поэтический геній — молодой Кукольникъ, точно такъ же, какъ, смотря на картину Брюллова, мы не смѣли предполагать, чтобъ имѣли своего Микель-Анджело. Г. Кукольникъ, надѣюсь, извинитъ меня, что я нарушилъ его безыменность; молва приписываетъ ему эту удивительную фантазію, и, назвавъ его, я вѣроятно не ошибся, хотя не имѣю чести знать его лично.

Послѣ прекраснаго разбора, напечатаннаго въ «Сѣверной Пчелѣ», я не стану разбирать вновь этой фантазіи, которая, за исключеніемъ немногихъ ошибокъ, происходящихъ отъ неопытности сочинителя, можетъ назваться драмою въ полномъ смыслѣ слова. Еще нѣсколько болѣе силы въ завязкѣ интриги, и она была бы образцовою драмою, ибо соединяетъ въ себѣ всѣ ея условія, сильныя страсти, мучительную ихъ

* Лордъ Брумъ.

борьбу, возвышенныя положенія души, предметы живѣйшаго состраданія, ужасъ, поэзію всѣхъ родовъ, и чудесныя драматическіе эффе́кты, несмотря на простоту повѣсти, а это именно есть доказательство и клеймо настоящаго таланта. Я ограничусь указаніемъ на ея красоты: считаю даже долгомъ указать ихъ, какъ самъ ихъ чувствую и какъ имъ удивляюсь, будучи почти не въ силахъ повѣрить, чтобъ это было произведеніе такого молодаго человѣка, и притомъ первое его произведеніе. Отчетъ въ этомъ отдаю я себѣ только при помощи собственнаго признанія поэта, который говоритъ въ предисловіи, что сюжетъ его фантазіи былъ любимомъ мечтою съ дѣтскихъ лѣтъ, и созрѣлъ въ немъ вмѣстѣ съ возрастомъ. Очень вѣроятно, потому-что онъ весь проникнутъ его душою, задуманъ сильно и смѣло, вылитъ на бумагу въ прекрасныхъ формахъ, и не представляетъ, въ своей отдѣлкѣ, почти ничего юношескаго. Это поэзія души пылкаго поэта. Желательно, чтобы г. Кукольникъ такъ же долго обдумывалъ и будущія свои творенія, и, упиравъ предметъ ихъ всѣмъ своимъ чувствомъ, всѣмъ воображеніемъ, передавалъ намъ его вмѣстѣ съ своею душою. Какой языкъ!... Онъ далеко уступаетъ въ гибкости и величавой красѣ языку «Россіи и Баторія», но я люблю въ немъ и эту жесткую энергію шиллеризма, и эту итальянскую звучную степенность, и даже эту латинскую непоколебимую твердость. Совѣтую молодому поэту не терять навыка къ этому оригинальному языку, но усовершенствовать его постепенно, стараясь однакожъ не утрировать и не впадать въ манерность.

..... *

Всякій изъ насъ смѣло можетъ возгордиться такимъ блистательнымъ явленіемъ въ русской словесности, — какъ г. Кукольникъ. Въ драмѣ все казалось конченнымъ: Тассъ свободенъ, Лукреція умерла, добродѣтель восторжествовала, и я боялся уже подобнаго пятаго акта, какъ въ «Гернани», когда молодой поэтъ неожиданно и очень счастливо нашелъ еще средство удержать интересъ за своимъ героемъ и Леонорою, и перенести всѣ мои чувства вмѣстѣ съ ними въ Римъ. Этотъ послѣдній актъ приноситъ величайшую честь поэтическимъ дарованіямъ юнаго нашего Гёте. Несмотря на нѣкоторые недостатки, онъ поистинѣ величественъ, и, что всего болѣе меня удивило — величественъ безъ надменности, безъ хвастливыхъ фразъ и высокопарности, которыя почти всегда принимаются молодыми писателями за высокое. Сочинитель не могъ лучше заключить своей фантазіи, какъ поставивъ вдохновеннаго поэта передъ лицомъ города, заключающаго въ себѣ всю поэзію земнаго величія человѣка.

Тассъ стоитъ на крыльцѣ Пантеона. Народъ, считая его бродягою, наружность котораго не понравилась ему съ перваго взгляда, требуетъ, чтобы прогнали его оттуда, даже хочетъ сбросить его съ крыльца. Между-тѣмъ, кто-то сказалъ, что это Тассъ, великій поэтъ, и чернь, съ тою же легкомысленностью, съ какою преслѣдовала за мигъ передъ тѣмъ, кричить:

* Опускаемъ изложеніе содержанія драматической фантазіи и многочисленныя изъ нея выписки. *Изд.*

«Вѣнчать его!»... Восторженный народъ поднимаетъ на руки и, среди радостныхъ кликовъ, уносить со сцены поэта, уже изнемогающаго подъ бременемъ душевной и тѣлесной скорби.

Тассъ передъ Капитоліею: видъ могучаго зданія, отягощеннаго воспоминаніями всѣхъ вѣковъ и всѣхъ почти народовъ, взволновалъ его сердце въ слабой и разстроенной груди: онъ получаетъ лирическое вдохновеніе, и произноситъ стихи, достойные имени Тасса*.

Вотъ настоящая поэзія! Замѣтимъ здѣсь случайное сходство весьма простительнаго истинному таланту инстинкта тщеславія у двухъ нашихъ молодыхъ, но уже великихъ, художниковъ, Карла Брюллова и Н. Кукольника, которые, трудясь въ двухъ противоположныхъ концахъ Европы и въ двухъ различныхъ родахъ, въ одно и то же время возымѣли одинаковую мысль — помѣстить себя въ своихъ твореніяхъ. Это простое слѣдствіе ощущенія въ душѣ своей присутствія генія, и противъ подобнаго чувства никакая ложная скромность устоять не можетъ. Я не стану укорять зато ни того, ни другаго, но боюсь вліянія опаснаго ихъ примѣра. Будетъ бѣда, какъ всѣ мы ощути-
тимъ въ себѣ присутствіе генія, и, въ доказательство этой истины, начнемъ подчивать публику собственными нашими портретами! Г. Кукольникъ притомъ еще отличный пророкъ: онъ весьма ловко предсказалъ, что большая часть читателей и слушателей не пойметъ его сочиненія. Но, на этомъ поприщѣ, неожиданно столкнулся онъ со мною: я тоже имѣю большое при-

* Здѣсь приведенъ предсмертный монологъ Тасса. *Изд.*

тязаніе на даръ прорицанія. И чтобъ доказать ему, что еще лучше его умѣю предсказывать будущность, я объявлю ему отдаленную судьбу его творенія. Прошу только послушать: «Придетъ время, что соберется на «землѣ большой кругъ записныхъ знатоковъ словесности, цѣловальниковъ изящнаго, страшныхъ судей стиховъ и прозы. Тамъ, въ этомъ кругу, будетъ чистана ваша фантазія. Ее разругаютъ впрахъ!..... «Нѣкоторые, только изъ состраданія къ вашей юности, будутъ защищать васъ, и скажутъ: — Конечно! «она слаба, но въ ней есть много изряднаго: зачѣмъ «же огорчать молодого человѣка?..... Другіе согласятся съ этимъ мнѣніемъ, не дорожа своимъ собственнымъ. Всѣ эти судьи будутъ зѣло понимать поэзію «и драму!» Увидите, юный поэтъ, что мое предсказаніе сбудется еще въ концѣ этого столѣтія, нето въ началѣ будущаго. Въ противномъ случаѣ позволяю вамъ всенародно прокричать среди Невскаго Проспекта, что я не гождусь въ пророки.

Я довольно уже ограбилъ ваше сочиненіе, и совѣщусь привести еще одно мѣсто, красоту котораго непременно желалъ бы показать читателямъ «Библіотеки для Чтенія», именно, импровизацію Тасса во время вѣнчанія его въ Капитоліи. Тассъ умираетъ въ самую торжественную минуту своей жизни, когда безсмертный лавръ коснулся его чела. Картина превосходная и чрезвычайно трогательная: ею и должна была окончиться чудесная эта фантазія. Ежели поэту позволено нарушать исторію, то только такимъ образомъ: никакой историческій характеръ не исковерканъ, и одна лишняя

красота приобрѣтена для поэзіи. Но поэтъ, къ сожалѣнію, не исчерпалъ всей горькой, мучительной прелести своего прекраснаго и невиннаго вымысла. Здѣсь не достаетъ одного слова, одного только слова, но такого, которое нанесло бы послѣдній ударъ зрителю, которое долго еще раздавалось бы въ его сердцѣ послѣ выхода изъ театра — и это слово должно происходить изъ устъ, изъ глубины души Леоноры, присутствующей при торжествѣ и кончинѣ злополучнаго своего любовника. Она только закрываетъ лице руками. Этого мало! Одно или два слова, произнесенныя любовницею со всѣмъ жаромъ страсти и пронзительностью отчаянія, усовершило бы эффектъ и разразило зрителя. Это необходимо.

Обнаруживъ одинъ недостатокъ въ произведеніи г. Кукольника, я скажу и о другихъ, откровенно, и съ тѣмъ же чувствомъ убѣжденія, съ какимъ хвалилъ достойное похвалы. Почти nepocтижимо, отчего всѣ пояснительныя сцены такъ слабы у поэта, который съ такимъ могуществомъ дарованія начерталъ и отдѣлалъ сцены, посвященныя чувству и страсти. Онѣ вообще слишкомъ длинны; нѣкоторыя изъ нихъ даже вовсе ненужны. Во второмъ актѣ, 2-й выходъ, то есть, монологъ Лукреціи, долженствовалъ бы быть гораздо короче и сильнѣе, хотя послѣдніе шесть стиховъ очень хороши и кстати; 3-й выходъ очень слабъ, даже недостойнъ занимать свое мѣсто; первый выходъ втораго явленія совершенно бесполезенъ: гораздо лучше начать явленіе прямо съ шествія Альфонса и съ нищихъ. Когда интересъ усиливается, когда красоты и эффек-

ты толпятся отвсюду, надо ускорять ходъ дѣйствія. *Luca, fa presto!* Не заставляйте насъ долго дожидаться Тасса и Леоноры: безъ нихъ нѣтъ интереса. Напротивъ, четыре послѣдніе стиха втораго акта недостаточны для изображаемаго ими положенія, которое слѣдовало развернуть обстоятельнѣе и живописнѣе. Первое явленіе третьяго акта также длинно, слишкомъ длинно, и всѣ объясненія между герцогомъ и его секретаремъ заслуживаютъ подобный же упрекъ, кромѣ другой ошибки, о которой скажемъ немедленно. Явленіе четвертое послѣдняго акта безъ всякой пользы перенесено въ домъ кардинала д' Эстъ — поэтъ вѣроятно хотѣлъ сказать, кардинала д' Эсте: тѣмъ напрасно только замедляется быстрота дѣйствія, и развлекается вниманіе. *Luca, fa presto!* Оно должно быть соединено съ послѣднимъ выходомъ пьесы.

Ошибка особеннаго рода, о которой упомянулъ я выше, состоитъ въ томъ, что нашъ мододой поэтъ совсѣмъ неспособенъ къ секрету, и всегда напередъ перескажетъ вамъ, что будетъ. Съ подобною болтливостью нельзя вести никакой интриги. Весь эффектъ разстраивается, когда напередъ знаешь слѣдствіе или существо дѣла. Ни Тассъ, во время своего видѣнія, не долженъ говорить, что онъ предвидитъ свое торжество; ни герцогъ поручать своему секретарю оправданіе Тасса; ни послѣдній объявлять, что надѣется оправдаться. Все это должно дѣлаться, но не надо говорить зрителю, для чего дѣлается, ибо, какъ скоро заранѣе упомянете вы мнѣ *торжество, оправданіе*, я, по врожденной мнѣ смышлености театральнаго

зрителя, тотчасъ знаю, что оправданіе и торжество послѣдуютъ непремѣнно, и, вмѣсто того, чтобъ слушать вашу пьесу, пойду по ложамъ отпускать знакомымъ дамамъ комплименты насчетъ превосходнаго эффекта ихъ беретовъ и турбановъ. Это тоже важная часть драмы, и я совѣтую вамъ неумолимо мучить мое любопытство скрытностью, недоумѣніемъ, секретомъ, если хотите приковать взоры мои къ сценѣ и отвлечь ихъ отъ прелестныхъ беретовъ и турбановъ перваго яруса. Я большой до нихъ охотникъ, наравнѣ съ прочими кресельными моими друзьями.

Но всѣ исчисленные мною недостатки и погрѣшности такъ поверхностны, что, не нарушая зданія поэмы, они могутъ быть исправлены нѣсколькими почерками пера, и *ubi tanta nitent in carmine, paucis non ego offendar maculis*.

Вскорѣ послѣ выхода этой возвышенной фантазіи, появилась драма подъ тѣмъ же заглавіемъ, «Торквато Тассо». Авторъ ея неизвѣстенъ, по-крайней-мѣрѣ мнѣ. Онъ избралъ предметомъ своимъ Тасса-человѣка, тогда-какъ г. Кукольникъ изобразилъ отвлеченное, лирическое лице, Тасса-поэта. Самый сюжетъ безымяннаго сочинителя уже представлялъ гораздо менѣе живописнаго.

Разборъ эпохи Іоанна и Баторія и предъидущей пьесы могъ удостовѣрить всякаго, что я изъясляю свое мнѣніе по личному моему воззрѣнію на предметъ и родъ изящнаго сочиненія, и не спрашиваю совѣта ни у риторика, ни у пѣтики, о томъ, что должно мнѣ нравиться, а что нѣтъ. Я не умѣю чувствовать

по даннымъ правиламъ, и признаюсь откровенно, что у меня, въ моемъ скудномъ собраніи понятій, нѣтъ ни одного готоваго удивленія ни для какого въ свѣтѣ великаго литературнаго имени. Я такъ дерзокъ, что даже о Шекспирѣ, о Корнелѣ, Расинѣ, Шиллерѣ, Байронѣ, Гёте, Пушкинѣ, сужу по собственнымъ моимъ впечатлѣніямъ, а не по ихъ славѣ, и въ тѣхъ только мѣстахъ удивляюсь имъ болѣе или менѣе, гдѣ они поражаютъ меня большею или меньшею возвышенностью своего ума надъ чертою нуля, то есть надъ моимъ собственнымъ умомъ. Все, что я вижу не выше этой черты, называю обыкновеннымъ; что ниже, слабымъ, — и повергаюсь ницъ съ благоговѣніемъ только тамъ, гдѣ высота чужаго ума выходитъ за предѣлы градусовъ моего критическаго термометра, въ которомъ, какъ я сказалъ, мой умъ образуетъ точку замерзанія. Кто разогрѣетъ его силою своихъ мыслей и подвинетъ вверхъ на извѣстное число градусовъ, тотъ для меня хорошій писатель и художникъ; кто заморозитъ его своею безчувственностью и отсутствіемъ теплыхъ, пылкихъ мыслей, кто заставитъ его опуститься ниже нуля, и произведетъ въ моемъ сердцѣ ознобъ, насморкъ въ моихъ понятіяхъ, того я объявляю скучнымъ и несноснымъ, хоть бы онъ былъ знаменитъ, какъ вся исторія. Поэтому, для меня нѣтъ образцовъ въ словесности: все образецъ, что превосходно, и я такъ же громко восклицаю «великій Кукольникъ!» передъ его видѣніемъ Тасса и кончиною Лукреціи, какъ восклицаю «великій Байронъ!» передъ многими мѣстами твореній Бай-

роша. Мой умъ стоитъ на точкѣ замерзанія: всей умственной атмосферѣ планеты позволено свободно на него дѣйствовать, позволено производить въ немъ осцилляцію, поднимать и понижать, какъ угодно — я только обязуюсь вѣрно показывать градусы, на которыхъ онъ остановится. И въ нынѣшнемъ состояніи литературныхъ ученій, когда страшный умственный переворотъ перековалъ въ киджалъ даже тотъ аршинъ, которымъ люди такъ удобно мѣрили изящныя красоты подобно атласнымъ лентамъ, я не вижу возможности другаго критическаго мѣрила. Безпристрастною критикою называю я то, когда по чистой совѣсти говорю тѣмъ, которые хотятъ меня слушать, какое впечатлѣніе лично надо мною произвела данная книга. Но степень моего впечатлѣнія не есть правило для другихъ. Критика въ наше время сдѣлалась картиною личныхъ ощущеній всякаго — всякаго, одареннаго отъ природы яснымъ чувствомъ средствъ и способоѡъ, которыми изящное можетъ производить полное и пріятное дѣйствіе надъ сердцемъ и воображеніемъ человѣка. О правилахъ нѣтъ и рѣчи. Одно только условіе въ этомъ чувствѣ средствъ и способоѡъ, условіе à priori — нравственность. Вкусъ — это прихоть беременной женщины, которая есть общество. Слѣдственно, по прочтеніи критики, и спорить не объ чемъ: одно средство — изъяснить, независимо отъ обнаруженнаго уже мнѣнія, другое, различное мнѣніе, съ такимъ же чистосердечіемъ, но безъ опроверженій, ибо опровергать чужія ощущенія ровно столько же смѣшно, сколько неудобноисполнимо. Въ

ученой критикъ другое дѣло! Тамъ можно доказывать, основываясь на несомнѣнныхъ данныхъ; но въ литературной, какъ скоро я вѣрно и совѣстно обнаружилъ передъ вами, безъ малѣйшей утайки, все количество пристрастія, какое прочитанная книга внушила мнѣ въ свою пользу, взлѣзайте на башню и кричите міромъ:—«Ахъ, какой безпристрастный критикъ!»... Я сниму шляпу, и поклонюсь.

Итакъ, я говорю, что драма безыменнаго проза-поэта — она состоитъ изъ стиховъ и прозы — можетъ быть читана съ большимъ удовольствіемъ, даже послѣ фантазіи г. Кукольника. Въ ней несравненно менѣе драмы, нежели въ фантазіи, но болѣе, нежели въ другихъ нашихъ оригинальныхъ драмахъ послѣднихъ годовъ. Здѣсь по-крайней-мѣрѣ встрѣтилъ я игру страстей. Сначала, два первыя дѣйствія общають довольно сильную завязку интриги, но въ третьемъ узы ея ослабѣвають, и драма превращается въ историческое повѣствованіе въ лицахъ. Она опять пробуждается въ пятомъ, по-счастію, очень короткомъ дѣйствіи. Драматическіе эффекты совершенно выпущены въ ней изъ виду. Зато есть нѣсколько трогательныхъ сценъ. Разговоры ведены искусно, съ соблюденіемъ всѣхъ приличій: ничто въ драмѣ не поражаетъ васъ неумѣренностью, — и это много *! Характеръ Тасса незначителенъ: Тассъ-человѣкъ, и самъ не весьма важное лицо. Авторъ поставилъ его подъ

* Только изъ монахинь не надобно было дѣлать статс-дамъ папы. Монахини въ Ватиканѣ, вмѣстѣ съ кавалерами, дамами и монахами — большая несообразность.

защитою довольно слабаго чувства — сожалѣнія о несчастномъ положеніи его въ свѣтѣ. Тассъ съ сильными страстями былъ бы гораздо занимательнѣе. Почтительная любовь его къ Ленорѣ и любовь Леноры, подавленная всею тяжестью гордости ея рода, для драматическихъ пружинъ слишкомъ слабы. Сочинитель хотѣлъ подкрѣпить дѣло страстною любовію маркизы Скандіано, но Тассъ къ ней холоденъ, и мы холодны къ ней вмѣстѣ съ Тассомъ, ибо все наше соучастіе должно стремиться въ ту же сторону, какъ и его сердце — къ Ленорѣ. Это жалкая жертва, но не очень интересная. Характеры Альфонса, Леноры, графа Чинерозы и даже Джіодоли, созданы хорошо въ своемъ родѣ, и нарисованы рѣзко и смѣло немногими чертами. Въ этомъ отношеніи безъименный авторъ явилъ по-крайней-мѣрѣ столько искусства, что позволяетъ намъ предвидѣть въ немъ будущаго хорошаго драматурга. Только, одно замѣчаніе. Хотя маркиза Скандіано удѣлила автору предметъ одной весьма милой и другой очень хорошей сцены, но характеръ ея неправдоподобенъ, потому-что не основанъ на изображеніи предъидущей ея жизни — что однакожъ отнюдь не значить, чтобы онъ не былъ истиненъ. Онъ очень часто встрѣчается въ природѣ, но не все правдоподобно, что истинно: правдоподобіе въ драматическомъ искусствѣ важнѣе истины, и всегда зависитъ отъ хорошей обрисовки обстоятельствъ. Лучшая драматическая сцена, по моему мнѣнію, есть свиданіе Тасса съ сестрою. Вообще, въ цѣлой пьесѣ примѣчательно много драматическаго таланта.

Языкъ вездѣ чистъ и плавенъ. Я не назначаю опредѣленнаго мѣста въ драмѣ ни стихамъ, ни прозѣ. Стихи и проза, коль скоро хороши, хороши повсюду, а проза безыменнаго автора даже очень хороша. Образцы ничего не доказываютъ въ этомъ отношеніи. Слово *образецъ* соотвѣтствуетъ не слову *прекрасное*, но слову — *подражатель*, а я никого не принуждаю къ подражанію: напротивъ, совѣтую всякому быть оригинальнымъ, и слушаться только собственнаго своего вдохновенія.

Я желалъ бы привести изъ этой драмы хоть одно мѣсто, но ни одно не поразило меня своею силою. Все вообще довольно пріятно; ничто не приводитъ въ удивленіе.

Сравнивая относительное достоинство двухъ этихъ пьесъ между собою, и приспособленіе всякой изъ нихъ къ сценѣ, или представленію на театрѣ, можно сдѣлать слѣдующій выводъ. Драма безыменнаго сочинителя во многихъ мѣстахъ можетъ пріятно растрогать слушателей и быть выслушанною до конца. Фантазія Г. Кукольника, исправленная въ нѣкоторыхъ мелкихъ погрѣшностяхъ противъ интриги, и разыгранная отличными актерами, возбудила бы рыданіе, ужасъ, сильное и торжественное потрясеніе души: иначе, она слишкомъ высока для сцены.

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ.

Есть ли у насъ литература? Чѣмъ и гдѣ есть критика? — Состояніе литературной критики въ Англіи, Франціи и Германіи. — Историческій романъ. — Вальтеръ-Скоттъ и его подражатели.

По поводу романа: *Мазепа*, Ф. Булгарина. 1838.

Критика?....Вы ожидаете отъ меня критики?....Извините; у насъ нѣтъ критики! Такъ утверждаютъ многіе изъ насъ, многіе изъ нашихъ собратій. Не далѣе какъ въ началѣ января, одни изъ насъ кричали, что въ прошломъ году не вышло у насъ ни одной книги; другіе, что у насъ не стоитъ заниматься словесностью, ибо она не представляетъ труженикамъ своимъ никакихъ существенныхъ выгодъ; третьи, что у насъ нѣтъ единства въ словесности; четвертые, что у насъ нѣтъ литературнаго міра; пятые, что у насъ нѣтъ критики; шестые, что у насъ нѣтъ — нѣтъ даже литературы!.....И такъ, вотъ до чего мы дожили!

У насъ нѣтъ литературы! Чѣмъ же такое значать 12,000 званій русскихъ книгъ въ каталогъ нашей книжной торговли? Это вѣрно 12,000 голландскихъ сельдей! Мы такъ вѣжливы къ другимъ народамъ,

что говоримъ и пишемъ всякій день: литература санскритская, литература испанская, скандинавская, турецкая, персидская, татарская,—даже литература монгольская, хотя она состоитъ вся изъ одной исторической книги и ста-восьми книжекъ Ганджура; мы притомъ такъ образованы и учены, что говоримъ и пишемъ это очень правильно, по голосу всей Европы; все это мы говоримъ и пишемъ, а когда взглянемъ на наши 12,000 сочиненій, то съ уничиженіемъ, со стыдомъ, потупя глаза и покраснѣвъ, какъ раки въ кострюль, произносимъ: у насъ нѣтъ литературы!..... И это говорить Русскіе Русскимъ же? И это говорить въ глаза народу, у котораго были Ломоносовъ, Державинъ, Озеровъ, Крюковский, Фонъ-Визинъ, Карамзинъ и Грибоѣдовъ, у котораго теперь есть Крыловъ, Жуковский, Пушкинъ, Марлинскій, Булгаринъ, Заго-скинъ, не считая другихъ по двадцати пяти уважительнымъ причинамъ? Воля ваша, а вы очевидно издѣваетесь надъ нами, беззащитными читателями, или—не хотите понять значенія слова «литература». Но если вы дѣйствительно тому вѣрите, если вы не-шутя пришли въ эту степень сплина, я скажу вамъ простое средство мигомъ исправить дѣло: сдѣлайтесь Монголами!..... У васъ будетъ исторія почтеннаго ламы Сананъ-Сэцэна и Ганджуръ въ 108 прекрасныхъ книжкахъ, и на другой день вся ученая Европа скажетъ, что у васъ есть литература.

У насъ нѣтъ никакихъ выгодъ быть литераторомъ!—Я этому не вѣрю, наравнѣ съ тѣми, которые то сказали.

У насъ нѣтъ единства въ литературѣ! Единства!— что это значить? О какомъ единствѣ изволите вы спрашивать?..... То есть, что у насъ нѣтъ одной огромной литературной шайки, начальствуемой однимъ литературнымъ атаманомъ, которая бы содержала въ страхъ всю словесность, разбивала всѣ возникающія въ нея предѣловъ дарованія, грабила ихъ независимость, убивала оригинальность? Полноте шутить такъ жестоко! Единство, то есть нѣкоторый родъ единства, могло существовать въ словесности, когда вся словесность жила на чердакѣ, писала всю ночь и утро на треногой скамейкѣ подъ дырявою кровлею, и въ полдень стремглавъ сбѣгала по черной лѣстницѣ, чтобъ терзать голодными зубами жаркое гордаго мецената, а послѣ жаркаго тѣшить его чтеніемъ своихъ трудовъ; когда литераторъ въ значеніи и силѣ привлекалъ къ себѣ, какъ церковная паперть, все нищее сословіе писателей, и быть для нихъ средоточіемъ надеждъ, литературнаго суда и славы; когда одинъ или два ветерана словесности самовластно управляли изящнымъ, удерживая въ рабскомъ повиновеніи всѣ молодые понятія, всѣ юные порывы таланта. Изъ такого единства происходили только—для литераторовъ уничиженіе, для словесности школа, самая пагубная умственная монополія. Теперь, когда словесность перестала быть безпріютною сиротою; когда она выросла, возмужала, поступила на свой хлѣбъ и пошла въ люди; когда, прихотливая и исполненная чувства своей силы и своего благородства, стала сочинять свои страницы и въ пышномъ кабинетѣ вельможи, и въ уборной щеголихи,

на розовой, надушенной бумагѣ, между счетомъ модистки и бурною запискою страстнаго любовника съ усами, и на дубовомъ, испещренномъ каплями чернилъ столикѣ грамотнаго лавочника, и въ безбѣдной горницѣ записнаго литератора, передъ лежащимъ на разбросанныхъ книгахъ контрактомъ на гербовой бумагѣ, заключеннымъ вчера съ книжною торговлею и записаннымъ по надлежащей формѣ у маклера, и даже среди военного шума, на прострѣленномъ непріятельскою пулею барабанѣ; теперь, когда книжное дѣло, склонность къ писанію, удовольствіе сообщать мысли свои публикѣ, каждый день болѣе и болѣе распространяются по всѣмъ вѣтвямъ общества, глядящимъ въ различныя стороны и лишеннымъ самою природою возможности взаимнаго прикосновенія; когда вся Европа поздравляетъ себя съ освобожденіемъ литературы отъ опаснаго вліянія заслуженныхъ писателей и всякаго рода посредниковъ между умомъ и публикою; когда всякій можетъ быть оригинальнымъ, не спрашивая о позволеніи у другаго — теперь заговорили вы о единствѣ въ литературѣ!.... Какая польза предвидится отъ соединенія въ одинъ кругъ, въ одно тѣло, литераторовъ, изъ которыхъ каждый можетъ быть независимымъ отъ другаго? Я предвижу одно изъ двухъ: или ссоры и напрасную трату времени въ совѣщаніяхъ, приговоры которыхъ не убѣдятъ ни чьего самолюбія, или школу, извѣстную литературную манеру, монополию, грабительство общественнаго вкуса, угнетеніе юныхъ талантовъ и отличіе услужливой посредственности, если единодушіе случайно будетъ царствовать въ этомъ разнородномъ кругу.

Лучшій и самый благородный центръ соединенія для литераторовъ — публика. Если у кого есть такое сильное влеченіе къ изліянію своихъ чувствъ и мыслей передъ своими собратіями, никто не препятствуетъ ему жить въ личной дружбѣ съ нѣсколькими товарищами по собственному его выбору; но и это частное единство нѣсколькихъ словесниковъ имѣетъ свою опасность: оно обыкновенно превращается въ партію, котерію.

У насъ не вышло въ прошломъ году ни одной книги — разумѣется, достойной чтенія! Кто жъ написалъ въ нашихъ повременныхъ изданіяхъ столько объявленій о хорошихъ книгахъ и разборовъ гениальныхъ, прекрасныхъ, превосходныхъ, отличныхъ, Богъ-вѣсть какихъ еще сочиненій? — разборовъ и объявленій, которые мы читали даже на страницахъ, увѣряющихъ насъ по окончаніи года, что во все продолженіе истекшихъ двѣнадцати мѣсяцевъ не вышло въ Россіи ни одной хорошей книги, и что даже у нея нѣтъ литературы. Слѣдственно всѣ эти разборы и объявленія были простая мистификація?.... А! если такъ, то вотъ, по-крайней-мѣрѣ, хоть одна хорошая шутка! Смѣйтесь, читатели: славная шутка!....

Но у насъ нѣтъ критики! Да! чтò дѣлать, у насъ нѣтъ критики! Откуда у насъ быть критикѣ! Во Франціи, въ Германіи, въ Англіи — это другое дѣло: тамъ есть критика! — критика безошибочная какъ самъ Папа, безпристрастная какъ чернилица — критика, которая, принимаясь за перо, прячетъ свое сердце въ карманъ, выбрасываетъ свои предразсудки за окно, свои стра-

сти велить держать лакею за воротъ, свой умъ возводитъ въ седьмую степень магнитическаго ясновидѣнія, и пишетъ — пишетъ и судить — судить и никогда не дастъ крюку; критика, у которой спросите, о чемъ угодно, и она, изъ всѣхъ типографій, изъ всѣхъ столиковъ и ящичковъ, изъ-подъ всѣхъ бѣлыхъ колпаковъ государства, отвѣчаетъ вамъ въ одно слово, какъ эхо въ расположенныхъ рядомъ пещерахъ, никогда себѣ не противорѣча; словомъ, совершенная, настоящая критика, — нѣчто въ родѣ идеальной красоты. — Вотъ критика! вотъ счастье, роскошь, объядѣніе! Давайте намъ такую критику! — кричатъ намъ многіе изъ насъ, начиная писать сами, такъ сказать, критику сочиненій авторовъ, состоящихъ въ единствѣ съ ними. Гдѣ она? Покажите намъ такую критику въ Россіи!..... Не то мы вамъ ее покажемъ!

Что отвѣчать на подобную задачу?

Естественный отвѣтъ: начто вамъ критика, когда у васъ нѣтъ литературы! Прошу покорнѣйше: сами изволять утверждать, что у насъ нѣтъ словесности, а въ то же время бранить бѣдную Русь за неимѣніе литературной критики! Къ чему намъ она нужна? Начто очки слѣпому? — Но этимъ вы не отдѣляетесь отъ многихъ изъ насъ: они требуютъ критики — критики, во что бы то ни стало. Въ Россіи нѣтъ критики! Откуда ее взять? Изъ чего составить? Какъ быть? Развѣ выписать изъ-за границы, занять у иностранцевъ, выучиться ей у Нѣмцевъ? Нѣмцы умнѣе Русскихъ:

Намъ безъ Нѣмцевъ нѣтъ спасенья!

У нихъ должна быть и критика, ибо у нихъ есть вино и устрицы. — Нѣмцы! Англичане! Французы! давайте намъ критику! Десять четвертей хлѣба за критику! У кого изъ васъ есть критика? Продайте, уступите ее намъ. Цѣлый грузъ сырыхъ кожъ за критику, за часть, за маленькій кусочикъ критики!..... Всѣ молчатъ. И послушайте только, что эти заморскіе люди на то отвѣчаютъ: — какой, говорятъ они, захотѣлось имъ критики? — какое понятіе составили они себѣ о критикѣ? — изъ-за чего они мечутся и приводятъ въ уныніе свою публику? — по какому поводу посѣваютъ въ умахъ соотечественниковъ отвращеніе къ народной ихъ литературѣ, презрѣніе къ ихъ языку? — развѣ это полезное и патріотическое дѣло, унижать собственную свою словесность въ глазахъ народа, стремящагося всѣми силами къ просвѣщенію, сокровища котораго раскрываетъ передъ нимъ правительствомъ съ такими издержками и пожертвованіями для его разработки? — право, они не знаютъ сами, чего хотятъ!.....

И я такъ думаю.

Вы — то-есть многіе изъ насъ — очевидно составили себѣ ложное понятіе о критикѣ, и ищите того, чего нѣтъ на свѣтѣ, чего въ порядкѣ вещей быть не можетъ, и браните Русь безъ всякой причины. Мы напрасно потеряли время, ища для насъ такой критики, какую выдумали вы въ пылкомъ своемъ воображеніи: не угодно ли теперь понскать ея вамъ самимъ во всей Европѣ?..... Я доставлю вамъ нужныя къ тому средства и поощреніе: учреждаю премію въ

пользу того, кто изъ васъ найдетъ настоящую критику на земномъ шарѣ. Ищите! Дюжина бутылокъ шампанскаго и жареная индѣйка съ трюфелями поперигёзски, тому, кто найдетъ такую критику!..... Пошли искать. Ищите, ищите! — а я между-тѣмъ съѣмъ съ благосклонными читателями предназначенную вамъ индѣйку и разопью съ ними шампанское, потому-что знаю навѣрное, что вы ничего не найдете. Англія есть одно государство въ свѣтѣ, гдѣ литературные журналы доведены до самой высокой степени совершенства; гдѣ настоящимъ образомъ понимаютъ журнальное искусство и чувствуютъ его достоинство; гдѣ собственно умѣютъ писать журнальныя статьи, и гдѣ находятся особыя критическія повременныя изданія, утвердившія свою славу въ цѣломъ грамотномъ мірѣ, и свое существованіе считающія десятками лѣтъ. Возьмите три англійскіе журнала, безпорно первенствующие на всей землѣ, «Edinburgh Review», «Quarterly Review» и «Westminster Review»; прибавьте къ нимъ, если угодно, еще «Monthly Review», и «Foreign Review» — и прочитайте въ нихъ разборъ одной и той же книги: вы подумаете, что всякій изъ нихъ говоритъ о другомъ совершенно сочиненіи! Въ одномъ оно расхвалено, въ другомъ разругано впрахъ; третій говоритъ, что оно посредственно; четвертый, что весьма дурно написано, но преполезно; пятый, что слогъ прекрасный, но содержаніе вздорно — точно такъ же, какъ и на святой Руси! Однакожь Англичане не приходятъ отъ этого въ отчаяніе, и словесность ихъ процвѣтаетъ, и хорошія творенія

торжествуютъ! О Франціи и говорить нечего: тамъ даже нѣтъ собственно критическихъ журналовъ, исключая «*Journal des Savans*,» занимающійся только учеными предметами: литературная критика предоставлена опытамъ, случайно помѣщаемымъ въ повременныхъ изданіяхъ, составленныхъ изъ статей безъ всякаго плана, и газетнымъ фельетонамъ, сочиняемымъ въ духъ самой газеты безпрестанно мѣняющимися сотрудниками. Критика во Франціи вся въ рукахъ литературныхъ и книгопродавческихъ козней, хотя иногда мелькаютъ въ ней, какъ и у насъ, хорошіе разборы, созданные перомъ искуснымъ и независимымъ. Можетъ-статься, вы думаете, что въ глубокомысленной и основательной Германіи есть прекрасная критика? Вотъ вамъ выписка изъ одного изъ лучшихъ нѣмецкихъ литературныхъ журналовъ, издаваемого людьми весьма способными судить о состояніи словесности, не только въ своей землѣ, но и въ цѣломъ свѣтѣ.

«Въ отношеніи къ литературной образованности и зрѣлости понятій, сколько намъ извѣстно, никогда еще критика отечественной словесности не стояла на низшей точкѣ. Даже никогда злоупотребленія по этой части не одерживали такого ужаснаго перевѣса, какъ втеченіи послѣднихъ десяти лѣтъ. — Литературная критика, изрѣдка достойная и соотвѣтствующая своей священной цѣли, большею частію обнаруживается у насъ въ недостойномъ безсмысленномъ, несправедливомъ или плоскомъ видѣ. Творческимъ критическимъ дарованіямъ не достаетъ хорошихъ точекъ

«опоры (т. е., хорошихъ повременныхъ изданій, по-
 «священныхъ критикѣ); редакторы журналовъ не поль-
 «зуются нужною независимостью. Кто не завязъ въ
 «котеріяхъ, тотъ спутанъ тенетами книготисненія и
 «книжной торговли. — Удерживаемся отъ дальнѣйшаго
 «разбора безтолковыхъ и безсовѣстныхъ вздоровъ,
 «наполняющихъ наши критическіе листы; но, въ за-
 «ключеніе, повторимъ прежнее мнѣніе наше, что, не
 «говоря, уже объ обыкновенныхъ харчевняхъ знаменитые
 «Листки Брокгаузовы (*Blätter für literarische Unter-
 «haltung*), по своей безсовѣстности и лавочническому
 «духу, суть одно изъ величайшихъ бѣдствій нашей
 «словесности. Таково нынѣшнее состояніе критики въ
 «Германиі». (*Zeitung für die elegante Welt*, No 1 und
 6. 1834.) Изъ чего же вы, господа многіе изъ насъ,
 бѣтаетесь, изъ чего такъ ужасно сердитесь и приходите
 въ отчаяніе? О чемъ хлопочете? Гдѣ же лучше? За-
 что, въ своихъ литературныхъ огорченіяхъ, браните
 русскую литературу?

Москва, вишь, виновата!

Успокойтесь; примиритесь съ настоящимъ поряд-
 комъ вещей въ русской литературѣ, и ободритесь
 духомъ: это порядокъ всего литературнаго міра. Вездѣ
 валятся градомъ на словесность несправедливыя,
 поверхностныя, ѣдкия и неприличныя критики; и вездѣ,
 между этими грязными дрызгами дара слова, чаще или
 рѣже проявляются разборы, блестящіе умомъ, чув-
 ствомъ, знаніемъ дѣла, яснымъ и сильнымъ понятіемъ
 объ изящномъ, вдругъ подвигающіе впередъ вкусъ и
 словесность. Такіе разборы нерѣдко являлись и у насъ,

въ Москвѣ и Петербургѣ. Вникните въ существо дѣла, познакомьтесь съ исторіею предмета, о которомъ разсуждаете. Хорошая литературная критика не есть ремесло, которому можно выучиться, ни система, которую можно привести въ исполненіе: это личное дарованіе.

Я доказалъ вамъ подлинными фактами, что ни въ Англіи, ни во Франціи, ни въ Германіи, нѣтъ хорошей критики; что вездѣ тотъ же, какъ и у насъ, беспорядокъ, тѣ же злоупотребленія, пристрастіе, лихоимство, взятки въ литературномъ правосудіи. Хотите ли теперь, чтобъ я неоспоримымъ образомъ доказалъ вамъ противное, то есть, что во Франціи, въ Англіи, въ Германіи, и вездѣ есть отличная, превосходная критика?.... Извольте!

Истинная литературная критика есть личное дарованіе, индивидуальность, подобно истинному поэтическому таланту. Ни Пушкина, ни хорошаго критика, нельзя произвести искусственными средствами: того и другаго должна создать природа, и если вы не видите около себя настоящей критики, браните зато природу, а не людей и литературу. Гдѣ родится человѣкъ съ сильнымъ поэтическимъ чувствомъ, съ свѣтымъ и вѣрнымъ понятіемъ изящнаго, съ пылкимъ воображеніемъ, съ большою проницательностью ума, со способностью къ обширнымъ и мгновеннымъ соображеніямъ, съ разборчивымъ вкусомъ, и въ особенности съ твердою и непоколебимою логикою; когда, при такомъ счастливомъ устройствѣ головы, при такомъ могуществѣ души, получить онъ еще приличное образованіе, украсить свою память разнородными свѣденіями,

достаточно познакомится съ людьми и свѣтомъ, приобрѣтетъ навыкъ разсуждать собственною головою, думать собственными мыслями, и потомъ примется судить о литературѣ и произведеніяхъ изящнаго — тамъ и тогда будетъ хорошая критика. Но она будетъ вся въ немъ, въ его лицѣ, и внѣ его опять не будетъ критики, ибо она не сообщается прикосновеніемъ, какъ чума, ни примѣромъ, какъ хохоть. Такіе люди рѣдко появляются въ словесностяхъ, и они обыкновенно даютъ имъ направленіе. Хорошимъ критикомъ можетъ назваться только тотъ, кто, въ своихъ статьяхъ о сочиненіяхъ, открылъ публикѣ и писателямъ самое большое число новыхъ и здравыхъ видовъ о словесности и образъ дѣйствія разныхъ формъ изящнаго на душу человѣческую; кто удѣлилъ имъ самое значительное количество сильныхъ и вѣрныхъ соображеній вкуса; кто одушевилъ современную словесность самыми существенными и питательными для ея жизни понятіями. Не будучи безошибочною въ своихъ примѣненіяхъ, критика подобнаго привилегированнаго человѣка иногда можетъ ужасно ошибаться насчетъ даннаго сочиненія, и въ тоже время быть превосходною критикою по новостямъ и точности своихъ видовъ, которые никогда не остаются бесполезными для сочинителя и для читателя. Такими критиками могутъ безспорно назваться—въ Англіи, безымянный сочинитель разборовъ по части изящной словесности въ «Edinburgh Review», во Франціи Карлъ Нодье, въ Германіи Фарнгагенъ-фонъ-Энзе, судъ котораго, иногда довольно строгій, Гёте предпочиталъ всѣмъ лестнымъ похваламъ

•

своихъ обожателей. Такимъ былъ еще весьма недавно въ томъ же краю Вольфгангъ Менцель, издатель «Тюбингенской Литературной Газеты». Примѣръ Менцеля самымъ блистательнымъ образомъ объясняетъ изложенныя мною разсужденія о существѣ и свойствахъ хорошаго критика. Менцель часто, очень часто ошибался въ приложеніи мощныхъ и свѣтлыхъ своихъ помысловъ къ разбираемымъ твореніямъ: онъ судилъ превосходно о лирической поэзіи, о сочиненіяхъ повѣствовательныхъ, созданныхъ игрою воображенія, о плодахъ ума веселаго и сатирическаго, но почти всегда произносилъ неудачныя умозаключенія о произведеніяхъ высшей творческой силы гения: между-тѣмъ его критика, изобилующая тонкими и глубокими взглядами, могущественно двигала и оживляла нѣмецкую словесность, и его твердый, беспощадно логическій разборъ «Фауста» напечатлѣлъ на ней рѣзкій слѣдъ отличнаго его ума, который не скоро изгладится. Одинъ существенный недостатокъ Менцеля, пока онъ управлялъ литературными мнѣніями, была порой излишняя рѣзкость выраженій: голосъ истиннаго критика, наставника и дядьки словесности, всегда долженъ дышать кротостью.

Наконецъ, такимъ какъ Фаригагенъ и Нодье, критикомъ былъ у насъ Карамзинъ. О нынѣшнихъ, изъ приличія, я не скажу ни слова: не хочу ни съ кѣмъ заводить споровъ.

Итакъ, нѣтъ ничего неумѣстнаго, какъ грозно возставать на мнимыя критики, по охотѣ, разсчетахъ или необходимости помѣщаемыя въ журналахъ и газетахъ; ничего неловчаго, какъ поднимать по случаю ихъ

тревогу, повергаться въ отчаянный пессимизмъ и внушать публикѣ, ищущей луча свѣта, отвращеніе къ народной ея словесности; ничего необдуманнаго, какъ требовать хорошей критики отъ того, кого природа не создала критикомъ, или писать наставленія для критиковъ, тогда, какъ ихъ нельзя образовать наставленіями. Тотъ, въ чью голову природа не забросила яркой, волшебной искры, которая озаряла бы движенія перерабатывающагося въ ней понятія о прекрасномъ и высокомъ — тотъ никогда не будетъ критикомъ, какъ бы вы его ни учили этому искусству: онъ будетъ только подражателемъ по части критики, педантомъ, толкующимъ о томъ, чего онъ не въ состояніи чувствовать въ полной мѣрѣ, придиричивымъ литературнымъ подъячимъ, торгашомъ поддѣльныхъ, сухихъ и бесполезныхъ для художества сужденій.

Оставьте такіа критики безъ вниманія: онѣ его не стоятъ ни за свою брань, ни за свою лесть. Не гнѣвайтесь и не сердитесь на нихъ, а за нихъ на весь свѣтъ — ибо онѣ необходимы въ порядкѣ вещей: такъ устроены всѣ словесности въ семъ свѣтѣ, лучшимъ изъ всѣхъ созданныхъ свѣтовъ! Не гнѣвайтесь, и ожидайте появленія истиннаго критика въ нашей литературѣ — не то оборотитесь сами истинными критиками. Только, предваряю, меня вы не обманете, принявъ на себя имя истинныхъ критиковъ: прежде, чѣмъ читать ваши сужденія, я, съ позволенія вашего, посмотрю, какъ устроены ваши головы — ибо критическія головы строятся природою не по подряду, какъ наши, а на заказъ, совсѣмъ по другому плану.

Замѣьте, что, говори о хорошей критикѣ, я даже не упомянулъ о безпристрастіи, хотя объ немъ толкуютъ всё, отъ мала до велика. Я не упомянулъ объ немъ изъ уваженія къ читателямъ этого журнала: въ такой умной и образованной компаніи не прилично говорить о простонародныхъ повѣрьяхъ.

Безпристрастіе! Безпристрастіе, въ литературѣ, передъ лицомъ прекраснаго!!..... Нельзя ли безпристрастія замѣнить въ литературной критикѣ правосудіемъ? Въ судахъ оно очень хорошо замѣняетъ безпристрастіе.

Въ ожиданіи появленія истиннаго критика, котораго, можетъ-быть, не дождемся, будемъ по прежнему стряпать критику, простую, обыкновенную, незадорную, на томъ несомнѣнномъ основаніи, что у насъ есть не только литература, которая все идетъ впередъ, но даже критика, которая стоитъ всякой другой — точно такая же критика, какъ во Франціи, Англіи, и Германіи, что бы ни говорили литературные наши алармисты. Въ нашей критикѣ не найдете вы ни капли критики, потому-что для этого надо хоть съ каплю быть необыкновеннымъ человѣкомъ; а найдете.... такъ! — что-нибудь! — вѣчто въ родѣ критики! — то, что пишутъ всё люди, воображая себѣ, будто они пишутъ критику; найдете мое личное мнѣніе, и, въ моемъ мнѣніи, доказательство литературной независимости редакторовъ этого журнала, въ которой многіе благоволили сомнѣваться: они дали мнѣ слово печатать мои разборы безъ всякой пережѣвы. На починѣ беру «Мазепу», романъ Булгарина. Онъ, какъ ни бѣду, истори-

ческий! А я не люблю исторических романовъ — я люблю нравственность. Душѣ моей противно брать въ руки незаконнорожденного ребенка: историческій романъ, по моему, есть побочный сыночекъ безъ роду, безъ племени, плодъ соблазнительнаго прелюбодѣянiя исторiи съ воображенiемъ. Я стою за чистоту нравовъ, и лучше желалъ бы имѣть дѣло съ законными чадами или одной исторiи, или одного воображенiя. Историческій романъ, который многіе считаютъ чрезвычайно легкимъ родомъ изящнаго произведенiя, на который всѣ перья, всѣ литературныя знаменитости и безыменности бросились, какъ на свою добычу, есть самое трудное и опасное для дарованiя дѣло, потому что это уродъ, составленный изъ двухъ разнородныхъ и противодѣйствующихъ началъ, словесное осуществленiе загадочнаго понятiя египетскихъ жрецовъ — сфинкса, ложная форма прекраснаго. Да! это ложная форма прекраснаго. Прекрасное такъ хорошо само собою, такъ могущественно въ дѣйствiи своемъ на наши чувства и увѣрено въ могущество своего дѣйствiя, что оно не имѣетъ надобности производить свои впечатлѣнiя уловками и искать своего торжества въ нашемъ недоумѣнiи, тогда-какъ ему открыты всѣ пути къ нашему убѣжденiю. Между-тѣмъ историческій романъ дѣйствуетъ на насъ уловкою, обманомъ, умышленнымъ путанiемъ всѣхъ нашихъ свѣденiй и понятiй: съ начала до конца это мистификація. Только человѣкъ, основательно знающій исторiю описываемой эпохи, можетъ, и то не всегда, понимать, что такое читаетъ онъ на страницахъ подобнаго творенiя; только

ученый, вспомошествоемый своею памятью и справками съ историческими матеріалами, можетъ опредѣлить съ точностью, что принадлежитъ преданію, и что произвольная прикраса: всякій другой читатель, безпрестанно волнуясь неизвѣстностью въ этомъ растворѣ истины и вымысла, хочетъ на каждомъ шагу вѣрить словамъ автора, и на каждомъ шагу боится быть обманутымъ, и по прочтеніи романа или не знаетъ самъ, что думать о своихъ впечатлѣніяхъ, или добродушно предается обману. Такой образъ дѣйствія на чувства я считаю недостойнымъ изящнаго. Не стану повторять смѣшнаго упрека, дѣлаемаго противниками этого рода сочиненій — будто историческій романъ существенно вредить исторіи, заражая вымысломъ свѣденія, разлитыя въ публикѣ; охотно пожертвовалъ бы я однимъ наслажденіемъ — исторіею, еслибъ, черезъ это, другое и самое важное наслажденіе образованнаго человѣка — изящное, и самое благородное его занятіе — художество, могли обогатиться новыми средствами дѣйствія и усилить свое могущество новыми началами человѣческаго счастья. Но по-несчастью, существо историческаго романа вредно и изящному, и художеству. Изящное унижается въ немъ до мучительной и бесполезной мистификаціи, художество превращается въ ремесло починщика, штукатура или перестройщика. Если вы почитаете всѣ слова исторіи священнымъ для человѣчества завѣтомъ, назначеннымъ для его политической вѣры и для руководства его потомства, то произвольная примѣсь одного обстоятельства, одной прикрасы,

даже одного лишняго слова, уничтожаетъ эту святую, и уже лишаетъ насъ одного великаго удовольствія, не создавъ еще другаго вмѣсто его. Если вы полагаете воображеніе храмомъ прекраснаго и творческую его силу истиннымъ отпечаткомъ Божества на душѣ нашей, благороднѣйшимъ достояніемъ человѣка, то, возлагая на писателя обязанность брать готовые характеры изъ исторіи и приплетать свои помыслы къ данной цѣпи происшествій, вы ограничиваете, ниспровергаете владычество воображенія, отнимаете у него высокое право безпредѣльнаго творенія, обращаете его изъ званія перваго источника всего прекраснаго въ низкую должность служить подпорою какой-нибудь, нерѣдко условной, истинѣ или быкомъ ветхому, оставленному общественною памятью, факту. Гдѣ воображеніе потеряло важнѣйшія права свои, тамъ художество съ той самой минуты уже находится въ упадкѣ. Историческій романъ есть порожденіе художества, клонящагося къ паденію и старающагося поддѣльными, косвенными средствами еще дѣйствовать на человѣка.

Подивитесь странной слабости нашего рода! Одинъ умный человѣкъ, одаренный необыкновенно сильнымъ дарованіемъ и еще сильнѣйшею страстію изумлять людей, сталъ писать стихи новымъ, необычайнымъ размѣромъ, и увлекъ за собою толпы подражателей. Онъ не имѣлъ истиннаго поэтическаго генія, и подражатели легко подъ него поддѣлались. Видя упадокъ своей стихотворной славы, онъ кинулся въ другую сторону, къ другому насильственному сред-

ству славы, или попросту шарлатанству, и сдѣлать искусственную смѣсь истины и вымысла, слитыхъ такъ удачно, что нельзя было узнать въ цѣломъ — истина ли это, или вымыселъ. Это ему удалось выше всякаго чаянія, и въ свѣтъ явился историческій романъ. Родъ былъ не новый: романы среднихъ вѣковъ, извѣстные подъ именемъ *Romans de la table ronde*, уже были историческіе, и они подали ему первую мысль. Но Вальтеръ-Скоттъ употребилъ всю силу своего дарованія и все богатство своей исторической учености, чтобъ его воскресить, обновить и облагородить. Новость затѣи изумила Европу. Энтузіасты провозгласили ее верхомъ художества. Педанты тотчасъ создали систему, и выдумка шотландскаго писателя была подведена подъ точныя, исчисленные правила. Вальтеръ-Скоттъ имѣлъ удовольствіе при жизни испытать блистательную судьбу Гомера, по творенію котораго люди составили себѣ точныя правила о томъ, какъ сочинять хорошія Иліады, бывъ увѣрены, что стѣитъ только въ точности поступать по этимъ правиламъ, чтобъ всѣмъ быть Гомерами. Подобнымъ образомъ, никто не сомнѣвался, что сдѣлается самъ Вальтеромъ-Скоттомъ, коль скоро напишетъ книгу по теоріи, выведенной изъ его романовъ. Были даже такіе, которые, въ пылу теоретическаго разсужденія о новой выдумкѣ, предписывали свои правила и учили самого Вальтеръ-Скотта, какъ слѣдуетъ писать настоящіе историческіе романы, не примѣчая того, что изобрѣтатель обманывалъ ихъ своимъ изобрѣтеніемъ, и вмѣсто чистыхъ, высокихъ формъ изящ-

наго, продавалъ имъ изящную куклу. Но всѣ теоріи къ чему не послужили: Вальтеръ-Скоттъ остался единственнымъ въ своемъ родѣ, какъ Гомеръ въ своемъ. Родъ былъ ложный, но талантъ Вальтера-Скотта былъ огромный, истинно приспособленный къ этому роду, или, лучше сказать, самый родъ былъ нарочно придуманъ для таланта и составлялъ чистый его результатъ. Приготовленіе Вальтера-Скотта было историческое и антикварское; душа его была исполнена высокой поэзіи, не будучи поэтической; его дарованіе было по преимуществу повѣствовательное—повѣствовательное до безконечности, въ полномъ значеніи слова, — во всѣхъ оттѣнкахъ и изгибахъ своихъ повѣствовательное. Эти три начала употребилъ онъ съ рѣдкимъ искусствомъ, и остался неподражаемымъ. Нельзя не признать, что между его подражателями нашлись таланты несравненно сильнѣе и выше его: Викторъ Гюгò, на примѣръ, превосходить его всею высотой поэтическаго генія; однакожъ никто не сравнялся съ нимъ въ историческомъ романѣ, который онъ вылилъ изъ трехъ, лично ему принадлежащихъ и въ немъ одномъ соединенныхъ, началъ. И почему? — потому, что форма изящнаго была ложная. Изъ всѣхъ, доселѣ вышедшихъ подражаній Вальтеру-Скотту, вѣроятно одно сочиненіе Виктора Гюгò, *«Церковь Парижской Богоматери,»* останется для потомства: никто однакожъ, хоть нѣсколько свободный отъ предубѣжденій школы, не скажетъ того, чтобъ въ цѣломъ оно могло выдержать сравненіе съ лучшими романами шотландскаго мастера.

Нанесши убійственный ударъ художеству выдумкою

подложной формы изящнаго, Вальтеръ-Скоттъ причинилъ еще большій вредъ вкусу. Онъ вскружилъ головы молодымъ писателямъ, и непримѣтно приготовилъ публику къ чудовищной манерности. Онъ-то вывелъ на сцену, подъ защитою всей прелести своего повѣствовательнаго дара, палачей, цыганъ, жицовъ; онъ открылъ европейской публикѣ отвратительную поэзію висѣлицъ, эшафотовъ, казней, рѣзни, пьяныхъ сборищъ и дикихъ страстей. Правда, всѣ эти насильственные и противостоятельныя средства потрясенія чувствъ читателя были у него искусно разбросаны и скрыты подъ великобританскою чинностью въ безчисленныхъ томахъ его романовъ, но иногда являлись и въ довольно полномъ комплектѣ; и, съ изданіемъ его *Квинтина Дурварда*, можно сказать, пробѣлъ на землѣ первый часъ неистовой словесности. Молодые писатели, въ пылкости своего удивленія къ его таланту и производимому имъ впечатлѣнію, возмечтали, что, собравъ всѣ ужасы въ одну книгу, сжавъ ихъ еще плотнѣе, разнообразя ихъ еще болѣе, нежели какъ у наставника, онъ перещеголяютъ авторскую его знаменитость, сдѣлаются двойными, тройными Скоттами — и пошла потѣха! Викторъ Гюгô исковеркалъ прекрасный свой талантъ единственно на Вальтеръ-Скоттъ; на немъ развратилъ онъ высокое стремленіе своего генія, и-до-сихъ поръ не можетъ создать ни одной повѣсти, ни одной драмы, безъ палача, жида, цыгана или висѣлицы. Духъ нынѣшней французской школы есть нечистый сокъ, выжатый въ судорожномъ порывѣ восхищенія изъ историческихъ романовъ Вальтера-Скотта на молодые воспаленные

мозги, но выжатый отдѣльно, безъ выжатія изъ нихъ красоть всякаго рода, которыя остались всѣ въ его книгахъ; экстрактъ Вальтеръ-Скоттизма, приправленный философіею буйныхъ молодыхъ головъ. Такова исторія образованія нынѣшняго вкуса,—исторія того, что называютъ обновленіемъ словесности: оно состоитъ все въ подражательствѣ, дошедшемъ до послѣднихъ логическихъ слѣдствій взятаго въ подражаніе начала.

За всѣмъ тѣмъ, Вальтеръ-Скоттъ писатель великій, и достоинъ удивленія за необыкновенное искусство, съ какимъ выполнилъ онъ и представилъ свѣту задуманный имъ подложный родъ изящнаго. Онъ неподражаемъ въ своемъ подлогѣ,—но и его подлогъ едва ли стоитъ подражанія.

Я знаю средства защиты, которыя приверженцы историческаго романа могутъ употребить въ его пользу, и не стану опровергать ихъ, потому-что не одобряю этой формы изящнаго аргюмента, и нахожу ее ложною. Самое важное преимущество, которое, по мнѣнію многихъ, вполне искупаетъ уродливость этого рода сочиненія, есть возможность представлять картины нравовъ отдаленнаго времени. Это еще одна ложная сторона предмета. Картины нравовъ отдаленнаго времени! Напишите мнѣ картину нравовъ нынѣшней Италіи, не выдавъ ея сами, собственными глазами?... Попробуйте написать: вотъ вамъ всѣ путешествія въ Италію; всѣ описанія Италіи, всѣ остроумныя наблюденія, сдѣланныя надъ Итальянцами! Кто знаетъ, какъ не легко подсмотрѣть нравы собственно своего времени и вокругъ

себя, какъ трудно сообщить имъ вѣрный рисунокъ и естественный колоритъ, не впадая въ карикатурность или сатиру, тотъ не скажетъ, чтобъ было возможно писать хорошія картины нравовъ отдаленнаго времени. Нравы—вещь отвлеченная, туманъ въ горящей зномъ аравійской пустынѣ, принимающій издали всѣ волшебныя формы, смотря по расположенію воображенія путника, и исчезающій въ ту самую минуту, когда онъ полагаетъ, что уже можетъ поймать его рукою. Обычаи, наружный видъ утвари, архитектура—это другое дѣло! Но для этого нѣтъ никакой надобности передѣлывать исторію, выводить на сцену историческія лица въ фантастическихъ формахъ, и обманывать простодушнаго читателя. Положимъ, что хорошая картина нравовъ отдаленнаго времени есть дѣло возможное: почему же не писать ея такъ, какъ пишутся съ натуры картины современныхъ нравовъ, безъ употребленія именъ великихъ или извѣстныхъ современниковъ? По какой причинѣ умершія историческія лица менѣе священны для художества и достойнѣе сдѣлаться жертвою нашего воображенія, чѣмъ современныя, чѣмъ, напримѣръ, всякій изъ насъ?.....

Но мода произнесла свой приговоръ, и всякое логическое разсужденіе должно сокрушиться, разсыпаться въ облако пыли отъ удара чародѣйскаго ея жезла. Почти всѣ писатели сочли необходимымъ повергнуть къ ступенямъ ея алтаря пріятное божеству жертвоприношеніе — хоть пару историческихъ романовъ. Теперь уже не время разсуждать о догматѣ, когда вѣра восторжествовала. Дѣло совершилось: у насъ пи-

шутся и читаются историческіе романы, и мы уже должны разсматривать ихъ какъ фактъ, не какъ начало. Всякъ хозяинъ своей волѣ: никто не имѣетъ права обвинять автора, почему написалъ онъ историческій романъ, а не что-нибудь другое. Онъ написалъ, и мы должны принять, читать и разсматривать его, какъ историческій романъ, съ тою же чистотою намѣренія, какъ бы мы написали его сами.

Ни какой романъ, быть-можетъ, не заслуживаетъ двухъ листовъ серіознаго разбора, исключая философскій; но всякій романъ Булгарина безъ-сомнѣнія стоитъ этого пожертвованія со стороны русской печати, которая обязана нынѣшней своею жизнію сочиненіямъ этого писателя. Безъ его «Ивана Выжигина» Богъ-вѣсть гдѣ бы мы еще были съ нашею прозою и съ нашими романами. Онъ разбудилъ у насъ вкусъ къ чтенію, сладостно засыпавшій на послѣднихъ страницахъ Карамзина. «Иванъ Выжигинъ» была первая книга, которую прочитали—прочитали всю до ижицы, измiali, изорвали, разнесли по листкамъ. Необыкновенный его успѣхъ расшевелилъ публику и перья. Я говорю здѣсь не о внутреннемъ достоинствѣ сочиненія, а только о событіи, котораго никто, взявшись чистою рукою за совѣсть, не можетъ оспаривать. Булгаринъ, какъ писатель, будетъ всегда занимать высокое мѣсто въ исторіи нашей словесности, что бы ни говорила современная критика: онъ оказалъ великія услуги литературѣ, и не признавать ихъ было бы неблагодарно.

Не входя въ разборъ прежнихъ его романовъ и не унижая ихъ достоинства, скажу откровенно, что по-

слѣднее его сочиненіе, «Мазепа», есть гораздо болѣе романъ, нежели оба его «Выжигина» и его «Самозванецъ». «Мазепа», неоспоримо романъ; огромная масса воображенія брошена въ грудѣ занимательныхъ историческихъ фактовъ; множество драматическихъ эффектовъ и прекрасныхъ художественныхъ соображеній рассыпано почти съ избыткомъ, съ роскошью, по разнымъ частямъ плотно сжатаго предмета; содержаніе повѣсти основано на сильномъ, изящномъ помыслѣ.

.....*

Авторъ щедрою рукою расточилъ множество высокихъ драматическихъ положеній, но не всѣ они раскрыты въ приличной степени изящной отдѣлки, и отъ этого нѣкоторыя остались почти безъ эффекта. Онъ можетъ отвѣчать мнѣ на это, что онъ не любитъ подробностей: я покажу видъ, будто вѣрю его словамъ, но подумаю: полѣнился, почтеннѣйшій!... По моему мнѣнію, для содержанія читателя въ непрерывномъ ужасѣ — ибо авторъ мѣтилъ, кажется, въ этомъ романѣ на ужасъ въ новѣйшемъ вкусѣ — слѣдовало съ самаго начала романа сообщить намъ страшную тайну, что Огневикъ сынъ Мазепы; тогда, внушивъ намъ сильную приверженность къ Натальѣ, заставивъ насъ любить, обожать ее, раздѣлять всѣ ея чувства и надежды, терзаться при ея страданіяхъ, онъ гораздо легче и вѣрнѣе производилъ бы надъ нами полныя, страшныя впечатлѣнія. Здѣсь надлежало быть

* Выпущены изложеніе содержанія «Мазепы» и выписки изъ этого романа. Изд.

откровеннѣе съ читателемъ; напротивъ, ничего не говорить впередъ о цѣли Палѣевой экспедиціи и не открывать преждевременно ея плана, потому что чрезъ это послѣдствія заранѣе дѣлаются извѣстными и теряютъ свой эффектъ.

При обиліи красотъ созданія, погрѣшности этого рода часто остаются непримѣтными для огромнаго большинства читателей; но писатель съ такимъ умомъ и дарованіемъ, какъ г. Булгаринъ, долженствоваль бы обращать болѣе вниманія на художественную часть своихъ романовъ, ибо объ ней почти всякій въ состояніи судить болѣе или менѣе, а люди, не умѣющіе постигать высшаго, творческаго отпечатка сочиненія, по ней обыкновенно судятъ о достоинствѣ цѣлой книги. Безспорно, что у насъ по-сю-пору едва ли не надобно ожидать выхода въ свѣтъ произведенія г. Булгарина, чтобъ имѣть удовольствіе прочитать романъ, написанный чистымъ, плавнымъ слогомъ, по которому глаза скользятъ ровно и пріятно, какъ лодка по теченію тихой рѣки, не опасаясь наткнуться на торчащіе изъ воды камни или сѣсть на мель, гдѣ волны безвкусіа, отягощенныя пѣною пошлыхъ выраженій, дрызгами дикихъ и шероховатыхъ оборотовъ, могутъ поглотить — *navem et fortunam*, — смѣлаго пловца и его наслажденіе. Но не въ томъ сила: чистота и пріятность слога не устраниютъ необходимости нѣкотораго тщанія въ отдѣлкѣ его согласно съ предстоящимъ предметомъ. Это замѣчаніе клонится въ особенности къ разговорамъ. Въ «Мазепѣ» есть множество страницъ, гдѣ разговоръ веденъ съ жаромъ, съ силою,

съ искусствомъ; но встрѣчаются и такія, на которыхъ лица бесѣдуютъ безъ церемоніи книжнымъ, дидактическимъ слогомъ. Авторъ не всегда принимаетъ трудъ разсудить что было бы естественнѣе и согласнѣе со вкусомъ разсказать самому, а что объяснить посредствомъ разговора: утомясь повѣствованіемъ, онъ заставляеть своихъ героевъ досказать остальное тѣмъ же тономъ, и кладетъ имъ въ уста слова и обороты, неупотребительные въ бесѣдахъ, или внушаетъ мысли, не совсѣмъ свойственныя ихъ званію и не весьма ловкія по положенію. *Сей, оный, а потому*, и проч., довольно-часто навертываются имъ на языкъ, и эпическіе изустные разказы, напоминающіе классическаго Энея и «добраго короля» Генриха IV, не устрашаютъ ни ихъ самихъ, ни ихъ слушателей. Небрежность именно этой части отдѣлки даетъ готовое оружіе въ руки порицателямъ прекраснаго таланта автора: истинные и неприкосновенные къ дѣлу любители хорошаго чтенія всегда находятъ въ его сочиненіяхъ столько превосходнаго и умнаго, что прощаютъ ему этотъ недостатокъ, но всѣ вообще желали бъ не имѣть повода къ подобной снисходительности — въ томъ могу его увѣрить. Еще одна покорнѣйшая просьба: нельзя ли, чтобъ дѣйствующія лица не обмѣнивались такъ часто и такъ симметрически *юрькими* и *сладкими* улыбками! . . .

Объ историческомъ достоинствѣ историческаго романа «Мазепа» не скажу ни слова. Я слишкомъ уважаю творческій даръ въ человѣкѣ, слишкомъ люблю истинно изящное, чтобъ не пожертвовать имъ исторіею,

которой никакъ не могу согласить съ воображеніемъ и его правами и преимуществами. Чтò касается до вѣрности нравовъ, то — сказать по совѣсти — лгать не стану: я не путешествовалъ въ Малороссіи въ началѣ прошлаго столѣтія. Обычай сходны съ современными ихъ описаніями, и если современные описанія были сходны съ обычаями, то всѣ трудности вопроса тѣмъ самымъ устранены. Опять замѣчаніе: въ историческомъ романѣ, по моему разумѣнію, слишкомъ много романа и слишкомъ много исторіи. За романъ я не въ претензіи; но исторія больно мѣшаетъ мнѣ наслаждаться вымысломъ: я сердить на исторію; я вытолкаю ее въ двери, прогоню съ лѣстницы, и не веляю даже пускать на дворъ. Со смерти Наталіи до смерти Мазепы, одна не давала мнѣ покоя: на всякомъ шагу я встрѣчалъ исторію, которая, какъ извѣстно, имѣетъ дурную привычку повторять все одно и то же — то, чтò однажды гдѣ-нибудь сказала, — чтò я давно отъ нея знаю, — чтò всѣ отъ нея знаютъ. Охъ, ужъ мнѣ эта исторія!..... Господи, прости тяжкій грѣхъ тому, кто пустилъ эту жеманную и придирную бабу въ романъ, въ изящное! Правда, она доставила мнѣ въ «Мазепѣ» прекрасную картину новорожденного Петербурга съ первымъ его миленькимъ дѣтскимъ лепетаньемъ, съ первыми ребяческими движеніями, съ улыбкою протягивающаго свои ручки къ великому родителю, копающагося въ песокъ, строящаго себѣ первые картонные домики; но я готовъ подарить ей и эту картину, чтобъ только романъ дѣйствовалъ скорѣе и не замедлялся въ своемъ ходѣ.

О вы, которые читаете эти честныя замѣчанія объ одномъ изъ лучшихъ произведеній нашей словесности, объ одной изъ книгъ, достойнѣйшихъ вашего чтенія — знаете ли вы, что читаете? Скажите, какъ называется по-русски то, что вы теперь прочитали?... Замѣчанія, указаніе погрѣшностей нераздѣльных со всякимъ твореніемъ ума человѣческаго, разсужденіе о томъ, что и какъ иное могло бы въ немъ быть лучше, мысли о пользѣ искусства, читателей и самого автора — какъ называется все это техническимъ терминомъ въ нашей литературѣ? Какъ называется это въ нашей книжной торговлѣ, въ нашихъ кандитерскихъ и на улицѣ при встрѣчѣ съ пріятелемъ?..... Это называется: **РАЗРУГАЛИ!** Да, «Разругали!» слово чудесное, удивительное, заключаетъ въ себѣ всю критику Лагарпа, Карла Нодье, Шлегеля, Менцеля и Фарягагена, весь умъ Вольтера и Джефферса; слово, котораго нѣтъ ни въ какомъ другомъ языкѣ, въ которомъ завидуютъ намъ Англичане, Самоѣды и Китайцы. О, еслибъ вы знали, какое волшебное дѣйствіе оно производитъ, бывъ нечаянно произнесено въ книжной лавкѣ или въ литературномъ собраніи!... «Разругали!» Послушайте только какъ оно звучно: «Разругали!»..... Это наше книжное — ура! И всѣ мои замѣчанія, которыя изволили вы читать, называются тоже — «Разругали!» Всякое замѣчаніе есть — «Разругали!» Сдѣлайте замѣчаніе и на мою критику и это будетъ — «Разругали!» По нашему, если хвалить, такъ хвалить безусловно, а не хвалить, такъ — «Разругали!» Надо передать это слово потомству.

Но возвратимся къ «Мазепѣ». Я забылъ сказать вамъ объ одномъ важномъ обстоятельстве въ похвалу сочиненія, то есть, въ пользу его занимательности, ибо романъ, не смотря на все это, очень, очень занимателенъ: авторъ въ концѣ романа умертвилъ всѣ свои дѣйствующія лица. Это настоящій синодикъ царя Іоанна Васильевича Грознаго. Сколько сильныхъ потрясеній для чувствительныхъ читателей!

Наталя — умерщвлена страшною голодною смертію.

Ломкидовская — нѣмой Татаринъ отрѣзалъ ей голову ножомъ, и голову положилъ въ мѣшокъ.

Нѣмой Татаринъ — повѣшенъ на осинѣ вмѣстѣ съ мѣшкомъ.

Панъ Дорошинскій — убить Палѣемъ.

Палѣй — умеръ.

Мазепа — отравленъ собственнымъ сыномъ, Огневикомъ.

Огневикъ — бросился въ воду.

Всѣ погибли, всѣ до одинаго!... Въ живыхъ остались только авторъ и критикъ. Боже мой! что будетъ со мною, когда авторъ узнаетъ о моемъ — «Разругали!» Я пропалъ! Не миновать мнѣ смерти отъ мстительной его руки! Я такъ и вижу, что когда-нибудь на дняхъ, въ двѣнадцатомъ часу ночи, въ бурную погоду, тогда какъ я спокойно буду читать книгу, или писать критику въ халатѣ, туфляхъ и бѣломъ колпакѣ, вдругъ окна затрещатъ въ моей квартирѣ, зазвенятъ стекла, рамы разлетятся съ шумомъ, и, подобно страшному Палѣю въ замкѣ папи Дульской, вскочить ко мнѣ грозный, разъяренный авторъ, чтобъ меня убить,

смести съ лица земли какъ пылинку, предать забвенію, какъ дурную книгу. Я дрожу, трепещу! Я уже вижу образъ его предъ собою! Глаза его пылають местию; въ рукахъ сверкаетъ острый гусиный кинжалъ. Онъ поднимаетъ на меня смертоносное оружіе..... Ай!!.... онъ уничтожаетъ меня однимъ этимъ ударомъ! Падаю на колѣни передъ тобою, могущественный наѣздникъ; молю, заклинаю тебя словами, которыя должны непремѣнно проникнуть до твоего сочинительскаго сердца: — «Пане гетмане!.... Пане романистъ!..... будь великодушень столько же, сколько ты храбръ и счастливъ! Пощади мою жизнь! Сжался надъ слабымъ, беззащитнымъ критикомъ! Возьми себѣ всѣ мои сокровища, мои перья, чернилицу, бумагу!.... брось ихъ въ огонь, въ Неву, къ чорту, только отпусти меня — писать хотъ углемъ на стѣнѣ мои невинныя «Разругали!»

1834.

ДРАМЫ ИЗЪ ЭПОХИ САМОЗВАНЦЕВЪ.

По поводу сочиненій: *Димитрій Самозванецъ*, трагедія А. Хомякова, 1833, и *Рука Всевышняго отечество спасла*, драма Н. К., 1834.

Самозванцы рѣшительно привлекли къ себѣ воображеніе нашихъ писателей: съ нѣкотораго времени лучшія драматическія произведенія, лучшіе труды по части исторіи, посвящены Самозванцамъ. Ихъ оборотили на всѣ стороны, разглядѣли со всѣхъ боковъ, показали Самозванцевъ лицомъ, и вывернули ихъ наизнанку, чтобъ опять показывать. Полно мучить одну идею! Съ моей стороны, я совершенно сытъ ею, и желалъ бы, для разнообразія словесности, чтобы два сочиненія, о которыхъ будемъ здѣсь говорить, были послѣднимъ блюдомъ этого длиннаго пира воображеній, шумящихъ однимъ и тѣмъ же понятіемъ; желалъ бы этого тѣмъ болѣе, что, по-крайней-мѣрѣ, этотъ пиръ окончился бы громкимъ тостомъ — пьесою Н. К., то есть, г. Кукольника, при которой вся Россія отъ всего сердца прокричитъ торжественное — ура!

Я начинаю съ этой пьесы, которую, покамѣстъ, буду называть «пьесою», или «поэмою», пока не прищемъ для нея настоящаго названія, потому-что это

не драма. Въ ней непремѣнно должно отдѣлѣть, для критическаго разбора, предметъ отъ художественной части. Предметъ столь великъ, столь дорогъ для русскаго сердца, такъ тѣсно связанъ съ самыми священными для насъ чувствами, со всѣми понятіями нашего народнаго счастія, величія и славы, что онъ вдругъ затмѣваетъ собою всякую другую мысль, заставляя забыть о писателѣ, чтобъ помнить только о насъ самихъ, и забыть о насъ самихъ, чтобъ трепетать сладостнымъ восторгомъ передъ лицомъ высокихъ, торжественныхъ воспоминаній прошедшаго и самыхъ радостныхъ ощущеній настоящаго; предметъ поэмы есть картина блистательнаго, патріотическаго, совершившагося истинно въ народномъ духѣ, переворота, который возвелъ на престолъ династію Романовыхъ. Этой картины, облеченной волшебными формами поэзіи и превращенной въ драматическое зрѣлище, самый сильный и ослѣпительный образъ дѣйствія изыскаго на чувства, именно недоставало въ нашей словесности, и молодой поэтъ сдѣлалъ не только прекрасный подвигъ, но и безцѣнный для насъ подарокъ, стараясь пополнить своимъ трудомъ эту важную полость въ воздвигающемся колоссѣ русской литературы. Самое величіе предмета долженствовало внушить ему множество возвышенныхъ мыслей и стиховъ, пылающихъ священнымъ огнемъ любви къ престолу и отечеству, а его природное дарованіе доставить средства къ смѣлому, мощному и счастливому ихъ выраженію. По начертанному имъ плану, весь этотъ предметъ сосредоточенъ въ первомъ и послѣднемъ, то

есть пятомъ, актахъ, которые служатъ наружными стѣнами цѣлому зданію, и закрываютъ три средніе акта, — внутреннее расположеніе строенія. Въ этихъ двухъ актахъ онъ поэтъ, и самовластно владѣетъ нами и могуществомъ самаго предмета, и блескомъ поэтическихъ красокъ, употребленныхъ на его изображеніе.

..... *

Всѣ уста и всѣ сердца увѣнчаютъ чело юнаго поэта хвалою и благодарностью за патріотическіе стихи. Здѣсь не можетъ быть разногласія!

Исполненный пріятнѣйшаго восторга, который возбуждали во мнѣ патріотическія мѣста, я желалъ бы не быть въ обязанности говорить объ отношеніи этой поэмы къ искусству: но громкія похвалы, которыя воздалъ я первому произведенію автора, его драматической фантазіи «Торквато Тассо», возлагаютъ на меня долгъ чести и добросовѣстности, высказать и теперь мое мнѣніе во всемъ его пространствѣ: это вмѣстѣ и долгъ уваженія не только къ читателямъ, но и къ таланту самого поэта.

Я нарочно отдѣлилъ предметъ поэмы отъ художественной ея стороны: предметъ стоитъ подъ защитою общаго нашего благоговѣнія, и онъ внѣ всякой критики. Онъ даже въ неизвѣстной степени защищаетъ и самого писателя. Если бъ польза искусства, польза русской словесности и самого поэта, не требовала строгой оцѣнки количества таланта, какое пролилъ онъ въ этомъ сочиненіи какъ художникъ, я не сму-

* Опущены выписки, приведенныя здѣсь изъ драмы. Изд.

щаль бы его уснѣха жонни замѣчаніями. Теперь дѣло идетъ только объ его литературномъ искусствѣ.

Англичанинъ, прочитавъ «драму» г. Кукольника, сказалъ бы: This book is misnamed—потому-что Англичанинъ имѣетъ въ своемъ языкѣ прекрасное слово misnamed, котораго мы не имѣемъ. За недостаткомъ подобнаго слова, я долженъ сказать по-русски, очень пеловко, совсѣмъ не на-манеръ англійскій — что авторъ не впопадъ назвалъ драмою то, въ чемъ нѣтъ и слѣда драмы. Нѣмцы — о, я страхъ люблю Нѣмцевъ за ихъ аккуратность въ подобныхъ случаяхъ! — Нѣмцы называютъ творенія этого рода весьма скромно — *dramatische Vorstellung in fünf Abtheilungen*, что по-крещеному значить — *театральное представленіе въ пяти отдѣленіяхъ*.

Въ доказательство совершенной добросовѣстности разбора, я до-сихъ-поръ смотрѣлъ на эту пьесу только, какъ на *представленіе въ пяти отдѣленіяхъ*, и восхищался ея красотами, отнюдь не думая въ моемъ восхищеніи объ условіяхъ драмы. Въ критикѣ всегда есть двѣ точки воззрѣнія на подвергаемую суду книгу; можно глядѣть на нее снизу, и можно глядѣть сверху. Недоброжелательный литературный браковщикъ тотчасъ сталъ бы на высшей точкѣ, чтобъ обнаружить всѣ недостатки сочиненія, какъ драмы; онъ пустился бы доказывать, что поэтъ не понимаетъ, что такое драма; что тутъ нѣтъ ничего драматическаго, кромѣ наружной формы; что сочинитель не долженъ даже писать драмъ, что это не его дѣло. Я не скажу, чтобъ авторъ фантазій «Торквато Тассо» не былъ въ

состоитъ написать превосходную драму — и приписываю только ошибку, разсѣянности, слишкомъ высокій литературный титулъ этой второй пьесы. Я смотрю на пьесу снизу — говорю, что это eine tranquille Sache, театральное представлѣніе, особеннаго рода, торжественное, дышащее чувствомъ высокой добродѣтели, патріотизма, возбуждающее самыя лестныя и драгоцѣнныя для сердца воспоминанія, посвященное единственно патріотизму зрителей и читателей, но созданное безъ страстей, безъ интриги, безъ характеровъ: словомъ, представлѣніе въ лицахъ одного изъ величественнѣйшихъ событій нашей исторіи — и какъ «представлѣніе», нахожу пьесу во многихъ частяхъ прекрасною.

Всѣ занятія человѣческія можно раздѣлить на три части: занятія по тѣлу, по душѣ, и по душѣ и тѣлу. Трансцендентальный философъ разсуждаетъ только о душѣ. Нравственный философъ и драматистъ разсматриваютъ человѣка въ отношеніяхъ духа къ тѣлу. Кровь и духъ — то есть, сердце и душа, — то есть, страсти и умственные совершенства или добродѣтели, составляютъ предметъ ихъ соображеній и трудовъ. Драматистъ есть въ то же время нравственный философъ. Страсти и умственные совершенства, слитыя въ одну массу, суть весь человѣкъ, и драматистъ наравнѣ съ нравственнымъ философомъ упражняется въ его разложеніи, съ тою лишь разницею, что нравственный философъ только разлагаетъ, тогда какъ драматистъ, сочетая разложенныя начала, выдѣляетъ изъ этой массы новыя, изящныя виды. Страсти, ихъ

быстрое, неровное, всегда запутанное движеніе, ихъ игра, также непрерывная и темная, какъ игра самой крови, образуютъ грунтъ или глубину его картины; по этому грунту пролетаютъ въ разныхъ направленіяхъ свѣтлыя молнія духа, и яркими чертами своими рисуютъ на немъ тѣ бѣглыя, фантастическіе узоры, которые называемъ мы характеромъ. Характеръ есть отраженіе чертъ души на страстяхъ. Драмою называемъ мы теперь искусство, высочайшую степень искусства представлять изъ тѣла и духа, изъ страстей и дѣйствій ума, самыя изящныя и замысловатыя картины и явленія: это родъ физическихъ опытовъ нравственной философій, производимыхъ публично, передъ зрителями и слушателями. Патріотизмъ не страсть, но добродѣтель, восторженное состояніе души, минута изытія изъ обыкновеннаго характера человѣка. И все это означаетъ, что гдѣ повѣсть пьесы исключительно основана на дѣйствіи патріотизма, тамъ могутъ быть блестящія картины прекрасныхъ подвиговъ, но нельзя быть характерамъ, и слѣдственно тамъ нѣтъ драмы, и это слово неумѣстно на заглавномъ листѣ пьесы.

Мининъ лице вдохновенное; Пожарскій, патріархъ тоже, равно какъ и всѣ безсмертные ихъ сподвижники. Нашъ поэтъ романтикъ. Понятія о существѣ драмы переѣнились. Самое слово *драма* получило въ наше время совсѣмъ другое значеніе. Нѣкогда трагедія и комедія стояли выше драмы; теперь та и другая составляютъ только отрасли, виды драмы, которая сдѣлалась типомъ, экстрактомъ всего драмати-

ческаго искусства, бельведерскимъ Аполлономъ изящной словесности. Итакъ, не о чемъ болѣе и спорить.

Настоящее дѣйствіе пьесы заключается въ первомъ и пятомъ актахъ: должно сожалѣть, что поэтъ не ограничился ими. Я въ особенности о томъ сожалѣю, потому-что, подавъ по случаю перваго его творенія столь выспреннія объ немъ надежды, по несчастію не могу отыскать въ трехъ среднихъ актахъ новой его поэмы тѣхъ даже драматическихъ красоть, которыя искупили бы ихъ отъ имени посредственности относительно къ искусству. Одна только важность предмета и хорошіе стихи спасаютъ ихъ честь, но — искусства, воображенія, драматическаго таланта, рѣшительно въ нихъ нѣтъ никакого. Это рядъ сценъ безъ связи. Заруцкій, твореніе неясное, противологическое, безотчетливое, дѣйствующее наудачу, изъясняющееся то по-мужичьи, то по-философски, бросающееся на предпріятія и злодѣянія безъ средствъ, безъ сообщниковъ и безъ слѣдствій, ничѣмъ не останавливающее хода происшествія и бесполезное для интриги — совершенное отсутствіе которой въ состояніи удивить всякаго, кто подумаетъ, что авторъ, быть-можетъ, въ самомъ дѣдѣ хотѣлъ написать драму. Марина — вакханка, и совсѣмъ лишняя въ пьесѣ. Вся перипетія этихъ трехъ среднихъ актовъ заключается въ угрозахъ, которыя не исполняются, въ спорахъ, которые тотчасъ рѣшаются, и просьбахъ, которыя, по существу дѣла, не могутъ быть приняты. Повторенія однихъ и тѣхъ же выраженій и длинныя безконечныя рѣчи, увеличиваютъ еще число недостатковъ этой части

пѣзмы, которая была бы прекрасная, лирическая сцена, еслибъ вся состояла изъ двухъ актовъ, перваго и послѣдняго.

Но всего для меня прискорбнѣе — для меня, который за видѣніе Тасса, за смерть Лукреціи, назвалъ г-на Н. К. великимъ Куколѣнникомъ и нашимъ юнымъ Гёте — что во всей этой пьесѣ отнюдь не вижу высокаго творческаго дара автора фантазіи. Поэтъ рѣшительно повторился во второмъ своемъ произведеніи, не говоря уже, что и самая идея его Минина есть явное повтореніе Орлеанской Дѣвы. Шиллеръ! Шиллеръ!... Читая «Руку Всевышняго» я все думаю о Шиллерѣ — и потому мнѣ все хочется говорить по-нѣмецки! — и потому невольно вырываются у меня слова *Vorstellung, tranquille Sache; u. s. w.!*.... Не подражайте, молодой поэтъ: вы уже доказали, что можете быть оригинальнымъ! Не повторяйтесь, Бога ради, не повторяйтесь: въ литературѣ, это самый тяжкій грѣхъ; ваши завистники — вы будете ихъ имѣть, и пропасть! — скажутъ, что у васъ нѣтъ воображенія. Въ фантазіи и въ такъ-называемой драмѣ большая часть положеній и драматическихъ средствъ одни и тѣ же. Мининъ, и въ нѣкоторомъ отношеніи самъ Пожарскій, очень напоминаютъ лирическое лицо Тасса. Сцена больнаго героя не что иное, какъ отблескъ сцены больной Лукреціи. Молитвы и паденіе на колѣни — одинаковыя пружины эффе́нта въ обѣихъ пьесахъ. Марина, копія одного изъ сумасшедшихъ въ «Тассѣ» съ прибавленіемъ пѣсенки милой Розины. Что это Богъ? что это Богъ — не-

удачное повтореніе прелестнаго вопроса послѣдней: — Джуліо, что́ это за страсть? — Сердце разорвалось — сердце лопнуло — и множество другихъ выраженій и цѣлыхъ мыслей, созданныхъ для фантазіи, выданы только на прокатъ новой поэмѣ. Прорицаніе Тасса и прорицаніе Пожарскаго.... Конца не было бы этимъ сравненіямъ, еслибъ я сталъ сближать всѣ сходныя мѣста. Нѣтъ, тутъ не бывалъ творческій геній!

Да послужить это урокомъ молодому поэту: безъ сильныхъ страстей нѣтъ драмы въ природѣ, и безъ зрѣлыхъ, искусныхъ, долго и глубоко обдуманныхъ соображеній нельзя произвести ничего прекраснаго. Кто избираетъ предметъ патріотическій, тотъ всегда можетъ быть увѣренъ въ громкихъ рукоплесканіяхъ и восторгѣ зрителей; но въ такомъ случаѣ долгъ сочинителя съ дарованіемъ удвоить, утроить свои усилія, чтобы совѣстно исполнить обязанность свою въ отношеніи къ художеству, и быть потомъ въ правѣ сказать себѣ и другимъ: Нѣтъ! я не подставилъ своей литературной славы подъ градъ рукоплесканій, которому назначено было упасть прямо на избранный мною предметъ; нѣтъ! я не похитилъ неправильно для себя восторга, возбужденнаго мною именемъ отечества! въ этомъ изліяніи патріотическаго одобренія половина рукоплесканій и восторга законно принадлежитъ литературѣ, моему искусству, внутреннему достоинству моего труда! Авторъ удивительной фантазіи, почти отличной драмы, «Торквато Тассо», въ состояніи создать и написать что-нибудь въ тысячу разъ лучше этихъ трехъ актовъ, и во столько же разъ достойнѣе

идти рядомъ съ первыми и пятими антами второй его поэмы, которыми я отдаю полную справедливость, какъ блестящей лирической картинѣ драгоцѣннаго для всей Россіи, для ея блаженства и славы, событія. Изъ любви къ русской словесности должно сказать эту рѣзкую истину молодому поэту, чтобъ снискать высокое его дарованіе для нея самой: безусловныя похвалы уже погубили не одного талантъ. Самъ поэтъ, я надѣюсь, оцѣнитъ благонамѣренность побужденія, котораго я у меня вслѣдъ за искреннею похвалою хотѣлъ и для меня самого неприятный судъ: онъ можетъ быть увѣренъ, что всякій новый истинный его подвижокъ въ области прекраснаго всегда найдетъ въ этомъ журналѣ вѣрный отголосокъ заслуженной похвалы, но всякая слабая попытка его дарованія, начавшаго свое поприще столь блистательнымъ образомъ, услышитъ изъ него же строгій голосъ истинны.

— Теперь о трагедіи г. Комарова. Гдѣ то счастливое время, когда читателя стоило только вспомнить, что дѣлала (онъ) читая книгу, чтобъ сказать съ достовѣрностью, какой родъ сочиненія былъ у него въ рукахъ! Если въ книгѣ убили человѣка и онъ плакалъ — то была трагедія, безъ всякаго сомнѣнія: онъ могъ держать пари, присягнуть, стрѣлится, и убить спорщика по чистой совѣсти, въ томъ, что это трагедія. Если никого не убияли, и онъ смѣялся, то была комедія: онъ зналъ и всѣ знали, что это комедія, и Европа была снисходительна. Если онъ плакалъ и смѣялся — то была драма; и тогда возникалъ страшный шумъ въ Европѣ. Зачѣмъ онъ смѣялся и плакалъ? Онъ долженъ

быть только смѣяться или плакать! Кто осмѣлился такъ безчеловѣчно мучить сердце честнаго, невиннаго челоуѣка, возбуждая въ немъ два такіе противоположные рода судорогъ? Кто нарушилъ порядокъ чувствованій, установленный для всѣхъ людей съ такимъ впусомъ Квинтиліаномъ, Петеромъ, Баттѣ и мосье Лагарпомъ? Ловите его! держите! Заряжай критическія баттареи! стрѣлай въ него картечью! Пусть знаетъ, невѣжда, что не должно смѣшать людей и въ то же время заставлять ихъ плакать: это вредно здоровью, останавливаетъ пищевареніе и ведетъ словесность къ унадуу.

Прошло то время!—теперь позволено всякому, кто только беретъ перо въ руки, дѣлать съ челоуѣческимъ сердцемъ что угодно—колоть, щекотать, жечь, и раздирать по кускамъ — и самому же смѣяться! Драма эта, нѣкогда угнетенная, осмѣянная, покрытая стыдомъ и отреньемъ рабыни — драма отважно прижидаясь, и, въ свою очередь, схватила двумя руками трагедію и комедію за причесанныя à la Lucrèce волосы, повергла изнѣженныхъ противницъ подъ свои толстыя и черныя ноги, и недовольная побѣдою, взяла еще горсть грязи и постыдно натерла имъ ею лица, ярко расписанныя бѣлилами и карминомъ. Драма восторжествовала. Она ограбила трагедію и комедію, овладѣла ихъ гардеробомъ и владовою чувствъ, пожила смѣхъ, олезы, ужасъ, состраданіе, злодѣянія, страсти, пороки — словомъ, все изящное. Драмѣ позволено все, все: она можетъ убивать и дурачиться, отравлять и пилить, пѣть и сажать на моль, взды-

кать и цыганить, хохотать во все горло и рыдать безъ памяти. На свѣтѣ есть только драма; *безъ драмы нѣтъ ничего въ свѣтѣ* — исключая скуки. Пусть и такъ! — переворотъ совершился, драма взошла на престолѣ искусства, и я готовъ признать новую царицу, съ условіемъ, что въ ея владѣніяхъ никогда не будетъ жить скука. Помни же наше условіе, могущественная драма: это моя граммата, обезпечивающая права и преимущества моего лица, какъ покорнаго читателя: коль скоро ты ихъ нарушишь, я не выдержу, — я усну!

Послѣ всего этого, есть ли еще у насъ, въ Европѣ, въ 1834 году, трагедія?.... Богъ знаетъ! кажется, нѣтъ! Но если предстанетъ предъ васъ порядочная книга, въ хорошей блѣдно-желтой или дико-зеленой оберткѣ, по послѣдней модѣ, именующая себя трагедіею, и еще новыми вычурными буквами?.... А! тогда нѣтъ другаго средства, какъ подать ей вѣжливо руку съ тремя вестрисовскими поклонами, проводить запоздавшую гостью назадъ черезъ длинный рядъ тридцати трехъ годовъ, и, сѣвъ важно на рубежѣ XVIII и XIX столѣтій, приступить къ разсужденію съ нею о дѣлѣ, вдали отъ шумнаго царства драмы, отъ безначалія ультра-романтизма. Въ томъ только жѣстѣ поймете вы другъ друга, и никто не помѣшаетъ вашей бесѣдѣ; тамъ все тихо, чинно, благородно; тамъ господствуетъ строгій этикетъ, который говоритъ вамъ положительно: Если эта гостя убьетъ человѣка и заставитъ васъ плакать, принимайте ее съ почестями, должными трагедіи; если она будетъ только смѣяться, такъ это

комедіи, тоже лице важное; если же станет смѣяться и плакать, вести себя неприлично — то значить, что она изъ разночинцевъ: обойдитесь съ нею, какъ угодно; — можете поцѣловать ее въ лицо, если хороша собою!!

Все это прекрасно; но я знаю одинъ казусъ, къ которому правила этого этикета не примѣняются; а если эта книга не заставитъ меня ни плакать, ни смѣяться, какой тогда у нея чинъ, и какъ ее принять? И въ этотъ казусъ я попадаю очень часто: вотъ, недавно имѣлъ я дѣло съ драмою, которая была именно въ этомъ вкусѣ; теперь является другая книга, приказанная доложить о себѣ, что она трагедія, и которая тоже не смѣется, и не плачетъ, хотя сперва отпускаетъ шутки, а потомъ убиваетъ человѣка. Тутъ остается въ туникѣ хоть какая риторика — и классическая, и романтическая!

У насъ рѣшительно хотятъ писать драмы (трагедія тоже драма) безъ страстей! А я рѣшительно буду говорить всякой драмѣ безъ сильныхъ страстей, что она скучна, и не должна называться драмою, хотя бы наумяннплась всеми красотами поэзіи и прозы! Что значить этотъ морозъ въ двадцать-четыре градуса, который хотятъ непременно водворить подъ блистательнымъ, налицымъ небомъ: нивящаго? Отчего кровь такъ у насъ застыла, что мы ужъ сдѣлались безмятежны сердцемъ какъ схимники?... Господа, воспламенитесь! воспламенитесь чѣмъ бы то ни было! — хоть гнѣвомъ на своего критика: это тоже страсть; и можете внушить вамъ что-нибудь сильное,

пылкое, трогательное, высокое. Словесность согрѣется и оживится: теперь она дуетъ въ пальцы и мерзнетъ отъ вашихъ драмъ и трагедій! Безъ живописи сильныхъ страстей нѣтъ изящнаго созданія, потому-что нѣтъ и настоящаго искусства, со стороны писателя. Въ наукахъ вы можете отличиться трудолюбіемъ, точностью, обширными познаніями, важными открытіями, которыя тѣмъ именно возбуждаютъ къ вамъ удивленіе, что заставляютъ предполагать отъ васъ большое усиліе, побѣдившее много трудностей, ужасающихъ не-ученаго. Но въ словесности! на чемъ можете вы опереть въ словесности притязанія свои на удивленіе и славу? Вы являетесь къ читателю безъ всякихъ заслугъ въ умственномъ мірѣ; вы ничего не сдѣлали для человѣка; вы его, какъ вашего читателя, даже не научили сдѣлать иголку скорѣе и дешевле: вы совершенно равны ему передъ обществомъ. У васъ есть воображеніе; у него тоже. Вы пишете, что воображеніе вамъ диктуетъ; онъ можетъ взять перо и списать то, что его воображеніе, разыгравшись, натворить въ его головѣ — и быть-можетъ занимательность будетъ еще въ его пользу. Вся разница между имъ и вами, что онъ лѣнитъ писать, а вы преодолѣли вашу лѣнь, и, увы! — торжество надъ лѣнью иногда принадлежитъ не вамъ, а нуждѣ! Все ваше передъ нимъ отличіе, что онъ не привыкъ владѣть даромъ слова, а вы легко имъ владѣете — ничтожное отличіе, которое не возноситъ васъ выше хорошаго говоруна! Въ чемъ же заключается благородство вашего ремесла? Что называете вы своимъ искусствомъ? Гдѣ высокій секретъ вашего художе-

ства?—Онъ весь въ сердцѣ. Пусть ваша мысль смѣло бросится въ этотъ мрачный и бездонный колодезь страстей, и сильною рукою вынесетъ оттуда на свѣтъ завѣтныя истины моей животной жизни, и покажетъ мнѣ огненный міръ, который я только чувствую въ моей груди, не смѣя заглянуть въ него умомъ, и обнаружить глазамъ моимъ бorenіе, игру стихій, изъ которыхъ, въ темнотѣ страданій, ударяютъ въ мою душу грома несчастія, и порой бьетъ блистательная радуга счастья, окрашивая роскошными цвѣтами туманные своды моего бытія хоть на короткое время; пусть ваше перо вѣрно изобразить эту ужасную и величественную игру духовъ внутренняго свѣта, который не есть ни адъ, ни небо, а смѣшеніе неба и ада, мой собственный свѣтъ, заключенный въ границахъ моего тѣла; пусть еще ваше слово сообщить этому изображенію подлинный, живой, теплый колоритъ предметовъ этого непреступнаго для обыкновенныхъ умовъ свѣта, хотя граничащаго съ ними — будьте живописцемъ сердца и мятежныхъ его обитательницъ, страстей — и я преклоню передъ вами колѣно; назову васъ художникомъ, стану удивляться вашему искусству. Если вы вздумаете описывать мнѣ стихотворнымъ языкомъ наружныя дѣйствія тѣла, я скажу, что вы пишете газету въ стихахъ, и возьму читать исторію, въ которой найду описаніе тѣхъ же дѣйствій, вѣрнѣе и лучше, потому-что тамъ нѣтъ при-мѣси воображенія. И не думайте, чтобы съ помощію одной холодной выдумки обстоятельствъ для развитія этихъ дѣйствій, могли вы создать либо предста-

вить характеры, извѣстные нравственные типы. Характера нѣтъ, доколѣ сильныя страсти не дѣйствуютъ въ человѣкѣ — есть только поведеніе. Оно принадлежитъ исторіи. Характеръ есть слогъ страсти: освѣщенная съ одной стороны факеломъ вашей мысли, она бросаетъ на стѣну жизни тѣнь свою и слитой съ нею души, рисуя и вѣрный, рѣзкій профиль послѣдней — и это есть характеръ. Тщетно будете вы подстрекать поведеніе мелкими или искусственными страстями, произведенными гражданственностью, чтобъ вывести его изъ себя и заставить показать душу: оно побѣдитъ ничтожныя вожделѣнія, и скроетъ отъ васъ человѣка. Если заставите его проболтаться, то упрекъ падетъ на васъ: вы представите только человѣка безъ поведенія, несообразнаго, неправдоподобнаго, не представляющаго ничего для художества: вашъ человѣкъ будетъ чуждакъ — вы, писатель безъ искусства. Не забывайте, что вашъ читатель самъ человѣкъ образованный, хорошій общественный лицеѣръ, то есть, съ хорошимъ поведеніемъ: онъ проститъ вашему человѣку неумѣстное открытіе тайнъ его души только въ случаѣ такой бури сердца, которой самъ онъ испугается такъ, что забудетъ о всѣхъ приличіяхъ и условіяхъ искуснаго поведенія.

Не мелкія и большею частію искусственныя страсти, но сильныя, коренныя страсти человѣческой природы составляютъ первую матерію изящнаго созданія въ словесности, особенно драмы. Это иначе и быть не можетъ. Между этими страстями художество должно еще избирать такія, кокорыя понятны всѣмъ вообще

сердцамъ, и отъ которыхъ никто не уклоняется, хотя въ правѣ не ощущать ихъ въ высокой степени. Инстинктъ всего человѣчества, съ незапамятныхъ временъ, отгадалъ и указалъ художникамъ тѣ страсти, или тотъ рядъ страстей, въ которыхъ заключается истинное начало изящнаго и драмы: это любовь — любовь чувственная, материнская, отцовская, сыновняя — но все любовь. Никто не оспаривалъ этой истины, доколѣ неумѣніе художниковъ и плоское подражательство не наскучило однообразностью произведеній. Родившаяся въ наше время, гордое исчадіе матеріализма, система утилитарная, подводя душу и сердце подъ четыре ариѳметическія правила, переплавляя все въ вещество, числа и золото, превращая страсти въ паръ для фабричныхъ машинъ, подняла невѣжественный, грубый вопль и противъ любви, стала осмѣивать ее замаранными производительною сажею устами, и дерзнула управлять изящнымъ по политической экономіи. По ея приказанію, люди, никогда не разсуждавшіе объ истинно-прекрасномъ и художествѣ, или, по своей слабости, повиновавшіеся новымъ понятіямъ, которыхъ сами знали всю неосновательность и уродливость, рѣшились быть умнѣе вѣрнаго инстинкта своего рода, и стали писать трагедіи безъ любви — писать драмы, писать комедіи и даже романы, безъ любви. Прочь, любовь! прочь, мерзкая и несвойственная человѣку страстишка! Гоните безобразное и скучное чувство изъ словесности, изъ общества, изъ Европы, отсюду! Запереть всѣ парадныя лѣстницы! Если она опять появится, то пусть ее прыгаетъ по черной лѣстницѣ — въ дѣвичью,

если угодно! — не то въ романы Поль-де-Кока! — туда, гдѣ нѣтъ словесности!

Ни слова! очень справедливо! Любовь надоѣла: но покажите, что произвели вы хорошаго безъ нея? Много ли осталось, для потомства, твореній, которыхъ не оживила она своимъ огнемъ? Гдѣ они? Преспокойно спать на полкахъ библіотекъ, усыпивъ три четверти читателей! Или иногда еще пробѣгаютъ ихъ, зѣвая, истасканные жизнію холостяки, единственно на зло своимъ любовницамъ! Незавидная судьба для плода ума человѣческаго! Это понятіе о драмѣ безъ любви — въ возможность которой многіе у насъ еще вѣрятъ или стыдятся не вѣрить — было нѣкоторое время въ модѣ во всей Европѣ. Европа уже объ немъ забыла; но у насъ моды не такъ-то скоро проходятъ: ихъ длинный, изорванный шлейфъ всегда долго еще тащится по нашей землѣ. Но что касается до драмы безъ любви, то, по-видимому, нашъ литературный міръ крѣпко ухватился за это понятіе, и держитъ его за хвостъ обѣими руками. Пустите его, пожалуйста: вы оторвете хвостъ, и сами опрокинетесь на землю. Съ нимъ ничего не выиграете! Пустите, и оглянитесь. Видите, вся Европа опять стряпаетъ драмы на любви, убѣдясь, что иначе быть не можетъ! Видите, Викторъ Гюгò, отчаянный ультра-романтикъ, непримиримый врагъ всего классическаго, человѣкъ, который жертвуетъ высокою своею судьбою, чтобъ казаться необыкновеннымъ — самъ Викторъ Гюгò изъ любви выливаетъ первыя формы своихъ драмъ. Вы спросите, почему? — потому, что въ немъ есть инстинктъ генія, который ясно видить

существо дѣла. Любовь есть единая истинно-драматическая страсть въ природѣ: во-первыхъ, она мила, трогательна, сильна и никому не противна; она непримѣтно распаляетъ зрителя и читателя, и увлекаетъ его въ пользу повѣсти, въ которой господствуетъ; она основаніе занимательности всякой интриги; во-вторыхъ, она представляетъ художнику неисчерпаемый источникъ изящныхъ соображеній, потому-что въ ней соединяются всѣ другія коренныя жизненныя страсти — ревность, ненависть, месть, зависть, коварство, отчаяніе — всѣ добродѣтели и всѣ злодѣянія, всѣ благородныя движенія души и всѣ злобные порывы сердца; въ-третьихъ, отъ нея рѣзко и превосходно отражаются искусственныя страсти общественнаго человѣка — гордость, тщеславіе, честолюбіе, скупость, и. т. п. Съ нею сочетается все: она всеобщая страсть природы, и для драматическаго созданія нѣтъ на землѣ лучшей и богатѣйшей основы. Сверхъ-того драматистъ находитъ подлѣ нея двѣ важныя и самыя естественныя пружины занимательности — красоту и юность. Изящное, отвергая любовь, отвергаетъ родную мать, потому-что безъ любви мы не имѣли бъ и понятія объ изящномъ.

Эти разсужденія показались мнѣ необходимы, и я съ удовольствіемъ распространился о предметѣ, который считаю чрезвычайно важнымъ для искусства въ нашемъ отечествѣ. Въ нашей возникающей словесности, для ея блага, должно всѣми силами обращать усилія писателей къ истиннымъ началамъ художества, когда они увлекаются ложными понятіями, примѣчательными только по своей необычайности; должно откровенно

предостеречь тѣхъ, отъ которыхъ зависить будущая слава литературы, что они берутъ на себя бремя сверхъ силъ человѣческихъ, и бесполезно теряютъ свои досуги на достиженіе невозможнаго: иначе, русская словесность всегда будетъ въ младенчествѣ, и мы не произведемъ ничего великаго, ничего удивительнаго. Но пора приступить къ трагедіи г. Хомякова, то есть, возвратиться къ начатому: теперь уже не уклонюсь отъ предмета. Самозванецъ г. Хомякова не похожъ на другихъ печатныхъ самозванцевъ: поэтъ предпринялъ формальную апологію Гришки Отрепьева, и желалъ показать его человѣкомъ необыкновеннымъ, одушевленнымъ высокими помышленіями, но поставленнымъ въ ложное положеніе, преданнымъ въ руки глупыхъ и коварныхъ совѣтниковъ, слабымъ, и въ то же время твердымъ и слабымъ — коротко, человѣкомъ высшаго разряда, но неопытнымъ и нерасчетливымъ. Быть-можетъ, г. Хомяковъ уже достоинъ похвалы за то, что не думалъ чужою головою, но смѣло излилъ на бумагу то, что самъ задумалъ — и притомъ излилъ въ хорошихъ стихахъ. Но я не скажу, чтобъ такой самозванецъ былъ вполне лице драматическое, и могъ замѣнить собою въ повѣсти недостатокъ основнаго начала занимательности и изящнаго — сильной и нѣжной страсти. Самозванецъ не въ состояніи быть занимательнымъ — потому, что онъ самозванецъ. Мы не въ силахъ и не должны принимать живаго участія въ плутѣ, какъ бы замѣнить онъ ни былъ. На комъ опирается интересъ драмы г. Хомякова — если только въ его трагедіи есть драма? Рѣшительно, ни на комъ! Теперь научите меня

средству выдержать до конца чтеніе книги въ 200 страницъ, изъ которой изгнаны за излишествомъ не только страсть, но и занимательныя лица!..... Всѣ дѣйствующія фигуры отвратительны: Самозванецъ — самозванецъ, и этого довольно; Шуйскій—лицемѣръ, ханжа, холодный честолюбецъ; Марина и патеръ Квицкій—изверги, безъ поведенія; вдовствующая царица и Басмановъ—сообщники обмана и лица второстепенныя; прочіе—пролазы, льстецы, глупцы или слѣпыя орудія. Подобной ошибки въ планѣ, въ созданіи формы изящнаго творенія, не искупить ни какой талантъ въ мірѣ.

Поэту оставались еще театральные эффекты, но онъ презрѣлъ и эту пружину. Двѣ сцены, въ которыхъ ожидалъ я встрѣтиться съ ними, это — объясненіе Димитрія съ царицею Марѳою, и совѣщаніе его съ женою. Я думалъ, что тутъ разразится громъ надъ Димитріемъ; что послѣ долгаго спора съ мнимымъ сыномъ, несчастная мать рѣшится на послѣднее средство, произнесетъ упрекъ, который собственное достоинство и гордость не позволяли ей обнаружить до того времени, и, въ отчаяніи, скажетъ ему, что онъ не ея сынъ — что она знаетъ обманъ его! Димитрій, вдругъ уничтоженный среди ослѣпленія своего счастья; мать, доведенная добродѣтельнымъ гнѣвомъ до самаго унижительнаго признанія—безъ сомнѣнія образовали бы прекрасное драматическое положеніе. Но у г. Хомякова Димитрій и царица Марѳа старые знакомцы: они обманываютъ вмѣстѣ, съ общаго согласія, и съ перваго слова знаютъ какъ называть другъ

друга. Послѣ этой *читательской* неудачи, я надѣялся, что, когда придетъ рѣшительная минута, авторъ доставить мнѣ по-крайней-мѣрѣ обратную эффектную сцену, и Самозванецъ, въ опасности, сдѣлаетъ съ женою, гордою знаменитостью своего рода и тщеславною до безконечности, то, что мать забыла съ нимъ сдѣлать—что онъ разразитъ Марину, вѣтрено предающуюся упоенію величія, необходимымъ признаніемъ въ своемъ самозванствѣ. Ничего не бывало! Марина давно о томъ знаетъ; Дмитрій никогда не скрывался передъ нею, и между ними это домашнее дѣло. Это ужъ не только не драматически, но и не правдоподобно! А сцена между супругами могла бы быть чудесна — даже при небольшомъ искусствѣ!

Содержаніе трагедіи, въ которой нѣтъ ни сильныхъ страстей, ни занимательныхъ лицъ, весьма просто. Въ первомъ дѣйствіи разговариваютъ объ охотѣ, и дьякъ Осиповъ уличаетъ Дмитрія, въ присутствіи всѣхъ вельможъ; Шуйскій взять подъ ссажу и преданъ суду. Во второмъ, Шуйскій приговоренъ къ смерти: всѣ ходатайствуютъ о помилованіи, и ему прощается. Въ третьемъ дѣйствіи, Дмитрій обиженъ посломъ Сигизмунда, и готовитъ войну Литвѣ, но Марина его уговорила, и онъ, для прелестныхъ ея глазокъ, теряетъ даже тѣхъ приверженцевъ, которыхъ снискала ему благородная его рѣшимость. Совѣщанія заговорщиковъ у Шуйскаго возобновляются, и здѣсь является тѣнь интриги, которая ослабѣваетъ въ длинныхъ сценахъ исчезаетъ въ преждевременныхъ объявленіяхъ о томъ, что кто намѣренъ дѣлать.

Съ одной стороны бояре готовить у Шуйскаго погибель Самозванцу; съ другой Самозванецъ увѣщаваемый женою и езуитомъ, собирается однимъ ударомъ, во время пира, истребить всѣхъ бояръ. Послѣдняя сцена была бы прекрасна, еслибъ Марина и езуитъ имѣли болѣе *поведенія*; но въ рѣчахъ Марины нѣтъ ничего женскаго, въ езуитѣ ничего езуитскаго. Наконецъ, бояре предупреждаютъ ударъ, и Самозванецъ убить, какъ въ романѣ Булгарина. Шуйскій достигъ верховной власти: онъ обманулъ всѣхъ!

Отнюдь не утверждаю я того, чтобъ, въ этомъ произведеніи не было удачныхъ мѣстъ, даже хорошихъ сценъ; — напротивъ, въ немъ очень много прелестныхъ выраженій и стиховъ: но, по моему мнѣнію, при такомъ промахѣ въ созданіи цѣлаго, частныя красоты значать то же, что горсть золота, брошенная въ море для испрошенія попутнаго вѣтра, когда корабль застигнуть тишью. Золото потеряно — и корабль стоитъ на мѣстѣ.

1834.

ЧЕРНАЯ ЖЕНЩИНА

и

ЖИВОТНЫЙ МАГНИТИЗМЪ.

По поводу романа *Черная Женщина*, Н. Греча. 1834.

Романъ г. Греча есть явленіе совсѣмъ необыкновенное въ нашей словесности: это не сказка и не повѣсть; не страничка, вырванная изъ исторіи и разведенная выдумками и разговорами на четыре тома; даже не философическая картина частной и семейной жизни: авторъ избралъ себѣ цѣль гораздо величественнѣе; стремленіе его несравненно выше и смѣлѣе. Это — романъ метафизическій. Одна сильная и лучезарная идея господствуетъ, подобно огненному облаку, надъ всѣмъ пространствомъ богатаго разнообразіемъ и происшествіями разсказа, и заключается въ томъ, что въ вещественномъ мірѣ очевидно преобладаетъ духовное начало. Цѣль автора передать это убѣжденіе. Что все въ мірѣ движется духомъ, что его могущество проявляется во всемъ созданномъ, это несомнѣнно; но мы крайне сомнѣваемся, можно ли это доказать романомъ, то есть, поэтическимъ вымысломъ.

Чѣмъ болѣе точныя науки приближаются къ настоящимъ ихъ началамъ, тѣмъ яснѣе становится для нихъ и для ума человѣческаго существованіе единого, всемогущаго Бога: оно теперь можетъ быть доказано, такъ сказать, математическими вычисленіями, и самая математика, составляющая общее основаніе формъ нашего разума и силы, управляющей вселенною, есть только одна изъ точекъ, самыхъ ясныхъ точекъ соприкосновенія нашей души съ существомъ всеобщаго разума міра. Астрономія на небѣ, на землѣ анатомія, геологія, естественная исторія, физика и химія, каждый день доставляютъ новыя и убѣдительнѣйшіе доводы въ пользу великой и непреложной истины. Какъ скоро происхожденіе души нашей отъ Божества, какъ скоро тождество ихъ духа и вѣчная ихъ связь между собою однажды приведены въ ясность неопровержимыми выводами точныхъ познаній человѣка, откровеніе и вѣра дѣлаются необходимымъ слѣдствіемъ этого наведенія: всякъ, однимъ здравымъ разсудкомъ, постигаетъ ихъ неизбѣжность.

Авторъ могъ употребить для своей цѣли всѣ данныя точныхъ наукъ, подобно ученымъ и краснорѣчивымъ писателямъ, раздѣлившимъ между собою бриджватерскую премію, хотя это выходило бы изъ предѣловъ изящнаго сочиненія. Онъ могъ призвать въ помощь истины нравственной философіи, науку практической жизни, и, помощію ея факела, вывести насъ изъ темени предполагаемаго сомнѣнія на великій путь своего начала. Но онъ предпочелъ всѣмъ этимъ мощнымъ и великолѣпнымъ средствамъ, уже самимъ собою

облагороживающимъ чловѣка и приближающимъ его къ божеству, одну изъ самыхъ сомнительныхъ отраслей положительнаго знанія, еще не очистившуюся отъ заслуженнаго упрека въ шарлатанствѣ, еще не доказавшую ничего яснаго: онъ предпочелъ животный магнитизмъ. При выборѣ его въ главныя пружины убѣжденія въ литературной повѣсти, первая и весьма важная ошибка состоятъ въ томъ, что писатель вдругъ и добровольно лишается согласія съ его мнѣніями всѣхъ тѣхъ, которые не имѣютъ достаточныхъ поводовъ вѣрить дѣйствительности чудесъ этой пружины. Алимари, который есть родъ осуществленія личныхъ понятій автора, говорить, что онъ твердо вѣрить животному магнитизму: намъ довольно замѣтить, что въ опытномъ изученіи природы это уже очень бѣдная истина, въ которую нужно только вѣрить. Еще несвойственнѣе употреблять животный магнитизмъ во всемъ его пространствѣ въ подкрѣпленіе предложенной истины, преобладанія въ мірѣ духовнаго начала, тогда-какъ теорія этого магнитизма въ конечномъ своемъ итогѣ низводитъ душу чловѣческую на степень вещественнаго дѣателя. Правда, духовный мистицизмъ нѣсколько уже разъ пытался воспользоваться таинственными его чудесами для своихъ созерцаній и даже основывалъ на нихъ свои ученія; но, вникнувъ короче въ дѣло, онъ всегда кончалъ тѣмъ, что вдругъ сталъ убѣгать столь опаснаго союзника, и оставлялъ въ недоумѣніи своихъ восторженныхъ послѣдователей. Отсюда многіе смѣшиваютъ явленія магнитизма съ явленіями духовнаго міра, чему отчасти причиною и самое назва-

ніе существовавшей между магнитистами школы спиритуалистовъ, которые, не имѣя ничего общаго съ духомъ, отличались отъ другихъ только средствомъ производства магнетизма черезъ напряженіе воли, и самую волю превращали въ вещество.

Большая часть дѣйствующихъ лицъ «Черной Женщины» духовидцы, обитаютъ среди призраковъ, имѣютъ вѣщіе сны, предсказываютъ будущность. Мы не думаемъ, чтобы, наполнивъ видимый міръ призраками и привидѣніями, можно было доказать преобладаніе въ немъ духовнаго начала: они существуютъ, — это правда, но существуютъ только какъ оптическіе обманы; они — тѣнь, бросаема въ воздухъ нашими мыслями, нашимъ воображеніемъ; въ крайнемъ случаѣ они доказываютъ только, что есть люди съ разстроенными нервами. Кому изъ насъ, въ сильномъ напряженіи мысли, особенно при легкой лихорадкѣ и позывѣ на сонъ, не случалось вдругъ увидѣть передъ собою образъ человѣческой, иногда и свой собственный? Но это еще не духи: всѣ мы знаемъ, и почтенный авторъ «Черной Женщины» безъ труда на то согласится, что этотъ кажущійся образъ былъ во мнѣ, а не внѣ меня, и что это было только случайное продолженіе фокуса моего воображенія. Оттого никто, кромѣ меня, и не видѣлъ этого образа. Само собою разумѣется, что если бъ я былъ Карломъ IX или Густавомъ III, тотъ или другой изъ моихъ льстецовъ увидѣлъ бы тоже, и еще яснѣе меня, какъ скоро я спросилъ бы его объ этомъ; но протокола нашего общаго видѣнія еще не слѣдовало бы употреблять въ дока-

зательство существованія ни домовыхъ, ни лѣшихъ. Жаль, что пріятель, сообщившій автору одинъ подобный протоколъ, который впрочемъ мы сами читали въ какомъ-то повременномъ изданіи, не сообщилъ ему вмѣстѣ статьи того ученаго Шведа, который такъ явно обнаружилъ подлогъ этого страннаго акта.

Авторъ проститъ намъ великодушно, если мы скажемъ, что живое, огненное, удивительное изложеніе его извѣстнаго анекдота о Казоттѣ стоитъ тысячу разъ болѣе нежели самый анекдотъ, который столь же мало заслуживалъ его вниманія, какъ видѣнное г. астрономомъ и метеорологомъ Шретеромъ ночное шествіе изъ Адмиралтейства въ Зимній дворецъ, или вѣщій сонъ артиллериста. Раскрывъ любой томъ Баронія, авторъ нашелъ бы сотни случаевъ, еще удивительнѣйшихъ и подкрѣпленныхъ такими важными свидѣтельствами, что они могутъ поколебать самаго заклятаго скептика. По-нашему, всѣ подобные рассказы и поддержаніе ихъ мнимыми доказательствами не приносятъ никакой пользы религіи: напротивъ, создаютъ новый родъ суевѣрія, и подлѣ чистаго ученія церкви, которое должно одно обладать всѣмъ нашимъ вѣрованіемъ, устанавливають особое вѣрованіе въ сны и призраки, ни къ чему не ведущіе въ будущей жизни, а въ настоящей помрачающіе только свѣтъ разума и развитіе точныхъ наукъ, могущественнѣйшей и вѣрнѣйшей опоры религіи. Одна страница астрономіи болѣе представляетъ доводовъ въ пользу провидѣнія и премудрости Божіей, нежели вся «Символика сновъ»

почтеннаго Шуберта, и всѣ магнитическіе журналы Вольфарта и Кизера.

Вопросъ, такъ краснорѣчиво защищаемый авторомъ «Черной Женщины», о пользѣ животнаго магнетизма для укрѣпленія въ человѣчествѣ утѣшительныхъ истинъ, вопросъ, который мы конечно оставили бы безъ отвѣта, еслибъ онъ не былъ предложенъ такимъ извѣстнымъ и достойнымъ уваженія писателемъ, этотъ именно вопросъ побуждаетъ насъ предпринять подробный разборъ предмета, даже съ опасеніемъ подвергнуться головной боли, которою нѣкогда страдали мы такъ жестоко въ рукахъ одного великаго магнетизера. Non ignarus malil..... Мы тоже были въ магнетизмѣ по уши.

Тонкая, летучая жидкость, которую можно назвать нервнымъ сокомъ нашей планеты, кружить очевидно въ цѣломъ ея составѣ и во всѣхъ ея членахъ. Одинъ образъ проявленія этой жидкости извѣстенъ намъ подъ именемъ электричества; многія новѣйшія наблюденія позволяютъ заключать, что магнитность есть только другой образъ, подъ которымъ она обнаруживается нашимъ чувствамъ въ извѣстномъ ряду случаевъ, другое свойство одного и того же вещества. Это свойство оказывается особенно въ слиткахъ мѣдножелѣзной руды, находящихся обыкновенно подлѣ природнаго желѣза, и называемыхъ *магнитомъ*: оно состоитъ изъ четырехъ примѣчательныхъ явленій: 1) притягательной силы, дѣйствующей на желѣзо; 2) добровольнаго обращенія однимъ опредѣленнымъ концомъ — когда магниту будутъ даны видъ иглы, или стрѣлки, и свобода ворочаться на одной точкѣ — къ одному изъ четы-

рехъ извѣстныхъ пунктовъ земнаго шара, оказывающихъ самое сильное дѣйствіе на эту стрѣлку, и именно къ самому ближайшему изъ нихъ; 3) поляризаціи, то есть, притяженія однимъ концомъ, и оттолкновенія другимъ, когда попеременно приближаешь концы, или полюсы, магнита къ одному изъ концовъ стрѣлки; 4) наконецъ, атмосферы, или дара оказывать свое дѣйствіе даже въ нѣкоторомъ удаленіи, явно удостовѣряющаго, что летучая жидкость, которая производитъ въ магнитѣ всѣ эти явленія, разлита и вокругъ него до извѣстнаго разстоянія. Два послѣдніе феномена, поляризаціи дѣйствующей въ магнитѣ силы и ея атмосферы, общи ей съ электричествомъ; два первые исключительно ей принадлежатъ, и даже уничтожаются послѣднимъ. Впрочемъ не одинъ магнитъ оказываетъ это свойство, которое будемъ мы впередъ называть магнитностью: кобальтъ и колчеданъ также одарены имъ въ различныхъ степеняхъ. Полоскамъ простаго чистаго желѣза и стали можно сообщить его посредствомъ сближенія ихъ съ природнымъ магнитомъ или натиранія магнитною полоскою въ опредѣленномъ направленіи; можно даже возбудить въ нихъ собственную ихъ магнитность безъ всякаго участія природнаго магнита, просто сильными ударами молота, или держа ихъ отвѣсно въ рукѣ и слегка ударяя ключомъ по остальной длинѣ внизъ, или вода повторительно палочкою отъ середины этихъ полосокъ сперва къ одному концу, потомъ, обративъ палочку, отъ середины же къ другому. Пропускаемъ разные другіе способы дѣлать искусственный магнитъ, и толь-

ко замѣтимъ, что та же самая манипуляція, вожденіе даннымъ тѣломъ въ извѣстныхъ направленіяхъ, служитъ къ возбужденію магнитности и въ кобальтѣ, и въ человѣкѣ, и проч.

Въ природномъ магнитѣ есть еще одно весьма любопытное свойство, о которомъ должны мы упомянуть, потому-что оно бросаетъ свѣтъ на важную тайну животной магнитности: кусокъ этого минерала, одаренный силою притяженія, способною поднимать извѣстный вѣсъ желѣза, теряетъ ее совершенно, если остается долгое время безъ употребленія; напротивъ, упражняя его въ этомъ занятіи, можно чрезвычайно, хотя всегда до извѣстной степени, увеличить въ немъ эту силу. Вотъ естественное объясненіе того удивительнаго магнитическаго могущества, которое приобрѣтаютъ многіе магнетизеры: утверждаютъ, что Месмеръ, въ старости своей, усыплялъ добрыхъ людей однимъ прикосновеніемъ руки; мы знаемъ въ Петербургѣ одного весьма почтеннаго мужа, которому приписываютъ тотъ самый даръ, не считая принадлежащихъ къ школѣ кавалера Барбарена, и, посредствомъ упражненій въ этомъ ремеслѣ, достигшихъ искусства изливать изъ себя магнитность помощію напряженія взора и воли. Мы не хотимъ спорить съ приверженцами и обожателями магнетизма о подлинности всѣхъ чудесъ этого дара, приводящаго ихъ въ такое удивленіе, и желали только показать, во-первыхъ, что не отвергаемъ его возможности до извѣстной степени; во-вторыхъ, что, какая бы ни была его обширность, въ немъ нѣтъ ничего духовнаго, ни сверхъ-естественнаго.

Теперь перейдемъ къ теоріи самаго магнитизма. Краткое изображеніе нервной системы животнаго тѣла необходимо для ея понятія.

Бѣлыя, тонкія волокна распространяются вдоль всего нашего тѣла въ разныхъ направленіяхъ въ видѣ каемъ, облеченныхъ плевами, которыя, заключая въ себѣ извѣстное число такихъ волоконъ, образуютъ отдѣльные нервы, упирающіеся въ оконечности тѣла и въ различные мѣста подъ кожей. Они состоятъ изъ того же вещества, какъ мозгъ, который находится въ головѣ и продолжается въ позвоночной кости. Плевы, окружающія ихъ, одного и того же качества съ плевою, облекающею мозгъ, чрезвычайно богаты кровными сосудами, которые проникаютъ въ самую массу нервовъ и въ ней оканчиваются. Посредствомъ этихъ сосудовъ нервы вытягиваютъ изъ крови и всасываютъ въ себя тонкую, летучую, эфирную, быть-можетъ даже свѣтотворную, жидкость, которая ихъ питаетъ и обновляетъ ихъ силы. Искусное по цѣлому животному зданію развѣтвленіе, которое сообщила имъ природа, называется «нервною системою»: она тѣсно связана съ мозгомъ, главнымъ ея центромъ и правителемъ. Нисходя оттуда и проникая во всѣ части тѣла, нервы въ разныхъ его мѣстахъ сближаются между собою, пересекаются, свертываются другъ съ другомъ, и образуютъ родъ узловъ, или клубковъ, составляющихъ новые центры усиленной ихъ дѣятельности, и такъ-сказать отдѣльные мозги тѣхъ частей тѣла, въ которыхъ они находятся. Главнѣйшіе изъ этихъ узловъ расподожены въ нижней части тѣла, за желудкомъ,

близъ сердцевой полости, такъ, что изъ ихъ сближенія возникаетъ особая, полная система мозго-образныхъ узловъ, извѣстныхъ подъ названіемъ ганглій, которыя можно почитать вторымъ большимъ мозгомъ человѣческаго тѣла, тѣмъ болѣе, что ему присвоены, кажется, нѣкоторыя умственные отправленія: здѣсь именно пребываютъ инстинкты, попеченіе о развитіи и укрѣпленіи тѣла, познаніе здоровья, голода, жажды, врожденныя склонности, и все то, что мы въ обыкновенномъ языкѣ называемъ голосомъ сердца. Эти нервы носятъ названіе возраждавательныхъ, или репродуктивныхъ, и, предшествуя физической жизни тѣла, образуютъ въ нервной системѣ особое отдѣленіе, отчужденное гангліями отъ отдѣленія церебральныхъ, или мозговыхъ нервовъ, которымъ ввѣрены чувства зрѣнія, слуха, вкуса, обонянія и осязанія, которыя принимаютъ впечатлѣнія, переносятъ ихъ въ мозгъ и содѣйствуютъ всѣмъ отправленіямъ ума; на которыхъ, наконецъ, опирается воля и движеніе. Но оба эти отдѣленія связаны и сообщаются между собою развитленіями, такъ что образуетъ одну цѣлую сѣть.

Чувствительность нашего тѣла имѣетъ пребываніе свое въ нервахъ, и нервы, взятыя всѣ вмѣстѣ, въ цѣлой своей системѣ, въ цѣломъ распредѣленіи своихъ вѣтвей и узловъ, производятъ въ насъ такъ-называемое общее чувство, *sensus communis*, то есть, совокупное ощущеніе себя, своей особы — чувство, котораго главный пунктъ опирается на гангліяхъ, этомъ внутреннемъ мозгѣ, гдѣ оно превращается въ понятіе Я, и въ склонность эгоизма. Такимъ образомъ, чело-

вѣкъ, или животное собственно есть та дивная сѣть бѣлыхъ снурковъ съ ихъ узлами, клубками и вѣтвями, которымъ мы даемъ имя нервовъ, мозговъ и сладкаго мяса: это настоящее одушевленное, собственною жизнію, ядро нашего тѣла, которое всѣ прочія части только окружаютъ, хранятъ и питаютъ, уподобляясь мякоти въ плодахъ: при небольшомъ искусствѣ, можно выдернуть человѣка изъ человѣка. Еслибъ мы умѣли сдѣлать это въ живомъ лицѣ, не причиняя ему смерти, остальная часть его представила бы намъ массу тяжелую, безчувственную, неподвижную, тогда какъ вынутая изъ него плетеница, съ ея узлами, могла бы и виѣ тѣла совершать всѣ отправленія чувствительности и умственной жизни: стоило бъ только доставить ей ту пищу, какую получаетъ она отъ тѣла — и эта-та бездѣлица будетъ, кажется, всегда препятствовать отдѣленію внутренняго человѣка отъ его плоти. Чувствительность состоитъ въ двоякомъ свойствѣ нервовъ — раздражительности, то есть, способности съ большею или меньшею скоростію принимать впечатлѣнія, и крѣпости, то есть, дарѣ удерживать ихъ въ себѣ долѣе или короче, и нервное содержаніе этихъ двухъ свойствъ одного къ другому прозводитъ неравность темпераментовъ.

Главное орудіе чувствительности нервовъ есть тотъ живительный ихъ сокъ, та летучая, эфирная жидкость, повидимому содержащая въ себѣ даже начало свѣта, которую они вытягиваютъ изъ крови посредствомъ окружающихъ ихъ сосудовъ. Эта жидкость, уподобляющаяся и электричеству, и магнитности, одарена

явленіями поляризаціи и атмосферы. Въ существованіи ея атмосферы можно удостовѣриться во всякое время: всѣ пункты какого-нибудь мускула способны ощущать, хотя нервъ проходить черезъ него только въ одномъ мѣстѣ; слѣдственно, летучее вещество, текущее въ нервѣ, разливается также и вокругъ него, дѣйствуя не только внутри, но и внѣ на извѣстное разстояніе. Поляризація этого вещества обнаруживается тогда, когда оно бываетъ взволновано посредствомъ вожденія рукою или чѣмъ другимъ въ извѣстныхъ направленіяхъ, подобно тому, какъ помощію тренія или вожденія возбуждается магнитность, таящаяся въ желѣзѣ или кобальтѣ, что въ обоихъ случаяхъ называется магнитизированіемъ; тогда лицо, въ нервахъ котораго эта эфирная жадность потеряла свое равновѣсіе дѣйствіемъ подобной манипуляціи, представляетъ два полюса, какъ въ магнитной стрѣлкѣ или въ наэлектризованной полоскѣ металла: оно оказываетъ явное притяженіе или склонность къ лицу, причинившему въ немъ это разстройство, и отталкиваетъ отъ себя признаками отвращенія тѣхъ, кто не состоитъ въ соприкосновеніи съ магнитизеромъ. Эту-то летучую жидкость, которую можете вы назвать животнымъ электричествомъ, животнымъ магнитизмомъ или высокимъ нервнымъ сокомъ, именно это тонкое, эфирное вещество, добываемое нервами изъ грубаго вещества яствъ, превращенныхъ въ кровь, общее тѣламъ животнымъ и ископаемымъ, разлитое во всей земной природѣ и обнаруживающееся въ ней подъ разными видами, магнитисты называютъ истиннымъ началомъ жизни, Le-

bensfluidum, fluide vital, и приписываютъ ему всѣ свойства духа. Коротко сказать, это безконечно тонкое, или какъ они выражаются, «сродное съ духомъ» вещество есть, по ихъ ученію, самая душа, и хотя имъ случается употреблять это послѣднее слово, но они всегда подразумѣваютъ въ немъ свое любимое вещество, магнитизмъ. Въ желаніи подкрѣпить эту теорію фактами заключается вся тайна магнитическихъ степеней и ихъ чудесъ, изъ которыхъ одна часть конечно дѣйствительна и согласна съ физическою возможностью, другая же существуетъ только въ разгоряченномъ умѣ самихъ магнитистовъ, состоитъ изъ произвольныхъ предположеній, преувеличеній, толковъ, и, будучи просто выводомъ изъ первой части, простертымъ до послѣдней логической крайности, даже не чужда извѣстнаго шарлатанства, которое всегда дѣлаетъ вещь яснѣйшею и разительнѣйшею.

Но положимъ, что всѣ явленія, приводимыя ими съ надлежащимъ раскрашеніемъ, справедливы и не подлежатъ никакому спору: что жъ они доказываютъ? Они доказывали бъ только то, что мы открыли удивительныя свойства летучаго вещества, текущаго въ нашихъ нервахъ; что мы, такъ сказать поймали *животную душу* человѣка, и убѣдились, что значительная часть умственныхъ отправленій обыкновенно приписываемыхъ духу, совершается этою вещественною, животною душою. Все еще остается нетронутымъ вопросъ о душѣ духовной, управляющей этою животною душою, и употребляющей ее какъ орудіе для другихъ, высшихъ цѣлей, о душѣ безсмертной, объ

этомъ таинственномъ выраженіи воли божества въ брѣнномъ тѣлѣ, силою котораго человѣкъ есть. Эта духовная душа, которую мы сознаемъ въ себѣ только посредствомъ отвлеченныхъ выводовъ, которую узнали только помощію откровенія, которая есть отраженіе въ насъ великой мысли міровъ; эта таинственная душа ускользаетъ отъ всѣхъ наблюденій и опытовъ; мы нигдѣ не видимъ ея въ личномъ дѣйствіи, и логически нигдѣ видѣть не можемъ, потому-что она духъ. Въ магнитическомъ снѣ мы видимъ только дѣйствія животной души, волшебную игру той летучей жидкости, которая кружить въ магнитѣ, кобальтѣ, нѣкоторыхъ камняхъ и въ нашихъ нервахъ, и которая, будучи взволнована, то образуетъ полюсы, то возгарается и наполняетъ яркою молніею всю внутренность тѣла, то наконецъ отражаетъ въ себѣ ту же внутренность и даже внѣшніе предметы, но поставленные непременно въ потокъ той самой жидкости, который, какъ увѣряютъ страстные магнитисты, можно распространить на огромное разстояніе, а какъ мы готовы вѣрить, на довольно значительное. Конечно, это уже весьма важное и любопытное открытіе, но духъ не имѣетъ тутъ никакого участія въ дѣлѣ: здѣсь все механизмъ, все происходитъ физически, по правиламъ опытной науки, посредствомъ разнаго рода проводниковъ и искусственнаго прилива въ тѣло эфирнаго электро-магнитнаго вещества. Какимъ же образомъ животный магнетизмъ можетъ служить къ доказанію преобладанія въ мірѣ духовнаго начала, и въ чемъ полезенъ онъ религіозному вѣрованію? По счастью для насъ,

вѣрованіе произтекаетъ изъ высшихъ, свѣтлѣйшихъ источниковъ; и оно превосходно можетъ обойтись безъ его услугъ: иначе, онъ привелъ бы его прямо къ матеріальной душѣ.

Чтобъ поставить занимающій насъ вопросъ въ настоящемъ его свѣтѣ и показать осязательно, что въ цѣломъ производствѣ магнитическаго раздраженія проявляется только душа животная, которой присутствіе въ нашемъ тѣлѣ было уже извѣстно древней философіи, а нынѣ подтверждается и опытною наукою, мы пробѣжимъ рядъ чудесныхъ явленій магнитизма: простое ихъ изложеніе удостовѣритъ читателей, что духовная, настоящая душа человѣка не мѣшается въ эти дѣла, и это ужъ слишкомъ, если она безмолвно позволяетъ своей животной служанкѣ щеголять собственнымъ своимъ умѣніемъ. Они увидятъ, что прославленный даръ прорицанія, замѣченный у лицъ, объятыхъ магнитическимъ сномъ, даръ, въ которомъ обожатели магнитизма, склонные къ мистицизму, нивѣсть что усматриваютъ, есть только искусственное развитіе самаго простаго, скотскаго инстинкта.

Мы сказали выше, что внутренній мозгъ человѣческаго тѣла, это сдѣпленіе нервныхъ узловъ, расположенныхъ за желудкомъ близъ сердцевой полости, эти такъ-называемыя гангліи, получили въ удѣлъ нѣкоторыя умственные отправленія, какъ-то, инстинктъ, или предчувствіе, попеченіе о физическомъ развитіи и благосостояніи тѣла, сознаніе здоровья, голода, жажды и склонностей, общее чувство, и проч. Здѣсь также помѣщаются фантазія и воображеніе, или сила облекать

внутри себя образами понятія, почерпнутыя мозговымъ отдѣленіемъ нервовъ изъ внѣшняго міра, и перелитыя въ эти узлы посредствомъ нервовъ симпатическихъ, сила живописная, которую мы, быть-можетъ, неправильно приписываемъ головѣ. Здѣсь пребываетъ особенная способность воспоминанія, независимая отъ памяти, и дальновидность, различаемая многими отъ инстинкта, но которая, по-видимому, есть только его усиленіе. Словомъ, гангліи можно назвать фонаремъ, повѣшеннымъ внутри тѣла и освѣщающимъ тайныя его работы: это центръ внутренняго міра человѣка, какъ голова центръ его внѣшняго міра; это собственная голова желудка, дѣйствующая независимо отъ настоящей головы, поставленной на стражѣ снаружи, только отъ времени до времени сообщающая ей о своихъ потребностяхъ и прихотяхъ, и, по увѣренію неукротимыхъ магнитистовъ, гораздо умнѣе ея, такъ, что еслибъ желудокъ съ гангліями былъ у человѣка на плечахъ, а голова его тамъ, гдѣ теперь желудокъ, человѣкъ былъ бы мудрецъ хоть куда. Какъ бы то ни было, но сравнительная анатомія поставила внѣ сомнѣнія ту истину, что это узловатое отдѣленіе нервовъ дѣйствительно одарено разными умственными способностями, и именно тѣми, которыя проявляются въ безразумныхъ животныхъ, и которыя, безъ содѣйствія духовной, безсмертной души, поставляютъ ихъ въ возможность ощущать свое бытіе, пешихъ о своемъ пропитаніи и здоровьѣ, воображать, распознавать свои склонности, и т. д. Многія насѣкомыя не имѣютъ другаго мозга, кромѣ этого: умъ пчелы и муравья весь

у нихъ въ желудкѣ, подѣ сердцемъ. Въ челоѣкѣ, облагодѣтельствованномъ, сверхъ всего, разумною, невещественною душою, сила этого нижняго мозга, столицы животной души, и его животнаго ума, значительно поглощается напряженною дѣятельностью верхняго, головного мозга, который втягиваетъ въ себя непомѣрное количество нервнаго сока для оживленія производящихся въ немъ работъ духовнаго ума и осушаетъ ганглии; но у людей слабоумныхъ или мало трудящихся головою, у дикарей, и особенно у женщинъ, этотъ животный умъ получаетъ иногда удивительное развитіе, и воображеніе, предчувствіе, прихоти, словомъ всѣ способности, сопряженные съ гангліями, дѣйствуютъ чрезвычайно живо: есть люди, которые въ этомъ отношеніи могли бѣ поспорить съ животными.

Отправленія органической жизни основаны на пере-
межкѣ занятія и отдыха — бодрствованія и сна. Во время сна, верхній головной мозгъ со всѣми своими нервами находится въ совершенномъ успокоеніи; дѣйствія чувствъ и дѣятельность духовнаго ума прекращаются, и душа безсмертная, этотъ высокій нравственный разумъ, которымъ Богъ связалъ насъ съ собою, и который поставилъ Онъ въ насъ съ обязанностью наблюдать за движеніемъ животности въ нашемъ тѣлѣ, и руководствовать ее своими совѣтами, кажется погруженнымъ въ священную тишину сродной ему вѣчности; напротивъ, нижній мозгъ тогда бодрствуетъ, и животная душа, которую по-русски прекрасно можно назвать *животомъ*, усугубляетъ свои попеченія о

тѣлѣ: кровь течетъ быстрѣе, дыханіе становится чаще, вареніе, отдѣленіе, питаніе происходятъ съ дивною поспѣшностью, воспоминаніе, воображеніе, фантазія получаютъ полную волю, одеваютъ понятія наружными формами предметовъ, и производятъ сновидѣнія, общее чувство усиливается и дѣлается раздражительнѣе, и нерѣдко инстинктъ, соединяясь съ фантазіею, особенно когда опасность угрожаетъ здоровью или самому лицу, пугаютъ васъ страшными видѣніями, которыя, если угодно, наименоуемъ и вѣщями. Всѣ эти явленія примѣчаются и у безразумныхъ тварей, и мы не видимъ, какимъ бы образомъ можно примѣнить ихъ къ религіозному вѣрованію, хотя допускаемъ здѣсь теорію животнаго магнетизма со всѣми ея основаніями. Сны и видѣнія святыхъ угодниковъ суть слѣдствіе особенной благодати Божіей, суть вліяніе духа, происходятъ извнѣ, не имѣютъ никакой связи съ магнетизмомъ, ни съ изученіемъ природы, и они-то принадлежатъ къ духовному міру; но вѣщія сновидѣнія бѣдныхъ грѣшниковъ—просто явленіе матеріальнаго міра и результатъ животной организаціи. Будь у насъ меньше мыслей въ головѣ, мы бы гораздо болѣе имѣли ихъ въ желудкѣ, мы сильнѣе жили бы животомъ, и сны этого рода сдѣлались бы вещью совсѣмъ обыкновенною.

Но это сонъ естественный: посмотримъ теперь на искусственный, или магнетическій. Замѣченная возможность перевести дѣйствующую летучую жидкость изъ магнита въ сродное ему тѣло, желѣзо, и возбудить въ немъ способности, дотолѣ усыпленные, пода-

ла мысль къ тому, чтобъ такое же эѳирное вещество, существованіе котораго въ животномъ тѣлѣ давно уже было извѣстно, перевести изъ одного человѣка въ другаго. Успѣхъ превзошелъ ожиданія. Сначала, употреблены были для этого тѣ же средства, какими магнитизируютъ желѣзо; потомъ, опыты открылъ и другіе способы, которые однакожъ всѣ опираются на теоріяхъ электричества и минеральной магнитности, и слѣдуютъ ихъ правиламъ: сюда принадлежать треніе, вожденіе рукою или другимъ тѣломъ, хорошіе и дурные проводники, отдѣленіе (*isolatio*), субституты, вліяніе металловъ и наконецъ самое электричество, иногда служащее вспомогательнымъ средствомъ. Одинъ изъ простѣйшихъ способовъ перелитія нервной эѳирной жидкости (магнетизма) изъ себя въ другаго человѣка состоитъ въ дыханіи на него по извѣстнымъ правиламъ и въ вонженіи въ него въ то же время своего взора и своей воли: мы уже объяснили, что одно упражненіе доводитъ до этого искусства; но сверхъ-того искусникъ долженъ быть самъ чрезвычайно исполненъ этого вещества, или яснѣе, долженъ быть полноокровенъ и обилень электричествомъ; а тотъ, на котораго онъ дѣйствуетъ, слабъ нервами, раздражителенъ или боленъ. Какимъ бы образомъ передача ни совершалась, приливъ излишняго количества магнетизма въ нервы паціента возвышаетъ ихъ чувствительность, и, скопляясь въ центрѣ животной жизни, гангліяхъ, приводитъ ихъ въ бодрствованіе: въ то же время мозгъ и всѣ органы головы по необходимости повергаются въ насильственное усыпленіе, почти каме-

нѣютъ; душа разумная останавливаетъ всѣ свои занятія какъ въ сильномъ угарѣ, въ нижней части тѣла наступаетъ удивительная дѣятельность; жизненная матерія, или животная душа, усиленная искусственнымъ приливомъ въ нее того же вещества, изъ котораго сама она составлена, кипитъ въ утлахъ, выступаетъ изъ береговъ, и образуетъ около тѣла обширную атмосферу. Мы не станемъ говорить о первыхъ степеняхъ магнитическаго сна, потому-что, кромѣ судорогъ, въ нихъ нѣтъ ничего такого, чего бы нельзя было найти и въ обыкновенномъ снѣ. Высшія степени пріобрѣтаются не иначе, какъ тоже помощію упражненія: это показываетъ, что и животную душу можно выучить многому, тѣмъ болѣе, что отъ ея хозяина требуется непремѣнно — твердая вѣра въ дѣйствительность магнетизма — и твердое желаніе, чтобъ онъ произвелъ свое дѣйствіе, а съ этими двумя началами и гомеопатія дѣлаетъ чудеса. Менторъ «Черной Женщины», Алимари, сказать мимоходомъ, виноватъ въ ужасной ереси: онъ въ одинъ присѣсть возводитъ больную женщину на корабль въ сонъ седьмой степени, въ восторженіе, или такъ-называемую дезорганизацію, тогда какъ, въ животномъ магнетизмѣ, это коренное, непреложное правило, что нельзя достигнуть высшей степени, не перешедши черезъ всѣ низшія—что требуетъ довольно времени и повторительныхъ опытовъ.

При содѣйствіи навыка къ дѣлу и постепеннаго прибавленія магнетизма въ ганглии, наконецъ этотъ нижній мозгъ начинаетъ свои представленія, сопровождаемыя нервическими припадками и даже признаками

горячки. Въ зрительномъ нервѣ пациента мелькаютъ молніи — явленіе электрическое, или по-крайней-мѣрѣ доказывающее, что въ летучемъ веществѣ нервовъ есть свѣтотворное начало. Онъ узнаетъ предметы тѣмъ именно мѣстомъ своего тѣла, около котораго образуется самая сильная магнитическая атмосфера — мѣстомъ, соотвѣтствующимъ главнымъ узламъ ганглій, именуемымъ «солнечными»: только, эти предметы не должны быть отдѣлены отъ него худыми проводниками электричества, — мы просимъ тѣхъ, которые приписываютъ магнитическимъ ясновидѣніямъ нѣчто духовное, хорошо выкинуть въ это обстоятельство.

По мѣрѣ умноженія въ пациентѣ количества приливнаго магнитизма, онъ болѣе и болѣе отчуждается отъ внѣшняго міра, и погружается въ свой личный животный міръ; внутренность его освѣщается проблесками и вспышками той же летучей матеріи; онъ видитъ свою внутренность, то есть его общее чувство сильно распознаетъ ихъ, а внѣшніе предметы, находящіеся въ предѣлахъ магнитической его атмосферы, мерещатся ему какъ во снѣ. Оба эти явленія показываютъ только то, что все дѣйствіе происходитъ въ средоточіи животной матеріальной жизни, и что магнитная жидкость одарена удивительнымъ свойствомъ отражать въ себѣ предметы, еще въ высшей степени чѣмъ воздухъ, и, по своей чрезвычайной тонкости, переносить ихъ образы въ одинъ изъ своихъ полюсовъ, даже сквозь поры тѣла. Это свойство магнитной жидкости, магнитности или магнитизма, сходное

со свойствомъ воды и воздуха, которые тоже не только просвѣчиваютъ находящіеся въ нихъ предметы, но еще ихъ отражаютъ и переносятъ ихъ наружный видъ на извѣстное разстояніе, объясняетъ всѣ дальнѣйшія явленія. Въ немъ находится и причина того микроскопическаго зрѣнія, которымъ отличается желудокъ усыпленныхъ высокимъ магнитическимъ сномъ: они, напримѣръ, видятъ, какъ электричество вытекаетъ изъ волосъ и глазъ ихъ магнитизера тонкими, огненными лучами, и направляется въ ихъ сторону: если это правда, теорія зрѣнія болѣе не была бы загадкою. Исполняясь магнетизмомъ еще болѣе, они уже видятъ виѣшніе предметы не однимъ опредѣленнымъ мѣстомъ, но цѣлымъ тѣломъ, лишь бы тутъ опять не было дурныхъ проводниковъ. Они тѣсно сливаются общимъ чувствомъ съ лицомъ, изъ котораго магнетизмъ въ нихъ переходитъ, слышать и осязаютъ только его чувствами. Металлы производятъ на ихъ самое опасное дѣйствіе. Поляризація летучей жидкости устанавливается, и прикосновеніе лицъ, не стоящихъ въ связи (en rapport) съ магнитизеромъ, исторгаетъ у нихъ мгновенные и страшные признаки отвращенія.

Далѣе, помощію новыхъ упражненій и еще сильнѣйшаго наитія магнетизмомъ, они становятся ясно-видящими, то есть, разглядываютъ насквозь не только свое тѣло, но и тѣло своего магнитизера, и тѣла особъ, состоящихъ съ ними въ прикосновеніи, даже отдаленныхъ на нѣсколько десятковъ верстъ, коль скоро магнитизеръ соединитъ ихъ съ собою посредствомъ какого-нибудь хорошаго проводника — за-

мѣтете всюду этого проводника: для духа проводниковъ не нужно; другое дѣло, еслибъ то были явленія духовныя, не физическія; еслибъ душа разумная, безсмертная, принимала хоть малѣйшее участіе въ этихъ напряженіяхъ матеріальнаго жизненнаго начала! Замѣтите еще, что ясновидящіе видятъ только то, что относится къ здоровью тѣхъ лицъ, а сознаніе здоровья есть именно одна изъ главныхъ способностей центра животной жизни, раздражательныхъ нервовъ, ганглий, живота. Наконецъ, поработавъ еще немного, они впадаютъ во «всеобщее ясновидѣніе»; восхищеніе или дезорганизацию: тутъ уже паціентъ видитъ и помнитъ все независимо отъ времени и отъ мѣста, въ прошедшемъ, въ будущемъ, далеко, близко, вдоль и поперекъ, и всегда видитъ удивительно чисто, за исключеніемъ лишь того, что ему кажется туманнымъ, или что отчуждено дурными проводниками. Но для учрежденія магнитической связи между нимъ и отдаленными лицами, вещественные хорошіе проводники здѣсь уже не нужны: довольно, чтобы его магнитизеръ умственно соединилъ съ собою отдаленнаго, даже незнакомаго паціенту больнаго — но только больнаго, а не здороваго — чтобы онъ коснулся его мыслию. Сверхъ-того паціентъ выражается высокимъ слогомъ — то есть, непонятнымъ, какъ большая часть высокихъ словъ, и видитъ даже мысли своего магнитизера, который наоборотъ управляетъ имъ единою волею своей. Только и тутъ не раздѣляйте ихъ между собою дурными проводниками, потому-что чудо вдругъ исчезнетъ. И все это означаетъ, что счастливый страдалецъ почти пре-

вратился цѣликомъ въ летучее жизненное начало, и, такъ сказать, растаялъ въ магнитизмъ; что животная душа, пролитая въ его нервахъ, пріобрѣла неизмѣримую атмосферу, которая приходитъ въ соприкосновеніе съ цѣлою природою, и проникаетъ всѣ предметы; что сквозь это посредство чувствительности его общій смыслъ, его нервная система, обнимаетъ огромный удѣлъ творенія и ощущаетъ его точно такъ же, какъ въ здоровомъ человѣкѣ этотъ смыслъ ощущаетъ себя, свою особу.

Это состояніе называется у магнитистовъ психическимъ: мы, кажется, довольно ясно обнаружили, на какую душу намекаетъ здѣсь слово *психи*. Но и въ этомъ состояніи нѣтъ ничего страннаго: оно лишь развитіе предъидущихъ, довольно преувеличенныхъ, очень подозрительныхъ фактовъ — заганное, правда, ужасно далеко, но которое можно, въ духѣ теоріи, загнать еще далѣе, совершенно съ тою же вѣроятностью: почему бы эта атмосфера животной чувствительности, раздувшись хорошенько, не могла коснуться, на примѣръ, луны, солнца, даже и Сиріуса, принести намъ извѣстія изъ тамошнихъ госпиталей! Странно только то, что люди весьма умные и ученые были въ состояніи, въ магнитическаго сна и лихорадки, нанизать столько призраковъ своего воображенія, чтобъ обманывать ими себя и другихъ. Но всякъ воленъ вѣрить, во что ему угодно: быть-можетъ, и мы со-временемъ повѣримъ всѣмъ чудесамъ животнаго магнитизма.

Вооружаясь противъ основной идеи романа, описывающей несомнѣнную метафизическую истину преобла-

данія въ мірѣ духовнаго начала на дѣятельности животнаго магнетизма — феномена въ цѣломъ своемъ пространствѣ совершенно животнаго, матеріальнаго, и на сбивчивомъ свидѣтельствѣ вѣщихъ сновъ, призраковъ и привидѣній — другаго физическаго явленія, происходящаго собственно внутри насъ, въ нашемъ желудкѣ; отвергая эту идею какъ предосудительную для самаго предмета, который она старается привести въ ясность, мы съ восхищеніемъ поддаемся прелестямъ самой книги, какъ изящнаго творенія. Несбыточная ученая цѣль автора въ сторону, а въ литературномъ отношеніи мысль употребить магнетическія чудеса въ видѣ пружины повѣсти чрезвычайно оригинальна и искусство сочинителя открыло въ ней для себя источникъ сильной занимательности.

Мы неоднократно изъявляли мнѣніе, что самый несвойственный предметъ для повѣсти или романа, это анекдотъ, или отдѣльный частный случай — одинъ изъ тѣхъ случаевъ, которые называются истинными: и чѣмъ онъ истиннѣе, тѣмъ хуже для изящнаго сочиненія, потому-что онъ тогда относится только къ одному лицу и не доказываетъ ничего общаго въ порядкѣ дѣлъ человѣческихъ. Нашъ авторъ избралъ тоже одинъ изъ такихъ случаевъ — повторительное видѣніе кѣмъ-то чернаго призрака; но мы, по совѣсти, не можемъ обратить на него никакого за то упрека. Его романъ совсѣмъ особеннаго рода, сочиненіе по существу своему выше романа. Предписавъ себѣ стремленіе метафизическое, рѣшаясь защищать событіями истину, выходящую изъ круга гражданскаго и поли-

тического быта, онъ долженъ былъ основать повѣсть на частномъ случаѣ, и обставить ее другими происшествіями, имѣющими видъ личной дѣйствительности. Онъ сдѣлалъ, что долженъ былъ сдѣлать, и даже, относительно къ предначертанной цѣли, употребилъ свои данныя съ большимъ искусствомъ.

Обязанность, въ которую авторъ поставилъ себя подтверждать всѣми событіями своей повѣсти постоянное вліяніе Провидѣнія на наши дѣйствія, вовлекла его въ важную литературную погрѣшность. Дивныя встрѣчи, какъ-бы ех machina, такъ часты, что уже отзываются нѣкоторою однообразностью. Но этотъ недостатокъ слишкомъ поверхностенъ, чтобъ привязываться къ нему въ сочиненіи, изобилующемъ столь многими и разнообразными красотами.

1834.

ВОСТОЧНАЯ ДРАМА.

По поводу *Роксоланы*, Н. К. (Кукольника). 1835.

Воображеніе г-на Н. К. работаетъ неутомимо: весною прошлаго года оно еще блуждало въ кровавомъ мракѣ междуцарствія, возсоздавало колоссальную фигуру Ляпунова, лицо весьма замѣчательное въ началѣ XVII столѣтія, а лѣтомъ было уже въ Константинополѣ, ласкало жирные подбородки одалисокъ и курило трубку съ великимъ евнухомъ сераля, отдавъ визитъ великому муфтію и великому визирю. Это путешествіе по двумъ мірамъ, совершенно отдѣльнымъ, совершенно разнороднымъ, выполнено воображеніемъ г-на Н. К. въ нѣсколько мѣсяцевъ, и плоды этого путешествія передъ нами — въ красивой оберткѣ, на красивой бумагѣ, очень красивыми буквами.

Одинъ изъ этихъ плодовъ, и самый милый — восточная драма. Не знаемъ, нужно ли непременно, для сочиненія восточной драмы, имѣть ясное понятіе о Востокѣ, объ его нравахъ, обычаяхъ, законодательствѣ, вѣрѣ, исторіи, или не нужно; но если

нужно, такъ это достигается только тремя путями. Первое средство узнать Востокъ — путешествовать по немъ довольно долго: путешествіе доставляетъ болѣе или менѣе точный обзоръ наружныхъ формъ его — что уже очень важно. Второе средство — читать его книги на собственныхъ его языкахъ: тогда проникаете вы во внутренность его понятій, логики, духа, страстей, характера и образа дѣйствованія, хотя и не можете ясно представить себѣ его наружности. Третье, послѣднее и лучшее средство — путешествовать и читать его книги: тутъ вы видите и лицевую и изнанковую его сторону, Востокъ вещественный и Востокъ нравственный. Чтеніе «Роксоланы» заставляетъ насъ думать, что ея авторъ не употреблялъ ни одного изъ этихъ трехъ и единственныхъ способовъ познанія страны, людей и нравовъ, изъ которыхъ хотѣлъ онъ построить драму. Какой путь избралъ онъ къ тому, чтобы познакомиться съ своимъ предметомъ, мы этого не знаемъ; но должно признаться, что избранный имъ путь завелъ его совершенно въ противную сторону. Почти нѣтъ сомнѣнія, что поэту, предпринимающему восточную драму, надобно хоть нѣсколько быть оріенталистомъ — оріенталистомъ посредствомъ путешествій или оріенталистомъ посредствомъ изученія восточной литературы — чтобы въ нашемъ вѣкѣ, ученомъ и стремящемся къ подлинности въ поэзіи, создать и выполнить что-нибудь похожее на дѣло. Оттого никто въ Европѣ, кромѣ сочинителей оперъ и водевилей, и не пускается нынче въ подобныя предпріятія, какъ въ часть

поэзіи самую трудную, многосложную и опасную, гдѣ каждое слово должно быть эрудиція, каждое обстоятельство—изысканіе. Писатель, который, никогда не видавъ Востока и не будучи знакомъ съ его литературой, выводитъ на сцену восточныя лица и нравы, добровольно поставляетъ себя въ такое же положеніе, въ какомъ бы находился тотъ, кто бы изъ Русскихъ избралъ для своей комедіи или трагедіи мѣстомъ дѣйствія Парижъ, и вздумалъ представить дѣйствующихъ и говорящихъ тамъ Французовъ, тогда какъ самъ не зналъ бы ни Парижа, ни французскаго языка, не обращался бъ съ Французами и не читалъ бы ни одной французской книги: очевидно, что въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи его повѣсти, была бы невѣрность, ошибка или несообразность. Сравненіе это еще-весьма выгодно, потому-что Парижъ сколько-нибудь похожъ на Петербургъ, и Русскіе сами не очень далеко отстали отъ Французовъ въ нравахъ, образѣ жизни и понятіяхъ, тогда-какъ Петербургъ и Константинополь, Турки и Европейцы—огромныя, непримиримыя противоположности. Что жъ въ такомъ случаѣ остается дѣлать тому, кто непремѣнно хочетъ написать восточную драму, не приготовившись къ ней твердо и основательно? По мнѣнію нашему, всего лучше писать ее такъ, какъ Вольтеръ писалъ «Альзиру» и «Магомета», то есть, взять одни только восточныя имена для своихъ героевъ, а самихъ героевъ заставить говорить чисто европейскимъ языкомъ и дѣйствовать по-нашему, не заботясь о восточности. Церемѣняя только имена лицъ, драма

будетъ то турецкою, то китайскою, то англійскою, то индійскою, то французскою, будетъ безъ всякой народности, но по-крайней-мѣрѣ вы тогда знаете, что это просто фантазія, въ которой не должно искать ничего истиннаго, ничего естественнаго, и будете судить объ ней по тому же правилу. Но когда писатель станетъ подмѣшивать въ свои стихи иноязычныя слова и обороты — турецкіе, или по-крайней-мѣрѣ не наши; придавать лицамъ странные для насъ приемы, измѣнять принятыя названія вещей, дѣлать выноски, объяснять свои выраженія, то есть учить читателя; когда онъ подымается на эрудицію, обнаруживаетъ притязаніе на подлинность поэзіи, на вѣрность рисунка и колорита картины — тутъ ужъ совсемъ другое дѣло! Тутъ вы видите притязаніе на что-то нешуточное, и въ правѣ потребовать отчета въ исполненіи. Какъ скоро авторъ берется насъ учить, представлять виды, изображающіе подлинную натуру, мы можемъ попросить его, чтобы онъ училъ насъ дѣльно и не вводилъ видами своими въ заблужденіе.

Должно сожалѣть, что авторъ «Роксоланы» избралъ этотъ послѣдній способъ писать восточную драму: то, что онъ выдаетъ въ ней за настоящее турецкое, не имѣетъ и тѣни сходства съ турецкимъ, ни съ мусульманскимъ, ни съ восточнымъ. Востокъ, Турки, ихъ вѣра, ихъ исторія, понятія, обычаи, нравы, законы, этикетъ — все опрокинуто въ ней вверхъ-дномъ, все изломано, изувѣчено самымъ немилосерднымъ образомъ, который доходитъ иногда до степени высочайшей комикки. Это каррикатура, не карти-

на, Турокъ. Мы не станемъ даже разсматривать этой части «Роксоланы», потому-что намъ бы пришлось только переходить отъ упрека къ упреку, и число ихъ далеко превзошло бъ число стиховъ драмы. Сколько ошибокъ и промаховъ можно иногда сдѣлать въ одномъ словѣ, стараясь быть ученѣе обыкновенныхъ поэтовъ, доказательствомъ тому послужить, для примѣра, первая строка книги и первое къ ней примѣчаніе.

Первая строка: «Солиманъ II, султанъ истамболскій.» Первое примѣчаніе: «Истамболъ — названіе Царяграда, происшедшее отъ греческихъ словъ *ιστινъ полисъ*, что означаетъ *въ городъ*, или *въ городъ*. Турки, не зная греческаго языка, приняли это за самое названіе Константинополя.» 1. Что за лицо — султанъ истамболскій? Къ какой исторіи или націи принадлежитъ этотъ потѣшный титулъ? Турки его не знаютъ; Европейцы тоже. Это все равно, какъ еслибъ вы, говоря о государяхъ французскомъ или англійскомъ, сказали—король парижскій или король лондонскій. Зачѣмъ не назвать просто, какъ принято называть его — султаномъ турецкимъ? Но авторъ, съ первой строки, хотѣлъ повидимому придать словамъ своимъ цвѣтъ сильно восточный: въ такомъ случаѣ слѣдовало сказать не — султанъ истамболскій — а *султанъ оттоманскій*, правильнѣе *падишахъ оттоманскій*, или еще правильнѣе *падишахъ османскій*, потому-что только братья и сыновья царствующаго государя называются въ Турціи *султанами*, а самъ онъ — *падишахъ*. 2. Если авторъ

имѣлъ въ предметѣ означить тѣмъ Солимана, царствовавшего въ Константинополѣ, для отличія его отъ турецкихъ султановъ, которыхъ столицы были по другимъ городамъ, то надобно было назвать его не Солиманомъ II, а Солиманомъ I: такъ дѣйствительно зовутъ его въ исторіи, когда оттоманскими «императорами» считаютъ однихъ константинопольскихъ султановъ. 3. Принимая слово султанъ въ значеніи царствующаго лица и ставя *султана истамболскаго* въ противоположность *султану амасійскому*, авторъ сдѣлалъ еще важнѣйшую погрѣшность: амасійскаго султана быть не можетъ, потому-что Мустафа не царствовалъ въ Амасіи, но былъ только правителемъ, генераль-губернаторомъ. 4. Не Турки называли Константинополь Истамболомъ, отъ незнанія греческаго языка, но сами Греки: слово *Стамболъ* было уже извѣстно въ XII вѣкѣ, гораздо прежде появленія тамъ Турокъ: оно употреблялось и во время Крестовыхъ походовъ, и встрѣчается даже у Вильгельма Тирскаго (Guillaume de Tyr). Не одно это собственное имя замѣнили Греки подобнымъ составомъ предлога и члена со словомъ: названіе острова *Ко* превратилось въ ихъ устахъ въ *Стано*, то есть *изъ танъ Ко*, и Аѣины именовались *Сатина*, то есть, *изъ Атина*. *Истамболъ* у Турокъ, то же что у Грековъ *Стамболи*, то есть собственно та часть Царяграда, въ которой лежитъ Сераль, безъ предмѣстій Эйюба, Галаты, Перы, Топханы, Скутари и Фонара, а весь Константинополь съ предмѣстьями и по-турецки называется Константинополъ. *Костантиние*,

Всѣ Русскіе знаютъ слово *Стамбуль*: но авторъ пожелалъ блеснуть другимъ, ученѣйшимъ словомъ, сказать, *Истамболъ* вмѣсто общезвѣстнаго *Стамбуль* — и купилъ это удовольствіе кучею всякаго рода ошибокъ! Стоило ли для этого подвергаться такой опасности?

Упомянуть ли о томъ, что Турки нашего автора клянутся *концами свѣта, очами пророка, яркой синевой неба* — какъ они *благодарятъ* пророка, просятъ *прощенія* у пророка, ругаютъ пророка, почитаютъ умъ за *милой тростникъ пророка*, и называютъ себя *поклонниками* пророка — и еще *великаю* пророка, забывая, что ни въ ихъ языкѣ, ни въ ихъ вѣрѣ, нѣтъ такого выраженія, что такъ изъясняются только водевильные мусульмане, и что пророка должно имъ чести́ть по настоящему Магометомъ-Избраннымъ, послѣднимъ пророкомъ, государемъ посланниковъ, украшеніемъ обоихъ міровъ, и т. д.? Насчетъ своего *Аллы* то есть Аллаха, и Алкорана, который позволяютъ себѣ даже называть *ужаснымъ* и, что всего хуже, «книгою пророка», они произносятъ такіа святотатственные рѣчи, что по-истинѣ страшно ихъ слушать. Мы готовы биться объ закладъ, что Солиманъ г-на Н. К. никогда не видалъ мусульманъ! Онъ говоритъ о семи именахъ *Аллы*, тогда какъ у *Аллы*, круглымъ счетомъ, наличныхъ именъ девяносто-девять; онъ толкуетъ о *законахъ улемовъ* и *законахъ пророка*, то есть одинъ великій пророкъ вѣсть объ чемъ; онъ приказываетъ своему двору кричать — «Великъ пророкъ, великъ его намѣстникъ!», и всѣ, даже неулыб-

нувшись, кричатъ *тихо* — «Великъ пророкъ, великъ его намѣстникъ!»; онъ насчиталъ *сто калифатовъ*, хотя халифатъ — одинъ и нераздѣльный, одинъ для цѣлой вселенной; великій муфтіи входитъ къ нему въ гаремъ, чиновники и рабы глядятъ ему въ глаза, султаны вмѣсто четырехъ имѣютъ по семи женъ, султанши ѣздятъ верхомъ на верблюдахъ — словомъ, на каждомъ шагу происходитъ у нихъ такой содомъ, такая ересь, такой подлинно турецкій безпорядокъ, что еслибъ все это было правда хоть вполонину, «истамболская» имперія развалилась бы еще до окончанія драмы.

Что, еслибъ мы еще сказали, что Солиманъ г-на Н. К. добродушно почитаетъ Карла V, германскаго императора, за единственнаго и законнаго наслѣдника Магомета и за духовнаго главу всѣхъ мусульманъ? Это показалось бы невѣроятнымъ всякому, кто только имѣетъ первоначальныя свѣденія въ исторіи Востока. А онъ дѣйствительно его почитаетъ! Онъ называетъ Карла калифомъ, его имперію *калифатомъ* — *германскимъ* калифатомъ! Что бы ему вспомнить, что отецъ его, Селимъ I, купилъ *калифатъ*, то есть «званіе законнаго наслѣдника и намѣстника пророка на землѣ», у Мохаммеда XII, послѣдняго халифа династіи Аббасидовъ египетскихъ, исключительно для себя и для своихъ потомковъ? Добро бы еще имперію Карла V величалъ онъ калифатомъ; но онъ что толкуетъ и объ алжирскомъ калифатѣ, пожалованномъ славному пирату Барбароссѣ? Барбаросса — калифъ!!... Да онъ еще и султанъ. И замѣьте, что

Турки, которые ни слова не знают по-итальянски, называютъ его въ драмѣ не иначе какъ Barba-rossa — а Барбароссу-то звали они по-своему Хайръ-Эддиномъ! Послѣ этого, и самъ авторъ, мы увѣрены, откажется отъ всей восточной части своей «Роксоланы». Его драма имѣетъ разныя достоинства, но не съ этой стороны. Мы отнюдь не уклонимся отъ истины, когда скажемъ, что восточность «Роксоланы» и восточность извѣстнаго водевиля Скриба, «Медвѣдь и Паша», обѣ одинаковой доброты, и что послѣдняя даже замысловатѣе.

Отъ восточной части перейдемъ къ исторической. Въ этомъ отношеніи мы всегда предоставляемъ обширное поле воображенію драматическаго поэта, и если полагаемъ предѣлы вольностямъ, то не ближе тѣхъ точекъ, съ которыхъ начинается уже полное низверженіе главнаго факта, превращеніе бѣлаго въ черное и вопіющая небывальщина. Украшать историческое событіе вымысломъ, но украшать въ его же духѣ, вещь очень позволительная.

Прежде всего должно опредѣлить съ точностію эпоху, въ которую происходитъ дѣйствіе. Это не трудно. Солиманъ, въ началѣ драмы, угрожаетъ германскому императору десятымъ походомъ и готовится къ третьей войнѣ съ Персіею, которую онъ обѣщаетъ покорить еще до рамазана: слѣдственно, это было въ 1553 году. Солиманъ въ мѣсяцъ рамазанъ того года (960 гиджры) дѣйствительно двинулся къ персидской границѣ. Въ томъ же году онъ казнилъ сына своего Мустафу, и такъ какъ драма оканчивается погибелью Му-

стафы, то все ея дѣйствіе заключено въ предѣлахъ одного 1553 года. Солиману было тогда отъ роду шестьдесятъ три года; сыновьямъ его, Мустафѣ тридцать два, Селиму почти тридцать лѣтъ, Баязету двадцать восемь. Матери Мустафы, которую авторъ называетъ Хризулою, было бы тогда лѣтъ подѣ пятьдесятъ, Роксоланѣ по-крайней-мѣрѣ столько же: положимъ сорокъ пять — это не составляетъ никакой разницы, потому-что на Востокѣ жинщины и въ тридцать лѣтъ уже покрыты морщинами, уже совершенныя старухи. Дѣло въ томъ, что въ ту минуту, когда авторъ подымаетъ занавѣсъ, обѣ эти красавицы были дрихлыя турецкія бабы, въ полномъ значеніи слова.

О Роксоланѣ столько написано басней, повѣстей, оперъ, что напрасно было бы повторять принятыя объ ней повѣрія, тѣмъ болѣе, что и нашъ авторъ ихъ повторяетъ. Роксолана, собственно *Рехшанѣ*, была большая интригантка: посредствомъ своего ума и увлекательнаго краснорѣчія она очень долго сохраняла вліяніе надъ поступками Солимана, который уважалъ ее, даже переставъ любить. Нѣтъ сомнѣнія, что Солиманъ, по воспоминаніямъ прежней страсти къ своей устарѣвшей фавориткѣ, любилъ сына ея, Селима, болѣе прочихъ дѣтей, и старался доставить ему престолъ; но Роксолана не имѣла участія въ катастрофѣ, которою исполнялись общія ея и султана желанія. Дѣло происходило слишкомъ далеко отъ нея, и причины его были независимы отъ ея воли. До того времени, оттоманскіе государи имѣли обыкновеніе назначать сыновей своихъ правителями разныхъ провинцій.

Старшіе сыновья Солимана, Мурадъ, Абдаллахъ и Мехеммедъ, умерли въ прежніе годы: въ живыхъ оставались только Мустафа, Селимъ, Баязеть и Джигангиръ. Мустафа правилъ Амасіей, Баязеть Коніей, Джигангиръ Алеппомъ, Селимъ жилъ большею частию при отцѣ, въ Константинополѣ. Мустафа и Джигангиръ, ревнуя къ предпочтенію, которое отецъ оказывалъ Селиму, давно и неоднократно составляли заговоры на престолъ и жизнь родителя. Происки ихъ были очень хорошо извѣстны Солиману, но онъ не хотѣлъ того обнаруживать, и во второй персидскій походъ, въ 1547 году, на пути черезъ Малую Азію, позволилъ имъ явиться, допустилъ ихъ къ своей рукѣ и отправилъ съ честію. Мустафа, однакожъ, человѣкъ злобнаго и коварнаго нрава, не оставлялъ своихъ козней. Въ 1552 году отецъ получилъ изъ Азіи донесеніе объ его замыслахъ, и приказалъ тѣсно стеречь его во дворцѣ, въ Амасіи. Мустафа навѣрное бы остался въ этомъ заключеніи до кончины родителя и по его смерти вступилъ на престолъ, еслибъ неожиданный случай не призвалъ Солимана въ Малую Азію. Шахъ персидскій, Исмаиль-Сефи, вдругъ вторгнулся въ турецкіе предѣлы, взялъ нѣсколько крѣпостей и разбилъ на-голову Солиманова полководца въ той сторонѣ. Султанъ тотчасъ отправилъ туда войско подъ начальствомъ верховнаго визиря Мехеммедъ-Паши, котораго авторъ драмы называетъ *Русеномъ*, и въ рамазанъ того же года самъ соединился съ нимъ неподалеку отъ Амасіи. Но здѣсь ожидала его чаша семейныхъ огорченій: онъ получилъ несомнѣнныя дока-

зательства объ измѣнѣ своего сына и о томъ, что внезапное вторженіе Персіянъ было слѣдствіемъ согласія Мустафы съ врагами отечества. Солиманъ приказалъ задушить его въ томъ же дворцѣ, гдѣ онъ былъ запертъ (авторъ драмы умерщвляетъ его, для большаго эффекта, кинжалами, въ Константинополѣ). Почти въ то же время скончался въ другомъ мѣстѣ братъ и сообщникъ его, Джигангиръ, какъ полагаютъ, отъ яда. Со смертію Мустафы, Селимъ былъ старшій сынъ въ родѣ и законный наслѣдникъ престола. Вотъ самая простая и самая достовѣрная перечень всего событія.

Поэтъ, приписывая, по обыкновенію, смерть Мустафы непосредственной интригѣ Роксоланы, долженъ былъ выдумать для этого полную перипетію: онъ, конечно, властенъ былъ предположить все, что угодно, лишь бы предположенія — поводы дѣйствій и пружины повѣсти — соотвѣтствовали лицамъ и мѣсту. Къ сожалѣнію, почти всѣ его пружины ложны, а приводимые имъ поводы происшествій такъ невѣроятны, ознаменованы такимъ чисто-комическимъ ничтожествомъ, что скорѣе годились бы въ оперу-буффъ, нежели въ ученую драму, написанную прекрасными стихами съ выносками. Замолчимъ о внутреннемъ достоинствѣ хитростей, приписанныхъ Роксоланѣ: но возможно ли допустить, помня, что есть на свѣтѣ исторія и что она сколько-нибудь извѣстна слушателямъ драмы — возможно ли допустить, чтобы Мустафа пріѣзжалъ въ Константинополь хвастать передъ отцомъ и передъ ними, что онъ побѣдитель Персіянъ, что «угасъ расколъ персидскій, шахъ принялъ *турецкія книги и*

имамовъ (?), самъ шахъ сдѣлался данникомъ Солимана — и вотъ вамъ хартія, подписи, клятвы — тогда какъ всѣ мы знаемъ — да кто жъ изъ слушателей не знаетъ исторіи Солимана II? — что въ то самое время турецкія войска разбиты впрахъ, что Солиманъ бѣжитъ самъ со всѣми своими силами на отраженіе торжествующаго врага, и что онъ, хвастунъ Мустафа, сидитъ запертый въ Амасіи? Авторъ не взвѣсилъ всей исторической важности словъ — «Персидскій расколъ угасъ, шахъ подчинился суннитскому ученію» — или какъ драма говоритъ забавно: «принялъ наши книги и нанинхъ имамовъ»; да это былъ бы одинъ изъ величайшихъ переворотовъ во всемірной исторіи! Еслибъ это случилось до 1553 года, большая половина Европы была бы сегодня Турціею. Къ счастью, этого никогда не бывало, ни до 1553 года, ни послѣ. Австрія и Германія спасены единственно неудачами Солимана противъ Персіянъ и продолжительною войною, которая послѣдовала за вторженіемъ ихъ въ Турецкую Имперію. Воображеніе измѣнило здѣсь поэту столько же, сколько въ другихъ мѣстахъ восточная начитанность. Мы увѣрены, что можно было придумать что-нибудь посообразнѣе, для того, чтобы сдѣлать Мустафу интереснымъ.

На остальное мы охотно набрасываемъ покровъ молчанія.

Послѣ всего здѣсь сказаннаго, читатели наши безсомнѣнія не ожидаютъ отъ насъ никакой похвалы новой драмѣ г-на Н. К., и были бы крайне удивлены, когда бъ мы имъ признались не-шутя, что она

занимательна. Да — она занимательна. Несмотря на ложный цвѣтъ мѣстности, нарушеніе всѣхъ вѣроятностей, искаженіе историческихъ характеровъ, безпрестанные всякаго рода промахи, драма г-на Н. К. *занимательна*. Этотъ эпитетъ въ точности выражаетъ ея достоинство. Стоитъ только окунуть голову въ Лету, забыть то, что вы знаете о предметѣ, повѣрить на-минуту, что все это должно быть списано съ природы, все могло такъ быть въ Турціи — и вы невольно будете увлечены интересомъ повѣсти, странности примете за красоты, и расчувствуетесь тамъ, гдѣ, до этой необходимой операціи, вы бы непременно смѣялись. Авторъ можетъ превосходно оправдаться отъ всѣхъ нашихъ замѣчаній, сказавъ, что онъ писалъ свою поэму для тѣхъ, которые не имѣютъ никакого понятія о Востокѣ и мусульманахъ.

Забудемъ же Востокъ, и станемъ разсматривать драму г-на Н. К. только съ тѣхъ сторонъ, которыя доступны огромному большинству публики, не вдающейся въ бусурманство, то есть, разсматривать относительно къ созданію повѣсти, обрисовкѣ характеровъ и драматическому искусству. Каждый признаетъ, что критика не можетъ дѣйствовать снисходительнѣе и благороднѣе, какъ ставя взятое подъ разборъ сочиненіе въ самомъ выгодномъ для него оборонительномъ положеніи. Передаемъ поэму другимъ глазамъ. Чтобы не разрушать очарованія судей при чтеніи приводимыхъ отрывковъ, не будемъ даже ничего въ нихъ подчеркивать, хоть бы что и нашлось враждебнаго восточности.

Въ разборахъ твореній вымысла мы не любимъ упрекать сочинителей въ недостаткахъ и не привыкли подмѣчать погрѣшности, выкупаемыя другими достоинствами. Первымъ и прекраснѣйшимъ преимуществомъ критика мы почитаемъ данную ему возможность открывать красоты и передавать ихъ уваженію современниковъ. И такъ какъ рѣчь зашла о красотахъ, то кстати дать сперва читателямъ понятіе о красотѣ одалиски Роксоланы, которая такъ полюбилась султану Солиману. Роксолана, въ самомъ дѣлѣ очень мила, какъ то видно изъ словъ хора невольницъ. *

Стихи прекрасны. Не удивительно, что при столькихъ прелестяхъ одалиска очаровала истамболскаго султана. Здѣсь конечно есть маленькій анахронизмъ: Роксолана была такъ хороша за двадцать пять лѣтъ до эпохи, въ которую невольницы заплѣли ей хоромъ; но въ отношеніи къ дамамъ такіе анахронизмы не считаются. Роксолана еще одалиска, раба: ей мало быть любимой; она хочетъ сдѣлаться султаншей. Какимъ образомъ она можетъ быть одалискою, то есть горничною, будучи матерью двухъ узаконенныхъ сыновей отъ султана? того мы никакъ не постигаемъ, а что она не раба, въ томъ никто и сомнѣваться не станетъ, прочитавши «гражданское право мусульманъ», Охсона: съ той минуты какъ невольница родила сына или дочь отъ своего господина, она, говорятъ, уже свободна, на правѣ «вольноотпущенницы по завѣщанію.» Да и съ чего Роксоланѣ пришло въ голову

* Здѣсь выписанъ былъ этотъ хоръ. *Изд.*

быть султаншею? Вѣдь она, слава Аллаху, уже тридцать лѣтъ полная султанша, именно съ той поры, какъ подарила султана первымъ ребенкомъ! За такой подарокъ каждая невольница пользовалась, по праву, этимъ титуломъ и всѣми сопряженными съ нимъ преимуществами. Но Роксолана не хочетъ и знать объ этомъ, и рѣшилась непремѣнно сдѣлаться съизнова султаншею. Для этого она поднялась на хитрость — вздумала строить мечеть: Солиманъ позволяетъ ей строить мечеть. По справкѣ оказывается, что одалиска, раба, не можетъ строить мечети, и что въ этомъ виноваты великій пророкъ и его Алкоранъ. Впрочемъ въ Турціи на все есть крючекъ. Роксолана постройте мечеть, потому-что Солиманъ даетъ ей свободу. Тутъ новая исторія: Роксолана не можетъ оставаться въ гаремѣ; она свободна и не должна жить съ невольницами —

Такъ пророкъ велитъ!

Этотъ пророкъ большой капризникъ! Ну, кажется, чтò бы ему за дѣло, гдѣ бы ни жила «свободная жена», la femme émancipée! Онъ явно мѣшается не въ свое дѣло, и, по его милости, Солиманъ принужденъ отпустить изъ гарема Роксолану. Султану досадно, но дѣлать нечего:

Законъ всесиленъ!

Роксолана «сгубить душу свою», если останется жить въ домѣ отца своихъ дѣтей, получивъ свободу!..... Мы, признаться, спрашивали великаго пророка, правда ли это, что онъ написалъ такой смѣшной законъ: онъ отрекся — говорить, что это сущая кле-

вета на него; онъ клянется всѣми концами свѣта, что ничего подобнаго не писалъ въ Алкоранѣ, который, впрочемъ, какъ онъ увѣряетъ, писанъ не имъ, а Аллахомъ. Великій пророкъ ручается честнымъ словомъ, что пребываніе освобожденной Роксоланы подъ кровлею отца ея дѣтей нисколько не лишитъ ея магометанскаго рая, и только удивлялся тому, зачѣмъ мудрый Солиманъ, для удержанія свободной жены въ своемъ домѣ, не далъ ей какой-нибудь должности въ гаремѣ, напримѣръ надзирательницы за своимъ платьемъ, начальницы женскихъ рукодѣлій или казначейши? Но законъ всесиленъ, хотя и неизвѣстно, откуда онъ взялся и гдѣ существуетъ.

Мы ужъ сказали, что въ Турціи на все есть крючекъ. Муфти подвелъ законы, и нашелъ вѣрное средство оставить Роксолану въ домѣ Солимана: отпустить одну изъ прежнихъ султаншей, добрую, но устарѣвшую Хризулу, и вступить въ бракъ съ Роксоланой, хотя это и противно обычаямъ султанскаго гарема — то есть, хотя это искони такъ водится въ гаремѣ. Странно, что Солиманъ самъ — а надобно знать, что этотъ Солиманъ былъ большой законникъ и называется въ исторіи «Солиманомъ Законодателемъ» — не зналъ этого закона и не догадался столь простаго и удобнаго средства! Хризула отпущена, Роксолана на ея мѣстѣ; цѣль послѣдней достигнута — она произведена въ султанши; но и этого ей мало: ей надобно удержать мѣсто за собою и престолъ истамболскій за дѣтьми.

У Хризулы сынъ — Мустафа, наслѣдникъ Солимана. Ему Истамболъ, ему гаремъ, ему сладость власти,

упоение богатства. Если онъ наслѣдуетъ отцу, дѣтямъ Роксоланы—веревка, незавидное наслѣдство. Но Роксолана хитра; она съумѣетъ погубить Мустафу, какъ погубила мать его.

Хризула, отверженная и изгнанная изъ гарема, ѣдетъ на корабль къ сыну въ Амасію. Этотъ корабль какимъ-то образомъ увидѣли изъ Амасіи, хотя Амасія шестьдесятъ верстъ отъ моря и отдѣлена отъ него горами. Едва корабль показался, какъ Хризула уже въ Амасіи, и рассказываетъ свое несчастіе. Добрый сынъ рѣшается вымолить у отца, у суроваго, несправедливаго Солимана, прощеніе матери. Мустафа ѣдетъ къ отцу, въ Константинополь. Жизнь его въ опасности, но для спасенія матери онъ готовъ пожертвовать всѣмъ на свѣтѣ. Добрый Мустафа! Зачѣмъ же исторія называетъ его злобнымъ и коварнымъ?

Между-тѣмъ и Роксолана не дремлетъ: она привлекаетъ на свою сторону великаго визиря, обѣщая ему дочь свою, Каяну. Пока Мустафа ѣдетъ къ отцу, а Роксолана съ визиремъ улаживаютъ свадьбу, сыновья ея, Баязетъ и Селимъ, «пьянствуютъ» на сценѣ. Они могли бы дѣлать это въ актерской, безъ большой потери для зрителей, но теперь такая мода въ драмахъ. *Ivres-morts!* говоритъ Лукреція Борджія.

Третій актъ начинается на дворѣ сераля. Тутъ является новое лицо, самое важное, самое замѣчательное, самое дѣятельное. Это немного поздно, но лучше поздно чѣмъ никогда. Ибрагимъ, кызларъ-ага, и Юсуфъ, черный евнухъ, разговариваютъ у самыхъ во-

ротъ гарема. Они разговариваютъ прекрасными стихами. *

Далѣе Мустафа начинаетъ говорить о своихъ торжествахъ надъ Персіянами, но мы не можемъ повторять его словъ, которымъ и отецъ его конечно бы не повѣрилъ, еслибъ зналъ исторію своего царствования. Но здѣсь онъ повѣрилъ, спросивъ только — «повѣрите ли?», и они примирились. Это примиреніе однакожъ было не продолжительно: на улицахъ, народъ провозглашалъ Мустафу султаномъ, и гибель Мустафы опять рѣшена. Онъ прибѣгаетъ къ послѣднему средству — видѣться съ Роксоланой и увѣрить ее, что онъ готовъ охранять ее, ся дѣтей и ихъ права на престолъ. Свиданіе назначено въ саду. Мустафа приходитъ въ садъ.

Но они не укрылись въ кіоскъ отъ Солимана, котораго привелъ великій визирь на мѣсто свиданія. Кинжалы рабовъ султана въ груди Мустафы; бѣдная жертва серальскихъ интригъ лежитъ безъ жизни у ногъ раздраженнаго отца. У султана есть другія дѣти, есть Селимъ, есть Баязетъ: имъ отдастъ онъ Истамболъ. Но тутъ является Ибрагимъ и объявляетъ, что,

«У Солимана

Нѣтъ болѣе дѣтей!»

Драма окончивается словами Солимана:

Все зажгу —

И въ это пламя брошу Роксолану».

Таковъ ходъ «Роксоланы». Въ ней multa nitent — блеститъ многое, очень многое. Во всѣхъ этихъ

* Выписанъ ихъ разговоръ. Изд.

смятеніяхъ, бунтахъ, конечно нѣтъ ничего историческаго, такъ же какъ въ образѣ, которымъ погибаетъ Мустафа; но мы отнюдь не ставимъ ихъ въ упрекъ поэту. Это невинные вымыслы, вещи довольно въ духѣ турецкаго правительства, и нисколько не похожи на непростительное поправленіе исторіи въ странномъ рапортѣ Мустафы отцу о погашеніи шиитскаго раскола, принятіи Персіянами другой вѣры и обращеніи Шаха-Исмаила въ данники Солимана — непростительное тѣмъ болѣе, что оно даже не было нужно для интереса драмы, и что всякое другое оправданіе также удобно могло примирить отца съ сыномъ на нѣсколько минутъ и безъ пользы. Но занимательность повѣсти поддерживается часто прелестными стихами и сценами, искусно веденными, къ которымъ, безъ-сомнѣнія, принадлежала бъ и та, гдѣ слабый презрѣнный рабъ уничтожаетъ всемогущаго, всесильнаго султана, еслибъ она была возможна въ Турціи, и когда бъ ея идея могла еще быть новою послѣ Виктора Гюгò.

Авторъ хотѣлъ по-видимому показать въ этой драмѣ всю силу страстей, все могущество твердой воли и непреклонной рѣшимости. Въ такомъ случаѣ, онъ едва-ли не напрасно перенесъ дѣйствіе на Востокъ. Тамъ легче, нежели гдѣ-нибудь, могутъ случаться подобныя исторіи; тамъ онѣ обыкновенны, и потому не требуютъ большаго напряженія ни страстей, ни твердости, ни воли. Чтò бы сдѣлалъ Ибрагимъ въ Европѣ? Пусть объ этомъ подумаетъ поэтъ, и онъ самъ сознается, что выборъ мѣста дѣйствія въ Тур-

ціи, кромѣ другихъ своихъ неудобствъ, сильно воспрепятствовалъ достиженію предположенной имъ цѣли. Мы укажемъ на небольшую повѣсть, «Песчинку», въ которой эта идея развита и полнѣе и богаче.

Около страсти мщенія, сосредоточенной въ лицѣ новаго Бюгъ-Жаргала, скопца Ибрагима, толпятся тысяча другихъ страстей. Драма кипитъ ими: это настоящий самоваръ страстей. Солиманъ, Роксолана, Мустафа, Рустень, Селимъ, Баязеть, Хризула — не люди, а отвлеченныя олицетворенія страстей: имъ надобно было бы придать форму человѣческую. Посмотрите пристально на Солимана: будто онъ человѣкъ! Онъ вѣшаетъ безъ нужды, и иногда даже на мечетяхъ, сажаетъ въ мѣшки и бросаетъ въ море безъ причины. Неужели авторъ полагаетъ, что въ Турціи и казнятъ и убиваютъ безъ всякой надобности? Въ Солиманѣ г-на Н. К., надутомъ театральномъ хвастунѣ, безтолковомъ мучителѣ, лицѣ грубомъ и бранчивомъ, никто не узнаетъ Солимана историческаго — того остроумнаго, образованнаго, мудраго, строгаго, но справедливаго Солимана, котораго современники признавали однимъ изъ величайшихъ монарховъ своего вѣка, и котораго потомство почитаетъ за генія. Конечно, онъ иногда былъ жестокъ въ своей справедливости, но здѣсь страсть къ крови увеличена въ немъ до невѣроятности. Для него, убить человѣка то же, что выпить стаканъ воды — хотя и стакана воды нельзя выпить безъ законныхъ къ тому побужденій.

Въ драмахъ г-на Н. К. обыкновенно нѣтъ любви: онъ не любитъ этой пружины. Въ «Роксоланѣ» одна-

ко же онъ принесъ дань роскошной страсти. Любовь показывается на минуту, на одну секунду: это яркая вспышка, которая могла произвести великолѣпный драматическій пожаръ. Роксолана утопала въ наслажденіяхъ, но не знала любви; только при свиданіи съ Мустафой, она начинаетъ знакомиться съ этимъ новымъ, прелестнымъ для нея чувствомъ. Она собиралась быть второю Федрою — но къ чему привелъ ее поэтъ? Къ такому поступку, котораго мы даже не смѣемъ назвать настоящимъ его именемъ. Въ сценѣ свиданія, авторъ только успѣлъ немного облагородить, нравственно возвысить Роксолану — и тутъ же умышленно унижаетъ, порочить, срамить свое созданіе, безъ всякой необходимости для общаго хода повѣсти.

Избави насъ Богъ быть строгими критиками: строгость ни къ чему не ведетъ въ литературѣ, но потворство бываетъ часто гробомъ для таланта, который требуетъ еще развитія, обработки и по-видимому ощущаетъ большой недостатокъ въ силѣ соображенія и искусствѣ дать своей мысли форму правильную и благоустроенную. Мы первые были воспріемникомъ поэтической извѣстности г-на Н. К., и поэтому имѣемъ нѣсколько права не скрывать отъ него истины, когда новые литературные подвиги молодого поэта не оправдываютъ тѣхъ выпреннихъ надеждъ, какія мы подали объ немъ отечественной публикѣ.

Еще одно замѣчаніе, хотя намъ очень непріятно упрекать. «Роксолана» наполнена длиннотами: онѣ растягиваютъ и охлаждають общее движеніе дѣйствія. Въ первомъ актѣ, полководцы, на цѣлыхъ восьми стра-

ницахъ разговариваютъ о войнѣ, объ опустошеніи Сициліи, о мирѣ съ «псомъ Францискомъ», о Стригоніи, объ Альбѣ. Къ чему эти рассказы? Въ началѣ втораго акта толки о Персіи и посѣщеніе молельщиковъ принадлежатъ также къ тѣмъ большимъ пятнамъ скуки, которыя такъ часто появляются на страницахъ г-на Н. К. и кажутся ему разнообразіемъ. Драма выиграетъ много жизненной силы, если отсѣчь эти мертвыя вѣтви. Нѣкоторыя изъ подобныхъ отступленій и вставокъ даже довольно неприличны: вспомните сцену карль и сцену въ саду, когда пьяный Селимъ не узнаетъ матери, принимая ея за...! Тутъ ужъ слишкомъ много цинизма. Мы не Греки и не Римляне, и никогда не бросимъ вѣйка поэту, который выведетъ передъ насъ такого *Турку*, какъ Селимъ, и поставитъ его въ такое положеніе! Какъ мы тоже и не Итальянцы, то насъ не стоитъ подбивать и *concetti*, особенно такими, какія встрѣчаются въ «Роксоланѣ». Покойникъ Барбаросса — потому-что Барбаросса, который столько отличается въ этой драмѣ, умеръ въ 1546, за семь лѣтъ до эпохи, въ которую авторъ заставляетъ его дѣйствовать — покойникъ Барбаросса говоритъ Солиману о своихъ морскихъ побѣдахъ, а султанъ отвѣчаетъ покойнику:

«Благодарю за *воду*, Барбаросса,
Но я желалъ бы *крови*.....»

Въ другомъ мѣстѣ рѣченный султанъ изъясняетъ:

«*Не отвѣчай*, ага,
А голова твоя *въ отвѣтъ* будетъ».

На слѣдующей страницѣ онъ опять даритъ слушателей фразою, которой позавидывалъ бы и Расиновъ Ахиллесъ:

„Я вижу пожирающее пламя
И медленно *горю* и не *сгорю*!!“

Что за языкъ! И это говоритъ старецъ, властелинъ, Солиманъ! Турки сказали бъ ему на это, что онъ «ѣсть грязь». Самъ авторъ, кажется, остолбенѣлъ, слыша подобныя слова изъ устъ умнаго Солимана, и оттого поставилъ подлѣ нихъ два восклицательные знака — !!

Мы слышали, по поводу «Роксоланы», мнѣнія, которыя утверждали, что восточные предметы не способны къ европейской драмѣ. Они отчасти справедливы; но мы думаемъ, что талантъ, великій и сильный, вспомошествоемый основательнымъ знаніемъ Востока, въ состояніи побѣдить всѣ трудности и открыть въ немъ большія, совсѣмъ новыя драматическія средства. Величайшая трудность состоитъ въ томъ, что у мусульманъ мужчины и женщины никогда не сходятся вмѣстѣ.

1835.

НОВЫЯ ДРАМЫ

ИЗЪ

ГРЕКО-РИМСКАГО МІРА.

По поводу трагедіи *Діалогъ*, В. Алфьерьва, 1854, и драмы
Сервилия, Л. Мья, 1854.

I.

Кто бы подумалъ, что, послѣ семилѣтней войны между романтизмомъ и классицизмомъ, послѣ торжественной побѣды смѣлаго наѣздника, счастливаго завоевателя, романтизма, который лѣтъ двадцать «стоялъ на костяхъ» классиковъ, ругаясь надъ ихъ погасшею славою, попирая прахъ и вѣнцы ихъ ногами, романтичесіе поэты, по ихъ же примѣру, *запоютъ козломъ* — другими словами, станутъ писать *трагедіи*? Въ наше время, подъ сѣнью неуывдаемыхъ лавровъ романтизма, люди забыли даже собственное значеніе этого слова *трагедія*, которое, если вѣрить старикамъ, забывшимъ еще языка Софокла и Эврипида, переводится буквально *козлиное пѣнье* или *козлопѣнье*, какъ составленное изъ двухъ древне-греческихъ словъ, *трах*, козелъ, и *одѣ*, пѣснь, пѣнье. Нынче немногіе знаютъ, что такое былъ и самый «классицизмъ», въ чемъ онъ состоялъ, къ чему стре-

мился. Многие, по преданію, сдѣлавшемуся уже темнымъ, полагають, что онъ заключался просто въ трехъ «единствахъ», которые не всякій и исчислить въ состояніи. Можно почти прослыть глубоко ученымъ, сказавъ нашимъ романтическимъ современникамъ, что *классиками* Европа нѣкогда, очень недавно, называла древнихъ писателей греческихъ и латинскихъ, и что отсюда произошли понятіе и слово *классицизмъ*. Этимъ словомъ хотѣли выразить — подражаніе древнимъ греко-латинскимъ образцамъ, которые прежнія литературныя теоріи признавали чудесами вкуса, разума и искусства. И въ этихъ-то образцахъ усмотрѣли онъ, между-прочимъ, болѣе или менѣе ясно, три такъ-называемыя единства — единство предмета или дѣйствія — единство мѣста — и единство времени — и провозглашали ихъ необходимымъ условіемъ всякаго драматическаго творенія, особенно «трагедіи», или несказаннаго удовольствія для поэтовъ «пѣть козломъ» и для публики слушать «козлиное пѣнье» въ образѣ новѣйшаго гекзаметра. Но, собственно, три единства были только подробностями классицизма, сущность же его состояла въ убѣжденіи теоретиковъ, что въ классической трагедіи должно во всемъ подражать классическимъ трагикамъ, должно воспроизводить и лица, и дѣла, и понятія, и чувства исключительно классическія, то есть древнія греческія и римскія, и что сюжеты, заимствованные изъ новѣйшаго міра, изъ исторіи и нравовъ моложе полуторы-тысячи лѣтъ, не способны къ истинно-трагическому развитію въ искусствѣ и лишены настоящаго достоинства и величія въ

представленія. Случались въ поэтической практикѣ
 ꙗклоненія отъ этого основнаго образа мыслей, и нѣко-
 торыя были очень удачныя, но строгая классическая
 критика неохотно ихъ одобряла: говорила — хорошо,
 правильно, всѣ единства соблюдены, есть даже главное,
 ужасъ и состраданіе, да все же оно не то, что гре-
 ческое или римское: въ трагедіи не видать ни Гре-
 ковъ ни Римлянъ — какъ-то неблагопристойно, совѣстно,
 даже смѣшно, не возвышаетъ ума, не трогаетъ сердца,
 не имѣетъ нужной торжественности, не являетъ на-
 стоящаго изящества. Словомъ, безъ Грековъ и безъ
 Римлянъ не было искусства — и отчасти основательно:
 потому-что трагедія была національнымъ искусствомъ
 греческимъ и, поэтому, римскимъ. Русская пѣсня не
 можетъ же быть безъ русскихъ лицъ, русскихъ чувствъ
 и русскихъ тоновъ, и кто бы изъ чужестранцевъ взду-
 малъ сочинять русскія пѣсни, потому-что русская пѣсня
 прелесть, тотъ непременно долженъ былъ бы подра-
 жать намъ во всѣхъ подробностяхъ и заставить дѣй-
 ствовать въ нихъ русскія лица, подъ опасеніемъ про-
 извести нѣчто уморительно-смѣшное и дикое. Изъ
 итальянскихъ оперъ однѣ только тѣ оперы вполнѣ и
 безпрекословно прельщаютъ Европу и Америку, ко-
 торыхъ сочинители и исполнители — природные Италъ-
 янцы. Композиторъ, если онъ чужестранецъ, дол-
 женъ непременно поддѣлаться, помощью генія или
 искусства своего, подъ цвѣтъ, тонъ и условія италъян-
 ской композиціи: иначе оперы его слушать не ста-
 нутъ. Кто можетъ вынести *оперу* нѣмецкую, француз-
 скую, англійскую или шведскую? Такова сила націо-

нальности! Посредственная итальянская пѣвица въ итальянской *оперѣ* и въ Италіи восхищаетъ васъ болѣе нежели Женни Линдъ въ Лондонѣ или Берлинѣ. Классическія теоріи не были такъ не правы, какъ казалось ихъ врагамъ и побѣдителямъ, почитая трагедію исключительною національною принадлежностью древнихъ Грековъ и Римлянъ, подобно тому какъ опера—національная принадлежность Итальянцевъ и русская пѣсня—Русскихъ, и утверждая, что, для произведенія трагедіи, похожей на трагедію, нужно, по мѣрѣ силъ и возможности, держаться греческихъ и римскихъ образцовъ и воспроизводить древній классическій міръ Грековъ и Римлянъ, въ подлинномъ ихъ видѣ. Иначе это будетъ, просто, сценическое представленіе, дѣйствіе въ лицахъ, драма, вещь неопредѣленной формы, никому не принадлежащая, общая всему роду человѣческому, который даже и въ дикомъ состояніи склоненъ къ подобнымъ потѣхамъ, какъ существо въ высшей степени склонное къ подражанію, но не великолѣпное «козлиное пѣнье» тѣхъ очаровательныхъ Грековъ и Римлянъ, которыхъ зовутъ классиками.

При содѣйствіи посредственности, сочинявшей безпрестанно «трагедіи» на этотъ ладъ, всегда съ Греками да съ Римлянами, однообразіе и скука не могли не быть слѣдствіемъ такого ученія, въ сущности совсѣмъ не глупаго и не смѣшнаго, если оно было одобрено и принято людьми истинно геніальными, свѣтилами эпохи. Герои и героини классической древности надоѣли всѣмъ, и Европа стала кричать съ

французскимъ поэтомъ: — Спасите насъ отъ Грековъ и отъ Римлянъ!

Qui nous délivrera des Grecs et des Romains!

Скука, наведенная бездарными, а не коренной недостатокъ рода, заставили Европу обратиться отъ изящныхъ произведеній древности, отъ тонкихъ художественныхъ формъ греческой «трагедіи», къ сценическимъ опытамъ топорной работы, создавшимся въ искусства, въ геніяльномъ варварствѣ начинающихся литературъ, испанской и англійской. Та же скука побудила ее искать и находить въ этихъ опытахъ красоты особеннаго рода, и она-то подготовила побѣду романтизма, который въ сущности не что иное какъ шекспиризмъ, такая же исключительная и односторонняя школа, какъ и низверженный классицизмъ; новая подражательная метода; новое нашествіе энтузіастовъ на чужую національность, вооруженное странными теоріями и неизбѣжнымъ, въ такихъ случаяхъ, притязаніемъ на безусловную естественность и всеобщность. Не нужно быть большимъ колдуномъ, чтобы предсказать съ достовѣрностью, что шекспирство — или, романтически сказать, *шекспиричность* — укрывающаяся подъ волшебнымъ именемъ романтизма, надоѣсть міру своей замысленною не правильностью и падеть такъ же неизбѣжно и скоро, какъ надоѣла педантскою художественною правильностью и пала *эврипидичность*, которую величали классицизмомъ. Новѣйшая европейская драма еще не создалась.

Нѣкоторыя попытки возврата къ Грекамъ и Ри-

млянамъ, обнаружившіяся въ послѣднее время, указываютъ уже на признаки скуки, порождаемой пресыщеніемъ, новыми образцами и подражательнымъ однопредметіемъ романтизма. Затѣя, покаместъ, довольно странна: классическую древность, которую недавно и такъ гордо презирали, которую гнали со сцены безчеловѣчно, пытаются воспроизводить снова — но какъ? — на романтическій манеръ!... Грековъ и Римлянъ, съ ихъ національно художественною правильностью, съ ихъ метафизическими, строгими формами изящества, съ ихъ неподатнымъ на «варварскія» вліянія искусствомъ, хотятъ живописать фантастически, неправильно, въ разбродъ, безъ всякаго опредѣленнаго *искусства*! На древнюю греческую національность навязываютъ новѣйшую національность англійскую, на выглаженный до умозрительныхъ тонкостей вкусъ Перикла и Цицерона, распахной, своеправный вкусъ Ивана Ивановича Быка (John Bull) и Ионы Ионыча Янки (Jonathan Yankee)! Не похоже ли это немножко на нѣкоторые водевили Александринскаго театра, въ которомъ русскіе люди и русскіе нравы, поддѣлываясь подъ французскую національность, поютъ куплеты на провансальскіе мотивы въ подтвержденіе каждаго своего аргумента?

Авторъ «трагедіи» *Діалогъ*, господинъ Алферьевъ, съ удивительною снисходительностью общается «всѣмъ дѣльнымъ замѣчаніямъ» по поводу его сочиненія «принять съ благодарностью». Благодарности, право, не стоитъ: но, можетъ, ему, какъ знатоку греко-латинской старины и цѣнителю ея искусства, не совсѣмъ

покажутся бездѣльными и эти посплыныя замѣчанія о разительной необдуманности предпріятія — примѣнять романтизмъ къ изображенію классической древности. Правда, что господинъ Алферьевъ присовокупляетъ: «на недоброжелательные же отзывы тѣхъ людей, «которые стараются всѣми силами унижать все, что «не выходитъ изъ-подъ ихъ пера, я повторяю изъ-бренный мною девизъ: *La critique est aisée, mais «l'art est difficile* (критика — легкое дѣло, но трудное дѣло — искусство)». Конечно, трагедія *Діагоръ* вышла не изъ-подъ моего пера: но всякое подозрѣніе въ недоброжелательствѣ я отвергаю торжественно. Какая мнѣ нужда, польза или пріятность, быть недоброжелательнымъ къ «Діагору» или къ господину Алферьеву? Пусть ихъ говорятъ и пишутъ все что имъ угодно и въ какомъ видѣ имъ ни заблаго-разсудится, классическомъ или романтическомъ: лишь бы я былъ напуганъ и растроганъ: потому-что такова цѣль той поэмной формы, которую издревле зовутъ «трагедіей». Если господинъ Алферьевъ *повторитъ* и мнѣ избранный имъ девизъ: *критика* — дѣло легкое, но трудное дѣло — *искусство*, я скажу, что онъ понапрасну, зная превосходно греческія понятія о прекрасномъ и искусствѣ, повторяетъ бессмыслицу, оброненную нечаянно однимъ изъ остроумнѣйшихъ французскихъ поэтовъ и подхваченную плохими стихотворцами какъ оружіе къ оправданію своего безсилія. Между критикою и искусствомъ нѣтъ никакой связи: они не могутъ быть поставлены въ параллель, не способны ни къ малѣйше-

му сравненію между собою. Искусство есть умѣнье, а критика есть право, неотъемлемое право чувства. Какъ же умѣнье ставить рядомъ съ правомъ? толкъ въ дѣлѣ, догадчивость и сноровку, однимъ словомъ, искусство сравнивать съ впечатлѣніемъ, ими производимымъ, съ выраженіемъ испытываемаго ощущенія, съ критикою, или судомъ? Въ девизѣ, избранномъ «трагедіею», не болѣе замѣчается смыслу, чѣмъ въ словахъ: *дѣйствіе легко, но причина трудна*. Если бы автору трагедіи романтической его сапожникъ принесъ новые сапоги, которые жестоко жали бы ему ноги — въ которыхъ бы не могъ онъ ни ходить ни стоять, которыя заставили бы его кричать отъ боли и требовать, чтобы поскорѣе стащили съ ногъ неуклюжую и убійственную обувь, и на это сапожникъ отвѣчалъ бы ему прехладнокровно: — «*Критика дѣло легкое, но искусство — трудное!*» — былъ ли бы авторъ трагедіи удовлетворенъ этимъ дивизомъ цеха и принялъ ли бы сапоги добродушно? Право критиковать свои новые сапоги, по чувству, по ощущаемому отъ нихъ впечатлѣнію, выше всякихъ теорій и притязаній сапоготворнаго искусства. Одно съ другимъ не сравнивается. Не берись, братецъ, за шило, когда не умѣешь дѣлать обуви впору по мѣркѣ, а буаловскими девизами передо мною не оправдывайся: не то я подамъ жалобу въ ремесленную управу.

Упаси меня, великая Муза козлопѣнья, отъ дерзновенной мысли ставить трагедіи рядомъ съ твореніями вѣчнаго сапожныхъ дѣлъ цеха: но, только, я не умѣлъ, по врожденному скудоумію своему, яснѣе выразить

моего образа мыслей насчетъ повторяемаго девиза, къ которому неосторожно и безъ всякой нужды прибѣгнулъ и господинъ Алферьевъ. Я хотѣлъ отстоять для себя, неотъемлемое право мое судить безъ подозрѣнія въ недоброжелательствѣ о поставляемыхъ мнѣ трагедіяхъ и сапогахъ, не сочиняя самъ ни того ни другаго. Казусъ показался мнѣ совершенно одинаковымъ.

Сказанное по случаю *Діагора* о приложеніи романтизма къ изображенію дѣлъ и людей классической древности, я говорю и о *Сервилии*, хотя господинъ Мей и не называетъ своего творенія «трагедіей», спеціальнымъ техническимъ терминомъ греко-латинскаго искусства, присвоеннымъ совершенно особенному роду сценическихъ поэмъ, и хотя дѣйствіе его «драмы» происходитъ въ Римѣ Цезарей, уже въ эпоху значительнаго распространенія христіанства. Господинъ Мей чувствуетъ самъ, что драма его холодна: но, по мнѣнію поэта, этимъ и доказывается, что она изображаетъ вѣрно классическую древность чисто-романтическими средствами, съ сохраненіемъ подлиннаго колорита мѣстности и времени, потому-что Римляне были народъ ужасно холодный и важный. Я позволяю себѣ однако думать, что онъ ошибается, судя о Римлянахъ по ихъ литературѣ, въ высшей степени формалистической, существенно подражательной, искусственной, и, поэтому, не согрѣтой искреннимъ увлеченіемъ. Римское общество, въ лучшую эпоху латинской литературы, думало, чувствовало и разсуждало греческими книгами. Языкъ и литература

Греціи пользовались въ этомъ обществѣ точно такою же модою и властью, какъ въ нашемъ обществѣ языкъ и литература Франціи, какъ въ Турціи языкъ и литература Персіи. Въ исторіи образованности человѣчества такіе примѣры усвоенія языка и словесности чужой страны, иногда и враждебной, совсѣмъ не рѣдки.

Древніе Римляне душевно и гордо презирали современныхъ имъ Грековъ, а между-тѣмъ жить не могли безъ болтовни на ихъ изящномъ діалектѣ, безъ ихъ звучныхъ стиховъ, безъ ихъ остроумныхъ книгъ: своей латинской литературы они не уважали; если въ нѣкоторыя эпохи римскій патріотизмъ придавалъ силу моды сочинительскимъ упражненіямъ на родномъ языкѣ, то попытки эти отзывались всегда важностью, напыщенностью и холодомъ школьных трудовъ, обработанныхъ задачъ, а не огнемъ вдохновенія или порывомъ души; дѣйствующей непринужденно. Въ гиѣздѣ латинскаго племени, латинская литература была только литературою терпимою, а господствующею всегда была греческая. Торговля, ремесло, искусство, училища, философія, риторика, науки, любовь, нѣжность, вѣжливость, все это усиливалось говорить по-гречески въ самомъ Римѣ. Лучшія чувства, благороднѣйшія мысли, остроумнѣйшія замѣчанія, выражались непременно на языкѣ Платона, Аристофана и Анакреона. По-латини порядочные Римляне только ругали слугъ своихъ и писали доносы. Замѣчательно, что Римляне, обладавшіе такимъ искусствомъ истреблять въ самое короткое вре-

мя мѣстные языки въ завоеванныхъ земляхъ и насаждать повсюду свой языкъ, не успѣли въ тысячу лѣтъ постоянного господства наложить латинскаго языка на Грецію, несмотря на неоднократно эдикты не опредѣлять въ государственную службу Грековъ, не знающихъ по-латини. Но какъ можно было достигнуть этой цѣли, когда Римляне сами очень рады были щеголять передъ угнетаемыми и обижаемыми Греками, Graeculi, знаніемъ своимъ языка Гомера, Платона и Эпикура? когда эти же Греки были всегда ихъ дядьками, гувернерами, учителями и секретарями?

Оттоманскіе Турки ненавидятъ Персіянъ какъ еретиковъ и постоянныхъ враговъ: и при всемъ томъ подчиняются ихъ литературѣ, пишутъ стихи, отпускаютъ привѣтствія, изъясняются въ любви, на языкѣ тѣхъ, кого съ отвращеніемъ называютъ «нечистыми собаками»: о своей турецкой литературѣ, о своемъ величественномъ языкѣ они отзываются съ состраданіемъ и какъ бы со стыдомъ.

Латинская литература поэтому ровно ничего не доказываетъ въ разсужденіи холодности или горячности Римлянъ. Между-тѣмъ, вся исторія Рима удостовѣряетъ, что, подобно цареградскимъ Туркамъ, это былъ, при всей наружной важности, народъ бурный, жестокій, въ высшей степени страстный и энтузіастическій. Есть очень важныя филологическіе поводы думать, что самъ Цицеронъ не говорилъ въ обществѣ и не произносилъ рѣчей своихъ, ни передъ народомъ, ни въ сенатѣ на томъ языкѣ и тѣмъ слогомъ, которые мы

знаемъ подъ его именемъ; что, послѣ произнесенія, онъ передѣлывалъ свои импровизаціи по правиламъ греческой риторики и почти переводилъ ихъ на условный языкъ литературный, почитавшійся изящнымъ и нормальнымъ, но сильно различествовавшій уже въ его время съ языкомъ народа. Онъ же, этотъ безсмертный образецъ латинскаго литературнаго искусства, тщеславѣйшій изъ Римлянъ, горячій поборникъ римской старины, писалъ завѣтныя свои философическія творенія на греческомъ языкѣ, и не стыдился давать ихъ греческимъ риторамъ для исправленія и обдѣлки слова; на латинскомъ же языкѣ издавалъ, какъ кажется, только то, что ему казалось не очень важнымъ для его ученой и философской славы и годящимся лишь для грубѣйшей публики. Такъ точно дѣйствовала и западная ученость послѣ возрожденія наукъ и искусствъ въ Европѣ, когда древній языкъ латинскій былъ признанъ книжнымъ языкомъ новѣйшаго міра. То же самое происходитъ донинѣ въ Турціи, гдѣ ученый человѣкъ стыдится строкъ, написанныхъ имъ не по-арабски или не по-персидски. Можно ли тогда заключить что-нибудь вѣрное изъ такихъ литературъ о характерѣ народа, который тиранство господствующихъ школьныхъ теорій превращаетъ, на бумагѣ, на полѣ словесности, въ собраніе безчувственныхъ маріонетокъ, приводимое въ дѣйствіе сурками и пружинами чужеземнаго искусства? Упрекали, напримѣръ, прежній классицизмъ, какъ въ уголовномъ преступленіи, что онъ — о! ужась! — почти-тельно обращалъ рѣчь къ греческимъ или римскимъ

героинямъ и героямъ, употребляя слова *madame* и *seigneur*. Чуть ли не эту вопіющую несообразность и приговорили сказанный классицизмъ къ вѣчному изгнанію изъ театровъ. А между-тѣмъ не подлежитъ сомнѣнію, что самыя льстивыя, низкопоклонныя, раболопныя формулы обращенія низшихъ къ высшимъ были въ употребленіи, не только въ греческихъ областяхъ, но даже и въ римскомъ обществѣ еще до Цезарей, въ то самое время, когда болѣе всего чванились «римскою добродѣтелью». Предположить отсутствіе такихъ формулъ, значило бы не знать человѣка. Однакожъ онѣ нигдѣ не являются въ древнихъ литературахъ! Тутъ всѣ другъ другу неизмѣнно говорятъ «ты», безъ всякихъ титуловъ, хотя обычай говорить *вы* вмѣсто *ты* былъ также хорошо извѣстенъ, какъ теперь намъ. А не являются потому, что подобные способы обращенія считались противными условіямъ литературнаго изящества и, вѣроятно, офиціальнымъ фикціямъ «добродѣтелей», на которыя въ обществѣ никто между-тѣмъ не обращалъ вниманія. Это напоминаетъ надпись надъ входомъ одного правительственнаго зданія революціонной Франціи: *Ici on se tutoie de rigueur* (здѣсь не приказано говорить *вы* кому-бы то ни было); а внизу, возлѣ дверной ручки: *Fermer la porte après vous, s'il vous plaît* (извольте, по милости вашей, запереть дверь за собою).

Хорошо. Прежде изображали классическую древность классически, какъ то дѣлали Греки и Римляне, изображая самихъ себя: теперь будемъ изображать классическую древность романтически, какъ Шекспиръ

изображалъ романтическія лица и времена, нравы и дѣла небывалые, героевъ непринадлежащихъ никакой странѣ и никакой эпохѣ, Гамлета, Макбета, Лира. Но древность-то что выиграетъ отъ этой новой и смѣлой методы изображенія? Все же древность будетъ исковеркана, обезображена, убита, какъ въ новой живописи, такъ и въ старой. Хуже этого: въ старой искажали только одни древнія чувства, изъ угожденія образу чувствъ новѣйшаго зрителя, для того, чтобы сдѣлать предметъ трагедіи понятнымъ и трогательнымъ для человѣка другой вѣры и другой образованности. Это отступленіе отъ истины должна допустить у себя и романтическая живопись, подъ опасеніемъ произвести въ зрителѣ впечатлѣнія, нерѣдко противныя тому, какія требуются. Напримѣръ чувства любви отцовской, материнской, сыновней, дочерней, супружеской, причины и способы мщенія, способы изъявленія ненависти или несправедливости, поводы къ обидѣ и выраженіе обидѣ, у древнихъ, существенно разнились съ нашими нынѣшними. Поведеніе Сократа и Катона съ ихъ почтенными супругами, представленное въ натурѣ, заставило бы назвать ихъ, по нашимъ понятіямъ и чувствамъ, мерзавцами или покрыть презрительными насмѣшками: а между-тѣмъ требуется, по указу исторіи, представить ихъ добродѣтельными и мудрыми, какими впрочемъ они и были по нравамъ и чувствамъ классической древности, и возбудить къ нимъ удивленіе и участіе — какъ въ классицизмѣ, такъ и въ романтизмѣ. Нельзя не измѣнить этого обстоятельства для нынѣшняго зрителя и

не приписать Древности чувствъ нашихъ, нынѣшнихъ, которыхъ она вовсе не знала. Катонъ былъ человекъ, по нашимъ чувствамъ, жестокій и корыстолюбецъ отвратительный: въ Римѣ, гдѣ эти пороки господствовали надъ обществомъ, это нисколько не мѣшало репутаціи образцовой добродѣтели и всеобщему уваженію. Можно ли показать его нашему зрителю съ этими ужасными недостатками сердца и увѣрять въ то же время, что онъ — добродѣтельнѣйшій изъ людей? Слава великой «мудрости» Катона у древнихъ основывалась преимущественно на книгѣ, которую сочинилъ онъ о сельскомъ и домашнемъ хозяйствѣ, и гдѣ великій Римлянинъ давалъ своимъ соотечественникамъ глубокомысленныя наставленія, какъ изъ всякой статьи, изъ каждой бездѣлицы, извлекалъ пользу и доходъ; гдѣ онъ со смѣтливостью и жестокосердіемъ жиды излагалъ какъ копить деньгу, какъ составлять запасы, какъ увеличивать прибыль, какъ ловить въ плутовствѣ приказчиковъ и управляющихъ, какъ выбирать, покупать, кормить дешево и сѣчь больно невольниковъ, какъ добывать изъ нихъ наибольшее количество труда съ наименьшими издержками, какъ присматривать за ихъ работами: пара хорошихъ быковъ и здоровый невольникъ, поучаетъ «мудрый» Катонъ, должны вспахать столько-то земли въ день, если за невольникомъ присматривать неусыпно и быковъ хорошо кормить: да все-таки лучше, сверхъ присмотра, *приковать невольника цѣпью за ногу къ сохѣ, для того чтобы онъ не бѣжалъ въ самое рабочее время.* Можете ли такого *мудраю* Катона вывести на сцену,

съ цѣлью развить и показать его историческое величіе? Каждый вскрикнетъ, и очень основательно: Да это прямой цареградскій Турокъ!... какой-то Балабанъ-Паша, а не образцовый Римлянинъ и представитель блистательнѣйшей эпохи римской образованности!... Но таковъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ, за кулисами исторіи. Насчетъ образа чувствъ, между великимъ Катонъ и Балабанъ-Пашою разница совсѣмъ незначительна.

Нечего далеко распространяться: это уже дѣло неизбежное и рѣшеное, что, изображая глубокую древность или образованность различную съ нашей, нужно исказить подлинныя чувства дѣйствующихъ лицъ и замѣнить эти чувства другими, намъ понятными, нашими. Вотъ половина мѣстнаго колорита, и самая важная, уже исчезла; видъ древности уже существенно ложенъ въ главномъ отношеніи, въ отношеніи человѣка къ человѣку. Остается другая половина: нравы и обычаи. Романтизмъ думаетъ, что тутъ-то онъ и мастеръ, что по этой-то части за поясъ заткнулъ онъ всѣ классическіе «парики», которые рѣшительно ничего не смыслили въ нравахъ, въ одеждѣ, походкѣ, фізіономіи и духѣ другихъ эпохъ и другихъ народовъ, въ томъ числѣ древнихъ. Положимъ, что онъ премного смыслить въ этомъ дѣлѣ, хотя, покамѣстъ, позволительно сомнѣваться. Но и тутъ онъ, поневолѣ, почти на каждомъ шагѣ, принужденъ стирать колоритъ мѣстности и представлять обстоятельства нѣ ложномъ видѣ, чтобы не возбудить въ зрителѣ отвращенія или смѣха тамъ именно, гдѣ нужны сочувствіе и

слезы. По своимъ классическимъ правамъ, Федра, въ греческой трагедіи, повѣсилась на сценѣ. Осмѣлится ли романтизмъ позволить себѣ это характеристическое средство къ эффекту ради строгой вѣрности съ натурою и фізіономіею нравовъ классическаго міра? Покорнѣйше прошу романтизмъ, съ его пристрастіемъ къ натурѣ и истинѣ, поставить на сценѣ японскую героиню, которая безвинно осуждена на смерть и торжественно прощается съ отцомъ, съ матерью и съ женихомъ, чтобы растрогать нашу публику. Передъ каждымъ изъ нихъ, по японскимъ обычаямъ, она должна присѣсть девять разъ, покачиваясь направо и налево, и страшный прощальный поцѣлуй выразить треніемъ кончика своего носа о носы дорогихъ сердцу, съ чувствительнымъ обняхиваніемъ ихъ персоны. Зрители наши станутъ не рыдать, а хохотать. Коротко сказать, вѣрное изображеніе неизвѣстныхъ нравовъ и обычаевъ на сценѣ — мечта несбыточная и смѣшная со стороны романтизма, который хорошо знаетъ самъ, что ему поминутно приходится лгать противъ истины: а между-тѣмъ прикидывается ея великимъ знатокомъ и неліцемернымъ блюстителемъ! Ради «мѣстнаго колорита», загромождаетъ онъ сцену панаэнейскими процессіями, банкетными триklinіями съ комедіантами, гаерами и «бѣшенницами» (menadae), засѣданіями римскаго трибунала и аѳинскаго ареопага. Для имѣющаго нѣсколько ясное понятіе объ этихъ дѣлахъ, это — нестерпимая карикатура классическихъ нравовъ и обычаевъ; для несвѣдущаго, это — обманъ. Въ томъ и другомъ случаѣ

подобныя затѣи — чистая потеря времени. Положивъ руку на совѣсть, романтизмъ не можетъ не почувствовать, что онъ не воспроизводитъ, а надуваетъ, и тѣмъ ужаснѣе, что по самому простому здравому смыслу, невиданныхъ церемоній, обрядовъ и обычаевъ, невозможно воспроизвести даже приблизительно. Стоитъ ли тогда, для пустой, обманчивой блески, которою можно удивить однихъ лишь добряковъ, оставлять санъ поэта и дѣлаться декораторомъ, костюмеромъ, старостою торжественныхъ ходовъ! По мнѣ это — дѣло непозитическое. Поэтъ творить, а не роется въ археологическомъ хламѣ, и не таскаетъ изъ него битой драни, которой каждый обломокъ требуетъ разгадки, объясненія и выноски и всегда подлѣжитъ спору.

Что же выходить на-дѣлѣ изъ этого приложенія романтическихъ теорій къ воспроизведенію классической древности? Да только то, что, за мѣстнымъ колоритомъ, за процессіями, обрядами, обѣдами, засѣданіями, за нравами и обычаями, якобы ужасно греческими и римскими, не остается мѣста для чувства и страсти, и что сочиненіе является холоднымъ. Не велика же польза отъ такой огромной затѣи! Покойный классицизмъ, искажая образъ чувствъ погибшаго міра такъ же смѣло какъ и вождѣльно-здравствующій романтизмъ, не касался ни нравовъ, ни обычаевъ древности, не думалъ вовсе о мѣстномъ, греко-римскомъ колоритѣ; заботился только о развитіи одной нравственной стороны избраннаго происшествія, или сюжета. То, что говорили и дѣлали его Греки и Рим-

ляне, могло быть сказано и сдѣлано въ Аѳинахъ, въ Римѣ, Вавилонѣ, въ Пекинѣ, въ Рио-Жанейро, въ Парижѣ или Бенаресѣ, безъ малѣйшаго ущерба и сущности интересу дѣла. До Тальмы, неблагоударнаго убійцы отца своего, классицизма, до этого разбойника, нанесшаго ему первый смертельный ударъ своею выдумкою быть вѣрнымъ истинѣ по-крайней-мѣрѣ наружно, въ костюмѣ и позахъ, до Тальмы, Юлій Цезарь являлся на сцену въ шитомъ французскомъ кафтанѣ, короткихъ штанахъ и шелковыхъ чулкахъ, треугольной шляпѣ со шпагою подъ лѣвою полою и серебряными пряжками на башмакахъ, а Тезей съ короною изъ страусовыхъ перьевъ на головѣ по модѣ мексиканскихъ касиковъ: размашисто декламировали они чтò написано поэтомъ — и приводили блестящія собранія людей очень умныхъ и образованныхъ въ содроганіе, въ ужасъ, въ слезы. Цѣль была вполне достигнута, несмотря на жесточайшіе анахронизмы въ одеждѣ, обстановкѣ и даже въ рѣчахъ. Картины нравовъ и обычаевъ, слѣдовательно, вещь вовсе несущественная въ трагедіи и драмѣ: есть онѣ — дѣлать нечего, надо посмотрѣть на фальшивую живопись; а нѣтъ — такъ и не нужно; но жертвовать имъ не стоитъ ни однимъ ударомъ сердца, ни одною искрою страсти, въ которыхъ состоятъ истинный интересъ творенія и естественный матеріалъ искусства, и гоняться за подобными картинами не *поэтично*. Зачѣмъ смышленной и изящной поэзіи заводить неумѣстное соперничество съ суздальскою школою живописи?

Если романтизмъ такъ сильно дорожить вѣрностью

натурѣ, то, въ *трагедіи*, сочиняемой на сюжетъ классическій и греческій, первѣйшее условіе вѣрности, кажется, состоятъ въ томъ, чтобы прежде всего самая трагедія, какъ поэма, была вѣрна своей собственной натурѣ, чтобы она являлась именно тѣмъ, для чего выдумана и усовершенствована Греками и къ чему всегда у нихъ служила. Съ такимъ глубокимъ антикваріемъ, каковъ романтизмъ, который насквозь проникъ языческія мистеріи и дѣлаетъ изъ нихъ все, что хочеть, секретовъ быть не можетъ: классицизмъ исковеркалъ трагедію, примѣнивъ эту форму поэмъ къ представленію событій и идей, вовсе ей несвойственныхъ, между-тѣмъ какъ трагедія имѣла одно назначеніе — служить, въ извѣстныя празднества, дополненіемъ храмовымъ таинствамъ и популярно, помощью стихотворной повѣсти въ лицахъ, излагать народу то, что сейчасъ было изображено въ храмѣ загадочными символами, а именно, основной догматъ языческой вѣры, неизбѣжную и неумолимую силу рока (*Eimarmenê, Fatum, Aithmos, Noûs, Logos, etc.*), заранѣе разсчитанныхъ и предопредѣленныхъ судебъ всего рождающагося и могущаго родиться. Отсюда главное условіе трагедіи — возбуждать ужасъ и состраданіе примѣрнымъ изображеніемъ дѣйствій этой страшной, жестокой силы. Миссъ Мартино, въ наше время, писала повѣсти для популярнаго объясненія таинствъ экономіи политической любителямъ и любительницамъ чувствительныхъ разсказовъ. Греческая трагедія — повѣсть въ томъ же родѣ, только на пользу греческаго ученія о судьбѣ. Она служила популярнымъ допол-

неніемъ храмовому символическому священнодѣйствію. Едва обряды въ храмѣ кончились, начиналась трагедія; на передней части сцены, мѣсто жреца занималъ декламирующій подъ музыку актеръ; по сторонамъ помѣщался хоръ, отвѣчавшій и помогавшій актеру. Набожные и богатые язычники жертвовали огромными суммами на эти назидательныя представленія, полезныя вѣрѣ Юпитеровой и угодныя богамъ. Участвовать въ хорахъ почиталось заслугою передъ богами и честью передъ людьми, и въ хоры избирались депутаты отъ общинъ. По странному случаю, романтизмъ, ради вѣрности древней натурѣ, сочиняетъ, для начала, языческія трагедіи въ доказательство противнаго, а именно, что рокъ — вздоръ и что боговъ нѣтъ на свѣтѣ. Это очень похвально, но это уже уступка чувствамъ и убѣжденіямъ новѣйшаго зрителя и существенное превращеніе трагедіи: какъ-скоро нѣтъ рока, нѣтъ ужаса и состраданія, и, слѣдственно, нѣтъ трагедіи. Зачѣмъ же, въ греческомъ и языческомъ дѣлѣ, и называть «трагедіей» то, что не представляетъ ни малѣйшаго сходства съ греческою языческою трагедіей? Зачѣмъ увѣрять въ *стараніи быть вѣрнымъ духу изображаемаго времени*, когда, не только духъ времени и духъ трагедіи, но и самые извѣстные факты сюжета безпрестанно приносятся въ жертву романтической фантазіи? Поэма можетъ, сама по себѣ, быть прекрасна безъ притязаній на вѣрность колорита мѣста и эпохи, вѣрность, которой одна половина всегда будетъ сомнительна и спорна, тогда какъ другая явственно нарушена.

Напримѣръ, Аѳины, Аѳинянь и Грековъ время. Алкивиада вообще, донинѣ представлялъ я себѣ со-всѣмъ иначе, нежели г. Алферьевъ, и очень трудно было бы привести въ ясность, кто изъ насъ представляетъ ихъ себѣ вѣрнѣе. По этой страсти къ самоубійству, по этой безотчетности поводовъ къ чувствамъ и рѣшеніямъ, этому добродушію неумѣстныхъ признаній, не будь здѣсь написано, что это Греки, я принялъ бы ихъ за природныхъ Японцевъ, тѣмъ болѣе, что весь ходъ, сюжетъ и форма трагедіи сильно напоминаютъ собою японскую и китайскую драму. Всѣ мои понятія о хитрости, тонкости, остроуміи, тщеславіи, безстыдствѣ и изяществѣ Аѳинянь и Эллиновъ той эпохи, о положеніи философовъ въ тогдашнемъ обществѣ, объ ихъ ученіяхъ, о греческихъ страстяхъ, нравахъ, обычаяхъ, и прочая, опрокинуты и перепутаны этими романтическими Греками. Если я не правъ, тѣмъ хуже для автора: потому-что объ этихъ вещахъ я думаю точно также, какъ доселѣ всѣ вообще думали, и слѣдовательно понятія поэта объ нихъ не удовлетворяютъ никого. Дѣло всякому покажется невѣроятнымъ и искаженнымъ. Поэту не прилично быть умнѣе всѣхъ, вмѣстѣ взятыхъ: онъ долженъ только быть всѣхъ искуснѣе, долженъ уметь высказать умнѣе и краше всѣхъ то, что всѣ знаютъ и думаютъ. Въ противномъ случаѣ, ему вѣрить не станутъ. Поэты не рѣдко, въ этомъ отношеніи, пользуются такою дурною репутаціей, что о вѣрности и истинѣ словъ своихъ имъ бы и упоминать не слѣдовало, изъ благоразумія.

Напримѣръ, я всегда былъ увѣренъ, что философы,

во времена Сократа, и въ другія, были для народа предметомъ посмѣшища, омерзѣнія, ненависти. Аристофанъ дурачилъ и срамилъ ихъ на сценѣ въ лицѣ знаменитѣйшаго ихъ представителя. Ареопагъ гналъ ихъ немилосердо, приговаривалъ къ смерти, назначалъ цѣну за ихъ головы. И въ самомъ дѣлѣ, они были и смѣшны и вредны. Кромѣ нѣсколькихъ энтузіастовъ философіи, никто не принялъ стороны Сократа. Народъ равнодушно и безмолвно — чуть ли еще не съ радостью — допустилъ его погибнуть въ тюрьмѣ. Смерть его приверженцами философіи была провозглашена вопіющею несправедливостью: между-тѣмъ вѣрно то, что и въ наше время всякое благоустроенное государство по меньшей мѣрѣ выслало бы его за границу. Но въ литературѣ перо держали философы и ихъ приверженцы: не мудрено, что потомство смотрѣло на древность сквозь призму ихъ страстей, съ точки зрѣнія ихъ прихода. Однако теперь извѣстно, съ достаточною достовѣрностью, что древнія общества думали и чувствовали совсѣмъ иначе; что между обществомъ и литературою повсюду существовало сильное, коренное разногласіе. Какъ же теперь повѣрить, когда вамъ рассказываютъ, будто два самые смѣшные изъ греческихъ философовъ, Гераклитъ и Демокритъ, явившіеся самоуправно въ засѣданіе аѳинскаго ареопага, того самаго судилища, которое токъ-что обрекло смерти Сократа и Діагора, и были приняты этими темными и грозными ханжами съ необычайными почестями: всѣ члены встали; просили двухъ осмѣянныхъ бродягъ занять мѣста между ними, на скамь-

яхъ верховнаго трибунала, и руководствовать ихъ совѣщаніями; по доносу пришельцевъ на ихъ философское слово, безъ слѣдствія и допроса, безъ всякой формы суда, отрѣшили отъ должности одного изъ правителей, архонтовъ — за что же? — за стихотворную кражу!... за случай, самый обыкновенный въ рукописныхъ литературахъ и самый трудный къ обслѣдованію и рѣшенію? И отрѣшенный архонтъ является передъ ними, признается во всемъ добродушно, по голословному показанію одной дѣвушки подвергается изгнанію, уходитъ и бродитъ нищимъ по міру! Въ древней Греціи никто не могъ попасть въ сановники, не имѣя въ пользу свою сильной партіи въ народѣ. У каждаго изъ архонтовъ, не только въ народѣ и обществѣ, но и въ самомъ ареопагѣ должна быть своя партія. Какъ же можно такъ безцеремонно поступать съ однимъ изъ правителей, не увѣрившись предварительно въ расположеніи и силѣ его приверженцевъ? Они въ состояніи произвести мятежъ и переворотъ. Гдѣ «мудрость» ареопага? гдѣ греческая тонкость и хитрость? Правда, предполагается, будто виновный попалъ въ архонты безъ партіи, просто за *стихи*, за поэму, увѣнчанную на панафинейскихъ играхъ и которую онъ укралъ у другаго: предположеніе — черезчуръ романтическое или, вѣрнѣе, идиллическое. Но безъ предположеній быть нельзя, ни въ поэзіи, ни въ наукахъ. Допустимъ эту гипотезу. Да можно ли допустить, чтобы на народныхъ играхъ кто-нибудь получилъ стихотворный вѣнокъ безъ интригъ, друзей, приверженцевъ, словомъ, безъ партій? Это значило

бы — не знать тайнаго механизма интригъ и предпо-
 лагать страшное простодушіе въ греческихъ кри-
 тикахъ, судьяхъ искусства. Кромѣ-того поэты были
 ненавидимы философами. Платонъ даже хотѣлъ из-
 гнать ихъ изъ своего отечества. За стихоплета, ожи-
 дающаго получить вмѣстѣ съ поэтическимъ вѣнкомъ
 почетный и прибыльный санъ архонта въ древней
 Греціи, должна была стоять огромная партія въ на-
 родѣ и обществѣ: иначе онъ никогда не достигъ бы
 такой славной цѣли. И «мудрый» вѣроугодъ, состав-
 ленный изъ Грековъ, хороша *вмѣстѣ со своимъ*
времени и своего народа, подумавъ даже поколебать-
 ся передъ этимъ простымъ соображеніемъ, рѣшаясь
 такъ легкомысленно на поступокъ опрометчивый и
 опасный! Не такъ-то легко «быть вѣрнымъ духу изо-
 бражаемаго времени», какъ увѣряютъ предисловія къ
 трагедіямъ и драмамъ. За исключеніемъ одного только
 вѣроломнаго друга, списавшаго себѣ чужую поэму съ
 намѣреніемъ выдать за свою, но въ сущности доб-
 раго малаго, способнаго къ раскаянію и самонаказа-
 нію, всѣ прочія лица — невообразимые добряки, про-
 стяки. Спрашивается: гдѣ же Греки? гдѣ эти бурные,
 проказливые, остроумные, тщеславные, властолюбивые,
 легкомысленные Аѳиняне Алкивіада? И гдѣ духъ того
 славнаго времени, столь знаменитаго въ политикѣ,
 войнѣ, торговлѣ, искусствахъ, наукахъ, и народномъ
 богатствѣ по-крайней-мѣрѣ такой, каковъ видѣнъ изъ
 Оукидида, писавшаго по понятіемъ своей партіи?

Личную исторію героя трагедіи можно предоставить
 въ полное распоряженіе поэта. Герой — лицо совер-

Соч. Сенковск. Т. VIII. 14

шенно незначительное, и обстоятельство, въ которомъ онъ дѣйствуетъ, къ сожалѣнію, не занимательно для массъ, слушающихъ или читающихъ. Никогда не должно выводить на сцену дѣлъ одного какого-нибудь сословія, ремесла или цеха: они вполне понятны и интересны только для его членовъ; массы не входятъ въ эти частности касты и не проникаются ея спеціальными чувствами. Литераторы, привыкшіе въ своемъ тѣсномъ кругу считать литературныя событія, приключенія, несчастія, обманы или побѣды, дѣлами необыкновенной важности — потому-что они важны для нихъ лично — ошибаются очень, воображая, будто изображеніе этихъ дѣлъ на сценѣ будетъ такъ же сильно трогать и шевелить публику, какъ волнуетъ ихъ самихъ. Ничего не бывало! Общество увлекается только изображеніемъ дѣлъ, до него лично касающихся — дѣлъ общественныхъ — всѣмъ общихъ — или дѣлъ семейныхъ, общихъ каждому, а въ эти цеховыя дразги — распри, торжества, неудачи, общія только не многимъ, не вдается. Когда вы ему говорите объ нихъ серьезно, съ жаромъ, съ чувствомъ, съ убѣжденіемъ, до половины оно слушаетъ васъ съ любопытствомъ, но безъ участія; во второй половинѣ уже зѣваетъ; а въ концѣ только пожимаетъ плечами и думаетъ про себя: «Есть же люди, которые занимаются такими бездѣлицами; горячатся изъ-за такихъ пустяковъ! . . . Слава! Ну, что такое стихотворная слава! . . . Вздоръ! . . . Сами же говорятъ — дымъ! . . . Такъ о чемъ же хлопотать? . . . Деньги, чинъ, жена, дѣти, вотъ это — дѣло другое, это важно. А книги, стихи,

«сочиняются только потѣхи-ради. Похитили, вишь,
 «стихотвореніе у молодца . . . рукописное, дескать,
 «стихотвореніе. Вотъ велика важность! Сколько разъ,
 «примѣрно сказать, самъ я бралъ у пріятеля книжку
 «съ печатными стихами — такъ — почитать на до-
 «сугѣ — и, прочитавъ, бросилъ, не подумавъ от-
 «дать, и книжка пропала: дѣти изорвали или барыня
 «изрѣзала на папильотки. Ну, не вспомнилъ! Можно
 «ли помнить о такихъ мелочахъ! Случится, пожалуй,
 «и со мной такой казусъ, что у кого-нибудь возьму
 «и рукописное стихотвореніе для прочтенія вечер-
 «комъ женѣ или за обѣдомъ пріятелю, и оно потомъ
 «затеряется. Эти господа и обо мнѣ готовы сказать,
 «что я де—воръ, я убійца славы и судьбы человѣка,
 «я кровожадный баши-бузукъ. Какіе пустяки! Ну,
 «пропало и дѣло съ концомъ. Напишетъ другое! Вѣдь
 «писать стихи, книги, ничего не стоитъ: издержекъ ни-
 «какихъ нѣтъ: сѣсть да и писать! Самъ я въ училищѣ
 «писывалъ стихи. А лѣнь — самому, такъ можно
 «сказать кому-нибудь: напишетъ за васъ! Для этого,
 «извѣстно, есть особенный классъ людей . . .» И такъ
 далѣе. Повѣрьте, что общество именно такъ разсуж-
 даетъ объ этихъ предметахъ, и я очень сожалѣю о
 бѣдномъ Діагорѣ, который, не зная по неопытности
 духа общества, и предполагая въ немъ тѣ же чувства,
 которыми самъ одушевленъ послѣ нечаянной потери
 поэмы, надѣется тронуть его своимъ горемъ, просле-
 зить своимъ отчаяніемъ. Это горе, это отчаяніе, не
 могутъ не показаться суетному, заваленному дѣлами
 обществу, преувеличеннымъ, дѣтскимъ, смѣшнымъ. По-

хититель принесъ торжественную клятву, что поэма дѣйствительно — его собственное сочиненіе. Изъ негодованія, что боги мгновенно не разразили мерзавца молніями, поэтъ, настоящій авторъ поэмы, дѣлается безбожникомъ, отвергаетъ рокъ, Юпитера, и всю компанію. Общество навѣрное скажетъ, что онъ — сумасшедшій. Состраданія не получить онъ никакого. Надъ нимъ, напротивъ, будутъ смѣяться. Объ ужасѣ за его участь и говорить нечего: всякій еще пожелаетъ, чтобы судьба наказала его примѣрно за такое непростительное тщеславіе. Гдѣ же интересъ трагедіи? Гдѣ самая трагедія? Она не можетъ состоять только въ томъ, что дѣйствующія лица, одно за другимъ, поражаютъ себя кинжалами. Въ этомъ не было бы ни малѣйшаго искусства.

Были въ Греціи, какъ кажется, три Діагора, болѣе или менѣе извѣстные, изъ которыхъ неясное преданіе часто дѣлало, то одного, то двухъ. Одинъ изъ нихъ былъ поэтъ, современникъ Пиндара, и писалъ дионирамбы. Другой, пошленькій философъ, пройдоха и пріятель Алкивіада, прозванный Atheos, «безбожникомъ», былъ родомъ съ острова Мелоса и сначала, повидимому, притворялся ханжою, чтобы дешевле быть допущеннымъ въ элевсинскія и другія мистеріи; потомъ, скинувъ маску, сталъ явственно насмѣхаться надъ богами и жрецами. Попадъ въ буйное общество богатыхъ и развратныхъ шалуновъ, которымъ предводительствовалъ молодой Алкивіадъ, этотъ бродяга участвовалъ въ шутовскомъ представленіи элевсинскихъ мистерій, которое, къ великому соблазну Аен-

нянъ, они справили между собою для потѣхи своихъ пріятелей. Навѣрное, какъ посвященный въ мистеріи, онъ же былъ и режиссеромъ этого представленія, потому-что, когда поднялся шумъ въ Аѣинахъ, разгульные «наилучшіе», *aristi*, увернулись, по-видимому, тѣмъ, что всю вину взвалили на безроднаго философа, которому между-тѣмъ помогли скрыться. Ареопагъ судилъ Діагора заочно, приговорилъ къ позорной смерти, и назначилъ талантъ награды тому, кто представитъ его голову, а два таланта—кто «приведетъ живаго. Но во время бѣгства своего изъ Аѣинъ, Діагоръ погибъ въ морѣ отъ кораблекрушенія. Смѣшивая двухъ Діагоровъ, поэтъ съ философомъ, древніе рассказчики объясняли причину атеизма втораго тѣмъ, что будто-бы онъ сочинилъ прекрасный днаирамбъ—трагедія этотъ днаирамбъ превращаетъ въ эпопею; что одинъ изъ его друзей похитилъ сочиненіе и утвердилъ собственность днаирамба за собою смертною присягою, произнесенною въ саванѣ Прозерпины; что Діагоръ послѣ этого пересталъ вѣровать въ боговъ съ досады на нихъ за то, что они мгновенно не наказали смертию ложнаго клятводателя. Грубая неловкость этой выдумки удивительна, со стороны языческихъ повѣствователей. Видно похитителю не суждено было рокомъ при рожденіи міра умереть тотчасъ послѣ ложной клятвы! Въ такомъ случаѣ, что же могли сдѣлать боги, когда рокъ былъ сильнѣе всѣхъ ихъ? И развѣ, опять, не тѣмъ же рокомъ предопредѣлено было Діагору сдѣлаться безбожникомъ? Но повѣствователи поправили ошибку въ заключеніи сказки: они удосто-

вѣрили, что Нептунъ самъ лично погубилъ безбожника, поднявъ бурю во время бѣгства его изъ Аѳинъ. Третій Діагоръ былъ, какъ кажется, коринескій юрисконсультъ и составилъ сводъ законовъ города Мантинеи, который атлетъ Никодоръ ввелъ тамъ въ дѣйствіе много лѣтъ спустя послѣ гибели безбожнаго философа Діагора. Нѣкоторые ученые, и авторъ трагедіи вмѣстѣ съ ними, и этого третьяго Діагора, юрисконсульта, сливаютъ въ одно лицо съ двумя первыми, съ поэтомъ и съ философомъ, и полагаютъ, что философъ, ускользнувъ изъ Аѳинъ, сдѣлался юрисконсультомъ въ Мантинеѣ, подъ покровительствомъ Никодора. Трагедія еще распространяетъ гипотезу: дѣлаетъ Діагора, самого лично, правителемъ и благодѣтелемъ Мантинеи, которой благодарные граждане воздвигаютъ ему статую, на площади, передъ храмомъ Юноны. По вольности романтизма, она предполагаетъ еще, будто Діагоръ правилъ восемь лѣтъ Мантинеей, скрывая свое имя, обезславленное во всей Греціи эпитетомъ «безбожникъ», и что, когда нужно было открыть, наконецъ, это имя для начертанія его на пьедесталѣ статуи, онъ умеръ скоростигжно — со страху — со стыда — ужъ не знаю отчего. Не понимай.

Діагоръ, философъ, славился остроуміемъ и веселымъ нравомъ, но былъ, какъ видно изъ всего, что объ немъ рассказываютъ, не болѣе какъ дерзкій до пошлости болтунъ, богохулецъ, безстыдный промышленникъ софистическимъ плутовствомъ, человекъ достойный подозрѣнія. Всѣ вообще фимософы, какъ подозрѣваемые

ханжами въ развращеніи юношества теоріями, распространявшими безвѣріе и безнравственность и не жалующимися народомъ, старались казаться строго религіозными и набожными, чтобы избѣгнуть преслѣдованія законовъ. Ни въ книгахъ, ни въ бесѣдахъ, никто изъ нихъ не осмѣливался излагать положеній, противныхъ мнѣнію жрецовъ и тайному ученію мистерій. Передъ самыми лишь короткими и преданными учениками могли они обнаруживать свои заповѣдныя мысли, въ такъ-называемыхъ «изустныхъ наставленіяхъ». Наставленія эти погибли: но нѣтъ никакого основанія думать, чтобы кто-нибудь изъ нихъ возвысился до идеи чистой духовной, разумной силы и истиннаго Бога. Всѣ они были вѣрны религіи Юпитера, какъ и донинѣ азіатскіе язычники-пантеисты. Ихъ верховный разумъ, *Noûs*, былъ также разумъ вещественный: одно изъ свойствъ того же первобытнаго вещества. Этотъ терминъ, *Noûs*, часто переводился словомъ *Arithmos*, Число, основаніе физической гармоніи творенія. Коротко сказать, и язычники и ихъ философы были всѣ матеріалисты. Сократъ, родъ классическаго иллюмината, что ни говорите, не имѣлъ тоже понятія объ истинномъ Богѣ, о той всемогущей и всевѣдующей духовной силѣ, которая создала все своей мудростью и охраняетъ все своей благостью. Его *Noûs* то же пантеистическое начало, въ которое всѣ вѣрили въ его время. Можно быть пантеистомъ многобожнымъ и пантеистомъ однобожнымъ. Но все же это матеріализмъ, и отсюда до познанія истиннаго Бога еще очень далеко. Но Сократъ былъ существенно многобожникъ: друзья, защи-

щавшіе его, не солгали на этотъ счетъ. Не будь онъ многобожный пантеистъ въ душѣ, не выдумалъ бы онъ особеннаго Сократова демона или генія. Спустя двадцать три столѣтія, легко приписывать любимому идеалу и миѣнія чувства, которыя мы желали бы найти въ немъ. Но современники тоже знали что-нибудь о человѣкѣ, котораго они ненавидѣли и погубили. На свидѣтельства Платона и Ксенофонта нельзя полагаться; они *принуждены* были всячески оправдывать Сократа, чтобы самимъ не подвергнуться народной ненависти и гоненію, какъ ученики этого «опаснаго» человѣка. Скорѣе обвинители Сократовы могутъ намъ указать на истину. Сократа обвиняли, главнѣйше, въ *изобрѣтеніи и введеніи новыхъ боговъ*—именно въ изобрѣтеніи своего «демона», которымъ онъ дѣйствительно умножалъ число обитателей Олимпа. Относительно къ духу пантеизма и къ основаніямъ многобожія, это не составляло еще такой страшной ереси, которой бы нельзя было простить при благопріятныхъ обстоятельствахъ. Вводить новыхъ боговъ не запрещалось въ многобожномъ пантеизмѣ: Сократъ, по этой статьѣ, виновенъ былъ болѣе въ самоуправствѣ, чѣмъ въ нарушеніи догмата. Но будь онъ теистъ, однобожникъ, даже и въ пантеистическомъ смыслѣ: о! тогда погибъ онъ, не добровольною, а позорною смертію. Если бы враги Сократа открыли малѣйшій признакъ однобожія въ его ученіи или его бесѣдахъ, немедленно былъ бы онъ провозглашенъ *atheos*, «безбожникомъ», и судили бы его такъ же безщадно, какъ судили философа Діагора. Кто вѣровалъ въ одного только Бога, тотъ, для много-

божниковъ, былъ *безбожникъ*, *atheos*. Не такъ ли язычество называло Іудеевъ Ветхаго Заѣта? На за это ли во всѣ времена ненавидѣли и преслѣдовали ихъ? Не писали ль объ нихъ, даже люди образованные и просвѣщенные, философы, поэты, историки, что они — *atheî*, безбожники, люди вредные и странные, у которыхъ воздухъ — безъ Юпитера, звѣзды безъ особенныхъ божествъ: *sine Jove aër, sine lumine ullo sidera — superstities malefica*? Самые умные многобожники не постигали, какъ можно вмѣстить въ голову свою какую-нибудь отдѣльную часть природы безъ силы, свойственной этой части, безъ особеннаго божества, которое управляетъ ею. Ясно, что Сократа нельзя было обвинить въ такомъ ужасномъ преступленіи, когда и не подумали обвинить въ немъ зловреднаго спорщика-вопросчика, всѣхъ ставившаго въ дураки и всѣмъ надоѣвшаго.

Какъ же прикажете думать о Діагорѣ-безбожникѣ? Этотъ ужъ явно не былъ многобожникъ. Одинъ изъ всѣхъ философовъ того времени вздумалъ онъ пріобрѣсть извѣстность дерзкимъ вольнодумствомъ и неприличными, вовсе не философскими, оскорбленіями святыни своихъ согражданъ. О шутовскихъ его проказахъ въ Аѣинахъ мы упомянули. Рассказываютъ объ немъ также, что, еще до этой шалости, однажды плылъ онъ на кораблѣ, который застигла страшная буря. Испуганные матросы приписывали бѣдствіе гнѣву на нихъ Нептуна за то, что они везутъ съ собою безбожника, и хотѣли философа бросить въ море; но Діагоръ успокоилъ ихъ замѣчаніемъ: «Посмо-

«трите! вотъ и другіе корабли качаетъ такъ же какъ «и вашъ. Что жъ? неужели я, нетолько — здѣсь, но «и на всѣхъ этихъ корабляхъ?» Вышедши на берегъ, увидали они на взморьѣ деревянную статую Геркулеса. Діагоръ изрубилъ ее на дрова и принялся варить на Геркулесѣ кашу, говоря: «Вотъ это будетъ твой тринадцатый подвигъ!» Въ храмѣ Нептуна жрецы показывали множество мраморныхъ досокъ съ благодарственными надписями Нептуну, поставленныхъ по объѣту тѣми, кого могучій богъ водъ спасъ въ морѣ отъ неминуемой гибели. Діагоръ замѣтилъ жрецамъ: «Вотъ «если бы у васъ поставили доски всѣ тѣ, которые «сдѣлали точно такой же объѣтъ и кого онъ не спасъ, «были бы вы побогаче!» Какъ ни сомнительны всѣ эти анекдоты, дѣло въ томъ, что, по выходкамъ, ему приписываемымъ, Діагоръ прослылъ безбожникомъ. Былъ ли онъ въ-самомъ-дѣлѣ однобожникъ, какъ слѣдовало бы заключать изъ прозвища его *atheos*, это сомнительно, но очень возможно. Многіе языческіе философы болѣе или менѣе явно клонились къ однобожному пантеизму. Но до познанія истиннаго Бога не доходилъ никто изъ языческихъ мыслителей: это вѣрно. Общее направленіе умовъ не допускало этой возвышенной идеи, и самое сопротивленіе философовъ первымъ проявленіямъ христіанства — сопротивленіе школьно-упрямое, неутомимое — убѣдительно доказываетъ, что идея эта никогда не проникала въ ихъ школы и была для нихъ совсѣмъ новою, изумительною, непонятною, противною. Трагедія однакожъ предполагаетъ, что Діагоръ не только имѣлъ понятіе объ истинномъ

Богъ, но и почерпнулъ понятіе это у Сократа. Умирая въ заключеніе спектакля, Діагоръ-безбожникъ говоритъ мантинейскому народу, который перепугался при мысли, что можетъ-быть онъ умираетъ безбожникомъ:

“О! нѣтъ! друзья, сограждане, утѣштесь,
Вашъ Діагоръ давно не атеистъ.
Такъ! нѣтъ боговъ! я смѣло утверждаю;
Но есть одинъ, одинъ, Великій Богъ!” (Умираетъ.)

Представленіе оканчивается превосходно. Вообще сочиненіе г. Алферьева основано на прекрасной идеѣ.

Изъ того, что здѣсь сказано до сей-поры, г. Алферьевъ и г. Мей могутъ, я боюсь, заключить, что творенія ихъ мнѣ не нравятся. Противъ такого заключенія я протестую, и въ слѣдующей статьѣ буду имѣть честь объяснить подробно, чѣмъ именно я въ нихъ восхищаюсь. Не совсѣмъ мнѣ нравятся только — и объ этомъ-то говорилъ я доселѣ — эти романтическія затѣи, эти вычурныя готическія башенки, на величественныхъ развалинахъ классической древности, да еще эти увѣренія въ точномъ сохраненіи колорита мѣста и эпохи, въ вѣрности духу изображаемаго времени. Какъ я обожаю классическую древность, то мнѣ нѣсколько жаль стало, что не вездѣ узнаю ее, какъ въ трагедіи, такъ и въ драмѣ, не потому, чтобы сочинители, ихъ не понимали ее лучше моего, а потому, что они усиливаются выказать вѣрность натурѣ тамъ, гдѣ вѣрность обыкновенно бываетъ ошибкою или вводитъ въ ошибку, гдѣ она всегда сомнительна, почти невозможна, да и вообще

излишня. Но при этомъ я душевно радуюсь, что наши даровитые поэты начинаютъ, хотя и съ романтическими видами, обращать свое вниманіе и свое искусство на великолѣпный предметъ классической древности: вкусъ, литература и наслажденіе читателей должны выиграть многое отъ такого прекраснаго направленія нашей умственной дѣятельности. Болѣе удовольствіе бесѣдовать объ этой чудной древности, чѣмъ желаніе спорить съ двумя усердными и свѣдущими ея воспроизводителями, заставило меня разсуждать такъ долго объ обстоятельствахъ, касающихся ихъ твореній, въ высшей степени интересныхъ.



II.

Авторъ «Сервилии» избралъ эпохою своей драмы время гоненій на философъ-стоиковъ, въ Римѣ, въ царствованіе Нерона. Чрезвычайно трудно было бы объяснить нынѣшнему зрителю драмъ нравственное и политическое значеніе этой котеріи въ столицѣ древняго міра, ея положеніе въ обществѣ и въ правительствѣ, поводы и сущность катастрофы, которая ихъ постигла. При Неронѣ она управляла самовластно, до нѣкотораго времени, пока высокоуміе и интриги ея членовъ не обнаружили совершенно: тогда послѣдовали паденіе, изгнаніе и гоненіе въ древне-римскомъ родѣ, который никогда не славился кротостью или

человѣколюбіемъ. Можно почти безошибочно сказать, что Неронъ былъ правъ въ этомъ случаѣ — что онъ долженъ былъ низвергнуть партію философовъ — что изгнаніемъ и уничтоженіемъ ея онъ лишь удовлетворилъ народному негодованію противъ ея надменности самовластія. Долѣе, быть-можетъ, терпѣть было невозможно. Тацитъ увѣряетъ, будто Неронъ вознамѣрился истребить въ лицѣ предводителей кoterіи философовъ и самую добродѣтель. Тутъ, во-первыхъ, есть важное разногласіе въ понятіяхъ о добродѣтели между древними и новѣйшими: у насъ *добродѣтель* значитъ *добро-дѣ-лать*, а у Римлянъ и у Тацита *virtus* собственно *мужскость*, значитъ вести себя *по-мужски*, какъ подобало римскому *мужу*, *vir*, который могъ грабить и угнетать весь свѣтъ, не разрушая этимъ нисколько нравоученіе о добродѣтели и, который, лишь бы твердо хранилъ права и выгоды господствующей олигархіи, былъ всегда для патриціевъ образцомъ человѣческаго совершенства. Римскіе философы, раздѣлявшіе этотъ образъ мыслей какъ граждане и притомъ энтузіасты, страшные приверженцы de l'ancien régime, никогда не простили власти этой мѣры. Озлобленіе философовъ противъ Нерона должно было растравляться всею горечью упрека въ неблагодарности съ его стороны. Неронъ былъ воспитанъ философами. Сенека и Бурръ, главы стоиковъ, Персъ, Корнута, Плавтъ, Аполлоній и Музоній, Руффъ, Петъ, Соранъ, ихъ со-браты, сначала ворочали при немъ дѣлами Рима и занимали важнѣйшія государственныя должности. Что эти господа дѣлали, это скрыто отъ исторіи, состря-

панной членами партіи философовъ. Въ обществѣ, гдѣ «римскому мужу» позволялось драть и грабить напропалую, безъ ущерба римской добродѣтели; гдѣ жестокости съ невольниками были не только во нравахъ, но и въ модѣ; гдѣ сановники не иначе появлялись на улицахъ и среди народа какъ въ сопредшествованіи двѣнадцати, шести, четырехъ и, по меньшей мѣрѣ, двухъ *палачей* (ликторовъ), торжественно вооруженныхъ сѣкирами и палками — какъ въ Турціи визири и паша — какъ въ Китаѣ мандарины — въ такомъ обществѣ прикосновеніе философскихъ рукъ, облеченныхъ властью, разумѣется, не могло быть очень бархатное. Но на все это наброшенъ занавѣсъ молчанія, на которомъ, крупными литерами, красуются лишь громкія слова — мудрецъ — философъ — стоикъ — добродѣтель; и не посвященное въ тайну потомство, чуждое нравамъ, чувствамъ и понятіямъ древняго міра, преклоняется предъ обманчивыми надписями. По политическому и философскому убѣжденію Тацита, Петъ и Соранъ были олицетворенная *virtus*, добродѣтель: конечно, они, какъ стойки, много говорили о добродѣтели. Но гдѣ политическія страсти замѣшаны, тамъ истинѣ нѣтъ мѣста. И обязаны ли мы вѣрить безусловно Тациту? Развѣ онъ не такой же философъ? Тигеллинъ, преемникъ философа Бурра въ главноначальствованіи надъ преторіей, былъ главнымъ орудіемъ изобличенія и паденія кoterіи философовъ: и на него излились вся злоба, всѣ клеветы кoterіи. Портретъ его она передала исторіи въ черномъ видѣ безсовѣстнаго временщика. По-моему, Тигеллинъ только

исполнилъ свой долгъ, раскрывъ глаза цезарю на честолюбіе и самовластіе которіи, ненавистной обществу за гордость и народу за вольнодумство! Прибавимъ къ тому, что философы-стойки были люди нѣсколько сумасшедшіе или, по-крайней-мѣрѣ, смѣшные. Одного ученія ихъ о самоубійствѣ, которому предавались они нерѣдко изъ тщеславія, достаточно для улики въ томъ, что эти люди не могли быть въ своемъ умѣ. Въ стоицизмъ погружаться могутъ однѣ только разстроенныя и ограниченныя головы. Какъ стойковъ, этихъ людей нельзя уважать; а какъ философамъ, я имъ не вѣрю: они занимались вовсе не философскимъ дѣломъ: составляли просто партію, пользовавшуюся по мѣрѣ силъ и возможности своимъ положеніемъ и временною милостью владыки и, разумѣется, поддерживавшую себя происками ко вреду своихъ противниковъ и недоброжелателей. Они были такіе же временщики, какъ и глава недоброжелателей ихъ Тигеллинъ. Не подави онъ которіи, она бы его уничтожила. Потомству нечего принимать сторону однихъ интригантовъ противъ другихъ интригантовъ. Всѣ они были хороши!

Г. Мей, довѣряетъ вполне Тациту — чего ему и въ упрекъ поставить нельзя, какъ поэту, требующему какого-бы то ни было извѣстнаго авторитета. Но вѣроятно, онъ не составилъ себѣ яснаго понятія о положеніи которіи стойковъ въ обществѣ при Неронѣ, потому-что читателю во всю драму не растолковано, что тутъ дѣлаютъ стойки, чего они хотятъ и за что ихъ преслѣдуютъ. Поэтъ, какъ кажется, предпо-

лагаеть, будто ихъ могли гнать за тайную склонность къ началамъ христiанской нравственности и вѣры. Этой гипотезы не было бы возможно оправдать ничѣмъ. Она произвольно нарушала бы характеръ эпохи и дѣйствующихъ лицъ, безъ пользы для драмы, которой настоящіе эффе́кты происходятъ всегда изъ явныхъ и гласныхъ фактовъ, а не изъ недосказанныхъ намековъ. Стоики положительно не клонились къ проповѣдямъ Святаго Петра. Тацитъ, надменный врагъ христiанства, не защищалъ бы ихъ, если бы они клонились къ нимъ. Остается принять риторическую блестящую злословящую Тацита за наличную монету и заключить, будто стоиковъ преслѣдуютъ потому только, что Нерону вздумалось *въ лицѣ ихъ искоренить на землѣ добродѣтель*. Но какая нужда Нерону мучительно *искоренять* римскую добродѣтель, когда ее можно было получить такъ дешево — у самихъ же стоиковъ! Для драмы нужны поводы къ дѣйствіямъ болѣе правдоподобные, болѣе практическіе, чѣмъ иперболическая пошлость риторскаго злословія — *желаніе искоренить и самую добродѣтель!*

Предметъ драмы г. Мея — обвиненіе въ честолобивыхъ замыслахъ и недоброжелательствѣ къ Нерону философовъ Пета и Сорана, двухъ коноводовъ стоической котеріи, въ лицѣ которыхъ именно Неронъ и «*вознамярился* искоренить на землѣ и самую добродѣтель», торжественный судъ верховнаго трибунала надъ ними и надъ дочерью Сорана, Сервиліей, которая, по словамъ доноса, будто-бы предавалась магіи. Это обвиненіе и этотъ судъ Тацитъ рассказываетъ

такъ, какъ ему и философамъ было угодно разсказывать. Хладнокровное чтеніе его повѣсти невольно внушаетъ убѣжденіе, что онъ умалчиваетъ сущность дѣла и ничтожными подробностями загораживаетъ путь истинѣ. Главная цѣль, государственный вопросъ, состояли явно въ необходимости опрокинуть властолюбіе партіи философовъ, чрезмѣрно усилившейся и угрожавшей опасностью новой формѣ правленія: выборъ средствъ и гласныхъ предлоговъ — дѣло второстепенной важности въ подобныхъ обстоятельствахъ. Нынѣшнему зрителю драмъ очень трудно проникнуть хаосъ чувствъ, мнѣній, надеждъ, поступковъ и происковъ, возникшій въ Римѣ при первыхъ цезаряхъ. Единовластіе было учреждено и существовало надѣлѣ, но въ то же время сохранялись имя и формы стариннаго образа правленія, въ сущности олигархическаго. Это естественно и безпрестанно возбуждало, съ одной стороны въ честолюбцахъ разныхъ сословій, особенно въ патриціяхъ, надежду воротиться къ прежней формѣ при первомъ удобномъ случаѣ, а съ другой стороны опасеніе въ народѣ, что эти люди дѣйствительно замышляютъ и готовятъ возвратъ къ прежнему грабительству надменныхъ родовъ консулярныхъ. Вѣчно та и другая сторона находились въ тревожномъ раздраженіи, и кто на глаза одной стороны былъ «мужъ честный и добродѣтельный», тотъ для другой былъ интригантъ и опасный человѣкъ. Но кто въ самомъ дѣлѣ стоилъ того или другаго эпитета, по-нашему, по-нынѣшнему, этого теперь разобратъ невозможно, тѣмъ болѣе, что обѣ стороны опи-

рались теоретически — та на древній законъ, другая на общую и насущную пользу государства. Дѣло однакожъ въ томъ, что философы несомнѣнно были тайные приверженцы прежней формы правленія и не оставляли надежды на восстановленіе ея. Между-тѣмъ, когда цезари бывали къ нимъ милостивы, философы пресмыкались передъ ними, жадно подбирая доходныя мѣста и знатныя должности, разсыпаемыя отъ щедрыхъ владыкъ Рима своимъ собственнымъ приверженцамъ.

Романтическое изображеніе заговора противъ классическихъ философовъ, и суда надъ ними, начинается видомъ древняго римскаго форума и того, что могло происходить на немъ. Играютъ въ кости, продаютъ цвѣты, разносятъ кашу, разговариваютъ о древнихъ новостяхъ, сплетничаютъ, ссорятся, бранятся. Приходить между прочими неизвѣстный старикъ, энергументъ новой вѣры, который бранить боговъ и *посохомъ разбиваетъ мраморную статую Діаны*. Не спору, лицо это — можетъ произвести эффектъ на сценѣ: но желательнѣе было бы видѣть въ представителѣ новой вѣры болѣе кротости, болѣе умирительнаго и святаго достоинства. Этотъ старикъ, кромѣ того, для драмы лицо постороннее. Глашатай, одѣтый Меркуріемъ, возвѣщаетъ народу, что цезарь приказалъ открыть циркъ и театръ. Другой глашатай, со знаменемъ Минервы, разгоняетъ народъ для прохода процессіи панаѳинейскихъ игръ, которая и дѣйствительно проходитъ, съ корзинщиками, съ плясуньями, со жрецами, съ кораблемъ побѣдоносной Минервы, съ музыкою, съ пѣс-

нями, со всѣми романтическими подробностями классическаго торжественнаго хода. Все это изложено прекрасно, высказано хорошимъ, звучнымъ стихомъ. Однако цѣлый актъ проходить въ очеркахъ римскихъ нравовъ и въ раскраскѣ древнихъ людей и предметовъ «мѣстнымъ колоритомъ». Покойный классицизмъ употребилъ бы это дорогое время на самоскорѣйшее изложеніе дѣла, на чувство, на страсть, на основаніе сильнаго интереса. По-крайней-мѣрѣ онъ такъ училъ, и зрители были довольны его наукою. Но другое время — другой фасонъ. Г. Мей не виноватъ, что онъ родился романтикомъ. Странное противорѣчіе однако: прежде у людей было много пустаго времени, и они спѣшили къ дѣлу какъ можно скорѣе: теперь столько занятій, столько затѣй, всѣмъ недосугъ, сидѣть въ театрѣ некогда, а дѣло на сценѣ кладутъ въ долгій ящикъ, чтобы зѣвать на нравы. Съ нравами можно встрѣтиться въ каждомъ романѣ. Отъ нравовъ нынче не знаешь куда дѣваться. Нужны ли они еще и на сценѣ?

Поэтъ однако очень удачно воспользовался прохожденіемъ процессіи, чтобы показать публикѣ героиню драмы. Сервилія, дочь сенатора Сорана, появляется на балконѣ дома своего отца, чтобы бросать цвѣты изображенію Минервы. Она видитъ старика-энергумена, который удивляетъ ее своей твердостью. Народъ готовъ растерзать его за оскорбленіе своей богини. Молодой трибунъ Валерій, влюбленный въ Сервилію, и котораго Сервилія любитъ взаимно — но очень по-римски, холодно, важно — спасаетъ несчаст-

наго отъ ярости язычниковъ. Романтизмъ думаетъ, что такъ какъ Римляне были природные классики и жили до изобрѣтенія романтизма, то они и любить не умѣли по-нашему, по-романтическому, страстно, безумно, съ волканами и лавою. Римляне однакожъ состояли изъ Итальянцевъ и Итальянокъ, о безчеловѣчной пылкости которыхъ въ любви романтизмъ всегда былъ очень хорошаго мнѣнія!

Во второмъ актѣ — опять нравы: римская баня и римскій обѣдъ, съ комедіантами, мимами, танцовщицами, бѣшеницами (*menadae*), канатными плясунами, поварами и поваренками, съ полнымъ приборомъ диковинныхъ римскихъ блюдъ; словомъ, обѣдъ классическій въ высшей романтической степени. А чувства, страсти, интереса нѣтъ какъ нѣтъ! Не являются—изъ римской сенаторской важности. Стоики парятся и обѣдаютъ въ банѣ, нравовъ ради. Къ счастью, при сей вѣрной оказіи является начало дѣла — замысль стоиковъ противъ главнаго врага ихъ, Тигеллина, и умысль его противъ стоиковъ.

Третье дѣйствіе находится вездѣ — во всѣхъ театральныхъ пьесахъ: отецъ Сервилиіи хочетъ выдать ее за старика, за философа-стойка, друга и товарища своего, римскаго сенатора Пета, но дѣвушка предпочитаетъ ему молодаго и бурнаго трибуна, Валеріа, да не смѣетъ сказать этого папенькѣ. Являются молодой человекъ и старый женихъ, тотъ самый, въ лицѣ котораго Неронъ-де хотѣлъ истребить на землѣ и самую добродѣтель. Узнавъ, что Сервилиа любитъ другаго, старикъ Петъ, какъ записной стойкъ, отказывается

отъ красавицы, даже не поморщившись. Отецъ, тоже
 стойкъ, не сердится за это: ему все равно, за кого
 дочь ни выйдетъ; притомъ же и Валерій — немножко
 философъ, по-крайней-мѣрѣ человѣкъ ихъ партіи, и
 вотъ, черезъ нѣсколько стиховъ, Сервилія — принадле-
 житъ прекрасному трибуну. Дѣло слажено по-римски,
 безъ бѣснованія страстей, съ отличнымъ со всѣхъ
 сторонъ стоицизмомъ, такъ что морозъ проходитъ по
 кожѣ, не смотря на итальянское небо. Этому дѣйствию,
 по ходу драмы, суждено было явиться самымъ стра-
 стнымъ, самымъ раздирающимъ. Оно вышло самое
 тихое и — съ прискорбіемъ должно сказать — самое
 слабое. А мнѣ кажется, что тутъ-то и мѣсто было
 для сильной, великой душевной драмы. Человѣкъ мо-
 жетъ являться стойкомъ не иначе, какъ выдержавъ же-
 сточайшую борьбу съ своими страстями, съ своимъ
 сердцемъ, съ своимъ самолюбіемъ, и побѣдивъ ихъ.
 Въ этой-то борьбѣ заключался весь интересъ избран-
 наго сюжета. Тутъ-то и лежало искусство. Интересъ
 могъ быть огроменъ — до ужаса и до состраданія.
 Поэтъ пренебрегъ его. Г. Мей оставилъ не тронутой
 внутреннюю, душевную, тайную сторону стоицизма и
 удовольствовался представленіемъ одной лишь наруж-
 ности этого страннаго психологическаго явленія. Мы
 ждали, что тутъ-то и увидимъ, какъ жестоко стра-
 даютъ въ глубинѣ сердца эти бѣдные люди, которые
 изъ страннаго тщеславія стараются прослыть непри-
 ступными страстямъ и безчувственными. Благодаря г.
 Мею, мы были въ самомъ скопищѣ стойковъ, застали
 ихъ дома, и что же мы увидѣли? что должны за-

ключить, каковы они?... Ничего!... такъ себѣ!... ни то ни другое!... Во всякомъ случаѣ, не люди.

Четвертое дѣйствіе — новая картина нравовъ. Внутренность прорицалища колдуньи Локусты, къ которой обращается Сервилія, желая узнать судьбу своего отца, уже задержаннаго и преданнаго суду по повелѣнію Нерона, вмѣстѣ съ прочими стойками. Враги ихъ успѣли собрать улики и подать доносъ, Валерію также угрожаетъ гибель. Волшебница принадлежитъ къ умыслу Тигеллина и его кліентовъ противъ философовъ. Невольница ея — тайная христіанка и, пользуясь короткимъ отсутствіемъ Локусты, отлучившейся для совѣщанія съ главнымъ доносчикомъ, уводитъ Сервилію въ катакомбы къ своимъ единовѣрцамъ, въ ученіи которыхъ несчастная дочь Сорана найдетъ высокое утѣшеніе, твердость и надежду на благое Провидѣніе.

Пятый актъ — юридическіе римскіе нравы; картина засѣданія верховнаго судилища; допросы, защита и судъ надъ стойками и Сервиліей, по дигестамъ. Сервилія объявляетъ себя христіанкою и умираетъ. Дѣйствіе это могло бы быть исполнено сильнаго и страстнаго краснорѣчія, которое притомъ было бы совершенно въ римскихъ нравахъ: къ несчастію, поэзія приказныхъ формъ вытѣснила поэзію чувствъ, поэзію горя и негодованія. Тацита, какъ историка, я не уважаю, и не обижаюсь нисколько нѣкоторыми поэтическими вольностями г. Мея противъ его подозрительной повѣсти: но никогда не утѣшусь по случаю изгнанія страсти и интереса изъ такой прекрасной

драмы, то есть, изъ драмы, которая при стихахъ и талантѣ г. Мея могла бы быть еще лучше. И для кого эти безцѣнные сокровища искусства выброшены въ окошко поэтомъ, соловьемъ сердца? Для нравовъ! Ну, стоили ль такой жертвы римскіе нравы, выбранные изъ парижскихъ книжекъ и которыми можно было бы доказать на всякомъ шагу, что они ошибаются. Г. Мей пользовался, какъ кажется, исключительно французскими пособіями: это слѣдуетъ заключить, между прочимъ, изъ его прописки русскими буквами имени латинскаго писателя, котораго звали Aulus Gellus (Ауль Гелль, по-нашему), и котораго Французы на своемъ школьномъ діалектѣ называютъ Aulus-Gelle (Олю-Желль). По образу этого иностраннаго искаженія, не справясь съ подлинною формою имени, г. Мей пишетъ — Авль-Гелле. Въ разрядѣ такихъ неосторожностей по предметамъ классической древности стоить также указать на *длинную далію*, которою Сервилія играетъ въ водѣ мраморнаго бассейна на дворѣ своего дома. Если это цвѣтокъ, который мы знаемъ подъ именемъ *далии* или георгины, а о другой «даліи» до-сихъ-поръ не было слышно въ ботаникѣ, то не легко понять, какимъ образомъ попалъ онъ въ нравы древнихъ Римлянковъ. Далія происходитъ изъ Перу и не болѣе лѣтъ пятидесяти известна въ Европѣ. Изъ числа путешественниковъ, которые замѣтили и описали это растеніе первые, одинъ назвалъ его Georgina, въ честь петербургскому академику Георги, умершему въ первыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, а другой — Dahlia, въ честь швед-

скому ботанику Далю. Названіе *георгина* утвердилось въ Россіи по всей справедливости. Но древнимъ римскимъ нравамъ до далія или георгинъ дѣла нѣтъ. Или это, быть можетъ, особеннаго рода шекспиризмъ — высшая степень романтизма, которая ставитъ себя выше всякой хронологіи?

Г. Мей, своей теоріей римскаго хладнокровія, лишаетъ насъ удовольствія слышать въ его драмѣ краснорѣчіе страстей. Намъ остается лишь наслаждаться краснорѣчіемъ гастрономіи. Римскій сенаторъ Паконій, стойкъ и обжора, угощаетъ обѣдомъ въ термахъ (общественной банѣ) товарищей своихъ, сенаторовъ-стойковъ Сенція, Монтана и Гельвидія, философа-циника Деметрія и вольноотпущенника-стойка Эгнатія.

. *

Ужасные стойки!... И между-тѣмъ все это пропадшій трудъ, потому-что все-таки не даетъ яснаго понятія о римскомъ обѣдѣ. Нужно прибавить, что всѣ вообще обѣды, на сценѣ представляютъ лишь карикатуру обѣдовъ: каковъ же былъ бы этотъ римскій обѣдъ въ представленіи! О! нравы, нравы!.. вмѣсто того, чтобы дѣйствовать и чувствовать, какъ слѣдуетъ въ драмѣ, они романтически лежатъ себѣ на ложахъ, ѣдятъ съ пустыхъ тарелокъ и пьютъ изъ порожнихъ стакановъ въ продолженіи цѣлаго акта! Ужасные нравы!

Между-тѣмъ драма г. Мея очень любопытна для читателя. Какъ поэтъ, кажется, не предполагалъ се-

* Здѣсь приведена изъ драмы г. Мея сцена пира стойковъ, застигнутого пожаромъ. Изд.

бѣ въ ней другой цѣли кромѣ возбужденія любопытства картиною нравовъ, то онъ навѣрное и не желаетъ для нея другой похвалы.

Когда въ первой статьѣ начали мы эту бесѣду о трагедіи *Діагоръ* и драмѣ *Сервилія* по поводу ихъ несомнѣнной примѣчательности, авторъ трагедіи былъ полонъ жизни, идей, надеждъ; мысль его творила поэтическіе идеалы; воображеніе осуществляло то, чего рука не успѣвала исполнить: искусство ожидало отъ него многого и прекраснаго. Все это вдругъ исчезло! Новая печаль накинута снова черное покрывало на русскую литературу. Алферьевъ скончался нѣсколько дней тому, въ цвѣтѣ молодости и дарованія.

Свойство сюжета, способъ художественной обработки и содержаніе трагедіи бѣднаго Алферьева были достаточно пересказаны въ первой статьѣ, при общемъ разсужденіи о трагедіи и философѣ Діагорѣ-Безбожникѣ. Тутъ также главное мѣсто занимаютъ философы. Тутъ также нравы играютъ огромную роль. Есть панаэинейскія игры. Есть засѣданіе ареопага и другіе обряды. Но въ трагедіи Алферьева есть также теплота и чувство: являются страсти, глубокія и сильныя; онѣ дѣйствуютъ безсвязно — на удачу — но но-крайней-мѣрѣ дѣйствуютъ. Грекамъ и страстямъ трагедіи можно поставить въ упрекъ то, что они нѣсколько сентиментальны, каковыми ни древніе Греки, ни древнія страсти, не бывали. Какъ въ трагедіи представленъ философъ-поэтъ, то въ ней много говорится о *поэтѣ*, только не по греческому образу

мыслей, а по понятіямъ, почерпаемымъ нынѣшними стихотворцами въ твореніяхъ Гёте и Байрона, которые преувеличенно сдѣлали, изъ сочинителей стиховъ, существа сверхъ-человѣческой натуры и придали «поэту» необычайную важность. Но въ трагедіи это, вѣроятно, было нужно для удовольствія нынѣшнихъ читателей, привыкшихъ къ такимъ иперболамъ: нынче сказать менѣе — уже невозможно. Но эти нарушенія «вѣрности духа изображаемаго времени» — встороню: остальное все прекрасно, особенно идея сочиненія — необходимость вѣрованія, невозможность для души существовать безъ понятія о Божествѣ — какъ началѣ и концѣ всего. Сравнивая творенія г. Мея и покойнаго Алферьева между собою, можно усмотрѣть много точекъ сходства, и въ направленіи, и въ пріемахъ, и въ сюжетахъ, и въ дарованіяхъ. Разница между ними главнѣйше состоитъ въ томъ, что Алферьевъ болѣе занимался внутреннею стороною своихъ дѣйствующихъ лицъ, тогда-какъ г. Мей предпочитаетъ наружную сторону. Обѣ стороны представляютъ большія трудности для искусства. Многія изъ этихъ трудностей удачно побѣждены. Прочія, оставленныя въ недоконченномъ видѣ, должны быть прощены. Кто не прощаетъ несовершенствъ, тотъ не умѣетъ наслаждаться прекраснымъ.

ГРЕЧЕСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ НОВЫХЪ ПОЭТОВЪ.

По поводу *Стихотвореній* Н. Щербины. Одесса, 1850.

Къ полнотѣ литературной славы Одессы не доставало только поэта: теперь у нея есть, на гладкой степи, свой Парнасъ, на синемъ небѣ свой Аполлонъ и, въ младомъ городѣ, свой юный пѣвецъ, питомецъ Музъ, достойный классическаго имени, которымъ она гордится. Г. Щербина, не по-нашему, не отъ Французовъ, Нѣмцевъ или Англичанъ, переносить на Русь поэзію; вѣрный преданіямъ страны, бывшей нѣкогда вмѣстѣ старою Скиѣей и новою Элладой, онъ вспомнилъ объ умномъ и славномъ племени іонійскихъ Грековъ, которые тутъ торговали, и сочиняетъ «греческія стихотворенія». Языкъ боговъ воскресъ на его звучной лирѣ. Олимпъ въ восторгѣ. Безсмертные слетаются на Перекопъ, чтобы вѣнчать своего поэта.

Почему «Греческія стихотворенія» г. Щербины названы *греческими*, это не совсѣмъ ясно — для меня. Греція ли послала ему эти вдохновенія, древніе Греки ли, или какая-нибудь новѣйшая «полногрудая» Гречанка — тоже очень хорошій источникъ

вдохновенія — ничего не видно изъ стиховъ. Г. Щербина что-то говоритъ объ этомъ дѣлѣ въ прозѣ, въ прибавленіи къ своему творенію, но я не вполне понялъ его причины. Ясно только то, что эти «греческія стихотворенія» писаны по-русски, даже хорошо по-русски, что они очень милы, что въ нихъ есть что-то самостоятельное, свѣжее, благоуханное, совершенно черноморское, и что Одесса можетъ смѣло похвастаться ими передъ русскою взыщною словесностью.

Впрочемъ подобное названіе не безпримѣрно въ лѣтописяхъ новѣйшей поэзіи. Великобританскій поэтъ Savage Landor напечаталъ цѣлый томъ англійскихъ стихотвореній, которыя назвалъ «Hellenics», почти — «греческими». Къ произведеніямъ Ландора, содержащимся въ этомъ томѣ, такое названіе идетъ какъ-нельзя лучше: всѣ предметы заимствованы изъ вѣры, исторіи, литературы или земли древнихъ Грековъ, великихъ мастеровъ поэтическаго издѣлія; тонъ, форма, колоритъ его поэзіи — совершенно староклассическіе. Это такъ чудесно въ греческомъ вкусѣ, такъ вѣрно съ образцовой древностью, что Ландора никто изъ Англичанъ и читать не сталъ: а между тѣмъ онъ былъ удивительный поэтъ! У г. Щербины совсѣмъ другое: въ его «греческихъ стихотвореніяхъ» вовсе Греціи не видно — классической поэзіи какъ-будто не бывало — онъ пишетъ по-нынешнему, творитъ такіе же стихи, какіе всѣ мы творимъ, производитъ поэзію чисто новѣйшую, и поэтому «греческія» стихотворенія его вѣроятно будутъ про-

читаны Русскими, даже съ удовольствіемъ. Напримѣръ эта «Греческая ночь»; она чрезвычайно мила:

«На раздольѣ небесъ свѣтитъ ярко луна,

И листки серебрятся оливъ;

Дикой воли полна,

Заходила волна,

Жемчугомъ убирая заливъ.

Эта чудная ночь и темна и свѣтла,

И огонь разлиываетъ въ крови.

Я мастику зажгла,

Я цвѣтовъ нарвала:

Поспѣшай на свиданье любви!...

Это, совершенно, чудная греческая ночь; только это — не греческая поэзія. Замѣчательно, что древніе Греки никогда не видали своихъ чудныхъ ночей. Волшебный свѣтъ луны, жемчугъ на серебряной волнѣ, таинственныя движенія тучъ, мрачное величіе горъ, цвѣтистые луга, веселыя равнины, ничего этого они не примѣчали. Восхищаться видами природы не было у нихъ и заведенія. Дикая красота ея для нихъ не существовала. Восторженное созерцаніе этой красоты во всѣхъ ея формахъ, не только плѣнительныхъ, но даже угрюмыхъ и ужасныхъ — изобрѣтеніе новѣйшаго времени. Отличительный характеръ ихъ поэзіи — ненависть къ неопредѣленному, туманному или страшному, строгая всему подчиненность всѣхъ мыслей и выраженій одной, принятой въ храмахъ и въ мірѣ, теоріи бытія, и, затѣмъ, не только страсть, но даже обязанность, изображать все существующее въ природѣ согласно съ этою теоріею, иносказательно, даже и самыя страсти; представлять природу въ аллегорическихъ лицахъ; объяснить

ея силы свойства и дѣйствія матеріально драмою условныхъ существъ. Это тѣсно связывалось съ ихъ языческой вѣрой, которая — вся была аллегорія. На красоту и замысловатость этихъ аллегорическихъ лицъ, представлявшихъ или закрывавшихъ собою у нихъ собственную природу, они изливали весь свой гений, всю его тонкость, все остроуміе, все искусство; но самой природы, такой какъ она есть, эти люди никому не показывали, да и сами на нее не смотрѣли, по-крайней-мѣрѣ въ поэзіи; увлекающаго сердца къ мечтательности, вы ничего не найдете въ ней. Никогда древній греческій поэтъ не напишетъ стиховъ къ тучѣ, лунѣ, мечтѣ, бурѣ, волнѣ, дереву, горѣ, кургану, кладбищу, ночному привидѣнію, даже къ ночному свиданію. На все это у него есть прекрасныя условныя лица, лица почтенныя, символическія, и очень хитрыя объ нихъ легенды, которыя теперь мы понимаемъ грубо, невѣрно, но которыя, въ древности возбуждали особенныя религіозныя чувства и приводили читателей въ восторгъ своимъ удачнымъ согласіемъ съ сокровенными ученіями вѣры. Куда древнему Греку написать такіе стихи *къ тучѣ*, какіе написалъ г. Щербина!

Новѣйшая поэзія глядитъ на природу своими собственными глазами, а не сквозь окрашенныя стекла объяснительныхъ аллегорій, часто не понимаетъ ея — да и трудно понять! — оттого иногда бросается въ мечтательность. Но, по той же причинѣ, что она не стѣснена аллегоріями, она можетъ разсматривать природу въ подлинникъ, и поле новѣйшей поэзіи несрав-

ненно обширѣе, благороднѣе, величественнѣе. Ей совсѣмъ нечего завидовать древней поэзіи. Будь у насъ столько генія и искусства на изображеніе природы въ ея натуральномъ видѣ, сколько Греки положили ихъ на затымѣніе ея своими блистательными вымыслами, такъ мы древность за-поясъ заткнемъ. Наша новѣйшая поэзія лучше, и г. Щербина прекрасно сдѣлалъ, что подъ названіемъ «греческихъ стихотвореній» не написалъ ничего похожаго на то, что писали греческіе поэты — нѣсколько греческихъ собственныхъ именъ конечно не составляютъ сущности дѣла! — и что онъ даетъ намъ наше, родное, новѣйшее добро, каково напимѣръ даже и это *Epicedium*, несмотря на свое греческо-латинское заглавіе:

«Тѣ жъ соловьи и тотъ же садъ;
Съ деревъ несется ароматъ,
Мастика каплетъ и мелись
Зазеленѣлъ, и разрослись
Моей заботою цвѣты,
И пальмъ широкіе листы
Прохладой сладкою манятъ,
Храня невидимыхъ дріадъ,
Отъ зноя жаркаго весной,» и проч.

Такъ изъясняется вся поэзія къ наше прекрасное поэтическое время: но заговори она такъ при древнихъ, стань она такъ разсматривать и понимать природу въ тѣ вѣка, поди-ка она такъ воспѣвать весну, соловьевъ, ароматы деревьевъ, мелись; цвѣтки, ручейки, тѣнь пальмъ, которыя даже никакой тѣни не даютъ, да думать ирачную думу, да вздыхать и плакать ни о чемъ, они бы сказали, что поэзія мелетъ

взоръ, что она сбилась съ толку, что изъ «языка боговъ» она хочетъ попасть въ языкъ старыхъ бабъ, не очень хитрыхъ и очень плаксивыхъ. Дѣлать нечего: таковъ былъ духъ времени. Что для насъ прекрасно, для нихъ было бы сухо, мелко и безъ цѣли.

Вотъ самое неоспоримое доказательство, что у г. Щербины глаза совершенно такіе же какъ у новѣйшей поэзіи, и что онъ смотреть на природу совѣмъ какъ она:

«Мои очи малы;
На міръ безпредѣльный.
Въ себѣ отражая,
Они помѣщаютъ.
Моя жизнь лишь-только
Вѣчности мгновенье;
Но порой въ мгновенье
Проживалъ я вѣчность....»

Греческіе поэты и понятія не имѣли о томъ, какъ прожить вѣчность въ одно мгновеніе. Это умѣютъ только наши новѣйшіе стихотворцы. И какъ мило они это дѣлаютъ! прелестъ!... Вѣчность для нихъ — одинъ глотокъ. А для древнихъ вѣчность — Боже мой! — цѣлый циклъ глубокомысленныхъ символовъ, миеовъ, аллегорій, передъ которыми нужно было почтительно преклоняться и, стихотворя, оглядываться во всѣ стороны, чтобы не сказать чего-нибудь несогласнаго съ тайнымъ ихъ значеніемъ. Нынѣшній поэтъ этихъ узъ не знаетъ. Для него все — трень-трава! Г. Щербина превосходно понимаетъ, какъ долженъ писать стихи хорошій нынѣшній поэтъ и — что всего лучше — излагая правило, онъ тутъ же исполняетъ его:

«Пусть будетъ стихъ его понятенъ и высокъ,

Пусть тѣни и лучи сольются въ немъ чудесно;

Да прижирится въ немъ все дальнее съ небеснымъ,

Да будетъ онъ межъ насъ какъ признанный пророкъ,» и т. д.

То-то и есть: нынче надо, чтобы стихъ былъ *высокъ, безпредѣленъ*, и вмѣстѣ *ясенъ*. Грекамъ этого и въ голову никогда не приходило: въ ихъ стихѣ нѣтъ ничего ни черезчуръ высокаго, ни до пошлости низкаго; все—средняго роста, статно, пригожо, и, главное, все опредѣлено, иносказательно и искусственно. Съ начала до конца, у нихъ вездѣ и во всемъ—религіозная гипотеза и хитрое искусство. Природа у нихъ—не такая, какую Богъ далъ, а какая продавалась въ мнѳологической лавочкѣ жрецовъ или на толкучемъ рынкѣ философовъ, которые жрецамъ противорѣчить не смѣли, а только ворочали ихъ идеи. Въ таинствахъ и въ философіи господствовало всебожіе, то-есть, *пантеизмъ*, которое, въ наружной вѣрѣ и въ ея мифахъ, обдѣлываемыхъ поэтами, разрѣшалось многобожіемъ, или *политеизмомъ*, какъ мы уже не разъ объясняли по-напрасну. У нихъ водилось вездѣ въ поэзіи глубокое, разумѣется относительное къ ихъ понятіямъ о мірѣ, въ сущности пантеистическимъ, а въ внѣшней формѣ, религіозной и поэтической, политеистическимъ. Ихъ поэты были глубоки, нерѣдко глубже крайняго дна остроумія, въ своихъ иносказаніяхъ о природѣ, бесконечно тонкихъ внутренно, и, осязательно, даже грубо, матеріальныхъ наружно. Наши поэты, напротивъ, высоки до-нельзя, до туманности, иногда до самаго вы-

сокопарнаго поэтическаго мистицизма. Ни то, ни другое, правду сказать, не очень способствуетъ къ ясности. Древніе, однакожъ, не смотря на бездонную глубину, отлично понимали себя въ своей иносказательной поэзіи, тогда какъ мы въ нашей, большею частью беремъ такъ свысока, что рѣшительно себя не понимаемъ, и въ этомъ-то состоитъ главная разница между древнею и новѣйшею поэзіей.

Первая и настоящая прелесть въ поэзіи древнихъ не та, которую являетъ наружный смыслъ рѣчи, а та, которой не видно снаружи, которая запрятана въ нихъ глубоко, остроумно, съ необыкновеннымъ искусствомъ, которую нужно сперва постигнуть, уловить, добыть, разгадать, чтобы ощутить въ себѣ истинный древній восторгъ. Эта сокровенная прелесть для насъ совершенно исчезла, вмѣстѣ съ религіозными тайнами язычества. Напротивъ, въ нашей поэзіи, которая беретъ природу гуртовую, не обдѣланную, не-философическую, и стихотворить объ ней съ плеча, что ни попало въ восторженную голову, прелесть вся — внѣшняя. Внутренняго смысла не нужно искать въ ней. Слава Богу, когда есть наружный смыслъ: и того ужъ много! Вотъ второе великое отличіе поэзіи новѣйшей отъ поэзіи древней.

Новѣйшій классицизмъ, въ школьномъ, заученномъ удивленіи своемъ къ древней поэзіи, думалъ воспроизвести ее въ полномъ блескѣ и величіи, употребляя ея наружныя формы. Предпріятіе было тѣмъ несбыточнѣе, что теперь, какъ классицизмъ упалъ, мы можемъ сказать откровенно, что его удивленіе къ поэзіи

древнихъ было поддѣльно. Кто изъ насъ имѣетъ право *удивляться* поэзіи этихъ пантеистовъ-многобожниковъ? Чтобы *удивляться*, надо прежде всего *понимать*; а мы поэзіи древнихъ, признаться по чистой совѣсти, вовсе не понимаемъ и не чувствуемъ. Понимать кое-что, мѣстами, черезъ пятое десятое, значить ли — понимать! Для уразумѣнія всѣхъ тонкостей древней поэзіи нужно было бы знать вполнѣ всѣ тайны язычества, всѣ его мистеріи, всѣ преданія, всѣ толки, весь кругъ легендъ, всѣ безконечно-разнообразные мифы и, главное, всю иносказательную силу этихъ мифовъ, всю относительную важность cadaго изъ нихъ въ религіозной и теоріи и практикѣ. Чтò же мы знаемъ? Ничего! До насъ дошли только обломки нѣкоторой, весьма ограниченной, части наружнаго исповѣданія, безъ указаній на ихъ настоящее символическое значеніе. Отъ знанія мифовъ въ ихъ наружномъ видѣ до знанія языческой вѣры, тщательно прятаншей ключъ къ нимъ въ неприступной глубинѣ храмовъ, еще очень далеко. Да и мифовъ-то этой вѣры знаемъ мы очень немного, и, въ этихъ кое-какъ извѣстныхъ намъ мифахъ, которые подобрали мы у поэтовъ, какъ знать, чтò тутъ принадлежитъ заповѣдному языку храмовъ, а чтò генію или остроумію поэтовъ? Возьмемъ простой примѣръ: множество эпитетовъ, казавшихся намъ чудеснѣйшими изобрѣтеніями древней поэзіи, не оказались ли въ послѣднемъ результатѣ обыкновенными, обще-принятыми терминами вѣры, которые были, слѣдственно, въ употребленіи у всѣхъ языческихъ кухарокъ, и не могутъ представлять собою ничего поэ-

тического? Когда знаніе наше основныхъ элементовъ древней поэзіи такъ шатко, невѣрно, ограниченно, что можемъ мы сказать по совѣсти объ ея достоинствахъ какъ поэзіи? Отложивъ гордость въ сторону, мы принуждены признаться чистосердечно, что она можетъ быть и удивительна, только она не при насъ писана и мы ея не понимаемъ, или, еще хуже, мы понимаемъ ее превратно всякій разъ, какъ вздумаемъ удивляться ей, учености ради.

Позвольте: можемъ ли мы, нынѣшніе, понять поэзію безъ природы? Въ отвѣтъ, конечно, никто не усомнится: никакъ нѣтъ!... такой поэзіи мы и представить себѣ не въ состояніи! А между-тѣмъ, для древняго поэта, природы не только не было, но и быть не могло, потому-что природа для него, для пантеиста, была само божество лично. Пантеистъ не понимаетъ Бога, творящаго вѣкъ природы. Все что въ природѣ ни есть, это, по его понятіямъ—божество, въ различныхъ видахъ, или проявленіяхъ, а какъ всякій видъ божества — то же что самое божество, то виды эти, для удобства своего, онъ олицетворяетъ, и каждый такой олицетворенный видъ называетъ *богомъ*, точно такъ же какъ и самое всеобщее божество. Тутъ-то начинаются тонкости, которыми убираетъ онъ религіозную и миѣическую идею всякаго олицетворенія. Каждый предметъ въ природѣ, каждое обстоятельство въ быту этого предмета, для него нечто иное какъ одинъ изъ органовъ этого мнимо-божественнаго цѣлаго, какъ одно изъ отправленій этой всеобщей силы, которую называетъ онъ жизнью, *Живе-богомъ*, *Зевомъ*

или Зевесомъ. Облако для него не облако, а превращеніе той же всеобъемлющей жизненной силы въ особенный видъ божества, въ животворный дождь, въ Дождь-бога. Рѣка для него не рѣка, а особенный влажный и текущій видъ опять той же Жизни, представляющійся уму въ отдѣльномъ олицетвореніи; быкъ — не прекрасное и полезное животное, а главное проявленіе мокраго начала Жизни, какъ левъ — проявленіе огненного его начала и животный образъ солнца; дубъ — не величественное дерево, а символъ, ея же, жизни, въ растительномъ образѣ; мысль — не дѣйствіе разумной души, а феноменъ все того же универсального божества, Жизни, принявшаго видъ синяго воздуха, въ олицетвореніи Синь-дѣвы, Минервы, и такъ далѣе. Можемъ ли мы сочувствовать поэзіи, которая слѣдуетъ такимъ вѣрованіямъ, опирается на такія начала, и рвется изо всѣхъ силъ къ такимъ уродливымъ тонкостямъ, изъясняясь, то темными иносказаніями, то бѣглыми намеками на положенія подобной мудрости? Она можетъ нравиться намъ часто какъ сказка: да вѣдь не сказкой мѣтила она быть въ свое время!... вовсе не сказкой, а мудростью, настоящею, глубокою и почтенною мудростью! Смотрѣть на нее какъ на потѣху поэтической мысли, какъ на прекрасный вымыселъ, значитъ — вовсе не понимать ея: она отнюдь не шутила; вымысломъ она и быть не думала; все это у нея — очень серіозно. А между-тѣмъ удивляться мы можемъ ей только какъ вымыслу, какъ миленькой сказкѣ; и лишь-только попытаемся принимать слова ея серіозно, она должна показаться намъ безтолковою

даже нестерпимо глупою. Вотъ о чемъ никогда и не подумаютъ восторженные читатели древней поэзіи изъ насъ нынѣшнихъ!

Читать древнюю поэзію съ любопытствомъ, это я понимаю: она чрезвычайно любопытна, какъ все ни на что не похожее. Но приходитъ передъ нею въ восторгъ, это ужъ — позвольте сказать — похоже на танецъ турецкихъ дервишей, которые вертятся на пяткѣ до-тѣхъ-поръ, пока не закружится голова и каждая башка въ потолокъ ихъ теккіи не покажется по-мраченному уму плѣнительною хуріей. Правда, что самыя пріятныя восторги ощущаетъ человѣчество передъ предметами, недоступными его разумѣнію: отсюда родился и классицизмъ. Но что же это доказываетъ? Болѣе ничего какъ блаженство невѣденія. Рано или поздно, умъ прозрѣть, и очарованіе должно исчезнуть.

Пока въ ново-ученой Европѣ господствовало до-бродушное понятіе, будто древняя міеологія составляла, по однимъ, всю языческую вѣру, а по другимъ была поэтическою шуткою или, по-крайней-мѣрѣ, что поэту язычество позволяло, если не сочинять цѣлыя міеы по произволу игриваго воображенія, такъ украшать ихъ болѣе или менѣе блестящими вымыслами, еще можно было восхищаться безъ ума и безъ памяти этими странными созданіями мнимо-творческой мысли. Но съ-тѣхъ-поръ какъ поле памятниковъ древности вдесятеро обширнѣе раскрылось передъ нами, какъ во сто разъ стало оно разнообразиѣ свидѣтельствами и плодородиѣ свѣденіями, какъ мы наконецъ, посредствомъ безконечныхъ сравненій, успѣли проник-

нута въ взглядѣ сквозь кору прежней грубой эрудиціи до языческихъ идей, до сущности ихъ настоящихъ вѣрованій, до основаній ихъ воображенія—понятія наши о поэзіи, слитой съ этою религіею въ одно нераздѣльное цѣлое, должны существенно измѣниться. Теперь, какъ мы знаемъ, что язычество поэту ничего не позволяло, что онъ, въ каждомъ своемъ словѣ, въ каждомъ обстоятельстве созданія и исполненія, въ каждой чертѣ и краскѣ своей живописи, былъ рабъ, съ одной стороны, тайной теоріи всебожія, съ другой, наружной формы многобожнаго народнаго исповѣданія, которымъ и самъ онъ душевно вѣровалъ, которыхъ невообразимо глубокія и хитрыя тонкости искренно восхищали его, и которыхъ былъ онъ только вѣрно преданнымъ отголоскомъ, теперь такое состояніе ума не можетъ не казаться намъ жалкимъ и, даже, отвратительнымъ. Когда мы видимъ въ этихъ стихотвореніяхъ природу, пантеистически исковерканную въ пользу безтолковыхъ хитросплетеній матеріализма, запутавшагося въ собственное свое остроуміе, въ пользу гордаго и непреклоннаго ученія жрецовъ, которое объясняло себѣ все міротвореніе вещественно и вмѣстѣ съ тѣмъ старалось удержать народный умъ въ своей власти посредствомъ ига двусмысленныхъ, загадочныхъ аллегорій, зрѣлище принимаетъ для насъ совсѣмъ другой характеръ, и поэзія, соумышленица такой затѣи, не въ правѣ и не въ силахъ прельщать насъ болѣе. Забывъ все, позволительно было вообразить въ ней сокровища творческой мысли и увлекаться ихъ блескомъ въ темнотѣ, которою время насъ окру-

жило. Но вспомнивъ или провѣдавъ что-нибудь съ достовѣрностью объ ея духѣ, направленіи и цѣли, обаяніе превращается въ жалость.

Это отнюдь не значить, чтобы въ древней поэзіи не встрѣчалось мѣстъ, сіяющихъ живописною силою ума, поражаемого величественными или плѣнительными видами природы, мѣстъ поэтическихъ по-нашему; мѣстъ живо трогающихъ новѣйшее воображеніе, прямо и непосредственно наблюдающее дѣла творенія; но такія мѣста въ ней чисто и исключительно случайны. Природа въ своемъ настоящемъ видѣ — отнюдь не цѣль ея. Древняя поэзія стихотворить безъ созданной природы — мимо ея — на зло ей; передѣлываетъ ее упорно въ природу самосоздавшуюся и самосоздающую; твореніе превращаетъ въ творца, слѣдствія въ причины, волю въ жестокую *необходимость*, *апанкѣ*, утѣшенія духа въ его горечи, въ его конечное отчаяніе. Сама она хотѣла, чтобы человѣкъ такъ понималъ ее; и какъ-скоро мы поймемъ ее съ этой капитальной стороны, можетъ ли она внушать намъ малѣйшее уваженіе къ себѣ?

Можно, конечно, для потѣхи своей, не совсѣмъ согласной съ здравымъ смысломъ, употреблять въ новѣйшемъ стихотворствѣ, ея условный языкъ, ея приемы и наружныя формы, какъ это и дѣлалъ классицизмъ. Но что же выйдетъ? Подражаніе? Отнюдь нѣтъ. Выйдетъ сухая, безобразная карриатура на древнюю поэзію; выйдетъ ледъ и безсмысліе; потому-что мы никогда и ни въ какомъ смыслѣ не можемъ быть пантеистами.

Есть — была — въ древней поэзіи истинная, существенная, неотъемлемая прелесть, но и та стала для насъ такъ же чуждою, такъ же мертвою и непонятною, какъ и главная сторона ея; сторона религиозная, пантеистическая, языческая. Прелесть эта состояла въ чудной музыкальности стопосложенія древнихъ, удивительно соображенной съ основными законами звука и музыки. Ихъ поэты были вмѣстѣ и музыкантами. Музыка была тогда только дополненіемъ и ручнымъ орудіемъ поэзіи. Способъ сложенія и произношенія ихъ стиховъ превращалъ стихъ въ настоящую мелодію, въ собственномъ, музыкальномъ значеніи этого слова. Древніе слушатели, какъ и донныѣ восточные, нерѣдко съ ума сходили отъ такихъ стиховъ, въ которыхъ мы не примѣчаемъ ничего поэтического, которые кажутся намъ даже сухими и безцвѣтными. Они сходили съ ума отъ плѣнительной музыки, этой полу-поющей рѣчи, тонко, вѣрно, геніально размѣренной въ отношеніи къ музыкальному времени согласныхъ и мелодическому движенію гласныхъ. Это великое искусство навсегда для насъ погибло. Эта прелесть невозвратно разсѣялась въ воздухѣ вмѣстѣ съ древнею гаммою и древнею музыкаю, но при ней все могло быть положено на стихи, правила грамматики, ариѳметики, земледѣлія, повареннаго искусства, и все казаться очаровательною *поэзіей*. Ею-то и объясняется и оправдывается *дидактическая поэзія*. Благодаря особенной музыкальности древняго стиха въ порядкѣ, времени и произношеніи звуковъ его, удачно найденная поэтомъ стиховая мелодія мгновенно-

но врѣзывалась въ память, вмѣстѣ съ правиломъ, и вполне улаждала душу. Сухость содержанія поглощалась звуковымъ обаяніемъ. Гдѣ это теперь? Тѣ, которые селятся въ наше время падать въ обморокъ отъ такъ-называемой *гармоніи* древняго стиха, не произнося его, какъ произносили древніе, не умѣя произносить, и не имѣя понятія о тогдашней музыкѣ, надуваютъ умышленно или себя или другихъ. Мы, нынѣшніе, не въ состояніи чувствовать этой прелести; мы не можемъ ощущать этой мелопеи даже приблизительно, въ дециліонной гомеопатической долѣ. Для того нужно было бы радикально перевоспитать наше ухо, воротиться къ другой гаммѣ, иначе настроить нервы, преобразовать все новѣйшее звуковое искусство. Музыка и поэзія, нѣкогда неразлучныя, разъединились у насъ навсегда, пошли по разнымъ путямъ, и даже стали врагами другъ другу. У насъ, напротивъ, чтобы не разсердить слушателей монотонною и анти-музыкальною безладницею звуковъ нашего новѣйшаго *мастерства*, то есть, яснѣе сказать, *поэзіи*, надо въ произношеніи стиха ловко скрыть отъ ихъ ушей, что это — стихъ. Вотъ дивная особенность нынѣшней «поэзіи»!

Выходитъ, что, и въ этомъ отношеніи, мы составляемъ діаметральную-противоположность съ древними. А восхищаемся!... восхищаемся діаметрально противоположно собственному нашему чувству!... Да это идетъ за ученость.

Таковы коренныя различія между древнею поэзіей и поэзіею новѣйшей. Да что и говорить объ этомъ!

Многое можно было бы сказать въ подтвержденіе и объясненіе сказаннаго. Предметъ весьма интересенъ — совершенно новъ — бывъ уже долгое время старымъ и казавшись нашей мудрости совершенно исчерпаннымъ. Но развѣ все, что можно было бы сказать достойнаго вниманія и размышленія, помѣшаетъ кому-нибудь изъ новѣйшихъ стихотворцевъ воображать, что онъ точь въ точь древній поэтъ или, по-крайней-мѣрѣ, называть свои новорожденные думы «греческими стихотвореніями»?

1850.

ПИСЬМО ТРЕХЪ ТВЕРСКИХЪ ПОМѢЩИКОВЪ КЪ БАРОНУ БРАМБЕУСУ.

Милостивый государь,

баронъ Степанъ Кирилловичъ,

Николай Николаевичъ, Петръ Афросимовичъ и я, находимся вынужденными, хоть незнакомые вашему высокородію, писать къ вамъ рѣшительно; только не знаемъ объ чемъ — о русскомъ ли языкѣ или о гомеопатіи? Оба предмета чрезвычайно интересуютъ насъ, тверскихъ помѣщиковъ, которые живемъ подлѣ шоссе, ведущаго изъ Петербурга въ Москву, на самомъ перепутіи идей, проѣзжающихъ туда и обратно по этой дорогѣ, и которымъ нашъ почтеннѣйшій Ларивонъ Ильичъ, станціонный смотритель в—скій, доставляетъ лошадей на проѣздъ, если у нихъ, то есть, у идей, а не лошадей, есть законныя подорожныя: безъ чего Ларивонъ Ильичъ не пропускаетъ ни одной идеи, ни туда ни обратно, хоть бы она даже была изъ гениальныхъ, каковыхъ впрочемъ по нашему тракту нынче въ проѣздѣ не оказывается. Николай Николаевичъ того мнѣнія, что надо начать съ гомеопатіи, такъ какъ она переводитъ нашъ умный тверской народъ и причиняетъ много существеннаго вреда нашимъ уѣзднымъ лекарямъ. Петръ Афросимовичъ и я утверждаемъ, что русскій языкъ — нашъ пре-

красный языкъ, какъ вы говорите, баронъ Степанъ Кирилловичъ — долженъ имѣть первое мѣсто. Два голоса противъ одного: большинство въ пользу русскаго языка, и Николай Николаевичъ, принужденный согласиться съ большинствомъ, вмѣстѣ съ нами спрашиваетъ васъ, милостивый государь — каково здоровье русскаго языка послѣ перелома который, какъ говорятъ по всему московскому тракту, особенно на нашей почтовой станціи, вы и ваши пріатели произвели въ немъ? Благоволите, если вы существуете, отвѣчать намъ. Нето мы сами рѣшимъ вопросъ наугадъ, не дождавшись отъ васъ въ четыре года яснаго изложенія теоріи, которой всѣ мы послѣдовали.

Существуете ли вы, почтенный баронъ, въ самомъ дѣлѣ? Многіе въ Торжкѣ и въ Осташковѣ до-сихъ-поръ сомнѣваются въ вашемъ существованіи, и думаютъ, что вы, съ позволенія сказать, миѐ, то есть вымышленное лицо; точно такъ же какъ лордъ Лондондери, начитавшись петербургскихъ газетъ, сомнѣвался въ существованіи Тверской губерніи и покане пріѣхалъ въ Вышній-Волочокъ и не увидѣлъ Тверской губерніи собственными глазами, не хотѣлъ вѣрить, чтобы на свѣтѣ была такая умная губернія. Благородный лордъ замѣтилъ, что — нужно ли въ Петербургѣ закинуть остроумное словцо въ пользу книги, которая еще печатается, въ пользу компаніи, которой акціи идутъ плохо, въ пользу новаго мыла, которое хотятъ изобрѣсть—въ тамошнихъ газетахъ тотчасъ появляются прекрасныя статейки «изъ Твери»; нужно ли автору, когда книга его уже вышла и подверглась заслужен-

ному упреку критики, сказать, что критика вретъ и что книга его превосходна, авторъ садится и пишетъ похвалу себѣ, и своей книгѣ, «изъ Твери»; нужно ли разбранить кого-нибудь или что-нибудь, не уронивъ грознаго приговора одною подписью своего имени, брань какъ-разъ раздается «изъ Твери» или «Тверской губерніи». Чтò за такая губернія, думалъ его милость Лондондери, которая все хвалить и все бранить, обо всемъ рядить и судить, и безъ которой въ Петербургѣ не знали бы чтò думать о своихъ собственныхъ дѣянiяхъ? Его милость заключилъ, что Тверь и Тверская губернія должны быть миѡъ, или по-крайней-мѣрѣ *terra incognita*, и отправился отыскивать эту чудную землю, изъ которой Петербургъ почерпаетъ весь свой статейный умъ и всю свою брань. Вступивъ въ первый ямъ нашей губерніи, лордъ тотчасъ удостовѣрился, что брань, которую онъ читалъ въ вашихъ газетахъ, дѣйствительно происходитъ отсюда. За умомъ онъ принужденъ былъ путешествовать нѣсколько далѣе! Но не въ томъ дѣло. Мы спрашивали васъ — не миѡъ ли вы сами, почтенный баронъ Степанъ Кирилловичъ? Вы жестоко походите на миѡъ. Въ русской литературѣ то и дѣло лъстятъ со страху, или бранятъ съ досады, одного барона Брамбеуса! Онъ, де-скалъ, уничтожилъ *сихъ* и *онихъ*! Онъ-де перевернулъ русскій языкъ вверхъ ногами! Онъ прибралъ къ своимъ рукамъ всю русскую словесность, и ворочаетъ ея, какъ хочетъ (слова, говорятъ, покойнаго Пушкина)! Ему приписываютъ всѣ острия критики, хотя проѣзжіе изъ Петербурга, которые выдаютъ

себя за его знакомцевъ, увѣряли Ларивона Ильича, нашего почтеннаго станціоннаго смотрителя, что онъ критикъ не сочиняетъ. Къ нему наконецъ относятъ всѣ хорошія статьи безъ подписи. Словомъ, его только и боятся, и только на него уповаютъ. Онъ даже удостоился почестей клеветы, какъ Паганини или Байронъ. А между-тѣмъ никто его не видывалъ и не можетъ описать его фигуры. Это, право, странно!..... Вдоль всего московскаго шоссе несется непрерывно хвала или хула барону Брамбеусу. На станціяхъ то превозносятъ его, то ругаютъ, дотого, что Ларивонъ Ильичъ — онъ ужасно хитеръ! — изобрѣлъ вѣрное средство узнавать совѣсть людей помощію имени барона Брамбеуса. Ларивонъ Ильичъ составилъ себѣ такой, весьма замысловатый, силлогизмъ: «Люди по-видимому раздѣляются на два разряда — на людей хвалящихъ барона Брамбеуса, и на людей бранящихъ барона Брамбеуса; тѣ, которые хвалятъ, стало-быть не имѣютъ никакой причины бранить его; тѣ, которые бранятъ, вѣрно имѣютъ причины не хвалить его; а какъ народное повѣріе приписываетъ ему всѣ острия критики, то люди хвалящіе должны быть читатели острыхъ критикъ, а люди бранящіе должны быть писатели плохихъ книгъ». Основываясь на этомъ логическомъ выводѣ, Ларивонъ Ильичъ беретъ у проѣзжаго подорожную, садится переписывать ее, и неприимѣннымъ образомъ заводитъ рѣчь о послѣдней книжкѣ «Библіотеки для Чтенія» и Брамбеусъ. Если проѣзжій хвалить, онъ говоритъ: «Это честный помѣщикъ; человѣкъ, видно, неприкосновенный къ дѣлу. Старо-

ста! поскорѣй лошадей господину!» Если бранить, Ларивонъ Ильичъ думаетъ про себя: «Это литераторъ. Онъ или написалъ плохую книгу или собирается написать! — «Извините, сударь, продолжаетъ Ларивонъ Ильичъ: вамъ придется у насъ подождать; всѣ лошади въ разгонѣ». На этотъ счетъ нашъ смотритель не умолимъ. У него уже пали три лошади подъ тюками плохихъ книгъ, пересылаемыхъ по почтѣ изъ Москвы въ Петербургъ и обратно безъ сбыта, и онъ поклялся, всѣми зависящими отъ него прижимками мучить эти самонадѣянныя и бранчивыя посредственности, которыя равный вредъ наносятъ литературѣ и конюшнѣ. И съ-тѣхъ-поръ какъ онъ у насъ смотрителемъ — потому-что мы сняли эту станцію, Николай Николаевичъ, Петръ Афросимовичъ и я, по сосѣдству — съ-тѣхъ-поръ онъ не ошибся ни одного разу: спустя мѣсяцъ, полгода, годъ, всегда оказывалось, что проѣзжавшій врагъ «Библиотеки для Чтенія» и барона Брамбеуса былъ одержимъ авторскимъ самолюбіемъ; что или онъ не попалъ съ своей статьей, съ своими стихами, въ «Библиотеку», или написалъ плохую книгу, которая была уничтожена въ этомъ журналѣ, или собирався написать *таковую* и, со страху или изъ дальновидности, во всю ивановскую ругалъ вашъ журналъ и васъ, батюшка, баронъ Степанъ Кирилловичъ, предвѣрительно. Genus irritabile vatum! какъ говоритъ отецъ Паисій, нашъ почтенный приходскій священникъ, который живетъ въ шагахъ въ десяти отъ станціоннаго дома, и къ которому мы, Николай Николаевичъ, Петръ Афросимовичъ и я, обревизовавши кни-

ги Ларивона Ильича, заѣзжаемъ всегда выпить по рюмочкѣ настойки. Но не въ томъ дѣло. Мы говоримъ о литературѣ, о русскомъ языкѣ. Не называя васъ миеомъ — потому-что это гадкое слово, выдуманное въ Москвѣ на Синеуса, Трувора и другихъ честныхъ людей — ни Петръ Афросимовичъ, нашъ тверской скептикъ, ни я, не можемъ повѣрить, чтобы вы существовали. Лучшее доказательство того, что вы башня, мы находимъ въ общемъ повѣрїи, или по-крайней-мѣрѣ предположеніи весьма многихъ, будто вы, милостивый государь, вычеркнули изъ русскаго языка слова *сей* и *онѣй* и вывернули языкъ вверхъ ногами. Тутъ что-то не такъ, баронъ Степанъ Кирилловичъ. Петръ Афросимовичъ говоритъ, и мы съ нимъ согласны, что никакой человекъ въ мірѣ не въ силахъ уничтожить, въ языкѣ огромнаго народа, ни одного дѣйствительно существующаго слова. Между-тѣмъ, что въ русскомъ языкѣ, по всему нашему тракту, произошелъ важный переворотъ, и что этотъ переворотъ начался острацизмомъ *сею* и *онаю*, въ томъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Это фактъ, состоявшееся дѣло, котораго слѣдствіямъ надо подвергнуться. О слѣдствіяхъ послѣ. Мы хотимъ сказать прежде только то, что вы или не вы произвели переломъ — мы скоро докажемъ, что не вы, а наша губернія — а теперь и десять такихъ бароновъ Брамбеусовъ какъ ваше высокородіе не передѣлаютъ обратно того, что сдѣлалось въ нашемъ языкѣ, и вся грамматическая ватага, будь она сто разъ упряме и бранчивѣе нынѣшняго, не удержитъ общаго стремленія.

Дѣло рѣшеное. Чтò и говорить, когда уже **Θ. В. Булгаринъ** и **г. Платонъ Зубовъ**, двѣ противоположныя оконечности русской изящной словесности, въ одно время отказались отъ *сею* и *онаю*! Стало-быть долѣе противиться невозможно. Какой-то проѣзжій уронилъ изъ портфеля у насъ на станціи записочку, которую имѣемъ честь препроводить къ вамъ въ подлинникѣ, какъ весьма любопытный документъ для исторіи русской литературы:

«Прошу покорнѣйше **Г. Корректора** въ **Статистикѣ** вездѣ, гдѣ стоитъ *сей, сія, сіе, сихъ* и проч. ставить *этотъ, эта, эти, этихъ* и проч.

«Покорный слуга **Θ. Булгаринъ**».

На оборотѣ: «Почтенному **г. Корректору** сочиненія: *Россія* и проч.»

Всѣ три *и проч.*, какъ вы сами усмотрѣть изволите, находятся въ запискѣ: мы ничего не прибавляемъ, ни убавляемъ. Проѣзжающіе изъ Петербурга въ Москву, всѣ до одинаго, утверждаютъ, что **г. Платонъ Зубовъ**, въ новомъ изданіи своихъ твореній, на заглавномъ листѣ котораго выставлено — «Изданіе *исправленное*», исключилъ всѣ *си* и *оны* и на мѣсто ихъ торжественно водворилъ *этотъ* и *онъ*, сообразуясь съ духомъ вѣка и съ успѣхами человечества. Это еще удивительнѣе! Потому-что творенія **г. Платона Зубова** состояли единственно изъ драгоценной коллекціи *сихъ* и *онихъ*, всѣхъ возможныхъ видовъ; и когда онъ исключилъ ихъ, **Николай Николаевичъ**, **Петръ Афросимовичъ**, и я, не понимаемъ, чтò въ нихъ осталось. Два такія пожертвованія коренными привычками свои-

ми со стороны двухъ противоположныхъ писателей, конечно, что-нибудь доказываютъ. Правда, есть другіе, которые, сказать между нами, ни *сею* ни *оною* не выдумали и въ отношеніи къ таланту занимаютъ средину между Ѳ. В. Булгаринымъ и г. Платономъ Зубовымъ, и которые однако жъ въ послѣднее время страхъ влюбились въ *сей* и *онимъ*, до того, что стали съ фанатизмомъ, кстати и некстати, шпиговать свои сочиненія этими маститыми мѣстоименіями. Но на ихъ отчаянныя усилія никто изъ благомыслящихъ не обращаетъ вниманія. Не остановить имъ, батюшка, важнаго преобразованія, которое само собою совершается съ удивительною легкостью и огорчаетъ ихъ единственно потому, что началось безъ ихъ вѣдома и участія! Ихъ натянутое пристрастіе къ тому, что весь народъ отвергъ единодушно, какъ запоздалый остатокъ прежнихъ ложныхъ понятій объ изящномъ въ языкѣ, только дѣлаетъ ихъ смѣшными — что для насъ, для Николая Николаевича, Петра Афросимовича и меня, весьма прискорбно, потому-что ихъ портреты большею частью висятъ у насъ на станціи, и мы для нихъ — посудите сами! — даже выписали изъ Петербурга золотыя рамки. Но не въ томъ дѣло. Мы покорнѣйше просили бы васъ, почтеннѣйшій баронъ Степанъ Кирилловичъ, чтобы вы — такъ какъ они васъ душевно любятъ — дружески растолковали этимъ господамъ, что они очень много вредятъ себѣ во мнѣніи Тверской губерніи: все наше умное дворянство видитъ безъ очковъ, что подъ этимъ поддѣльнымъ сіелюбіемъ скрывается одна только мелочная литературная зависть,

а не любовь къ родному языку. Таково, увѣряю васъ, общее мнѣніе вдоль всего московскаго шоссе, по правую и по лѣвую сторону дороги!

Слѣдовательно великій переворотъ совершился; *сей* и *оныи* упали съ своего литературнаго престола, и на мѣсто ихъ воцарились *этотъ* и *онъ*, несмотря на грамматики и на грамматиковъ, которые спохватились слишкомъ поздно. Кто же былъ — о слѣдствіяхъ послѣ — кто былъ виновникомъ переворота? Мы обѣщали доказать вамъ, милостивый государь, баронъ Степанъ Кирилловичъ, что все это сдѣлала наша, Тверская, губернія. Когда мы говоримъ — Тверская губернія, мы разумѣемъ тутъ же всѣ умныя губерніи, всю Россію. Россія вычеркнула *сіи* и *оныи* изъ своего изящнаго языка, а не вы, батюшка, какъ объ этомъ стороной идетъ молва. И когда мы говоримъ *сіи* и *оныи*, мы разумѣемъ тутъ же и ихъ братью, *коихъ*, *каковыихъ*, *таковыихъ*, *ибо*, *только*, *колико*, *только*, *дабы*, коротко сказать — всѣ мертвыя, обветшалыя, гнилыя слова, которыми доселѣ заваливали страницы русскихъ книгъ, увѣряя насъ, покупщиковъ, что это золото. Согласитесь, любезнѣйшій баронъ — положимъ даже, что вы существуете, что вы не притча, — согласитесь, что напрасно гнали бы вы эти слова, напрасно черкали бы ихъ день и ночь: никто бъ не послушался васъ, не уничтожили бы вы своей властью ни одного подобнаго словечка, еслибъ они были живыя, русскія и признанныя народомъ, а не насильно и безъ вѣдома націи навязанныя на языкъ ея самоуправнымъ безвкусіемъ педантовъ. Въ такомъ положе-

ни дѣла стояло только сказать педантамъ: «Послушайте, вы, педанты! что вы это, батюшки, портите нашъ прекрасный русскій языкъ, натыкаете въ него словъ неупотребительныхъ, связываете фразы частицами, чуждыми русской рѣчи и русской логикѣ, думая, что отъ этого будете казаться умнѣе, или что въ вашихъ фразахъ выйдетъ болѣе связи? Полно-те! это вздоръ. Въ какомъ образованномъ языкѣ, куда уже проникли начала чистаго вкуса и настоящаго искусства, видѣли вы это? Да такъ пишутъ только казанскіе Татары и стамбульскіе Турки! Вы видите, что это слова не русскія и противныя духу нашего чудеснаго, ловкаго, развязнаго языка, когда со временъ Владиміровъ до временъ Безгласныхъ (Б большое) писали ихъ думные дьяки, писали вы, и между-тѣмъ ни дьяки ни вы не могли пустить ихъ въ оборотъ: они все остаются только на бумагѣ и русская рѣчь ихъ не приняла. Помощію этихъ негодныхъ словъ, вы такъ изуродовали русскій языкъ, что создали себѣ отдѣльный книжный діалектъ, словно какъ казанскіе Татары и Турки: діалектъ улемовъ, діалектъ, ни оборотами, ни періодомъ, ни расположеніемъ словъ, ни логикой, ни гармоніей, ни цвѣтомъ, ни движеніемъ, ничѣмъ не похожій на то, что мы видимъ въ нашемъ природномъ русскомъ языкѣ. Перестаньте, пожалуйста! что тутъ и говорить! Вотъ выпьемъ за здоровье *живаго* русскаго языка, славнаго, прелестнаго языка, которому не знаете вы цѣны — и баста!» Стоило только, говоримъ мы, кому-нибудь первому держать такую рѣчь къ педантамъ, чтобы тотчасъ Тверская

губернія, то есть вся Россія, съ своимъ удивительнымъ здравымъ смысломъ и инстинктомъ красоть своей природной рѣчи, попоранной мастерами краснаго стиля, вскричала: «Правда! Чтò вы тутъ насъ морочите, подчуete поддѣльнымъ, условнымъ языкомъ? Вѣдь мы, слава Богу, Русскіе, а не басурманы какіе! Говорите намъ *чисто* по-русски, безъ натяжекъ, по-нашему. Обдѣлывайте нашъ живой, естественный языкъ, если вы искусники. Не прогнѣвайтесь, господа педанты — гнѣваться тутъ не за чтò — а мы не хотимъ вашихъ *сихъ* и *онихъ* съ братьей, не хотимъ всей этой фольги, которую вы изволите выдавать за драгоценныя украшенія языка. Развѣ это искусство? Это обманъ! А обманывать стыдно, господа! Работайте какъ скульпторъ, какъ живописецъ, изъ *чистаго*, *природнаго* матеріала, не подмѣшивая въ него этихъ..... всякихъ..... разныхъ.....» Далѣе Тверская губернія не могла говорить; спуталась немножко: дѣло, извольте видѣть, коснулось отвлеченностей, искусства, изящнаго, живописи: рѣчь въпослѣдствіи кончилъ нашъ почтенный отецъ Паисій; но между-тѣмъ приговоръ о *сихъ* и *онихъ* былъ произнесенъ: они пали въ одно мгновеніе ока подъ сѣкирой русскаго здраваго смысла и врожденнаго народу чувства своего языка. Когда ихъ головы покатались по песку, всѣ съ отвращеніемъ увидѣли ихъ безобразіе. Онѣ еще дѣлали ужасныя гримасы: ихъ скорѣй прикрыли «Сѣверной Пчелой», подъ которой, говорятъ, онѣ еще и теперь шевелятся. Но не въ томъ дѣло. Пора рассмотреть слѣдствія.

Какія же слѣдствія вышли изъ этого внезапнаго

удара? Весьма простыя, говоритъ Петръ Афросимовичъ. Тѣ, которые поняли всю важность начинающагося переворота и имѣли довольно власти надъ языкомъ, отстали тотчасъ отъ условнаго, книжнаго діалекта и, придерживаясь формъ и духа живаго языка, извлекли изъ него новыя красоты, новую гармонію, дотолѣ неизвѣстныя намъ, тверскимъ помѣщикамъ. Русь, громкимъ рукоплесканіемъ, привѣтствовала эти опыты возстановленія правъ своего подлиннаго и живаго языка. Но тѣ, батюшка мой, говоритъ Петръ Афросимовичъ, кому Богъ далъ костяной языкъ, не могли никакъ поворотить его на новый ладъ, и стали писать еще хуже прежняго. Они, бѣдняжки, думали — къ сожалѣнію, говоритъ Петръ Афросимовичъ, Тверская губернія не объяснилась хорошенько съ самаго начала — они думали, что все дѣло состоитъ въ устраненіи *сею* и *онаю* изъ своего слога. а прочее можетъ остаться на прежнемъ, книжномъ основаніи; что когда они будутъ избѣгать этихъ двухъ мѣстоименій — да еще *каковаю* — да еще *таковаю* и *коею* — то станутъ прекрасно писать живымъ русскимъ языкомъ. Ничего не бывало! Избѣгай, сколько хочешь, этихъ мертвыхъ словъ, говоритъ Петръ Афросимовичъ, а когда ты поведешь свою фразу, на книжный ладъ, по трехъ-саженнымъ причастіямъ съ причитающимися къ нимъ мѣстоименіями въ творительныхъ падежахъ; когда станешь связывать предложенія союзами, которыхъ нѣтъ въ живомъ языкѣ; когда будешь придавать своимъ мыслямъ обороты, несвойственные русской логикѣ, все-таки будетъ написано не по-русски! Они

нагружаютъ свои предложенія безконечными причастіями, мѣстоименіями, нарѣчіями, прилагательными, *отчетистости* ради, говорятъ они; они вытягиваютъ тяжелыя фразы на огромныя дистанціи, куда глазъ не достигаетъ, мысль не залетаеть, какъ писали Германцы до нѣкотораго Нѣмца, по имени Іоганна, по прозванію Гёте: а Русской-го, батюшка мой, говоритъ Петръ Афросимовичъ, мыслить коротко, выражается сжато, пропускаетъ всѣ лишнія слова, перепрыгиваетъ черезъ всѣ маленькіе заборы мысли, и стремится прямо къ цѣли, къ результату первыхъ словъ своихъ; потому-что Русскому Богъ далъ всѣ прекрасныя качества, а не далъ одного только терпѣнія. Мы вѣдь, отецъ мой, не какіе-нибудь Нѣмцы, *cui nationi*, какъ сказалъ другой Нѣмецъ, по имени Лейбницъ, *inter omnes animi dotes, patientia sola concessa videtur!* Мы любимъ, едва начали, сейчасъ и наслаждаться плодомъ начатаго. Вотъ это и должны бы постигнуть наши петербургскіе и московскіе сочинители: въ этомъ состоитъ нашъ характеръ и слѣдственно духъ языка, *«Лука! говори скоро,»* повторялъ бы я имъ, еслибъ я былъ баронъ Брамбеусъ: «на этомъ основано все искусство русскаго изящнаго слова. Не растягивай фразы: длинноуміе не сродно ни языку, ни народу нашему». Вотъ я тебѣ, братецъ, говоритъ мнѣ Петръ Афросимовичъ, представлю короткій и ясный примѣръ того, какъ они пишутъ. Гдѣ эта знаменитая газета..... какъ бишь ее зовутъ?..... Подайте мнѣ одинъ нумеръ! Тутъ нечего долго искать; бери первую фразу, и смотри: *«Г. П-овъ, уже отличившійся на поприщѣ*

русской литературы *изданною* имъ въ *прошломъ* году прекрасною небольшою книжкою, даритъ насъ теперь, и прочая. Здѣсь нѣтъ ни *сею* ни *онаю*, ни *коею*: но развѣ это по-русски? Какой православный станетъ ждать битыхъ пять минутъ дрянной *книжки*, которую эти господа запрятали въ конецъ своей грузной, безконечной фразы? По-нашему, давай намъ напередъ книжку въ руки, а потомъ толкуй себѣ объ ней, сколько хочешь. Не правда ли, Иванъ Петровичъ?..... Скажи самъ, пожалуй: кчему здѣсь *поприще русской литературы*? Отчетистости ради!..... Да развѣ люди отличаются *книжками*, примѣрно сказать, на скотномъ дворѣ? Развѣ это не само собою разумѣется?..... И кчему опять *небольшая*? Неужели есть *большіе книжки*? Кчему *изданною*? Слава Богу, люди въ нашемъ вѣкѣ не отличаются на поприщѣ литературы книжками *неизданными*! Кчему *имѣ*?..... Ахъ, Господи, Боже мой! ну, самъ ты, Иванъ Петровичъ, посуди: ты вѣдь не Киргизъ, не маймистъ, не Татаринъ, а тверской помѣщикъ, и подаешь голосъ на выборахъ: слѣдственно ты въ совершенствѣ чувствуешь силу русскаго языка, и знаешь, что по нашему, по-православному нельзя сказать *изданною имѣ*: никто не издаетъ книгъ *имѣ*, а издаетъ самъ *собою*, своимъ лицомъ! Но *изданною собою книжкою* не говорится; по-крайней-мѣрѣ никто въ Тверской губерніи такъ не скажетъ: слѣдовательно эти господа должны были примѣтить, что они употребляютъ оборотъ существенно не-русскій, и не только не-русскій, но даже противный свойству всѣхъ славянскихъ языковъ, какіе мы съ тобой зна-

емъ, Иванъ Петровичъ; что они дѣлають отвратительный солецизмъ, пиша — *отличившійся изданною имъ книжскою*: я говорю — пиша, потому что сказать такой мерзости они, славу Богу, на Руси еще не смѣютъ; что наконецъ они грѣшатъ длинноуміемъ, и притомъ еще, ради своего длинноумія, портятъ нашъ прекрасный языкъ непростительными ошибками. А грамматики!!!!... И замѣть, Иванъ Петровичъ, что этотъ скверный оборотъ у нихъ въ большой модѣ; что они употребляютъ его на каждомъ шагу; что они не могутъ жить безъ причастія съ мѣстоименіемъ въ творительномъ падежѣ; что они повторяють это безобразное, безвкусное, противно-логическое выраженіе во всѣхъ возможныхъ видахъ, во всѣхъ возможныхъ степеняхъ длины и груза. Вотъ какъ они пишутъ! Не могли ли они, окаянные, сказать коротко и естественно — *господи! такой-то, который уже въ прошломъ году отличился прекрасною книжскою, даритъ насъ теперь*, и прочая? А грамматики!!!!... Да это еще ничего: вотъ когда станутъ они связывать предложенія посредствомъ своихъ *ибо, кой, а потому, а посему*; когда пріймутся склеивать свои фразы, для разнообразія, союзами Богъ вѣсть какого вѣка и языка, такъ ужъ, батюшки мои, выйдетъ чудный періодецъ! Словно цѣпь сонныхъ летучихъ мышей, которыя, спѣвившись лапками, висятъ зимою подъ сводомъ въ погребу. Вмѣсто развязной русской рѣчи, которая любить изъясняться быстрыми, короткими предложеніями, и связываетъ ихъ строгою логическою послѣдовательностью мыслей, а не разнообразными союзами,

вы видите унылую цѣпь блѣдныхъ мыслей, скованныхъ старыми кандалами: онѣ медленно тащутся на каторгу, въ Нерчинскъ, по приговору нѣмецкаго періода! Пустите ихъ на волю, развяжите ихъ, безвкуслики! Русская мысль любитъ просторъ. Русскій языкъ не богатъ союзами: доказательство, что всякое насильственное сдѣпленіе предложеній противно его духу. Умѣйте же дѣйствовать въ его духѣ; умѣйте раздѣлять свои предложенія, но раздѣлять такъ, чтобы они и двигались свободно и тѣсно были связаны между собою тайными логическими узами. У меня есть свое правило, Иванъ Петровичъ: я говорю — кто не умѣетъ *раздѣлять* предложенія, тотъ не въ силахъ составить русскаго періода и не умѣетъ писать. — Знаешь ли, говоритъ Петръ Афросимовичъ, въ чемъ состоитъ первая и величайшая польза изгнанія *сихъ, оныхъ, ибо, коихъ*, и всей этой подъяческой мертвечины, изъ языка изящной словесности? Вотъ я тебѣ скажу, батюшка. Первая и величайшая польза его состоитъ въ томъ, что оно отняло у кузнецовъ риторическаго періода возможность спаивать предложенія средствами, чуждыми настоящему языку, въ противность природному теченію русской рѣчи. Лишившись этихъ неестественныхъ орудій періода, перо принуждено слѣдовать кореннымъ оборотамъ устной бесѣды, то есть, подлиннаго языка народа; мысль дѣлится иначе; иначе слова укладываются; вамъ открываются новые законы гармоніи и новые источники красотъ. Устраненіе нѣсколькихъ мертвыхъ словъ важнѣе, нежели какъ многіе думаютъ, твердитъ Петръ

Афросимовичъ: оно опрокинуло весь этотъ искусственный періодъ, который лежалъ камнемъ на груди нашего языка и не позволялъ ему двигаться свободно, а тѣмъ менѣе имѣть свою національную походку. Подумай самъ хорошенько, Иванъ Петровичъ: когда ты отнимешь у безвкусицниковъ средства пробавляться перемѣшиваніемъ, для разнообразія, *сею съ этимъ, которая съ коимъ, онаго съ нимъ, ибо съ потому что*, и такъ далѣе, изъ которыхъ они составляли въ безконечномъ періодѣ кашу для вкусовъ всѣхъ столѣтій; когда прикажешь имъ писать языкомъ однороднымъ, языкомъ одного вѣка, что имъ, бѣдняжкамъ, остается дѣлать? Развѣ только положить зубы на полку! Чѣмъ они нагрузятъ свои предложенія? Какимъ образомъ вытянуть рѣчь и построить этотъ лабиринтъ фразъ, который привыкли называть періодомъ? Они пропали! Они принуждены писать естественно, то есть, изъясняться быстро, коротко, не утомлять читателя пустымъ многословіемъ своей знаменитой «отчетистости»: а на это требуется много идей! Откуда, говорить Петръ Афросимовичъ, взять имъ столько идей, чтобы писать коротко? Вотъ почему иные бѣсятся за изгнаніе *сихъ, оныхъ*, и прочаго, которыми они такъ ловко замѣняли идеи, увѣряя насъ, тверскихъ помѣщиковъ, что это прелестно, благородно, важно. Нѣтъ, батюшка! Русскій народъ уменъ: какъ скоро примѣтилъ, что его надуваютъ: даютъ ему старыя мѣстоименія, поношенные союзы, вмѣсто дѣла, онъ ихъ прогналъ. «Не хочу, говорить, тряпья! Продавайте товаръ лицомъ. Народъ живетъ — языкъ живетъ!

Извольте-ка писать намъ безъ изворотовъ, безъ уловокъ, безъ этихъ подьяческихъ крючковъ, чисто, ровно, какъ Богъ велѣлъ; подчуйте насъ языкомъ свѣжимъ, прочнымъ, не гнилымъ.» — Да какъ, дескать, намъ писать ровно для вашей милости, когда вы вырвали у насъ изъ рукъ всѣ *кои*, безъ *коихъ* мы ступить не умѣемъ и не знаемъ чѣмъ замѣнить *которыя*, *коихъ* порой цѣлая дюжина нагрянетъ на нашъ умъ, такъ, что нѣтъ возможности выпутаться? — Пустяки, братцы! говоритъ Петръ Афросимовичъ: потому что умъ вашъ запутался въ дюжину *которыя*, *вдоровыхъ* русскихъ мѣстоименій, вы хотите, пользуясь случаемъ, спустить намъ полдюжины гнилыхъ *коихъ*? Не запутывайтесь, и все тутъ! Берите примѣръ съ Тверской губерніи. Вѣдь мы, слава Богу, каждый день разсуждаемъ у себя о важныхъ дѣлахъ, и никогда не запутываемся въ *которыя*, и понимаемъ другъ друга безъ *коихъ*! Смотрите вещамъ прямо въ глаза, схватывайте съ перваго разу самую разительную, самую пластическую ихъ сторону: такъ никогда не запутаетесь въ *которыя*. — «Воля ваша, говорю я Петру Афросимовичу, а иногда, если мнѣ случается писать записку къ станціонному смотрителю или къ Аннѣ Васильевнѣ, я самъ нахожусь въ большомъ затрудненіи: вотъ никакъ нельзя избѣгнуть, чтобы не употребить въ періодѣ два или три раза *который*, слова длиннаго, жесткаго, неблагозвучнаго!....» — Такъ не избѣгай его! говоритъ Петръ Афросимовичъ: кто жъ тебѣ велитъ избѣгать? Если оно ложится само собою, по естественному теченію жи-

вой русской рѣчи, пусть его лежитъ: оно на своемъ мѣстѣ, и должно быть пріятно русскому уху. Есть книга — не знаю, читалъ ли ты ее? — итальянская — подъ заглавіемъ *Saggio sulla filosofia delle lingue*» (Тверскіе все знаютъ!); сказать примѣрно — «Опытъ философіи языковъ», нѣкотораго Чезаротти; въ этой книгѣ очень умно сказано: «На свѣтѣ нѣтъ языковъ ни болѣе ни менѣе благозвучныхъ: всѣ они равно пріятны, равно сладки, для уха родныхъ сыновъ своихъ». А для меня Русскаго, Иванъ Петровичъ — надѣюсь, и для тебя тоже — *который* такъ же сладокъ, и ровно столько же полонъ гармоніи, какъ для заморскихъ народовъ всѣ ихъ *qui, chè, welche, wilke, which*, и тому подобныя. Я даже нахожу его несравненно благозвучнѣе всѣхъ этихъ нѣмецкихъ словъ: въ немъ есть что-то мужеское, крѣпкое, настоящее русское; оно трещитъ на зубахъ какъ морозъ въ двадцать градусовъ. Зачѣмъ же мнѣ его стыдиться? Потому, что оно длинно? Тѣмъ лучше! Я бы желалъ, чтобъ оно растянулось отъ Твери до Парижа. Предки наши носили длинныя бороды, и гордились ими; у насъ теперь нѣтъ бороды, и вмѣсто ея есть длинное *который*: я горжусь имъ, какъ-будто оно висѣло на моемъ подбородкѣ. Нѣжные ротики этихъ господъ, изволите видѣть, дѣлаютъ гримасу, пища русское живое слово *который*! Ахъ, жеманные педанты, а выговорить-то его умѣете безъ всякой гримасы, когда вамъ нужно? Зачѣмъ же дѣлаете фальшь на бумагѣ, и изъ-подтишка подмѣняете его другимъ сло-

вомъ?.... Всякіе фальши строго запрещены законами. Пишите честно: Богъ вамъ дастъ зато талантъ.....

Петръ Афросимовичъ остановился, промолчалъ немного, и потомъ вдругъ вскричалъ съ восторгомъ: «Ахъ, любезный другъ, силъ нѣтъ высказать тебѣ, какъ я люблю наше плотное, полномѣсное *который!* Дай-ка мнѣ въ руки русское *который!*..... я чувствую, другъ мой, я чувствую!... что я одинъ, какъ Аяксъ своимъ копьемъ, разгону имъ цѣлый корпусъ этихъ вертлявыхъ Французовъ, съ ихъ *ки-ки-ки-кеске-секса!*....»

Петръ Афросимовичъ заплакалъ отъ душевнаго грамматическаго умиленія. Я говорю: «Петръ Афросимовичъ! надо бы выпить по рюмочкѣ рому.» — Да-в-а-а-й-ка! говоритъ Петръ Афросимовичъ сквозь слезы, такимъ жалкимъ голосомъ, что у меня, клянусь вамъ, чуть-чуть не разорвалось сердце. Мы выпили рому. Я былъ ужасно растроганъ. Слезы потекли у меня изъ глазъ. Николай Николаевичъ, думая, что я плачу по *коемъ*, началъ утѣшать меня: «Не плачь, Иванъ Петровичъ! Какая тебѣ надобность до *коею?* Оно тебѣ ни братъ ни свать: Богъ вѣдаетъ какое канцелярское слово!... Ты русскій дворянинъ, тверской помѣщикъ, у тебя по ревизіи сто тридцать пять душъ: зачѣмъ тебѣ печалиться объ отмѣненіи какого-нибудь дряннаго слова?... Отмѣнили, и съ Богомъ! Вотъ я тебѣ преподамъ добрый совѣтъ: я самъ пробовалъ писать прошеніе въ судъ нынѣшнимъ слогомъ, потому-что, надо сказать правду, гоненіе на *ѣсихъ, оныхъ, коиъ*, и прочая, произвело величайшее вліяніе на приказы, канцеляріи, даже на маклерскія кон-

торы: всюду теперь стараются отличиться кой-какимъ слогомъ и писать нѣсколько болѣе по-русски; я самъ пробовалъ писать подлиннымъ, живымъ, русскимъ языкомъ, и вижу, въ чемъ состоитъ дѣло. Старайся всегда выразить на бумагѣ мысль свою такъ, какъ бы ты выразилъ ее въ образованной бесѣдѣ, еслибъ что-нибудь хорошо рассказывалъ. Если у тебя изъ пера вылѣзаетъ длинная, гадкая змѣя съ своимъ сыномъ... Обмолвился, братецъ! не взыщи. Я хотѣлъ сказать — если у тебя вылѣзаетъ длинное причастіе съ своимъ творительнымъ падежемъ, или если ты сбиваешься на другой какой-нибудь канцелярско-книжный оборотъ, потому-что всѣ мы сбиваемся на этотъ родъ оборотовъ, по привычкѣ — остерегись, Иванъ Петровичъ: повтори вслухъ передъ собою фразу, которую ты хочешь написать; спроси у себя, могъ ли бы ты сказать ее въ бесѣдѣ, въ присутствіи людей порядочныхъ, воспитанныхъ, помѣщиковъ, столбовыхъ дворянъ и умныхъ, образованныхъ дамъ? Какъ скоро ты чувствуешь, что такой фразы ты не произнесъ бы въ хорошемъ обществѣ передъ нами, что она возбудила бы улыбку въ твоихъ слушателяхъ, откажись отъ ней. *То и есть не по-русски, чего нельзя сказать вслухъ не краснѣя:* и правило это — общее; нравственное и литературное. Оно-то и есть великое мѣрило вкуса! Тогда старайся подслушать самого себя, чтобы узнать, какъ бы ты сказалъ ту самую фразу, какими словами выразилъ бы ту самую мысль, въ бесѣдѣ съ людьми порядочными и образованными, при которой присутствуютъ и милые, воспитанные дамы. Когда ты

подслушалъ себя, когда тебѣ кажется, что ты слышишь свои слова и видишь на лицахъ слушателей удовольствіе, а не сомнительную улыбку, пиши въ точности этими словами. Если ты запутаешься въ *которыхъ* — стой! — это значить, что ты сбился съ естественнаго пути русской рѣчи; русскій человѣкъ никогда не запутывается въ *которыхъ*; это значить, что ты дурно видишь предметъ, что идея его не ясна въ твоей головѣ: обдумай его прежде. Если ты, въ изложеніи своемъ, говоря о причинѣ дѣла, употребилъ уже наше коренное *потому-что* или *оттого что*, и потомъ, въ дальнѣйшемъ развитіи мысли, наткнулся въ томъ же самомъ періодѣ, по старой привычкѣ, на *ибо* или на другой мертвый союзъ — остановись; остановись тотчасъ: это знакъ, что ты гнешь свою фразу не на русскій ладъ; что ты хотѣлъ сказать совсѣмъ другое, и спутался. Ты не могъ задумать своей мысли словами, которыхъ никогда не употребляешь въ обществѣ! Поставь тутъ двоеточіе или точку съ запятою, и начинай новое предложеніе, не связывая его съ предыдущимъ. Петръ Афросимовичъ говоритъ правду: искусство природнаго русскаго періода не столько состоитъ въ связываніи предложеній, сколько въ умѣньѣ *раздѣлять* ихъ такъ, чтобы они быстро слѣдовали другъ за другомъ, и логически одинъ изъ другаго вытекали, не держась между собою многочисленными союзами». — Ну, а когда захочу писать высокимъ слогомъ? сказалъ я. — «Дай рому! говорить Петръ Афросимовичъ. Кто нынче пишетъ высокимъ слогомъ!... Вотъ выпьемъ еще по рюмочкѣ, и поѣдемъ

посмотрѣть, что дѣлается на станціи; а тамъ зайдемъ къ отцу Паисію. У него есть славная настойка».

Мы такъ и сдѣлали. Нашъ умный священникъ читалъ книгу, когда мы пришли къ нему. — Что, батюшка, изволите читать? — А такъ ничего! книгу. — Ну, какъ она написана, съ *сими* или безъ *сихъ*? — Безъ *сихъ*, совершенно по системѣ барона Брамбеуса, котораго однакожь здѣсь ругаютъ наповаль. Я часто смѣюсь отъ чистаго сердца, смотря, какъ эти господа его бранятъ его же слогомъ; бранятъ, а между-тѣмъ сами слѣдуютъ въ точности или, по-крайней-мѣрѣ, стараются слѣдовать, его ученію о языкѣ. — А вы, батюшка, какого объ немъ мнѣнія? Я думаю, вы также не жалуете его ученія? Вѣдь онъ, или *они* — потому что баронъ Брамбеусъ, говорятъ, лицо собирательное — онъ явно стремится къ тому, чтобы расторгнуть дружбу русскаго слова съ славянскимъ, утвердить самостоятельность русскаго языка и положить между двумя языками предѣлъ, такъ, чтобы впередъ они не смѣшивались, но шли каждый своимъ путемъ. «Это давно надобно сдѣлать! сказалъ отецъ Паисій. *Ne misceantur sacra profanis!* Да не смѣшиваются святины и мірское! Я всегда былъ того мнѣнія, что славянскій языкъ долженъ оставаться, какъ преданіе, въ нашей православной церкви и служить исключительно для потребностей вѣры; что ему нѣтъ никакого дѣла до русской словесности. Я всегда находилъ крайне неумѣстнымъ и несообразнымъ, что господа наши стихотворцы употребляютъ иногда почтенныя формы этого языка на предметы, вовсе достой-

ные его величія, на воспѣваніе *дѣвъ младыхъ*, волосъ *золотыхъ*, и тому подобнаго. Я не говорю уже о несообразности пересыпать русскій рассказъ словами другаго языка и совершенно другой формы: это чистый макаронизмъ, верхъ безвкусія, совершенное отсутствіе чувства изящности своего роднаго языка. Многіе и по-сю-пору думаютъ, что они возвысили свою мысль, и сами стали удивительнѣе, когда, вмѣсто обыкновенныхъ чистыхъ формъ русскихъ, придали своимъ словамъ формы необычайныя, славянскія, противныя и гармоніи и строенію словъ нашего языка; когда, вмѣсто *борода, корова, волосы, золото, молодой*, написали *брада, крава, власы, злато, младый*, и такъ далѣе. Пустая надутость! жалкая игра въ звуки! Ничего не можетъ быть пошлѣе, мелочнѣе, смѣшнѣе, какъ искать украшеній въ наружной формѣ словъ, выказывать свой умъ перестановкою буквъ: это — ремесло творцовъ шарадъ, а не художниковъ слова. Всѣ образованные языки давно уже отказались отъ подобныхъ красотъ: въ Европѣ мы одни еще предаемся этому ребячеству. Зачѣмъ не говорить и не писать чисто, правильно по-русски? Всѣ языки равно достойны передъ лицомъ искусства, и ни одинъ изъ нихъ не долженъ завидовать другому, тѣмъ менѣе — обирать его и чваниться чужими перьями. Кчему ведетъ эта неестественная смѣсь двухъ языковъ.... Давно слѣдовало сдѣлать разрывъ между ними! Русскій языкъ много выигралъ бы отъ этого. Еслибъ Ломоносову пришла счастливая мысль разграничить ясно два, языка — но такое предпріятіе было выше фило-

логическихъ понятій его вѣка — русскій языкъ по-сю-пору утвердился бы на прочномъ основаніи, сдѣлался бы опредѣленнымъ, достигъ бы формъ чистыхъ и точныхъ, былъ бы уже самостоятеленъ. Мы бы имѣли постоянный и чистый элементъ словесности, независимый отъ прихоти и личнаго вкуса всякаго, кому нивздумается то разводить его словами другаго языка, то надѣвать на него воображаемыя формы, то избѣгать болѣе или менѣе подобной примѣси и каждый разъ создавать новый языкъ для себя и своихъ друзей. Мы бы не были свидѣтелями этихъ безпрерывныхъ волненій языка, съ которыми долженъ бороться у насъ всякій истинный талантъ, и въ которыхъ — гляды! — онъ и потонулъ лѣтъ черезъ десять, съ половиной всей своей славы. Чтò ваши литературныя репутаціи при такомъ вавилонскомъ состояніи языка! Несмотря на блестящіе наши дарованія, не проходитъ четверти столѣтія, и васъ уже никто читать не можетъ — я не говорю объ васъ, Иванъ Петровичъ! я говорю вообще — ваши славы старѣются скорѣе женщинъ, вашъ слогъ вдругъ покрывается отвратительными морщинами, спустя лѣтъ десять или пятнадцать васъ терпятъ только по уму вашему, но вы уже никого не восхищаете. Ломоносовъ, Фонвизинъ, Державинъ, Озеровъ, Пушкинъ — вѣдь это совершенно различныя діалекты русскаго языка! Озеровъ и Пушкинъ были — кто бы это подумалъ — современники! Между-тѣмъ, подумаешь, что они писали на языкахъ двухъ отдаленныхъ народовъ; и едва Пушкинъ прошелъ четверть своего поприща, Озе-

ровъ сталъ уже дикъ и нестерпимъ. А между-тѣмъ настоящій русскій языкъ, тотъ, которымъ говорятъ люди хорошаго общества, не измѣнялся нисколько отъ Ломоносова до Марлинскаго! Батюшковъ, Карамзинъ, устарѣли въ нѣсколько лѣтъ. Пушкинъ, самъ Пушкинъ, тоже скоро устарѣетъ, хоть ему суждено долѣе другихъ быть свѣжимъ. Кто изъ пламенныхъ любителей русской славы не пожалѣетъ о такой ужасной судьбѣ нашихъ талантовъ! Они одинъ за другимъ ввергаются въ пропасть, гдѣ меркнетъ ихъ блескъ, гдѣ исчезаетъ наше наслажденіе: а эту пропасть вырыли подъ ихъ ногами ложныя ученія нашихъ грамматикъ и риторикъ о русскомъ языкѣ и источникахъ природныхъ красотъ его! Благодаря имъ, мы все еще приготавливаемся къ собственно русской словесности. Надо, Иванъ Петровичъ, отдѣлиться отъ славянщины совершенно! Надо наконецъ рѣшиться имѣть свой собственный языкъ, чистый, самостоятельный, *независимый*, свободный отъ оковъ языка другаго народа и другаго тысячелѣтія; и въ немъ только искать изящнаго, красоты, богатства. Доколѣ два языка произвольно будутъ смѣшиваться, до-тѣхъ-поръ не выйдемъ мы изъ эпохи столпотворенія, которая для насъ все еще продолжается, хоть Вавилонъ, и даже Нинивія, давно уже исчезли съ лица земли. Что втеченіи восьми вѣковъ этой насильственной смѣси успѣло войти въ живой языкъ народа и слилось съ русскимъ словомъ, то и оставимъ въ немъ: но далѣе — полно! Поблагодаримъ славянскій языкъ за подарокъ, и учтиво раскланяемся навсегда

съ его формами и словами, именно съ тѣми, вмѣсто которыхъ у насъ есть свои родныя, чистыя русскія, слова и формы. Если онъ станетъ давать намъ свое *злато*, скажемъ — у насъ, батюшка, есть свое *золото*, восемьдесятъ-четвертой пробы, гораздо чище и звучнѣе вашего *злата*, въ которомъ была цѣлая четверть мѣди! Если онъ будетъ намъ рекомендовать *браду*, покажемъ ему, что мы сбрили даже свои прекрасныя *бороды*, и что намъ некуда дѣвать его нечесанной *брады*. Насчетъ *блата* и говорить нечего: у насъ и отъ своихъ русскихъ *болотъ* не оберешься на улицахъ и въ книгахъ! И такъ далѣе. Вы понимаете, Иванъ Петровичъ, что я сюда же включаю и всѣ не-русскія окончанія падежей, всѣ полу-славянскія формы глаголовъ, даже всѣ отступленія нашего правописанія отъ всеобщаго произношенія. Говорятъ, нашъ умный и даровитый Лажечниковъ предлагаетъ писать *ова* вмѣсто *аю*. Я одобряю это и желаю ему полного успѣха. К чему намъ всѣ эти жалкія, ничѣмъ не оправдываемыя, ухищренія педантизма, рогатый остатокъ фокусовъ того времени, когда русскія слова натягивали на славянскія формы и надѣялись нашъ русскій языкъ передѣлать въ моравскій?... Возьмемъ живой русскій языкъ, въ томъ видѣ, какъ онъ есть теперь, какъ онъ живетъ при насъ въ устахъ всего народа — потому-что надо же взять когда-нибудь! лучше скорѣе, чѣмъ позже — и станемте его обрабатывать, мыть, гладить, чесать, не задѣвая однако кожи гребенкой: выйдетъ славный языкъ! — чистый, свѣжій, румяный, прекрасный. Не вѣрьте,

любезнѣйшій Иванъ Петровичъ, мудрецамъ, которые говорятъ, что эти приписныя мертвыя слова и формы составляютъ богатство языка, и что онъ обѣднѣетъ отъ исключенія *сихъ, оныхъ, коихъ, таковыхъ, младыхъ* или *объемлющихъ*. Эти пустяки шли за истины во времена Скалигеровъ и Генриховъ Стефановъ, когда филологія была еще въ младенчествѣ, а философія языковъ и вовсе неизвѣстна; когда не имѣли понятія, въ чемъ состоитъ настоящее богатство языка и изящное въ словесности; когда цѣлыя ученыя сословія дрались за слова, за звуки, за произношеніе латинскаго союза *quātquāt*, которъй одни во Франціи хотѣли произносить *квалквалъ*, а другіе *канканъ*, изъ чего вышла и поговорка *faire du saṁsaṁ*. Если у насъ есть мудрецы, которые еще повторяютъ эти обветшалыя теоріи эпохи возрожденія наукъ, тѣмъ хуже для нихъ; присовѣтуйте имъ, Иванъ Петровичъ, надѣть парики шестнадцатаго вѣка, чтобы драгоценная ихъ мудрость не выдохлась. Теперь всѣ занимающіеся сравнительной филологіей — часть, которая особенно процвѣтаетъ въ Тверской губерніи — и искусствомъ, знаютъ, что богатство языка состоитъ не въ разнообразіи формъ, но въ его обработкѣ. Халиль-Паша, отличный оттоманскій филологъ, признался на станціи нашему зрителю, Ларивону Ильичу, что турецкій языкъ ужасно неуклюжъ и неповоротливъ, хоть нѣтъ на свѣтѣ языка богаче формами и словами: а между-тѣмъ всѣ мы знаемъ, что два самые бѣдные изъ европейскихъ языковъ, французскій и англійскій, обладаютъ неисчерпаемыми средствами выра-

женія мысли вѣрно, точно, живописно, тонко, съ сохраненіемъ нѣжнѣйшихъ оттѣнковъ! Обработка дала имъ эти чудесныя преимущества, а не пустое разнообразіе формъ. Талантъ, Иванъ Петровичъ, талантъ дѣлаетъ все изъ языка! Самые богатые языки бѣдны для посредственности, и въ золотомъ Перу неискусная рука находитъ одну только глину. И все это говорю я о живыхъ формахъ и словахъ, признанныхъ цѣлымъ народомъ, а не одною кастой писакъ: чтожь сказать тогда о мертвыхъ, обветшалыхъ, налѣпленныхъ на живой языкъ изъ школьной страсти къ жеманнымъ и надутымъ украшениямъ? Это ли богатство?... Назовите тогда богатствомъ фольгу на кафтанахъ театральныхъ маркизовъ, поддѣльные брилліанты Прасковьи Михайловны, мѣдные позолоченные колокольчики, которыми увѣшанъ арлекинъ. Употребленіе, въ изящномъ слогѣ, формъ и словъ мертвыхъ или взятыхъ на прокатъ у другаго языка, *въ надеждѣ достигнуть этимъ изящества и ослѣпить читателя*, есть не что иное какъ арлекинада, прямое шарлатанство, ремесло недостойное таланта. Мертвое на живомъ! Боже мой, да это все равно, что молодую, розовую красавицу — примѣрно сказать, мою старшую дочь, Машу — увѣшать на балъ костями, вырытыми изъ могилъ нашего кладбища! Но это ведетъ насъ, Иванъ Петровичъ, къ важному вопросу о ~~подражаніи~~ ^{подражаніи} природѣ въ языкахъ. Теперь не время говорить объ этомъ подробно, потому-что уже пора пить настойку. (Петръ Афросимовичъ кивнулъ головою). Но вы знаете, что называется подражаніемъ природѣ въ живо-

писи, скульптурѣ, особенно въ скульптурѣ: искусство слова, существенно пластическое; болѣе всего сходно съ ваяніемъ; оба они производятъ изъ однороднаго матеріала, то изъ однихъ звуковъ, другое изъ одного камня. Положимъ, что мертвыя формы, слова, взятые безъ нужды изъ какого-нибудь стариннаго языка, какъ *сей, кой, молодой, златой*, и такъ далѣе, вы почти-таете въ своемъ воображеніи за золото, за алмазы, потому именно, что они необыкновенны; что они сами по себѣ уже готовые украшенія. Но что сказали бы вы о живописцѣ, который, желая изобразить въ своей картинѣ золотыя пуговицы или другія украшенія, пришилъ бы къ полотну нѣсколько настоящихъ вице-мундирныхъ пуговокъ или брилліантовый фермоаръ? о скульпторѣ, который для приданія огня глазамъ, вдѣлалъ бы въ зрачки статуи пару алмазовъ? Вы сказали бы, что это не искусство, но шарлатанство: художникъ обязанъ производить эффектъ и подражать природѣ простыми, обыкновенными средствами, красками и мраморомъ, а не прибѣгать для этого къ матеріалу, который самъ по себѣ имѣетъ высокое внутреннее достоинство. *Ut pictura pōësis sit!* Поэзія должна быть какъ живопись! сказалъ еще покойникъ Горацій. Поэтъ, писатель, долженъ брать слова и формы простыя, обыкновенныя, употребительныя въ живомъ языкѣ, и дѣйствовать исключительно ими; ими достигать до живописнаго и пластическаго эффекта; *ихъ обламороживать посредствомъ искусства* — помните это, Иванъ Петровичъ! — имъ придавать блескъ и художественную цѣнность, а не брать уже готовые

Соч. Сенковск. Т. VIII.

блестки и наклеивать ихъ на свой слогъ, обвѣшивать рѣчь свою смѣшными игрушками, трубить въ пустые старые звуки для усиленія шума, между-тѣмъ какъ смыслъ и внутреннее достоинство мысли ничего не выигрываютъ. Живописецъ, скульпторъ, музыкантъ, поэтъ или писатель въ прозѣ, должны каждый выливать свои творенія изъ чистаго, однороднаго элемента своего художества, избѣгая всякой посторонней примѣси, всякой поддѣлки. Для поэта и писателя, въ особенности, этотъ чистый, однородный элементъ есть живой языкъ народа, къ которому они принадлежатъ; языкъ въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ въ природѣ, въ устахъ всей націи. Но пора выпить настойки!... Это и называется подражаніемъ природѣ въ языкахъ. Мертвыя формы и слова, которымъ семинарская напыщенность придала условную *льготу*, нейдутъ сюда. А сколько такіа неестественныя средства словеснаго эффекта вредятъ русскому уму! какъ они съѣдаютъ таланты и жизнь нашей литературы! Отчего видите вы у насъ писателей, которые часто такъ живы и остроумны въ бесѣдѣ и такъ тяжелы въ своихъ твореніяхъ? Оттого, что они, взявъ перо въ руки, тотчасъ раздуваются этими напыщенными формами и звуками, которымъ ихъ воображеніе приписываетъ какое-то великолѣпіе; оттого, что они полагаютъ красоту въ необычайныхъ словахъ, тамъ, гдѣ ея нѣтъ; оттого, что они мыслятъ одними словами, а пишутъ другими, сами даже не примѣчая того, что ихъ голова и перо находятся въ разладѣ. Пожалуйста, Иванъ Петровичъ, не надувайтесь, когда сядете пи-

сать! Дѣйствуйте смиренно и простыми средствами. Смирение есть основаніе всего, въ христіанствѣ и въ словесности: тамъ оно ведетъ къ небу, здѣсь ведетъ къ прекрасному. Знаете ли, Иванъ Петровичъ, что въ шестнадцатомъ вѣкѣ было то же самое во Франціи чѣмъ у насъ теперь? Тамъ также мыслили одними словами, а писали другими ища всегда словъ и формъ, напоминающихъ латинскія. Какъ вы теперь видите у насъ людей, которые вслухъ произносятъ *этотъ*, а потихоньку кладутъ на бумагу *сей*, такъ точно Французы говорили всегда *beaucoup*, а писали *mult*. Этого слова, *beaucoup*, въ особенности, педанты никакъ не хотѣли пустить въ словесность: твердили, что оно варварское, неблагозвучно, пошло; твердили, что *mult* слово чудесное, классическое и заключаетъ въ себѣ что-то возвышенное; твердили.... Коротко сказать, любезный Иванъ Петровичъ, всѣ тѣ же несообразности, которыя повторяются еще у насъ насчетъ *сей*. Я понимаю, что уху, испорченному фальшивыми звуками, очень трудно привыкнуть къ тонамъ естественнымъ и чистымъ; что другимъ и самолюбіе не позволяетъ сознаться въ томъ, что они всю жизнь писали только надутю, думая писать изящно; но все это пройдетъ, и истина восторжествуетъ. Дѣло вѣдь идетъ не о капризѣ какого-нибудь писателя, но о прочномъ основаніи для русской словесности, объ утвержденіи языка! И вотъ почему я, любя пламенно всѣ роды русской славы, и слѣдовательно, успѣхи нашей словесности, не только не гнѣваюсь за расторженіе брака между двумя языками, русскимъ и славянскимъ, но

даже вполне его одобряю. Это расторженіе должно быть подвинуто еще далѣе, до словарей и грамматикъ, которыхъ сочинители страннымъ образомъ перемѣшали слова и формы двухъ языковъ, совершенно различныхъ. Грамматики, которыя мы имѣемъ, занимались всѣ этою смѣсью, языкомъ условнымъ, воображаемымъ, несуществующимъ въ природѣ, чисто-книжнымъ: изъ чего слѣдуетъ, что мы не имѣемъ грамматикъ. Но пора пить настойку!.... Какое славное поприще предстоитъ у насъ еще тому, кто бы взялъ живой русскій языкъ, какъ онъ теперь есть, подслушалъ его настоящія формы, и написалъ первую *чисто-русскую* грамматику! Нѣтъ, нѣтъ! я не гнѣваюсь на Брамбеуса. Но также и не приписываю ему никакой заслуги: не онъ произвелъ переворотъ! (Николай Николаевичъ, Петръ Афросимовичъ и я, говорили то же самое.) Переворотъ въ языкѣ былъ приготовленъ заранѣе. Со времени Державина сталъ уже языкъ русской словесности болѣе или менѣе робкими шагами приближаться къ живому русскому языку и стряхивать съ себя ложныя украшенія славянизма. Батюшковъ, Карамзинъ, Жуковскій, подвинули необходимое преобразование еще далѣе. Явился Пушкинъ, и могуществомъ своего генія, вдругъ перенесъ въ поэзію подлинный русскій языкъ со всею его жизнію. Чтò сдѣлалъ Пушкинъ для поэзіи, то ранѣе или позже должно было случиться съ прозою, въ которой, какъ не въ своей части, онъ сохранялъ предразсудки своихъ учителей; и то, чтò нынче происходитъ въ языкѣ, есть только слѣдствіе и неизбежное дополне-

ніе Пушкинской реформы въ поэзіи. Пушкинъ, одаренный чрезвычайно тонкимъ вкусомъ, въ точности слѣдовалъ, относительно стихотворнаго языка, системѣ, которую теперь, неизвѣстно почему, называютъ по всему петербургскому тракту системой Брамбеуса. Я говорю—въ точности, и не ошибаюсь. Вы нигдѣ не найдете у Пушкина, въ его стихахъ ни *коею*, ни *ибо*, ни *такою*, ни чего-либо подобнаго: по-крайней-мѣрѣ я не помню. Вы скажете, что у него иногда попадаются *сей*, *младой*, *злато*, и прочая; но я осмѣлюсь доложить вамъ объ одномъ случаѣ, котораго я былъ свидѣтелемъ. Будучи въ Петербургѣ, я посѣтилъ одного литератора, и засталъ у него Пушкина. Поэтъ читалъ ему свою балладу «Будрысь и его сыновья». Хозяинъ чрезвычайно хвалилъ этотъ прекрасный переводъ. «Я принимаю похвалу вашу, сказалъ Пушкинъ, за простой комплиментъ. Я не доволенъ этими стихами. Тутъ есть многіе недостатки.» — Напримѣръ? — «Напримѣръ, Полячка *младая*.» — Такъ что жъ? — «Это небрежность, надобно было сказать *молодая*, но я полѣнился передѣлать три стиха для одного слова». Но хозяинъ утверждалъ, что это прекрасно. Пушкинъ никакъ съ нимъ не соглашался, и ушелъ, увѣряя, что всѣ подобныя отступленія отъ настоящаго русскаго языка «лежатъ у него на совѣсти». Слѣдственно, нашъ великій поэтъ — Господи, упокой душу его! — чувствовалъ что они противны началамъ чистаго вкуса, и самъ признавалъ ихъ погрѣшностями. И слѣдственно, поэты его школы, которые позволяютъ себѣ такія же отступленія, опираясь

на авторитетъ Пушкина, подражаютъ только его небрежностямъ. Да они только и умѣютъ подражать его недостаткамъ! Но въ самомъ дѣлѣ пора уже выпить настоекъ..... Я только хочу вамъ представить, что не Брамбеусъ выдумалъ все это; что на него клеветаютъ. Еще до него Марлинскій не употреблялъ мертвыхъ словъ и формъ, и писалъ чистымъ живымъ языкомъ. Помнится, грамматики называли это «Бестужевскими замашками». Порой и другіе подражали Марлинскому. Но дѣло въ томъ, что Марлинскій и другіе писали такимъ образомъ, и ничего не говорили: сочинители грамматикъ спускали имъ все это великодушно, въ надеждѣ, что еретическія письма Марлинскаго скоро умрутъ, а ихъ православныя грамматики книжнаго языка останутся въ своей силѣ. Брамбеусъ сказалъ вслухъ то, что другіе дѣлали тихомолкомъ, и чего всѣ чувствовали необходимость, хотя, быть-можетъ, не умѣли ясно ея выразить, и вотъ на него поднялась грамматическая толпа..... брань, гроза вьюга..... Ваше здоровье, Петръ Афросимовичъ!..... такъ что свѣту Божьего не видно». — Славная настойка! сказалъ Петръ Афросимовичъ.

Доводя до свѣденія вашего высокородія всѣ эти обстоятельства, покорнѣйше просимъ извинить насъ, если, въ письмѣ нашемъ, вы найдете сборъ всѣхъ слоговъ, какіе водятся въ Тверской губерніи, исключая, надѣмся, слога ямскаго — потому-что это не тверская антикритика — и высокаго, который у насъ уже не въ модѣ. Мы совершенно согласны съ нашимъ мнѣніемъ, что не вамъ, а намъ, принадлежитъ честь

изгнанія изъ литературы *сихъ, оныхъ, коиъ*, съ товарищи и соумышленники, и что мы прекрасно сдѣлали, очистивъ отъ нихъ русскій языкъ. И какъ это уже дѣло рѣшеное, то, пользуясь столь удобнымъ случаемъ, имѣемъ честь, съ совершеннымъ почтеніемъ—если вы существуете — быть втроемъ,

Милостивый государь,

баронъ Степанъ Кирилловичъ,

трижды покорными слугами,

Николай Завъжаевъ.

Петръ Закусаевъ.

Иванъ Мухоловкинъ.

Апрѣля 2, 1837 г.

РЕЗОЛЮЦІЯ НА ЧЕЛОБИТНУЮ

сею, онаю, таковою, коею, вышеупомянутою, вышеуказанною, нижеуказанною, ибо, а потому, поелику, якобы и другихъ причастныхъ къ оной челобитной, по дѣлу объ изгнаніи оныхъ, БЕЗЪ СУДА И СЛѢДСТВІЯ, ИЗЪ РУССКАГО ЯЗЫКА.

Справка. Оные *сей* и *оний* съ товарищи, въ прошломъ декабрѣ мѣсяцѣ, подали посредствомъ газетъ челобитную всѣмъ грамотнымъ людямъ, кои поручили законной представительницѣ своей, логикѣ, рассмотреть оную, и положить объ оной рѣшеніе, какъ слѣ-

дуетъ по законамъ оной; а потому сія логика, представительница сихъ грамотныхъ людей, разсмотрѣвъ сію челобитную, и находя сіе прошеніе сихъ *сею* и *онаю* съ товарищи неправильнымъ, положила, сіе прошеніе возвратить симъ *сему* и *оному* съ сею ниже-слѣдующею подписью, въ которой сказано сіе:

«Почтенные *сей* и *оный*! какъ вы ни красивы и ни интересны, особенно въ женскомъ родѣ, но я не могу ничего сдѣлать въ вашу пользу, потому что въ вашей челобитной не соблюдены формы истинны и мои законы, которые всѣ грамотные люди громко признаютъ своими — ежели только не притворяются. Изъ дѣла отнюдь не видно, чтобы васъ изгоняли изъ русскаго языка: васъ просятъ только убраться изъ изящной словесности, куда втерлись вы безъ вѣдома вкуса, и гдѣ проживаете безъ законнаго вида отъ здраваго смысла. Живите, друзья, спокойно въ русскомъ языкѣ: васъ никто изъ него не гонитъ, и тамъ всегда будетъ довольно простора для такихъ милыхъ существъ, какъ вы; и не только для васъ — для вашихъ дѣтокъ и внучатъ, которыхъ можете еще припасти себѣ, женивъ *сею* на *оной*, *онаю* на *упомянутой*, и *вышеръченною* на *нижеслѣдующей*. Живите себѣ въ контрактахъ и объявленіяхъ, въ ученыхъ разсужденіяхъ, живите въ законахъ, канцелярскихъ перепискахъ и въ денежныхъ счетахъ. Живите, живите въ судахъ и приказахъ — это самая обильная область русскаго языка. Чего жъ вамъ болѣе? О почтенные *сей* и *оный* съ товарищи! вы не умѣете цѣнить вашего выгоднаго положенія. Еслибъ я была на вашемъ мѣстѣ, клянусь

вамъ всѣми *упомянутыми* въ мірѣ, я бы ни на шагъ не выходила изъ благословенныхъ приказовъ, гдѣ вы и ваша братья тихомолкомъ наживаете себѣ порядочныя деньги; не совалась бы въ словесность, которая не доставить ни кому изъ васъ ни дачъ, ни домовъ, ни имѣній; не теряла бъ дорогаго времени на разсужденія объ изящномъ, котораго ни вы, ни я, не понимаемъ. Я подаю вамъ дружескій совѣтъ: оставайтесь, дѣтки, въ приказахъ! берите денежки! Можетъ-статься, и я сама скоро приду къ вамъ попросить въ займы тысячу рублей. А какъ скоро *сей* составитъ себѣ капиталецъ, пусть тотчасъ покупаетъ домъ на имя *оной*: я не скажу ни слова, хотя это немножко противно моимъ законамъ.

«Васъ не гонятъ даже изъ словесности: тамъ только надъ вами смѣются. Не моя жъ вина, что вы смѣшны! Кто хочетъ важничать не на своемъ мѣстѣ, блистать въ томъ, къ чему не создала его природа, тотъ всегда смѣшонъ. Какое вамъ дѣло до изящной словесности? Принадлежите ли вы къ русскому языку XIX вѣка? Нѣтъ. Можно ли васъ произнести передъ порядочными людьми, чтобъ они не усмѣхнулись? Нѣтъ. Можно ли взять васъ съ собою куда-нибудь на вечеръ, повести въ общество, явиться съ вами въ гостиной? Нѣтъ — васъ надобно всегда оставлять въ передней, вмѣстѣ съ галошами и палкой. Такъ почему жъ, отринутые изящнымъ обществомъ, лѣзете вы прямо въ изящную словесность? Словесность вѣдь лицо благородное, воспитанное, умное, блистательное, одѣтое со вкусомъ и нѣкоторою изысканностью — которое принято въ луч-

шихъ домахъ — которое садится прямо на диванъ между хозяйкою и ея дочерью — которое идетъ безъ доклада въ будуаръ щехолихи, сочиняетъ вмѣстѣ съ нею любовныя записки, разсуждаетъ непосредственно съ ея сердцемъ безъ вѣдома мужа; потомъ утѣшаетъ и самого мужа, и образуетъ жениха для его дочки. Видя, что васъ не принимаютъ въ обществахъ, вы хотите втереться туда подъ чужимъ именемъ — подъ оберткою словесности; но я вамъ скажу откровенно, господа *сей* и *онѣй* съ товарищи, что это неблаго-родно: это обманъ вкуса, который одинъ и тотъ же хозяинъ въ гостинныхъ и въ словесности, созданной именно для гостинныхъ! Вы такъ забавны внѣ канцеляріи, что стоило только указать пальцемъ на васъ, на вашу неловкость, чтобъ всѣ почти нашли васъ безобразными. Вспомните, что случилось съ однимъ изъ васъ въ прошломъ мѣсяцѣ, въ русскомъ театрѣ, гдѣ еще недавно господствовали вы самовластно: одна изъ отличнѣйшихъ актрисъ произнесла *сей* въ самомъ трогательномъ мѣстѣ драмы, и первые ряды зрителей невольно захохотали. Какъ же послѣ этого спасти васъ? Что тутъ помогутъ грамотные люди и ихъ великодушное состраданіе, когда тѣ самые, которые васъ любятъ и защищаютъ, которые пишутъ вамъ челобитныя, сами стали употреблять васъ гораздо рѣже, и какъ-бы стыдятся знакомства съ вами? Посмотрите: въ вашей же челобитной ни разу не употребили васъ въ дѣло! Проститесь же, друзья, съ словесностью: вы уже сдѣлались въ ней смѣшными. На васъ глядятъ съ такимъ изумленіемъ, какъ на ста-

ринный фракъ восьмидесятыхъ годовъ съ большими въ пятакъ пуговицами. Вы грозите спрятаться за Державинымъ и Карамзинымъ? Извольте! прячьтесь, и сидите тамъ безопасно: вкусъ не пойдетъ искать васъ за этимъ, какъ вы называете, паладіумомъ. Можете даже взобраться съ гора всѣ, сколько васъ ни есть, на великолѣпныя страницы Карамзина и Державина: вы не въ состояніи обезобразить собою ни Державина, ни Карамзина — вы только сдѣлаете ихъ писателями другой эпохи. Весьма естественно, что тѣ, которые напечатали васъ пудами въ своихъ сочиненіяхъ, еще оказываютъ вамъ дружбу и защиту; но не полагайтесь на ихъ покровительство: они защищаютъ не васъ, а себя, и повѣрьте мнѣ, добродушные *сей, оный, ибо* и *tutti quanti*, что лѣтъ черезъ десять, предпринимая новое изданіе своихъ твореній, тѣ же друзья и покровители ваши сами вычеркнутъ васъ безъ чиновъ изъ своихъ страницъ. Увидите!... Вы останетесь только въ тѣхъ фразахъ, на которыхъ уже переженились, напримѣръ — *до-сей-пору, сейчасъ, сегодня, сею-юда, въ семь мѣръ*, и т. п.

«Челобитная ваша, принося неправильную жалобу на мнимое изгнаніе *сею, онаго, ибо*, и прочихъ мертвецовъ изъ русскаго языка, утверждаетъ, что «въ другихъ языкахъ это возможно, но въ нашемъ дѣлать не можно и не должно, потому-что у насъ еще нѣтъ изящнаго разговорнаго языка, а есть «два языка», — одинъ церковный и лѣтописный, другой литературный. Что это? Что, что такое говоритъ челобитная?... У насъ есть два языка, которыхъ нѣтъ въ другихъ

литературахъ? Я думаю, что челобитная шутить и надо мною. Въ какомъ же другомъ языкѣ нѣтъ, какъ и у насъ, языка церковнаго и лѣтописнаго, и языка литературнаго? У всѣхъ европейскихъ народовъ есть или былъ особый языкъ церковный, который произвелъ уже свое дѣйствіе на языки книгъ и бесѣды, введеніемъ множества словъ и оборотовъ, и уже пересталъ дѣйствовать. У Французовъ есть языкъ церковный, языкъ лѣтописный и языкъ литературный — Корнеля, Мольера и Расина; у Англичанъ есть языкъ лѣтописный, языкъ литературный — Шекспира, Драйдена, Милтона, и особенныя формы церковныя; у Нѣмцевъ тоже; у Итальянцевъ тоже; у Шведовъ, Испанцевъ, Португальцевъ, Аравитянъ, Турокъ, Персіянъ, Индійцевъ тоже. Гдѣ жъ тутъ особенность существенныхъ условій лексикографическаго быта между языкомъ русскимъ и другими языками? Но у васъ, говорите вы, не можно и не должно устранять подобныя вамъ мертвыя слова изъ словесности, потому-что мы еще не имѣемъ изящнаго разговорнаго языка. Какъ? потому что у насъ еще нѣтъ языка изящной бесѣды, мы не должны и думать объ изящности въ словесности? Знаете ли, *сей* и *оный*, что такое вы сказали? Да вы просто объявляете, что какъ у насъ еще нѣтъ изящнаго разговорнаго языка, то ему и быть не можно и не должно. Помилуйте, почтеннѣйшіе! Что есть изящный разговорный языкъ? Вѣдь это выборъ фразъ и оборотовъ изъ твореній изящной словесности. Какъ образуется изящный разговорный языкъ? Словесность беретъ элементы простаго разго-

ворнаго языка, обдѣлываетъ ихъ со вкусомъ, сообщаетъ имъ красивѣйшія формы, укладываетъ изъ нихъ звучныя и ловкія фразы: эти фразы, восхитивъ, надушивъ собою умъ читателя поутру въ его кабинетѣ, ввечеру возвращаются съ нимъ въ гостиную, и вливаются въ умную бесѣду, которая согрѣваетъ ихъ своимъ жаромъ, разнообразитъ примѣненіями, нерѣдко придаетъ имъ смыслъ новый, яркій, блестящій. И съ этими благопріобрѣтенными качествами, онѣ опять переходятъ въ словесность, гдѣ подъ искуснымъ перомъ, составляютъ новыя живописныя группы, убираютъ другія мысли, озаряются придаточнымъ блескомъ внутренней замысловатости и наружной полировки; и потомъ, свѣжія, красныя, гладкія какъ атласъ, онѣ, подобно нимфамъ Гомера, выходящимъ изъ хрусталя водъ, изъ этой свѣтлой купальни ума, опять бросаются на розовую постель веселой, игривой, образованной бесѣды. Это попеременное треніе однихъ и тѣхъ же фразъ о перо и уста, это непрерывное сообщеніе словесности и бесѣды, создаютъ, округляютъ, совершенствуютъ родственные формы и той и другой. Кто хочетъ полагать между ними предѣлъ, тотъ препятствуетъ успѣхамъ обѣихъ. Языкъ изящной бесѣды есть слѣдствіе и отраженіе изящности печатнаго слога, котораго лучи переломляются въ одушевленіи говорящаго и проливаютъ на его мысль радужныя цвѣты художества. Но въ такомъ случаѣ элементы той и другаго должны быть одинаковы. Какъ надѣяться, чтобъ у насъ образовался изящный разговорный языкъ, когда никто не можетъ повторить въ обществѣ вашей фра-

зы, вашего оборота, умнѣйшей мысли изъ вашей книги, именно потому, что вы нашпиговали ее *сими, оными, ибо, коими и упомянутыми* — отъ которыхъ всѣ расхохочутся — по которымъ всѣ тотчасъ узнаютъ, что мысль или фраза взята изъ книги? Не воображайте себѣ посѣтителей гостинныхъ геніями или импровизаторами: девять-десятыхъ разговариваютъ изящно фразами и оборотами, подмѣченными на страницахъ изящной словесности, и даже не въ состояніи перевести прочитанной мысли другими словами и другими оборотами. Дайте нашему хорошему обществу собственный его русскій языкъ, обработанный, отполированный, гладко, умно и живописно выражающій вѣсгдашнія его понятія, и общество будетъ говорить имъ предпочтительно, и изящная бесѣда мигомъ образуется. Но дайте жъ его! Вы его не даете — вы подчуete общество словомъ мертвымъ, языкомъ съ того свѣта; пишете на какомъ-то чуждомъ діалектѣ, котораго самыя употребительныя рѣченія, какъ напри-мѣръ мѣстоименія и союзы, всѣ почти чужды діалекту бесѣды, и въ которомъ періодъ имѣетъ совершенно другую архитектуру, плавность — другіе каналы, фраза — другую гармонію. Пока вы не соедините языковъ словесности и бесѣды тѣсными узами началъ одного вкуса, до-тѣхъ-поръ не будете имѣть изящной бесѣды, а изящную словесность будете только имѣть условную и безъ души. Впрочемъ, изящный разговорный языкъ уже началъ у насъ образоваться; и съ-тѣхъ-поръ какъ словесность стала нѣсколько чуждаться *сикъ* и

оныхъ съ причтомъ, онъ дѣлаетъ даже примѣтные успѣхи.

«Судящіе о вещахъ по старой привычкѣ, останавливаютъ вниманіе на внѣшней оболочкѣ предмета, и добродушно думаютъ, будто дѣло идетъ объ устраненіи изъ изящнаго слога нѣсколькихъ обветшалыхъ словъ, неупотребительныхъ или смѣшныхъ въ разговорѣ. Увы, увy, зачѣмъ они такъ добродушны! Зачѣмъ они принимаютъ одну изъ формъ явленія за его сущность? Удаленіе *сею, онаго, кой, ибо* и прочихъ, есть только одна изъ наружныхъ формъ вопроса. Дѣло состоитъ въ другомъ. Чтò скажутъ они, когда узнаютъ, что подъ этою затѣей, которая имъ кажется мелкою, «своенравною», безъ причинъ и цѣли, скрывается цѣлый рядъ идей, цѣлая система? Я, какъ логика, легко ее отгадываю: я знаю, чего хотятъ тѣ, которые подняли оружіе насмѣшки на *сихъ* и *оныхъ*, и вытѣсняють ихъ изъ словесности. Они затѣяли ни болѣе, ни менѣе, какъ преобразовать русскую фразу, и приготовить новую эпоху литературнаго языка. Они стремятся заставить словесность и разговорный языкъ дружески взяться объ-руку, и вмѣстѣ идти къ изящности. Право, они затѣяли это! Я растолкую вамъ ихъ предначертаніе. Распятая на ложѣ стариннаго риторическаго періода гвоздями ржавыхъ рѣченій *сей, оный, кой, упомянутый, ибо, поелику, а потому*, и прочая — всѣ эти рѣченія называются «пружинами періода» — русская фраза двигалась медленно, тяжело, хотя иногда и блистательно. Отъ такой фразы нельзя было ожидать ни какой пользы для разгово-

наго языка: она слишкомъ противна духу бесѣды и своей формой, и своими пружинами; она неестественна, потому-что противна фізіономіи русскаго слова XIX вѣка, который не знаетъ этихъ пружинъ, дѣйствуетъ совершенно другими пружинами, и слѣдственно дѣйствуетъ иначе. Выкиньте только *сей, оный, кой, таковой, упомянутый, поелику* и *ибо*, и вы вмѣстѣ съ ними ниспровергаете весь прежній періодъ; на мѣстѣ ихъ являются вамъ *этотъ, онъ, его, который, потому-что*, совсѣмъ иначе разсѣкающія фразу, и дѣлающія ее такъ похожею на разговорную, что можно тотчасъ перенести ее въ бесѣду, какъ бы она искусна и блестяща ни была. Если у васъ есть ухо, если вы одарены способностью чувствовать благозвучіе рѣчи, плавность струи словъ, эхо одного слога, отражающееся въ другомъ отдаленномъ слогѣ, то для избѣжанія какофоніи, или непріятнаго стеченія частыхъ *этотъ, эта, который, потому что*, принуждены вы безпрестанно изыскивать новые обороты, разнообразить движеніе фразы, сбрасывать предложенія въ купы особеннаго вида, или разбивать ихъ нечаянно, быстро, смѣло, рѣзко. Для живописи мысли открывается неисчерпаемый кладъ новыхъ средствъ выраженія: для васъ, новое художество — художество чистаго, самороднаго русскаго слова XIX вѣка. Я согласна съ *симъ* и съ *коимъ*, что употребленіе *этого, которая* и другихъ пружинъ нынѣшней русской фразы, представляетъ трудности, и требуетъ особенной ловкости, чтобъ побѣдить ихъ; но поэтому оно и художество! Съ устраненіемъ *сею, онаю, ибо* — вы принуждены от-

казаться отъ тяжелой и длинной фразеологіи, которая донынѣ, подѣ видомъ отчетливости и точности выраженія, разводила мысль безчисленными причастіями и мѣстоименіями, растягивала ее безъ красы и пользы, истощала всѣ ея силы. Это *длинноуміе* — извините, что смѣю такъ выразиться! — это длинноуміе, столь общее въ русскомъ слогѣ, вытягивающее всѣ предложенія на полтора аршина длиннѣе идей, которыя они выражаютъ, болтающееся на мысляхъ какъ чужое платье на ворѣ, должно кончиться; и оно окончится, какъ скоро мысль начнетъ одѣваться въ тонкую, прозрачную ткань современнаго слова, плотно пристающую къ ея членамъ, тканью, которая ничего не закрываетъ, а сохраняетъ всѣ природныя формы, всѣ выпуклости, всѣ углубленія. Вотъ чтò затѣяли тѣ, которые отвергаютъ *сей* и *оный*, между-тѣмъ какъ вы думаете, что они занимаются ссорою съ двумя или тремя старыми, приказными мѣстоименіями! Предпріятіе можетъ-быть несоразмѣрно съ ихъ силами, дерзко, самонадѣянно; но во всякомъ случаѣ оно благородно, потому-что одушевлено истинною любовью къ русскому языку и успѣхамъ его литературы, и основано на чистой философіи словесности; во всякомъ случаѣ оно достойно усилій ума рассуждающаго. Со смѣлыми Богъ! Авось они окажутъ языку услугу, за которую будутъ имъ благодарны если не *сѣи* и *онѣ*, такъ потомки *вышеупомянутыхъ*.

«Наконецъ, прошеніе возвращается челобитчикамъ и потому еще уваженію, что въ немъ говорится, въ противность моимъ законамъ, о какомъ-то *возвышен-*

номъ слогѣ. Возвышеннаго слога, съ позволенія вашего, не существуетъ ни въ земной природѣ, ни въ цѣлой солнечной системѣ. Онъ живетъ только въ воображеніи риторовъ и на страницахъ ихъ риторикъ. Нѣтъ слога низменнаго, ни возвышеннаго — есть только слогъ напыщенный и слогъ естественный, точно изображающій данную идею. Слогъ есть фізіономія мысли. Одна мысль можетъ быть возвышенною; и если она возвышенна, то какими словами вы ее ни выразите, лишь бы представили ее чисто и вѣрно, она всегда будетъ высока, и вознесетъ слогъ въ уровень съ собою. Украшайте мысль пошлую, общее мѣсто, сколько угодно, словами рѣдкими, изысканными, звучными или малопонятными — вы обманете только головы пустыя, созданныя для эха, а не для сужденія: мысль по прежнему останется пошлою, мѣсто общимъ. Испестрите мысль истинно-высокую такими словами, вы сдѣлаете ее туманною и вычурною. Предоставьте жъ возвышенный слогъ риторамъ и риторикамъ: вы вѣрно хотѣли сказать — слогъ церковнаго краснорѣчія?.... Это другое дѣло! Тамъ и языкъ и формы совсѣмъ не тѣ, какъ въ обыкновенной словесности. Духовное краснорѣчіе назначено для другихъ, высшихъ цѣлей, слѣдуетъ другимъ правиламъ, между которыми одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ преданіе».

Приказали. О такомъ рѣшеніи логики, какъ представительницы грамотныхъ людей, дать знать челобитчикамъ, по жительству оныхъ, чрезъ дерптскій ландгерихтъ, объявивъ онымъ, что буде оныя *сей* и *онѣй* не довольны оною резолюціею, то оныя могутъ

на оную подать апелляцію въ грамотную Русь 1845 года.

За секретаря: баронъ Брамбеусъ.

1835.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

ПРОТИВЪ БАРОНА БРАМБЕУСА.

Статьею этого барона начинается рядъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»... Объ этомъ человѣкѣ надобно поговорить намъ съ вами обстоятельно. Объявлено было торжественно нѣкоторыми почтенными лицами, что его *уронятъ, уничтожатъ, сметутъ съ лица земли*, его и его журналъ. Послѣдній срокъ этой благонамѣренной операціи назначенъ былъ — къ концу прошедшаго года. Чтò жъ, смели его съ лица земли или нѣтъ?... Видно, еще нѣтъ, когда онъ въ первой статьѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ» является здоровымъ и веселымъ по-прежнему, и по-прежнему смѣется беззаботно надъ своими врагами, которые всячески желали бы заставить его сердиться и уже пять лѣтъ кричатъ ему на разные голоса : *ôte-toi de là pour que je m'y mette!* Это досадно. Какъ бы то ни было, а для васъ очень стыдно, честные господа враги, что вы его до-сихъ-поръ не уронили, послѣ того какъ неоднократно собирали вы по подпискѣ между собою умъ и деньги, чтобы вѣрнѣе уронить его общими силами, разорялись на акціи, учреждали противъ него компаніи и журналы, пе-

чатали бранчивыя книги по десяти тысячъ экземпляровъ, порицали его печатно и вопили на него словесно, топили его въ чернилахъ всенародно, и разливали вездѣ около него самый сильный, самый убійственный нравственный ядъ, клевету, по-тихоньку. Конечно, вы употребили отличнѣйшія и вѣрнѣйшія средства, какими только можно сместъ съ лица земли человѣка, который намъ мѣшаетъ; совѣсть ваша чиста—только руки нѣсколько замараны (чернилами): да все-таки странно, что вы не уничтожили этого загадочнаго барона. Многіе думаютъ, и я начинаю быть того мнѣнія, что Брамбеусъ — чортъ. Въ самомъ дѣлѣ, его никто не видитъ, онъ нигдѣ не бываетъ, дверь его всегда заперта, особенно для литераторовъ, которыхъ онъ, говорятъ, никогда не любилъ. Повѣствуютъ, что онъ зарылся подъ грудой книгъ и окружилъ себя лѣсомъ растений и цвѣтовъ (лукавые всегда любятъ чащу), и что прохожіе слышатъ въ этомъ лѣсу, иногда саркастическій смѣхъ, иногда унылый вздохъ. Все это ясно доказываетъ, что баронъ Брамбеусъ не кто иной какъ чортъ. Иначе, какъ бы ста тридцати или ста сорока человѣкамъ, которые въ кучу сложили весь свой умъ, познанія, деньги, искусство, злословіе, не уничтожить одного человѣка?.... А если онъ не чортъ, то, позвольте вамъ сказать, господа, что при всей благонамѣренности вашего ожесточенія, вы до сихъ-поръ дѣйствовали противъ него очень неловко. Какъ можно было горячиться такъ неумѣренно? Во-первыхъ, кто приходитъ въ бѣшенство, тотъ всегда неправъ и смѣшонъ въ глазахъ хладнокровныхъ зри-

телей, а во-вторыхъ, своей необузданною горячностью, вы съ перваго шагу обнаружили передъ публикою, что въ васъ дѣйствуютъ тайно зависть, личность и интересъ, — пружины очень похвальные, но которыхъ по-несчастію публика не жалуется. И опять, какъ можно было придавать ему столько важности своимъ ожесточеніемъ? Книгопродавецъ Лисенко, говорятъ, составилъ полную бібліотеку изъ книгъ, брошюръ, предисловіи и статей, которыя вы написали противъ Брамбеуса втеченіи пяти лѣтъ: въ этомъ любопытномъ собраніи числится семь сотъ двадцать восемь нумеровъ, и книгопродавецъ проситъ за нихъ двадцать тысячъ рублей. Само собою разумѣется, что человѣкъ, противъ котораго столько написали, долженъ казаться публикѣ дивомъ и возбуждать любопытство. Это очень необдуманно съ вашей стороны. Не такъ надобно было дѣйствовать, любезные друзья мои, явные и тайные враги многоненавидимаго мною Брамбеуса. Даже самъ онъ явно говоритъ, что, еслибъ былъ на вашемъ мѣстѣ, никогда бъ не придалъ онъ себѣ той важности, какую вы составили для него въ литературѣ своимъ неблагоразумнымъ крикомъ: на вашемъ мѣстѣ, онъ хладнокровно наказалъ бы Брамбеуса молчаніемъ, оставивъ его навсегда въ безвѣстности, какъ самъ онъ теперь васъ оставляетъ безвѣстными, когда вы ему слишкомъ надоѣдаете. И то еще весьма неловко съ вашей стороны, и страшно вредитъ успѣху вашего благороднаго предпріятія, что вы очень непостоянны въ своихъ мнѣніяхъ: покуда не имѣете нужды въ Брамбеусѣ, то браните его на-пропалую, а какъ ско-

ро случится вамъ до него надобность, какъ-скоро собираетесь издать въ свѣтъ книгу о Россіи, о Китаѣ, объ Америкѣ, или хотите воспользоваться его готовностью оказывать помощь свою всякому, другу и недругу — глядь! вы начинаете воспѣвать ему напыщенные похвалы, пишете даже, что обожаете въ немъ человѣчество, * и потомъ опять, получивъ отъ него выгодный отзывъ о вашемъ твореніи или просимую помощь, принимаетесь бранить его пуще прежняго, пишете и говорите, будто его вовсе не знаете, и все это до новой въ немъ нужды, съ которой та же пьеса всенародно разыгрывается да саро. Публика не слѣпа: она все это видитъ, и вы единственно, по недостатку нужной тонкости, теряете у ней всякое довѣріе. Надобно непремѣнно, по мнѣнію моему, ввести коренную реформу въ вашей тактикѣ и совершенно преобразовать планъ атаки. Словесное злословіе, тайная клевета — очень хорошія оружія: но печатное ожесточеніе, злобныя придирки къ пустякамъ, къ опечаткамъ, къ неизбѣжнымъ въ обширныхъ трудахъ недосмотрамъ, это никуда негодится: пятилѣтній опытъ доказалъ вамъ ложность такой системы. Въ чемъ дѣло? Вамъ непремѣнно хочется занять его мѣсто?... Не правда ли? Ну, такъ не надобно непрерывно нападать на него: крику вашему онъ не уступить; терзая, понося его имя, вы заставляете только быть болѣе осторожнымъ и увеличивать свое желѣзное трудолюбіе; оставьте его нѣсколько времени въ покоѣ: вѣдь самъ онъ объявлялъ вамъ, что, если вы

* Слова изъ письма Н. Полеваго къ С.—Изд.

годъ и шесть недѣль будете хранить объ немъ такъ-называемое «гробовое» молчаніе, то онъ добровольно удалится съ поприща, и навсегда уступитъ вамъ свое мѣсто. Явная выгода! И какое торжество!.... тогда весь умъ останется за вами въ русской литературѣ; васъ однихъ публика будетъ читать, съ вами только совѣтоваться. И прибавьте къ тому, что его мѣсто, за которое впрочемъ я не далъ бы и трехъ копѣекъ, достанется вамъ безъ хлопотъ, и даже безъ издержекъ, потому-что молчаніе вещь самая дешевая на земномъ шарѣ. Притомъ же, если промолчите столько времени, васъ, можетъ-быть, сочтутъ въ публикѣ еще и глубокомысленными. Право, лучше кончить эту разорительную для васъ войну мировую сдѣлкой и согласиться на *годъ и шесть недѣль* сроку, а за барона Брамбеуса я вамъ даю поруку. Между-тѣмъ, въ оправданіе пяти-лѣтней злобы нашей, надобно намъ будетъ составить прокламацію, въ которой были бы исчислены всѣ великія преступленія барона Брамбеуса, общаго врага нашего, который у насъ отнимаетъ хлѣбъ и заслоняетъ намъ солнце. Занимаясь на досугѣ литературою, я собралъ въ разныхъ повременныхъ и единовременныхъ изданіяхъ все, что противъ него было написано, и составилъ изъ этого, какъ матеріалъ для будущей прокламаціи —

ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

ПРОТИВЪ БАРОНА БРАМБЕУСА.

1. Онъ Брамбеусъ, въ противность всѣмъ изданнымъ нами риторикамъ и грамматикамъ, и въ явную

обиду уже написаннымъ и напечатаннымъ нами сочиненіямъ, дерзнулъ увѣрять публику, что надобно писать естественно, употреблять въ книгахъ только тѣ слова, которыя можно употребить въ образованной бесѣдѣ, принять живой, современный языкъ въ основной капиталъ словесности, и отнынѣ обрабатывать этотъ языкъ, очистивъ его напередъ отъ всѣхъ устарѣлыхъ и мертвыхъ словъ и ложныхъ украшеній прежняго слога.

2. Таковымъ непозволительнымъ объявленіемъ, которому публика повѣрила прежде, чѣмъ мы спохватились, упомянутый Брамбеусъ открылъ въ русскомъ языкѣ источникъ комизма, котораго не было, а именно, съ той минуты какъ, по его наущенію, изящнымъ начали считать на Руси одинъ только естественный, чистый, живой языкъ русскій, тотъ искусственный языкъ, которымъ мы прежде писали и добывали себѣ удивленіе, вдругъ сталъ комическимъ, смѣшнымъ дотого, что наши прекраснѣйшія прежнія фразы, украшенныя древними *сими, оными, коими, таковыми, ибо, поелику*, и прочая, наши чудные періоды, раззолоченныя славянскими словами и формами, служатъ теперъ новымъ орудіемъ слога для возбужденія, въ нужномъ случаѣ, улыбки въ читателѣ — что и есть самое страшное преступленіе рѣченнаго Брамбеуса.

3. Оный же Брамбеусъ свое преступное ученіе объ естественности, современности и простотѣ литературнаго языка поддерживалъ шутками и эпиграммами, и, вывернувъ ими вверхъ-дномъ всю прежнюю систему слога и изящнаго въ языкѣ, заставляя публику смѣ-

яться надъ ней вмѣстѣ съ собою, принудить самыхъ маститыхъ грамматиковъ избѣгать *сикъ, омыкъ, коикъ*, и прочая, и писать естественно — каковое злоупотребленіе шутокъ заслуживаетъ жесточайшаго наказанія.

4. Тотъ же дерскій нововводитель естественности и простоты, безъ которыхъ все такъ хорошо шло въ языкѣ и словесности, устремляя умы читателей къ положительному и опытному, къ наблюденію, къ труду, погубилъ на Руси нѣмецкія умозрѣнія, столь удобныя для отрадной лѣни, за что и достоинъ вѣчнаго проклятія тѣхъ, которые любятъ все знать, ничему не учась.

5. Тотъ же зловредный Брамбеусъ, къ явному ущербу наслажденія тѣхъ, которые почерпали свой умъ изъ парижскихъ книгъ, возсталъ самоуправно противъ юной французской словесности, поколебалъ прежнее слѣпое довѣріе къ французскому генію, обратилъ умственную дѣятельность молодаго поколѣнія къ англійской литературѣ, поклонницѣ религіи, чистой нравственности и положительнаго въ жизни и наукахъ, и даже многихъ почтенныхъ стариковъ убѣдилъ учиться по-англійски. За такое неуваженіе свое къ новѣйшей французской литературѣ и къ общественнымъ и нравственнымъ теоріямъ, которыя она поддерживаетъ, часто-упоминаемый баронъ Брамбеусъ жестоко былъ поносимъ нами въ длинныхъ и короткихъ статьяхъ, но по врожденному своему упрямству не унялся, продолжалъ свои нападки, такъ, что наконецъ и мы принуждены были бранить эту литературу, хо-

Соч. Сенковск. Т. VIII.

тя въ душѣ ее обожаемъ. За сіе слѣдуетъ онаго барона подвергнуть строгому взысканію.

6. Онъ, баронъ Брамбеусъ, никогда не хотѣлъ составлять съ нами литературныхъ партій, держался одинъ противъ всѣхъ, объявлялъ себя хозяиномъ въ своемъ журналѣ, требовалъ, чтобы желающіе участвовать въ немъ согласовались съ духомъ и формами изданія, презиралъ всѣ наши нападки, никому не отвѣчалъ ни слова и даже съ обидною снисходительностью часто хвалилъ сочиненія тѣхъ, которые явно его поносили. За всѣ таковыя неслыханныя преступленія нѣтъ достаточно тяжкой казни на землѣ. Однимъ словомъ, оный баронъ сдѣлалъ все, что только можно, чтобы мы отъ всей души желали *смести его съ лица земли*.

1839.



ФИЛОСОФІЯ.



СОКРАТЪ И ПЛАТОНЪ.

По поводу перевода *Сочиненій Платона*, профессоромъ
КАРПОВИМЪ. 1841.

Переводъ сочиненій Платона, сообразный съ нынѣшнимъ состояніемъ классической критики и понятій объ изяществѣ русскаго языка, есть такое предпріятіе, которымъ нельзя не гордиться литературѣ. Вообще, всякій трудъ обширный, серіозный, требующій долговременнаго приготовленія, тщательныхъ изысканій, строгаго вниманія, уже показываетъ благотворное направленіе народнаго просвѣщенія и, въ то же время, служить хорошимъ примѣромъ для тѣхъ, которые ищутъ отличій на литературномъ поприщѣ. Но когда этотъ трудъ относится еще къ такому важному предмету, каковы творенія Платона, которыя были объясняемы два тысячелѣтія, то соотечественники не только должны встрѣтить его съ почтеніемъ, но и могутъ поздравить себя съ великимъ ученымъ феноменомъ.

Во всякомъ переводѣ твореній Платона заключаются двѣ цѣли, обѣ весьма важныя: во-первыхъ, честь отечественной литературы; во-вторыхъ, польза философіи или людей, занимающихся ею. Каждая изъ новѣйшихъ литературъ ставитъ себя въ заслугу

обладаніе отличнымъ переводомъ книги, которую, втеченіи двадцати трехъ столѣтій знаменитѣйшіе ученые всѣхъ народовъ съ энтузіазмомъ обрабатывали и переводили на свои языки. Съ другой стороны, всякій, кто хочетъ философствовать и не въ состояніи читать Платона въ греческомъ подлинникѣ, для пользы своихъ соображеній нуждается въ вѣрномъ и изящномъ переводѣ сочиненій глубочайшаго и изящнѣйшаго ума древности. Но какъ эта польза, такъ и эта честь возлагають на переводчика страшное условіе — представить литературѣ переводъ, достойный подлинника, которому свѣтъ всегда удивлялся какъ величайшему чуду генія и искусства человѣческаго. Надо сказать откровенно, что это страшное условіе никѣмъ еще не было исполнено: ни на одномъ языкѣ нѣтъ перевода, достойнаго подлинника. Трудилось множество прекрасныхъ талантовъ, множество бездонныхъ ученостей: но никто не схватилъ настоящей фпзіономіи ни мыслей Платона, ни образа его изъясненія. Однихъ латинскихъ полныхъ «переложеній», въ которыхъ *divus Plato* былъ перечитываемъ въ пятнадцатомъ столѣтіи, напечатано восемнадцать, со времени Фичино до начала семнадцатаго вѣка. Однихъ полныхъ изданій Платона на греческомъ языкѣ, съ комментаріями, переводами и безъ переводовъ, втеченіи послѣднихъ четырехъ столѣтій вышло болѣе двѣнадцати. Однихъ полныхъ переводовъ на новѣйшіе, существующіе, языки считается до тридцати, кромѣ знаменитаго перевода на языкъ, никогда не существовавшій, называемый славяно-русскимъ, на ко-

торомъ Пахомовъ, въ восьмидесятихъ годахъ, подарилъ намъ «Творенія *велемудраго* Платона». Частныхъ изданій разныхъ его книгъ, комментаріевъ на эти книги, переводовъ, толкованій, разборовъ и прочая, нельзя заключить въ цѣлой тысячѣ волюмовъ. И между-тѣмъ все это не даетъ понятія о Платонѣ.

Неужели же никто доселѣ не разгадалъ Платона? Неужели такъ трудно разгадать его?... Совсѣмъ нѣтъ. Платонъ совершенно ясенъ для того, кто, съ нужными свѣденіями, читаетъ его безъ предвзятой системы, безъ коварнаго умысла находить въ немъ то, объ чемъ онъ не думалъ, и не видѣтъ того, что онъ дѣйствительно хотѣлъ сказать. Но понять его гораздо легче, нежели передать другимъ то, что мы въ немъ понимаемъ. Во-первыхъ, тутъ нуженъ даръ владѣть своимъ языкомъ такъ же тонко, изящно, могущественно, какъ Платонъ владѣлъ своимъ: а эта сторона его твореній рѣшительно неподражаема для того, кто не обладаетъ равною ему гибкостью и быстродвижностью ума. Во-вторыхъ, толкователи и переводчики, излагая его мысли, никогда не хотѣли и не умѣли пожертвовать правотѣ дѣла собственными воззрѣніями на предметъ. Въ прежнія времена приводилъ къ этому недостатокъ въ свѣденіяхъ у тѣхъ лицъ, которыя брались сдѣлать глубочайшаго мыслителя древности общепонятнымъ для новѣйшихъ. Нынче, убійственный духъ систематическимъ натяжекъ совсѣмъ загородилъ путь къ должному уразумѣнію главы древнихъ философовъ. Германія воскресила платонизмъ въ новой формѣ, или новыхъ формахъ, которыя она называетъ

своей философіей. Въ ея туманныхъ умозрѣніяхъ идеи Платона приняли фантастическіе виды воздушныхъ замковъ Фаты-Морганы. Платонъ, въ исторіяхъ философскихъ системъ, заговорилъ страшнымъ языкомъ Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и компаніи. Исторія философіи, черезъ которую каждый надѣется познаться съ мыслями древнихъ и которая должна честно и смиренно предлагать на судъ читателей результаты изысканій ума человѣческаго, превратилась, въ наше время, въ главное орудіе новѣйшихъ расколовъ. Даже назначеніе исторіи философіи потерялось: каждый новый ея строитель заботится только объ одномъ — чтобы для своего зданія придумать планъ похитрѣе и внутренность потемнѣе. Исчезли и надежда и желаніе читателей изучать на ея страницахъ общую картину философскихъ мыслей древняго міра.

Впрочемъ не только исторія философіи, но и сама философія осталась въ наше время безъ назначенія — что еще болѣе сбиваетъ людей съ толку, когда они хотятъ проникнуть въ область этихъ мыслей. Философія, въ кругу нашихъ наукъ, составляетъ уже одно только простое мечтаніе, размышленіе, разглагольствованіе, а не «науку». Наше уложеніе о дѣлопроизводствѣ и благочиніи въ наукахъ совершенно враждебно ей: нарушая весь нашъ слѣдственный порядокъ разысканія истины, она составляетъ въ немъ дикое и рогатое исключеніе, которое вовсе нейдетъ къ формамъ новѣйшаго знанія и положительно воспрещается имъ. Если мы еще помѣщаемъ или терпимъ философію въ числѣ нашихъ наукъ, то единственно

по старой привычкѣ, вслѣдствіе не совсѣмъ еще угасшаго уваженія къ древнимъ, у которыхъ она была первою или, точнѣе, всеобщею наукою: но всѣ наши ученія надежды, все наше умственное направленіе, противятся ей рѣшительно. Она для насъ преданіе, а не фактъ. Въ нашей образованности она не можетъ быть тѣмъ, чѣмъ была въ древности и въ средніе вѣка. Мѣсто ея занято другими науками, другими нуждами, другими понятіями о началѣ и сущности знанія, и «философія», *мудрость*, sapientia, нынче уже совершенно невозможна какъ нѣчто самостоятельное. Все, что у насъ возможно въ этомъ родѣ, ограничивается философіей каждой науки отдѣльно; и въ самомъ дѣлѣ, каждая наука имѣетъ теперь свою философію, которую опять мы только терпимъ подлѣ нея какъ прибавленіе, не придавая ей большой важности, не вѣря ей наведеніямъ, нерѣдко даже называя ее *романомъ науки*. Изъ этихъ частныхъ философій наукъ никто уже не составитъ одной, общей философіи: школы Шеллинга и Гегеля, которыя пытались совершить этотъ подвигъ, сдѣлали изъ себя посмѣшище. Такой подвигъ даже и невозможенъ: частныя философіи наукъ вовсе — не философіи.

Древность и новѣйшее время, въ изслѣдованіи истины, держатся діаметрально противоположныхъ правилъ. Уставъ нынѣшней науки формально отвергаетъ и гонитъ методу, которою древніе надѣялись достигнуть знанія. У нихъ наблюденіе фактовъ не составляло основанія ученаго дѣлопроизводства. Факты, извѣстные имъ, были весьма немногочисленны; и эти

факты они примѣтили случайно, не подвергая ихъ повѣркѣ, сличенію, мѣрѣ, вѣсу, опыту. Опираясь на это маленькое собраніе неповѣренныхъ и большею частью сомнительныхъ фактовъ, они хотѣли разгадать все остальное à priori, здравымъ смысломъ, наведеніями ума, логикою, то есть *толковитостью* — потому-что *logos* собственно значить *толкъ*, вмѣстѣ «рѣчь», «смыслъ» и «порядокъ». Они хотѣли достигнуть до опредѣленій посредствомъ силлогизма и діалектики, какъ орудій *толка*, *logos*. Процессъ этой великой операціи толка, этого чисто-словеснаго разгадыванія «природы вещей», не изслѣдованныхъ точнымъ наблюденіемъ, не раскрытыхъ учеными опытами, составлялъ все знаніе древняго человѣка, всю его *мудрость*, и занятіе имъ называлось *любомудріемъ*, философіей. Оттого философія заключала въ себѣ весь кругъ извѣстныхъ тогда фактовъ, отъ небесныхъ тѣлъ и души міра до звука, музыки и поэзіи. Все входило въ составъ мудрости, потому-что, безъ изслѣдованія внутреннихъ тайнъ фактовъ, и при добродушиномъ довѣріи къ ихъ наружности, все, казалось, могло быть разгадано усовершенствованнымъ толкомъ. Такимъ образомъ, древній философъ былъ человѣкъ, знающій все, что люди знали въ его время, то есть знающій очень немного и очень невѣрно, и догадывающійся о остальномъ посредствомъ наведеній, при помощи «толка», прямого смысла, здравой рѣчи и ея орудій.

Возможны ли такой человѣкъ и такая наука, «мудрость», въ наше время? Кто изъ насъ въ состояніи

льстить себя мыслью, будто онъ знаетъ все, что теперь извѣстно человѣку по всѣмъ безчисленнымъ отраслямъ знанія? Кто скажетъ, будто онъ обнялъ и постигъ всѣ факты, когда мы ежедневно видимъ, какъ факты, кажущіеся самыми достовѣрными, безпрестанно измѣняютъ свой видъ и свою сущность подъ ближайшимъ разборомъ? будто онъ лучше видитъ «вещи» и ихъ «природу», чѣмъ тысяча отличнѣйшихъ умовъ, трудящихся по тысячѣ различныхъ частей, съ полнымъ вниманіемъ, съ удивительнымъ искусствомъ, съ цѣлымъ арсеналомъ замысловатыхъ и тонкихъ орудій наблюденія? будто онъ одинъ въ правѣ рѣшать повсюду своимъ «толкомъ» всѣ искомыя сокровенныя истины, когда основанія истинъ, факты, еще такъ шатки и переменчивы, когда всякая изъ этихъ истинъ постоянно ускользаетъ отъ проникаемости ближайшихъ своихъ изслѣдователей? О *мудрости*, философіи, какъ ее понимали древніе, теперь и рѣчи быть не можетъ.

Положимъ, что найдется одинъ такой человѣкъ, Гумбольдтъ, размноженный на самого себя до десятой потенціи, который бы поглотилъ одинъ все нынѣшнее, раздробленное знаніе, всѣ до вчерашняго числа извѣстные факты, и вывелъ изъ нихъ одну общую *мудрость* силою своего «толка». Эта «мудрость» годилась бы только на сегодня: завтра половина фактовъ измѣнитъ свою сущность подъ дальнѣйшимъ распространеніемъ наблюденія, и все зданіе общихъ наведеній рухнетъ. Да и на сегодня она не годится: мы не станемъ ей вѣрить ни одного часа; со време-

ни Бекона и Галилея мы избрали совсѣмъ другой путь къ познанію истины; анализъ, наблюденіе, опытъ признаются нынче единственными къ ней путеводителями; наука получила новый и весьма строгій уставъ; этотъ уставъ запрещаетъ намъ полагаться на то бы то ни было недоказанное осязательностью: всѣ подробности труднаго искусства наблюдать и производить опыты опредѣлены въ немъ такъ положительно, что невозможно уклониться ни на волосъ отъ его правилъ, не потерявъ права на ученое довѣріе; царство чистаго «толка» пало; сужденіе à priori не имѣетъ для насъ никакого вѣса; каждый день болѣе и болѣе чувствуемъ мы ту истину, что всякое общее наведеніе преждевременно и смѣшно. Философіи ровно нечего дѣлать въ наше время. Кругъ ея дѣйствія долженъ былъ постепенно уменьшаться, по мѣрѣ того какъ каждая отдѣльная наука распространяла опытами свои предѣлы и становилась самостоятельною, и нынче доведенъ онъ до непримѣтной точки.

Возстаніе наукъ противъ гнетущаго господства «толкующей мудрости» началось еще до Платона. Первая отложила отъ нея медицина. Цельсъ ставитъ Иппократу въ главную заслугу то, что онъ свою науку отдѣлилъ отъ философіи — *primus medicinam a studio sapientiae separavit* — и основалъ на наблюдении, на опытѣ. За медициною, отъ вліянія праздной мудрости уклонились астрономія, математика, физическая географія, анатомія, фізіологія. Этотъ переворотъ начался въ александрійской школѣ, но довершеніе его предоставлено было нашей эпохѣ, ко-

торая наконецъ всѣ науки — а sapientia sepiaravit — рѣшительно отторгла отъ *мудрствованія* философовъ и подчинила исключительно наблюденію и опыту. До сихъ-поръ мы еще изъ учтивости предоставляемъ празднотолкующей «мудрости» психологию и логику. Новѣйшій историкъ философіи, Риттеръ, подводя общій итогъ всѣмъ воззрѣніемъ на нее, нашелъ, что, въ наше время, философія есть *«непосредственное созерцаніе (или умозрѣніе) отдѣльныхъ идей ума»*. Но уставъ новѣйшей науки не допускаетъ въ знанія никакого *непосредственнаго* созерцанія: все должно быть *посредственно*, то есть пройти черезъ посредство строгой повѣрки опытовъ и осязательности; съ другой стороны, на образованіе *идей* уже отчасти объявляютъ важныя притязанія опытная наука о свѣтѣ и звукѣ и опытная фیزیологія: силлогизмъ, риторическія фигуры, все устройство языковъ, войдетъ современемъ въ предѣлы своей природной области, опытной акустики, и сольется съ законами музыкальнаго звука; то что философія называетъ еще операціями души, сдѣлается производствомъ ея орудій, органовъ, и для философіи останется одна только чистая, божественная, неподлежащая никакому разбору «душа», которая, естественно, перейдетъ по праву въ область богословія, такъ что для «непосредственно созерцающей» мудрости ничего не останется въ предѣлахъ знанія кромѣ нравственности, или науки жизни. Предчувствуя этотъ конецъ для себя, философія заранѣе бросилась въ наше время на исторію и старается овладѣть ею, для приданія себѣ важности: до-сихъ-поръ

попытки ея на этомъ поприщѣ были очень неудачны, и станемъ надѣяться, для пользы самой исторіи, что критика, сдѣлавъ ея также чисто опытною наукою, спасетъ общество отъ опасныхъ мудрованій непосредственно созерцающаго толка. Такъ-называемая философія исторіи уже довольно сдѣлала зла человѣчеству: рано или поздно оно образумится и прогонитъ играющую словами *мудрость* даже изъ дѣлъ своихъ.

Все это ведетъ насъ къ признанію той очевидной истины, что новѣйшая наука, и наша ученая эпоха, кореннымъ образомъ враждебны всякому умозрѣнію и, слѣдственно, философіи, которая, не имѣя въ нихъ основанія, уже и не пользуется настоящимъ уваженіемъ, а ведется еще между нами, не какъ потребность, но только какъ остатокъ почтенной старины и школьное подражаніе древности. Самъ знаменитый историкъ древней философіи говоритъ, что существованіе философіи *зависитъ отъ успѣховъ наукъ*, то есть, что составить ее можно будетъ только въ то время, когда науки окончатъ свой безконечный ходъ постепеннаго развитія и опытнаго изслѣдованія: другими словами, когда каждая изъ нихъ достигнетъ послѣдняго совершенства и скажетъ свое крайнее слово. Слѣдовательно, пока эта отдаленная эпоха наступитъ — если только наступитъ она когда-либо — дотѣхъ-поръ не можетъ существовать у насъ никакой «мудрости».

Въ такомъ положеніи дѣла, совершенно понятно, что если мы непремѣнно захотимъ, въ подражаніе древнимъ, имѣть *теперь* свою философію, и если эта

Философія, какъ и должно быть, будетъ хоть нѣсколько согласна съ *нынѣшними* успѣхами наукъ, то для глазъ, смотрящихъ сквозь ея призму, древняя греческая философія, которая, разумѣется, была согласна съ тогдашнимъ, вовсе различнымъ, состояніемъ наукъ, станетъ каждый разъ представляться намъ въ новомъ фантастическомъ видѣ, принимать разные цвѣта, мѣняться какъ кожа хамелеона. Отсюда каждый и видитъ въ ней то, что ему угодно. Это особенно относится къ Платону, въ словѣ котораго, какъ полагаютъ, древняя философія достигла своего зенита, или къ такъ-называемой Сократовой философіи.

Платонъ избралъ Сократа типомъ греческаго «мудреца», и его способъ «мудрствованія» образцомъ совершенства для философическихъ изслѣдованій. Это обстоятельство для насъ весьма важно. Стоитъ только безпристрастно разсмотрѣть этотъ прославленный типъ, этотъ знаменитый образецъ, чтобы увидѣть, какъ далеко мы разошлись съ древними въ понятіяхъ о философѣ и философіи, и какъ забавно нщемъ глубокихъ откровеній умозрительной мудрости въ сочиненіяхъ человѣка, который, подобно своему типу, собственно, отвергалъ всю философію какъ вещь уже несогласную съ успѣхами наукъ въ его время.

Что за человѣкъ былъ этотъ Сократъ, которому древность не находила нигдѣ соперника, ставя его въ челѣ своихъ великихъ людей? котораго Маркъ Антонинъ считалъ выше Александра Великаго, Цицеронъ признавалъ царемъ философовъ, отцомъ всякой мудрости? въ которомъ Іустинъ, Эразмъ, Фичино, по-

читали существо сверхъ-естественное? Что за человекъ былъ этотъ Софронисковичъ, котораго Ролленъ и Бартеlemi подозрѣвали въ обманѣ, Фенелонъ заклеилъ именами *lâche et imposteur*, а многіе новѣйшіе критики вмѣстѣ съ Аристофаномъ величаютъ тонкимъ софистомъ?

Во всѣхъ этихъ сужденіяхъ, конечно, господствуетъ крайность. Сократъ просто, былъ остроумнѣйшій и, можетъ-быть, умнѣйшій человекъ своего времени, который постигъ современниковъ, презиралъ ихъ въ глубинѣ души, любилъ тонко посмѣяться надъ ними, особенно надъ философами или, какъ онъ выражался, *софистами*, видѣлъ Грековъ насквозь и, чтобы стать выше всѣхъ, взялъ самую прямую дорогу и шелъ ею неуклонно, пока не разыгралъ своей роли до послѣдняго слова. Чтобы убѣдиться въ этомъ, надобно заглянуть въ Аѣины, и посмотреть, что дѣлалось тамъ при Сократѣ.

Это былъ блестящій вѣкъ Перикла, вѣкъ славы, вѣкъ торжества Аѣинъ, которые наконецъ сдѣлались центромъ всей Греціи. Богатство и таланты стекались въ городъ Минервы. Искусства дѣлали изумительные успѣхи. Науки, прежде медленно разрабатываемыя нѣсколькими тружениками, получили сильный толчокъ и быстро пошли впередъ. Аѣины превратились въ огромную кафедру, съ которой говорили обо всемъ, въ которой можно было слышать все, отъ важной рѣчи ученаго до остротъ публичнаго шута, отъ демократическихъ сплетней города до рѣшенія политическихъ вопросовъ тогдашняго міра, отъ напыщенныхъ чтеній

софистовъ до споровъ о цѣнѣ хлѣба. Афиняне не стояли съ улицъ и площадей: они жили подъ открытымъ небомъ и прятались отъ солнца и дождя подъ портики; военнутаго, то потобомъ стрѣлялись они къ кафедрѣ какого-нибудь оратора, то сложи голову бѣжали, чтобы не пропустить остраго слова любимого преподавателя «нудрости». Все слушалось, говорило, слушало, училось, свѣдѣлось, остряло. При такомъ напирании умовъ, при этой водѣ на нудрость, на нудрствованіе, на софистику, вѣдь было не дойти до крайностей. Сильное свѣдѣлось градомъ со всѣхъ сторонъ на хладнокровнаго наблюдателя. Роль насмѣшника всегда важна и затаивъ въ такихъ обстоятельствахъ. Сократъ ухватился за нее. Но сынъ вѣнчатаго скульптора и вѣнчательной бабки, не обладавшій даже порядочною наружностью, не родясь для кафедры, никогда не могъ бы выйти изъ толпы обыкновенныхъ острослововъ. Нужно было озадачить Афинянъ. Сократъ сталъ дѣйствовать совсѣмъ другимъ образомъ, нежели какъ дѣйствовали другіе. Онъ признаетъ на себя видъ оригинала, ни въ чемъ не слѣдуетъ водѣ и вѣстнымъ обычаямъ, и вооружается противъ такихъ вещей, съ которыми соотечественники его сроднились, которыхъ противорѣчить никому и въ голову не приходило.

Афиняне предавались всѣмъ изливештвамъ тщеславія, гордости, самолюбія. Сократъ становится посреди толпы, проситъ себя прислушать, и начинаетъ ей очень остроумную проповѣдь объ умѣренности и благоуміи. Можно себѣ представить изумленіе Афинянъ.

умудрило же его заговорить объ этомъ!... Чудакъ, да и только!...

Софисты, а по-нашему философы, владѣствуютъ въ аѣинскомъ обществѣ. Аѣиняне помѣшаны на софистикѣ, или философiи. Старый и малый спѣшили слушать «мудрецовъ». Сократъ направляетъ ударъ противъ этихъ идоловъ общества: онъ схватываетъ ихъ смѣшную сторону, подбираетъ всѣ ихъ преувеличенія и крайности, и тонко, забавно, драматически, представляетъ ихъ шутами и невѣждами. Всѣ мудрецы въ испугѣ. Они кричатъ: «Да это безпокойный и опасный человѣкъ!» А Сократъ только того и искалъ, чтобы взбѣсить ихъ противъ себя: лишь-только они возстали противъ него, его извѣстность рѣшена, его имя повторяется всѣми, онъ знаменитъ. Въ побѣдѣ онъ увѣренъ: Аѣиняне страстные охотники смѣяться надъ всѣмъ; они будутъ вмѣстѣ съ нимъ смѣяться и надъ своими идолами: стоить только доставлять имъ готовыя остроты, эпиграммы, аргументы противъ этихъ идоловъ.

Софисты ищутъ, сзываютъ, слушателей въ свои заведенія для изученія «мудрости». Сократъ выходитъ прямо на площадь, останавливаетъ перваго встрѣчнаго, не разбирая ни его состоянія, ни возраста, ни политическихъ отношеній, и начинаетъ *толковать* съ нимъ; уйдетъ этотъ, онъ начинаетъ бесѣду съ другимъ. Такъ онъ проводитъ весь день. Множество людей принуждены выслушать его разсужденія. Многихъ увлечь онъ ихъ пріятностью. Лучшія его остроты повторяются во всѣхъ Аѣинахъ. И вотъ онъ царь площади.

Софисты дорого цѣнятъ свое знаніе и берутъ съ учениковъ большія деньги. Протагоръ, прозванный Абдеритянами «продажнымъ умомъ», позволяетъ слушать свой курсъ мудрости не иначе какъ за сто минъ, то есть за двѣ тысячи двѣсти семьдесятъ пять рублей серебромъ. Сократъ за свои бесѣды не требуетъ ни одного обола. Онъ даромъ, и очень мило, опровергаетъ всѣ вздоры [Протагора, и всѣ хотятъ побесѣдовать съ нимъ объ этомъ знаменитомъ мудрецѣ и его мудрости.

Софисты стараются, каждый, устроить около себя свой кругъ приверженцевъ и обожателей, преимущественно изъ пылкихъ молодытъ головъ: это ихъ главные и постоянные слушатели. Сократъ не имѣетъ опредѣленнаго круга собесѣдниковъ: онъ говоритъ съ кѣмъ придется, съ кѣмъ его свелъ случай, со стариками, съ своими сверстниками и съ младшими полѣтамъ. Его противники учатъ догматически, требуютъ безотчетнаго довѣрія къ своимъ словамъ. Сократъ не говоритъ ничего положительно, а только предлагаетъ вопросы, ждетъ прямыхъ отвѣтовъ, и непримѣтно приводитъ своихъ собесѣдниковъ къ тому, что они сами высказываютъ о предметѣ ученія софистовъ очень невыгодное мнѣніе. Между-тѣмъ самъ Сократъ не сказалъ ни да ни нѣтъ. Онъ устами собесѣдника опровергъ какое-нибудь положеніе модной философіи, но мнѣнія своего о томъ же предметѣ не произнесъ, мудрости противниковъ не замѣнилъ своей мудростью, и вопросъ оставилъ безъ рѣшенія. Можно догадываться, что онъ объ немъ думаетъ: но онъ не открылъ

своей мысли, и остановился именно на той точкѣ, за которою уже начинается умствование, умозрѣніе, созерцаніе, чистая философія, какъ-будто желая показать, что всѣ современные ученія — вздоръ и что этихъ вещей не должно рѣшать умствованіемъ. Платонъ держится именно этой методы философствованія. Въ строгомъ смыслѣ, это — отрицаніе философіи. Его толкователи говорятъ: «Однакожь видно, къ чему онъ стремится; настоящую мысль его легко угадать и мы угадывамъ». Извольте, угадывайте! Но онъ не виноватъ въ заключеніяхъ, которыя вы на него взведете. Дѣло въ томъ, что онъ, по точному примѣру своего типа философвъ, Сократа, уничтожилъ философскія умозрѣнія своихъ предшественниковъ и современниковъ, а самъ не пустился въ умозрѣнія и не произнесъ никакого приговора. Его предшественники и современники хвастались, будто они все разгадали; они брались объяснить все на свѣтѣ. Сократъ у Платона дѣйствуетъ совсѣмъ на-оборотъ: когда кто-нибудь обращается къ нему, не для простой бесѣды, но съ тѣмъ, чтобы у него учиться, онъ говоритъ: «Я ничему не учу». Онъ отсылаетъ любознательнаго къ которому-нибудь изъ тогдашнихъ преподавателей опытныхъ наукъ.

Софисты говорили, что, для ихъ умозрѣній, во всей вселенной нѣтъ ничего недоступнаго, что все можно знать при помощи ихъ «мудрости». Сократъ, на площади и у Платона, постоянно твердить: «Я знаю только одно, что ничего не знаю»!

Софисты поставляли человѣку въ обязанность жер-

твовать всѣмъ для цѣли, не разбирая средствъ, и такимъ образомъ уничтожали понятіе о добрѣ и злѣ. У Сократа на языкѣ всегда — добро и добродѣтель.

Выходки противъ многобожія, начатыя еще Ксенофаномъ, продолжаемы были элейскими и пифагорейскими философами, Гераклитомъ, Анаксагоромъ. Софисты, вмѣстѣ съ Иппономъ, шли тѣмъ же путемъ: сюда нужно отнести Протагора, Діогена Мелосскаго, Продика и Критіаса. Сократъ самъ плохо вѣрилъ въ эту кучу боговъ. Разсужденія его довольно ясно клонятся къ единобожію. Но онъ нигдѣ не произнесъ своего мнѣнія объ этомъ вопросѣ и, какъ-будто для показанія, что онъ не философъ и не вдается въ филофію, рѣчь Сократова всегда была проникнута благоговѣніемъ къ богамъ.

Этотъ способъ дѣйствованія вездѣ и во всемъ на оборотъ принятымъ обычаемъ, эта система насильнаго бесѣдованія съ знакомыми и незнакомыми, эта страсть возражать на все, должны были наконецъ сдѣлать Сократа несноснымъ для многихъ. Люди, имѣющіе вѣсь въ обществѣ, не любятъ спорщиковъ, а Сократъ былъ олицетворенное противорѣчіе. Число его враговъ расло въ томъ же содержаніи какъ и почитателей. Но Сократъ заранѣе укрѣпился за недоступною для мщенія стѣною. Съ перваго вступленія своего на помпѣ повсемѣстнаго собесѣдника, онъ благоразумно окружилъ себя таинственностью. Всѣмъ, которые подходили къ нему, чтобы его слушать, онъ давалъ почувствовать, что изъ преподаванія науки онъ не составляетъ для себя средства къ жизни подобно софистамъ

и другимъ ученымъ; что онъ въ прямой связи съ какимъ-то небеснымъ духомъ, *видитъ* его и руководствуется его наставленіями; что они имѣютъ дѣло не съ обыкновеннымъ человѣкомъ; что онъ говоритъ единственно «по призванію свыше», по повелѣнію боговъ. Въ суевѣрныхъ Аѳинянахъ это поселяло къ нему невольное благоговѣніе. Народъ почиталъ его вдохновеннымъ человѣкомъ. Каждый добрый язычникъ старался увидѣть Сократа, поговорить съ избраннымъ человѣкомъ, попросить у него совѣта въ своемъ дѣлѣ, тѣмъ болѣе, что онъ уже нѣсколькимъ своимъ друзьямъ предсказалъ волю боговъ и она исполнилась.

Но среди теплыхъ душъ, вѣрующихъ въ эти чудеса, нашлись и злые невѣры. Въ то время какъ Аѳины съ восторгомъ прославляли Сократа, Аристофанъ поднялъ его на «Облака». Амипсій осмѣялъ его въ «Коняѣ», Эвполисъ написалъ на него злую комедію. Съ одной стороны, Софронисковича преслѣдовали софисты, съ другой авторъ «Лягушекъ» и «Птицъ» не усомнился представлять его на театрѣ первымъ между софистами плутомъ и интригантомъ, который, къ безконечнымъ ихъ продѣлкамъ, прибавилъ еще одну новую, именно видѣнія, чтобы всѣхъ одурачить. Аристофанъ вздергивалъ Сократа подъ небеса и спускалъ его въ корзину, которая страшно раскачивалась во всѣ стороны въ воздухѣ, между-тѣмъ какъ самъ путешественникъ сыпалъ вопросами, возраженіями и сентенціями. Ёдко, но близко къ дѣлу, Амипсій изображалъ Сократа человѣкомъ, который всюду суется, ко всему придирается, на все возражаетъ, вездѣ является

съ своей неотвязною бесѣдою, съ своимъ неотразимымъ нравоученіемъ. Общество, въ которое комикъ вводитъ Софронисковича, гадко. Представитель этого общества, Коннъ, музыкальный учитель, смѣшной, отвратительный, пьяный, обжорливый старикъ, съ безобразною фізіономіей, съ уморительными ухватками, съ вѣчнымъ вѣикомъ на головѣ, въ память былыхъ побѣдъ, и съ неодолимою страстью къ софистическимъ бесѣдамъ. Сколько доставалось Сократу въ этой пьесѣ, можно судить по привѣтствію, какимъ встрѣчаютъ его при вступленіи въ общество: «И ты, Сократъ, мужъ лучшій изъ немногихъ, и пустѣйшій изъ многихъ, и ты, страдалецъ, пришелъ къ намъ!.... Откуда у тебя такой плащъ? Это безъ-сомнѣнія злой умыселъ кожевниковъ?» Эвполисъ выводилъ въ его лицѣ человѣка, который дышитъ однимъ небеснымъ и все тянетъ къ себѣ. Это была самая бѣдственная эпоха въ жизни Сократа. Его обдали насмѣшкою и клеветою съ ногъ до головы. Онъ не могъ уже показаться на улицѣ. Но услужливая дружба искусно замѣшала боговъ въ дѣло, и это удержало потокъ обидъ. Послѣ жестокаго оскорбленія, нанесеннаго Сократу на сценѣ, умный его пріятель, Херемонъ, набивъ карманы золотомъ, отправился въ Дельфы спросить оракула, какъ-будто изъ простаго любопытства: кто — мудрѣйшій изъ людей? Оракулъ отвѣчалъ: «Мудръ Софоклъ, «Эврипидъ еще мудрѣе, но премудрѣе Сократа нѣтъ «ни одного человѣка». Этотъ торжественный приговоръ боговъ испугалъ гонителей и насмѣшниковъ. Въ «Птицахъ», Аристофанъ коснулся уже только динической

наружности Сократа, и то мимоходомъ. Въ «Лягушкахъ» онъ уже упоминаетъ о дружбѣ Сократа съ Эврипидомъ; а послѣ рѣшился даже передѣлать свои «Облака», выбросить всѣ мѣста, оскорбительныя для осмѣяннаго моралиста, и совсѣмъ уничтожить и первое изданіе этой комедіи. Ампісievъ «Коннѣ» пересталъ производить *figaro*. Эполисова комедія была забыта. Аѣниская публика, послѣ отвѣта оракула, стала почтительнѣе къ Сократу, лучше оцѣнила его поступки, и ея благоволеніе къ «премудрѣйшему» подавило злобу завистниковъ. Сократъ сталъ солнцемъ и кумиромъ Аѣниянъ.

Но «премудрѣйшій» не признается въ своей премудрости. Онъ ничего не знаетъ самъ собою: онъ орудіе неба, органъ тѣхъ небесныхъ вдохновеній, которыя должны быть сообщены людямъ для собственнаго ихъ блага. Онъ говоритъ объ этомъ съ величайшимъ смиреніемъ и почти съ дѣтскою простотою. Одни только боги премудры. Отъ нихъ истекаетъ вся премудрость. Самъ Сократъ только и знаетъ, что ничего не знаетъ. А если ему случится сказать или сдѣлать что-нибудь умно, то это говорятъ ему *демонъ*, гений, духъ, съ которымъ состоитъ онъ въ постоянныхъ сношеніяхъ. Спрашиваю: *философъ* ли это? такъ ли, при изслѣдованіи отвлеченной истины, дѣйствуетъ *философія*?.... и когда Платонъ избралъ такого чловѣка образцомъ мудреца въ своихъ сочиненіяхъ, имѣлъ ли онъ намѣреніе проповѣдывать умозрѣніе и непосредственное созерцаніе?

Сократовъ демонъ, которому прежде не вѣрили въ

Аѳинахъ, вдругъ вошелъ въ славу. Наступило время демономаніи. Демонъ «премудрѣйшаго» дѣлаетъ чудеса: онъ предсказываетъ будущее; его пророчества записываются, и число ихъ умножается до того, что Антипатеръ наполняетъ ими цѣлую книгу, которая, къ сожалѣнію, погибла. Но вскорѣ, отъ Сократова демона некуда стало дѣваться: онъ забирается въ головы софистовъ, въ развращенныя сердца сильныхъ гражданъ; узнаетъ все, что тамъ происходитъ, и черезъ своего избранника раздражается градомъ тонкихъ и оскорбительныхъ намековъ. Всеобщее это духа сдѣлалось рѣшительно невыносимымъ.

Сквозь облако личныхъ неудовольствій начало снова пробиваться невѣріе въ Сократова демона. Зараза быстро распространилась между врагами «премудрѣйшаго». Возникъ вопросъ: быть этому демону, или не быть?

Но Сократъ сталъ сильно защищать своего демона. Его неприкосновенность ограждалъ онъ высокимъ значеніемъ этого духа въ сонмѣ олимпійскихъ боговъ: по крайней-мѣрѣ такъ поняли его современники. Тутъ ужъ нужно было подумать, какъ управиться съ такимъ важнымъ бѣсомъ. Многіе почти струсили.

Жертвы всезнающаго демона однакожъ спохватились. Имени его нѣтъ въ офиціальныхъ спискахъ олимпійскихъ боговъ. Между-тѣмъ Сократъ опирается на него какъ на столбоваго, природнаго бога: значить, онъ изъ простаго духа, изъ сомнительнаго своего демона, хочетъ сдѣлать настоящее и весьма опасное божество. Ктò изъ смертныхъ въ правѣ дополнять

списки боговъ, вводить новыя небесныя силы, нарушать порядокъ въ небѣ?... На Сократа доносъ. Мелитъ, Ликонъ и Анита обвиняють его въ томъ, что онъ вводитъ новыхъ боговъ, именно, своего мнимаго демона, искажаетъ вѣру и развращаетъ юношество.

Доносъ могъ быть поданъ личною враждою. Но если разобрать дѣло безъ предубѣжденія въ пользу «премудрѣйшаго», то нельзя не согласиться по совѣсти, что Аѣиняне справедливо осудили Сократа. Нѣтъ уголовной палаты въ мірѣ, въ которой бы онъ и въ наше время не проигралъ своей тяжбы. Въ добрый часъ, Испанцы и теперь еще сожгли бы его какъ весьма опаснаго еретика.

Таковъ былъ человѣкъ, котораго Платонъ избралъ типомъ настоящаго философа. Чтò въ немъ философическаго? Можно ли признать его философомъ, въ нынѣшнемъ значеніи этого слова? Конечно, нѣтъ! Сократъ, у Платона, въ «Эвтидемѣ» и въ другихъ мѣстахъ, явно и остро отвергаетъ возможность учиться и учить *мудрости*: по нынѣшней терминологіи, это значить, что онъ отрицаетъ непосредственное созерцаніе, умозрѣніе, философію. Онъ безпрестанно насмѣхается надъ всезнаніемъ философовъ: но, допустивъ возможность рѣшать истину à priori, посредствомъ умозрѣнія, безъ чего нѣтъ философіи въ нынѣшнемъ значеніи слова, нельзя не допустить возможности философскаго всезнанія. На этомъ основаніи, шеллингисты, гегелисты, оккенисты, все постигли, все постигли, все разгадали, все знаютъ въ наше время. Сократъ, вездѣ опровергая умозрѣнія другихъ фило-

софвъ, выше всего ставить въ «мудрости» нравственное начало, безпрестанно говорить о добромъ и прекрасномъ, полагаетъ что «мудрость» дается сама собою, говорить въ «Апологіи», что онъ навязывался съ своими бесѣдами всякому, малому и великому, бѣдному и богатому, и бесѣдовалъ невольно, вдохновенно. Всю мудрость свою относитъ онъ къ небесной силѣ, которая въ немъ дѣйствуетъ. И, въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ основателемъ *нравственной философіи*, которую и старался утвердить на развалинахъ всезнающей умозрительной «мудрости». Не смѣшно ли, послѣ этого, начинать *второй періодъ греческой философіи* отъ Сократа, какъ то дѣлаютъ во всѣхъ нашихъ исторіяхъ «философіи», понимая подъ этимъ словомъ совсѣмъ другой родъ и образъ созерцательныхъ изслѣдованій?

Мы забрали себѣ въ голову, что Платонъ былъ точно такой же философъ какъ наши умозрительные философы, и никакъ не хотимъ отказаться отъ этого понятія. Одно затрудненіе — что въ сочиненіяхъ Платона не видно и нѣтъ его философіи!.... Такъ гдѣ же она?... На это придумали разныя объясненія: одни говорятъ, будто сочиненія его содержатъ въ себѣ одну только *внѣшнюю философію*, наружное ученіе школы, а истинная, *внутренняя философія* Платона, запятанная въ словесное преподаваніе, осталась въ *неписанныхъ догматахъ*, о которыхъ упоминаетъ Аристотель; другіе напротивъ утверждаютъ, будто она вся тутъ, въ его сочиненіяхъ, и что стоитъ только разгадать ее. «Существенное свойство Платоновыхъ раз-

говоровъ», говорить въ числѣ прочихъ и господинъ Карповъ, «состоить въ томъ, что въ нихъ почти никогда не выводятся и не высказываются послѣдніе «результаты изслѣдованія; что они въ *философскомъ* «отношеніи не имѣютъ ни опредѣленнаго начала ни «опредѣленнаго конца. Платонъ вводитъ Сократа въ бесѣду съ любителями философіи и истины. Какое-нибудь мадоважное обстоятельство въ жизни домашней «или общественной подаетъ поводъ къ разговору, и «разговоръ мало-но-малу принимаетъ направленіе философское. Сократъ прикрывается завѣсою совершеннаго невѣдѣнія того дѣла, о которомъ идетъ рѣчь: другіе напротивъ излагаютъ свои мнѣнія почти «всегда съ самоувѣренностью и педантскимъ тщеславіемъ. Сократъ сомнѣвается, и, предлагая вопросъ «за вопросомъ, кажется, не имѣетъ въ нихъ никакой другой цѣли, кромѣ желанія узнать истину. Но, «въ самомъ дѣлѣ, онъ ведетъ ихъ къ результату, котораго они не предусматриваютъ. Наконецъ, изъ «ихъ отвѣтовъ и изъ прежняго согласія ихъ на возраженія Сократа, вытекаетъ заключеніе, обнаруживающее ихъ заблужденія». Нельзя лучше и вѣрнѣе изобразить настоящаго характера Платоновой «мудрости», какъ изобразилъ его г. Карповъ въ этихъ строкахъ. Но здѣсь и нужно было остановиться. То, что онъ прибавляетъ, можетъ подлежать величайшему сомнѣнію. «Такимъ образомъ «истина», прибавляетъ онъ, «освобождается отъ всѣхъ чуждыхъ ей покрововъ, выходитъ изъ предѣловъ и «формъ всѣхъ школъ, становится какъ-бы суще-

«ствомъ. безплотнымъ и, мгновенно, какъ существо
 «безплотное, исчезаетъ. Сократъ разоблачилъ ее, при-
 «близилъ къ ней умы собесѣдниковъ, далъ имъ по-
 «чувствовать ея красоту, величіе и совершенство, но
 «не показавъ лицомъ къ лицу, не назвавъ по имени,
 «не выразилъ словомъ, и она осталась только пред-
 «метомъ внутренняго глубокаго ощущенія, тайною
 «бесѣдовавшихъ дуиъ». Этого мы нисколько не ви-
 димъ. Разумѣется, что, послѣ всякаго чтенія, каждый
 готовъ дѣлать свои выводы: но Платонъ, или его
 типъ совершеннаго философа, Сократъ, ни мало не
 принуждаютъ своего читателя къ этому; они, напро-
 тивъ, стараются не подавать ему никакого повода къ
 выводамъ и заключеніямъ; вся ихъ явственная цѣль—
 опровергнуть и осмѣять умозрѣнія другихъ философ-
 скихъ школъ и, особенно, силу всезнанія, приписы-
 ваемую умозрѣнію: и рѣшительно нѣтъ никакой при-
 чины предполагать другую, сокровенную пѣль въ ихъ
 аргументаціи. Вовсе не видно того, чтобы Сократъ
 или Платонъ *приближали* читателя къ истинѣ, что-
 бы они заставляли истину мелькнуть передъ вами въ
 образѣ существа безплотнаго и *мгновенно исчезнуть*.
 Если дѣйствительно имѣли они это намѣреніе, то,
 должно признаться, успѣли свѣще чаянія въ своей
 странной затѣѣ: истина мелькаетъ ужъ такъ быстро и
исчезаетъ такъ *мгновенно*, что никакой глазъ не мо-
 жетъ видѣть ея. Одно только непреложное желаніе
 произвестъ Платона въ страшные умозрители по обра-
 зу и подобію нѣмецкому — въ силахъ примѣтить это
 чудное появленіе безплотной истины. Зачѣмъ не при-

нимать вещей просто, безъ затѣй, какъ онѣ есть? Зачѣмъ не сознаться, что въ сочиненіяхъ Платона все нѣтъ той философіи, которой мы ищемъ у величайшаго изъ древнихъ мыслителей, потому только, что она намъ нравится и намъ хотѣлось бы найти ее у него? Зачѣмъ не сказать, что этой философіи и быть не можетъ у человѣка, который типомъ философа избралъ Сократа, мудреца религіознаго, прибѣгающаго во всемъ къ откровеніямъ силъ небесныхъ, сомнѣвающагося въ возможности достигнуть истины посредствомъ одного чистаго созерцапія, и знающаго только то, что *мы ничего не знаемъ*? Намъ кажется, что г. Карповъ самъ, собственною рукою, уничтожилъ свое предположеніе, заключивъ его слѣдующимъ замѣчаніемъ: «Если же иногда нужно дать объ ней (объ истинѣ) какое-нибудь опредѣлительное понятіе, то Сократъ собираетъ отдѣльныя черты ея, какъ разсѣяныя обломки *разбитаго зеркала*: изъ тѣхъ мнѣній, которыя уже имъ опровергнуты, и *торжественно* *«сознается, что онъ никакъ не можетъ соединить ихъ въ одно цѣлое.»* Замѣчаніе совершенно справедливое: но возможно ли такимъ образомъ *приблизить* кого-нибудь къ философской истинѣ и *освободить ее отъ всѣхъ покрововъ*? не значить ли это отрицать всю умозрительную философію?.... Спора нѣтъ, что любителямъ философскаго мечтанія очень непріятно думать, что такой умный и геніальный человѣкъ, каковъ Платонъ, отвергаетъ чудесную силу умозрѣнія угадывать всѣ сокровенныя истины; но истины важнѣе всего: *amicus Plato, sed magis amica veritas!*.... Въ

сочиненіяхъ Платона нѣтъ его собственной философіи! Въ нихъ нѣтъ никакой «философіи», въ нынѣшнемъ значеніи этого слова: они состоятъ исключительно изъ весьма остроумныхъ и популярно изложенныхъ опроверженій прежнихъ и современныхъ философскихъ ученій, а что въ нихъ дѣйствительно есть, это — *иоика*, нравственная философія, которой Сократъ и Платонъ были основателями въ Греціи. Со времени ихъ нравственные вопросы и начали обращать на себя то вниманіе философовъ, какого они вполнѣ заслуживаютъ. Въ ней-то, въ нравственной философіи, и состоитъ тайна великой славы Платона въ древности и всѣхъ почестей, возданныхъ ему въ древности. Умозрѣніями, непосредственнымъ созерцаніемъ отдѣльныхъ идей ума, софистикою, онъ никогда не заслужилъ бы ни того ни другаго у Аѳинянъ, которые послѣ Сократа, крѣпко не стали жаловать умозрительныхъ философовъ. Что еще есть въ сочиненіяхъ Платона, это — чистая, драгоценная картина тогдашней «мудрости», настоящая Греція, съ своими философскими ученіями, съ своимъ ложнымъ умомъ, съ своимъ софистическимъ направленіемъ, замысловатыми взглядами на вещи и едва уловимыми тонкостями въ понятіяхъ и выраженіяхъ; и все это начертано языкомъ лучшаго общества, живымъ, бойкимъ, легкимъ, свѣжимъ, прозрачнымъ, въ высочайшей степени обдѣланнымъ, удивительно изящнымъ, и въ то же время вполнѣ драматическимъ. Смѣло, и безъ всякаго парадокса, можно назвать Платона первымъ драматическимъ писателемъ, не только древности, но и новѣйшихъ временъ

Никто съ такой прелестью и въ такомъ совершенствѣ не владѣлъ языкомъ и юморомъ образованной бесѣды: самые тяжелые, самые темные и отвлеченные вопросы становятся подъ перомъ его ясными, натуральными и улыбающимися какъ — добро пожаловать! Давно уже замѣчено, что одни только сочиненія, писанныя прекраснымъ слогомъ, переживаютъ своихъ авторовъ и увѣковѣчиваютъ славу ихъ на землѣ. Это замѣчаніе вполне относится къ Платону. Слогу своему обязанъ онъ тѣмъ, что люди съ восторгомъ читаютъ его донинѣ. Этимъ слогомъ онъ съ ума сводилъ древность, обворожалъ всѣ послѣдующія столѣтія, и теперь еще шевелить и чаруетъ даже самого хладнокровнаго читателя.

Знаменитый вопросъ о томъ, отъ себя ли говорить Платонъ устами Сократа, или только повторяетъ слова и мнѣнія своего учителя, мы смиренно осмѣлимся назвать пустѣйшимъ изъ всѣхъ вопросовъ, какими только люди затруднялись отъ вымысленія вопросительнаго знака. Отъ кого бы ни говорилъ онъ, для читателя здѣсь важно одно только то, что главное лицо его бесѣды — «мудрѣйшій изъ людей», который насчетъ философіи «знаетъ только то, что ничего не знаетъ»; что типомъ и представителемъ истиннаго философа является у него Сократъ, къ которому онъ, Ксенофонтъ и многіе отличнѣйшіе люди той эпохи, питали настоящій энтузіазмъ, — Сократъ, воплощенное возраженіе на всю методу изслѣдованія истины à priori, топоръ опроверженія всезнающихъ умозрѣній и угловой камень нравственной философіи. Чтò здѣсь

принадлежитъ Сократу, а что Платону, этого никто не разберетъ. Платонъ и Сократъ слились въ одной идеѣ, въ одномъ стремленіи, въ одной цѣли: они думаютъ вмѣстѣ, одною думою, одною мыслью и, въ «Бесѣдахъ» Платона, олицетворяютъ общее свое усиліе — ниспровергнуть всѣ прежнія философскія системы и на мѣстѣ ихъ воздвигнуть храмъ неикъ, какъ единственной полезной и возможной для человѣка философіи.

Платонъ родился за 429 лѣтъ до Рождества Христова, на островѣ Эгинѣ, въ годъ смерти Перикла, отъ знаменитой фамиліи, которая по Аристону вела родъ свой отъ Кодра, а по Периктиону отъ Солона. Образованіемъ его занимались отличнѣйшіе наставники того времени: грамматикъ учился онъ у Діонисія, гимнастикъ у Аристона Аргивянина, который, за прекрасное тѣлосложеніе, далъ своему ученику имя «Платона», вмѣсто прежняго имени «Аристоклъ». Учитель гимнастики не даромъ былъ въ восторгѣ отъ воспитанника: Платонъ съ честью занималъ на аренѣ почетное званіе публичнаго атлета на истмійскихъ и пифійскихъ играхъ. Аѳинянинъ Драконъ, ученикъ знаменитаго Дамона, и Агригентинецъ Метеллъ, обучали его музыкѣ. Какъ хорошій музыкантъ, Платонъ по-необходимости былъ и поэтъ: это шло вмѣстѣ у Грековъ. Онъ писалъ стихи: сочинилъ много одъ, нѣсколько трагедій, двѣ или три героическія поэмы. Но скоро стихотворный жаръ простылъ въ немъ: молодой Платонъ, пересмотрѣвъ свою поэзію, пожалѣлъ о времени, убитомъ на стихи, и съ досады принесъ свои

вдохновенія въ жертву Вулкану—сжегъ! Виѣсто этого онъ началъ учиться философіи у Гераклита. Отецъ представилъ его Сократу. Платону было тогда около двадцати лѣтъ отъ роду. Бесѣды Сократовы, возбуждая въ немъ удивленіе и восторгъ втеченіи десятилѣтняго знакомства и дружбы съ «премудрымъ», не отвлекли его отъ основательнаго изученія философскихъ системъ. Вѣроятно по совѣту самого Сократа, продолжалъ онъ во все это время слушать Гераклита, знакомился съ системами элейскихъ философовъ и пифагорейцевъ, и находился въ постоянныхъ связяхъ съ софистами.

Со смертію Сократа началось гоненіе на все философское. Платонъ удалился въ Мегары, и оттуда предпринялъ ученое путешествіе. По увѣренію Цицерона, онъ былъ въ Египтѣ; по словамъ Климента Александрійскаго, въ Вавилоніи, Ассиріи, Палестинѣ; по Олимпіодору, въ Финикіи. Въ Киренахъ, у Θεодора, Платонъ учился математикѣ; отсюда ѣздилъ онъ въ Карію, куда Делось прислалъ къ нему депутацію съ просьбою объяснить волю оракула; потомъ отправился въ Тарентъ, для свиданія съ пифагорцами, въ Великую Грецію и Сицилію, гдѣ едва не погибъ отъ руки Діонисія Старшаго: къ счастью, Аристоменъ и Діонъ выручили его. Впрочемъ тираннъ подговорилъ спартанскаго посланника, Полиса, взять этого философа на свой корабль и продать его на островъ Эгивъ, который въ то время велъ войну съ Аѳинянами. Платонъ дѣйствительно былъ проданъ; но Киринеянинъ Аннихересъ выкупилъ его за двадцать или за

тридцать минъ, и отпустилъ въ Аѣины. Философъ въ послѣдствіи отдалъ Аннихересу деньги, употребленныя на освобожденіе; но Аннихересъ купилъ на эту сумму дачу близъ академіи и подарилъ ее Платону.

Воротясь въ отечество, Платонъ открылъ каѣедру въ академіи, которая находилась въ сѣверномъ предметѣ Аѣинъ. На дверяхъ была начертана надпись: *«Незнающій геометріи не входи»*. Вскорѣ слава чтеній Платона пронеслась по всей Греціи. Аѣиняне толпились въ академіи. Иногородные Греки стекались со всѣхъ сторонъ слушать его изящное слово. Платонъ видѣлъ въ своей аудиторіи многихъ знаменитѣйшихъ людей своего времени. Всеобщій восторгъ почтилъ его титуломъ *божественнаго*. По его смерти, Аѣиняне воздвигли великолѣпный памятникъ воалѣ академіи, въ которой Платонъ былъ погребенъ, а Митридатъ заказалъ Силаніану статую и поставилъ ее въ томъ же зданіи.

Платонъ былъ одинъ изъ трудолюбивѣйшихъ ученыхъ древности: до послѣдней минуты онъ занимался въ аудиторіи, учился, писалъ, исправлялъ написанное. По его смерти, на восковыхъ дощечкахъ нашли еще его «Республику» со множествомъ перемарокъ и передѣлокъ. Для софистовъ, тогдашнихъ профессоровъ философіи, онъ весь свой вѣкъ былъ неумолимымъ бичомъ. Зато они и терзали его немилосердо. Эти люди, по обыкновенію всѣхъ завистливыхъ посредственностей, придирались къ каждому его слову, въ каждой фразѣ находили поводъ къ гнусному обвиненію. Они кричали, что у Платона ничего нѣтъ своего; что всѣ

его сочиненія набиты выписками чужихъ мыслей; что его «Бесѣды» — простая компиляція, что его «Тимей» — копія древней рукописи Тимея, что его «Республика» — не болѣе какъ передѣлка Протагоровыхъ антилогій, что юморъ его выкраденъ изъ комика Эпихарма, что онъ безсовѣстно присвоилъ себѣ идеи Пифагора и для этого купилъ три его книги; что онъ пускается въ туманныя тонкости, хочетъ засыпать глаза пылью многословія, двусмысленностей, вычурныхъ оборотовъ; что наконецъ онъ не знаетъ греческаго языка, и у него бездна солецизмовъ.

Въ слогъ Платона, при всей свѣтлости и прелести языка, въ самомъ дѣлѣ попадаютъ иногда темныя и напыщенныя мѣста, и г. Карповъ, который допускаетъ «абсолютную индивидуальность и отдѣльность философскаго языка» отъ языка человѣческаго, пользуется этимъ случаемъ, чтобы «субъективно» дать намъ почувствовать, что «высокія идеи философін, «жительницы міра духовнаго, бываютъ только минутными гостями земли: озаривъ душу философа свѣтомъ, постигаемымъ только въ глубинѣ ума, онѣ темнѣютъ при одномъ прикосновеніи къ нимъ *обыкновенныхъ формъ* человѣческой мысли, а еще темнѣе становятся, облекаясь въ *человѣческое слово*». Такой ереси противъ вкуса, противъ искусства, противъ ясности идей, мы никакъ не надѣялись услышать въ вѣкъ анализа и положительнаго знанія. Она еще тѣмъ невѣроятнѣе, что переводчикъ предпринялъ эту защиту темныхъ и вычурныхъ мѣстъ у Платона, не вникнувъ, въ какихъ именно случаяхъ Платонъ прибѣгаетъ къ

не-человѣческому слову. При бѣльшемъ вниманіи, и, главное, не ища *мигунныхъ тѣстей земли* тамъ, гдѣ ихъ никогда не бывало, онъ могъ бы примѣтить, что Платонъ, въ этихъ мѣстахъ, только потѣшается надъ выпренности тѣхъ людей, которые въ его время хотѣли блеснуть «абсолютностью»; что онъ безъ ножа рѣжетъ тогдашнихъ профессоровъ философій ихъ же собственными словами. При жизни Платона, этимъ «субъективнымъ» мыслителямъ, которыхъ онъ вездѣ попираетъ, не оставалось ничего болѣе какъ только говорить, что они не понимаютъ, объ чемъ онъ заводитъ рѣчь. Нельзя же было сказать: «Это насъ онъ дурачить! Это мы говоримъ такъ безсмысленно!» Между тѣмъ эти самыя мѣста, обвиняемыя или защищаемыя по случаю своей темноты, туманности, вычурности, эти-то мѣста и заставляли всѣхъ современниковъ Платона, разумѣется кромѣ тѣхъ, которыхъ онъ пародировалъ, помирать со смѣху, и придають новую прелесть его «Бесѣдамъ». Господинъ Карповъ полагаетъ, будто «Платонъ, съ своими новыми идеями, требовавшими *натурально* и новаго языка, не всегда удовлетворялъ ожиданія своихъ слушателей». Едва-ли можно согласиться съ этимъ. Мы знаемъ, напротивъ, что посѣтители чтеній Платона всегда были довольны его изложеніемъ, слушали его съ восторгомъ, восхищались ясностью и неподдѣльною веселостью его рѣчи. И то несомнѣнно, что, говори Платонъ такіе туманныя высокопарности отъ себя, отъ своего имени, они навѣрное разбѣжались бы всѣ до одинаго. И, не будь эти высокопарности пародіей въ его сочиненіи-

яхъ, никто не могъ бы прочитатъ двадцати страницъ безъ усыпленія. Этою-то неподражаемою пародіею Платонъ и чудесенъ въ своихъ «Бесѣдахъ», которыя перечитывали даже греческія красавицы. Защищать, и еще хвалить, темныя, непонятныя мѣста въ текстѣ знаменитаго Сократова ученика, значитъ обижать его какъ писателя. Съ той минуты какъ будетъ доказано, что это не пародія, а настоящій философскій языкъ Платона, ученикъ премудрѣйшаго изъ людей станетъ однимъ изъ смѣшныхъ софистовъ, которыхъ онъ всю жизнь преслѣдовалъ.

1842.

ДЕКАРТЪ И КАРТЕЗИАНИЗМЪ.

По поводу сочиненія: «Le Cartésianisme, ou La véritable rénovation des sciences, ouvrage couronné par l'Institut de France», par BORDAS-DEMOULIN. Paris, 1843. 2 vol.

Нельзя сказать, что вѣкъ нашъ скуденъ философическими теоріями и системами: многія ученія родились и умерли при нашихъ глазахъ; другія, послѣ столь недавней громкой славы, быстро клонятся къ паденію, и на мѣстѣ ихъ уже возникаютъ новыя. Сколько было великолѣпныхъ обѣщаній! Сколько теперь — разбитыхъ мечтъ! Не мудрено, что среди этихъ преждевременныхъ развалинъ самыхъ знаменитыхъ зданій философствующей мысли, умъ часто не вѣритъ собственному могуществу и, невольно увлекаясь къ прошедшему, съ грустнымъ любопытствомъ разсматриваетъ источники всѣхъ нашихъ умозрительныхъ сновидѣній.

Этому-то естественному чувству, возбужденному зрѣлищемъ непрерывныхъ неудачъ гордой новѣйшей мудрости, должно приписать неожиданный возвратъ современной учености къ Платону, Аристотелю, Декарту, Бекону, о которыхъ въ послѣднее время такъ много писали, и теперь еще пишутъ, въ Германіи, Франціи и Англіи. Когда новое явно ни куда не годится, надо поневолѣ приниматься за старое и въ немъ искать философическаго утѣшенія.

Мы воспользуемся задачею, предложенною Французскимъ Институтомъ, о сущности ученія Декарта, и сочиненіемъ, которое это ученое общество увѣнчало своей преміей—чтобы бросить взглядъ на систему, имѣвшую неоспоримое вліяніе на всѣ усилія мыслителей послѣднихъ двухъ сотъ лѣтъ. Предметъ, самъ по себѣ, очень занимателенъ. Кромѣ того, картезианизмъ—вопросъ, въ нашей отечественной литературѣ, почти вовсе не тронутый. Мы знаемъ объ ученіи Картезія, или Декарта, только по слухамъ, по мимолетнымъ намекамъ, такъ сказать, по преданіямъ нашихъ новѣйшихъ учителей. Когда мы вступили на поприще образованности, система Декарта уже лежала въ прахѣ. Петръ Великій и Ньютонъ явились въ одно время.

Но прежде всего съ горестью должно замѣтить, что академія иногда раздаютъ вѣнцы престраннымъ сочиненіямъ! Что это за чепуха, которую Французскій Институтъ удостоилъ своего торжественнаго одобренія? Трудно представить себѣ философическую книгу, написанную хуже, относительно слога и логики, хвастливѣе, одностороннѣе, съ болѣе ограниченными

понятіями и въ болѣе завистливомъ духѣ. Ничтожная посредственность силится уничтожить удивленіе, должное величайшему генію новѣйшихъ временъ! Моссьё Бордà-Демулєнъ, подѣ предлогомъ разсужденія о картезіанизмѣ, сплошь хлопочетъ объ одномъ только, а именно, чтобъ доказать, что Ньютонъ былъ человѣкъ съ *самымъ обыкновеннымъ умомъ*; что *всякій, знающій немного математики, могъ бы сдѣлать то же самое*, что сдѣлалъ онъ, и *еще лучше*; что одни лишь Французы и, отчасти еще, Нѣмцы — люди геніальные, а Англичане просто — народъ безмозглый, который только *шатается взадъ и впередъ* и всего *ищетъ ощупью*. Если это — философія, такъ она достойна совершенно исключительнаго названія «*французской философіи*», и нигдѣ за предѣлами тѣсныхъ понятій слѣпаго мѣстнаго патріотизма, не покажется ни глубокою ни убѣдительною. Прискорбно видѣть такое просвѣщенное сословіе какъ Французскій Институтъ, участвующимъ своими одобреніями въ подобныхъ низостяхъ завистливаго и безразсуднаго національнаго тщеславія. Разумѣется, что по системѣ, награжденной полною преміей въ Парижѣ, Беконъ долженъ быть такой же осель какъ Ньютонъ: Европа — въ страшномъ заблужденіи, считая этихъ двухъ коварныхъ Англичанъ виновниками обновленія всего духа, всего направленія наукъ: *настоящее обновленіе, la vraie rénovation des sciences, принадлежитъ Франціи и Декарту*, который, не забудьте, бѣгалъ Франціи и всю жизнь свою провелъ въ Голландіи и Швеціи. Моссьё Бордà-Демулєнъ въ цѣломъ мірѣ видитъ однихъ толь-

ко учениковъ и послѣдователей Француза Декарта. Ньютонъ, который цѣлую вторую книгу своихъ «Principia» написалъ противъ Декарта, этотъ безталанный Ньютонъ, этотъ пустой *счетчикъ*—первый *картезианецъ* изъ всѣхъ! Локкъ, Спиноза, Гоббсъ, Лейбницъ, всѣ, кто только опровергалъ Декарта или кто училъ совершенно противоположному, все это—чистые *картезианцы*. Причина? — Да, причина — та, что безъ Декарта ихъ бы и не существовало. Зачѣмъ же такъ? Да такъ! не явись прежде тотъ, кто бы сказалъ *да*, никто не станеть отвѣчать ему *нѣтъ*. Резонъ! Вотъ, что называется, разсуждать философически! Покойникъ Деламбръ доказывалъ, что картезианизмъ, не только не принесъ пользы новѣйшей наукѣ, но еще былъ долгое время вреденъ ея успѣхамъ: Деламбръ, по увѣренію москѣ Бордà-Демулèна, былъ дуракъ, даромъ-что членъ Французскаго Института, который присуждаетъ преміи книгамъ. Моеѣ Біо, членъ того же института, вовсе не покойникъ, согласенъ съ Деламбромъ и безпредѣльно удивляется генію Ньютона: москѣ Біо ничего не смыслить! Графъ де-Понтекуланъ который въ Ньютонѣ видитъ только простаго, бездарнаго (какъ самъ онъ) *счетчика*, кое-какъ *примѣнившіаго вычисленіе къ чужимъ идеямъ*, вотъ — умный человѣкъ!... «*Погоди Ньютонъ!* (слозь французскаго увѣнчаннаго философа)... погоди! конецъ твоей славѣ! уже *начинается для тебя страшный судъ строаго и безпристрастнаго потомства!* Москѣ Біо и всякій кто тебя возводитъ *въ геніи*, достойны лишь сожалѣнія....» И почтенный Біо, надѣвъ вышитый шелкомъ мундиръ, долженъ по

волѣ мудраго большинства голосовъ смиренно засѣдать въ торжественномъ собраніи Института и слушать оффиціальную похвалу книгѣ, написанной такимъ шутовскимъ слогомъ, утверждать передъ публикою личнымъ присутствіемъ своимъ награду сочиненію, выходящему изъ всѣхъ предѣловъ здраваго смысла и ученыхъ приличій. О! *quam pauca sapientia regitur mundus!* «О! какъ мало нужно мудрости книгѣ, чтобы получить премію!» Восклицаніе Цицерона. Но—полно о твореніи, *couronné par l'Institut*. Займемся предметомъ.

Послѣ того какъ Западъ, покоренный варварствомъ полудикихъ народовъ, которые вмѣстѣ съ Римскою Имперіей уничтожили всю образованность, снова началъ учиться грамотѣ и заводить училища, семь вѣковъ были заняты одною схоластикой. Аристотель правилъ самовластно разумомъ и понятіями человѣка, который не смѣлъ подумать о возможности творить мыслию что-нибудь новое и самостоятельное. Уже на осьмое столѣтіе, явились Телезій, Бруно и Кампанелла: они, первые, обнаружили дерзкое для тѣхъ временъ намѣреніе — создать нѣчто свое, новѣйшее, въ философіи. Первая настоящая этого рода попытка принадлежить, конечно, Телезію, потому-что кабалистическія разысканія Кузы, Рейхлина и другихъ, почти не заслуживаютъ вниманія. Телезій училъ о Богѣ, о душѣ, о созданіи міра, подкрѣпляя аксіомы свои новыми взглядами и оригинальными разсужденіями. Онъ, вообще, больше обращался къ природѣ физической и объяснялъ все теплотою и холодомъ.

какъ Парменидъ. Теплота у него — начало движенія, дробимости и легкости; холодъ — начало неподвижности, плотности и тяжести. Эти двѣ силы признавалъ онъ безтѣлесными, *incorporea*. Но для существованія своего онѣ требуютъ тѣлеснаго вещества, или матеріи, которая бездѣйственна, безвидна, темна. Матерія, по количеству, не умножается и не уменьшается въ мірозданіи: она только разлагается отъ теплоты и сжимается отъ холода. Расплавленная огнемъ, она образуетъ солнце, звѣзды и всѣ небесныя свѣтила; обаятая холодомъ, становится землею. Вотъ отчего земля находится въ покоѣ, а звѣзды движутся. Отъ теплоты, скопившейся въ небѣ, отъ холода, сосредоточившагося въ землѣ, и отъ непрерывной ихъ борьбы, происходятъ всѣ явленія. Въ первыхъ четырехъ книгахъ своего сочиненія, Телезій старается $\frac{3}{4}$ объяснить явленія мертваго вещества; въ пяти послѣднихъ феномены жизни растений и животныхъ. Онъ разсматриваетъ только составъ существъ физическихъ, а не происхожденіе ихъ: говоритъ, что Богъ создалъ ихъ такими, какъ мы ихъ видимъ, и потому невозможно понять законовъ, по которымъ они возникли. Часто онъ нападаетъ на Аристотеля, изъ котораго приводитъ довольно длинныя выписки.

Бруно, соединивъ идеаль всеобщей и всевѣчной силы, безусловную единицу Парменидову и другихъ элейскихъ метафизиковъ съ безконечнымъ пространствомъ и атомами элейскихъ физиковъ, составилъ двуличный пантеизмъ, въ которомъ страннымъ образомъ смѣшиваются самыя противоположныя начала. Вотъ главные начала, на которыхъ онъ основывается: ...

«Сущность Божеская безконечна.

«Изъ образа бытія пристокаетъ образъ могущества.

«Изъ образа могущества пристокаетъ образъ дѣйствія.

«Богъ есть сущность весьма простая, въ которой не можетъ быть никакой сложности, ничего различнаго (единица).

«Слѣдовательно, въ немъ бытіе есть то же что сущность; могущество то же что сила, дѣйствованіе то же что дѣйствіе, желаніе то не что воля, и такъ далѣе. Онъ-то и есть *истина*.

«Слѣдовательно, воли Божія выше всего и не можетъ быть уничтожена ничѣмъ, ни даже самою собой.

«Слѣдовательно, воля Божія не только необходима: она сама — необходимость; противоположное не только невозможно: оно само — невозможность.

«Необходимость и свобода воли — одно и то же. Не должно думать, что Богъ, дѣйствуя по-необходимости, въ силѣ своей сущности дѣйствуетъ не свободно: онъ тогда дѣйствовалъ бы несвободно, когда бы дѣйствовалъ иначе нежели какъ того требуютъ Его сущность и необходимость или, лучше сказать, необходимость Его сущности.

«Безконечное могущество не существуетъ безъ безконечной возможности, то есть, если бы не было безконечной способности производиться, не было бы и безконечнаго могущества, способнаго производить. И въ самомъ дѣлѣ, есть ли такая сила, которая бы сдѣлала или пыталась сдѣлать невозможное?

«Міръ занимаетъ все пространство. Онъ могъ бы занимать другое такое же пространство, равное первому, если бы не находился тамъ, гдѣ находится.

«Въ предположеніи, будто другаго такого же пространства виѣ міра не существуетъ и будто два равныя пространства должны быть конечны, нѣтъ никакого основанія. Міръ, который бы существовалъ въ томъ другомъ пространствѣ, и нашъ міръ, не мѣшали бы другъ другу, не имѣли бы нужды опасаться одинъ разрушенія отъ другаго, потому-что, въ безконечномъ, средоточіе находится вездѣ: верхъ и низъ происходятъ только отъ извѣстнаго расположенія вещей въ системѣ каждаго міра.»

Въ книгѣ «О Бытіи въ самомалѣйшихъ размѣрахъ», *De minima existentia*, Бруно толкуетъ объ атомахъ. Чистая пустота не удовлетворяетъ его: онъ превращаетъ ее въ матеріальное протяженіе. Тутъ онъ разбираетъ вопросы, на рѣшеніе которыхъ требовалось бы совершенное знаніе безконечнаго. Бруно болѣе поэтъ чѣмъ изслѣдователь въ нынѣшнемъ значеніи этого слова. Онъ не опирается ни на какія опытыныя наблюденія или доказанные законы природы. Единственная дѣльная вещь у него — защита системы Коперника. Она занимаетъ большую часть его сочиненія «О неизмѣримомъ и неизчислимомъ, или о всемірномъ и о мірахъ», гдѣ Бруно излагаетъ свое ученіе о множествѣ міровъ, заимствованное у пифагорейцевъ. Здѣсь замѣчательна одна идея: если звѣзды кажутся одиѣ больше, другія меньше, разица тутъ зависитъ просто отъ большаго или меньшаго разстоянія ихъ отъ нашего глаза. Извѣстно, что нынѣшняя астрономія принимаетъ это почти за фактъ.

Компанелла допускаетъ тѣ же начала вещей что и

Телезій, и въ сочиненіи «О смыслѣ вещей и магіи», *De sensu rerum et magia*, развиваетъ свой взглядъ на природу естественную и сверхъ-естественную. Въ двадцать-второй главѣ второй книги, онъ выводитъ всѣ понятія изъ впечатлѣній чувствъ.

Объ этихъ трехъ умозрителяхъ иногда говорятъ, что они были основателями новѣйшей философіи. Таково, конечно, было ихъ ~~наблюденіе~~ ^{наблюденіе}. Они отыскиваютъ причины вещей посредствомъ силъ физической природы, стараются мыслить сами, особенно Телезій и Кампанелла; но отсюда до основанія новой философіи, до переворота въ образѣ изслѣдованія, еще далеко. Если бы они своимъ краснорѣчіемъ ниспровергли схоластическій синтезисъ и, на мѣстѣ его водворили въ наукахъ анализъ, наблюденіе и опытный способъ изысканій, Бекону не осталось бы ничего дѣлать. Между-тѣмъ матеріалы къ такому перевороту были у нихъ готовы, подъ рукою. Стояло только примѣниться мыслью къ тому, что дѣлать вѣкъ, самъ собою, безъ руководства философовъ. Книгопечатаніе уже изобрѣтено. Колумбъ, проникнутый мыслью Оалеса и Пифагора о шарообразности Земли, убѣждается въ существованіи материка, вродивоположнаго нашему, открываетъ Новый Свѣтъ и опытомъ разрушаетъ одни, подтверждаетъ другія предположенія о фигурѣ нашей родины. Коперникъ заставляеть механическими доводами принять обращенія планетъ и земли около солнца, предугаданное Пифагоромъ и вѣроятно еще учителями его, Египтянами, и осмѣянное древними философами. Галилей открываетъ законъ

паденія тѣлъ или законъ ускорительнаго движенія. Онъ и Кеплеръ улучшаютъ телескопъ, о которомъ первая мысль представилась человѣку случайно. Съ этимъ орудіемъ, посредствомъ наблюденія, или вычислений, Галилей открываетъ спутниковъ Юпитера, Фабриціусъ пятна и вращеніе солнца, Кеплеръ форму орбитъ небесныхъ тѣлъ и законы ихъ распредѣленія въ солнечной системѣ. Онъ же почти создаетъ оптику; Віетò даетъ первый очеркъ общей теоріи уравненій; Серве открываетъ движеніе крови въ легкихъ; Гарви—общее кровообращеніе. Примѣтили ль все это Телезій, Бруно, Кампанелла, Рамусъ? А если примѣтили, какъ же они не воспользовались духомъ анализа, который уже производилъ эти чудесныя открытія, который объявлялъ свѣту эти великолѣпныя истины, неприступныя втеченіи цѣлыхъ тысячелѣтій умозрѣніямъ à priori и явственно разрушавшія всю надежду на пользу для науки отъ этого образа изысканія истины? Вслѣдъ за ними является Декартъ. Онъ не только философъ, но вмѣстѣ математикъ и опытный физикъ. Былъ ли онъ счастливѣе своихъ предшественниковъ? Сочиненіе увѣнчанное Французскимъ Институтомъ, безъ дальнихъ околичностей, объявляетъ его *настоящимъ обновителемъ наукъ*: по фразеологіи книги, это значитъ, что Декартъ былъ *настоящимъ* основателемъ нынѣшней методы дѣйствованія въ наукахъ, истиннымъ творцомъ главнаго ихъ закона въ наше время — доискиваться всего въ природѣ строгимъ опытомъ, точнымъ наблюденіемъ, сравненіемъ фактовъ, вѣсомъ и мѣрою, не спѣшить

общими и окончательными выводами, не предполагать ничего, остерегагься умозрѣній и ничего не рѣшать à priori. Таковъ нынче всеобщій уставъ наукъ, со времени Бекона. Въ какой степени это законоположеніе умственного совершенствованія человѣка противно духу и понятіямъ Декарта, можно видѣть изъ писемъ его, гдѣ онъ объявляетъ рѣшительное презрѣніе къ опытнымъ открытіямъ въ физикѣ и математикѣ, даже къ *своимъ собственнымъ*, говоритъ, что онѣ ему надоели, что онъ любитъ и высоко цѣнитъ одно только умозрѣніе, философствованіе à priori. Могъ ли, спрашивается, учитель, великій въ свое время, учитель, которому всѣ удивлялись и который говоритъ это, быть признанъ *настоящимъ обновителемъ наукъ*, то есть основателемъ школы враждебной всякому умозрѣнію и вѣрующей въ одинъ только опытный анализъ фактовъ? Могъ ли такой человѣкъ, своимъ авторитетомъ, увлечь весь ученый свѣтъ въ сторону, противоположную господствовавшему тогда направленію и быть творцомъ главнаго законоположенія новѣйшей науки? Несообразность такого предположенія слишкомъ явна. Истину здѣсь возстановить не трудно. Будучи самъ математикомъ и физикомъ, Декартъ гораздо болѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ сблизилъ умозрительную философію съ физическими и математическими истинами, извѣстными современному ученому свѣту, и, можно сказать, создалъ первую новѣйшую школу отвлеченной философіи, гдѣ умозрѣніе старается идти объ руку съ опытомъ и наблюденіемъ вѣка, съ фактами, уже доказанными анализомъ

и извѣстными положительной наукѣ. Такую же школу основатель-было въ началѣ нынѣшняго столѣтія Окенъ. Собравъ всѣ извѣстныя тогда открытія и такъ-называемыя *истины* опытныхъ наукъ и, въ противность ихъ уставу, поспѣшивъ примѣнять къ этимъ неполнымъ, недостаточнымъ даннымъ, умозрѣніе и общій выводъ, Окенъ и его послѣдователи нѣмецкіе *натурфилософы* хотѣли уже рѣшить окончательно сущность и происхожденіе вещей. Натурфилософія была чистое повтореніе попытки Декарта. *Обновила* ли она науки? Произвела ли въ нихъ какой-нибудь переворотъ? Ни малѣйшаго! Это — фактъ, въ которомъ теперь никто уже не сомнѣвается и въ самой Германіи; что знаменитая натурфилософія, не только не принесла никакой пользы общей наукѣ, но даже была чрезвычайно вредна ей тѣмъ, что увлекла многія нетерпѣливыя головы къ страннымъ мечтаніямъ и долгое время останавливала и развращала опытное изслѣдованіе, и какъ между Декартомъ и Океномъ, тоже весьма хорошимъ опытнымъ ученымъ, много точекъ схода въ способѣ отыскивать абсолютную физическую истину, то мнѣніе Деламбра о философѣ семнадцатаго столѣтія какъ-нельзя болѣе справедливо. Нужны ли положительные доказательства вреда картезианизма успѣхамъ опытнаго знанія? Вотъ вамъ Хейгенсъ и Лейбницъ! Не смуги ихъ понятій нѣкоторыя идеи Декарта, они угадали бы то же самое, что угадалъ Ньютонъ, потому-что всѣ матеріалы для этого были уже готовы въ ихъ время. Хейгенсъ признается самъ, что теоріи Декарта помѣшали ему сна-

чала оцѣнить всю силу доказательствъ Ньютона, а Лейбницъ долго притворялся, будто ихъ и не знаетъ. Чтò жъ сказать объ умахъ менѣе свѣтлыхъ, менѣе могущественныхъ того времени! Еще лучше можно уподобить Декарта двумъ главнымъ умозрителямъ нашего вѣка, Шеллингу и Гегелю: они также старались сообразовать свои отвлеченныя мечтанія съ положительными познаніями современности, съ фактами, принятыми въ опытной наукѣ, и хотѣли, не противорѣча имъ, даже пользуясь ими, рѣшить *à priori*, умозрѣніемъ, не только абсолютную физическую, но и абсолютную духовную истину, подобно Декарту, а между-тѣмъ, по его примѣру, оказывали презрѣнія къ опытному знанію и оракуломъ всего провозглашали наведеніе созерцаемаго ума, *вошедшаго* въ самого себя, углубившагося въ свою сущность и изъ нея *выходящаго* потомъ для сужденія о внутреннемъ и о внѣшнемъ мірѣ. Какъ полезны были шеллингизмъ и гегелизмъ успѣхамъ наукъ, всякому извѣстно. Съ трудомъ спаслись науки отъ мракотворнаго вліянія этихъ двухъ мнимыхъ просвѣтителей и руководителей опыта.

Разница между Декартомъ, Шеллингомъ и Гегелемъ, которые во многихъ отношеніяхъ могутъ даже быть названы картезіанцами, состоитъ болѣе въ различіи духа времени и терминологіи чѣмъ въ сущности дѣла. Декартъ рассуждалъ о Богѣ, о духѣ, о бытіи, объ истинѣ, о матеріи, о пустотѣ, о связи тѣла съ душою, о первобытномъ грѣхѣ, о благодати, о любви къ Божеству, объ Откровеніи, о свободѣ воли, о существѣ, о безконечномъ и конечномъ, о мірозданіи, о

началѣ и устройствѣ вещественнаго міра; о малѣйшихъ частяхъ вещества, о движеніи, силѣ, жизни, свѣтѣ, теплотѣ, о методѣ изслѣдованія истины, и прочая. Какъ всѣ основатели умозрительныхъ школъ, онъ преимущественно старался возбудить сомнѣніе относительно къ прежнимъ философскимъ ученіямъ и къ тому, что до него почиталось за истины, предлагалъ войти въ себя, углубиться въ свою сущность, и изъ нея уже выйти и разсуждать. Такимъ образомъ, въ самомъ себѣ, онъ прежде всего открывалъ съ большимъ искусствомъ и краснорѣчіемъ, во-первыхъ, идею объ условномъ совершенствѣ, о себѣ, во-вторыхъ, о совершенствѣ безусловномъ, о Богѣ. Послѣ-того, имѣя уже эти двѣ данныя точки, Декартъ старается разсматривать съ нихъ все существующее, глядѣть на вещи съ точки человѣческой и съ точки Божіей. Эта называетъ онъ — *выходить изъ себя и выходить изъ Бога*, и тутъ, разумѣется, запутывается въ страшныя противорѣчія, какъ это случается со всѣми умозрителями, дотога что попеременно является, то оптимистомъ, то фаталистомъ, то матеріалистомъ, то спиритуалистомъ и пантеистомъ. Изъ старанія опровергнуть разные эти способы воззрѣнія на духовное и вещественное бытіе родились въ послѣдствіи разныя извѣстныя философскія ученія семнадцатаго и восемнадцатаго вѣка, какъ въ наше время изъ противорѣчій ученіямъ Канта и Фихте возникли системы Шеллинга, Гегеля и другихъ.

Самою полезною частью философіи Декарта, въ то время, когда еще свирѣпствовала схоластика, или аристотелевская метода философствованія, была, безспор-

но, важность, приписываемая Декартомъ сомнѣнію. Воцареніе этого начала потрясало однимъ ударомъ все принятое и, естественно, вело къ чему-то новому, хоть и не къ *обновленію наукъ*, потому-что мало того было — уничтожить славу Аристотеля какъ авторитета; надлежало еще водворить исключительно опытъ на мѣстѣ умозрѣнія, чтобы имѣть право на званіе настоящаго законодателя новѣйшей науки. Но и сомнѣваться умно и краснорѣчиво въ то время, когда никто не сомнѣвался, по-крайней-мѣрѣ явно и съ истиннымъ талантомъ, *войти въ себя* для повѣрки того, чему учили послѣдователи идола съ полною увѣренностью въ непогрѣшимости его и своей собственной, было уже большою заслугою. «Кончивъ полный курсъ мудрости въ училищахъ, говоритъ Декартъ, я съ уныніемъ замѣтилъ, что не приобрѣлъ никакого яснаго и твердаго знанія, полезнаго въ жизни. Я утомленъ вздоромъ; меня тревожитъ неизвѣстность. Я рѣшился искать науки въ самомъ себѣ или, лучше, въ великой книгѣ міра, и пустился странствовать къ разнымъ народамъ. Находя въ ихъ нравахъ то же различіе какъ и въ мнѣніяхъ авторовъ, и въ тѣхъ и другихъ вещи такія же нелѣпыя и такія же смѣшныя, я не извлекъ изъ своихъ путешествій, такъ же какъ изъ ученія и изъ чтенія, ничего кромѣ болѣе яснаго убѣжденія въ своемъ невѣжествѣ. Я обратился къ самому себѣ. Какъ часто чувства обманываютъ насъ! Чтобы не поддаваться этимъ обманамъ, я предполагаю, что нѣтъ ни одной вещи, которая бы была такова, какою представляется нашимъ чувствамъ. Кто не ошибался,

разсуждая даже о самых простых предметах геометріи? Я отвергаю какъ ложныя всѣ основанія, которыя прежде принималъ за доказательныя. Мысли, которыя мы имѣемъ на-яву, могутъ придти также и во-снѣ; я предполагаю, что всѣ мысли, когда-либо приходившія мнѣ въ голову, столько же истинны какъ и самыя мои мечты. Я всюду убѣгаю отъ самого себя. Поэтому, и самъ-то я не мечта ли? Но если я хочу думать такимъ образомъ, что все — ложно, мнимо, то надобно, чтобы я, думающій, былъ нѣчто. Я сомнѣваюсь, я думаю, мыслю, слѣдовательно, я существую. Вотъ истина, непоколебимая сомнѣіемъ, потому-что безъ нея и сомнѣіе не можетъ существовать: чтобы мыслить, нужно быть. Сомнѣіе есть несовершенство: положительное знаніе совершеннѣе сомнѣнія. Совершеннѣе! Отчего я думаю о вещи болѣе совершенной нежели я самъ и о самой совершенной, какая возможна? Этой мысли о болѣе совершенномъ не могъ я получить изъ ничтожества, не могъ получить также и изъ себя, потому-что происхожденіе болѣе совершеннаго отъ менѣе совершеннаго такъ же невозможно, какъ и происхожденіе чего-нибудь изъ ничего. Поэтому выходить, что я получилъ ее отъ причины, которая выше меня и заключаетъ въ себѣ всѣ совершенства, о какихъ я могу составить въ своемъ умѣ только ограниченное понятіе, судя по самому себѣ. Эту причину, верховно-совершенную, я называю Богомъ. Итакъ, отъ меня, то есть отъ наблюденія надъ собою, надъ мыслію моею, я восхожу къ Небу. Понятіе о Богѣ неразлучно съ понятіемъ о своемъ я.

Не могу же я имѣть понятія о себѣ какъ о существѣ мыслящемъ, у котораго болѣе или менѣе недостатковъ, не имѣя понятія о такомъ мыслящемъ существѣ, которое бы владѣло тѣмъ, чего у меня нѣтъ, или у котораго бы не бы не было недостатковъ! Какъ эта причина не можетъ не быть тѣмъ, что она есть, и не можетъ не дѣлать того, что дѣлаетъ, потому что она — существовадно, *истина*; такъ и я, которому нельзя не быть ея произведеніемъ, не могу не быть тѣмъ, что я есть. Я вижу себя такъ же ясно и очевидно какъ вижу, что она есть. Поэтому достовѣрность существованія Бога необходимо связывается съ достовѣрностью собственнаго моего существованія. Что убѣждаетъ меня въ истинности этихъ двухъ имѣній — я мыслю, слѣдовательно существую; Богъ совершенъ, слѣдовательно онъ существуетъ? Ничто, кромѣ того, что я ясно и опредѣлительно вижу въ основаніи моей мысли: чтобъ мыслить, нужно существовать. Итакъ, понятіе о верховномъ совершенствѣ возможно потому только, что совершенное существо, единственное основаніе этого понятія, въ самомъ дѣлѣ существуетъ. Такимъ образомъ средство отличить истину отъ заблужденія заключается въ ясномъ и опредѣлительномъ разумѣніи, то есть въ очевидности дѣла для самого меня, для моего разума.

«Существованіе тѣлъ не столько вѣрно, не столько очевидно, сколько вѣрно и очевидно существованіе моей души, потому что существованіе мысли предполагаетъ существованіе моей души, которая мыслить, но не предполагаетъ еще существованія тѣлъ. Оно

опять и не такъ же вѣрно и очевидно какъ существованіе Бога, потому-что понятіе о безконечномъ, верховномъ, безусловномъ совершенствѣ, позволяющее намъ восходить къ Богу, заключено въ сущности нашей мысли и можетъ проистекать только изъ существа верховно и безусловно совершеннаго, тогда какъ чувства не составляютъ сущности нашей мысли и не ручаются въ дѣйствительности тѣлѣ. Между-тѣмъ какъ трудно убѣдиться, что ощущенія наши — просто заблужденія, то позволительно полагать, что тѣла существуютъ, хотя это и менѣе неоспоримо, нежели существованіе Бога и души.»

До Декарта, Платонъ и его древніе послѣдователи такимъ же образомъ отдѣляли чистый умъ отъ понятій, которыя онъ составляетъ себѣ о вещахъ и отъ всякаго приобрѣтеннаго знанія. Отъ понятія о безусловномъ благѣ, которое находятъ въ разумѣніи себя, они восходятъ къ самому безусловному благу, Богу; дѣйствительность бытія божественнаго, которое они созерцаютъ, даетъ имъ возможность лучше видѣть дѣйствительность собственнаго своего бытія, и вѣрность этихъ двухъ дѣйствительностей для нихъ гораздо важнѣе убѣжденія въ дѣйствительности существованія тѣлѣ. Но они не быются съ сомнѣніемъ до крайности, какъ Декартъ; не возбуждаютъ недоувѣрчивости дотого, чтобы отторгнуться отъ самихъ себя и потомъ взяться съ большею силою за то, что намъ — самое близкое и важное, не устраняютъ съ такимъ жаромъ всего, что можетъ заставить колебаться и отступить. Если они разсматриваютъ себя отдѣльно отъ тѣлѣ и отъ

Бога, затѣмъ, чтобы отличить дѣйствительность отъ недѣйствительности и истинныя отношенія наши къ Богу и къ тѣламъ, это дѣлають только случайно, а не систематически.

Декартъ никому не вѣрить на-слово, требуетъ, чтобы истина и убѣжденіе были слѣдствіемъ личнаго разбора и умственной очевидности. «Авторитеты! восклицаетъ онъ: можетъ ли убѣдить меня какой-либо человѣческій авторитетъ, когда я не знаю, существуютъ ли люди?» Это возраженіе—полный разрывъ со схоластикой. «Я вижу себя, продолжаетъ онъ: я чувствую, что существую. Но чтò же я такое? Сказать ли, что я разумное животное? Нѣтъ; потому-что прежде нужно было бы разсмотрѣть, чтò такое *животное* и чтò такое *разумное*. Изъ одного вопроса я нечувствительно перешелъ бы въ безчисленное множество другихъ, еще болѣе трудныхъ и запутанныхъ, которые опять ввергли бы меня въ догматическія положенія прежней науки, отъ которыхъ я стараюсь освободиться, которыхъ я хочу разыскать и повѣрить. Эти положенія — произведенія мысли, а Декартъ ищетъ постигнуть самую мысль, самого производителя. Онъ начинаетъ разбирать себя словно какъ алгебраическое уравненіе, и находитъ, что онъ не больше какъ мыслящій субъектъ, то есть такой, который сомнѣвается, понимаетъ, утверждаетъ, отрицаетъ, хочетъ и не хочетъ. Въ то же время онъ находитъ, что всѣ эти дѣйствія мысли въ немъ не полны, не *совершенны*: этого чувства оный не могъ бы онъ имѣть безъ присутствія въ мірѣ существа вполне *совершеннаго*. Повѣривъ строго

еще разъ въ себѣ самомъ это невольное чувство, это врожденное понятіе, оуъ отсюда восходитъ прямо къ созерцанію сущности Бога. Надобно видѣть въ его «*Meditationes*» эту сильную борьбу мысли съ самою собою. Она чрезвычайно увлекательна: новѣйшія философическія системы, при всей тонкости своихъ хитросплетеній, не представляютъ ничего подобнаго.

Декарта иногда называли новѣйшимъ Сократомъ. Онъ гораздо болѣе заслуживаетъ этого названія, чѣмъ того, которое Французы придаютъ ему теперь, величая *настоящимъ обновителемъ науки*, единственно изъ зависти къ Бекону и Ньютону. Можно даже прибавить, что съ Сократомъ-философомъ соединяется въ Декартѣ Платонъ-математикъ и Аристотель-естествоиспытатель. Это сходство философіи поразительно не только въ блестящихъ чертахъ, но даже и въ болѣе или менѣе невыгодныхъ подробностяхъ. Платоновъ Сократъ, или самъ Платонъ, и Декартъ, оба удивительно хорошо начинаютъ, но не оканчиваютъ. У того и удругаго невидно полной, опредѣленной философической системы, и оттого-то, давъ умозрѣніямъ сильный толчокъ, тотъ и другой подали поводъ въ послѣдующемъ времени къ противоположнымъ ученіямъ. Въ основныхъ началахъ метафизики у Декарта много обширныхъ видовъ, много лучей свѣта, но тутъ же встрѣчаются и поверхностныя разсужденія, и пропуски, и явныя ошибки, и непостижимыя противорѣчія. Ни въ теоріи идей, ни въ многочисленныхъ отсюда проистекающихъ вопросахъ у него нѣтъ ничего постоянного. Когда Декартъ, открывъ въ душѣ по-

нятіє о верховномъ совершенствѣ, видитъ въ чловѣкѣ отпечатокъ Бога, неистребимый слѣдъ дѣлателя на самомъ произведеніи; когда отъ основныхъ понятій о своемъ духѣ возвышается къ созерцанію духа божественнаго и покланяется несравненной красотѣ этого необъятнаго свѣта; когда онъ мыслить и говорить какъ Платонъ, можно подумать, что онъ твердо и вполне убѣжденъ въ истинѣ своей теоріи. Но онъ вовсе не убѣжденъ или по-крайней-мѣрѣ вскорѣ такъ запутывается въ ея слѣдствіяхъ, что принужденъ утверждать противное, чтобы найти выходъ. Напримѣръ, совершенство Божества дѣлаетъ его сперва оптимистомъ; безусловно совершенное существо не можетъ ничего дѣлать иначе какъ только все къ лучшему. Но потомъ онъ спохватывается: если безусловно совершенное существо *должно* дѣлать все въ свѣтѣ къ лучшему, то у него нѣтъ свободной воли. Нѣтъ безусловное совершенство безъ полной свободы воли невозможно. И вотъ Декартъ, этими смѣшными тонкостями умозрѣній, принужденъ признать въ безусловномъ совершенномъ существѣ также и способность дѣлать зло. И вотъ онъ фаталистъ. Лейбницъ въ особенности устремилъ свою діалектику къ опроверженію этого заблужденія и явился главнымъ проповѣдникомъ теоріи конечныхъ причинъ. Такимъ же образомъ, у Декарта, одинъ разъ идеи являются самостоятельными и служатъ доказательствомъ бытію, душѣ, существованію верховнаго совершенства, въ другой разъ познавательная способность кажется ему недѣятельною, а воля только слабо дѣятельною; онъ видитъ въ при-

родѣ все существа и предметы страдательные, которые, не дѣйствуя сами собою, не имѣютъ въ себѣ ничего существеннаго: дѣйствуетъ только одна дѣятельность Божества: вотъ уже чистый пантеизмъ! То вещественная природа у него—предметъ геометріи и вся состоитъ изъ чиселъ и мѣръ; то число, мѣра и другія видимыя свойства тѣлъ не существуютъ внѣ нашего духа; то человѣкъ мыслить не иначе какъ черезъ Бога и достовѣрность нашихъ понятій зависитъ вся отъ воли разума Божіаго; то понятія наши суть слѣдствія однихъ только внѣшнихъ впечатлѣній и приходятъ къ намъ черезъ чувства, по ученію сенсуалистовъ. Ни по одному изъ этихъ умозрѣній Декартъ не доходитъ до конца, бросаетъ повсюду полу-идеи, полу-предположенія, и все оставляетъ въ темнотѣ. Немудрено, что такую философію и католики и протестанты подвергли въ одно время анафемѣ и въ Италіи и въ Голландіи. Немудрено также, что никто изъ послѣдующихъ умозрителей не былъ удовлетворенъ ею и что каждый старался замѣнить ее своей собственной системою, Боссюэ, Мальбраншъ, Арно и Режиъ, были, можно сказать, единственными продолжателями философіи Декарта, въ главныхъ чертахъ ея, съ разными измѣненіями и, эти-то четыре невинные *мыслителя* составляютъ неблестящую школу французскаго картезіанизма и почитаются во Франціи философами. Въ другихъ странахъ Лейбницъ, Спиноза, Гоббсъ и Локкъ, старались противопоставить картезіанизму свои собственныя системы. Мосё Борда-Демулёнъ однакожъ видитъ въ нихъ простыхъ карте-

зіанцовъ, и усердіе свое къ національной школѣ простираетъ до того, что Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и весь умозрительный германскій приходъ готовъ тащить въ уголовный судъ и править съ нихъ пеню за то, что нахватавшись мудрости у Декарта, обокравъ его, ограбивъ, очистивъ его до костей, скопировавъ съ его сочиненій все, чему только въ нихъ свѣтъ удивлялся, не хотятъ признаться, что они — картезіанцы и всѣмъ обязаны Франціи, хоть Декартъ въ ней и не жилъ. Едва-ли бредъ національной хвастливости доходилъ когда-либо до этой баснословной степени въ какой-нибудь книгѣ, даже во французской. Мы уже слышали, въ послѣднее время, что пароходы и желѣзныя дороги изобрѣтены Французами, но что новѣйшая нѣмецкая философія вымышлена ими, этого, безъ премій Французскаго Института, никогда бы мы не знали. Какъ-будто для славы Декарта, если только его философію можно назвать французскимъ произведеніемъ, недостаточно тѣхъ заслугъ, которыя онъ дѣйствительно оказалъ наукамъ и просвѣщенію! Въ семнадцатомъ вѣкѣ, конечно, не впервые предстояло человѣку познавать себя и Бога: отцы Церкви и древніе христіанскіе философы утвердили это изученіе на вѣрномъ и положительномъ основаніи, но въ послѣдствіи времени оно было развращено, запутано и искажено схоластикою. Надлежало создать новый способъ умозрительнаго разсужденія и изслѣдованія. Вотъ предметъ Декартовыхъ «Разсужденій о методѣ», «Размышленій», его «Началъ философіи». Схоластика пробавлялась отвлеченностями, почерпнутыми изъ идеализма

и изъ сенсуализма. Она разсматривала бытіе независимо отъ всего сущаго, истину и благо независимо отъ всякаго существа мыслящаго и хотящаго, даже отъ Бога, и такимъ образомъ разбирала, умножала, слагала и разлагала до безконечности одни и тѣ же понятія, одни и тѣ же слова. Изъ этого-то омута пустыхъ утонченностей исторгъ мысль Декартъ, и она свободно обратилась къ дѣлу логическимъ путемъ. Онъ исполнилъ это съ безпримѣрнымъ до-тѣхъ-поръ краснорѣчіемъ и съ невиданнымъ успѣхомъ. Мертвая уже болѣе тысячи лѣтъ, философія вдругъ воскресла. Несмотря на свои недостатки, красотою и глубоко-мысліемъ своихъ выводовъ она возбудила къ себѣ сначала живѣйшій энтузіазмъ, одушевила умозрительныхъ изслѣдователей новою жизнію, развила страсть къ ученію и сдѣлалась любимою наукою величайшихъ гениевъ и предметомъ уваженія для невѣждъ, тогда-какъ до того времени составляла только занятіе педантовъ и предметъ насмѣшекъ для публики. Вотъ гдѣ настоящая слава Декарта, который притомъ сдѣлалъ важныя приношенія математикѣ и другимъ опытнымъ наукамъ и за нихъ сохранить навсегда почетное мѣсто въ исторіи положительнаго знанія. Нельзя не сказать, что даже и его *визри*, знаменитое умозрѣніе о началѣ и устройствѣ вселенной, были весьма блистательною идеей для того вѣка, хотя, собственно, эта гипотеза, сохраняющая донинѣ забытое повсюду имя картезианизма, принесла много лишнихъ препятствій на путь открытій Коперника, Галилея и Кеплера, и навѣрное замедлила тридцатью или сорока годами раз-

вітіє истинной теоріи солнечной системы. О Декартовых вихряхъ мы должны поговорить нѣсколько подробнѣе.

Вотъ какимъ образомъ Декартъ объяснялъ, умозрительно, міротвореніе, начало различныхъ небесныхъ тѣлъ, ихъ шарообразность, сжатіе у полюсовъ, вращеніе на осяхъ, теченіе меньшихъ шаровъ около большаго по одному плану и прочія явленія планетныхъ системъ.

Безконечное пространство наполнено *тончайшимъ веществомъ*, *materia subtilis*, состоящимъ изъ круглыхъ атомовъ, болѣе или менѣе плотно сближенныхъ другъ къ другу, такъ-что между ними во всякомъ случаѣ существуютъ промежутки, позволяющіе имъ свободно двигаться на мѣстѣ. Это мы и теперь предполагаемъ, называя тончайшую матерію Декарта *эфиромъ*, какъ называли ее и древніе, у которыхъ *эфиръ* и *Юпитеръ* значилъ одно и то же, составлялъ физическую «душу міра», и почитался началомъ всего, разлитымъ повсюду, вездѣ присутствующимъ, отчего «отецъ боговъ и людей», въ религіозныхъ призваніяхъ язычниковъ, часто именовался *вездѣсущимъ эфиромъ*. Подобно Декарту, мы еще допускаемъ, что промежутки между атомами этой тончайшей матеріи, по тысячѣ различныхъ причинъ, могутъ быть не вездѣ одинаковы; другими словами, что густота этого основнаго вещества не вездѣ равна: въ нѣкоторыхъ частяхъ безконечнаго пространства оно плотнѣе и представляетъ болѣе сопротивленія, въ другихъ атомы его рѣже, дальше другъ отъ друга, какъ это случается

съ атомами во всѣхъ простыхъ тѣлахъ. Когда Богъ, въ премудрости своей рѣшилъ, чтобъ заключенная въ сущности Его идея міра осуществилась, Ему довольно было только захотѣть, чтобы одинъ изъ атомовъ тончайшей матеріи, образующей безконечное пространство, *двинулся впередъ прямолинейно*, и солнце, планеты, ихъ спутники, кометы, звѣзды, все создалось мгновенно по мановенію Его всемогущей воли. Двигаясь впередъ, этотъ атомъ встрѣтилъ сопротивленіе всей массы лежащихъ впереди атомовъ, которые должны были сбить его тотчасъ съ прямой линіи и принудить идти дугой. Какъ въ то же время онъ увлекалъ за собою атомы, лежавшіе позади его, и при уклоненіи отъ прямой линіи былъ косвенно, такъ сказать тангентно, давимъ атомами, то онъ естественно тутъ же и началъ вертѣться на своей оси, а продолжая идти впередъ дугою, наконецъ, отъ повсемѣстнаго сопротивленія массы передовыхъ атомовъ, пошелъ наконецъ кругообразно. Кругъ этого движенія былъ, разумѣется, чрезвычайно малъ, потому-что передовое сопротивленіе со всѣхъ сторонъ велико и сжимало движеніе атома въ весьма тѣсные предѣлы. Вотъ первое начало вращенія на оси и кругообразнаго хода: эти два движенія — механическое и неизбежное свойство матеріи, состоящей изъ атомовъ. Первый двинувшійся впередъ атомъ, естественно, напиралъ на прочіе, сжималъ ихъ, и они, падая на него, такъ сказать, прильнули къ нему. Онъ увлекъ ихъ съ собою въ круговое движеніе, увеличился ими, и продолжалъ увеличиваться такимъ же образомъ, пока изъ боль-

шаго количества атомовъ не составила большая шарообразная масса, которой плотность должна по-необходимости уменьшаться отъ центра къ поверхности. На поверхности она будетъ уже представлять видъ жидкости, а далѣе имѣть только воздухообразную плотность. Это — солнце, *первая стихія* Декартова. Вращеніе этой массы на оси и круговой ходъ ея въ очень маломъ діаметрѣ пространства, почти на-мѣстѣ, дѣйствуютъ такимъ же образомъ на атомы тончайшей матеріи, лежащіе подалыше, увлекаютъ ихъ въ круговое движеніе, и изъ этого возникаетъ наконецъ огромный водоворотъ или *вихрь* міровой матеріи, котораго сила уменьшается по мѣрѣ удаленія отъ центра вращенія, пока совершенно не истощится, такъ-что уже не въ-состояніи сдвинуть съ мѣста атомовъ, лежащихъ слишкомъ далеко. Предѣлъ этой силы, этого вихря — предѣлъ солнечной системы. Вихрь Декартовъ можно произвести нагляднымъ образомъ, быстро поворачивая въ тазѣ, наполненномъ водою, деревянный или металлическій шарикъ, погруженный въ ней до половины, такъ, чтобы ось вертящагося шарика стояла перпендикулярно къ водѣ, а экваторъ находился вровень съ ея поверхностью: треніе атомовъ поверхности шарика о ближайшіе атомы воды, и треніе этихъ ближайшихъ атомовъ о дальнѣйшіе, постепенно приведетъ всю воду въ сосудѣ въ круговое движеніе. На водѣ, текущей прямолинейно, въ воздухѣ, движимомъ прямолинейно легкимъ вѣтеркомъ, мы часто примѣчаемъ подобныя круговыя движенія вещества, образующіяся добровольно и извѣстныя подъ названіями водоворотовъ и вих-

рей: они также должны возникать первоначально изъ вращенія одного или нѣсколькихъ атомовъ воды или воздуха на-мѣстѣ. Понятно, что сила вселенскаго вихря, предполагаемаго Декартомъ, будетъ самая могущественная насупротивъ экватора центральнаго вертящагося шара: отсюда слѣдуетъ, во-первыхъ, что при первоначальномъ вращеніи этого шара между ближайшими атомами міровой матеріи, похищаемыми имъ изъ пространства, гораздо бѣльшая масса упадетъ на шаръ и нальнетъ скорѣе на него у экватора чѣмъ у полюсовъ, такъ что шаръ наконецъ будетъ толще въ этомъ мѣстѣ и явится какъ-бы сплюснутымъ у полюсовъ; во-вторыхъ, что всѣ прочія тѣла, шары или шарики, находящіеся въ вихрѣ, будутъ ходить, около центральнаго шара, болѣе или менѣе тоже насупротивъ его экватора, именно въ слоѣ или плацѣ, самой бѣльшей силы вихря. Это можно также объяснить примѣромъ шарика, вертящагося въ тазу съ водою такъ, чтобы экваторъ шарика находился съ ея поверхностью: расположивъ на водѣ нѣсколько легкихъ шариковъ изъ пробки въ разныхъ разстояніяхъ отъ центральнаго вертящагося шарика, когда вся жидкость придетъ въ круговое движеніе, пробки будутъ цоситься около него, по поверхности воды, то есть по плану его экватора, какъ планеты около солнца. Онѣ даже сохранятъ свои разстоянія, потому-что стѣнки таза, составляя твердый предѣлъ водоворота, или вихря, будутъ своимъ давленіемъ на вертящуюся воду противо-дѣйствовать центробѣжной силѣ вращенія. Противо-дѣйствіе заставитъ еще пробки иногда и повертываться на

своихъ осяхъ, разумѣется, медленно, неровно, сколько сопротивленіе воды позволить это такимъ мелкимъ тѣламъ. Можно возразить, что солнечная система не плаваетъ въ тазу, не имѣетъ твердой стѣны вокругъ своего вихря. Но Декартъ отвѣчалъ бы на это, что вокругъ нашей солнечной системы, есть другія солнечныя системы, другія солнца и другіе вихри, которыхъ центробѣжная сила давленіемъ своимъ на центробѣжную силу нашего солнечнаго вихря замѣняетъ для него дѣйствіе твердой обводной стѣны.

Такова основная идея Декарта, которую мы старались изложить какъ-можно яснѣе въ его же смыслѣ: у него она довольно запутана для нынѣшняго читателя, по невѣрности тогдашнихъ понятій о законахъ движенія и о дѣйствиіи различныхъ силъ, даже по самой неопредѣленности еще неустановленной механической терминологіи. Нѣтъ сомнѣнія, что въ наше время Декартъ совсѣмъ иначе излагалъ бы свою теорію, если бы захотѣлъ быть послѣдователемъ Ньютона, и тогда, она, при бѣльшей точности выраженій, при лучшемъ развитіи подробностей главной мысли, избѣгнула бы по-крайней-мѣрѣ половины важнѣйшихъ возраженій, которыя рѣшили ея упадокъ.

Послѣдствія этой остроумной мысли очевидны. Какъ тончайшая матерія, обхваченная солнечнымъ вихремъ, не вездѣ одинаковой плотности, то довольно, чтобы вихрь столкнулъ другъ съ другомъ два небольшія илотнѣйшія мѣста: они тотчасъ закружатся, сольются, образуютъ зародышъ новаго, болѣе или менѣе значительнаго шара, который, достаточно увеличившись,

составить около себя свой собственный вихрь — маленькій вихрь въ большомъ вихрѣ. Это — планета, *вторая стихія* Декартова. Такихъ маленькихъ шаровъ и маленькихъ вихрей, можетъ образоваться множество въ большомъ вихрѣ. Вихри и шары побольше, по-сильнѣе, увлекутъ въ свое круженіе тѣ, которые, при своей незначительности, будутъ къ нимъ поближе и обратятъ ихъ въ своихъ спутниковъ. Такимъ образомъ, въ вихряхъ втораго разряда, или планетныхъ, могутъ еще быть вихри третьей степени — спутничьи — *третья стихія*. Каждый шаръ будетъ, такъ сказать, плавать въ своемъ вихрѣ, то есть, въ томъ количествѣ тончайшей матеріи, какое онъ въ состояніи увлечь своимъ вращеніемъ. Всякая планета, одинокая, съ однимъ спутникомъ или со многими спутниками, обхватываетъ поэтому извѣстную массу міровой матеріи, составляющей пространство, съ нею образуетъ родъ отдѣльной системы, и за-одно съ нею дѣйствуетъ на другія подобныя. Предѣлъ массы планеты, собственно — предѣлъ ея вихря. Все теперь зависитъ отъ равновѣсія этихъ кружащихся массъ пространственного вещества, въ центрѣ которыхъ помѣщаются планеты со своими спутниками. Чѣмъ больше захватываетъ планета съ своими спутниками, тончайшей матеріи, или пространства, въ сферу своего дѣйствія, тѣмъ она легче и тѣмъ далѣе будетъ находится отъ солнца: она если можно такъ выразиться, *всплываетъ* болѣе или менѣе на поверхность солнечной системы, тогда-какъ планеты съ малымъ количествомъ пространственного вещества, будутъ тяже-

лѣе и приблизятся къ солнцу, какъ-бы *погрузятся* въ солнечную систему; онѣ, въ паденіи своемъ на солнце, остановятся именно тамъ, гдѣ количество тончайшей матеріи, окружающей центральный шаръ, будетъ равно суммѣ тяжести планеты и обнятаго ея вихремъ пространства. Такъ большой стеклянный шаръ, наполненный воздухомъ, и небольшой шарикъ, налитый спиртомъ, погруженный на дно сосуда съ водою, всплываютъ, одинъ на поверхность ея, а другой только на нѣкоторое разстояніе отъ дна. Съ этою планетною теоріей связано одно занимательное изобрѣтеніе Декарта, извѣстное еще и теперь подъ названіемъ *картезіанскихъ чертенковъ*, *diaboli cartesiani*: всѣ читатели, безъ-сомнѣнія, знаютъ эти черныя и пестрыя стеклянные фигурки, пустыя внутри, которыя плаваютъ въ водѣ, поднимаются на-верхъ и опускаются на дно, по-мѣрѣ-того, какъ въ нихъ входитъ сквозь дырочку въ головкѣ болѣе или менѣе воды отъ давленія на ея поверхность, то есть по мѣрѣ увеличенія или уменьшенія принадлежащей имъ матеріи и, слѣдственно, ихъ общей тяжести.

Вихрь планеты будетъ тѣмъ обширнѣе и вся сфера ея тѣмъ легче, и тѣмъ дальше отъ солнца, чѣмъ сильнѣе сама планета, одна, или взятая вмѣстѣ со своими спутниками, то есть, чѣмъ быстрѣе вертится она на оси и быстрѣе несется вокругъ центральнаго шара: впрочемъ, быстрота теченія будетъ здѣсь даже слѣдствіемъ самой легкости ея сферы и бѣльшаго удаленія отъ солнца. Этимъ объяснялъ Декартъ помѣщеніе самыхъ огромныхъ планетъ на краю солнеч-

ной системы, и толкованіе его хорошо согласовалось даже съ закономъ Кеплера о соразмѣрности между скоростью теченія планетъ и величиною ихъ орбитъ.

Кометы почиталъ онъ за планеты, бѣдшею частью столь огромныя и захватывающія такъ много пространственнаго вещества въ свои сферы, что онѣ не могутъ остановиться въ нашей солнечной системѣ, не находя въ ея вихрѣ достаточно тончайшей матеріи для равновѣсія съ собою, и должны по-необходимости перелетать изъ одной солнечной системы въ другую, пока не попадутъ въ такую колоссальную, гдѣ бы масса кружащагося въ ней вещества позволила имъ войти въ общій порядокъ движенія и сдѣлаться планетами хоть гдѣ-нибудь на краю вихря. Юпитеръ, Сатурнъ и Уранъ были бы, по этой теоріи, уроженцами другихъ системъ. послѣ долгаго шатанія по разнымъ мірамъ, наконецъ нашли себѣ пріютъ у солнца, на границѣ владѣній его пространства, и съ-тѣхъ-поръ начали вести жизнь добропорядочную, ходитъ почти правильнымъ кругомъ, какъ подобаетъ хорошей планетѣ. Для того вѣка, подобное объясненіе было чрезвычайно счастливое, но, при нынѣшнихъ понятіяхъ о свойствахъ кометъ, оно совсѣмъ непонятно. Впрочемъ, еще и въ наше время нерѣдко являютъ въ свѣтъ о кометахъ такія теоріи, отъ которыхъ рѣшительно умъ за разумъ заходитъ.

Солнце Декартъ полагалъ состоящимъ изъ какой-то жидкости, и свѣтъ выводилъ отъ движенія, броженія или клекотанія этой жидкости: атомы ея, шевелясь безпрестанно, ударяютъ въ ближайшіе атомы ма-

теріи, наполняющей пространство. тѣ опять ударяють въ слѣдующіе, и такимъ образомъ удары атомовъ. быстро передаваясь по прямой линіи отъ одного къ другому, достигаютъ наконецъ послѣднихъ, приземныхъ атомовъ тончайшей матеріи, которые, давя на нашъ глазъ, производятъ въ немъ чувство свѣта. Свѣтъ поѣтому не движеніе, говоритъ Декартъ, а только *стремленіе къ движенію*. Хейгенсъ, изъ этой мысли, создалъ теорію волнообразнаго распространенія свѣта посредствомъ вибрацій атомовъ ээира. Въ наше время воскресилъ ее Томасъ Юнгъ, и она теперь въ большой славѣ между оптиками и математиками. Затруднительный вопросъ, отчего планеты тверды, когда солнце такъ жидко, разрѣшается у Декарта очень мудреными и довольно темными выводами изъ свойствъ вихрообразнаго движенія пространственной матеріи. Мы охотно пропускаемъ ихъ.

Тяжесть тѣлъ на землѣ была у него также слѣдствіемъ вихреваго движенія матеріи, наполняющей пространство: она, давленіемъ своимъ на сферу земнаго вихря, гонитъ ихъ къ планетѣ и прижимаетъ къ ея поверхности.

Декартова теорія мірозданія, основанная на вихряхъ, vortices, совершенно удовлетворяла физическимъ и астрономическимъ познаніямъ первой половины семнадцатаго столѣтія, и была принята учеными съ энтузіазмомъ. Мы не считаемъ нужнымъ излагать возраженія, которыя были противъ нея сдѣланы и повергли ее въ забвеніе, какъ-скоро Ньютонъ геніяльно примѣнилъ къ движеніямъ небесныхъ шаровъ математически вычи-

сленные имъ законы тяготѣнія однихъ на другія во время движенія, или, все-равно, законы двухъ центральныхъ силъ, центробѣжной и центростремительной. Возраженія эти нынче, когда разнаго рода открытія расширили кругъ нашихъ понятій, могли бѣ быть устранены, съ небольшимъ усиленіемъ, при другомъ взглядѣ на предметъ. Главный, коренной недостатокъ теоріи Декарта состоитъ, не въ ея доказанной ложности, потому-что абсолютной ложности подобныхъ дѣлъ доказать нельзя, но собственно въ томъ, что къ вихрямъ невозможно приложить формулъ математическаго вычисленія: мы не знаемъ нагляднымъ образомъ настоящихъ свойствъ такихъ вихрей, какіе предполагалъ Декартъ, и не можемъ, ни вполнѣ опредѣлить умомъ, ни вычислить ихъ законы. Борелли, Лейбницъ и Бернулли, какъ ни ворочали, ни измѣняли и ни совершенствовались идею вихрей, не успѣли подчинить ея условіямъ математической очевидности. Наоборотъ, главное преимущество побѣдительной теоріи Ньютона — отнюдь не ея несомнѣнная достовѣрность, которой также никто не въ состояніи человѣческими средствами возвести на степень осязательнаго факта: оно заключается только въ томъ, что законы движущейся тяжести, свойства двухъ центральныхъ силъ, мы знаемъ по ежедневному опыту, потому-что они служатъ основаніемъ всей нашей механикѣ, и можемъ съ точностью и напередъ расчислить всѣ ихъ дѣйствія во всѣхъ возможныхъ случаяхъ; а какъ къ движеніямъ небесныхъ тѣлъ вполнѣ *применяются* законы тяжелыхъ тѣлъ, приводимыхъ въ движеніе на

землѣ, или, коротко сказать, законы тяготѣнія, то умъ нашъ находитъ ихъ совершенно достаточными для составленія себѣ яснаго и вѣрнаго понятія объ устройствѣ солнечной системы. Мы довольны, и не ищемъ болѣе глубокой истины въ дѣлѣ, закрытомъ всею таинственностью страшныхъ разстояній природы. Умозрѣнія о настоящей причинѣ движенія небесныхъ тѣлъ, объ его началѣ и сущности, становятся бесполезными. Какая намъ нужда знать, въ практикѣ, тяжестью ли своей движутся солнце, планеты, спутники, кометы, или другою какой-нибудь силою, простирается ли дѣйствіе тяжести на разстоянія, отдѣляющія планеты отъ солнца и спутниковъ отъ планетъ, или это только — приземное явленіе: довольно того, что законы известной намъ силы, которую мы называемъ тяжестью, вполне сходны съ законами той силы, которою движутся небесные шары, и мы на нихъ смѣло опираемся. Тѣло, поднятое надъ поверхностью земли и свободно пущенное, падаетъ на нее: *тяжесть* ли, то есть особенная сила, заключенная въ нѣдрахъ атомовъ этого тѣла, заставляетъ его стремиться къ землѣ, или, наоборотъ, земля своей силой *притягиваетъ* его къ себѣ? Этого мы не знаемъ и знать не можемъ. Но, въ результатъ, оно все-равно. Назовите эту силу *тяготѣніемъ* или *притяженіемъ*: тѣло во всякомъ случаѣ упадетъ по однимъ и тѣмъ же законамъ. Законы силы тяготящей и законы силы притягательной будутъ одни и тѣ же, и, слѣдовательно, силу, управляющую движеніемъ небесныхъ шаровъ, можно произвольно назвать *всеобщимъ тяготѣніемъ*

или *всеобщимъ притяженіемъ*, не измѣняя этимъ ни мало сущности дѣла. Но во всякомъ случаѣ, какъ «всеобщее тяготѣніе», такъ и «всеобщее притяженіе», будучи только подставныя идеи, метафоры, чисто условныя названія той таинственной силы, которою движутся свѣтила вселенной, и которой настоящее названіе намъ еще неизвѣстно. Такъ понималъ дѣло гениальный Ньютонъ, и онъ умоляетъ своихъ послѣдователей не принимать, относительно къ солнечной системѣ, словъ *тяготѣніе* и *притяженіе* въ ихъ буквальному значеніи. Послѣдователи, которымъ Богъ не далъ тонкости и ясности ума великаго учителя, совсѣмъ забыли его просьбу: они поминутно говорятъ—Ньютонъ *открылъ всеобщее тяготѣніе!*—и говорятъ отличную нелѣпость. Ньютонъ открылъ только то, что законы всеобщей двигательной силы небесъ въ точности сходны съ простыми, всѣмъ извѣстными законами тяжести, и въ томъ-то состоитъ его необыкновенный гений. Онъ всю жизнь только это и доказывалъ, для этого только подвергалъ и тѣ и другіе законы строгому математическому вычисленію. Мосё Бордà-Де-жулёнъ, чтобы унижить Ньютона, силится всѣхъ увѣрить, что всеобщее тяготѣніе *открыто* другими, а не этимъ пустымъ «счетчикомъ». Да кто же на свѣтѣ могъ *открыть* такую глупость! О! великій философъ, который слова принимаетъ за вещи!...

Говорить утвердительно, что движенія небесныхъ тѣлъ суть слѣдствія именно тяготѣнія или притяженія, что эти шары вѣчно текутъ въ своихъ орбитахъ именно потому только, что одна сила, центроостреми-

тельная, тащитъ ихъ къ солнцу, а другая, центробѣжная, отталкиваетъ назадъ, все это было бы нынче такъ же смѣшно, какъ утверждать вмѣстѣ съ древними астрономами и философами, будто планеты повѣшены какъ лампы подъ нѣсколькими хрустальными, совершенно прозрачными сводами, каждая подъ своимъ, и что движеніе ихъ зависитъ отъ вращенія этихъ сферъ. Уже и теперь мы знаемъ нѣсколько физическихъ случаевъ, въ которыхъ не видно ни малѣйшаго слѣда ни тяготѣнія, ни притяженія, ни центробѣжности, ни центростремительности, и гдѣ однакожъ тѣла, пущенныя свободно, ходятъ правильно около даннаго центра и въ то же время вертятся на своихъ осяхъ, представляя совершенное подобіе планетныхъ системъ. Электрическая струя, пропускаемая по проволоцѣ сквозь цилиндръ, наполненный водою, въ которой плаваютъ деревянныя опилки, заставляетъ ихъ описывать круги около проволоки и тутъ же еще вертѣться. Всякому извѣстенъ незатѣйливый музыкальный инструментъ, который у простаго народа называется «ворганчикомъ», у органныхъ мастеровъ «язычкомъ», а въ акустикѣ «вибрирующею пластинкою»: погрузивъ такую пластинку до половины въ водѣ съ опилками, и приведя ее въ вибрацію посредствомъ духовой трубы, эти частички тотчасъ начинаютъ вращаться и течь вокругъ центра вибраціи. Положите легкій шарикъ изъ пробки на стеклянный кружокъ и по краю его проведите смычкомъ такъ, чтобы стекло издало музыкальный звукъ: шарикъ пойдетъ кругомъ и будетъ ворочаться на оси; если кружокъ имѣетъ форму

эллипса, то и движеніе шарика будетъ эллиптическое. Наполните флейту, чеканъ или органную трубу дымомъ и подуйте въ нее: вмѣстѣ съ звукомъ, дымъ станетъ выходить изъ трубки спиралью, которая не что иное какъ кругъ, растянутый перпендикулярно къ его плоскости: весьма вѣроятно, что частички дыму, въ этомъ круговомъ движеніи, принимаютъ тоже и вращательное. Время откроетъ еще болѣе явленій, гдѣ точное подобіе планетнаго движенія окажется слѣдствіемъ разныхъ другихъ силъ, кромѣ тяготѣнія или притяженія. Умъ человѣческій, надо отдать ему справедливость, при всемъ своемъ безпокойствѣ, первый лѣннвецъ подъ солнцемъ: законы тяготѣнія позволяютъ ему представить себѣ удовлетворительный отчетъ въ движеніяхъ небесныхъ свѣтилъ, и онъ не спѣшитъ проникнуть тайны этихъ новыхъ силъ, находить изслѣдованіе ихъ слишкомъ труднымъ, оставляетъ ихъ въ пренебреженіи, будетъ даже имъ противиться изъ всѣхъ силъ, если онѣ когда-нибудь начнутъ оспаривать моду у любимой его куклы, тяготѣнія, къ которой онъ привыкъ и которою совершенно доволенъ. Но если современемъ будетъ доказано, что и тутъ господствуютъ тѣ же самые законы какъ въ движеніяхъ планетныхъ массъ: тогда, какое названіе дадимъ мы силѣ, движущей солнечною системою? Силѣ съ одинаковымъ дѣйствіемъ, съ тождественными законами, предстанетъ передъ насъ, можетъ-быть, бездна. Выборъ будетъ затруднителенъ. Между-тѣмъ ясно уже и теперь, что мірозданіемъ управляетъ не тяготѣніе и не притяженіе, но что во всей природѣ, въ каж-

домъ атомъ вещества есть, присутствуетъ, разлита какая-то общая сила, очень простая, которой законы неизмѣнны, постоянны, повсюду одни и тѣ же, и которая, настоящій хамелеонъ, принимаетъ тысячу различныхъ формъ, попеременно являясь, то въ видѣ тяжести, то электричества, магнитности, свѣта, теплоты, звука, химическаго сдѣвленія, кристаллизаціи, движенія, органической жизни, и прочая, и прочая; всегда различная по-наружности, всегда одинаковая и вѣрная своимъ кореннымъ законамъ въ сущности, безспорно возможная къ открытію человѣкомъ, но донынѣ ускользающая отъ его ограниченныхъ средствъ изслѣдованія.

Надлежало бы забыть вдругъ всю исторію хода человѣческаго ума, чтобы повѣрить, будто мы навсегда останемся при всеобщемъ тяготѣніи, или притяженіи, для истолкованія устройства вселенной; будто это наше окончательное *открытіе*, за которымъ не скрывается уже никакой тайны. Не пройдетъ, вѣроятно, много времени, какъ мы принуждены еще будемъ воротиться къ идеѣ Декарта и допустить въ планетномъ мірѣ, кромѣ тяготѣнія, еще родъ вихрей. Тончайшая матерія этого философа возродилась уже подъ новымъ нынче именемъ «ээира»: и, логически, отдѣлаться отъ нея никакъ нельзя. Пространство должно же быть чѣмъ-нибудь наполнено. Движущая сила, будь она притягательная или тяготительная, должна связываться чѣмъ-нибудь матеріальнымъ съ тѣлами, которыми она движетъ. Отвлеченной механической силы умъ нашъ не постигаетъ. Метафорой не приведешь колеса въ движеніе. Небесные шары въ чемъ-то пла-

вають. Положимъ, что это — *эфиръ*, жидкость очень легкая, газообразная, болѣе или менѣе похожая на водородъ, быть можетъ и самый водородъ лично. Объ *эфирѣ* всегда рѣчь велась между людьми учеными. Но когда увидѣли, что всѣ движенія планетнаго міра съ удивительною легкостью объясняются законами, открытыми въ одномъ частномъ явленіи природы, именно, въ тяжести, *эфиръ* былъ оставленъ въ сторонѣ, какъ бесполезный въ дѣлѣ. Ньютонъ старался самъ, по-возможности, устранить рѣчь объ немъ: какимъ путемъ дѣйствуетъ притягательная или тяготительная сила, сколько этому дѣйствію способствуетъ *эфиръ*, какую роль здѣсь онъ играетъ, на первый случай въ это не предстояло надобности входить. Достаточно было знать результаты, дѣйствія, законы *силы*. На эту *силу* стали смотрѣть какъ на нѣчто отвлеченное, самостоятельное, независящее ни отъ какого посредства. Вѣроятно даже, что свою теорію свѣта, теорію *истеченія* свѣтовыхъ частичекъ изъ солнца, Ньютонъ придумалъ для того, чтобы обойтись безъ Декартовыхъ толкающихся атомовъ тончайшей матеріи и вмѣстѣ съ ними дать окончательную отставку вихрямъ Декарта. Но вотъ, нынче, Ньютонова теорія истеченія падаетъ, можно сказать — упала. Атомы *эфира* толкаются на голову, Декартово вибраціонное распространеніе свѣта съ волнами Хейгенса, въ полной силѣ у оптиковъ. Астрономія пока не обращаетъ на это вниманія, потому-что *эфиръ*, приведенный въ спокойствіе теоріей истеченія, не мѣшалъ донныѣ всеобщему тяготѣнію. Астрономія сама

даже помогла оптикамъ торжественно водворить эфиръ въ области наукъ, прибѣгая къ его сопротивленію въ случаяхъ замедленія хода кометъ. Между-тѣмъ эфиръ, такой каковъ нуженъ оптикамъ, сдѣлаетъ страшный подрывъ принятымъ идеямъ тяготѣнія: когда, безпристрастно и по чистой совѣсти, будетъ вычислена страшная сумма живой силы всѣхъ толчковъ, получаемыхъ поверхностями планетъ отъ вибрирующихъ атомовъ ээира, то навѣрное придется признать солнцу, вмѣсто притягательной, силу *отталкивающую*. Ктому жъ, какъ бы тонка ни была жидкость, наполняющая пространство, какъ скоро атомы ея толкаются, то быстрое обращеніе солнца и планетъ на осяхъ и еще быстрѣйшій круговой летъ планетъ около солнца не могутъ не производить въ ней круженія, водоворотовъ, вихрей, теченій. Пространство, такимъ образомъ, должно быть въ страшномъ замѣшательствѣ: не перечесть всѣхъ силъ, которыя рождаются изъ этого хаоса разнородныхъ движеній ээира. То, что было давно ясно, начинаетъ запутываться отъ одного возобновленія теоріи Декарта и Хейгенса о свѣтѣ, которой, съ другой стороны, и нельзя не принять. Конечно все можно уладить съ помощью гипотезъ; но уже самая необходимость въ нихъ ясно показываетъ, что, несмотря на гений Ньютона, мы еще очень далеки отъ познанія истины въ дѣлѣ устройства солнечной системы.

По Лапласу, пространство первоначально наполнено туманомъ, облачною матеріей, въ родѣ тѣхъ мгlistыхъ или темныхъ мѣстъ, которыя, въ звѣздномъ мірѣ, называются «облачностями», *nebuleuses*, и которыя Ла-

пласть почитаетъ за міры въ зародышѣ, міры возникающіе и еще не устроившіеся совершенно. Эта догадка о звѣздныхъ облачностяхъ очень нравилась философамъ прошлаго столѣтія; нынче она не нуждается уже и въ опроверженіи. Мы знаемъ теперь, что облачности — такія же благоустроенныя системы, какъ и наша солнечная, и кажутся туманными только потому, что телескопы наши слишкомъ слабы, чтобы разрѣшить ихъ, показавъ всѣ подробности: тѣмъ сильнѣе и совершеннѣе становятся наши инструменты, тѣмъ болѣе небесныя облачности разоблачаются, тѣмъ примѣтнѣе исчезаютъ изъ нихъ и свѣтлыя мѣста и туманныя пятна: свѣтлыя мѣста оказываются скопленіями безчисленнаго множества небольшихъ свѣтлыхъ шаровъ, звѣздочекъ; туманныя, поѣтому, должны непременно быть скопленіями такихъ же шаровъ, только менѣе свѣтлыхъ, или почти темныхъ. Можетъ быть, совершенство телескоповъ еще дойдетъ со временемъ дотого, что мы увидимъ темныя мѣста небесныхъ облачностей также наполненныя шарами: между-тѣмъ уже здравый смыслъ показываетъ самъ собою, что, если бы частицы этой мнимой *туманной матеріи* не были шарами весьма значительной величины, мы на такомъ страшномъ разстояніи не могли бы примѣчать ихъ въ видѣ тумана. Послѣ этого все умозрѣніе Лапласа никуда не годится. Небывалая первоначальная туманная матерія, по его мечтаніямъ, есть матерія *расширенная* страшнымъ жаромъ, которая потомъ *охлаждалась*, сгущается и образуетъ зародыши шаровъ, тѣ постепенно увеличиваются, *притя-*

ивая къ себѣ болѣе и болѣе туманной матеріи; наконецъ самыя большіе становятся главными звѣздами облачности, а шары поменьше, начинаютъ ходить вокругъ нихъ вслѣдствіе своей собственной тяжести и центробѣжной силы; остатокъ же туманной матеріи, не вошедшій въ шары, скопляется полосами и вертится колесомъ около шаровъ въ видѣ кольца или колецъ Сатурна. Все это такъ смѣшно, что трудно сообразить, какъ подобная идея пришла въ голову умному человѣку: чтобы матерія могла *расшириться* отъ страшнаго *жара*, надо допустить, что прежде была она сгущена и сжата: такимъ образомъ, сперва была сжатая матерія, шары; потомъ, ни-вѣсть откуда, явился въ шарахъ страшный жаръ, теплота, сила, видно самостоятельная, отдѣльная отъ матеріи и *расширила* эту матерію; потомъ, опять по неизвѣстной причинѣ, жаръ сталъ пропадать, наступилъ холодъ, и *расширенная* матерія снова начала сгущаться въ шары! Плохая фабрика! Но, допустивъ даже и этотъ убыточный способъ производства шаровъ изъ шаровъ, можно еще спросить! откуда же въ меньшихъ шарахъ родилась вдругъ страсть двигаться по прямой линіи, безъ чего нѣтъ центробѣжной силы? Повинуясь своей тяжести, они должны были опрокинуться прямо на большіе шары, на свои центральныя звѣзды. Поставьте сколько угодно малыхъ недвижныхъ шаровъ около одного большаго, одареннаго притягательною силою, которая дѣйствуетъ по направленію радіусовъ этого шара, прикажите даже малымъ шарамъ притягивать другъ друга по мѣрѣ силъ и воз-

можности, они все-таки не пойдутъ центробѣжно, перпендикулярно къ радіусу главнаго притяженія, безъ особеннаго толчка, который превозмогъ бы эту силу. И какова должна быть сила этого толчка! Чтобы сообщить напримѣръ нашей Землѣ первое центробѣжное движеніе, нужно предположить въ солнечной системѣ, кромѣ *притягательной* силы солнца, еще другую силу во сто разъ могущественнѣе той, силу такъ сказать *толкательную*. Мы возвращаемся къ великому камню преткновенія всеобщихъ тяготѣній, котораго опасность чувствовалъ самъ Ньютонъ, къ необходимости посторонняго толчка. Этой необходимости не устранила вся тонкость ума Лапласа, не говоря уже о томъ, что вращательнаго движенія на оси никакъ нельзя вывести изъ его гипотезы. «Случай, говоритъ онъ, въ которомъ бы собраніе какихъ-нибудь матеріальныхъ частицъ, *первобытно неподвижныхъ* и предоставленныхъ собственной своей тяжести, произвелъ *неподвижную* массу, *чрезвычайно мало впроятенъ*». А между-тѣмъ это иначе и быть не можетъ: что недвижно *первобытно*, то будетъ навсегда недвижно, безъ появленія посторонней силы. Если тяжесть добровольно существуетъ въ частицахъ, то онѣ никогда не могли быть *неподвижными*. Если она появилась послѣ, такъ это — сила посторонняя, независимая отъ матеріи или по-крайней-мѣрѣ отъ той матеріи, которая *первобытно* была неподвижная. И замѣтьте, какая игра словъ! Что такое — тяжесть? Просто — движеніе. Тѣло, которое мы держимъ въ рукѣ, тяжело потому, что оно движется къ землѣ. Это — свы-

ше всякихъ умозрѣній: отнимите руку, оно падаетъ — движется — и, слѣдовательно, не что иное какъ давленіе на руку быстроты движенія его производить въ насъ чувство тяжести. Переведите теперь Лапласову ученую фразу на языкъ здраваго смысла: выйдетъ, что — «случай, въ которомъ бы собраніе какихъ-нибудь тѣлъ, *первобытно недвижныхъ и предоставленныхъ собственному своему движенію* (тяжести) осталось навсегда *неподвижнымъ, чрезвычайно мало впролетѣ!*» Забудьте, если угодно, слово *тяжесть*, словомъ *притяженіе*, какъ это дѣлаетъ Лапласъ, сущность дѣла останется та же. Притяженіе опять — только движеніе — движеніе изъ другаго центра. И подивитесь теперь мудрости общепринятой, освященной наукою и вѣчно вездѣ повторяемой фразы — *планетная система движется по законамъ тяготѣнія*, или *притяженія*: движется, значитъ, по законамъ движенія! Хорошо объясненіе! И вотъ гдѣ вполнѣ является величіе генія Ньютонова: онъ заранѣе чувствовалъ, что ученый народъ не пойметъ его, исказить основную идею своими преувеличеніями, и предостерегалъ неоднократно, не принимать словъ «тяготѣніе», «притягательная», «центростремительная», «центробѣжная» сила, иначе какъ иносказательно, довольствуясь только той истиною, что законы одинокаго и взаимнаго тяготѣнія тѣлъ на землѣ и законы движенія небесныхъ шаровъ — тождественны. Да и какъ имъ не быть тождественными, когда тяготѣніе не что иное какъ движеніе!

Нельзя не сказать по совѣсти, что покойная Де-

картова теорія вихрей, при всѣхъ своихъ коренныхъ недостаткахъ и случайныхъ несовершенствахъ, гораздо удовлетворительнѣе объясняла дѣло міростроенія, чѣмъ наши нынѣшнія гипотезы. Вибраціонное распространіе свѣта было естественнымъ слѣдствіемъ той же теоріи и она хорошо соображалась съ устройствомъ пространственной матеріи, нужнымъ для вихрей. Мы уже видѣли, что возобновленіе идеи Декарта о свѣтѣ, влечетъ за собою неизбѣжно допущеніе и нѣкотораго рода вихрей, теченій, въ вибрирующемъ вещественномъ пространствѣ. Въ пользу большаго, общаго вихря всей солнечной системы, производимаго обращеніемъ солнца на оси, всегда служилъ сильнымъ аргументомъ одинъ изъ законовъ Кеплера, необъяснимый тяготѣніемъ или притяженіемъ, а именно тотъ, который показываетъ правильную соразмѣрность скорости теченія планетъ съ величиною ихъ орбитъ: планеты, въ самомъ дѣлѣ, текутъ около солнца словно какъ шарики, расположенные на поверхности вертящагося колеса, или какъ тѣла, увлекаемые слоемъ экваторнаго вихря центральнаго шара: чѣмъ далѣе отъ центра, тѣмъ скорѣе. Различное наклоненіе плоскостей планетныхъ орбитъ къ солнечному экватору, конечно, не можетъ быть истолковано вихремъ: но развѣ тяготѣніе въ-состояніи объяснить это различное наклоненіе безъ помощи прибавочныхъ гипотезъ?

Космогоническія умозрѣнія Декарта, право, стоятъ нашихъ этого рода умозрѣній. Они еще отличаются бѣльшею логическою послѣдовательностью. Несомнѣнное практическое достоинство Ньютоновой теоріи дви-

женія небесныхъ тѣлъ, которой успѣхамъ эти умозрѣнія долго поставляли сильную преграду, особенно во Франціи, наконецъ уронило ихъ. Но какъ всегда случается, люди поступили неосторожно, оставляя старое, чтобы слѣдовать за новымъ: въ старомъ было много весьма счастливо обдуманнаго, и они бросили все это вмѣстѣ съ негоднымъ и ложнымъ, не спасли ничего, по обыкновенію пустились строить новыя умозрѣнія на вновь узнанныхъ фактахъ, и какъ имъ не дался геній Декартовъ, то и не построили ничего путнаго. Результатомъ всѣхъ этихъ усилій было только искаженіе свѣтлой мысли Ньютона, доходящее до смѣшнаго, между-тѣмъ какъ обращали въ смѣхъ Декартовы гипотезы. Со стороны новѣйшихъ умозрителей творецъ вихрей заслуживалъ болѣе уваженія. Древность, какъ мы видѣли, приписывала міру душу, подобно человеческой и которая сообщаетъ ему движеніе. Иногда древніе предполагали отдѣльную душу въ каждой планетѣ, въ каждой стихіи, въ каждомъ минералѣ. Это было только приложеніе къ физикѣ основнаго догмата языческой религіи, которая возникла сама изъ чисто физической теоріи, состоявшей въ томъ, что въ каждомъ разрядѣ тѣлъ, отличающихся самостоятельными свойствами, разлита особенная *сила*, особенный *духъ*, или, какъ говорили жрецы, особенный *богъ*. Извѣстно изрѣченіе Фалеса, который, удивляясь явленіямъ янтаря и магнита, воскликнулъ: «По-истинѣ, всѣ тѣла природы наполнены *богами*!» Теорія эта, существенно языческая, очень долго сохранялась еще въ мусульманствѣ, и даже у христіанъ между алхимика-

ми, которыхъ наука происходила изъ Египта, вѣроятно отъ послѣднихъ языческихъ членовъ Александрийской школы, и между профессорами магіи: они также въ каждомъ веществѣ признавали присутствіе особеннаго духа и искусство состояло въ томъ, какъ его вызвать и подчинить своей власти. Въ золотѣ сидѣлъ *эонръ*, самъ Юпитеръ: благороднѣйшій изъ металловъ почитался осуществленіемъ души міра, и растворенное золото, *эонръ* въ жидкомъ видѣ, составляло на Олимпѣ *амвросію*, напитокъ безсмертія. Во времена возрожденія наукъ, душа міра еще существовала въ наукахъ, и многіе ставили ее выше души человеческой. Коперникъ низвелъ первый эту душу на степень физической силы, которую называлъ онъ *привлекательною*, — какъ-бы нѣкотораго рода *природнымъ воздеельніемъ* каждой частицы небесныхъ тѣлъ, *quandam appetentiam naturalem*. Изъ этой «привлекательности» частицъ выводилъ онъ шарообразную форму солнца и планетъ. Кеплеръ думалъ еще, что привлекательная сила есть родъ органической силы, и солнечная система казалась ему огромнымъ животнымъ. Декарту принадлежитъ честь введенія въ науку богатой мысли, что міръ, волею всемогущаго Творца, могъ построиться, держится и движется по кореннымъ законамъ матеріи. Эти-то законы и старался онъ истолковать своею теоріею вихрей.

Здѣсь оканчивается настоящій *картезіанизмъ*, потому-что здѣсь оканчиваются умозрѣнія Декарта. Этотъ гениальный человѣкъ, какъ математикъ, вмѣстѣ съ Виеттомъ былъ основателемъ аналитической геометріи

и, какъ физикъ, съ успѣхомъ занимался изслѣдованіемъ законовъ паденія тяжелыхъ тѣлъ, прямого и дугообразнаго; сообщеннаго движенія; переломленія свѣту; свойствъ радуги, и прочая. Но эти труды Декарта, слишкомъ извѣстные всякому, не принадлежать къ нашему предмету.

1844.

НАУКА И ЗНАНІЯ.

По поводу *Лекцій популярной астрономіи*, С. Зеленаго, 1844.

Вопросъ о томъ, полезны или вредны науки, или просвѣщеніе вообще, еще не такъ давно былъ большою задачей. Не далѣе какъ въ половинѣ прошедшаго столѣтія, академіи задавали къ рѣшенію тему — *о пользѣ и вредѣ наукъ*, и философы въ отвѣтахъ своихъ доказывали *вредъ* наукъ. Споры, не-шутя, были съ двухъ сторонъ, за науки, и *противъ* наукъ. Странно: но мало ли страннаго бывало и бываетъ на свѣтѣ! Мы спорить не станемъ, и согласимся, если намъ скажутъ, что и въ наше время можетъ явиться новый Жанъ-Жакъ Руссо, и вздумаетъ увѣрять собратій въ неописанномъ блаженствѣ ходить на четверенкахъ, и логически будетъ доказывать, что пока люди не знали типографій, пороху, пароходовъ, галь-

ванопластики и аэростатовъ, человѣкъ былъ добродѣтеленъ, уменъ и счастливъ!

Но въ наше время всѣ уже убѣждены въ пользѣ наукъ, какъ и въ пользѣ машинъ. Пользы машинъ никто не отвергаетъ, но до какой степени должны быть допущены машины въ замѣну рукъ человѣческихъ, силы животныхъ, и прочаго, что не машина собственно? Переноси этотъ вопросъ къ наукѣ, спрашиваютъ: до какой степени должна быть допущена наука?—Въ совершенно полной, безграничной степени, сколько умъ человѣческій можетъ достигать и постигать ее, отвѣчаютъ одни. Въ извѣстной, условной степени, пока наука полезна, пока она совершенствуется бытіе человѣка, говорятъ другіе. Вы хотите такимъ-образомъ унижить великое отличіе человѣка — умъ и премудрую дочь его науку, до степени ремесленника и ремесла, и не постигаете, что науку надобно знать для науки, а не для эгонизма вашего, не для вашихъ мелкихъ, корыстныхъ расчетовъ, возражаютъ первые.—А вы хотите сдѣлать изъ науки что-то похожее на блаженное созерцаніе носы факирами, и отдѣлить изъ жизни міра и жизни человѣка что-то отдѣльно существующее, когда такое отвлеченное бытіе будетъ уродство физическое и нравственное, отвѣчаютъ вторые.—Развѣ смѣетъ назваться «ученымъ» и ученіе свое назвать «наукою» человѣкъ въ вашемъ смыслѣ? отвѣтъ первыхъ. Развѣ смѣетъ назваться «человѣкомъ» ученый въ вашемъ смыслѣ, такъ какъ развѣ можно назвать человѣкомъ индійскаго факира? отвѣтъ вторыхъ.

Споръ безконеченъ, по-крайней-мѣрѣ, нерѣшимъ для

нашего вѣка, и кажется вопросъ о наукѣ въ наше время, именно стоитъ на этой точкѣ несогласія. Мы уже не толкуемъ о пользѣ и вредѣ науки безусловно. Наука получила право гражданства, но не избрала еще себѣ опредѣленнаго мѣста и званія. Одни принимаютъ науку ради самой науки, разъединяя ее съ жизнію природы и человѣка; другіе требуютъ ея столько, сколько совершенствуется она нашу жизнь. Если бы тому и другому направленію надобно было дать названіе, первое можно бы назвать германскимъ, а второе англійскимъ. Не рѣшая разнорѣчій о правотѣ обѣихъ сторонъ, если вы потребуєте нашего мнѣнія, мы скажемъ, что обѣ стороны правы и не правы, какъ всегда бываетъ въ дѣлахъ человѣческихъ, какъ правы и не правы чистые идеалисты и реалисты, люди идущіе дорогою одного синтеза, и люди слѣдующіе путемъ одного анализа, или послѣдователи умозрѣнія, и противники ихъ, послѣдователи опыта. Если вамъ угодно слышать мнѣніе нашего вѣка — да гдѣ услышите вы его, или лучше сказать, какъ разслушаете вы его, среди вопля страстей, предубѣжденій, самолюбій, пристрастій, упрямства людскаго? Общее мнѣніе говоритъ, будто нынѣ преобладаетъ практическое направленіе науки, то есть, нашъ вѣкъ смотритъ на науку, какъ на средство жизни умственной и вещественной. Но въ силу извѣстной истины, что «правила безъ исключеній не бываетъ», можно указать на тысячи исключеній изъ направленія, вообще называемаго «современнымъ».

Защитники практическаго, или англійскаго образа возрѣнія на предметъ, всего болѣе опираются въ до-

казательство своего мнѣнія на такъ-называемое «популярное» ученіе наукъ—какъ назвать по-русски это ученіе, не знаемъ, потому-что оно не значитъ здѣсь ни «народный», ни «простонародный», и лучше всего можно бы перевести здѣсь слово «популярный», словомъ «общественный», если ужъ непременно надобно переводить каждое слово на чисто-русскій складъ. Гораздо важнѣе узнать значеніе этого слова.

Занятіе наукою, и вслѣдствіе того, ученіе, долго составляло исключительность среди другихъ отношеній общественныхъ. Словомъ «наука» выражалось занятіе особенной касты людей, которыхъ называли «учеными». Дѣйствительно, этотъ народъ составлялъ особенное народонаселеніе, похожее на касту, хотя собственное дѣленіе на касты не существовало въ Европѣ. Такое отдѣленіе ученыхъ отъ людей началось давно, и у древнихъ названіе ученаго замѣнялось сперва названіемъ мудреца, а потомъ философа, пока наконецъ отъ него отдѣлилось названіе софиста, и вполнѣдствіи утратились то и другое. Наука и мудрость считались какими-то синонимами, но дѣйствительно ли были они ими? Сами занимающіеся наукою отказались сперва отъ имени «мудрецовъ», а потомъ и «любителей мудрости», и многіе откровенно сознавались даже, что все знаніе ихъ состоитъ въ увѣренности, что они «ничего не знаютъ». Тутъ было преувеличеніе, но отчасти была и справедливость, при совѣстливомъ сознаніи въ горькой правдѣ. Въ самомъ дѣлѣ, безконечность изслѣдованія истины въ природѣ и человѣкѣ, шаткость и бѣдность ума человѣческаго, необ-

ходимость платить ошибкой за каждое приобретение частицы истины, дѣлали то, что утративши прямое назначеніе своему стремленію, забывши о цѣли его, люди сдѣлали науку изъ науки, привели въ систему самое стремленіе свое, превратили средство въ цѣль, и образовали особенный міръ, который называли наукою и ученьемъ. Не подумаетъ ли кто, что эта каста составляла мирное народонаселеніе, собраніе добрыхъ, смиренныхъ искателей истины, которые гонялись за своею мечтой, не вмѣшивались ни во что болѣе, жили дружно между собой, дѣлились другъ съ другомъ своими изслѣдованіями, радовались взаимно успѣхамъ, и мирною республикою ученыхъ осуществляли Сень-Пьеровъ проектъ вѣчнаго мира? Далеко отъ этого, и даже отъ похожаго на это! Проектъ добряка Сень-Пьера осуществляетъ въ мірѣ только одна добрая, смиренная каста мертвецовъ, занимающая область кладбища. Міръ ученыхъ, съ одной стороны потерявши свое назначеніе, между-тѣмъ представлялъ позорище непрерывной войны, неумолимой взаимной ненависти, и исторія науки едва-ли менѣе представить намъ жертвъ, какъ исторія завоевателей. Область науки межевали, спорили въ ней за черезполосное владѣніе, отвергали истину потому только, что ее выдумалъ Сядоръ, а не Карпъ. Слѣдствія были достойны жалости. Думая только о наукѣ, а не о *цѣли* ея, науку перестроили въ какой-то лабиринтъ, гдѣ ученіе сдѣлалось аріадниной нитью, съ которою, и то при величайшемъ трудѣ, можно было выпутываться тому, кто волею или неволею попадался въ лабиринтъ ученаго міра. Приду-

мали темный, мудреный языкъ; раздѣлили наслѣдіе истины на самые мелкіе участки, и каждый считая себя властителемъ своего участка, заботился только объ немъ, не помышляя, не думая о другихъ, и даже презирая ихъ. Что тутъ было дѣлать бѣдному человѣчеству? Его увѣряли даже, что оно не умѣетъ говорить, если не знаетъ варварскихъ терминовъ и условій науки, нарицаемой грамматикою; что для познанія науки о природѣ, ему надобно изучить предварительно пятьдесятъ двѣ науки, изъ которыхъ на каждую не достанетъ жизни человѣческой; что при каждой наукѣ необходимо узнать не только самую науку, но еще пятьдесятъ системъ, которыя хотя и признаны ложными, но изучать ихъ необходимо. Бѣдное человѣчество слушало, не понимало, иногда почтительно кланялось наукѣ и ученію, иногда посмѣивалось надъ ними, и наконецъ совершенно отдѣлилось отъ науки, и сподвижниковъ ея, ученыхъ людей, которые мало о томъ и заботились. Сокрытые въ своей школѣ, своемъ университетѣ, своей академіи, они надписывали надъ входомъ ихъ: *Odi profanum vulgus*, и презрительною улыбкою награждали толпу, изучая пыльную букву, обломокъ камня, мушиное крыло, или добываясь смысла изъ звука поднятаго на дыбу этимологическую. Забавную роль играло притомъ учебное направленіе науки, потому-что у народа ученаго были же и *ученки*. Такимъ названіемъ удостоивали народъ, приходившій искать премудрости въ ученыхъ убѣжищахъ сподвижниковъ науки. Приходившихъ заставляли затверживать условныя слова, изучать извѣстные терми-

ны, и потомъ отпускали съ миромъ, говоря: «Ступай! Поелику ты не готовишь себя для науки, съ тебя довольно — ты знаешь *исторію*, потому-что затвердилъ нѣсколько именъ и годовъ; ты позналъ самого себя, потому-что вытвердилъ схемы психологій; ты можешь разсуждать, потому-что затвердилъ формулы логики; ты испыталъ природу, потому-что изучилъ условныя слова ботаники, зоологій, антомологій, помологій, фитографій, и прочихъ, и прочихъ *логій* и *графій*!» Если ученикъ смиренно сознавался, что право онъ ничего не знаетъ, хоть затвердилъ все, о чемъ ему говорили, нѣкоторые изъ учителей его тихонько сознавались ему, что они и о себѣ самихъ то же могутъ сказать, что давно говорилъ премудрый Сократъ. Тѣмъ важнѣе отвѣчали другіе, что если кто хочетъ проникнуть далѣе, и совершенно углубиться въ глубину премудрости, тотъ долженъ всего себя и всю жизнь свою отдать наукѣ, по извѣстному правилу: вѣкъ живи, вѣкъ учись. Прекрасно, да достанетъ ли моей жизни выучиться? — «Разумѣется нѣтъ, въ чемъ можетъ васъ убѣдить неоспоримая истина, облеченная также въ аксіому: *Ars longa vita brevis*, то есть «Наука долга, а жизнь коротка!»

Нѣкоторые осмѣливались, послѣ того, предлагать смиренныя подозрѣнія, что науку составляютъ не формулы, въ которыя облачаютъ ее, а нѣсколько истинъ, выражаемыхъ этими формулами; что не худо бы позаботиться объ этихъ истинахъ, извлечь ихъ изъ каждой науки, сложить во-едино, изложить человѣческимъ, а не ученымъ языкомъ, и передать ихъ всему

человѣчеству, не оставляя достояніемъ одной касты ученыхъ. Другіе подозрѣвали, что въ дѣлѣ истины прежде всего надлежало бы уклонить отъ себя всѣ притязанія страстей и личныхъ расчетовъ. Ученые люди слушали, гордо поправляли свои парики, и отвѣщали велемудро, что низвести науку изъ ея таинственнаго жилища на народную площадь, значило бы унижить ея достоинство, а преклонить языкъ науки до удобопонятливости ушамъ людей неученыхъ, значило бы оскорбить величество знанія!

Что же сдѣлали люди неученые? Они раскланялись съ ученымъ народомъ, и рѣшились приступомъ взять святилище наукъ, разрѣшить наконецъ эту таинственность, узнать, точно ли въ храмахъ науки хранятся сокровища, какъ нѣкогда предполагали, что они лежатъ грудами въ амстердамскомъ банкѣ. Прошедшій вѣкъ, который сдѣлалъ нашествіе на все, сдѣлалъ его и на науку. Ученые возстали, вооружились, хорошо защищались, сражались такъ храбро, что по мирному трактату за ними оставлена часть неприкосновеннаго владѣнія, куда не позволяется входъ толпѣ даже и нынѣ. Зато завоевали у нихъ многія обширныя и плодотворныя области. Умъ человѣческій дѣятельно принялся обрабатывать ихъ, и мы видимъ плоды завоеванія.

Нѣсколько важныхъ, великихъ истинъ подарилъ людямъ этотъ переворотъ ученія. Конечно, и теперь остаются схоластики и исключительные ученые, какъ остаются изуверы и мистики. Но уже безспорно признаны теперь возможность и важность энциклопедическаго ученія, и доказана польза взаимнаго

раздѣла знаній, допущенія къ труду надъ наукою всѣхъ, и примѣненія науки къ жизни человѣка и общественному быту, изъ чего является новая система общественнаго воспитанія и учебнаго преподаванія знаній. Здѣсь открылась невѣрность правила, считавшагося аксіомою: «Наука долга, жизнь коротка», и ее почти замѣнили оборотною аксіомою: «Жизнь долга, а наука коротка».

Кромѣ усовершенствованій учебной части наукъ, то есть системъ передачи истинъ каждой науки, мы узнали еще два огромныя отношенія науки и ученія: примѣненіе наукъ къ потребностямъ общества, и обобщеніе знаній въ обществѣ. Двѣ эти стороны стоятъ полнаго вниманія современныхъ наблюдателей.

Изъ перваго, то есть примѣненія, явились реальныя училища, гдѣ цѣль заключена не въ самомъ изученіи науки, но въ изученіи ея для извѣстной цѣли. Отсюда проистекли также безчисленныя приложенія науки къ общественнымъ потребностямъ, отъ которыхъ процвѣли невѣроятными успѣхами всѣ отрасли общественнаго быта.

Но то и другое частности. Надлежало дѣйствовать наукою вдругъ на всю массу общественную, надобно было въ эту толпу народную ввести науку и знаніе, дополнить тѣмъ недостатокъ ея воспитанія и этой великой цѣли достигаютъ обобщеніемъ знаній и науки, и если не достигнули, по-крайней-мѣрѣ, вѣрно стремятся къ ней. Обобщеніе науки производится уже не училищами. Важными дѣятелями его сдѣлалось популярное чтеніе и популярныя курсы разныхъ наукъ. Къ чтенію принадлежатъ книги и журналы, издаваемые для всеобщаго, общественнаго чтенія, гдѣ совле-

кая схоластику и схоластическія формы съ науки, передають истины ея простымъ, понятнымъ каждому языкомъ, объясняя челоуѣку его самого, природу тайны и истины науки. Еще ближе оказывается дѣйствіе «популярныхъ курсовъ», гдѣ живое слово замѣняетъ мертвую книгу.

Противники такого направленія науки вопіють, что оно пріучаетъ людей къ легкому, поверхностному ученію, какъ стараніемъ обобщить всѣ науки, такъ и передачею истинъ ихъ безъ предварительнаго труда учащихся. «Милостивые государи! готовы мы отвѣчать: положите перстъ на уста ваши, и молчите, во имя добра, символа всякой науки!» Легкое, поверхностное ученіе! А ваше жалкое школьное ученіе развѣ не было поверхностнымъ, хоть оно не было притомъ легкимъ, съ чѣмъ мы совершенно согласны? Да, оно не было легкимъ — тяжело доставалось оно ученику, тупило умъ его, темнило его понятія, наряжало его въ школьную мишурную одежду, проводило уровень посредственности надъ всѣми умами, и отвращало отъ науки и знанія. — Наука унижается, передаваемая простолюдину! — Унижается? Да, развѣ достоинство науки, а не достоинство челоуѣка, возвышаемое наукою, должно быть нашимъ главнымъ предметомъ? Если наука святое, великое дѣло, зачѣмъ же вы хотите оттолкнуть миллионы братій вашихъ отъ ея живительнаго источника? Они не успѣють удовлетворить въ немъ вполне своей жажды; но уже великое благодѣяніе для нихъ будетъ, если хоть нѣсколько живительныхъ капель утолятъ ихъ жажду. И не должно ли ожидать успѣха

для самой науки, когда къ ней обратятся не сотни избранныхъ, часто безъ призванія, но милліоны призванныхъ, изъ среды которыхъ явятся избранные, съ свѣжими идеями, свободнымъ умомъ, сознавая свое призваніе?

По-крайней-мѣрѣ мы всегда были, и всегда будемъ защитниками «практическаго обобщенія науки», и слѣдовательно, «популярныхъ» книгъ и курсовъ. И здѣсь является злоупотребленіе, но виновать ли предметъ, если его употребляютъ во зло? И популярнымъ направлениемъ иногда овладѣваютъ шарлатанство и спекуляція, какъ примѣры тому нерѣдки въ самомъ отвлеченно-ученомъ направленіи....

Отъ разъединенія ученыхъ и общества, отъ удаленія науки, изучаемой ради ея самой, происходитъ странное отчужденіе знаній, одного отъ другаго, и отъ общества вообще. вмѣсто-того, чтобы удѣлять на долю cadaго часть каждой науки, возвысить общее образованіе на высшую, энциклопедическую степень, ученость наша дѣлается раздѣльною между учеными, и недоступною обществу. Не говоримъ уже о томъ, что литераторъ не знаетъ первыхъ основаній математики; что художникъ не заботится о грамматикѣ: но много найдется ученыхъ, изумляющихъ знаніемъ въ одномъ, и — невѣжествомъ въ другомъ! И какъ еще? Пусть бы не зналъ астрономіи зоологъ — нѣтъ! зоологъ, наперечетъ рассказывающій всѣ косточки животнаго, никакого понятія не имѣетъ о ботаникѣ, а минералогъ не различитъ орла отъ коршуна въ орнитологіи!

**ЕСТЕСТВОЗНАНІЕ.
МЕДИЦИНА.**



ДУШЕВНЫЯ БОЛѢЗНИ.

По поводу сочиненія: *Душевныя болѣзни, изложенныя сообразно началамъ нынѣшняго ученія психіатріи* докт. мед. Бутковскимъ. 1834.

Самая занимательная часть врачебной науки, медицинская метафизика, доставила сочинителю богатый предметъ для книги, которую съ равнымъ удовольствіемъ и пользою могутъ читать люди, посвятившіе себя искусству, и простые любители всего относящагося къ человѣку. Умъ нашъ подверженъ столькимъ же неправильностямъ, недугамъ, болѣзнямъ, какъ и тѣло; но это заколдованное царство невещественности, населенное привидѣніями и мрачными и блистательными, фантастическими образами, думами и желаніями уродливыми, этотъ свѣтъ безъ логики, эта анархія умственныхъ отправленій въ тѣлахъ, большею частію здоровыхъ, представляютъ рядъ явленій гораздо важнѣе для философа, нежели тѣлесныя наши страданія, и всякій мыслящій человѣкъ тѣмъ охотнѣе предается ихъ созерцанію, что они, открывая ему прискорбныя истины нашей природы, не отвращаютъ его по-крайней-мѣрѣ неопрятностью подробностей физической болѣзни.

Древніе съ большимъ вниманіемъ наблюдали болѣзненныя состоянія духа въ нашемъ тѣлѣ, и заключали ихъ подъ двумя общими названіями — меланхоліи и бѣшенства. Асклепιάдъ, жившій въ концѣ II вѣка до Р. Х., Цельсъ въ I-мъ и Александръ Тралесскій въ VI-мъ столѣтіяхъ нашей эры, довели уже эту отрасль медицины до того теоретическаго совершенства, къ которому усилія и разысканія новѣйшихъ временъ прибавили весьма немного новаго. Странное обстоятельство сообщаетъ намъ исторія психіатріи: люди, кажется, оставили нѣкоторые старинные способы сходить съ ума, и предпочли имъ новѣйшіе — изобрѣтеніе и успѣхъ не чужды и съумашествію! Древніе врачи упоминають положительно объ одной душевной болѣзни, нынѣ вышедшей изъ употребленія, которую называютъ они ликантропіею, или волкочеловѣчіемъ: больные были какъ волки, лаяли и скитались ночью по полямъ и по кладбищамъ. Но самый забавный примѣръ древней меланхоліи сохраненъ Геродотомъ, который повѣствуетъ, что Скиѣы, во время похода своего въ Палестину, испытали на себѣ нѣкоторый родъ умственной эпидеміи, помѣшавшись на той идеѣ, что они женщины и красавицы: можно себѣ представить, что происходило, когда полчища дикихъ и грязныхъ бородачей стали кокетничать съ классическими Греками на поляхъ Малой Азіи!

Г. Бутковскій предпринялъ изложить, согласно нынѣшнему ученію, науку о душевныхъ болѣзняхъ, о которой много писали въ послѣднее время. Онъ не говоритъ о ликантропіи подобно Маркеллу, но зато

разсуждаетъ о жизни и душѣ по теоріи, которая во многихъ отношеніяхъ не уступаетъ волкочеловѣчію. Прошлое столѣтіе объясняло все кабалистическимъ словомъ «природа»; нынѣшніе энциклопедисты, которые даже не пишутъ энциклопедій, толкуютъ все помощію таинственнаго слова — «сила». Да не погнѣваются гг. Окенъ и Бутковскій, а мы, люди смертные, одаренные смертнымъ умомъ, не можемъ понять силы иначе, какъ только въ видѣ слѣдствія матеріи, во взаимномъ соотношеніи двухъ данныхъ веществъ. Вся мудрость гипотезы о существованіи силы независимо отъ матеріи состоитъ въ простомъ перенесеніи смысла одного слова на другое, такъ, чтобъ послѣднее получило два значенія, а первое осталось пустымъ звукомъ. Да чтожъ такое сила, которая существуетъ вѣчно, никогда не измѣняется и содержитъ все въ преднамѣренномъ порядкѣ, если не Богъ? Мы всегда это называли Богомъ, и очень хорошо понимали другъ друга. Въ гипотезѣ динамистовъ, слово «сила», которое конечно гораздо опредѣлительнѣе и яснѣе слова «природа», сосредоточиваетъ въ себѣ значенія Бога, или духа, и физическаго дѣйствія однихъ тѣлъ на другія, то есть настоящаго понятія силы. Какую же ясность пріобрѣтаетъ разсужденіе отъ этого страннаго сліянія двухъ столь разнородныхъ идей, отъ противологическаго соединенія въ одинъ звукъ причины и слѣдствія? Ровно никакой. Такимъ точно образомъ философія прошлаго столѣтія сбивала въ любимое свое слово «природа» причину и слѣдствіе, и мы знаемъ, сколько успѣла она объяснить имъ начала

бытія. Если сила и Богъ одно и то же, какъ то, кажется, думаетъ «новѣйшее» ученіе психіатріи, совсѣмъ напрасно мѣшающееся въ эти дѣла, то мы скоро возвратимся къ политеизму, и должны будемъ признавать бога тяжести, бога центробѣжности, бога химическаго сродства и т. д., и по-крайней-мѣрѣ предположить, что всякая солнечная система вселенной управляется особымъ богомъ, ибо наблюденія надъ двойными звѣздами заставляютъ уже нѣкоторыхъ астрономовъ вѣрить, что законы тяготѣнія нашей системы не примѣняются къ этимъ отдаленнымъ мірамъ, и что они повинуются силамъ совершенно различнаго свойства. Несообразность подобнаго обоготворенія или одуховленія силы слишкомъ ощутительна, и мы истиннѣ удивляемся, какъ можно въ нашемъ вѣкѣ опираться на немъ какую-нибудь теорію. Сколько умъ человѣческій въ состояніи постигнуть отвлеченно силу, она должна быть лишь выраженіемъ извѣстной воли единаго всемогущаго и премудраго Творца, осуществленной матерію, которая получила отъ Него повелѣніе ее обнаруживать. Слѣдственно, сила — феноменъ матеріи и ея конечный результатъ; не будь матеріи, нельзя быть и силѣ, и еслибъ силу пришлось считать вѣчною, то же самое свойство слѣдовало бы приписать и матеріи. Разсматриваемая нами книга отнюдь не этого мнѣнія, и за всѣмъ тѣмъ она безъ дальняго разбора беретъ несбыточную повѣсть динамистовъ о самобытности силъ за основаніе своей психологіи. Новѣйшее ученіе психіатріи, въ ней излагаемое, безпрестанно смѣшиваетъ духъ съ силою,

даже принимаетъ эти два слова за однозначашія: здѣсь все, отъ минерала до человѣка, оживлено духомъ; тамъ все, отъ человѣка до минерала, одушевлено динамическимъ (силообразнымъ) началомъ, силою. Мы замѣтимъ новѣйшему ученію только, что какъ въ чинѣ понятій человѣческихъ духъ есть существо безусловно противоположное матеріи, то онъ логически не можетъ имѣть никакихъ общихъ съ нею формъ существованія. Духа нельзя дѣлить на части, потому-что въ такомъ случаѣ онъ былъ бы вещество, а не духъ. Онъ также не можетъ быть ни совершеннѣе, ни грубѣе, потому-что онъ всегда одинъ и тотъ же, существо абсолютное. Между-тѣмъ, по предлагаемой намъ теоріи, въ однихъ тѣлахъ динамическаго начала, или духа, бываетъ болѣе, въ другихъ менѣе; въ нѣкоторыхъ случаяхъ духъ обладаетъ высшею степенью совершенства, въ иныхъ низшею. Эта темнота понятій о свойствѣ духа, о происхожденіи силы, объ условіяхъ матеріи, бросаетъ тѣнь ужасной сбивчивости на первыя сорокъ страницъ «ученія», и авторъ тщетно силится выпутаться изъ мрака помощію обманчиваго свѣта длинныхъ словъ безъ значенія, созданныхъ по образцу нѣмецкихъ туманно-философскихъ терминовъ; безчисленныя противорѣчія отвсюду преграждаютъ ему выходъ и не допускаютъ читателя проникнуть съ нимъ въ нѣдра предмета. Мы весьма сожалѣемъ, что пристрастіе къ мечтательству извѣстной школы ввергло эту занимательную книгу въ столько погрѣшностей противъ строгой логики, безъ которой нѣтъ хорошей книги: подлѣ истинъ, удачно выраженныхъ, подлѣ вы-

водовъ остроумныхъ или правдоподобныхъ, стоятъ умо-
заключенія и доказательства, которыя своею безсвяз-
ностью, своимъ недостаткомъ послѣдовательности въ
мысляхъ, хотять, кажется, уничтожить, поглотить все
предъидущее.

Мы не станемъ сближать мѣстъ, въ которыхъ го-
ворится, что душа соединена съ тѣломъ самымъ тѣс-
нымъ, динамическимъ образомъ, что жизнь ихъ одна
и та же, съ тѣми, гдѣ, для большей убѣдительности,
теорія вынуждена утверждать противное, и полагать,
что «душа однакожъ не приходитъ въ непосредствен-
ное прикосновеніе» съ тѣломъ; не будемъ даже раз-
бирать ея мнѣній о «силѣ самосвѣденія и свободы»,
составляющей какъ-бы особую душу въ душѣ; но
чтобъ оправдать наше обвиненіе въ разительномъ не-
достаткѣ послѣдовательности въ ея сужденіяхъ, пред-
ложимъ на судъ читателей начало шестнадцатаго па-
раграфа. Узнавъ, что «свободная, самосвѣдующая си-
ла, въ здоровомъ человѣкѣ, управляетъ всѣми дѣй-
ствіями души», вы тотчасъ находите, что «болѣзнь
душевная есть то состояніе, въ которомъ эта сила
*терять свое владычество надъ всѣми или надъ нѣ-
которыми только отправлениями* духовной жизни». Слѣдственно, присовокупите вы, человѣкъ, ума лишен-
ный, потому не пользуется правильнымъ самоопредѣ-
леніемъ, что свободная, самосвѣдующая сила *поте-
ряла свое владычество надъ нѣкоторыми отправе-
ніями* души? Отнюдь не то! Онъ не пользуется по-
тому, что «*лишенъ свободы, обрѣтающейся въ разу-
мъ и самосвѣденіи.*» Какъ свобода попала здѣсь въ

самосвѣденіе, когда она прежде составляла совокупно съ нимъ одну силу и дѣйствовала параллельно; кто лишилъ человѣка свободы — мы этого не знаемъ; но теперь свобода сидитъ уже въ самосвѣденіи и въ разумѣ, и вы ожидаете, что вамъ скажутъ: «Въ сей-то *потерь свободы, обрѣтающейся въ самосвѣденіи и въ разумѣ*, заключается истинное свойство душевныхъ страданій». Нѣтъ! По новѣйшему ученію вамъ говорятъ напротивъ: «Въ сей-то *потерь свободы и самосвѣденія* заключается истинное свойство», и проч. Свѣденіе тоже пропало безъ вѣсти! Нѣтъ человѣческаго вниманія, которое бы не растряслось впухъ, когда его повезутъ сорокъ страницъ по такимъ выбоямъ логики.

Когда дѣло идетъ о теоріи, не достаточно выписать ее положенія изъ книги, принятой болѣе или менѣе правильно въ руководство: надобно еще сродниться съ нею, надобно проникнуть во всѣ ея излучины, сообразить всѣ ея подробности. Тогда только можно или убѣдить ею читателя, или самому увидѣть ея неосновательность и отвергнуть ученіе, сначала насъ прельстившее. Еслибъ авторъ придерживался этого правила, онъ бы конечно освободилъ насъ отъ многихъ частей этой теоріи, и между прочимъ отъ цѣлой главы «О безсмертіи души человѣческой». Доказательства «новѣйшаго» ученія психіатріи въ пользу великой истины единственны! «Идея безсмертія, говоритъ оно, начертана уже въ физической природѣ, пбо всѣ силы оной, не смотря на измѣненіе формъ, постоянно пребываютъ»: Откуда же пріобрѣли мы эту

достоверность? Неужели четыре или пять тысяч лѣтъ исторіи нашего рода, не составляющихъ одной дециллионной части мгновенія въ сравненіи съ вѣчностью, даютъ намъ право заключать, что видимыя силы нашей солнечной системы безсмертны? Но вотъ главный силлогизмъ новѣйшаго ученія: «душа есть *сила*; а какъ въ природѣ даже физическія силы не разрушаются, слѣдственно, душа должна постоянно оставаться». Душа, по здоровой философіи есть духъ, или яснѣе и чтобъ избѣгнуть употребленія затруднительнаго слова «духъ», которое такъ часто было смѣшиваемо съ матеріальными дѣятелями — душа есть *мысль* Творца, отраженная въ тѣлѣ совершеннѣйшаго созданія, связывающая это созданіе съ совершеннѣйшимъ, абсолютнымъ существомъ, или Богомъ; устанавливающая нашу зависимость во всемъ отъ Бога, образуя постоянный невещественный проводникъ воли и благодати между нимъ и человѣкомъ; безсмертная потому, что она мысль, а не сила, которая разстраивается вмѣстѣ съ матеріею; управляющая нашимъ существованіемъ, и слѣдственно обязана отчетомъ въ своемъ управленіи тому же верховному разуму, изъ котораго сама происходитъ. Эта мысль мыслить въ насъ: она носится надъ нашимъ умомъ, воображеніемъ, разумомъ; одушевляетъ ихъ своимъ присутствіемъ, и употребляетъ какъ орудія для достиженія высшихъ, нравственныхъ, небесныхъ цѣлей. По этой мысли, по этой таинственной нити, соединяющей два совершеннѣйшія существа двухъ противоположныхъ природъ, стекаетъ наконецъ въ насъ

Слово Божіе, Откровеніе, и мы поставляемся въ положительномъ сообщеніи съ небомъ. Орудія этой мысли—умъ, воображеніе, разумъ—могутъ прійти въ замѣшательство отъ случайнаго разстройства физическихъ пружинъ и элементовъ, на игрѣ которыхъ основана ихъ дѣятельность: тогда она перестаетъ управлять ими, но сама не измѣняется въ своемъ выспреннемъ, отвлеченномъ существѣ. Орудія ея бываютъ больны: душа, духъ, мысль божества, поселенная въ нашемъ тѣлѣ, всегда здорова. Слѣдственно болѣзни, о которыхъ разсуждаетъ психіатрія, умственные, а не душевны, и ей нечего начинать свое ученіе странною теоріею о душѣ, восклицая: «Кто можетъ оспорить, что душа не одарена свѣту-подобнымъ началомъ, дѣйствующимъ съ безконечною скоростью, непримѣтнымъ для глаза, но содержащимся въ атмосферѣ?» Здравая логика можетъ оспорить это: мы не въ состояніи постигнуть насыщенія духа свѣтотворомъ, потому-что духомъ называемъ бытіе, противоположное матеріи.

Дѣло идетъ объ орудіяхъ души невещественной; объ умѣ, воображеніи, памяти, разумѣ и т. д.; и какъ эти орудія суть еще отвлеченія, то собственно патологическій вопросъ относится къ орудіямъ орудій, къ мозгу и нервной системѣ. Съ этой точки начинается такъ-называемая психіатрія, или душелеченіе, которое по-настоящему должноствовало бѣ именоваться нооятріей, умолеченіемъ; и авторъ лучше бы сдѣлалъ, еслибъ, въ изложеніи новѣйшаго ея ученія, оставивъ душу въ покоѣ, приступилъ прямо къ ис-

численію умственныхъ способностей, къ описанію ихъ органовъ и къ раздѣленію по нимъ болѣзней, которыя, какъ самъ онъ сознается, неправильно прозваны душевными. Съ этой точки и въ его книгѣ все свѣтло, опредѣлительно, любопытно: мы надѣемся, что и врачи будутъ столько же довольны этою частью сочиненія, сколько она доставила намъ удовольствія при обыкновенномъ литературномъ чтеніи, особенно послѣ рогатыхъ гипотезъ и противорѣчій первыхъ восемнадцати параграфовъ.

Мы не говоримъ однакожъ, чтобы и въ этихъ параграфахъ не заключалось мѣсть, достойныхъ вниманія, и счастливыхъ выраженій, и приведемъ въ примѣръ слѣдующія строки: «Душа представляетъ идеальное единство всѣхъ дѣйствій тѣлеснаго организма, котораго частныя отправленія суть какъ-бы переломленія душевныхъ силъ, подобно тому, какъ простой лучъ свѣта, посредствомъ стеклянной призмы, раздѣляется на множество цвѣтовъ. Тѣло человѣческое въ семъ отношеніи можетъ уподобиться стеклянной призмѣ, сквозь которую одинъ нераздѣльный лучъ души переломляется и обнаруживается множествомъ явленій». Это сравненіе весьма удачно, если только авторъ говоритъ здѣсь объ умственныхъ дѣйствіяхъ тѣлеснаго организма и объ умственныхъ явленіяхъ.

Ученіе, излагаемое авторомъ, признаетъ мозгъ и нервы непосредственными органами души. Это скорѣе органы органовъ ея, потому-что первыми исполнителями распоряженій души кажутся умственные наши способности, а мозгъ и нервы суть уже органы тѣхъ

способностей: человекъ сходить съ ума, лишается памяти, воображенія, разума, и проч., однакожъ душа нисколько въ немъ отъ этого не измѣняется.

Перейдемъ къ замѣчательнѣйшимъ явленіямъ душевныхъ болѣзней.

Психіатрія сдѣлала примѣчательное наблюденіе касательно религіозныхъ чувствъ умалишенныхъ: тогда какъ всѣ ихъ прежнія склонности и понятія получаютъ противоположное или превратное направленіе, вѣра неотступно остается при нихъ въ качествѣ утѣшительницы. «Правила религіи, говоритъ г. Бутковский, рѣдко оставляютъ сумасшедшихъ и въ то время, когда прочія познанія съ потерей разсудка кажутся погашенными». Это обстоятельство еще болѣе утверждаетъ насъ въ мысли, изложенной выше, что наши умственные способности суть не силы души, но первыя ея орудія, или подчиненные органы. Религія, кляймо божественнаго ея происхожденія, одна не покидаетъ ея и тогда, какъ всѣ прочія умственные силы испытали судьбу, постигшую организмъ, служащій къ ихъ выраженію. Религія есть эта мысль Творца, отраженная въ нашемъ тѣлѣ, которую мы называемъ душою. Она настоящая наружная форма духа, или души: всѣ прочія мнимыя формы суть слѣдствія организма, только совокупляющіяся въ ней, какъ въ общемъ центрѣ.

Съ той минуты, какъ душа перестаетъ предводительствовать отправленіями разстроенной машины ума, человекъ становится настоящимъ животнымъ и обнаруживаетъ склонности и свойства, приличныя раз-

нимъ породамъ четвероногихъ и пернатыхъ. Онъ ощущаетъ въ себѣ непреодолимое влеченіе къ воровству, къ плутовству, къ ссорѣ и дракѣ; чувство стыда, знаніе родителей и родныхъ, обыкновенно въ немъ исчезаютъ. Хитрость и мстительность въ высочайшей степени отличаютъ сумасшедшихъ. Они чрезвычайно любятъ повторять одно и то же дѣйствіе: робость, тоскливость и склонность къ гнѣву составляютъ также ихъ характеристическій признакъ. Притворство столь же могущественно господствуетъ въ домѣ сумасшедшихъ, какъ и въ большомъ свѣтѣ: они вообще недоувѣрчивы и скрытны, какъ почти всѣ животныя. И хорошія ихъ качества тѣ же, которыя обыкновенно примѣчаются у послѣднихъ: они помнятъ наказанія, боятся ихъ, благодарны къ своимъ попечителямъ, и имѣютъ познанія права и неправа въ отношеніи къ нимъ самимъ; музыка производитъ на нихъ большое вліяніе. Къ нѣкоторымъ лицамъ они чувствуютъ сильное отвращеніе, хотя видятъ ихъ впервые; напротивъ, при видѣ другихъ радуются безъ всякой причины, стараются быть привѣтливыми и заводятъ разговоры съ ними. Но какъ челоувѣкъ собственно принадлежитъ къ классу хищныхъ звѣрей, то склонности, свойственныя ихъ природѣ, приобрѣтаютъ въ безумныхъ полное и весьма опасное развитіе. Безпримѣрная свирѣпость и готовность къ убійству какъ другихъ, такъ и самого себя, часто встрѣчаются между ними: жажда крови бываетъ столь сильна, что лишенный ума, до наступленія припадка находится въ безпрестанной внутренней борьбѣ съ

ужаснымъ побужденіемъ убійства, и страхомъ или отвращеніемъ, которые оно имъ внушаетъ.

Большое отвращеніе къ горизонтальному положенію происходитъ у нихъ изъ причинъ чисто патологическихъ.

Мы не можемъ слѣдовать далѣе за авторомъ во врачебной части предмета, которая однакожь чрезвычайно занимательна, и нисколько не отзывается технической сухостью, по множеству любопытныхъ фактовъ и по умному ихъ изложенію. Важность и необыкновенная польза его труда еще скорѣе будутъ оцѣнены всѣми, когда мы скажемъ, что авторъ между прочимъ преподаетъ вѣрныя и самыя новѣйшія средства — какъ лечить людей отъ глупости. И не только глупыхъ, онъ лечитъ и дураковъ! Мы увѣрены, что наши читатели сейчасъ приобретутъ его книгу покупкою, чтобъ испытать предлагаемыя имъ средства на своихъ знакомцахъ.

1834.

ИСКУССТВЕННЫЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.

I.

По поводу сочиненій: 1. *Описаніе Санктпетербурскаго Заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ*, докт. Мейера, 2. *Медико-топографическія свѣдѣнія о Санктпетербургѣ*, и 3. *Описаніе минеральныхъ водъ*, Ф. Бѣлявскаго, 1834.

Принимая эти книги за основаніе предстоящаго разсужденія, мы впередъ объявляемъ, что критика наша

будетъ направлена болѣе на ихъ предметъ, нежели на содержаніе — и въ особенности на предметъ начальствующій. Мы всегда предпочитаемъ разбирать предметъ. Разборы содержаній мало приносятъ пользы читателю, и еще менѣе сочинителю: они не могутъ ни передѣлать, ни улучшить уже напечатанныхъ твореній. Одно разсматриваніе предмета способно вознаграждать трудъ читающаго и пишущаго результатомъ, достойнымъ любопытства перваго и издержки мыслей втораго.

Важнѣйшій вопросъ, рождающійся въ умѣ по прочтеніи этихъ книгъ, и сосредоточивающій въ себѣ почти все ихъ содержаніе, можетъ быть выраженъ слѣдующими словами: «Итакъ, нѣтъ сомнѣнія, что искусственныя минеральныя воды въ-состояніи всегда, во всякомъ климатѣ, при всякихъ мѣстныхъ обстоятельствахъ, совершенно замѣнить воды естественныя?» Этотъ-то вопросъ, повидимому совершенно медицинскій, но въ сущности своей задѣвающий глубочайшія соображенія естественной философіи, постараемся мы разсмотрѣть здѣсь въ надлежащей подробности, освободивъ его отъ всѣхъ техническихъ покрововъ, за которыми истина и ясность не имѣютъ надобности прятаться въ дѣлѣ, столь важномъ и для науки, и для человѣчества.

По первому изъ двухъ выставленныхъ здѣсь заглавій и по вопросу, который мы себѣ предложили, иные могли бъ подумать, что мы собираемся говорить о Заведеніи искусственныхъ минеральныхъ водъ, учрежденномъ въ Петербургѣ весною 1833 года. Мы

спѣшимъ вывести ихъ изъ заблужденія: отнюдь не хотимъ мы касаться ни словомъ, ни мыслию, обширнаго гигиеническаго предпріятія, общающаго столько удобствъ и пользы петербургскимъ жителямъ; мы будемъ разсуждать только объ общемъ, ученомъ предметѣ — сравнительной пользѣ водъ естественныхъ и искусственныхъ — и въ примѣненіи его къ мѣстности только о книгѣ г. Мейера, какъ о литературномъ произведеніи, состоящемъ въ той же связи съ нашимъ предметомъ, какъ и сочиненіе г. Бѣлявскаго, какъ и «Медико-топографическія свѣденія о С.-Петербургѣ», которыя, своими данными, необходимо входятъ въ тотъ же кругъ соображеній. Въ «Описаніи С.-Петербургскаго Заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ», должно отличить заведеніе, принадлежащее общественной пользѣ и благородному усердію ея основателей къ облегченію страждущаго человечества, отъ ученой теоріи, принадлежащей сочинителю «Описанія»: мы беремъ одну его теорію, и то, что объ ней скажемъ, будетъ примѣняться равномѣрно и къ сочиненію г. Бѣлявскаго во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ раздѣляетъ оно ея мнѣнія.

Минеральныя воды — предметъ чрезвычайно обширный, важный, столько же занимательный для политическаго экономиста, сколько и для естествоиспытателя. По новѣйшему исчисленію г. Лоншана (Longchamps), германскія воды каждый годъ приводятъ въ движеніе огромный капиталъ 111,000,000 рублей; французскія, только отъ 10 до 11 милліоновъ, хотя Франція — страна самая богатая въ гидро-минераль-

номъ отношеніи. Поэтому, можно сказать безъ преувеличенія, что минеральныя воды — главная отрасль народной промышленности Германіи и одна изъ важнѣйшихъ для всякой земли, которую природа облагодѣтельствовала ими: довольно сличить эту числовую величину съ произведеніями первѣйшихъ статей естественнаго богатства Франціи, напримѣръ — съ продажею дровъ и лѣсу, которая въ годъ приноситъ только 112,000,000 франковъ — съ желѣзными заводами, на которые употребляются 132 милліона — или съ разработкою каменнаго угля, которая ограничивается скуднымъ оборотомъ 18 милліоновъ. Такія числа могутъ подать занимающимся наукою государственнаго богатства поводъ къ прекраснымъ и полнымъ итогами размысленіямъ; и каждый изъ насъ, съ перваго взгляда, оцѣнить всю пользу для своего отечества отъ замѣщенія естественныхъ минеральныхъ водъ искусственными, ежели за первыми надобно ѣхать въ чужіе краи. Тождество водъ естественныхъ и искусственныхъ въ этомъ отношеніи допускаемъ мы въ полной мѣрѣ, и совершенно согласны въ томъ, что для политической экономіи «воды искусственныя часто могутъ быть полезнѣе естественныхъ»; но мы говоримъ здѣсь о вліяніи водъ не на здоровье карманныхъ, а на здоровье тѣлъ, которымъ принадлежать карманы, въ особенности о теоріи, предполагающей безусловное тождество произведенія природы и произведенія аптекаря, ежели природа и аптекарь вздумаютъ производить что-нибудь въ одно и то же время.

Эта теорія произтекаетъ отъ началъ, тѣсно связан-

ныхъ съ современнымъ состояніемъ естественной философіи, и которыхъ должны мы сперва коснуться.

Въ нынѣшней естественной философіи, явно или тайно, существуютъ двѣ школы: одна вѣрить всеобщей жизни, проявляющейся собственными средствами въ каждомъ атомѣ созданія; другая, принявъ за основаніе химическій анализъ и совершенный матеріализмъ, отвергаетъ, гонитъ, провозглашаетъ небывалымъ и невозможнымъ все, чего не можетъ понять при исключительномъ пособіи причинъ физическихъ и мертвыхъ. Выбора той или другой школы частнымъ ученымъ лицомъ не должно приписывать большей или меньшей ясности и убѣдительности ихъ учений: это обыкновенно дѣло случая, особеннаго взгляда на предметы, несоразмѣрнаго содержанія началъ религіозныхъ и пріобрѣтенныхъ свѣденій въ составѣ ума, даже извѣстнаго рода инстинкта, который сильнѣе развертывается при первой теоріи, и совсѣмъ исчезаетъ при второй. Оба эти ученія такъ независимы, такъ противоположны, что ихъ нельзя и сравнивать между собою; но то вѣрно, что чѣмъ болѣе человѣкъ предается химизму земнаго шара, тѣмъ болѣе съ одной стороны умножается число открытій, и тѣмъ менѣе съ другой родится въ душѣ его сильныхъ и великихъ мыслей, тѣмъ примѣтнѣе стѣсняется кругъ его генія. Разлагая все на части, частицы, пылинки, пары, которые за невозможностію разлагать далѣе, кажутся ему на нѣкоторое время началами вещей, онъ мало-по-малу превращается въ настоящаго провизора, разсуждаетъ золотниками и гранами, готовъ

столочь въ иготи всю природу, и надѣется, смѣшавъ порошки въ стаканѣ, вылить изъ нихъ новую, совершенно такую же природу. Должно замѣтить, что мысль, самая великая, самая благодѣтельная для человѣчества послѣ христіанской религіи, мысль, которую можно почти назвать человѣческимъ откровеніемъ, вспыхнула именно въ головѣ, соединявшей въ себѣ идею всеобщей жизни съ анализомъ матеріи — въ головѣ Ньютона, освѣщенной лучами откровенія Божія, которыя приводили умъ его въ сообщеніе съ духовнымъ началомъ міра. Я не думаю, чтобы мысль Ньютона могла родиться въ головѣ чистаго химика!

Есть два средства объяснять вещи — одно невѣжественное, другое ученое; но второе большею частью бываетъ только переводъ перваго мудренѣйшими словами, а вещь все-таки остается необъясненною. Въ ту самую минуту, какъ* я пишу эти строки, первый зимній снѣгъ покрываетъ землю. Недавно еще, гуляя въ своемъ маленькомъ саду, съ любопытствомъ слѣдилъ я за постепеннымъ омертвѣніемъ природы, за хамелеонными перемѣнами окружавшаго меня прозябенія, за неприѣтнымъ, но дѣятельнымъ переходомъ листьевъ деревъ моихъ отъ зелени веселой и ясной къ темной и унылой, потомъ желтой, коричневой, сѣрой. — «Знаешь ли, отчего эти листья желтѣютъ и падаютъ?» спросилъ я у своего дворника. «Какъ не знать!» воскликнулъ онъ. — «Ну отчего?» — «Оттого, что теперь осень.» — Мой ученый пріятель пожаловалъ ко мнѣ въ это время, и я предложилъ ему тотъ же вопросъ: онъ тотчасъ объяснилъ мнѣ, что листья

падаютъ потому, что органы совершили и кончили свои отправленія, а пожелтѣли они не одинаково отъ различнаго количества соединившагося, удержаннаго или изринутаго кислорода. Это очень основательно; но я столько же знаю, послѣ объясненія моего ученаго друга, настоящую причину этого удивительнаго процесса природы, какъ и послѣ объясненія моего дворника.

Но дѣло кончено — листья опали — теперь на дворѣ снѣгъ. Бѣлый его цвѣтъ есть цвѣтъ савана, въ который природа завертываетъ мертвые или омертвѣлыя останки огромнаго органическаго царства. Но подъ этимъ саваномъ тлѣютъ великіе зародыши жизни, которые ввѣрили себя попеченію этого увядшаго листа, этой ржавой коры, этихъ усыпленныхъ корней: вы найдете тамъ миллионы мошекъ, комаровъ, букашекъ, неисчислимыя тмы насѣкомыхъ въ яичкѣ, въ червячкѣ, въ златницѣ, запершіяся въ гнѣздахъ, свитыхъ съ дивнымъ инстинктомъ цѣлей бытія, и ожидающія волшебныхъ лучей теплоты и свѣта, чтобы снова явиться міру, чтобы новымъ проявленіемъ жизни, новыми силами, новымъ и для нихъ самихъ непонятнымъ движеніемъ, новымъ того жъ свѣта и той же теплоты усвоеніемъ, отраженіемъ, переломленіемъ, способствовать тому всеобщему кипѣнію жизни, которое мчитъ и вращаетъ нашъ шаръ, которое понуждаетъ его элементы къ непрерывнымъ измѣненіямъ формы, которое опять эту форму перерабатываетъ въ неизвѣстную матерію. Сколько жизни, сколько движенія, чудесь, тайнъ, можетъ проявиться вдругъ на этой

сотнѣ квадратныхъ саженой! Еслибъ собрать, слить въ одну массу, какъ то дѣлаетъ природа, силу этого муравья, двигающаго тяжести, превосходящія въ срокъ разъ вѣсь его тѣла — пружины крыль этихъ мошекъ, совершающихъ столь длинные пути безъ усталости — жужжаніе этихъ комаровъ, которыхъ легкія прозрачныя весла такъ ощутительно потрясаютъ воздухъ; еслибъ сложить въ одно силу, помыкающую сотни ножекъ этого червя — свойство прозрачныхъ членовъ этой бабочки, разбивающей свѣтъ въ тысячу цвѣтовъ — упругость этого ничтожнаго сверчка, который, скрипя своимъ крылышкомъ, столько разъ проскочилъ подъ моими ногами — и ко всѣмъ этимъ частичнымъ силамъ присовокупить ту великую распорядительную, строящую силу, которая всѣ эти, большею частью незримыя, существа содержитъ въ извѣстномъ и постоянномъ видѣ, которая всѣ эти чешуйки, пылинки, скорлупы и паутины нарисовала и стерла, спряла, склеила, и опять изорвала, и опять возсоздаетъ попрежнему — какой изумительный итогъ тайнъ и могущества представится уму нашему, мечтающему уже, что онъ все постигъ и все знаетъ! И между-тѣмъ, сколько людей проходятъ мимо этой величественной загадки, природы, смотрятъ на нее безъ любопытства, минуютъ съ презрѣніемъ, или даютъ ногами, не пожелавъ даже вникнуть, разобрать, постичь! Сколько, съ другой стороны, такихъ, которые, стоя подлѣ этой загадки, совершенно увѣрены, что теплота ихъ оранжерейныхъ печей одно и то же съ

теплотою весны и лѣта; что искра, изринутая громомъ, и та, которую ихъ кухарка выронила изъ очага — произведенія одинаковаго свойства; что между свѣтомъ солнца, кенкета, самородныхъ огней въ Джоалѣ и блестящаго въ темнотѣ червячка вся разница въ пропорціи свѣтотворнаго начала! Когда клочокъ грязной почвы, подернутый на-время слоемъ снѣга, скрываетъ отъ насъ столько тайнъ жизни, такую массу дѣйствій и непостижимаго могущества, какъ же мы — мы, разогрѣтые тою же теплотою и тѣмъ же свѣтомъ златницы — какъ же мы смѣемъ, въ искусственныхъ нашихъ скорлупахъ, слѣпленныхъ изъ волоконъ, шерсти, известки и песку, мечтать въ то самое время, что мы всю эту жизнь обняли и разгадали; что уже нѣтъ ничего сокровеннаго для ума нашего; что циркуль учителя, забавлявшій насъ въ юности — мѣрило всемогущества Того, Кто создалъ и двинулъ міръ, живущій стройно и за-одно на всемъ протяженіи пространства, и что то, чего не хватаетъ циркулю, не имѣетъ бытія и существовать не можетъ? Какъ дерзаемъ, на этомъ ложномъ, безобразномъ началѣ, прельщающемъ одну лишь самонадѣянность, воздвигать теоріи, внушающія мысль, будто мы, нашимъ искусствомъ, въ состояніи не только сравняться съ мудростью природы, но еще перещеголять ее въ нужномъ случаѣ? Какъ можемъ тратить на доказываніе подобныхъ несообразностей ту жизнь, которой цѣли не постигаемъ собственными средствами, и которой явленія въ другихъ, менѣе совершенныхъ существахъ, населяющихъ нашу планету, во всякомъ слу-

чаѣ сильно способствуютъ поглощающему насъ цѣлому въ достиженіи общаго назначенія, предначертаннаго ему премудростью Творца? Посмотрите на этихъ безсловесныхъ животныхъ, которыя, будучи одержимы ведугомъ, безъ пособія науки отыскиваютъ себѣ цѣлебныя травы! на это систематическое распредѣленіе всюду страданія и удовольствія, зла и средства къ его отвращенію, болѣзни и лекарства! Много восхищались въ послѣднее время блистательнымъ замѣчаніемъ доктора Белля, о томъ, что средній объемъ человѣческаго тѣла такъ уравновѣшенъ съ объемомъ земнаго шара, что еслибъ уменьшить или увеличить землю и ея притягательную силу одною сотою частію, человѣкъ не могъ бы двигаться, и слѣдовало бъ пересоздать все его устройство. У насъ, не хвастая, давно водилась мысль еще блистательнѣе: намъ всегда казалось, что человѣкъ не только соразмѣренъ толщѣ своей планеты, но что онъ состоитъ въ тѣсной связи даже со всѣми ея частями, наружными и внутренними, отъ ея поверхности до самаго центра; что его физическое и нравственное устройство, его благосостояніе, здоровье, страсти и умственные способности соображены въ величайшей точности со всѣми частями, составляющими шаръ нашъ, и съ каждою изъ нихъ въ особенности; что золото было зарыто въ землѣ, и жадность къ золоту была зарыта въ нашемъ сердцѣ, прежде нежели мы увидѣли другъ друга; что алмазъ былъ еще спрятанъ въ нѣдрахъ камня, а тщеславіе и радость, улыбающаяся блеску, были уже приготовлены въ насъ для алмаза; что сила нашего сообра-

женія заранѣе была уравниваема съ двигательною силою паровъ; что источникамъ минеральныхъ водъ назначено кипѣть для того, что человѣку назначено подвергаться удрученіямъ отъ разныхъ физическихъ дѣятелей; что слѣдственно эти источники находятся въ преднамѣренной общности бытія съ этими дѣятелями и дѣятели съ ними; что еслибъ не было болѣзней, не было бъ и минеральныхъ водъ въ земной природѣ, и обратно; что всѣ члены и части планеты съ ея человѣкомъ и съ его умомъ образуютъ вмѣстѣ одно нераздѣльное цѣлое; что между этою букашкою, этимъ деревомъ, этимъ цвѣткомъ, этою горою и мною, есть непримѣтное существенное соотношеніе, котораго я только разгадать не умѣю, но которое тѣмъ не менѣе дѣлаетъ cadaго изъ насъ необходимо нужнымъ другъ другу; что наконецъ, если бъ перенести человѣка на другую планету, даже равной толщи съ землею, но лишенную малѣйшей доли того, что находится на землѣ, жизнь его пришла бы тамъ въ упадокъ, или по-крайней-мѣрѣ была бы неполною и трудною. Это всегдашняя наша идея: она можетъ быть ложною, но стоить всякой другой.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что человѣкъ не въ силахъ произвести посредствомъ искусства что-либо безусловно-тождественное съ тѣмъ, что произвела природа, потому-что, для этого, ему нужно было бы обладать мыслию, предводительствовавшею устройствомъ нашей планеты, знать всѣ ея намѣренія, и располагать всѣми ея средствами и способами.

Искусственные минеральныя воды, въ нынѣшнемъ ихъ состояніи, безъ-сомнѣнія принадлежать къ числу самыхъ важныхъ открытій, до какихъ только умъ и инстинктъ человѣческій могли достигнуть. Хотя извѣстный Струве дошелъ до него по пути, снабженному многими маяками, освѣщавшими отдели и опасныя мѣста, никто однакожь не станетъ оспаривать дани, слѣдующей его геніальнымъ помысламъ. Разборъ доказательствъ въ пользу и противъ искусственныхъ водъ завлекъ бы насъ слишкомъ далеко за предѣлы статьи, такъ-какъ изъ однихъ сочиненій, писанныхъ объ этомъ предметѣ, можно было бы составить цѣлую библіотеку. Скажемъ скорѣе свою мысль — результатъ чтенія этихъ сочиненій, измѣненный собственными понятіями.

Нынче, въ 1834 году, никто не скажетъ, чтобы искусственныя минеральныя воды не были *очень похожи* на воды естественныя. Это сходство опирается отчасти на химическомъ анализѣ, отчасти же на грубѣйшемъ доказательствѣ — чувствѣ вкуса, и, въ заведеніяхъ, гдѣ совѣстливая точность руководствуетъ ихъ производствомъ, и тотъ и другое бывають почти удовлетворены. Но мы знаемъ по опыту вѣковъ, черезъ какія унизительныя заблужденія долженствовала проходить химія, пока возвысилась до степени, на которой стоитъ въ наше время; да и нынѣшнее ея положеніе непрерывно измѣняется новыми открытіями. То, что лѣтъ десять тому назадъ почиталось доказанною истиною, теперь нерѣдко называется грубою ошибкою. Химическія аксіомы, хотя и единственные

путеводители наши въ темномъ лабиринтѣ природы, представляютъ то неудобство для теорій, что никакъ нельзя ручаться въ ихъ непоколебимости. Впрочемъ, какъ замѣчаетъ Алиберъ, «химія въ отношеніи къ минеральнымъ водамъ то же, что анатомія въ отношеніи къ человѣческому тѣлу: но ни та, ни другая, всего показать не можетъ». Нынѣшняя химія и тѣ, кто дѣлаетъ искусственныя воды, признаются сами, что въ природныхъ минеральныхъ водахъ есть какія-то соли, какое-то экстрактное вещество, которыхъ никакъ нельзя поймать, и они или замѣняютъ ихъ въ своихъ составахъ другими снадобьями или вовсе ихъ пропускаютъ. Даже вдавливаніе въ искусственные составы осадковъ, находящихся на берегахъ природныхъ источниковъ, отнюдь не то, что природное раствореніе ихъ въ водѣ. Напротивъ, самое то обстоятельство, что они осадились и вышли изъ состава, доказываетъ, что они другаго свойства, что они должны быть произведеніе уже совершившейся переработки. Извиненіе этимъ недостаткамъ стараются найти въ томъ, что количества недостающихъ веществъ весьма незначительны, и что дѣйствіе ихъ должно исчезать въ общемъ составѣ. Но естественныя минеральныя воды, кромѣ другихъ чудесныхъ качествъ, именно тѣмъ и примѣчательны, что, въ данной ихъ массѣ, количество составныхъ началъ такъ мало, такъ ничтожно, что всякое лекарство изъ числа невинныхъ, прописываемыхъ врачомъ въ шутку, *pro forma*, заключаетъ въ себѣ гораздо болѣе свойствъ, могущихъ дѣйствовать на человѣческое тѣло! Между-

тѣмъ дѣйствіе этихъ водъ возрастаетъ въ геометрическомъ содержаніи сравнительно съ дѣйствіемъ сильнѣйшихъ аптечныхъ лекарствъ! Поэтому, весьма позволительно думать, что всякая и даже малѣйшая неполнота составныхъ частей, всякое замѣщеніе неизвѣстнаго вещества другимъ, должны въ томъ же геометрическомъ содержаніи уменьшать дѣйствіе воды и цѣлебныя ея свойства. Знаменитый химикъ Берцеліусъ, сверхъ всѣхъ доселѣ извѣстныхъ составныхъ частей, открылъ недавно въ минеральныхъ водахъ два новыя, коренныя, электро-отрицательныя начала, двѣ кислоты, которыя назвалъ онъ *acidum stemicium* и *acidum arostemicium*, и которыя, какъ утверждаютъ, именно и суть это неизвѣстное экстрактивное вещество. Конечно, когда эти двѣ кислоты войдутъ въ составъ искусственныхъ водъ, для дополненія хотя отчасти недостатка, до-сихъ-поръ въ немъ существовавшего, это уже будетъ большой шагъ къ ихъ совершенству; но тотъ самый шагъ жестоко пристыдитъ тѣ лица, которыя донинѣ ручались въ тождествѣ водъ природныхъ и искусственныхъ.

Предубѣжденіе или дѣйствительная правда — но авторъ этой статьи не всегда находилъ въ водахъ искусственныхъ вкусъ, совершенно сходный съ тѣмъ, какимъ отличаются естественныя; и пузырьки газа, освобождающагося изъ первыхъ, кажутся ему больше, обильнѣе и сильнѣе, нежели какъ бы слѣдовало для надлежащаго тождества съ природою, которую въ этомъ случаѣ искусство явно перещеголяло — если не мудростью, такъ по-крайней-мѣрѣ количествомъ.

Эти по-видимому незначительныя разности имѣютъ тѣ-
 который вѣсь въ лекарьствѣ, и безъ того уже дѣй-
 ствующемъ на наше животное строеніе, такъ-сказать,
 гомеопатически, то есть чрезвычайно малыми долями
 дѣлительнаго вещества. Что касается до теоріи, на-
 зываемой шутливѣйшими изъ химиковъ мистическою,
 которая теплоту естественныхъ минеральныхъ водъ
 почитала и почитаетъ за теплотворъ органической,
 то она, въ досадѣ ея противниковъ, находитъ себѣ
 подтвержденіе не только во множествѣ прекрасныхъ
 мыслей и непреодолимыхъ истинъ, придающихъ все-
 общей жизни міра большую вѣроятность, но и въ
 свидѣтельствѣ человѣческаго рта, который въ томъ
 согласенъ, что естественныя воды можно принимать
 безъ вреда въ такой температурѣ, въ какой искус-
 ственныя, согрѣтыя обыкновенными средствами этого
 рода приборовъ, обожгутъ вамъ языкъ и губы. По-
 тому, между качествомъ теплотвора водъ естествен-
 ныхъ и внутренностью человѣка есть какое-то пред-
 установленное сродство, котораго производители ис-
 кусственныхъ водъ поддѣлать не въ силахъ, а это
 качество очень сходствуетъ съ явленіями теплоты
 органической, или животной: подобная термометриче-
 ская разница замѣчается во многихъ лихорадочныхъ
 болѣзняхъ, гдѣ ощущеніе жара въ страждущемъ и въ
 осматривающемъ бываетъ гораздо сильнѣе, нежели какъ
 слѣдовало бы ожидать, судя по указанію приложеннаго
 къ тѣлу термометра. Извѣстный докторъ Рустъ гово-
 ритъ, а г. докторъ Мейеръ повторяетъ за нимъ, очень
 справедливо, что теплота обыкновенной печки такъ

же славно выводить цыплятъ изъ яицъ, какъ и теплота органическая сидящей на нихъ курицы; но *est modus in rebus* — всему есть мѣра — даже и сравненіямъ! Намъ кажется, что между цыпленкомъ и человѣкомъ существуетъ маленькая, непримѣтная разница — а именно, что человѣкъ не цыпленокъ; что онъ не выклевывается изъ куриного яйца, и что на его органахъ нѣтъ той твердой шелухи, которая для заключеннаго въ ней птенца умѣряетъ жгучее впечатлѣніе теплоты искусственной. Еслибъ г. Русть сказалъ, и г. Мейеръ повторилъ за нимъ, что человѣкъ такъ же славно выклевывается въ печкѣ изъ куриного яйца, какъ изъ чрева своей матери, аргументъ былъ бы гораздо убѣдительнѣйшій. Но мы готовы допустить даже, что между человѣкомъ и цыпленкомъ, между теплотою мертвою и живою, нѣтъ никакой разницы: все-таки остается неоспоримымъ, что различный образъ вліянія одной и той же теплоты производитъ весьма ощутительное различіе въ своихъ результатахъ: пусть извѣстный докторъ Русть прикажетъ взять пару цыплятъ, выведенныхъ искусственнымъ образомъ, и сжарить одного на вертелѣ, а другого въ англійской печкѣ; пусть потомъ ихъ отвѣдаетъ, и скажетъ намъ, нѣтъ ли разницы во вкусѣ ихъ мяса, хоть теплота, главный дѣятель приготовленія, была однородная! Кому неизвѣстно, что, желая сдѣлать сахарную воду, *eau sucrée*, совершенно вкусною, должно приправлять ее сахаромъ въ кускахъ: сахаръ толченный, тертый, скобленный — коль-скоро онъ въ порошокъ — сообщаетъ ей и другой вкусъ, и

запахъ задхлости, и мутность, которой нельзя истребить даже долгимъ временемъ. Дѣло о цыплятахъ, жареныхъ на вертелѣ и въ печкѣ, давно рѣшено гастрономами, а явленіе, представляемое сахарною водою было, въ первый разъ открыто за обѣдомъ славнымъ и остроумнымъ эпикурейцемъ, г-мъ Брилля-Савареномъ, который, предложивъ его въ видѣ ученаго вопроса членамъ Французскаго Института, подалъ въ свое время поводъ этой Академіи къ презабавнымъ преніямъ, кончившимся однакожъ утвержденіемъ факта, чрезвычайно важнаго въ техническомъ отношеніи.

Какъ легкомысленно ученые толпы провозглашаютъ *безусловность* началъ, создаваемыхъ высшими геніями при изслѣдованіи истины, какъ слѣпо и отчаянно предаются этой безусловности, мы видимъ доказательство тому въ самой исторіи заблужденій медицины. Каждая изъ извѣстныхъ нынѣ врачебныхъ теорій, имѣя на свою долю не болѣе нѣсколькихъ гранъ дѣйствительности, привлекаетъ къ себѣ цѣлыя рати послѣдователей, которыя взираютъ другъ на друга съ жалостью, съ презрѣніемъ, съ вражескимъ гнѣвомъ. Ожесточеніе ученыхъ партій обыкновенно доходитъ до того, что, для поддержанія разъ принятыхъ мнѣній, воинствующіе изыскатели истины закрываютъ себѣ глаза и уши, чтобъ не видѣть и не слышать никакихъ доводовъ. Такимъ образомъ. считается нынче новою и неопровержимою теорія вулканическаго образованія минеральныхъ водъ; такимъ образомъ теорію раствореній прославили умственнымъ богатствомъ нашего вѣка. Нѣсколько чертъ наружнаго сходства принима-

ють за явное тождество самихъ предметовъ, и такъ-какъ вулканическіе огни скрываются въ нѣдрахъ земли, изъ которыхъ вытекаютъ тоже истоки кипучей воды, то вы и должны вѣрить, подь корою невѣжества, что минеральныя воды происходятъ отъ вулкановъ, которыхъ огонь ничѣмъ не умнѣе огня вашей кухни. Простите насъ за сравненіе — но мы боимся, чтобъ эта теорія не походила на ту, которую голые фанъ-дименскіе мудрецы составили для голыхъ фанъ-дименскихъ невѣждъ, о происхожденіи ружейнаго огня: у дикарей есть тоже свои мудрецы и свои невѣжды! Когда Англичане принуждены были дѣйствовать военною силою противъ туземцевъ фанъ-Дименовой земли, эти добрые люди, примѣчая, что стрѣляющіе въ нихъ солдаты сперва кладутъ руку позади себя, потомъ придвигаютъ ее къ какой-то пищали, потомъ вдругъ швыряютъ въ нихъ огнемъ сквозь пищали — эти добрые и смѣтливые люди заключили съ достовѣрностью, что одна часть тѣла сыновъ Британіи есть неугасимый очагъ, откуда они поминутно хватаютъ огонь горстью, чтобъ метать имъ въ противниковъ. И не думайте, чтобы фанъ-дименскіе теоретики были менѣе упрямы чѣмъ европейскіе, когда они однажды хорошо обдумаютъ свое мнѣніе и принасутъ для него доказательства! Даже личный, на тѣлахъ убитыхъ Англичанъ, осмотръ частей, показавшихся имъ огнедышащими, не могъ удостовѣрить ихъ въ томъ, чтобъ тутъ не было волкана, тлѣющаго гдѣ-нибудь внутри, или уже потухшаго — и какъ послѣднее было согласнѣе съ правдоподобіемъ, то они остались убѣжденными

болѣе чѣмъ когда-либо въ вулканическомъ происхожденіи пламени, вырывающагося изъ ствола европейскаго «лука».

Заблужденія этого рода независимы отъ образованности заблуждающихся: они, напротивъ, и по несчастію, законъ человѣческой природы, одинаково проявляющійся въ людяхъ просвѣщенныхъ и непросвѣщенныхъ — одна изъ коренныхъ формъ ума нашего, который завистливо смотритъ на тайны природы, съ жаромъ подхватываетъ всякую мысль, объясняющую ему ея дѣйствія, и на этой мысли спѣшитъ воздвигать себѣ выводы, льстящіе его самолюбію. Съ послѣдняго вѣка свѣтъ наукъ усилился въ удивительномъ содержаніи, и можно сказать безъ преувеличенія, что нынче десятилѣтній мальчикъ знаетъ болѣе стариннаго мудреца: но кто, читая сочиненія предковъ нашихъ, не поражался тою рѣшительностью, съ какою они притворялись вѣрующими, или въ самомъ дѣлѣ вѣрили наивно, что уже все знаютъ; съ какою объясняли явленія, понимаемые теперь совсѣмъ другимъ образомъ, и хвастали просвѣщеніемъ своего времени? Не такъ ли твердо Арнольдъ, славный алхимикъ неаполитанскаго короля Роберта, былъ убѣжденъ въ неопровержимости своей теоріи, когда, смѣшавъ разныя снадобья, казавшіяся ему нужными, уже началъ было дѣлать человѣка въ ретортѣ, какъ въ нынѣшнее время тѣ, которые берутся производить естественные алмазы и минеральныя воды? То, что мы сказали о разницѣ между просвѣщеніемъ временъ прошедшаго и настоящаго, безъ всякаго сомнѣнія будетъ

повторено нашими потомками, когда стануть они сравнивать себя съ нами; и десяти-лѣтній мальчикъ двадцать-пятого столѣтія едва ли не будетъ провозглашенъ ими знающимъ болѣе г. Окена, который все знаетъ. При этомъ направленіи химическаго анализа къ мертвому, механическому матеріализму должно опасаться одного — чтобы химія, забывая о духѣ, поклоняясь одной матеріи, разлагая да разлагая, не кончила полезныхъ и благородныхъ трудовъ своихъ такими же сумасбродствами, какими алхимія завершила свои, и чтобы когда-нибудь не написали объ ея труженикахъ того, что сказано въ одномъ мѣстѣ объ Арнольдъ: *Hunc Arnoldum eo dementiae venisse constat, ut se hominem perfectum chymica arte perfecisse jactaret, et cum jam, inquit in vitro chymico embryonem, omnibus organis membrisque praeditum, comperisset, ab opera destituisse, ne Deum ad animam ei rationalem infundendam cogere videretur.* *Kir. De lapid. philos., xj. 295.*

Приводя всѣ эти соображенія къ одной точкѣ, скажемъ коротко и ясно мнѣніе наше объ искусственныхъ минеральныхъ водахъ: мы утверждаемъ, что онѣ великое открытіе для искусства, большое благодѣяніе для человѣчества, но что онѣ и воды естественныя отнюдь не «одно и то же»: во всякомъ случаѣ, ихъ можно или почитать за суррогатъ, то есть вещество подставное, употребляемое за недостаткомъ другаго, настоящаго, или причислить къ разряду аптечныхъ лекарствъ, съ тѣмъ только превосходствомъ передъ послѣдними, что онѣ производятъ малыми прие-

нами дѣйствіе гораздо сильнѣйшее нашихъ аптечныхъ лекарствъ — что всегда выгодноѣ для человѣческой природы. Всякіе суррогаты умножаютъ наши способы и средства уменьшеніемъ издержекъ. Во время Наполеона, когда хина продавалась почти на вѣсь золота, врачебное искусство обогатилось многими снадобьями, которыми удачно лечили отъ лихорадокъ, и лечатъ. Кто не отвѣдывалъ Румфордовой похлебки съ благодарностью къ ея изобрѣтателю, хотя самъ предпочитаетъ питаться бульономъ и консомме изъ свѣжаго и хорошаго мяса? Которая изъ актрисъ не благословитъ изобрѣтенія страссовъ и семилора, хотя отъ души хотѣла бы употреблять вмѣсто ихъ настоящіе брилліанты? Какъ пылкіе приверженцы знаменитаго открытія, и директоры основанныхъ на немъ заведеній въ Европѣ, ни убѣждены и ни убѣждаютъ другихъ, что воды природныя и искусственныя, въ нынѣшнемъ ихъ состояніи, совершенно одно и то же, но мы увѣрены, что бесѣдуя наединѣ съ совѣстью, сами они предпочитаютъ тѣ, которыя производитъ благодѣтельница — природа, и въ душѣ отдають имъ полное преимущество — особенно когда дѣло идетъ о собственномъ ихъ здоровьѣ. Несмотря на всю свою самонадѣянность, нельзя не имѣть большаго довѣрія къ мудрости, устроившей насъ и вселенную, чѣмъ къ своему искусству!

Мы во многомъ согласны съ мнѣніями почтеннаго автора «Описанія С.-Петербургскаго Заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ» — во-первыхъ, согласны въ томъ, что книга его *небольшая* — во-вто-

рыхъ, что цѣлю Заведенія, какъ онъ прекрасно выражаетъ это однимъ, общимъ словомъ, есть *цѣленіе*; но послѣ всего сказаннаго выше, онъ конечно не потребуетъ ни отъ насъ, ни отъ нашихъ читателей, согласія на то, что искусственныя воды *часто* бываютъ еще *лучше* природныхъ. Въ числѣ доказательствъ авторъ, по примѣру другихъ ученыхъ, приводитъ ту изъяснимую выгоду, что, при поѣздкахъ на теплыя воды, потеря времени и издержекъ, происходящая отъ ошибочнаго выбора одного рода водъ вмѣсто другаго, болѣе приличнаго состоянію страждущаго лица, не вознаградима, между-тѣмъ какъ въ заведеніяхъ искусственныхъ водъ стоитъ только перейти отъ одного крана къ другому, чтобъ исправить ошибку, и отыскать минеральный ключъ, соотвѣтствующій болѣзни. Да гдѣ жъ на это criterium? гдѣ то мѣрило, которое бы вдругъ показывало, что такая-то искусственная вода не соотвѣтственна вашей болѣзни, и что вы должны путешествовать къ другому крану. Одно время рѣшаетъ это! Неужели до-сей-поры никому неизвѣстно, что при употребленіи равно водъ искусственныхъ, какъ и водъ естественныхъ, страждущіе подвергаются такимъ перемѣнамъ, которыя, хотя и усиливаютъ ихъ болѣзненное состояніе, не доказываютъ однакожъ дурнаго выбора воды? Часто даже самыя благодѣтельныя послѣдствія для здоровья пациента получаются только черезъ это усиленіе болѣзненнаго состоянія; часто оно бываетъ предвѣщаніемъ самыхъ блистательныхъ успѣховъ, хотя ни врачъ, ни больной не понимаютъ его смысла; часто извѣстная

вода причиняетъ вамъ кажущійся вредъ въ первое лѣто, а возвращеніе къ той же водѣ на другой годъ даритъ васъ кореннымъ исцѣленіемъ. Удобства этихъ путешествій отъ одного крана къ другому состоятъ въ явномъ противорѣчій съ тѣмъ, что самъ авторъ общаетъ паціентамъ, говоря: «если послѣ *продолжительнаго* употребленія извѣстнаго числа стакановъ минеральной воды, достигается цѣль желаемая, «то приемъ уменьшается». А если послѣ *продолжительнаго* употребленія цѣль не достигается? Чѣмъ тогда вознаградить авторъ больному потерю времени? Въ доказательство тому, что двусмысленные признаки дѣйствія водъ могутъ долго и бесполезно удержать больного у одного и того же крана, прежде чѣмъ его соотвѣтственность недугу сдѣлается несомнѣнною, мы приведемъ собственныя слова г. Мейера:

«Больные чувствуютъ слабость, волненіе въ тѣлѣ, «разстроенный духъ, и иногда соединеніе съ мрачными мыслями, что леченіе не поможетъ; апетитъ, «хорошій въ началѣ, пропадаетъ; изверженія посредствомъ кожи и первыхъ путей также становятся «мѣнѣе, сонъ безпокойный—словомъ больной сердится, «и все не по немъ».

Больной сердится! Но мы надѣемся, что директоръ заведенія не сердится—какъ скоро больной исправно пьетъ воду. Авторъ разбираемаго «Описанія», раздѣливъ свой предметъ на два очень замысловатые вопроса, и принимаясь объяснять публикѣ, въ первой части, то, чего она, публика, требуетъ отъ подобнаго заведенія, а во второй, то, чего подобное заведеніе

требуетъ отъ нея, публики, вѣроятно, не подумаль, что насмѣшники могли бѣ очень логически отвѣчать на второй его вопросъ эпиграммою. Чего требуетъ подобное заведеніе отъ пьющихъ воды? Мы сказали бы — жажды! Авторъ книги отвѣчаетъ иначе — потому что книги никогда не отвѣчаютъ прямо на вопросъ: онъ говоритъ, что этого рода заведеніе требуетъ отъ больного, во-первыхъ довѣрія къ водамъ; во-вторыхъ, времени и удаленія вліяній, препятствующихъ леченію; въ-третьихъ, совѣта дѣйствительнаго врача; въ четвертыхъ, послѣдованія правиламъ діеты и употребленія водъ. Здѣсь начинается второй важный предметъ нашей критики — примѣненіе искусственныхъ минеральныхъ водъ въ данной мѣстности; и какъ эта мѣстность, въ настоящемъ случаѣ, есть огромный, многолюдный городъ, находящійся въ особенныхъ атмосферическихъ и топографическихъ обстоятельствахъ, то, къ крайнему прискорбію, мы должны сказать откровенно, что совсѣмъ другихъ видовъ и сужденій ожидали отъ писателя, который взялъ перо въ руки съ тѣмъ, чтобъ столь великое открытіе приспособить къ столь великому и важному употребленію. Искусственные минеральныя воды, какое бы ни было ихъ тождество или различіе съ естественными, суть величайшее, неизмѣримое благодѣяніе для Петербурга; Петербургъ представляетъ имъ многія гигиеническія трудности; эти трудности были достойны глубочайшихъ размышленій врача-философа: обзоры искусственныхъ водъ и ихъ выгоды очень удобно сочиняются по чужимъ книгамъ, по Русту и по Герману, но примѣненіе

этого могущественнаго врачевства къ мѣсту новому, отнюдь непохожему на другія, требуетъ высочайшихъ врачебныхъ соображеній, требуетъ созданія особенной, приличной гигіены, требуетъ обширной проницательности и философій: почему, вникнувъ во всѣ эти обстоятельства и въ соотвѣтствующія имъ части сочиненія г. Мейера, мы не усомнимся сказать безъ обиняковъ, что авторъ не бывалъ на высотахъ предмета, о которомъ разсуждаетъ. Что и приведемъ мы въ надлежащую ясность, по мѣрѣ возможности и мѣста.

Чтобы минеральныя воды оказывали спасительное дѣйствіе надъ страждущими, необходимо нужны двѣ вещи изъ числа тѣхъ, которыя старая медицина называла «неестественными» — именно, *circumfusa* и *percepta*, или попросту, особенный климатъ и возможное спокойствіе духа. Начнемъ съ климата.

Ипократъ уже замѣтилъ, что, между минеральными водами, лучшіе ключи тѣ, которые южнѣе и что сѣверныя воды содержатъ въ себѣ менѣе цѣлебной силы. Повтому врачъ долженъ непрерывно изучать воды не только въ отношеніи ихъ къ людямъ, но и къ климату. Отправляясь на теплыя воды, каждый болѣе или менѣе пользуется тѣмъ важнымъ для здоровья преимуществомъ, что находитъ тамъ климатъ кротче и постояннѣе, и удаляется отъ дѣлъ, которыя безпрестанно его беспокоили. Дѣйствіе водъ, объявляющееся не одинаково, различными путями вводитъ въ наше тѣло и выводитъ изъ него начала, которыхъ несоотвѣтственное, болѣзненное соединеніе — излишество или недостатокъ — задержаніе или ускоренное движе-

ніе — и причиняють лечимый недугъ. Наша кожа — такой же путь, какъ и другіе. Къ числу любопытнѣйшихъ явленій нашего животнаго устройства, какія только занимали ученыхъ, безспорно принадлежитъ переработка началъ, переходящихъ въ насъ сквозь кожу изъ окружающей атмосферы безъ вѣдома и участія человѣка, и превращеніе ихъ въ густыя, жидкія и летучія вещества. Въ этомъ чрезвычайно разнообразномъ отправленіи, происходящемъ на всей поверхности нашего тѣла, и такъ тѣсно соединенномъ съ отправленіями другой стороны кожи, обращенной къ внутренности человѣка, безпрестанно совершается одно за другимъ столько измѣненій, что всѣ усилія медицины долго были недостаточны для того, чтобъ узнать и опредѣлить ихъ. Хотя въ послѣдствіи мы успѣли составить себѣ какое-нибудь объ нихъ понятіе; хотя это понятіе каждый день усовершенствуется новыми пріобрѣтеніями фізіологіи, анатоміи и химіи, но множество фактовъ долго еще будутъ скрываться отъ глазъ испытателя. Не обидно ли подумать, что до-сей-поры тамъ, гдѣ обоняніе собаки находятъ достаточное количество истеченій нашего тѣла, чтобъ узнать насъ по нимъ, спустя нѣсколько часовъ послѣ прохожденія нашего этими мѣстами — самые нѣжные химическіе анализы не въ состояніи отыскать и слѣда животнаго начала? Ревматизмы, сыпи, пониженіе или возвышеніе чувствительности кожи, и тому подобныя источники или слѣдствія внутреннихъ болѣзней, не смотря на блестящее ихъ истолкованіе помощію школьныхъ гипотезъ и напыщенныхъ рѣченій, которымъ не-

опытное юношество или упрямая старость вѣрить безусловно, покрыты еще для насъ такою тмою, такъ часто сопротивляются принятымъ теоріямъ, что совѣстливый врачъ каждый день бываетъ принужденъ смиренно признаваться передъ собою, какъ мы еще далеки отъ знанія своего тѣла. Въ этомъ прискорбномъ положеніи науки остается одно средство — прикрывать наше невѣжество массою эмпирическихъ, то есть, изъ опыта заимствованныхъ преданій. Къ эмпирическимъ свѣденіямъ нашимъ принадлежитъ именно достовѣрность, что такіе-то ключи, окруженные, разумѣется, свойственными тому мѣсту атмосферическими обстоятельствами, производятъ такія-то спасительныя дѣйствія. Слѣдственно, при перенесеніи водъ въ другую, отдаленную страну, чѣмъ ближе климатъ ея къ этому образцу, тѣмъ болѣе надежды на успѣхъ совокупнаго вліянія двухъ дѣятелей, минеральной воды и воздуха.

Климатъ нашей прекрасной столицы пользуется уже слишкомъ дурною репутаціею, чтобъ теперь предпринимать его защиту. Безвредный для здоровыхъ, онъ чрезвычайно неудобенъ для больного, какъ по географическому своему положенію по близости полюса, такъ и по сосѣдству бурнаго моря, и потому, что почиваетъ на болотистомъ, неосушенномъ, открытомъ со всѣхъ сторонъ базисѣ, изъ котораго безпрестанно подымается вдругъ по нѣсколько различной тяжести испареній, разметаемыхъ перекрестными вѣтрами, при внезапныхъ пониженіяхъ и повышеніяхъ температуры. Оттуда эта страшная масса ревматизмовъ и различныхъ болѣзней

кожи, которыхъ можно избѣжать только разсудительнымъ воспитаніемъ своего тѣла. Лѣта такія, какъ прошедшее, составляютъ изъятіе. Настоящее хорошее время года у насъ — зима. Мы не можемъ вѣрнѣе изобразить здѣшняго климата, какъ заимствуя описаніе его изъ любопытнаго сочиненія — «Медико-топографическія свѣденія о С.-Петербургѣ» — которое очевидно принадлежитъ врачу, украшенному лѣтами, обширною опытностью и весьма высокою наукою.

«Климатъ С.-Петербурга есть такой же, какой обыкновенно бываетъ въ приморскихъ, низменныхъ и сѣверныхъ странахъ. *Холодъ и сырость* составляютъ его характеръ..... Всѣмъ извѣстно, сколь кратковременно петербургское лѣто; хорошаго, теплаго времени рѣдко бываетъ болѣе шести недѣль..... Къ сему прибавить слѣдуетъ, что самые знойные дни внезапно смѣняются днями холодными, такъ, что среди лѣта послѣ 20° тепла термометръ вдругъ показываетъ 7° или 8°..... Погода въ Петербургѣ самая непостоянная: теченія двадцати-четырехъ часовъ разность въ температурѣ бываетъ 15°, 20° и болѣе градусовъ..... Совершенно тихихъ дней почти не случается. Юго-западные и сѣверо-восточные вѣтры бываютъ чаще, и нерѣдко весьма сильные; первые изъ нихъ сопровождаются большою сыростью воздуха».

Слѣдственно, одно изъ двухъ: или способъ леченія посредствомъ минеральныхъ водъ — способъ отворяющій всѣ каналы животнаго зданія и такъ сильно дѣйствующій на самый важный органъ нашего тѣла, ко-

жу, и на ея внутреннее продолженіе — или этотъ способъ, при такомъ топографическомъ положеніи, существовать не можетъ, или онъ долженъ быть измѣненъ особенными средствами, особенными прибавленіями, мѣрами соотвѣстственными мѣсту и воздуху, но совершенно различными отъ мѣръ, принятыхъ въ другихъ этого рода заведеніяхъ. Здѣсь надобно было создать совершенно новую систему водо-минеральнаго леченія. Что жъ писатель нашъ придумалъ для этого? Какую мѣстную систему, удовлетворяющую потребностямъ климата или умиряющую его опасности, представляетъ намъ его сочиненіе? Москвы списывать для насъ не стоило, и не зачѣмъ было предлагать намъ ея правила, которымъ мы подражать не можемъ. Москва, и по своему южнѣйшему положенію, и по метеорологическому постоянству, совсѣмъ не то, что Петербургъ!

Теперь о спокойствіи духа. Авторъ говорить, что заведеніе «требуешь» отъ больнаго спокойствія духа: это легко сказать — но каково выполнить? Отправляясь къ водамъ въ дальнюю страну, мы расторгаемъ всѣ связи съ нашими дѣлами и насущными хлопотами; не слышимъ тѣхъ людей, которые насъ смущали; не видимъ тѣхъ предметовъ, отъ которыхъ происходили наши сильнѣйшія возбужденія; зависть, ненависть, сплетни, раздоры, интриги, раздражительные удары любви и вражды, привычки и неудовольствія, — все осталось далеко позади насъ: мы окружены новыми людьми, новыми вещами, другимъ, неизвѣстнымъ, беззаботнымъ свѣтомъ, въ которомъ царствуетъ

новость — развеселяющая, цѣлебная новость — быть-можетъ, столь же спасительная, какъ самыя воды. Самая жизнь на водахъ — фантастическая, странная, непринужденная — полная небиданными лицами и забавными приключеніями — полная веселостью, сибхомъ, мгновенными связями и удовольствіями на выдержку — составленная изъ забвенія и надеждъ — могущественно способствуетъ водворенію спасительной тиши въ понятіяхъ и чувствованіяхъ, здоровья въ тѣлѣ. Эта жизнь — сильнѣйшая союзница цѣлительныхъ струй, выдаваемыхъ природою, изъ своей материнской груди, для возстановленія въ человѣкѣ равновѣсія жизненныхъ силъ, разстроеннаго другими ея дѣятелями. Напротивъ того, столицы суть настоящія сердца государствъ: каждое бѣненіе этого сердца отражается на всѣхъ оконечностяхъ политическаго тѣла, въ которомъ оно предсѣдательствуетъ. Здѣсь храмъ и поприще честолюбія, здѣсь источникъ правосудія, съ язвительнымъ облакомъ ябеды, которое его обложило; здѣсь центръ промышленности и книга расчетовъ; здѣсь, у подножія Престола, великодушно поощряющаго заслугу, скопляются дарованія; здѣсь враги и покровители, радость и огорченіе, слава и постыдныя низложенія самолюбія. Отъ тренія всѣхъ этихъ началъ, жизнь столицъ по необходимости бываетъ жизнь скорая, усиленная, и нравственный огонь, который въ иномъ мѣстѣ только насъ согреваетъ, въ нихъ жжетъ cadaго сквозь стекло Архимеда. Тщетно заткнете вы уши пальцами и повяжете глаза платкомъ, чтобъ ничего не видать и не слышать: често-

любіе и хлопоты, несчастье и скорбь, проникнуть въ васъ сквозь поры кожи. «Должно избѣгать возмущенія душевнаго!» говоритъ авторъ. Но, чертя это прекрасное правило водо-минеральнаго стоицизма, авторъ могъ знать заранѣе, что физически невозможно его исполнить. Эта статья однакожъ заслуживала полнаго развитія существенныхъ совѣтовъ, и писателю надлежало обдумать и предложить особенную систему отчужденія паціента отъ вліяній, столь предосудительныхъ для успѣховъ предлагаемаго образа леченія. И здѣсь Москва не могла служить ему образцомъ: между Москвою и Петербургомъ нравственная разница, во врачебномъ отношеніи, неимовѣрна!

Оба эти обстоятельства, климата и большого столичнаго города, ясно намъ показываютъ, что врачебное положеніе минеральныхъ водъ въ Петербургѣ совершенно различно съ другими этого рода заведеніями въ Россіи. Обязанность науки и дарованія, смѣющаго бороться съ трудностями — измѣрить и устранить это различіе. Нѣсколько страницъ могли быть достаточны для просвѣщенія общественнаго ума въ другомъ городѣ, соединяющемъ въ себѣ всѣ, или почти всѣ, гигиеническія условія; въ Петербургѣ надлежало ожидать отъ врача, пишущаго *ex professo* о такомъ важномъ предметѣ, сочиненія обширнѣйшаго, болѣе разсудительнаго, болѣе приспособленнаго къ мѣстнымъ обстоятельствамъ. Трудъ этотъ, по существу своему, относился непосредственно къ сочинителю разбираемаго нами «Описанія», потому что отъ кого, если не отъ главнаго врача заведенія — такъ названъ авторъ

на заглавномъ листѣ книги — должны мы были получить всѣ поясненія, могущія внушить намъ полное довѣріе къ дарованному намъ благодѣянію? А это довѣріе внушается только смѣлымъ и логическимъ изложеніемъ всей массы трудностей и средствъ, придуманныхъ къ ихъ побѣжденію.

Поэтому мы говоримъ, что авторъ этой книги, или книжки, не открылъ и не понялъ настоящей точки своего предмета: она состояла вся въ разницѣ, существующей между мѣстными условіями Петербурга и условіями другихъ городовъ въ Россіи и въ Европѣ къ полезному употребленію этого суррогата. А онъ намъ толкуетъ, что вода искусственная совершенно то же, что естественная, и еще иногда лучше, думая, что въ этомъ заключается весь секретъ ея пользы.

Мѣсто не позволяетъ намъ входить въ разборъ врачебныхъ наставленій, составляющихъ техническую часть труда г. Мейера. Мы нашли въ нихъ многія, очень вѣрныя средства къ поправленію разстроеннаго здоровья: напримѣръ, наливъ полный стаканъ воды, должно выпить его только вполовину, а остальное можно вылить наземь, если угодно; напримѣръ, если вода горяча, то надобно пить ее, *прихлебывая*, и прочая. Намъ кажется, что ужъ рѣшившись списывать чужія наблюденія, вмѣсто этихъ ничтожныхъ правилъ, лучше было списать то, что отъ продолжительнаго употребленія минеральныхъ водъ, особенно горячихъ, нерѣдко портятся самые здоровые зубы, и указать на средства къ предохраненію ихъ отъ этого несчастія. Мы не такъ-то хорошо поняли, что зна-

читать — совѣтъ «дѣйствительнаго врача»? Ежели принимать это слово въ полномъ его значеніи, то дѣйствительными врачами можно назвать только тѣхъ врачей-философовъ, которые основали новыя системы, преобразовали, подвинули впередъ, или озарили умомъ своимъ науку — Ипократа, Галена, Бургава, Сталя, Гофмана, Бруссè — можетъ-статься и Ганеманна; если же дѣло идетъ только о врачѣ съ дипломомъ, то это еще не большое условіе — и притомъ условіе право излишнее, потому-что нѣтъ города въ Европѣ, гдѣ бы жители менѣе обращались къ эмпирикамъ и шарлатанамъ, чѣмъ въ Петербургѣ. Но можетъ-быть, подъ названіемъ дѣйствительнаго врача подразумѣвается здѣсь врачъ *водной*, врачъ вулканическаго происхожденія, въ противоположность врачу сухопутному, который провожаетъ по сушѣ своего паціента до могилы, не посылая его къ водамъ? И это быть можетъ! Какъ бы то ни было, мы не любимъ подыскиваться подъ слова, и, еслибъ авторъ не включилъ въ свою діету многихъ правилъ, совершенно произвольныхъ или произвольно забавныхъ, тѣмъ бы и кончили рѣчь объ его твореніи. Но намъ жаль прекрасныхъ петербургскихъ дамъ: авторъ, изъ угодничества, *не дерзаетъ* давать имъ наставленій насчетъ одежды приличной подобному случаю. Помилуйте! простудатся!... Совѣтуйте имъ смѣло одѣваться по-теплѣе; мы беремъ на себя всю вину въ неучтивости. Какъ авторъ хорошо знакомъ съ міеологіею, то онъ не совѣтуетъ тоже, во время леченія «дружиться съ Вакхомъ»; однакожъ не обижая Наядъ, позволяетъ выпить

вать за обѣдомъ по *нѣскольку* рюмокъ вина. По *нѣскольку*! Да люди никогда и не напиваются иначе, какъ *нѣсколькими* рюмками. Кто жъ пьетъ больше *нѣсколькихъ* рюмокъ, когда желаетъ только — *напиться*? Десятая и одиннадцатая рюмка уже называются по русской грамматикѣ — *напьзаться*. Не понимаемъ, о чемъ думаютъ Наяды! Но мало ли, чего мы не понимаемъ въ этой діатѣ; кто отгадаетъ, почему авторъ не судить намъ, Русскимъ, рожденнымъ въ самоварѣ, поутру кушать чай, а убѣждаетъ пить кофе? или почему, во время пользованія водами, велитъ ѣздить верхомъ, а не позволяетъ танцовать — танцовать такъ важно, такъ благородно, такъ степенно, безъ всякихъ прыжковъ, безъ всякихъ антрша, какъ мы теперь танцуемъ? Вотъ лучшее доказательство, что воды искусственныя и воды естественныя не суть совершенно *одно и то же* — потому-что на водахъ естественныхъ танцуютъ очень весело, и это не препятствуетъ ихъ спасительному дѣйствию!

Но мы совершенно согласны съ блистательнымъ афоризмомъ автора — что «обѣдъ составляетъ важный предметъ».

1834.

II.

По поводу сочиненія: *Наставленіе къ употребленію минеральныхъ водъ*. Докт. Шульцл. 1849.

Никто болѣе меня не имѣетъ права говорить о минеральныхъ водахъ: я вѣчно боленъ, и вѣчно разбѣз-

жаю по водамъ. Гдѣ я не былъ за водами? какихъ не посѣщалъ купаленъ? какихъ чудесныхъ дѣйствій не испытывалъ на себѣ отъ этихъ цѣлительныхъ влагъ? Въ одномъ только Гангесѣ не привелось мнѣ погружаться, несмотря на славу несмѣтныхъ чудесъ, которая творитъ Брами на пользу вѣрующихъ Индусовъ, утопающихъ тысячами въ спасительныхъ струяхъ посвященной ему рѣки; а то я имѣлъ полный случай перепить всѣ знаменитыя воды — исключая одной воды юности — и докторъ чуть не вымочили меня добѣла во всѣхъ возможныхъ купальняхъ, во всѣхъ кипучихъ источникахъ, во всѣхъ прославленныхъ грязяхъ, во всѣхъ цѣлебныхъ болотахъ, не считая морей Чернаго, Бѣлаго, Краснаго, Желтаго, Нѣмецкаго, Балтійскаго, Каспійскаго, Средиземнаго, и четырехъ океановъ. То есть, собственно сказать, доселѣ я не бралъ въ ротъ никакихъ минеральныхъ водъ, и даже пальца моего не обмакнулъ въ этихъ таинственныхъ жидкостяхъ: я пріѣзжалъ на воды или въ купальни, по точному наставленію врачей, платилъ за положенное число стакановъ, ваннъ и купаній, прилежно смотрѣлъ какъ другіе пьютъ и купаются, и получалъ точно такое же облегченіе, какъ и они. Дѣйствіе бывало всегда совершенно то же: я даже, обыкновенно, уѣзжалъ съ водъ и изъ морскихъ купаленъ гораздо здоровѣе тѣхъ, которые пили и купались. Въ нынѣшнемъ году — если бы Нѣмцы, Французы, Итальянцы, были въ своемъ умѣ — я опять уѣхалъ бы куда-нибудь на воды: врачи совѣтуютъ!.... Но дѣлать не-

чего: путешествовать за-границу нѣтъ возможности. Больные должны сидѣть дома.

Вотъ почему книга ученаго доктора Шульца, «Наставленіе къ употребленію минеральныхъ водъ», удивительно меня прельщаетъ: она какъ-будто нарочно для меня написана. Все что въ ней сказано о неизъяснимыхъ свойствахъ леченій минеральными водами, я видѣлъ лично, и испыталъ на себѣ, глядя только на разные методы этихъ леченій. Въ нынѣшнемъ году, какъ нѣтъ средства лечиться по глазомѣру, мнѣ пришло въ голову, что можетъ-статься точно также я вылечусь просто, читая хорошее наставленіе къ употребленію минеральныхъ водъ; и, въ самомъ дѣлѣ, прочитавъ цѣлительное сочиненіе доктора Шульца, мнѣ уже стало легче. Если я успѣю выучить эту книжку наизусть, на пять лѣтъ я буду совершенно здоровъ.

Первое условіе при леченіи минеральными водами — больные должны быть очень веселы, въ прекрасномъ расположеніи духа. Сочиненіе доктора Шульца способствуетъ превосходно къ этой цѣли: оно разсѣваетъ всѣ грустныя мысли и вселяетъ въ васъ примѣчательную веселость. Какъ, на примѣръ, отъ-души не смѣяться, когда докторъ Шульцъ доказываетъ вамъ, что искусственныя минеральныя воды, которыя, по его словамъ, совершенно то же, что и естественныя, выдуманы противъ врачей, а не для больныхъ, и что это — главная польза отъ нихъ; что, поэтому, онѣ даже лучше, дѣйствительнѣе, цѣлебнѣе естественныхъ? Я не шучу — да и докторъ Шульцъ не шутитъ: съ пер-

ваго! Взгляда оно — смѣшно, но, если объяснить дѣло обстоятельно, каждый согласится, что авторъ правъ. Вотъ какъ докторъ Шульцъ объясняетъ превосходную мысль свою.

Доктора иногда ошибаются: это почти доказано. Они совѣтуютъ вамъ ѣхать за-границу и пить тамъ воду такого-то знаменитаго источника, между-тѣмъ какъ вода эта нейдетъ къ вашей болѣзни или, лучше сказать, къ вашему здоровью, которое она въ состояніи разстроить вконецъ. Вы ѣдете — пріѣзжаете — пьете. Мѣстные водяные врачи, изъ усердія къ своимъ водамъ, желали бы, чтобъ весь свѣтъ пилъ непременно эти воды, чтобы онѣ были набиты паціентами, чтобы слава ихъ гремѣла во всѣхъ концахъ вселенной. Врачи рады вашему пріѣзду, рассказываютъ и общаются вамъ чудеса, поятъ васъ методически отвратительной влагой изъ своихъ источниковъ. Вода ихъ явственно вредна вамъ — вы опились ею — уже почти готовы лопнуть — но мѣстные врачи говорятъ: ничего!.... пейте еще!.... надо умножить число стакановъ!.... Имъ жаль выпустить васъ изъ рукъ; вы хорошій паціентъ; вы пріѣхали изъ Россіи — слѣдственно, вы богаты: извольте продолжать пить! Наконецъ, здоровье рѣшительно не позволяетъ вамъ лечиться этою водою. Надо ѣхать къ другой, по-чудеснѣе, или по-сходнѣе съ силами. Но время уже прошло; а часто вы и пропили всѣ деньги свои на эту минеральную гадость и путешествовать къ другой — не въ состояніи. То ли дѣло, когда минеральныя воды стряпаются въ кухнѣ, искусственно, по правиламъ химіи, когда

всѣ роды водъ собраны въ одно мѣсто, когда въ томъ же заведеніи, гдѣ поддѣлываютъ Карльсбадъ и Баденъ-Баденъ, рядомъ съ Пирмонтомъ вы находите Лукку, рядомъ съ Пиренеями Кавказъ и Везувій! Нейдетъ къ вамъ эта вода — вы отъ нея больны еще хуже; извольте перейти къ слѣдующему крану и отвѣдать другой; а тамъ къ третьему, къ четвертому, къ пятому, пока не попадете на самый приличный для васъ и самый дѣйствительный. Вы можете втеченіи одного лѣта перепробовать всѣ краны, перелечиться всѣми водами міра, не выходя изъ одной залы. Для врача, управляющаго заведеніемъ и вашимъ водопоемъ, нѣтъ ни пользы ни предлога удерживать васъ непременно при такомъ-то кранѣ: абонементъ одинъ и тотъ же для всѣхъ водъ, всѣ краны равны и какъ-скоро одна вода вамъ не по силамъ, самая заботливость о цѣлебной чести заведенія заставляетъ мѣстнаго доктора присовѣтовать вамъ употребленіе другой воды и пустить въ чрево ваше струю изъ слѣдующаго крана. Поэтому, и очень справедливо, докторъ Шульцъ, большой поклонникъ генія Струве — Струве первому пришла въ Богеміи, лѣтъ двадцать тому, благая мысль поддѣлывать химическимъ искусствомъ минеральныя воды — называетъ эту мысль *великимъ открытіемъ*.

Вы видите, какъ это весело! Цѣль искусственныхъ минеральныхъ водъ, слѣдовательно — оградить человечество поддѣлкою, призракомъ, тѣнью разныхъ цѣлебныхъ водъ отъ того, чтобы цѣлебныя воды, натуральныя, не разоряли здоровья больныхъ, обреченныхъ пользованію ими. Стало-быть, я премудро дѣ-

лалъ, что, разѣзжая по знаменитѣйшимъ минеральнымъ водамъ, глядѣлъ только, какъ другіе пьютъ ихъ, а самъ не употреблялъ? Счастливо же увернулся отъ водяныхъ врачей!... по какому-то сверхъестественному инстинкту.... потому-что книжки доктора Шульца вовсе не зналъ донинѣ.

Въ хорошо написанномъ сочиненіи всѣ положенія, всѣ мысли тѣсно связываются между собою, и поэтому слѣдующее, второе, еще болѣе неоспоримое *доказательство* преимущества искусственныхъ водъ передъ натуральными состоитъ, по моему разумѣнію, въ неразрывномъ сцѣпленіи веселости съ предъидущимъ. Въ *нашемъ* (санктпетербургскомъ) заведеніи, говоритъ авторъ, бывають даже люди совершенно *здоровые*, у которыхъ нѣтъ и не было *никакой болѣзни*, и пьютъ разныя искусственныя цѣлебныя минеральныя воды изъ предосторожности — для того, чтобы, чего добраго, не заболѣть — и что же? — всѣ по-прежнему здоровы, *ни одинъ не заболѣлъ*, словно никакихъ цѣлебныхъ водъ не пили — или пили, на здоровье, чистую невскую воду!...

Послѣ этого, я удивляюсь, какъ весь Петербургъ не прибѣгаетъ наливаться съ утра до вечера искусственными минеральными водами въ *нашемъ* заведеніи! Петербургъ не умѣетъ цѣнить *великаго открытія* Струве. Петербургъ неблагодаренъ — не заболѣваетъ въ достаточномъ числѣ — не лечится довольно усердно, и ему грозить, что, по истеченіи срока условію съ владѣльцемъ мѣста, онъ закроетъ одно изъ заведеній — и пусть Петербургъ, вмѣсто искусствен-

ныхъ горькихъ водъ Струве, пьеть изъ тѣхъ же кра-
новъ естественныя сладкія водки Излера! Увидимъ,
будеть ли ему веселѣе отъ нихъ! Угроза страшна;
наказаніе будетъ жестоко: но Петербургъ заслужилъ
его, прибѣгая въ заведеніе съ большею поспѣшностью
по афишкамъ кандитера Излера, чѣмъ по прейсъ-ку-
ранту водамъ, отлично изготовленнымъ по методѣ
Струве. Но меня по-крайней-мѣрѣ авторъ не обвинить
въ неуваженіи къ генію этого великаго человѣка, по-
тому-что по сосѣдству съ однимъ изъ *нашихъ* заве-
деній, я каждое утро прихожу поклониться ему; и
почтительно шагаю отъ семи до десяти часовъ по
этимъ непонятымъ поламъ, подъ этими неузнанными
потолками, гдѣ большею частью, одинъ одишеченекъ,
то расхаживаю по огромной залѣ, передъ многочи-
сленными кранами съ русскими и нѣмецкими надпися-
ми, которыя регулярно читаю съ любопытствомъ и
почтеніемъ; то умильно передъ этою огромною бата-
реей всѣхъ возможныхъ искусственно-чудесныхъ водъ,
готовую вдругъ брызнуть сотнею могучихъ струй и
истребить всѣ возможныя болѣзни — если бы только
онѣ сюда явились. Да болѣзни-то не являются! Изъ
всѣхъ больныхъ и здоровыхъ, въ-самомъ-дѣлѣ, нерѣд-
ко я одинъ стою передъ этимъ текучимъ арсеналомъ,
удивляясь великому открытію Струве и небрежности
петербургскихъ здоровяковъ о своемъ здоровьѣ; не-
предусмотрительные! они и не подумаютъ пить здѣсь
воды до болѣзни, чтобы никогда не быть больными!...

Изъ благоговѣнія передъ *великимъ открытіемъ* я
дѣлаю еще болѣе: по *воскресеньямъ* и *средамъ* нер-

вы во мнѣ лопаются, уши трещать, кожа вся морщится, а я все-таки слушаю музыку, предназначенную вселять веселость въ пациентовъ, которымъ на этотъ конецъ девять или десять разнокалиберныхъ чадъ Аполлона усердно стараются представить образчикъ китайской гармоніи среди цѣлебной пустыни. Въ книжкѣ доктора Шульца я нахожу запрещеніе курить сигары и ѣсть супъ съ петрушкой во время пользованія искусственными водами, потому-что эти вещества разстраиваютъ нервы: почему же книжка, которая столько хлопочетъ о нервахъ пациентовъ, не запретитъ этой невѣроятной музыкѣ играть на своихъ искусственныхъ водахъ?... или не велитъ нанять хорошій оркестръ?... Въ Москвѣ, гдѣ я тоже ходилъ однажды два мѣсяца сряду смотрѣть, какъ пьютъ воды, и получилъ удивительное облегченіе — рѣшительно то же самое дѣйствіе какъ и тѣ, которые пили — *ежедневно* съ шести до десяти часовъ утра — играетъ отличный оркестръ, одинъ изъ лучшихъ во всемъ городѣ, и на тамошнихъ водахъ посѣтителей и водопійцъ — всегда множество. Я готовъ думать, что многія болѣзни, которыя кое-какъ *перенесли* бы минеральныя воды, не *переносятъ* этой музыки и оттого ихъ здѣсь такъ мало.

Мало того, что минеральныя воды — такое цѣлебное средство, которое, прежде всего надо быть въ силахъ *переносить*: при употребленіи такого превосходнаго средства — и докторъ Шульцъ особенно настаиваетъ на этомъ — главное, надо выкинуть себѣ изъ головы, что это воды и что вы ими вылечитесь — надо ихъ

забыть — отнюдь не думать, что вы их пьете и для чего пьете; а вспомнили вы на бѣду однажды, такъ и все дѣйствіе пропало — чары исчезли — чудо не состоится, даромъ-что вы выдули восемь стакановъ горько-соленой шипучей жидкости въ одно утро. Но покорнѣйше прошу забыть воды, не вспоминать, гдѣ вы и зачѣмъ вы тутъ, когда вы принуждены слушать такіа водолечебныя симфоніи!

Я поставляю это на видъ книжкѣ доктора Шульца пзъ усердія къ пользѣ отъ минеральныхъ водъ и къ чести великаго открытія. Личностей у меня съ минеральными водами никакихъ нѣтъ: я никогда не былъ долженъ *переносить* ихъ; не подносилъ къ губамъ ни одного стакана цѣлебной воды и всегда оставался невредимъ — я донынѣ чистъ отъ всякой минеральной воды и могу говорить объ этомъ предметѣ совершенно безпристрастно. Какъ вы видите, главная ученая мысль сочиненія доктора Шульца состоитъ въ убѣжденіи благосклоннаго читателя, что искусственныя минеральныя воды ничуть не хуже естественныхъ водъ, и даже еще лучше, вѣрнѣе, безопаснѣе. Кто же въ этомъ сомнѣвается, послѣ двухъ такихъ глубокихъ аргументовъ, каковы тѣ, которые мы сейчасъ видѣли! И, вооружась ими, авторъ въ *письмѣ врача къ больному*, съ презрѣніемъ, и однимъ почеркомъ пера, уничтожаетъ тѣхъ *врачей* и не-врачей, которые смѣютъ *иронически улыбаться* о лечебномъ совершенствѣ искусственныхъ водъ и о возможности существенной разницы между ними и естественными водами.

Для основательнаго сужденія объ этихъ вопросахъ, надо, говорить онъ, знать *нынешнее состояніе* химіи: а зная его, никто *нынче не въ правъ утверждать*, будто природа, приготавливая минеральныя воды, не *слѣдуетъ тому же пути*, который употребляютъ современные химики, составляя искусственныя воды у себя на очагѣ. Разумѣется, что ученый докторъ говоритъ это только съ благонамѣренною цѣлью поддержать веселое расположеніе духа въ своихъ больныхъ, потому-что, если говорить серіозно, такъ надо, собственно, вовсе не знать *нынѣшняго состоянія* химіи, чтобы *пути природы* и *пути* химическаго искусства принимать за нѣчто совершенно тождественное. Только тѣ читатели, которые очень, очень больны, могутъ повѣрить этому.

Но если кто, знающій химію и судящій объ ея *путяхъ* безъ восторженности, которая всегда означаетъ односторонность, одну изъ опаснѣйшихъ болѣзней воображенія, станетъ не соглашаться съ мнѣніемъ ученаго автора, то у него есть другой бичъ на мятежнаго скептика. Черезъ нѣсколько строкъ, онъ прибавляетъ: «Да чтобы судить *правильно* о возможности приготовления минеральныхъ водъ искусственно, *не довольно однихъ химическихъ познаній*; для этого *нужно еще имѣть понятіе о геогнозѣ*, по-крайней-мѣрѣ о той части этой науки, въ которой *объясняется способъ происхожденія минеральныхъ источниковъ*». Веселіе этого, конечно, нельзя ничего сказать въ медицинскомъ письмѣ, которое, передъ *больнымъ* читателемъ, пускается въ философію естествен-

ныхъ наукъ. *Геогнозіа*, призываемая авторомъ здѣсь на помощь, очевидно принимается имъ за одно и то же съ *геологіей*: потому-что, собственно, дѣло или притязаніе геологіи, а не геогнозіи, *землесловія*, а не *землезнанія* — объяснять *способъ происхожденія минеральныхъ* источниковъ. Но геологія, сколько извѣстно всѣмъ здоровымъ, есть только собраніе принятыхъ въ данную эпоху ипотезъ, которыми землесловящее остроуміе старается согласить и связать между собою факты или явленія, замѣченные и донынѣ собранные геогнозіей, землезнаніемъ, и объяснить ими порядокъ землетворенія, геогенія. Такъ что жъ изъ этого, когда мы съ докторомъ Шульцемъ будемъ *имѣть понятіе*, даже совершенно равное, объ этихъ ипотезахъ? Предположенія не станутъ черезъ это фактами, очевидностями, несомнѣнными истинами. Допускаемая геологическими умозрѣніями ипотезы о способѣ образованія минеральныхъ источниковъ въ земной корѣ, несмотря на полное наше единомысліе, останутся таки по-прежнему ипотезами, болѣе или менѣе замысловатыми вѣроятностями, за непогрѣщимость которыхъ ни одно здоровое воображеніе не посмѣетъ ручаться. Спрашиваю почтеннаго доктора Шульца, можно ли сварить какую-нибудь воду изъ ипотезъ? Не значить ли это, другими словами, что искусственная минеральная вода не что иное какъ химико-геологическая ипотеза?.... Я, съ моей стороны, извиняю *врачей* и не-врачей, которые, даже послѣ книжки и доводовъ доктора Шульца, позволяютъ себѣ *иронически улыбаться*. На ихъ мѣстѣ, я — не отвѣчаю за

себя — я, может-статься, хохоталъ бы отъ всего сердца.

Между-тѣмъ докторъ Шульцъ только выражается не довольно ясно, онъ — не мастеръ водословить — онъ слишкомъ довѣрчиво повторяетъ заносчивыя притизанія самолюбивой человѣческой науки, которой кажется, будто она уже поровнялась въ мудрости и искусствѣ съ природой; и если такія наивности, такія преувеличенія, встрѣтятъ иронию просвѣщенныхъ врачей и не-врачей и повредятъ болѣе, чѣмъ пособятъ славѣ искусственныхъ минеральныхъ водъ, тутъ не будетъ противоестественнаго: но на-дѣлѣ онъ правъ. Искусственная минеральная вода дѣйствительно и положительно — ученая гипотеза, и въ томъ нѣтъ сомнѣнія, что гипотезою этою можно лечить разныя болѣзни. Да и почему жъ не лечить? Всякое лекарство — гипотеза. А какъ часто помогаютъ лекарства! Опытомъ доказано, что искусственныя минеральныя воды иногда производятъ спасительное дѣйствіе *такъ же какъ* и естественныя, *такъ же какъ* и всякое другое вещество, принятое внутри въ добрый часъ. Но *именно ли такое* дѣйствіе производятъ онѣ, вотъ этого ужъ не слѣдовало доктору Шульцу утверждать слишкомъ смѣло въ виду *ироніи* просвѣщенныхъ *врачей* и не-врачей. Съ философіей химіи и съ философіей геологіи ему простительно, для успокоенія своего паціента, позволить себѣ нѣкоторыя вольности; но съ философіей врачебной науки, врачу, нападающему на *врачей*, надлежало быть осмотрительнѣе. Какъ нѣтъ въ природѣ двухъ листовъ на деревьяхъ одной породы со-

вершенно одинаковыхъ, такъ нѣтъ въ человѣчествѣ ни двухъ совершенно одинаковыхъ организмовъ, ни двухъ строго тождественныхъ разстройствъ организма или болѣзней, ни двухъ такихъ же лекарственныхъ дѣйствій*. При всемъ кажущемся сходствѣ осязательнаго характера или наружной формы, которая систематикамъ позволяетъ классифицировать наши разстройства, по здоровой философіи врачебнаго искусства, всякій болѣзненный случай — такое же индивидуальное событіе, какъ всякій человѣкъ — индивидуальное существо, и сравненія между разстройствами одинаковой наружной формы столько же условны, приблизительны, какъ и между лицами одного племени или одного народа. Одна и та же кажущаяся форма болѣзни въ тысячѣ лицъ излечивается тысячью различныхъ средствъ и тѣ же самыя средства въ тысячѣ подобныхъ случаевъ не оказываютъ ожидаемаго дѣйствія или оказываютъ совершенно неожиданное. Слѣдовательно, математической одинаковости сходствъ тутъ быть не можетъ: да еслибъ она случайно и предстала, то для удостовѣренія въ ней нужно было предположить другую невозможность: математическую одинаковость въ средствахъ къ наблюденію и повѣркѣ, въ умственныхъ и ученыхъ способностяхъ наблюдателей. Наглядная аналогія служить намъ единственнымъ основаніемъ

* Здѣсь С., можетъ-быть, самъ того не подозрѣвая, блестящимъ образомъ высказываетъ и развиваетъ одно изъ основныхъ положеній гомеопатіи. Впрочемъ, статья эта написана черезъ девять лѣтъ, послѣ его же защиты Ганемана, съ идеями котораго онъ тогда уже ознакомился. *Изд.*

выводовъ и руководствомъ къ дѣйствию: а аналогія — не фактъ, не истина, не доказательство, не такое ружье, которымъ можно напаваль застрѣлить иронию и взорвать на воздухъ своихъ противниковъ по образу мыслей. Аналогія — гипотеза. Болѣзнь, опредѣляемая врачомъ — гипотеза. Она излечивается третьей гипотезой, лекарствомъ, которымъ можетъ-быть, съ одинаковымъ для здоровья результатомъ, рюмка вина, стаканъ квасу, полъ-унціи аптекарскаго снадобья, кувшинъ какой-нибудь естественной минеральной воды или бутылка минеральной воды искусственной, но совершенно другой. Чѣмъ и какъ собственно мы излечили, это одному Богу извѣстно. Повѣрки сдѣлать нельзя: для этого нужно было бы имѣть тотчасъ же и на томъ же лицѣ точное повтореніе только-что исчезнувшей болѣзни.

Естественныя минеральныя воды, въ лекарственномъ отношеніи, такая же гипотеза какъ и искусственныя — и одна изъ самыхъ древнихъ гипотезъ — изъ самыхъ знаменитыхъ — потому-что кромѣ кажущихся счастливыхъ примѣровъ излеченія она еще подкрѣплялась всегда суевѣріемъ человѣчества и шарлатанствомъ тѣхъ, кому было пріятно или выгодно пользоваться врожденною склонностью людей къ сверхъестественному и таинственному. Горькими и солеными ключами этими нѣкогда распоряжались жрецы; надъ ключами были построены храмы, самое небо руководствовало здѣсь курсомъ леченія, окружаемымъ чудесами, и народъ въ углекисломъ газѣ этихъ шипучихъ влагъ, брызжущихъ изъ груди матери-земли,

видѣлъ несомнѣнно *духа*, theon, истеченіе какого-нибудь бога. Съ тѣхъ еще темныхъ и восторженныхъ вѣковъ ведутся на землѣ слава минеральныхъ ключей и народное къ нимъ довѣріе. Но истинная врачебная философія не можетъ считать ихъ ни за что иное какъ за лекарства предположительныя. Вѣрно, они помогаютъ *иногда*, ежели человѣчество вѣритъ ихъ пользу такъ давно. Простая ключевая вода, холодная или въ видѣ кипятку, при движеніи и діетѣ оказывала же въ тысячѣ случаевъ неоспоримую пользу. Почему жъ бы эти воды лишены были такого же преимущества? Искусственныя минеральныя воды, отнюдь не будучи *одно и то же* съ ними, имѣютъ такое же предположительное право на лекарственную пользу, какъ и воды колодцевъ, прѣсныхъ ключей и также минеральныхъ источниковъ, потому-что все это — та же вода, только съ различными пропорціями растворенныхъ въ ней земель и солей, а опредѣленіе случая, въ которомъ извѣстная пропорція ихъ можетъ дѣйствовать спасительно — такое же предположеніе какъ самое дѣйствіе воды.

Если цѣлебность естественной минеральной воды — гипотеза, во всѣхъ отношеніяхъ; если цѣлебность искусственной воды — тоже гипотеза, какъ же разсудительная врачебная философія можетъ серьезно, и притомъ еще сердито, спорить о тождественности дѣйствія двухъ гипотезъ въ разныхъ и независимыхъ случаяхъ, между которыми настоящее ученое сравненіе физически невозможно? Не ясно ли, что та и другая воды — два самобытныя лекарственныя сред-

ства, дѣйствующія безъ связи и соотношенія между собою и только въ рѣдкихъ примѣрахъ, въ неважныхъ явленіяхъ, способныя представить намъ грубыя аналогіи, которыя всегда могутъ еще быть оспариваемы? Въ тѣхъ и другихъ водахъ заключаются обыкновенно болѣе значительныя, чѣмъ въ простой водѣ, ключевой, рѣчной и колодезной, пропорціи сѣрно-кислой и углекислой магнезіи и соды, а иногда углекислой извести и хлористой соды, съ признаками желѣза: такъ только дѣйствія этихъ разводящихъ и возбуждающихъ веществъ и могутъ подлежать нѣкоторому наглядному разбору или сравненію, но они не имѣютъ ни малѣйшей связи съ *водами*, какъ произведеніемъ природы или искусства, и конечно были бы тѣ же самыя, если бы принять вещества эти въ сухомъ видѣ прямо изъ аптеки: по-крайней-мѣрѣ, противнаго доказать невозможно и спорить объ этомъ такъ неумѣстно, что иронія имѣла бы полное право принять на этотъ случай суровое лицо критики.

Вмѣсто этихъ нападокъ на врачей и не-врачей, которые не имѣютъ счастья раздѣлять энтузіазма автора къ минеральнымъ водамъ вообще и въ искусственнымъ въ особенности, приличнѣе было бы растолковать публикѣ въ «Письмѣ врача къ больному», что дѣйствіе всѣхъ минеральныхъ водъ безъ изыятія донынѣ состоитъ подъ сомнѣніемъ у многихъ весьма разсудительныхъ медиковъ, что онѣ обыкновенно почитаются тяжелыми для организма, какъ это доказывается самими уже предосторожностями, соблюдаемыми при ихъ употребленіи, и что весьма трудно рѣ-

шить, кому собственно принадлежит здѣсь настоящій лечебный успѣхъ, минеральной ли водѣ или обстоятельствамъ, сопровождающимъ поѣздки на воды. Почти всѣ страданія, противъ которыхъ предписываютъ путешествія къ минеральнымъ водамъ, относятся къ хроническимъ разстройствамъ нервной системы и къ ихъ прямымъ послѣдствіямъ. Извѣстно, какъ нервная система своенравна въ своихъ явленіяхъ, какъ часто изъ болѣзненнаго состоянія она вдругъ безъ всякой видимой причины переходитъ къ нормальному дѣйствію: одна шутка, одна потѣха, одно развлеченіе или удовольствіе, какое-нибудь сильное душевное сотрясеніе, а ипогда и простое усиліе воли, могутъ призвать обратно здоровье, которое долго васъ бѣгало. Вы разстроены нервами, вы хандрите, воображеніе работаетъ въ васъ болѣзненно и усиливаетъ ваши страданія; дѣятельность желудочныхъ приборовъ ослабѣваетъ; аппетитъ и сонъ пропадаютъ, образуются застои, завалы, рѣзи, колотья, ломоты: вы вѣчно въ дурномъ расположеніи духа, всѣмъ недовольны, желчь неправильно въ васъ отдѣляется, селезенка болитъ, нервный узелъ, извѣстный подъ названіемъ солнечнаго сплетенія, разбухаетъ, и вы видите страшные сны, сердитесь, деретесь съ друзьями во снѣ, бранитесь наяву со слугами. Вы несчастнѣйшее существо въ мірѣ. Вы смертельно больны. Для васъ нѣтъ другаго спасенія какъ отправиться въ дальнее путешествіе, на воды. Вы уѣзжаете. Вамъ уже стало легче. Другія мѣста, другіе предметы, другой воздухъ, другая пища, другіе люди — особенно другіе люди — новость,

разнообразіе, любопытство, все это занимаетъ и развлекаетъ ваше воображеніе; все измѣнилось вокругъ васъ, въ вашемъ образѣ жизни, въ вашемъ существованіи, и слѣдовательно начинаетъ измѣняться въ васъ самихъ. Мысль выдѣлывается иначе. Кровь течетъ другимъ образомъ. Перемѣна слѣдуетъ за переменою, вамъ нѣкогда и думать о своей болѣзни; она не называется; вы чувствуете ее тогда только, когда васъ огорчатъ или, когда вамъ случайно стало скучно, когда вы въ уединеніи вспомнили, зачѣмъ оставили домъ, семейство, друзей, удобства жизни и обычный кругъ занятій. Докторъ Шульцъ строжайше запрещаетъ вамъ вспоминать объ этомъ при употребленіи водъ: онѣ *не дѣйствительны* при мысли о болѣзни, при отсутствіи веселости. Значить, самъ же онъ отнимаетъ у нихъ всю дѣлительную силу! Да если я, среди развлеченій и веселостей, успѣю совсѣмъ забыть болѣзнь и не стану болѣе примѣчать ея, такъ вѣдь я однимъ этимъ уже исцѣленъ!... Милліоны такихъ примѣровъ мы видимъ ежедневно вокругъ себя. Натура сама довершаетъ тутъ остальное. Къ чему же воды? Какая отъ нихъ польза?... чтобы только напоминать ежедневно о недугѣ и раздражать нервы? Стоить ли изъ-за этого пытаться *переносить* такое лекарство?

Доселѣ вы жили ночью, а спали днемъ, принимали пищу немедленно послѣ того какъ проснулись, дѣлали мало движенія, выходили на воздухъ только около полудня, или и вовсе не выходили, ѣли и пили безъ всякаго соображенія. Нынче вы за-границею, на водахъ, встаете въ пять часовъ утра и на-тощакъ —

не забудьте, голодные еще съ вчерашняго числа, потому-что вы на строгой діетѣ — бѣжите вы въ заведеніе пить прописанную вамъ воду, подвергаясь дѣйствию свѣжаго утренняго воздуха. Здѣсь, среди лицъ всѣхъ народовъ, среди новыхъ людей, новыхъ знакомствъ, странныхъ характеровъ, любопытныхъ фигуръ, интересныхъ путешественницъ, необыкновенныхъ разговоровъ, выпиваете вы пять, шесть стакановъ минеральной воды, ходите по четверти часа послѣ каждаго стакана, потомъ еще гуляете, подъ открытымъ небомъ, часа полтора или два, и тогда уже, около десяти часовъ, позволяется вамъ позавтракать. Тогда-то, говоритъ авторъ, тогда-то — чудное дѣйствіе минеральныхъ водъ! — «появляется у больного сильный аппетитъ». Разумѣется, что аппетитъ будетъ ужасный, послѣ такой ходьбы, такой болтовни, такого усиленнаго дыханія острымъ прохладнымъ воздухомъ и спустя часовъ пять послѣ сна! Онъ будетъ и безъ питья водъ — еще вѣрнѣе. Я, только глядя на водахъ, какъ другіе пьютъ ихъ, и забавляясь этимъ — оно очень весело, увѣряю васъ! — обыкновенно составлялъ собою бичъ всѣхъ *tables d'hôte*, отчаяніе всѣхъ водопійцъ: я истреблялъ до-чиста всякое блюдо, которое мимо меня проходило, и, послѣ шести недѣль такого курса, уѣзжалъ толще всѣхъ больныхъ, пріѣхавъ всѣхъ худѣе.

Послѣ обѣда — поѣздки въ окрестности въ веселой компаніи больныхъ всѣхъ странъ, всѣхъ націй и всѣхъ половъ. Вечеромъ прогулки и продолжительныя бесѣды. Какъ тутъ не быть апетиту! Какъ не разрѣшиться застоямъ!

Прибавьте, что вамъ еще — вамъ, а не мнѣ — растирають и протыкають желудокъ, велятъ брать ванны, поятъ васъ разными чудесными лекарствами. Да однимъ этимъ можно уже порядочно вылечить! И я не вижу, что собственно остается здѣсь на долю дѣйствія минеральной воды?... Я даже готовъ думать, что эти воды, которыми водяные врачи немилосердо васъ наливають, только останавливають аппетитъ и ходъ выздоровленія, которое безъ нихъ совершилось бы скорѣе и легче.

Что касается до меня, то я всегда слѣдовалъ сухой методѣ водолеченія, и донинѣ не имѣю причины раскаяваться, что, бывая на водахъ по приказанію врачей, я не отвѣдывалъ никакой воды.

А ѣздить на воды надо непременно, чтобъ измѣнить кореннымъ образомъ весь порядокъ той жизни, которая стала уже для васъ болѣзною, хотя еще и не доказано, да и никогда доказано не будетъ, что на водахъ нужно непременно пить воды. Полезно также вѣрить въ воды какъ въ чудное и несомнѣнное лекарство: потому что одна уже увѣренность такого рода въ состояніи излечить не одного изъ больныхъ. Я, къ сожалѣнію, не вѣрю, виѣстѣ со многими очень разсудительными и знающими врачами. Очень жаль! Но я вѣрю въ другое, тоже весьма спасительное для разстроенныхъ нервовъ. Я вѣрю въ лазуревый воздухъ, въ ясное и теплое солнце, въ южное небо, въ чары желѣзныхъ дорогъ, съ роскошными креслами и мягкими подушками, въ силу всемірнаго движенія, въ невольную діету трактирныхъ обѣдовъ, въ новость и

и разнообразіе зрѣлищъ дѣлъ человѣка и природы, въ занимательныя встрѣчи, въ завлекательные случаи, въ сладкіе и звонкіе голоса, вѣрю въ прелестныя приключенія въ дилижансахъ и вагонахъ, вѣрю въ восторгъ души передъ чудесами искусства, вѣрю въ цѣлительное вліяніе геніальныхъ произведеній — даже вѣрю — иногда, но очень рѣдко — тому, что говорятъ больныя путешественницы. Нынче вѣрить на водахъ болѣе не во что для своего здоровья!.. Но то ли дѣло, бывало, въ древности, когда больной человѣкъ вѣрилъ въ Юпитера-исцѣлителя, котораго храмъ стоялъ на самомъ минеральномъ источникѣ, или, по-крайней-мѣрѣ, въ Эскулапа, бога знавшаго медицину не по-нашему? Жрецы, въ священныя одѣянія, вводили васъ въ храмъ, въ таинственномъ мракѣ котораго, между безчисленныхъ колоннъ и дивныхъ статуй, смотрѣвшихъ на васъ покровительственно со всѣхъ сторонъ, разливался по мраморному полу прудъ цѣлительной влаги. Вы должны были шагать по каменнымъ столбикамъ, торчащимъ изъ воды. Первожрецъ, у главнаго жертвенника, передъ величественнымъ идоломъ отца боговъ и людей, ожидалъ васъ съ молитвой и благословеніемъ, бралъ изъ рукъ статуи золотую чашу, всегда наполненную минеральной водой, вы выпивали ее съ колѣнопреклоненіемъ, набожно, благоговѣйно, при умирительныхъ звукахъ пѣснопѣній. Тутъ начинались разныя храмовыя чудеса, въ которыхъ языческіе жрецы были очень искусны и которыхъ химія, производящая искусственныя минеральныя воды, произвести не въ состояніи: но она

можетъ вообразить то дѣйствіе, какое теплая вѣра, при этомъ зрѣлищѣ, при этихъ обрядахъ производила на больного. Потомъ васъ раздѣвали, и вы должны были выкупаться среди храма, при глазахъ Юпитера-исцѣлителя, въ благословенной имъ водѣ, откуда безпрестанно являлись прелестныя нимфы, одѣтыя въ темный воздухъ и перевитыя радугами, которыя солнечные лучи, проведенные сквозь потолки, образовали на поверхности пруда. Онѣ прыгали вокругъ васъ, брызгали на васъ цѣлительною жидкостью, осыпали пахучими цвѣтами, горячими взглядами, сладостными улыбками, показывая смертнымъ глазамъ вашимъ образчикъ потѣхъ, блаженствъ и здоровья Олимпа. Изъ этой купели вы уже выходили исцѣленнымъ радикально.

Таковъ былъ отлично обдуманнѣйшій курсъ древняго водолеченія, отъ котораго и доннынѣ ведется въ чело-вѣческомъ суевѣріи громкая слава цѣлебныхъ источниковъ. И курсъ этотъ въ тысячу разъ раціональнѣе того, который водяные врачи учредили и поддерживаютъ со всѣмъ упрямствомъ педантства въ Карльсбадѣ, Кисингенѣ, Крейцнахѣ или Баденѣ-Баденѣ. Однажды, гуляя по очаровательному берегу Байскаго Залива, около развалинъ одного изъ такихъ храмовъ, гдѣ еще по древнему полу волнуется вода цѣлебнаго ключа, лишившагося своей славы и всѣми забытаго, и живо представивъ себѣ то блестящее время, когда этотъ берегъ былъ покрытъ великолѣпными виллами римскихъ патриціевъ, волшебными садами, хрустальными фонтанами, когда всѣ удивленія древняго искус-

ства, проданныя за безцѣнокъ Лейнами вмѣстѣ съ своей наукою и своей славой, красовались здѣсь на этихъ невѣроятныхъ паркетахъ, сотканныхъ изъ жилъ благороднѣйшихъ мраморовъ и устланныхъ каменными картинами, нетлѣнными снимками созданій генія великихъ учителей прекраснаго, когда съ одной стороны Баи, съ другой ПUTEоли, разливали по всему этому пространству, усѣянному цвѣтами и тѣнью, роскошь, красоту, шѣгу, шумъ веселія и благоуханіе южной любви, засыпанныя сами золотомъ, собраннымъ со всего извѣстнаго міра, когда этотъ храмъ, въ зеркальное пареѳеопское утро, звучалъ таинственными мелодіями, которыми послѣ чаши цѣлебной воды, сами боги и богини лелѣяли разстроенные нервы классическихъ обжоръ и честолубцевъ, спѣшившихъ къ чудесному источнику — одною мыслью объ этомъ несравненномъ водолеченіи я излечился отъ премерзкаго и смертельнаго недуга, противъ котораго тринадцатю знаменитѣйшими водо-врачами назначено мнѣ было тринадцать различныхъ минеральныхъ водъ, не считая магнезіальной и сельтерской, какъ *вспомогательныхъ*.

Не такъ хорошо, не такъ роскошно, но такъ же коротко и успѣшно лечатся минеральными водами и донимѣ Азіятцы, прямые наследники древней опытной мудрости. Турецкій ага или курдскій бей, нажившій хандры среди своихъ подчиненныхъ, жеиъ и невольницъ, страдаетъ ея послѣдствіями, худѣетъ, потѣетъ, ослабѣваетъ, не ѣстъ, не спитъ, даже курить не можетъ. Въ одинъ прекрасный весенній вечеръ, погла-

дивъ себѣ бороду, поправивъ усы, и воскликнувъ: *Аллахъ великъ!* онъ садится на лошадь и отправляется съ поѣздомъ трубочистовъ, кофейщиковъ, и туфленосцевъ, къ дальнему ключу минеральной воды, о которомъ идетъ молва во всемъ околоткѣ что великій-де пророкъ Сулейманъ—да будетъ съ нимъ миръ!—былъ приведенъ къ нему ангеломъ Джебраиломъ и великій царь Александръ-Римскій пилъ изъ него по совѣту верховнаго визиря своего Аристотеля и славнаго врача Ипукрата. Проѣхавъ нѣсколько агачей, утомившись и выспавшись славно на голомъ камнѣ подъ открытымъ небомъ, въ прохладномъ воздухѣ, ага видитъ, что великій Аллахъ сотворилъ съ нимъ чудо: хочется трубки и кофе!... Ага курить и ѣдетъ далѣе, восхищаясь всякимъ живописнымъ ущеліемъ, любясь душевно на каждую зажиточную деревню, которую, если бы позволяло здоровье, такъ отрадно было бы ограбить при столь удобномъ случаѣ, и всякій разъ восклицая: *великъ Аллахъ!* Наконецъ онъ пріѣхалъ на седьмой день ночью къ цѣлебному ключу. Рано утромъ онъ приказалъ разостлать коверъ возлѣ источника, помолился, выпилъ ковшъ минеральной воды и легъ спать. Проснувшись, онъ выкупался въ водоемѣ источника, пообѣдавъ выкурилъ трубку, покушалъ кофе, запилъ все это ковшомъ цѣлительной влаги и приказалъ сѣдлатъ лошадей. О закатѣ солнца онъ уже на возвратномъ пути къ своей родинѣ. Курсъ конченъ. Ага еще громче прежняго утверждаетъ, что Аллахъ великъ.

«И что же вы думаете?» говорилъ мнѣ въ Малой

Азіи одинъ европейскій врачъ, весьма образованный и долго жившій въ той сторонѣ: «эти люди обыкновенно возвращаются домой свѣжими, розовыми и «здоровыми!... Они всегда такъ лечатся: одинъ и тотъ же источникъ служить имъ для всѣхъ болѣзней, и «страна гремитъ разказами о чудесныхъ излеченіяхъ».

Но съ ближайшими къ источнику жителями онъ не производитъ такихъ чудесъ. Нужно разстояніе! Нужно путешествіе! Надо на нѣкоторое время перемѣнить все—воздухъ, мѣсто, людей, привычки, занятія.

Если что-нибудь, по части водъ, можетъ и должно страшиться *ироніи просвѣщенныхъ врачей и не-врачей*, такъ это общепринятая въ минерально-врачующемъ мірѣ водолечительная метода или, такъ-называемые *курсы*, какъ-будто рассчитанные нарочно съ тѣмъ умысломъ, чтобы накатать въ паціента какъ-можно болѣе горько-соленой воды и взять съ него какъ-можно болѣе денегъ. Его наливаютъ водою шесть, восемь и десять недѣль сряду. Человѣческая натура, вообще, *не переноситъ* минеральныхъ водъ—хорошо лекарство! — надо сперва приучать ее постепенно *переносить цѣлебную влагу*, говорятъ водоврачи, и это называютъ «приготовленіемъ». Потомъ, когда желудокъ и весь организмъ свыкнется съ этими гадостями, начинается отчаянный водопой, доходящій иногда до невѣроятныхъ количествъ—въ одно утро до восьми и десяти стакановъ воды, заключающей въ фунтѣ своего вѣса нерѣдко до полутора и болѣе гранъ щелочей, земель, острыхъ солей и ѣдкихъ металловъ, при сорока или пятидесяти градусахъ тем-

пературы. Разумѣется, что при всей приобрѣтенной привычкѣ никакая органическая внутренность не въ состояніи *перенести* такого лекарственнаго потопа, и спасается только усиленнымъ движеніемъ и непрерывною испариною, которыя впрочемъ необходимы даже и при самыхъ умѣренныхъ приемахъ: иначе цѣлительная вода зацѣлитъ васъ вконецъ. Славное лекарство, нечего сказать. Наконецъ начинается отвыканіе отъ воды: и тутъ еще нерѣдко нужны особенныя лекарства, чтобы уничтожить слѣды водолеченія. А между-тѣмъ во все это время должны вы смѣяться, веселиться, ходить, ѣздить, прыгать, жить на воздухѣ, ложиться спать во-время, вставать рано, кушать умѣренно и самыя здоровыя яства, занимать воображеніе свое пріятными картинами, а душу сладкими впечатлѣніями — не сердиться — не огорчаться — и не думать о болѣзни; а не соблюли вы хоть одного изъ этихъ условій, такъ говорятъ вамъ: виноваты вы, а не воды! воды — чудное средство *для того, кто строю исполняетъ всѣ эти врачебныя предписанія*. Да я опять не вижу, что тутъ, если есть возвратъ къ здоровью, сдѣлала вода на свою цѣлительную долю? Все это исполнялъ я только для того, чтобы быть въ состояніи *переносить* ее, а между-тѣмъ этого уже было очень достаточно, чтобы прогнать болѣзнь, даже упрямую, но изъ рода тѣхъ болѣзней, которыя отправляютъ къ водамъ. Между-тѣмъ весь успѣхъ приписываютъ водамъ!... однимъ водамъ!...

Но — суетвѣрія всторону — вотъ одно изъ самыхъ
Соч. Сенковск. Т. VIII.

осязательныхъ и самыхъ ежедневныхъ доказательствъ, что успѣхъ принадлежалъ здѣсь не водамъ, а перемѣнѣ мѣста, людей, предметовъ, мыслей, образа жизни, и тѣмъ упражненіямъ, которыя должно было дѣлать постоянно для того, чтобы только *перенести* воды, чтобы спастись отъ вреднаго ихъ дѣйствія. Послѣ курса, вы возвращаетесь на родину: вы опять въ своемъ домѣ и въ своемъ кругу; тѣ же стѣны, та же мебель, тѣ же лица, тѣ же голоса что прежде, и они по-прежнему дѣйствуютъ непріятно на ваши нервы; тѣ же воздухъ, пища, занятія, разговоры, безпокойства, досады, отъ которыхъ вы до путешествія ежедневно умирали; словомъ все — то же вокругъ васъ и, вскорѣ, отъ этихъ впечатлѣній, возстановливается внутри и то же самое разстройство. Вы опять больны какъ были! — «Вы мало пили минеральной воды, говоритъ ученый докторъ Шульцъ: поѣзжайте опять, пейте еще.... надо пить два, три сезона». — Нѣтъ, не минеральную воду пилъ я мало, а мало еще отвыкъ отъ прежняго образа жизни, отъ прежнихъ людей, отъ прежнихъ занятій — надо ѣхать — но не для того, чтобы пить воды, а чтобы лучше отвыкнуть отъ всего этого — дотога отвыкнуть, чтобы потомъ оно было для меня новостью. Если бы кратковременнымъ исцѣленіемъ моимъ былъ я обязанъ и матеріальному дѣйствію воды, я не заболѣлъ бы снова такъ скоро. Это ясно!

Авторъ «Наставленія къ употребленію минеральныхъ водъ», расточая похвалы искусственнымъ водамъ, въ пылу сраженія съ защитниками естественныхъ со-

вершено, и вѣрно не безъ намѣренія, выпускаетъ изъ виду то важное обстоятельство, что, если *великое открытіе* Струве обезпечиваетъ пациентовъ отъ пристрастія водяныхъ врачей, зато заведенія искусственныхъ водъ, учреждаемыя въ большихъ столицахъ, лишаютъ мѣстныхъ больныхъ всѣхъ цѣлебныхъ преимуществъ путешествія, новости и разнообразія земель, предметовъ, людей и мыслей, переменъ воздуха и пищи, и кореннаго обновленія образа жизни, словомъ всѣхъ врачебныхъ благъ, произтекающихъ изъ поѣздокъ къ естественнымъ водамъ или, еще лучше, мимо водъ. Блага эти очевидны, испытаны и несомнительны, тогда-какъ польза самихъ водъ, какъ водъ, будь онѣ произведены природою или искусствомъ, далеко недоказана и очень неясна, исключая быть-можетъ немногихъ, весьма ограниченныхъ случаевъ, въ которыхъ по увѣренію водо-энтузіастовъ, извѣстныя воды *дѣйствуютъ специфически*. Вся положительно хорошая сторона минеральныхъ источниковъ уничтожена *великимъ открытіемъ*, въ искусственныхъ водахъ: а сохранена только одна сторона спорная, неопредѣлительная, неудобно-переносимая и, слѣдственно, опасная для организма. До двухъ или трехъ *полужидкихъ* феноменовъ въ сутки, о которыхъ говоритъ ученый докторъ Шульцъ, можно очень удобно и безъ «великаго открытія» достигнуть ежедневными приемами очень легкихъ растворовъ простой англійской соли и углекислой магнезін, при требуемомъ *усиленномъ движеніи и строгой діетѣ*, если бы въ этихъ славныхъ феноменахъ заключалось все

чудо минеральнаго водолеченія, и не видно, къ чему собственно здѣсь необходимо *великое открытіе*. Они получаютъ точно такъ же при методическомъ леченіи холодною невскою водою, земляникою, клубникою, смородиною, сывороткою — даже русскимъ квасомъ. Есть тысячи средствъ достигнуть во всей точности этого благаго результата, единственнаго несомнѣннаго дѣйствія минеральныхъ водъ. Если только въ этомъ дѣло, такъ вовсе не стоить труда поддѣлываться болѣе или менѣе удачно *химическимъ путемъ* подъ натуральныя воды, прозванныя цѣлительными. Если нужна сѣра, желѣзо, углекислота, такъ и это можетъ быть принято больнымъ въ другой формѣ, безъ искусственной минеральной воды. Вооружась таинственностью, авторъ можетъ быть сошлется на присутствіе въ минеральныхъ водахъ совершенно гомеопатическихъ количествъ іода, брома, мышьяку, кремнезема, олова и такъ далѣе, и на содѣйствіе ихъ общему результату леченія. Но ссылка на это не будетъ серьезною, тѣмъ болѣе, что авторъ требуетъ отъ противниковъ своихъ *основательнаго знанія химіи*. Таинственностями отдѣлываться было бы весьма не кстати, превративъ минеральныя воды въ чисто химическое дѣло и трактуя съ желудкомъ посредствомъ реторты.

Вотъ коренная, настоящая точка зрѣнія при совѣстливомъ и истинно-философическомъ разсужденіи о сравнительныхъ выгодахъ употребленія водъ у натуральныхъ источниковъ и возлѣ химической лабораторіи. Прежде всего надо было доказать, что воды — чудное и неоспоримое лекарство сами по себѣ, какъ

воды. Авторъ, въ «Письмѣ къ больному», очень ловко уклонился отъ этого скользкаго вопроса за невозможностью привести его къ формамъ достовѣрной истины. И какъ поставить ему въ вину, что онъ не сталъ доказывать, чего доказать нельзя и что поддерживается только народнымъ повѣріемъ и учеными гипотезами? Но въ такомъ случаѣ слѣдовало бы отзыватьсѣ менѣе надменно о своихъ собратахъ и противникахъ, слѣдующихъ противному мнѣнію или неубѣжденныхъ доселѣ брошюрами *нашего* заведенія. Я не говорю, чтобы для провинціального больного, пріѣхавшаго изъ глуши въ рай, изъ степи въ столицу, лечиться искусственными минеральными водами, воды эти не были такъ же хороши какъ и воды самыхъ знаменитыхъ источниковъ: путешествіе, Петербургъ, его блескъ, его гармоническій воздухъ, его благовонная теплота, его безчисленныя солнца, звѣзды, красоты, очарованія и разсѣянности, совершать чудо, котораго слава останется, разумѣется, за водами и ихъ заведеніемъ, особенно, если курсъ совпадетъ съ масляницею. Но ежели петербургскіе больные донинѣ остаются равнодушными къ *великому открытію* и его двумъ здѣшнимъ храмамъ, они дѣлаютъ премудро: имъ надо ѣхать — ѣхать — и ѣхать — куда глаза глядятъ — гдѣ брызжутъ ключи — гдѣ лимоны цвѣтутъ — гдѣ лица сіяютъ беззаботностью — вотъ напримѣръ хотъ въ Москву — въ московское заведеніе искусственныхъ минеральныхъ водъ, безцѣнныхъ уже тѣмъ, что они не услышатъ тамъ здѣшней искусственной музыки. Москвичи, которые страдаете

нервами, прїѣзжайте наоборотъ въ *наше* заведеніе: Петербургъ разорить и исцѣлить васъ!

Боже мой! чѣмъ люди не лечили людей? чего не выдавали за испытанія, вѣрныя и даже всеобщія лекарства? чему не вѣрили въ медицину какъ факту и несомнѣнному наблюденію? Яйцо крокодила — глазъ ехидны — мозгъ соловья — сердце ибиса — кровь дракона — присницизмъ — месмеризмъ — магнетизмъ — водо-минерализмъ.... Вотъ, передо мной, книжечка, имѣвшая много изданій во всѣхъ странахъ, и гдѣ удостовѣряютъ *опытами*, доказываютъ *фактами*, что коньякъ и соль — лучшее и вѣрнѣйшее лекарство противъ тѣхъ самыхъ болѣзней, которыя обыкновенно посылаютъ къ водамъ.

Я не хочу выставить на видъ слишкомъ рѣзко того, что минеральныя воды — лекарство роскоши и посвященное почти исключительно недугамъ богатства. Передъ лицомъ строгой философіи науки это сдѣлалось бы еще подозрительнѣе.

Въ безпредѣльномъ усердіи своемъ къ минеральнымъ водамъ, докторъ Шульцъ благоволяетъ оставлять еще подъ сомнѣніемъ присутствіе мышьяку во многихъ цѣлебныхъ источникахъ. Я не думаю приписывать большой важности этому бесполезному полумоту: въ то время, когда писано «Письмо къ больному», фактъ могъ еще быть подернутъ сомнѣніемъ для тѣхъ, кому онъ былъ непріятенъ; но нынче, какъ авторъ конечно слѣдуетъ со вниманіемъ за трудами химиковъ разныхъ народовъ, сомнѣнія его, вѣроятно, совсѣмъ разсѣялись. Въ желѣзистыхъ клю-

чахъ, особенно при-рейнской страны, положительно есть мышьякъ.

Всѣхъ азартныхъ сужденій этого «Письма» разбирать нѣтъ возможности, и предпріятіе было бы даже неумѣстно, послѣ того какъ мы видѣли, что самое основаніе вопроса о минеральныхъ водахъ, какъ лекарствъ, обойдено и оставлено въ блаженномъ мракѣ. Но авторъ утверждаетъ иногда вещи изумительныя. Русскимъ больнымъ ученый докторъ снисходительно разрѣшаетъ чай при употребленіи водъ, хотя германскіе врачи обыкновенно запрещаютъ этотъ напитокъ, по мнѣнію ихъ, раздражающій нервы. Всѣ читатели «Письма» будутъ очень довольны разрѣшеніемъ: но не всѣ — причиною, на которой разрѣшеніе это основано. Снятіе запрещенія состоялось по тому уваженію, что въ Германіи обыкновенно употребляютъ зеленые чаи, а въ Россіи черные: а это — большая разница!... *Нынче извѣстно*, прибавляетъ авторъ, что эти два рода чаевъ собираются съ *двухъ различныхъ видовъ* чайнаго дерева. А между-тѣмъ нынче-то извѣстно совсѣмъ другое!... Послѣ нанкинскаго трактата, англійская коммерція отправляла ботаниковъ и агентовъ въ чайныя сады для изслѣдованія всѣхъ обстоятельствъ чайной фабрикаціи, и эти путешественники удостовѣряютъ одногласно, что хотя, въ самомъ дѣлѣ, ботанически есть два вида чайнаго дерева, но оба вида одинаково даютъ всѣ три рода извѣстныхъ въ торговлѣ чаевъ. Всѣ три сорта чаевъ, желтый, черный и зеленый, приготовляются изъ листьевъ одного и того же дерева, какого ботаническаго вида оно бы ни

было. Разницу составляют во-первыхъ, возрастъ листьевъ, которые тщательно сортируются, во-вторыхъ, приготовленіе ихъ, или фабрикація. Зеленый чай и черный чай, оба — крашенные чаи, въ чемъ можно удостовѣриться, наливъ кипятку на тотъ или другой: листья мгновенно пускаютъ краску, вода немедленно становится темною, чего не бываетъ въ такъ-называемыхъ *желтыхъ* или натуральныхъ чаяхъ. И въ красильные составы этого производства входятъ, между прочимъ, желѣзо для черныхъ чаевъ и лянсиновъ, мѣдъ и берлинская лазурь для зеленыхъ. Китайцы, которые обыкновенно употребляютъ желтый чай, не крашенный, не довольствуются фабричною сортировкой листьевъ: каждый порядочный сынъ Поднебесья, знающій десять тысячъ церемоній и кушающій *ча-п-суй* съ толкомъ и со вкусомъ, изъ купленного въ лавкѣ чаю выбираетъ самъ лучшія по возрасту и цвѣту листочки, съ гастрономическимъ глубокомысліемъ, бросаетъ ихъ въ маленькую чашку, наливаетъ кипяткомъ, накрываетъ и настаиваетъ: настой этотъ вообще чрезвычайно легокъ, въ немъ едва успѣваетъ раствориться почти одно только чайное улетучивающееся масло, которое придаетъ особенный ароматъ чаю и сильно дѣйствуетъ на *нѣкоторые* нервы. То же самое происходитъ и съ кофе: испаряющееся кофейное масло, образующее его запахъ, есть настоящая и единственная причина волненія, производимаго идіосинкратически въ нервномъ приборѣ *нѣкоторыхъ* лицъ. Разрѣшать или запрещать чай или кофе систематически — дѣло такое же не философское,

какъ и систематически лечить минеральными водами, учреждая общія правила на основаніи немногихъ примѣровъ, болѣе или менѣе хорошо понятыхъ, недоступныхъ никакой повѣркѣ и всегда получаемыхъ изъ поверхностнаго, односторонняго или пристрастнаго наблюденія. Точно такъ же какъ *нѣкоторые* не могутъ спать послѣ чашки кофе или чаю, другіе не засыпаютъ послѣ мяты или настоя померанцевыхъ цвѣтовъ, или когда въ спальнѣ цвѣтетъ роза, ясминъ, геліотропъ, макъ, или даже когда въ смежной, кругомъ запертой комнатѣ, спитъ кошка, которой запахъ, для большей части людей нечувствительный, производитъ въ иныхъ темпераментахъ страшное нервное волненіе, бѣненіе сердца и тошноту. Между-тѣмъ многіе никогда не спятъ отраднѣе какъ при тѣхъ же цвѣтахъ и запахахъ, отъ которыхъ у другихъ разболѣвается голова, кровь сильно бросается въ сердце и желудочные нервы приходятъ въ замѣшательство. Я, когда не могу уснуть, выпиваю чашку кофе или чаю, и засыпаю немедленно богатырскимъ сномъ. Автору, вѣроятно, извѣстно, что въ *нѣкоторыхъ* натурахъ глотокъ холоднаго чаю, на которомъ чайное масло застыло едва примѣтнымъ слоемъ, мгновенно производитъ головокруженіе и рвоту: онѣ *переносятъ* это масло только въ кипяткѣ, въ испаряющемся видѣ. Другія натуры, напротивъ, пьютъ холодный чай, не только безвредно, но еще съ удовольствіемъ. Не разрѣшая и не запрещая всѣмъ ни чаю, ни кофе — потому-что въ наше время передъ лицомъ нынѣшней фізіологіи и нынѣшней химіи, это не глубокомысленно — слѣдо-

вало предоставить натурѣ каждого употребленіе этихъ веществъ, какъ и другихъ ароматныхъ, *по ея личному* качеству, по ея идіосинкразіи, а скорѣе обратить вниманіе больныхъ на страшную неводержимость европейскихъ племенъ, которая приводитъ въ ужасъ и Турцію, гдѣ кофе рождается, и Китай, гдѣ растетъ чай. Восточные люди пьютъ чай и кофе наперстками въ самыхъ легкихъ настояхъ — кофе едва вскипѣвшій — чай чуть-чуть окрасившій воду — пьютъ часто, это правда, но всегда очень малыми количествами. А у насъ — кипятятъ чай на самоварныхъ трубахъ, и кофе на огнѣ, по цѣлымъ часамъ — дѣлаютъ настоя чернѣ чернилъ — и глотаютъ ихъ стаканами или, въ самыхъ уже добродѣтельныхъ семействахъ, чашками, въ которыхъ вмѣщается *только* четверть фунта кипятку. И удивляются, послѣ того, что чай горячитъ ихъ, что голова болитъ, сердце бьется, кровь волнуется, нервы страдаютъ. Да до этого состоянія можно довести себя и не разоряясь на чай, а просто выпивая каждый день періодически по фунту чистаго кипятку или горячаго углекислаго лимонада, который у доктора Шульца называется *прохладительнымъ напиткомъ*.

То же самое должно сказать и о куреніи табаку. Запрещать его такъ же смѣшно, какъ и разрѣшать. Дѣйствіе табаку принадлежитъ къ категоріи дѣйствія ароматовъ. Табачное дѣло — чисто идіосинкратическое: однимъ табакъ въ высшей степени благопріятенъ и полезенъ, другимъ болѣе или менѣе вреденъ, для третьихъ лишенъ всякаго дѣйствія. Горячій дымъ,

огонь, разгорячаетъ *нѣкоторые*, какъ въ чаѣ и кофе кипятокъ, но большею частью это происходитъ оттого, что *нѣкоторые* и весьма многіе не умѣютъ курить. Виѣсто пустыхъ диссертацийъ о составныхъ частяхъ табаку, гораздо полезнѣе было бы со стороны врачей обращать вниманіе на то, какъ пациентъ курить: можетъ-быть онъ курить *слишкомъ скоро!*

Возблагодаривъ ученаго доктора Шульца за сохраненіе національности Русскимъ въ ихъ болѣзняхъ безвозбраннымъ покушиваніемъ чайку, мы въ правѣ изъяснить нѣкоторое удивленіе, къ какой стати, въ духѣ чисто германской водолечительной мудрости, предписываетъ онъ русскимъ больнымъ желудкамъ съ извѣстными водами употреблять непремѣнно нѣмецкій квасъ — мерзѣйшій изъ укусовъ — родъ швабскаго кумысу, состоящій изъ огромнаго количества *cremoris tartari* и нѣсколькихъ капель алкоголя, приготовляемый изъ зеленого, незрѣлаго винограда и называемый *мопельвейнъ*? Нѣмцы, изъ патріотизма, могутъ называть эту кислоту виномъ и *переносить* его изъ экономіи, но благородный желудокъ, родившійся и воспитанный въ другихъ деньгахъ и высшихъ понятіяхъ о винѣ, не обязанъ жертвовать собою вкусу германскаго университетскаго міра. Не знаю даже, въ какой степени раціональная терапевтика можетъ одобрить введеніе въ разслабленный пищеварительный приборъ продукта никогда не созрѣвающихъ ягодъ: мнѣ кажется, что, по части винъ, во внутренность нашу могутъ правильно быть допускаемы только вина благородныя, совершенныя, выжатая изъ плодовъ, совершившихъ

полный кругъ своей жизни подъ лучами всегда яснаго и жаркаго неба и очистившіяся временемъ въ бутылкѣ, вина южныя и старыя — единственныя, которыя не только безвредны, но даже явственно полезны для пищеваренія, при умѣренномъ и своевременномъ употребленіи. Скорѣе запретите всякое вино больному, чѣмъ дозволить ему вина несовершенныя, неполныя, невыстоявшіяся въ ягодахъ и, слѣдственно, никогда не выстаивающіяся въ сосудѣ, кислыя и острыя вина, каковы, прежде всего, германскія, а потомъ французскія, исключая нѣсколькихъ ронскихъ, и то самыхъ южныхъ. Вина, достойныя этого имени, производятъ только Испанія, Португалія, Италія и Греція. Въ прочихъ европейскихъ земляхъ родятся только квасы.

Нельзя, однакожъ, оставить книжки ученаго доктора, не упомянувъ о томъ, какъ онъ выстрѣлилъ въ непріятелей *картофелемъ* (стр. 36), о томъ славномъ аргументѣ, которымъ онъ хотѣлъ запутать противниковъ искусственныхъ минеральныхъ водъ, *врачей и неврачей*, находящихъ удовольствіе отзываться объ нихъ съ ироніей и *всѣ* разсужденія *обращать въ шутку*. Я знаю, въ кого мѣтитъ ученый докторъ этимъ смертельнымъ сарказмомъ, но не скажу. Онъ оцѣнитъ мою скромность. Я не хочу ссорить никого. Мы давнымъ-давно не въ ладахъ съ искусственными минеральными водами, которыя выдаютъ себя за нѣчто рѣшительно *то же самое и еще лучше естественныхъ*: и предлагаемая статья написана нарочно для примиренія. Вотъ аргументъ.

Какъ вы смѣете, насмѣшники, полагать, будто нельзя ѣдѣлатъ въ кухнѣ точно такой же минеральной воды, какую дѣлаетъ природа гдѣ-то въ нѣдрахъ земли. Огонь тотъ же. Вещества тѣ же. *Пути химіи и природы тѣ же*. Всѣ неорганическіе составы химикъ изготовляетъ такъ же хорошо, какъ и тотъ, кто изобрѣлъ ихъ. Органическія — дѣло другое: *картофеля*, *напримѣръ*, нельзя сочинить. Но минеральную воду!.. какая тутъ мудрость?.. Да вы видно не знаете, или забыли, что *минеральныя воды не имѣютъ никакой связи съ органической химіей*!...

Аргументъ въ самомъ дѣлѣ — убійственный; и студентъ, который видитъ въ своемъ «руководствѣ» химію разрубленною на-чисто по-поламъ категорическими словами *неорганическая* и *органическая*, не знаетъ бы что и отвѣчать на это. Но ученый авторъ, кажется забылъ, съ своей стороны, что не всѣ готовые все обращать въ шутку — студенты и разсыплются въ прахъ отъ удара школьнымъ дѣленіемъ науки. Съ ними надо говорить такъ, какъ-будто они понимали дѣло философически: лучшее средство доказать, что вы сами понимаете его съ этой стороны. А философія науки не можетъ допустить въ химіи такихъ категорій. Она знаетъ, что въ природѣ двумъ химіямъ быть нельзя. Если въ природѣ есть строгое единство — а безъ такого единства природа не простояла бы и трехъ сутокъ — то всякое тѣлотвореніе, отъ водорода до бѣлковины и отъ металла до мозгового вещества, должно происходить по одному, чрезвычайно простому закону, однимъ и тѣмъ же процессомъ. *Fiat мин-*

dus et mundus factus est. Наука, отвергающая эту великую идею, эту святую истину, была бы сумасбродствомъ, а не наукою; а при осуществленіи этой истины двѣ различныя химіи работать не могли. Химія одна. Гдѣ начало организма или по-просту жизни? гдѣ предѣлъ неорганическаго состоянія, или безжизненности? — этого никто не скажетъ. Органическое и неорганическое — пустыя слова. Все въ природѣ движется, потому-что все тяжело. Философія науки принуждена нынче сознаться, что никакой атомъ вещества не можетъ ни на одинъ моментъ пребывать въ покоѣ: онъ долженъ вѣчно двигаться и даже обладать многими движеніями вдругъ, изъ которыхъ первое и основное есть вѣроятно вибраціонное движеніе самихъ атомовъ: иначе невозможно было бы понять ни тяжести, ни свѣта, ни теплоты, ни электрическихъ, магнитическихъ явленій, ни даже сдѣлленія атомовъ въ формы различныхъ тѣлъ. Атомы между собою, какъ и небесныя тѣла между собой, связываются, держатся вмѣстѣ и образуютъ тѣла и міръ гармоніей присвоенныхъ имъ движеній. Существованіе есть движеніе, это сказано гениально. Что не движется, то вещественно не существуетъ, потому-что не имѣетъ вѣсу или тяжести, которая — первый результатъ движенія или многихъ сложныхъ движеній. И въ кристаллѣ и въ *картофель* атомы, слѣдовательно, движутся постоянно, непрерывно, и притомъ, отъ прикосновенія или вліянія постороннихъ *движеній*, каковы свѣтъ, теплота, треніе, перемѣщеніе и такъ далѣе; и въ томъ и въ другомъ они одинаково способны измѣнять гар-

монію своихъ внутреннихъ колебаній и круженій, переходить въ другія гармоническія сочетанія движеній и являть изъ себя новыя формы сдѣпленія, другіе виды вещества, другіе *химическіе составы* или *химическія простыя тѣла*. Гдѣ же тутъ положить рубежъ для неорганическаго бытія? *Составъ* — *простое тѣло* — Боже мой! да вѣдь это все такіе условные и относительные термины, какъ и *органическая* и *неорганическая* химія!.. Простымъ тѣломъ называемъ мы то, что не поддается извѣстнымъ намъ реактивамъ, а составомъ — только результатъ дѣйствія ихъ реактивовъ. Это не сущности, а только формы, которыя мы сами придаемъ атомическимъ движеніямъ дѣйствіемъ на нихъ постороннихъ атомическихъ движеній. Какія собственно формы образуютъ атомическія движенія въ органическомъ или неорганическомъ составѣ, пока мы его не расторгнемъ дѣйствіемъ постороннихъ движущихся атомовъ и не разрушимъ, это — тайна природы, навсегда для насъ закрытая. Такъ-называемыя изомерическія вещества или равномерные составы, не служатъ ли явнымъ доказательствомъ той истины, что такъ-называемыя *составныя вещества* какого-нибудь тѣла, которыя мы будто-бы открываемъ химическими производствами, суть собственно только извѣстное число формъ, принимаемыхъ атомами этого тѣла по вынужденію употребленныхъ въ производствѣ дѣйствователей? Слишкомъ грубое понятіе о тѣлотвореніи сочинилъ бы себѣ тотъ, кто бы вообразилъ или повѣрилъ, будто вода составлена дѣйствительно изъ водорода и кислорода, а масло изъ водорода,

кислорода и углерода: здоровое понятіе о матеріи позволяет намъ утверждать только то, что посредствомъ извѣстныхъ дѣйствователей и производствъ мы можемъ принудить атомы воды и масла расторгнуть двѣ эти формы гармоническихъ движеній, сдѣляющихъ ихъ въ образы воды и масла, и заставить принять формы этихъ трехъ газовъ. Но если сущность дѣла такова, то какое же право имѣемъ мы утверждать, что сложивъ вмѣстѣ извѣстное число извѣстныхъ намъ формъ атомической матеріи, это будетъ — настоящая зельтерская вода, потому-что настоящую воду принудили мы реактивами распредѣлиться въ нашихъ сосудахъ на эти формы, между-тѣмъ какъ обстоятельства образованія и существованія двухъ жидкостей совершенно различны, и мы вовсе не знаемъ ни реактивовъ ни производствъ, употребляемыхъ природою?.. Но правда — я и забылъ, что авторъ «Письма врача къ больному» знаетъ это превосходно изъ геологическихъ гипотезъ, которыя называетъ онъ *геознозисъ*!

Одно изъ двухъ: или всѣ *составныя вещества*, составныя части минеральной воды, какъ бы неудобно малы ни были ихъ количества, образуютъ въ ней однородное цѣлое, которое всѣмъ объемомъ своей сущности дѣйствуетъ на организмъ больного, или эти составныя части сохраняютъ въ ней каждая свою форму, присутствуя тутъ въ образѣ простой смѣси веществъ, а изъ нихъ дѣйствуютъ на организмъ только тѣ составныя части или формы, которыхъ количество довольно значительно для произведенія перемѣнъ и замѣшательствъ въ организмѣ, между-тѣмъ какъ прочія

формы, по своей малоколичественности, уничтожаются его дѣятельностью. Первое нравится мистическимъ теоріямъ врачеванія, но здѣсь надо по-необходимости допустить второе, потому-что на этой-то гипотезѣ простаго смѣшенія составныхъ частей съ сохраненіемъ ихъ формъ основана поддѣлка минеральныхъ водъ подъ натуру. Дѣйствуетъ же, при такомъ смѣшеніи, не совокупность всѣхъ составныхъ частей, а только формы, самыя обильныя по своимъ количествамъ: потому-что если бы каждое гомеопатически-мелкое вещество имѣло силу преодолѣвать внутреннюю силу организма и измѣнять ходъ его отправленій, животное здоровье на три часа сряду было бы невозможностью. Но въ такомъ случаѣ, я скажу опять: къ чему искусственная минеральная вода? какая польза отъ хлопотъ контрафакціи, когда эти истинно дѣйствующія составныя части можно прямо прописать изъ аптеки?

1849.

ГАНЕМАННЪ И ГОМЕОПАТІЯ.

I.

По поводу прагматическаго сочиненія (докт. Вольскаго)
О Ганеманнѣ и гомеопатіи, 1840.

Я удивляюсь, не тому, что нѣкогда озадачивало Цицерона, какъ могли два авгура, встрѣтившись, удержаться отъ хохоту, но, какъ въ наше время, при нынѣшнемъ состояніи медицины, торжественно уличаемой своими великими жрецами въ неосновательности всѣхъ ея теорій, существовавшихъ и существующихъ, и въ произволѣ ея какъ науки, два врача, аллопаты и гомеопаты, посмотрѣвъ другъ другу въ глаза, не помираютъ со смѣху о томъ, что они — врачи и лечатъ! Еще болѣе удивительно для меня, какимъ образомъ могутъ быть аллопаты, которые вправду сердятся, негодуютъ, пишутъ грозныя книги, вооружаются анаевою на томеопатовъ, и обратно. Полноте, господа: подайте другъ другу руку, помиритесь, и смѣйтесь вмѣстѣ; смѣйтесь, что вы однакожъ *лечите* людей! Какъ не смѣяться, когда они, при всемъ томъ, вѣрятъ вашему знанію и искусству и и позволяютъ вамъ лечить себя, и вы, у нихъ подъ носомъ, съ равнымъ «успѣхомъ» душили ихъ болѣзни по двумъ совершенно противоположнымъ методамъ.

по двумъ враждебнымъ другъ другу ученіямъ, изъ которыхъ одно говоритъ—да, другое—нѣтъ, одно уничтожаетъ другое, одно называетъ глупостью и смертоубійствомъ то, что другое выдаетъ за верхъ науки и вѣрное средство спасенія! Смѣйтесь же надъ нами добряками: вы — аугуры, мы — чернь непосвященная, которая слѣпо преклоняетъ колѣни передъ вашею чревоушательною мудростью; вы хранители великой тайны медицинскаго гадательства, мы—*vulgus pecus*, которые принимаемъ за велѣнія неба всѣ ваши произвольные оракулы; вы — владыки наши, мы — холопи, искони выданные вамъ головою и животомъ на полное и неограниченное леченіе и залечиваніе по единому усмотрѣнію и милосердію вашему. Чего вамъ еще нужно? За чтò вы ссоритесь? Чѣмъ не довольны? Гдѣ, на какой планетѣ, найдете общество лучше этого, человѣчество, какъ-будто нарочно вымышленное для медицины, для врачеванія, для счастья и благоденствія врачей? Мы окружаемъ васъ почтеніемъ, осыпаемъ почестями и богатствами, воздвигаемъ вамъ статуи и бюсты, вѣшаемъ портреты ваши на своихъ стѣнахъ, между портретами родителей и благодѣтелей нашихъ. Цѣлыя груды титуловъ на заглавныхъ листахъ вашихъ книгъ, цѣлые ряды каменныхъ домовъ, налеченныхъ вами по всѣмъ городамъ, не доказываютъ ли, что здѣсь вы могли бы жить какъ въ раю, привольно, спокойно, отрадно, не портя своей драгоцѣнной крови междоусобными враждами, если бы страсти васъ не ослѣпляли, если бы тщеславіе не увлекало васъ за предѣлы осторожности. Аллопаты, изо-

паты, гомеопаты, броунисты, бишатисты, бруссаисты, иппократисты, солидисты, гумористы! вѣдь всѣ вы знаете, какъ гадательны ваши ученія; зачѣмъ же въ этихъ несчастныхъ спорахъ, вы разглашаете завѣтную тайну сословія и сами роете пропасть подъ ногами вашими? Чтò значать и къ чему поведутъ васъ всѣ эти пасквили, которыя вы безпрестанно пишете одни на другихъ?....

Это уже не тайна, что мы и аллопатію и гомеопатію почитаемъ равно мечтательными ученіями: слѣдственно, какъ та такъ и другая можетъ быть увѣрена въ совершенномъ безпристрастіи нашемъ и объ смѣло могутъ избрать насъ судьей по дѣлу, возникшему вслѣдствіе доноса, поданнаго тремя подлежащими книжками, которыя именуютъ себя «*прагматическимъ* сочиненіемъ». Потворствовать мы не расопложены ни одной сторонѣ, но защитить несправедливо угнетаемаго всегда готовы, и поэтому надѣмся, что всѣ будутъ довольны слѣдствіемъ и судомъ нашимъ.

Какое право имѣютъ три «прагматическія» книжки дѣлаться представительницами аллопатіи и подавать публикѣ этотъ страшный доносъ на гомеопатію? Чего хотятъ онѣ, и въ чемъ обвиняютъ соперницу? Справедливъ ли доносъ ихъ? Прилично ли онъ написанъ? Не подлежатъ ли донощицы сами суду и изысканію за собственныя свои дѣйствія? И могутъ ли навѣты ихъ быть приняты къ разбору передъ зеркаломъ науки? Вотъ вопросы, которые мы постараемся привести въ ясность, посредствомъ надлежащихъ справокъ.

Сперва опредѣлимъ главное основаніе нашего разбирательства. Мы не признаемъ права, ни аллопатіи ни гомеопатіи, подавать доносы другъ на друга: оба они виноваты передъ человѣческою истиною, оба обременены тяжкими грѣхами противъ здраваго разсудка, оба давно уже состоятъ подѣ уголовнымъ судомъ критики за свои мечтательныя начала, за производность своихъ частныхъ выводовъ, за ложность своихъ общихъ заключеній, за невѣрность наблюденій, на которыхъ основываютъ свои теоріи, рѣшительно унывающія одна другую, за незнаніе законовъ органической и неорганической природы, за злоупотребленіе словъ, за шарлатанство, лекомысліе, безконечныя противорѣчія и тысячу другихъ немаловажныхъ проступковъ, за которые они уже лишены достоинства науки и разжалованы въ званіе эмпирическихъ ремеслъ. Поэтому, сидѣть бы имъ обѣимъ смирно и лечить людей тихомолкомъ по своимъ противоположнымъ теоріямъ, одной по теоріи — *да*, другой по теоріи — *нѣтъ*, — когда люди такъ добры, что еще позволяютъ лечить себя при такомъ состояніи медицины — а не смущать спокойствія обществъ взаимными обвиненіями и доносами, изъ которыхъ видно только то, что есть разные врачи, но нѣтъ никакой врачебной науки. Таковъ спасительный совѣтъ, который мы подали бы аллопатіи и гомеопатіи, если бы были мирнымъ судьей въ ихъ соблазнительной тяжбѣ; но, къ сожалѣнію, они не хотятъ уняться, не хотятъ слушать голоса благоразумія и умѣренности, и мы должны судить ихъ по верховнымъ законамъ приличія и здраваго смысла.

Первою статьею этихъ законовъ повелѣвается: «Бу-
«де кто-либо изъ послѣдователей одного ученія, ка-
«ково бы оно ни было въ сущности своей, вздумаетъ
«укорять, бранить и опровергать противное тому уче-
«ніе, таковой обязанъ сперва представить ясныя до-
«казательства, что онъ основательно знаетъ дѣло и
«обладаетъ прилично для сего ученостью; а если
«не представитъ, или обнаружить съ своей стороны
«незнаніе и явную неспособность къ разбору ученыхъ
«вопросовъ, то обвиненія не принимать и его самого
«предавать безъ пощады посмѣянію». Законъ строгъ,
но справедливъ: онъ имѣетъ цѣлю отвратить умно-
женіе плохихъ и бесполезныхъ книгъ, самой злой
чумы образованныхъ обществъ. Примѣнимъ его къ на-
стоящему казусу. Для вѣщаго безпристрастія, пред-
положимъ à priori, что аллопатія во всемъ права, а
гомеопатія во всемъ не права — чего мы никакъ не
допускаемъ! — что она имѣетъ полное право бранить,
унижать и преслѣдовать гомеопатію: можетъ ли, по
силѣ вышеприведеннаго закона, быть принятъ и оста-
вленъ безъ взысканія доносъ, поданный на нее тремя
книжками, дѣйствующими якобы отъ имени аллопатіи
и по ея довѣренности? По справкамъ видно, что три
блѣдно-розовыя книжки, именующія себя «*праматиче-
скими* сочиненіемъ», не далѣе, какъ на первыхъ стра-
ницахъ, представляютъ уже неопровержимыя доказа-
тельства своего незнанія, своей совершенной неспо-
собности къ вѣшательству въ разсматриваніе спор-
ныхъ ученыхъ вопросовъ. Вотъ одно изъ этихъ дока-
зательствъ: оно болѣе чѣмъ достаточно. На второй

страницѣ первой части, въ исчисленіи «*источниковъ*», которые (якобы) служили *руководствомъ* при написаніи этой книги», находятся слѣдующія строки:

«4. Hecker, Annalen der gesammten Medicin.

«5. Neues Journal der Erfindung der Theorien und Widersprüche der gesammten Medicin.

«6. *Intelligenzblatt*.

«7. Гуфеландовъ журналъ», и прочая.

Какъ! между прочимъ, и *Intelligenzblatt* служилъ «*прагматическому* сочиненію» руководствомъ при написаніи этой книги? Какъ же это случилось? Съ которыхъ поръ и какъ *Intelligenzblatt* попалъ въ медицинскіе *источники*? Кто видалъ такое твореніе?, гдѣ оно издается? о чемъ разсуждаетъ?... Слѣдовательно, «*прагматическое* сочиненіе» не знаетъ того, что *Intelligenzblatt*'ами называются всякія прибавленія ко всякимъ нѣмецкимъ газетамъ, даже прибавленія къ «Санкт-петербургскимъ Нѣмецкимъ Вѣдомостямъ», гдѣ помѣщаютъ извѣстія о пропажѣ любимыхъ собачекъ, о предложеніи услугъ въ кухарки и учителя, и о наймѣ квартиръ? Неужели такіе почтенные *источники* служили *руководствомъ* «прагматическому сочиненію»? Ну, нѣтъ, они ни къ чему не служили: «прагматическое сочиненіе» приводитъ это заглавіе просто наудачу, принимая *Intelligenzblatt* за какую-то важную книгу или за ученый журналъ, какъ приводитъ наудачу сорокъ другихъ заглавій источниковъ, которыми будто-бы руководствовалось. Ясно, что оно и въ глаза не видало подобнаго источника и, слѣдовательно, не видало и сорока остальныхъ, въ числѣ которыхъ простодушно выставило это небывалое ученое

твореніе. Кому нужно знать, кому не понятно, какинъ образомъ «прагматическое», то есть Богъ-вѣсть какое, «сочиненіе», въ которомъ однакожъ довольно точно списаны заглавія сорока русскихъ, нѣмецкихъ и французскихъ книгъ, книжекъ и княжечекъ о гомеопатіи, могло принять *Intelligenzblatt* за книгу или журналъ, тотъ почерпнетъ яркій свѣтъ для объясненія столь страннаго событія въ слѣдующемъ достоверномъ фактѣ: «*Прагматическое* сочиненіе» не есть сочиненіе, но простая компиляція, сборникъ безсвязныхъ статей, наскоро, неосторожно и неискусно выбранныхъ изъ четырехъ или пяти чужихъ сочиненій и изъ журналовъ: какія заглавія источниковъ были тамъ выписаны въ цитатахъ, тѣ и «прагматическое сочиненіе» выставило у себя подъ стекломъ на прилавкѣ, увѣряя, будто оно знаетъ всѣ эти книги и ими руководствовалось; но, къ несчастію, гдѣ-то, въ числѣ этихъ цитатъ, и вѣрно по случаю книгопродавческаго объявленія о выходѣ какой-нибудь новой книги, находилось сокращенно выставленное заглавіе какого-то *интеллигенцблатта*, какой-то нѣмецкой газеты, и «прагматическое сочиненіе», не умѣвшее разобрать сокращенія, написало у себя безъ околнчностей — *INTELLIGENZBLATT!* — молагая, что и это — источникъ, важное твореніе противъ гомеопатіи, котораго нельзя не знать ученому ея противнику и не показывать въ списокѣ книгъ, будто-бы прочитанныхъ имъ предварительно. Чтò «прагматическое сочиненіе» не видало по-крайней-мѣрѣ трехъ четвертей показываемыхъ источниковъ, на это мы будемъ имѣть впослед-

ствія новое доказательство, когда рѣчь дойдетъ до статьи, перепечатанной изъ «Сына Отечества», безъ всякаго указанія на источникъ, статьи доктора Спаскаго, которую «прагматическое сочиненіе» добродушно приняло за простое, готовое извлеченіе изъ книги доктора Шямко и потому выставило у себя заглавіе этой книги, а о «Сынѣ Отечества», какъ-будто постороннемъ лицѣ, и не упомянуло. Между-тѣмъ, какъ мы начали говорить о сущности «*прагматическаго* сочиненія» вообще, то уже представимъ здѣсь полный очеркъ его достоинствъ: способность или неспособность къ разсматриванію ученыхъ вопросовъ, право или неосновательное притязаніе его заводить оскорбительный процессъ съ гомеопатіей, будутъ обнаруживаться на каждомъ шагѣ сами собою.

Мы сказали, что «*прагматическое сочиненіе*» — не сочиненіе, а простая компиляція изъ нѣсколькихъ книгъ и журнальныхъ статей, и еще разъ повторяемъ это, изъ опасенія, что можетъ-быть не всѣ хорошо насъ поняли. Три четверти страницъ мыслей и выраженій — рѣшительно чужія. Несмотря на сорокъ источниковъ, показанныхъ въ спискѣ, не считая *интеллектуалта*, «*прагматическое сочиненіе*» выбрало почти все свое содержаніе изъ однихъ только сочиненій доктора Александра Симона-Младшаго и доктора Юганна Штиглица, разумѣется, не говоря объ этомъ ни слова. «*Прагматическое сочиненіе*», которое, видно, по этой причинѣ и назвалось «прагматическимъ», такъ сполна воспользовалось сочиненіями этихъ двухъ писателей, что если бы труды ихъ были переведены

на русскій языкъ, то *«прагматическое сочиненіе»* не могло бы выйти въ свѣтъ, не зная, откуда взять учености и остроумія. У Симона-Младшаго оно почерпнуло всѣ нѣмецкія шутки, всѣ насмѣшки, сарказмы, остроты, выходки на Ганеманна, гомеопатовъ и гомеопатію, передѣлавъ многія изъ нихъ на свой ладъ. У Штиглица взяло оно все, что только нашлось въ немъ благоразумнаго и основательно сказаннаго о гомеопатіи. Если *«прагматическое сочиненіе»*, по-временамъ упоминаетъ объ основныхъ сочиненіяхъ Бишоффа, Jörg'a, Гейнрота, изданныхъ въ 1819, 1822 и 1825 годахъ, то и приводимыя имъ мнѣнія этихъ писателей взяты также изъ книги Штиглица, которая славится у аллопатовъ лучшею изъ всѣхъ написанныхъ противъ гомеопатіи. Все это составляетъ три четверти *«прагматическаго сочиненія»*; оставшая четверть можетъ быть раздѣлена на двѣ части: одна изъ нихъ состоитъ изъ чужихъ мыслей, переодѣтыхъ и замаскированныхъ, другая — неотъемлемая собственность *«прагматическаго сочиненія»*, имъ самимъ придуманная и изобрѣтенная во славу и честь своему родителю. Да будетъ извѣстно, что гомеопатія и Ганеманнъ не составляютъ настоящаго предмета *«прагматическаго сочиненія»*: цѣль его — совсѣмъ другая. Ганеманнъ и гомеопатія служатъ тутъ только предлогомъ къ тому, чтобы, унижая ихъ, расхвалить врачей, нужныхъ *«прагматическому сочиненію»*, и, при столь вѣрной оказіи, выставить свои подвиги и свою практику. Это — единственная оригинальная часть *«прагматическаго сочиненія»*: въ продолженіи нашего разби-

рательства мы будемъ имѣть случай выписать изъ нея нѣсколько изумительныхъ отрывковъ.

Но мы забываемъ, что въ числѣ нужныхъ и расхваленныхъ лицъ находятся и наши родные. «*Прагматическое* сочиненіе», между прочимъ, куритъ оніамъ редактору «Библ. для Чт.», удивляется его познаніямъ и превозноситъ его достоинства, стараясь благовременно задобрить себѣ его мнѣніе. Очень жаль, что «*прагматическое* сочиненіе» не разругало его: это было бы ему несравненно пріятнѣе. Редакторъ Б. для Ч. — человѣкъ весьма странный и даже нѣсколько неблагодарный: онъ нерѣдко хвалитъ книги своихъ враговъ, когда онѣ ему нравятся, и смѣется надъ сочиненіями своихъ услужливыхъ панегиристовъ, когда находитъ ихъ плохими. Иную брань онъ даже предпочитаетъ самымъ лестнымъ похваламъ. Если бы «*прагматическое* сочиненіе» знало этого своенравнаго человѣка, который ни во что не ставитъ извѣстныхъ похвалъ и извѣстныхъ браней, то оно сберегло бы себѣ трудъ, напрасно истраченный на панегирикъ, вовсе не трогающій его сердца. Да и можетъ ли прельщать его какая-либо похвала со стороны сочиненія, которое непрерывно употребляетъ наобумъ ученыя слова, не понимая ихъ значенія? которое, напримѣръ, называетъ себя — *прагматическимъ*, думая, что это слово составляетъ противоположность выраженія «*полемиическій*», тогда какъ оно всегда значило и значитъ — политическій, правительственный, дѣловой: *прагматическая санкція*, извѣстное политическое постановленіе объ управленіи духовными дѣлами; *прагмати-*

ческіе эдикты, политическія или правительственныя постановленія нѣкоторыхъ германскихъ государствъ; *прагматическая исторія*, исторія основанная на этихъ постановленіяхъ и, слѣдственно, чисто «политическая исторія», и такъ далѣе—или которое, вмѣсто «школьный», говорить — *схоластическій*, не зная того, что это прилагательное, въ наукахъ, относится только къ философій, методъ или способу изложенія Аристотеля и его послѣдователей! Цѣлые десятки примѣровъ столь же ложнаго употребленія ученыхъ терминовъ лишаютъ, по мнѣнію нашему, «*прагматическое сочиненіе*» всякаго голоса въ дѣлахъ учености, и похвалы такой книги, конечно, не вскружать головы ни чьему самолюбію.

Чего хочетъ «прагматическое сочиненіе» отъ гомеопатіи? Оно и само не знаетъ! Какъ уже достаточно видно изъ предъидущаго, оно не въ состояніи судить объ ней ученымъ образомъ и вовсе не можетъ знать дѣла. Оно ея не изучало, не понимаетъ ея сущности, не знакомо съ нынѣшнимъ ея состояніемъ, говорить объ ней чужими словами и повторяетъ старыя толки, давно забытыя остроты и выходки. Нѣтъ ничего смѣшнѣе, поверхностнѣе и неосновательнѣе критическаго разбора гомеопатіи, представленнаго въ этомъ сочиненіи. Приведемъ нѣсколько параграфовъ этой любопытной критики, собственнаго издѣлія «*прагматическаго сочиненія*»: читатели найдутъ въ нихъ престранныя *сравненія*, которыя оно почитаетъ за самыя убѣдительныя доказательства противъ двухъ основныхъ началъ гомеопатіи.

«§ 166. Чтобы показать несомнительность и рѣшительную бесполезность гомеопатіи, я намѣренъ, слѣдуя примѣру Ганеманна, представить своимъ читателямъ точно такое же сравненіе военныхъ и морскихъ наукъ и искусства съ гомеопатіею, какое Ганеманнъ сдѣлалъ выше съ медициною.

«Что сказали бы просвѣщенные и опытные военные люди, если бы кто-либо, въ военномъ дѣлѣ непросвѣщенный и неопытный, начерталъ фантастическія правила военного искусства, на основаніяхъ, совершенно противоположныхъ и рѣшительно противорѣчащихъ всѣмъ донинѣ существующимъ военнымъ ученію и практикѣ (гомеопатіи)? За кого почли бы такого человѣка, который, подобно Ганеманну, началъ бы утверждать и хвастать, что, по его наукѣ, для веденія войны и достиженія славныхъ и вѣрныхъ побѣдъ, вовсе не должно употреблять ружей, пульей, сабель, пикъ, пушекъ, ядеръ, бомбъ, пороховъ, и прочая, нынѣшнѣе калибра (такъ судить Ганеманнъ о всѣхъ медицинскихъ способахъ и средствахъ)?

«Что подумать бы о томъ, кто бы не посоветился увѣрять, что всѣ эти военные снаряды суть изобрѣтеніе ненужное, излишнее и безъ пользы стоящее государству значительныхъ издержекъ (таково сужденіе Ганеманна о лекарствахъ); что всѣ ружейные, литейные и пороховые заводы составляютъ одну бесполезную и обременительную тягость государства (такъ судить Ганеманнъ объ аптекахъ)?

«Какъ назвать такого человѣка, который бы не постыдился увѣрять, что, для веденія самой большой войны и для уничтоженія самаго сильнаго непріятеля, избыточно (аллопатически) снабженнаго ружьями, пулями, ядрами и порохомъ, нужна только гомеопатическая миллионная пропорція ружья, пушки, пули, ядра, и дециллионная частичка одной пороховой крупинки, и сталъ бы представлять въ доказательство справедливости своихъ словъ, что сила всѣхъ этихъ снарядовъ (лекарства), при невосприимчиво-маломъ дѣденіи, *получаетъ чрезвычайно великое дѣйствіе, Potenz* * (такое понятіе даетъ Ганеманнъ о силѣ своихъ миллионныхъ частичекъ грана или капли лекарствъ)?

* Мы не навидимъ выноски, не любимъ прерывать ими чита-

«Какое бы дали мнѣніе военные о столь явныхъ, странныхъ и физически неисполнимыхъ заблужденіяхъ ихъ новаго учителя и преобразователя, и рѣшились ли бы они допустить введеніе его *нелпнаго* ученія въ военную науку и практику? Чтò бы они сказали и о врачахъ, если бы они вмѣшались въ военную науку, и начали бы защищать *нелпность* новой военной *лже-науки*, точно такъ, какъ это дѣлають нынѣ военные и другіе люди, защищая и покровительствуя гомеопатію?»

«Медицинская наука и практика имѣетъ *весьма мною сходства съ морскою наукою и практикой*. Уже съ давняго времени, философы и богословы называютъ жизнь чelовѣческую *житейскимъ моремъ (??)*, а чelовѣка *кораблемъ, носящимся по морямъ*, и *моущимъ* подвергаться всякаго рода чрезвычайнымъ и неожиданнымъ опасностямъ, для преодоленія которыхъ *нужны величайшія физическія мѣры*, средства, наука и опытность капитана корабля.

«Какое бы сужденіе сдѣлали опытные адмиралы и капитаны о томъ морскомъ неопытномъ офицерѣ-чудацкѣ (и о врачахъ, которые были бы его послѣдователями), который бы вздумалъ увѣрять морскихъ офицеровъ всякаго чина и опытности, что руль, якорь, мачты, различные канаты и веревки, различнаго рода и вида парусы, суть не чтò иное, какъ излишнія на кораблѣ тягость, стоящая государству напрасныхъ издержекъ, и что все это можно и должно замѣнить *гомеопатическими самыми малѣйшими миллионными частичками золотника всѣхъ этихъ веществъ (!)*; что такимъ образомъ можно было бы сберечь большія суммы денегъ, а корабль въ морѣ, при самыхъ ужасныхъ физическихъ опасностяхъ, могъ бы получить

тебя, но здѣсь, нельзя не остановить его, нельзя вмѣстѣ съ нимъ не замѣтить, какъ прекрасно «*прагматическое* сочиненіе» изучило свой предметъ, когда оно не знаетъ даже значенія арифметическаго термина *Potenz*, потенція, степень. Оно принимаетъ его за медицинское выраженіе, и думаетъ, что это слово значить — *чрезвычайно великое дѣйствіе!*.... Вообще, все это сравненіе гомеопатіи съ военнымъ искусствомъ и морскою наукою безподобно. Сenk.

избавленіе прямое, легкое, вѣрное, простое и относительно скорое.

«§ 151. Всѣмъ извѣстно, что чахотка, водяная, затвердѣніи важныхъ органовъ, каменная болѣзнь, аневризмы и прочая, суть хроническія болѣзни; равнымъ образомъ, извѣстенъ моимъ читателямъ коренной законъ гомеопатическаго леченія; примѣненіе этого закона мы сдѣлаемъ при разборѣ леченій сказанныхъ болѣзней.

На основаніи этого закона, чтобы, напримѣръ, *легко, скоро и надежно* вылечить гомеопатически чахотку, истребившую, положимъ, треть легкихъ, нужно избрать такое гомеопатическое лекарство, которое было бы въ состояніи произвести въ легкомъ подобную, или, еще лучше, нѣсколько сильнѣйшую болѣзнь. Слѣдовательно, это лекарство должно истребить еще треть и къ тому еще хотя $\frac{1}{100,000}$ часть легкаго (!), и тогда чахотка, какъ естественная болѣзнь, болѣзнь, послѣ непосредственной борьбы съ искусственною болѣзнію, непремѣнно уступить послѣдней и уничтожится, а послѣдняя уже сама по себѣ пройдетъ, и такимъ образомъ, человѣкъ будто-бы будетъ вылеченъ *легко, скоро и надежно*.

«Въ силу этого же закона, чтобы, такимъ же образомъ, гомеопатически вылечить *водяную*, заключающую въ себѣ, напримѣръ 20 фунтовъ воды, нужно избрать гомеопатическое лекарство, которое бы вновь произвело другіе 20 и $\frac{1}{100,000}$ часть фунта воды (!), и тогда послѣдняя, какъ нѣсколько сильнѣйшая искусственная болѣзнь, побѣдитъ естественную, и человѣкъ будто-бы выздоровѣетъ *скоро, легко и надежно*, а искусственная болѣзнь сама по себѣ пропадетъ.

«*Нелѣпность* гомеопатическаго леченія въ этихъ двухъ случаяхъ очевидна.

«Довольно и этихъ примѣровъ (?!), чтобы увѣриться въ несообразности и невозможности гомеопатическаго леченія хроническихъ болѣзней.

«§ 152. Что я здѣсь сказалъ о гомеопатическомъ леченіи хроническихъ болѣзней, точно та же самая несообразность должна встрѣтиться и при гомеопатическомъ леченіи острыхъ болѣзней.

«Напримѣръ, если больного рвало 30 или 40 разъ въ часъ, и онъ находится въ крайней опасности, что очень часто случается, то, по гомеопатіи, ему должно дать такое гомеопатическое лекарство, которое бы произвело подобную болѣзнь, то-есть, чтобы больного вырвало еще 30 и 40 разъ (!), или и болѣе, въ часъ; и даже, чтобы искусственная рвота была сильнѣе натуральной (!); и тогда больной излечится гомеопатически *скоро, легко и надежно*, то-есть, больной кончитъ жизнь среди дѣйствія гомеопатическаго лекарства.

«Наконецъ, для показанія *рѣшительной несообразности* гомеопатическаго ученія, утверждающаго, будто подобная искусственная болѣзнь излечиваетъ натуральную, я приведу слѣдующій примѣръ. Для излеченія самой чисто-динамической болѣзни, то-есть умопомѣшательства на *самоубійство*, должно, по гомеопатіи, дать больному такое гомеопатическое лекарство, которое бы въ больномъ произвело подобную болѣзнь, сходную съ натуральною по всѣмъ своимъ припадкамъ въ совокупности; то есть, если больной себя надрѣзалъ горло или нанесъ раны въ животъ, то, по принятіи гомеопатическаго лекарства, онъ долженъ себя ранить и болѣе и сильнѣе (!!!); и только въ такомъ случаѣ онъ будто-бы излечится гомеопатически *скоро, легко и надежно*, то есть умреть».

Мы вовсе не поборники Ганеманнова ученія; но спрашиваемъ всякаго врача и не-врача, знакомаго съ этимъ ученіемъ: есть ли въ этихъ параграфахъ, въ этихъ смѣшныхъ сравненіяхъ и несмѣнныхъ островахъ хотя слѣдъ основательнаго знанія сущности гомеопатіи? Можно ли такими парадоксами опровергать ученіе, которое потрясло все зданіе медицины и увлекло въ пользу свою цѣлую треть, быть-можетъ половину, врачей-аллопатовъ? Будемте продолжать выписки.

«§ 82. Гомеопатія, какъ теорія, есть самаатѣйшая и даже жалованущая частичка медицинскій *теоріи* (!), взятая изъ общаго состава медицины, и заключающая въ себѣ *ничего осо-*

беннаю или новою (!?). Эту гомеопатическую частичку медицинской теоріи лейбъ-медикъ Штиглицъ весьма справедливо называетъ *осколкомъ или отломкомъ медицинской теоріи*. Профессоръ Гейнротъ называетъ ее особеннымъ Ганеманновымъ искусствомъ обманывать самого себя и другихъ посредствомъ ложныхъ положеній и выводовъ; Бальцъ лжетеорією (Trug-Theorie); Ертъ лжеученіемъ (Irrlehre), и прочая.

«§ 83. Гомеопатія, по своей ограниченности и односторонности, по ложнымъ и вреднымъ своимъ основаніямъ, не достигла чести быть поставленною наряду съ медицинскими науками; она донынѣ находится въ рукахъ однихъ не-врачей (!?) и гомеопатовъ, несмотря на сорокатрехлѣтнюю свою извѣстность между просвѣщенными врачами всѣхъ націй (!).

«§ 84. Гомеопатія, какъ теорія, не заключаетъ въ себѣ *ничего ученаго или раціональнаго (!)*, въ чемъ и Ганеманнъ съ перваго разу согласился (!?), убѣдись въ томъ ученою, глубокомысленною и ясною критикой, написанною Геккеромъ въ 1810 году на Ганеманновъ «Органонъ» и вслѣдствіе того (!), при новыхъ изданіяхъ «Органона», четыре раза выдавалъ его въ свѣтъ, лишеннымъ уже прилагательнаго «раціональный».

«§ 85. Гомеопатія, какъ теорія, *не принесла никакой пользы наукъ (!)*, потому-что, въ продолженіе сорока трехъ лѣтъ, *ничего не взято изъ нея въ составъ медицины*, что утверждаютъ и Гуфеландъ и лейбъ-медикъ Штиглицъ (!!!)».

Кто бы подумалъ, что такой разборъ гомеопатіи могъ быть написанъ въ 1840 году! Но дѣло объясняется очень естественно: всѣ эти явные противорѣчія истинѣ выбраны, безъ дальняго разсужденія, изъ книгъ давно уже изданныхъ, когда вліяніе гомеопатіи было еще очень слабо и на врачей и на медицину.

Но полно! — довольно этихъ об разчиковъ *прагматической* критики. Любопытно теперь знать: что же такое эта «медицинская наука», которой, по словамъ «прагматическаго сочиненія», гомеопатическое ученіе

не принесло и не может принести никакой пользы? эта пресловутая аллопатія, отъ имени которой «прагматическое сочиненіе» безпощадно уничтожаетъ гомеопатію? Она должна быть, поэтому, верхъ несомнѣннаго знанія, собраніе истинъ вѣковыхъ, доказанныхъ, непоколебимыхъ, разливное море достовѣрной мудрости, противъ которой нѣтъ и не можетъ быть возраженія. Ничего не бывало! Это самая плохая наука, какая только существуетъ. Забывъ даже то, какъ объ ней отзываются два великіе аллопата, два умнѣйшіе врача нашего времени, Юнгъ и Мажанди, вы можете себѣ представить ея недостаточность, нищету, ничтожество, ея отчаянное положеніе, когда узнаете, что почтенный родитель «прагматическаго сочиненія» принужденъ былъ, чтобы спасти честь этой чудесной науки, самъ уничтожить всѣ ея прежнія, доказанныя и принятыя положенія, и замѣнить ихъ другими, собственного своего изобрѣтенія, придумать совсѣмъ новую методу леченія рода человѣческаго. Это фактъ! Послушайте.

«Стыснительное положеніе военно-походнаго врача творить въ каждомъ изъ нихъ, по мѣрѣ его умственныхъ, ученыхъ практическихъ средствъ, духъ изобрѣтательности въ способахъ, леченіяхъ и ихъ теоріи, и придаетъ ему много рациональной смѣлости (?) къ сложенію съ себя столастическихъ (?) веригъ, въ которыхъ иные неданты проводятъ всю свою жизнь.

«Проходя, при гвардейскомъ корпусѣ, этотъ родъ поучительной службы въ славную и достопамятную отечественную войну и походы, въ 1812, 13, 14 и 15 годахъ, я также на походы и среди кровавыхъ битвъ, приведенъ былъ болѣзнями, ранами и приключеніями (своими ли, или чужими?), я приведенъ былъ (духомъ изобрѣтательности) къ приобрѣтенію особыхъ практи-

ческихъ идей, изъ которыхъ въ послѣдствіи я составилъ для себя родъ *особой методы леченія*. Я называю ее *methodus medendi dynamico-symmetrica, seu antagonistico-symmetrica* (!!!). Она основана на *естественныхъ законахъ физиологической симпатіи* (!?), или на *антагонистическомъ естественномъ специфическомъ* (?) сочувствіи частей, органовъ и цѣлыхъ системъ тѣла, или отдѣльно взятыхъ, или всѣхъ вѣстѣ между собою, на *вѣрной діагностикѣ болѣзней* (!) и на *положительномъ знаніи лекарствъ* (!!), дѣйствующихъ *исключительно* на ту или другую часть и систему организма (!!!).

«Объ этой методѣ леченія я имѣлъ честь, въ продолженіи семи лѣтъ, каждый годъ сообщать словесно господамъ членамъ Общества Русскихъ Врачей въ Санктпетербургѣ и представлять ихъ письменно нѣсколько *примѣровъ самыхъ счастливыхъ и повторительныхъ леченій такихъ застарѣлыхъ и упорныхъ болѣзней, которыя, втеченіи многихъ мѣсяцевъ, и даже лѣтъ, не могли быть излечены никакими другими медицинскими способами, употребляемыми мною и другими, опытнѣйшими меня, врачами.*

«О подробностяхъ моей методы леченія, которой я слѣдую болѣе двадцати лѣтъ, здѣсь распространяться не мѣсто; однако, со-временемъ, я намѣренъ описать эту методу во всемъ ея пространствѣ, если Провидѣнію будетъ угодно продолжить мою жизнь, *даровать мнѣ случай къ умноженію счастливыхъ леченій, на основаніи новыхъ моихъ практическихъ идей, и наградить меня способностью и даромъ слова изложить ихъ моимъ товарищамъ подробно, ясно и удобопонятно.*» (Ч. II, стр. 71 — 73).

Безъ-сомнѣнія, если Провидѣнію будетъ угодно наградить родителя «*прагматическаго сочиненія*» случасмъ «*счастливо лечить*», и сверхъ-того «*способностью и даромъ слова изложить*» свои новыя идеи «*подробно, ясно и удобопонятно*», это будетъ весьма пріятно и его паціентамъ и товарищамъ. Но если не будетъ

угодно: тогда что... Земля останется безъ медицины! Одинъ онъ нынче — обладатель настоящей медицинско-теоріи: его *динамическо-симметрическо-симпатическая*, или *симметрическо-симпатическо-антагоническая* метода леченія затмила, опрокинула, уничтожила всѣ прочія методы; одна она «основана на *вѣрной діагностикѣ* болѣзней и на *положительномъ* знаніи лекарствъ»; одна она «счастливи и повторительно» излечиваетъ людей, которымъ нынче не помогаютъ «*никакіе медицинскіе способы*». Но какъ никто еще ея не знаетъ, то очевидно, что медицинско-науки, медицины, теперь нѣтъ, да и никогда не будетъ: потому-что нѣтъ никакой вѣроятности, чтобы кому-либо было угодно награждать способностью изъяснять свои «новыя идеи подробно, ясно и удобопонятно», «*праматическаю*» изобрѣтателя, который вопреки грамматикѣ своего языка и логикѣ пишетъ — «*опытнѣйшими меня*», или — «даромъ слова *изложитъ*». Мы погибли!

Динамическо-симметрическо-симпатическая! симметрическо-симпатическо-антагоническая метода леченія! Что это? Не во снѣ ли я слышу эти странные звуки! Гдѣ мы? въ какомъ живемъ мы вѣкѣ? на какой планетѣ?... до чего мы дожили!... Да и какъ, за какіе грѣхи, дожили мы до такого леченія?... Увы! увy! и отъ имени такой-то медицинско-науки, въ которой всякій позволяетъ себѣ замѣнять своими грѣзами законы, будто-бы «доказанные опытомъ тридцати пяти вѣковъ», обвиняютъ гомеопатію въ «незнаніи ея законовъ», бранятъ ее, называютъ нелѣпостью, шарла-

таинствомъ, преступленіемъ. Да! преступленіемъ: такъ называется гомеопатію «прагматическое сочиненіе», на котораго блистательные доводы противъ нея мы только-что любовались.

Нѣтъ, не аллопатіа, которая присвоиваетъ себѣ исключительно названіе «медицинской науки», обвинять гомеопатію въ нелѣпостяхъ, мечтательныхъ началахъ и противорѣчіяхъ: на ней самой издревле лежитъ обвиненіе въ тѣхъ же преступленіяхъ. Отъ Сейденгема до Юнга и Мажанди, у которыхъ и толку и знанія дѣла найдется по-крайней-мѣрѣ столько же, если не болѣе, чѣмъ въ «прагматическомъ сочиненіи», всѣ великіе умы, занимавшіеся «медицинскою наукою» съ усердіемъ и совѣстью, соболѣзновали о неосновательности всѣхъ ея ученій, упрекали ее въ грубыхъ предразсудкахъ, заблужденіяхъ и мечтательныхъ началахъ, отказывали ей даже въ званіи настоящей науки и низводили до степени простаго эмпирическаго ремесла. Гомеопатическое ученіе нисколько не лучше всѣхъ прочихъ медицинскихъ теорій; но не такимъ образомъ, не насмѣшками, не сарказмами, не смѣшными сравненіями, слѣдовало опровергать это ученіе. Всѣ медицинскія теоріи были результатами философическихъ понятій, господствовавшихъ во время ихъ основанія. Гомеопатія произошла изъ того же источника. При идеяхъ, которыя германская «философія природы» пустила въ ходъ въ концѣ прошедшаго столѣтія, гомеопатія была неизбежна: не изобрѣсти ея Ганеманнъ, всякій другой Нѣмецъ изобрѣлъ бы ее непременно, примѣнивъ къ медицинѣ тогдашнія идеи о

динамизмъ, которыя въ то время вторгались во всѣ науки и до-сихъ-поръ еще наполняютъ ихъ своими туманами во многихъ германскихъ университетахъ. И не странно ли, что «*прагматическое* сочиненіе», которое изобрѣло само *динамическо-симпатическо-симметрическую* методу леченія, поднимаетъ такое неистовое гоненіе на методу Ганеманна, перворожденную дочь динамизма?.... Но «*прагматическое* сочиненіе» даже не догадывается, что такое эта метода и гдѣ ея начало.

Великому человѣку, умнѣйшему изъ германскихъ философовъ, Канту, который вздумалъ метафизически разсуждать о физическихъ силахъ, случилось однажды сказать мимоходомъ замысловатый парадоксъ. Онъ, конечно, не воображалъ въ ту минуту, что его замѣчаніе, которому самъ онъ, вѣроятно, не придавалъ большой важности, съ ума сведетъ половину ученой Германіи, сдѣлается основаніемъ множества смѣшныхъ теорій и принесетъ столько вреда здравой наукѣ. Парадоксъ состоялъ въ томъ, будто-бы матерія есть только равновѣсіе двухъ *противоположныхъ* борющихся силъ, сжимательной и расширительной, дотого, что если бы сжимательная сила взяла верхъ надъ своею соперницею, то матерія была бы приведена въ *математическую точку*, въ нуль, и, наоборотъ, если бы расширительная сила преодолѣла сжимательную, то матерія превратилась бы въ чистое *пространство*, то есть въ томъ и другомъ случаѣ, матерія исчезла бы и осталась бы только первобытная неведущественная *сила*. Эту странную идею, основанную, какъ кажется, на простой игрѣ словъ, съ жаромъ

подхватили у Канта его послѣдователи и преемники; что учитель говорилъ о матеріи вообще, то они примѣнили къ матеріи въ частности, къ тѣламъ, составляющимъ созданную природу. Прямой выводъ изъ общей идеи Канта, въ примѣненіи ея къ частнымъ тѣламъ, очевиденъ: матерія всякаго тѣла явно обладаетъ множествомъ различныхъ *свойствъ* или качествъ: слѣдовательно, она — равновѣсіе множества различныхъ, *противоположныхъ*, борющихся силъ; подвергнувъ ихъ безконечному сжиманію, онѣ придутъ всѣ въ математическую точку и совокупятся въ нуль; сообщивъ имъ безконечное расширеніе, онѣ освободятся въ расширительной силѣ, въ пространствѣ, и будутъ существовать и дѣйствовать въ немъ какъ чистыя невещественныя силы. Представьте себѣ теперь врача, который благоговѣйно слушаетъ подобную теорію матеріи: ему очень естественно должно прійти въ голову слѣдующее, весьма логическое заключеніе:

«Такъ, если я возьму тѣло, которое имѣетъ *свойство* производить поносъ, или причинять лихорадку, или повергать въ сумасшествіе и тому подобныя болѣзни, и стану это тѣло расширять до безконечности, то я наконецъ освобожу изъ него это свойство, и получу, въ пространствѣ, чистый, невещественный поносъ или абсолютное слабительное начало, чистую безусловную лихорадку, чистое, нематеріальное, отвлеченное сумасшествіе, и прочая, и прочая?.... Слѣдовательно, *болѣзнь* — та же *сила*! Это ясно! И я могу получить всякую, какую угодно болѣзнь, въ невещественномъ видѣ, улеченную въ пространствѣ и носящую-

ся въ немъ въ видѣ нематеріальной силы! — стоять только расширить до безконечности матеріальное тѣло, которое производитъ въ насъ именно ту болѣзнь. Но какъ его расширить до безконечности?.... Очень простымъ образомъ: если я возьму это тѣло, и раздѣлю его на двѣ половины — потомъ одну изъ двухъ половинокъ опять раздѣлю на двѣ — и стану всегда, непрерывно, постоянно, дѣлить на-двое половинку, получаемую изъ каждого новаго дѣленія, то наконецъ я достигну той точки, гдѣ дальнѣйшее дѣленіе будетъ уже невозможно, гдѣ вся дѣлимая матерія уничтожится, и всѣ силы, заключавшіяся въ этомъ тѣлѣ, освободятся изъ узъ матеріи и останутся въ пространствѣ. Всѣ германскіе умозрители согласны въ этой истинѣ, да и самъ великій Кантъ не прочь отъ нея. Но дѣлить все на-двое очень неудобно. Я могу расширить тѣло до безконечности, — почти до безконечности — и получить изъ него нужныя мнѣ силы чистыми, или почти чистыми, — вотъ какимъ образомъ: я растворю это тѣло въ стаканѣ воды: этого раствора я возьму тысячную часть, то есть, одну каплю, и разведу ее десятию стаканами чистой воды; и буду поступать такимъ образомъ, пока не ослаблю первоначальнаго раствора моего до десятой потенціи, пока у меня, въ послѣдней каплѣ воды, не будетъ находиться растворенною уже только дециллионная частичка этого тѣла. Дециллионная часть какого-нибудь тѣла: это ужасъ! Дециллиономъ капель воды можно наполнить семь сотъ солнечныхъ системъ. Кажется, *пространство*!.... Следовательно, матерія нужнаго мнѣ тѣла бу-

дѣтъ, такимъ образомъ, посредствомъ постепеннаго растворенія въ водѣ, расширена на невообразимое пространство нѣсколькихъ сотъ міровъ, вмѣстѣ взятыхъ: это уже равно безконечности; матерія тѣла совершенно уничтожится, и всѣ силы, какія въ немъ заключались, то есть, всѣ болѣзни, какія оно способно было произвести во мнѣ, я получу свободными, чистыми, растворенными въ этомъ стаканѣ дистиллированной воды. Хорошо: что же далѣе?..... Всякая болѣзнь — сила, всякая сила — болѣзнь: это уже доказано. Матерія — равновѣсіе двухъ противоположныхъ борющихся силъ, то есть болѣзней, болѣзни сжимательной и болѣзни расширительной; всякое частное тѣло, и самъ человѣкъ въ здоровомъ состояніи — равновѣсіе многихъ болѣзней, а весь міръ — не что иное какъ равновѣсіе всѣхъ возможныхъ болѣзней: это логически и неминуемо слѣдуетъ изъ предъидущаго. Я могу, посредствомъ расширенія тѣла до безконечности, при помощи множества послѣдовательныхъ растворовъ одного и того же тѣла, получить всѣ болѣзни, или силы, отдѣльно, въ самомъ чистомъ видѣ, только не въ пустотѣ, а въ водѣ; нужды нѣтъ: да что же съ ними дѣлать? какъ употребить ихъ въ пользу?... Мы знаемъ изъ динамики, что двѣ *противоположныя* силы производятъ всегда третью, неизвѣстную; другими словами: двѣ *противоположныя* или разнородныя болѣзни производятъ третью болѣзнь; двѣ такія силы, или болѣзни, сжимательная и расширительная, какъ уже мы видѣли, дали начало третьей болѣзни — веществу или матеріи, — и классическая медицина очевидно дѣй-

ствуешь противъ всѣхъ законовъ разума и философін, прописывая лекарства, то есть, силы, болѣзни, прохладительныя противъ горячекъ и успокоительныя противъ раздраженій: необходимымъ слѣдствіемъ такого врачеванія должны быть новыя болѣзни въ тѣлѣ! Одиѣ только силы *подобныя* взаимно себя истребляютъ: двѣ расширительныя силы не могутъ существовать вмѣстѣ; та, которая будетъ по-сильнѣе, изгонитъ другую; изъ двухъ сжимательныхъ силъ, дѣйствующихъ рядомъ, сильнѣйшая поглотитъ слабѣйшую и приведетъ ее въ математическую точку, въ нуль. Ясно, что данную болѣзнь можно уничтожить только другою *подобною* же болѣзнію, полученною отдѣльно, въ видѣ невещественной силы, изъ какого-нибудь лекарственного вещества, посредствомъ расширенія его до безконечности; а какую силу, какую *болѣзнь*, можно получить отдѣльно изъ даннаго вещества, это легко узнать: надо испытать дѣйствіе его надъ совершенно здоровымъ человѣкомъ, въ которомъ нѣтъ никакихъ болѣзней.»

Какъ въ странны всѣ эти выводы, и выводы ~~изъ~~ выводовъ, но вы видите, что они, логически, совершенно правильны и строго вытекаютъ одинъ изъ другаго. Они такъ естественно представляются уму, проникнутому умозрительнымъ ученіемъ о динамизмѣ, что Ганеманнъ, молодой врачъ съ пылкимъ воображеніемъ и сильною логикою, не могъ не попасть на нихъ при первомъ размышленіи о медицинѣ. Не клеветать на жизнь и нравственность Ганеманна, но съ почтеніемъ должно удивляться могуществу того благороднаго эн-

тузіазма, который, предавшись одной отвлеченной идеѣ, слывшей въ то время за прекраснѣйшее открытіе философіи, подчинилъ ей всю свою жизнь, всѣ мысли, всѣ усилія, всѣ стремленія, и неутомимо развивалъ ее во всѣхъ направленіяхъ, такъ, что простеръ послѣдствія даже за предѣлы крайности. Онъ дѣйствовалъ совѣстливо и честно — потому-что дѣйствовалъ логически. Какъ динамистъ, онъ искренно вѣрилъ всему, что проповѣдывалъ. Сегодня еще, я, вы, всякій изъ насъ, всякій честный человѣкъ, вѣрь онъ только въ идею Канта о происхожденіи матеріи, могъ бы выдумать гомеопатію, если бы она не была выдумана. И даже, если идея Канта справедлива, то гомеопатія, несмотря на всю странность предыдущихъ выводовъ — единственное здоровое, ясное и основательное врачебное ученіе. Я не вѣрю въ эту идею, называю ее парадоксомъ: — почему? — самъ не знаю! Я думаю, надѣюсь, лъщу себя мыслию, что она — парадоксъ, вздоръ, но доказать ничѣмъ не могу: этотъ вздоръ имѣетъ всѣ формы человѣческаго разума, этотъ парадоксъ простъ и правиленъ какъ истина! Ганеманнъ принималъ его за истину: вы видите, что въ прямыхъ послѣдствіяхъ этого парадокса заключается все его ученіе, вся теорія «гомеопатіи», то есть леченія *подобно-болѣзненнаго*, противопоставленнаго имъ старой методѣ, которую, по своимъ понятіямъ объ умозрительномъ тождествѣ силы, болѣзни и лекарства, онъ называлъ «аллопатіей», леченіемъ *разно-болѣзненнымъ*, или, все-равно *разно-сильнымъ*. «Прагматическое сочиненіе» изъ этого усмотрѣть изволтъ, какъ неудачны были

всѣ его опроверженія, всѣ сравненія, и какъ далеко оно не понимаетъ настоящаго смысла словъ — *лечить подобное подобнымъ*. Уповательно, что теперь оно пойметъ, почему Ганеманнъ почитаетъ всякую болѣзнь въ человѣческомъ тѣлѣ *силою*, или динамическимъ, то есть *силообразнымъ* началомъ, и почему всякое свойство вещества, или лекарственное дѣйствіе, называется онъ *болѣзнію*, словомъ, которое у него равносильно слову «сила»; почему онъ болѣзненную силу въ тѣлѣ велитъ побороть другою *подобною* же болѣзненною силою извлеченною изъ лекарственнаго вещества, расширеннаго до безконечности, и уже совершенно невещественною, и почему испытываетъ дѣйствіе лекарствъ надъ *здоровыми* людьми, желая узнать, какія въ данныхъ веществахъ содержатся силы, свойства, или болѣзни. Ясно, что по этимъ понятіямъ всякое леченіе дѣлается чисто-специфическимъ: одна сила противъ одной силы — одно лекарство противъ одной болѣзни. Рѣчь тутъ идетъ не объ удвоеніи въ тѣлѣ пациента существующей уже болѣзни — «*прагматическое* сочиненіе» въ этомъ весьма ошибается — но о противопоставленіи ей, какъ отвлеченной и невещественной силѣ, другой, тоже невещественной, но непременно однородной силы, для того, чтобы онѣ уничтожили другъ друга. Въ этомъ, недавно еще здоровомъ человѣкѣ, развилась какая-то посторонняя сила, которая производитъ теперь въ немъ припадки такой-то болѣзни, а вотъ въ этомъ веществѣ есть сила, совершенно сходная съ нею, потому-что она въ здоровомъ человѣкѣ производитъ припадки той же

болѣзни: я ставлю эти двѣ силы, или эти двѣ болѣзни, вмѣстѣ; сумма ихъ не умножится, потому-что обѣ онѣ нематеріальны; напротивъ, онѣ истребятъ другъ друга. Такъ два *подобные* луча, два луча фіолетовые, синіе или красные, пересѣкаясь, не даютъ ни болѣе свѣту, ни болѣе краски, а уничтожаютъ другъ друга и образуютъ темноту. Принявъ это правило, аргюи, въ основаніе всякаго леченія, Ганеманнъ старался, не только оправдать его своей практикой, но и найти для него доказательства въ исторіи терапіи; и дѣйствительно, онъ нашелъ множество примѣровъ, въ которыхъ врачи, еще до него, дѣйствовали съ такъ-называемымъ «успѣхомъ» по методу «подобное подобнымъ».

Изъ всего этого «прагматическое сочиненіе» можетъ заключить съ великою достовѣрностію и совершенною правильностію, что гомеопатическое леченіе есть леченіе, кореннымъ образомъ, невещественное, отвлеченное и *умозрительное*, въ которомъ матерія лекарственнаго тѣла не играетъ, и не должна играть, никакой роли, а предполагается дѣйствіе силъ нематеріальныхъ и такъ сказать, духовныхъ, освобожденныхъ отъ вещества и вовсе отъ него независящихъ. Когда критики гомеопатіи вычисляютъ, сколько озеръ, морей, океановъ, вселенныхъ, нужно на раствореніе одного грана лекарства такъ, чтобы въ каждой каплѣ жидкости находилась билліонная, квадриллионная, сентилліонная или дециллионная частичка этого грана, то они только понапрасну тратятъ время и сочиняютъ возраженія, ни мало не достигающія своей цѣли:

напротивъ, они еще оказываютъ услугу гомеопатіи, которая о томъ только и хлопочетъ, чтобы матерія лекарственного тѣла была, если можно, вполне истреблена и болѣзнетворное свойство его динамизировано совершенно. Отсюда — одно изъ основныхъ ея правилъ: чѣмъ меньше лекарственная частичка, тѣмъ сильнѣе ея дѣйствіе. Почему это? Потому, что она тѣмъ ближе къ точкѣ, въ которой матерія, отъ безконечнаго размельченія, совсѣмъ уничтожается и силы ея дѣйствуютъ уже нематеріально. Если «прагматическое сочиненіе» не расположено вѣрить, чтобы силы могли существовать и дѣйствовать такимъ образомъ, то есть внѣ матеріи, которой онѣ принадлежать, то мы принуждать его къ этому не станемъ. Мы даже готовы съ нимъ согласиться, если оно, подумавъ хорошенько, рѣшитъ, что поэтому гомеопатія есть медицина чисто-метафизическая, то есть полное отрицаніе всякой медицины, то есть систематическое *леченіе безъ лекарствъ*, облеченное только извѣстными врачебными формами, которыя оказываютъ на больныхъ очень сильное нравственное вліяніе. Для излеченія, кажется, и ненужно ничего болѣе: вѣдь по словамъ «прагматическаго сочиненія», многіе больные выздоравливали даже отъ его динамическо-симметрическо-симпатическаго леченія!... Новое и блистательное доказательство, что, при надлежащихъ врачебныхъ формахъ, дѣйствующихъ на умъ, довѣріе и спокойствіе духа пациента, люди могутъ получать *самое* счастливое исцѣленіе», не только безъ лекарствъ, но даже на зло лекарствамъ!

Хотите ли опровергнуть гомеопатію? Опровергните сперва идею Канта о матеріи и силахъ, опрокиньте сперва ученіе динамистовъ: гомеопатія падетъ сама-собою. Это и слѣдовало сдѣлать «прагматическому сочиненію», и мы увѣрены, что оно и сдѣлало бы это, если бы знало предметъ, о которомъ пишетъ. Къ сожалѣнію, оно не имѣло случая познакомиться съ нимъ достаточно, и истратило бездну бумаги и остроумія на доказательства, которыя, какъ мы уже замѣтили, ничего не доказываютъ. Я говорю — бумага и остроумія: это у него и было въ запасѣ, — бумага своя, остроуміе чужое, взятое безъ околичностей на прокатъ изъ брошюръ Симона-Младшаго. Труда — я не скажу: что за трудъ такой перепечатать отъ слова до слова чужую статью и выдать ее за свою? Лѣтъ одиннадцать или двѣнадцать тому назадъ вышла въ Германіи небольшая книга тешенскаго врача, г. Шимко, которой настоящаго заглавія мы не знаемъ, но которая въ 1830 году была переведена въ Москвѣ докторомъ Дрейфуссомъ на французскій языкъ, и издана — подъ заглавіемъ «Le système de Hahnemann considéré et examiné sous le point de vue mathématique et chimico-géologique» — съ нѣкоторыми прибавленіями. Вслѣдъ за выходомъ этого перевода, извѣстный всей столицѣ, ученый русскій врачъ, докторъ Спасскій, составилъ изъ книги Шимко родъ разбора, въ видѣ статьи для «Сына Отечества», и напечаталъ ее въ двухъ книжкахъ этого журнала. Статья доктора Спасскаго не была простымъ извлеченіемъ изъ книги Шимко, но, представляя главныя черты ея

содержанія, излагала его по-своему, съ особеннымъ взглядомъ на предметъ и множествомъ замѣчаній, которыя не находятся ни въ подлинникѣ, ни въ переводѣ. Статья не была подписана. «Прагматическое сочиненіе», которое благополучно набрало уже себѣ, на двѣ части, чужихъ статей, болѣе или менѣе парафразированныхъ, считая эту статью, вѣроятно, забытою авторомъ, рѣшилось внести ее въ составъ третьей своей книжки — въ видѣ будто-бы простаго «Извлеченія изъ книги Шимко» — что и показываетъ, какъ хорошо оно читало свои источники — и разумѣется, безъ означенія и журнала, изъ котораго статья взята, и имени сочинителя. Принимая слова статьи за подлинныя слова Шимко, оно даже очень наивно огородило ихъ чужесловами, и, чтобы лучше усвоить ихъ себѣ, оно устранило изъ слога статьи устарѣлыя *сы* и *омы* и всю статью симметрически раздѣлило на параграфы, которыхъ нѣтъ у доктора Спасскаго. Сначала, страницъ восемь (Ч. III., стр. 27 до 35), «прагматическое сочиненіе», по своему обычаю, еще парафразировало обираемаго писателя, но потомъ утомилось и отъ 35-й страницы до 50-й стало перепечатывать слово въ слово изъ «Сына Отечества». Такъ какъ первоначальная статья доктора Спасскаго, была, по его желанію, возобновлена въ послѣдней книжкѣ «Библ. для Чт.», то мы просимъ читателей сравнить съ нею, изъ любопытства, и отдѣлъ «прагматическаго сочиненія», подъ заглавіемъ «*Гомеропатія, разсматриваемая въ физическомъ и врачебномъ отношеніи*».

Мы остановимся въ этомъ отдѣлѣ, потому-что онъ

приводить насъ обратно къ вопросу, который мы прежде разсматривали. Такого рода доказательства противъ гомеопатіи, повторяемъ, вовсе не достигаютъ своей цѣли. Вы считаете частицы лекарственнаго вещества въ квинтиллионной части грана, спрашиваете, какос онѣ могутъ оказывать дѣйствіе на вещество нашего тѣла, заключаете, что если онѣ одарены какою-нибудь силою, то обыкновенный приѣмъ того же вещества, прописываемый ежедневно въ медицину, долженъ бы производить совершенное разрушеніе нашего состава, но вы все забываете о томъ, что гомеопатія есть чисто динамическое ученіе, и что динамизмъ, котораго метафизическихъ основаній вы отнюдь не отрицаете, имѣетъ готовые отвѣты на всѣ подобныя возраженія! Вспомните, что, по этой теоріи, матерія есть равновѣсіе двухъ противоположныхъ силъ, а всякое тѣло, обладающее многими свойствами — равновѣсіе многихъ силъ: слѣдовательно, чѣмъ больше масса даннаго лекарственнаго вещества, тѣмъ глубже должны быть затаены въ немъ всѣ его силы, тѣмъ болѣе дѣйствіе ихъ должно быть подавлено ихъ же равновѣсіемъ, котораго результатъ — существованіе самой матеріи этого тѣла. Чтобы заставить эти силы производить полное дѣйствіе свое на другія, постороннія силы, напримѣръ на наши болѣзни, нужно сперва разстроить ихъ равновѣсіе, то есть, уничтожить матерію. Ясно, что по этой теоріи, чѣмъ больше частица лекарственнаго тѣла, тѣмъ слабѣе будетъ она дѣйствовать въ приѣмѣ, и чѣмъ мельче она, чѣмъ болѣе расширена посредствомъ дѣленія и ближе къ соединенію

своему съ невещественнымъ *пространствомъ*, тѣмъ свободнѣе явится скрытая въ ней сила и дѣйствительнѣе будетъ сопротивляться другой *подобной* же силѣ, если только эта послѣдняя хоть одною миллионною долею градуса слабѣе ея.

Ганеманнъ, правда, изъ предосторожности, никогда явно не опиралъ своего медицинскаго ученія на динамической теоріи вещества: эта теорія всегда имѣла въ самой Германіи множество противниковъ, которые отзывались объ ней съ презрѣніемъ и не удостоивали ея даже критическаго разбора. Основаться на ней торжественно, безусловно, значило бы уронить новую методу леченія на первомъ шагу: она тотчасъ получила бы въ публикѣ названіе «*метафизической* медицины», какова она и есть въ самомъ дѣлѣ, и погибла бы въ день своего рожденія. Ганеманнъ старался, по-возможности, прикрыть самыя отвлеченныя ея положенія матеріальными доказательствами, извлеченными изъ практики и исторіи врачебнаго искусства, и говорить съ своими учениками и публикою языкомъ медицинскихъ факультетовъ, который еще неопредѣлительнѣе и темнѣе метафизическаго. Такимъ образомъ онъ очень искусно оградилъ свою теорію отъ антифилософическихъ предубѣжденій «толпы» и упрочилъ ее даже въ умахъ весьма разсудительныхъ людей, которые хлопотали только объ улучшеніи существующей медицины и вовсе не думали, что тутъ дѣло идетъ о торжествѣ метафизическаго ученія динамистовъ. Вскорѣ гомеопатія, въ рукахъ этихъ людей, такъ измѣнилась, что теперь уже гомеопаты не до-

гадываются сами, что они — только ультра-кантисты въ медицинѣ, и что ихъ ученіе создано было à priori по метафизическимъ идеямъ кёнигсбергской умозрительной философiи, къ которымъ практика и врачевныя доказательства приспособлены уже впоследствии, при помощи обыкновенной въ подобныхъ случаяхъ натяжки. Такимъ образомъ, мудрено ли, что ихъ противники и критики, вообще люди преданные исключительно врачевному искусству и посторонніе для философическихъ вопросовъ, еще менѣе вникали въ сущность гомеопатiи, нежели они сами, и что всѣ удары сорока-лѣтней войны, поддерживаемой ими противъ Ганеманнова ученiя, постоянно пролетали мимо врага, не только не потрясая его могущества, но еще, своей неудачностью, служа къ утвержденію вѣры въ его неврединость. Это мы говоримъ по чувству безпристрастія, чтобы сколько-нибудь уменьшить вину «прагматическаго сочиненiя»: для него, конечно, очень лестно будетъ имѣть такое множество ученыхъ товарищей, которые на-равнѣ съ нимъ не понимаютъ дѣла и при всемъ томъ писали и пишутъ очень любопытныя возраженiя противъ гомеопатiи.

Принесла ли гомеопатiя, какъ теорiя, какую-нибудь пользу общей медицинской наукѣ? Есть ли возможность соединить два ученiя, гомеопатическое и аллопатическое, и составить изъ нихъ одну правильную теорію?.... «Прагматическое сочиненіе» безъ запинки рѣшаетъ эти два вопроса отрицательно: но какъ оно вовсе не понимаетъ дѣла, то, и гомеопаты и не-гомеопаты, и врачи и не-врачи — всѣ вправѣ сказать

ему: «Можетъ-быть вы и правы, но, къ несчастію, вы не знаете сами, что говорите; вы произносите приговоры на-обумъ: не жѣшайте намъ разсуждать!» — Къ великой обидѣ человѣческаго разсужденія, мы боимся, что, посредствомъ его, будемъ на этотъ разъ доведены до того же результата, до какого дошло «прагматическое сочиненіе», сердясь и не разсуждая. Должно откровенно сознаться, что, несмотря на надежды множества весьма ученыхъ врачей, здравый разсудокъ не предвидитъ никакой возможности слить въ одно цѣлое два столь противоположныя и враждебныя ученія — медицину, дѣйствующую веществомъ, и медицину, исключительно основанную на невещественныхъ дѣятеляхъ — методу леченія положительными средствами, и методу леченія отвлеченными идеями — врачеваніе физическое и врачеваніе метафизическое. Употребленіе безконечно-малыхъ дозъ лекарства соотвѣтствуетъ, какъ мы видѣли, не факту, существующему въ природѣ и дознанному опытомъ, будто малыя дозы дѣйствительнѣе большихъ, но философическому понятію о происхожденіи матеріи и «свойствъ» созданныхъ тѣлъ, выводу, полученному à priori, что малыя дозы *должны* быть дѣйствительнѣе, если только умозрѣніе Канта основательно. Прими аллопатія одинъ этотъ пунктъ — она должна принять и всѣ прочія положенія гомеопатіи, связанныя между собою тѣснѣйшею логикою: иначе она — нелѣпость. Леченіе *подобнаго подобнымъ* — также прямое послѣдствіе того же метафизическаго начала: оно справедливо, если справедливо *все* начало, и ложно, если начало — мечта, что весьма вѣроятно; и аллопатія, коль-

скоро она желаетъ поступать логически, не можетъ принять этого леченія, не принявъ въ то же время квинтиллионныхъ и дециллионныхъ дозъ и не превратясь въ чисто-динамическую теорію. А дециллионныхъ и вообще очень малыхъ дозъ принять она не должна, ежели только знаетъ ариметику. Противъ гомеопатическаго ученія, основаннаго на отвлеченной идеѣ, которой, слѣдовательно, нельзя опровергнуть физическими доводами, можно употребить одинъ только способъ аргументаціи: если вы докажете, что который-нибудь изъ прямыхъ ея выводовъ человѣчески невозможенъ къ примѣненію на-дѣлѣ, тогда все это ученіе остается метафизическою отвлеченностью, быть-можетъ справедливою въ мірѣ идей, но бесполезною въ практикѣ. Философъ, который брался поднять вселенную, если ему дадутъ точку опоры и довольно крѣпкій рычагъ, говорилъ совершенно согласно съ истиною, но предлагалъ вещь неисполнимую для человѣка. Гомеопатія находится именно въ этомъ положеніи: расширьте ей данное тѣло до бесконечности, превратите матерію въ пространство, освободите изъ матеріи ея силы — этими силами она уничтожитъ всѣ *подобныя* имъ силы, всѣ болѣзни. Очень вѣрю! — по-крайней-мѣрѣ, не вижу въ этомъ ничего противнаго логикѣ. Но *освободите* же силу изъ матеріи! Я говорю, что вы никогда не достигнете этого. Вы хотите, посредствомъ дѣленія, дойти до уничтоженія матеріи и уменьшаете ея частицы въ геометрической пропорціи десятичныхъ квадратовъ. Очень хорошо: назовемъ матерію = 1, и возьмемъ число 10 въ дѣлители. Въ пер-

въ ученіи Ганеманна нельзя перемѣнить ни одной статьи, не разрушивъ до-тла всей теоріи: они ее уничтожили! — гомеопатія уже не существуетъ! Какъ! вы увеличили свои дозы? Да что же значать ваши, все еще очень малыя, дозы безъ уничтоженія равновѣсія силъ, безъ полученія ихъ въ свободномъ состояніи? Вы поставили себя этимъ въ явное противорѣчіе съ метафизическимъ началомъ, въ которомъ заключалась вся ваша сила, все право гомеопатіи на логику, рациональность и правдоподобіе, и безъ котораго она — сонъ, грѣза, столъ безъ ногъ, замокъ безъ фундамента, построенный надъ бездною. Ваше правило, «подобное подобнымъ», было совершенно логическое и согласное съ закономъ динамики: какъ же вы приведете его въ исполненіе, отказавшись отъ децилліонныхъ частицъ и, слѣдовательно, отъ предполагаемаго дѣйствованія силою противъ силы? Вы теперь дѣйствуете противъ нея *веществомъ*: возможно ли это? какой результатъ надѣетесь вы получить изъ борьбы вещества съ невещественною силою?... А вѣдь правила «подобное подобнымъ» вы ничего не значите: логика отъ васъ отступается, вы бредите, и я не могу вамъ болѣе вѣрить. На вашемъ знамени написано — *Подобное подобнымъ*, а вы допускаете слабительныя и кровопусканія?... Это уже верхъ несообразности! Вы хотите уничтожать здѣсь силу противоположную силою: да онѣ придутъ въ равновѣсіе и произведутъ матерію, новую силу, новую болѣзнь. Вы — люди безъ логики, и материальная философія васъ проклинаетъ

Кончено; отдайте назадъ дипломы: вы не гомеопаты и не врачи.

Но вы намекаете, что опытъ оправдываетъ эти измѣненія, что примѣры «самыхъ счастливыхъ и повторительныхъ излеченій» блистательно подтверждаютъ пользу вашихъ нововведеній. Увы! то же самое говорить о себѣ и динамическо-симпатическо-антагоническо-симметрическая метода леченія: кто же ей повѣрить? Опытъ!... врачебный опытъ! — кому вы это говорите? — врачебный опытъ подтверждалъ блистательно всѣ возможные методы леченія, какія только существовали отъ Иппократа до Пристница, всѣ жизненные элексиры, всѣ чудесныя лекарства, всѣ выдумки шарлатанства, сумасбродства или невѣжества. Врачебный опытъ оправдываетъ и васъ, и аллопатовъ, и всѣхъ — и отрицаніе медицины, и употребленіе медицины, и даже злоупотребленіе. Но то вѣрно, что теоретически, здравой логикою, ни вы не можете ничего взять у аллопатовъ, ни аллопаты у васъ. И какъ ни вы, ни они, не въ состояніи доказать, что такой-то больной умеръ бы, если бы его не лечили, то вамъ даже нечего завидовать другъ другу. Теоретически, всѣ вы совершенны. А что касается до практики, то лечите людей, какъ хотите — подобно, противоположно, тождественно — для людей все-равно: въ сложности, результатъ одинъ и тотъ же. Практика — ваше личное дѣло. Вся польза отъ нея остается у васъ. Наука почти ничего не получаетъ отъ практики

Но здѣсь-то, въ практикѣ, въ примѣненіи медицинскихъ теорій къ больнымъ, гомеопатія дала чрезвы-

чайно важные и полезные уроки врачебному искусству. Отвергнуть этой великой истины никакъ невозможно, несмотря на всѣ возгласы «прагматическаго сочиненія», которое и тутъ, какъ вездѣ, ничего не видитъ съ настоящей стороны. Мало того, что смѣлая, колкая, основательная критика старой медицины, представленная Ганеманномъ, открыла глаза публикѣ и молодымъ врачамъ на несообразности господствующихъ теорій и ихъ практики. Быстрые успѣхи гомеопатіи заставили дрожать истлѣвшій кумиръ Эскулапа въ самой глубинѣ его мрачнаго святилища: когда метафизическая метода леченія одною тѣнью лекарствъ начала производить чудеса, жрецы испугались. Страхась потерять и уваженіе и доходы, они расторгли древній союзъ свой съ аптекарями, для выгоды которыхъ прописывали больнымъ по цѣлымъ ушатамъ лекарствъ на одинъ приѣмъ. Публика прежде, а за ней поскорѣе и врачующая братья, поняли какъ-нельзя лучше, что мѣшать десять лекарственныхъ веществъ вмѣстѣ значитъ насмѣхаться надъ здравымъ смысломъ, потому-что никакая человѣческая мудрость не исчислить ихъ сложнаго и перепутаннаго дѣйствія. Правило Ганеманна — одна сила противъ одной силы, одно лекарство противъ одной болѣзни — во всѣхъ благоустроенныхъ умахъ взяло рѣшительный верхъ надъ безразсуднымъ и опаснымъ обычаемъ старой медицины потчивать пациентовъ винегретомъ изъ множества аптечныхъ снадобьевъ. Гомеопатія не только обузда ея своевольство въ предписываніи рецептовъ, но и доказала ей, что весьма многія болѣзни излечиваютъ

ся сами собою, безъ всякихъ лекарствъ, однимъ именемъ лекарства, чисто метафизическими пособіями. Такимъ-образомъ старая медицина, по-крайней-мѣрѣ въ практикѣ, постепенно сблизилась съ тѣмъ, чѣмъ была она нѣкогда, и чѣмъ бы должна быть всякая человѣческая медицина — разсудительнымъ и осторожнымъ специфическимъ врачеваніемъ, при помощи средствъ простыхъ и несложныхъ и, главное, терпѣливаго выжиданія цѣлебныхъ дѣйствій самой природы, съ которою очень опасно вести игру въ гипотезы, теоріи и системы. Гомеопатія — если отдѣлить отъ нея динамизмъ — существенно специфическая медицина, и это высокое качество будетъ доставлять ей важныя побѣды еще болѣе въ то время, когда она совсѣмъ откажется отъ своей динамической теоріи. Въ честь гомеопатіи, потоки крови, безпощадно проливаемой жестокимъ ланцетомъ, нѣсколько пріостановились, и строгая діета, пружина всѣхъ гомеопатическихъ чудесъ, получила во врачебной практикѣ ту важность, которую она имѣетъ въ глазахъ самой природы. Аллопатія, при этомъ случаѣ, убѣдилась еще въ одномъ важномъ обстоятельствѣ, а именно, что при строгой діетѣ одинъ гранъ, пол-гранъ, и еще меньшая доза лекарства, часто бываетъ дѣйствительнѣе прежнихъ огромныхъ пріемовъ въ двѣ и три унціи. Самый способъ приготовленія гомеопатическихъ лекарствъ имѣлъ важное вліяніе, и значительно упростилъ фармацевтическіе процессы. Словомъ, Ганеманнъ и его ученіе совершенно преобразовали старое врачебное искусство — не во гнѣвъ будь сказано «праг-

матическому сочиненію» и динамическо-симпатическо-антагонистическо-симметрической методѣ леченія, которую изобрѣтатель уже семь лѣтъ толкуетъ обществу русскихъ врачей и растолковать не можетъ. Ганеманнъ вполнѣ оказалъ, на свой вѣкъ и на науку, которую онъ занимался, то могущественное вліяніе, какое законно и неотъемлемо принадлежитъ всякому гениальному и великому человѣку, даже и въ такомъ случаѣ, когда онъ заблуждается. Странно, что «прагматическое сочиненіе», которое такъ рѣшительно представляетъ его невѣждою, обманщикомъ, шарлатаномъ, вреднымъ, опаснымъ и даже *безнравственнымъ* человекомъ, упрекая его *въ дурныхъ поступкахъ съ своими товарищами*, въ писаніи *просительныхъ писемъ къ своимъ больнымъ*, и прочая, и прочая, само не примѣтило того, что, слѣдовательно, онъ долженъ быть великій человѣкъ! Конецъ концовъ, что такое великій человѣкъ, на этомъ свѣтѣ? Тотъ, противъ кого безпрестанно пишутъ такія книги какъ «прагматическое сочиненіе»!... Это ясно. «Прагматическое сочиненіе», виѣстѣ съ Ганеманномъ, затоптало въ грязь и Парацельса: если бы всему свѣту не было извѣстно, что Парацельсъ былъ великій человѣкъ, великій преобразователь, котораго гению удивлялись Генслеръ, Блумменбахъ, Шеллингъ, Кизеръ, Янъ, Лессингъ, и многіе другіе писатели, котораго безсмертное чело Броунингъ украсилъ достойнымъ поэтическимъ вѣнцомъ, то одно уже это обстоятельство могло бы послужить неопровержимымъ доказательствомъ его гениальности.

Послѣ всего, что здѣсь сказано, позволительно наконецъ спросить, къ чему служить весь этотъ кровавый доносъ въ трехъ книжкахъ на великаго человека и на его ученіе, весь этотъ наборъ чужихъ мыслей и сочиненій, неудачныхъ возраженій и остротъ и самолюбивыхъ выходокъ? Увы! онъ служить только къ обидѣ и униженію русской врачебной литературы. А между-тѣмъ, даже не понимая ни Ганеманна, ни его ученія, «прагматическое сочиненіе» могло бы доставить ей полезную книгу, если бы оно просто занялось историческимъ изложеніемъ науки о гомеопатіи, ея начала, судебъ, измѣненій и нынѣшняго состоянія, относительно къ врачебной практикѣ, безъ примѣси сарказмовъ и неосновательныхъ разсужденій. Каждому читателю пріятно было бы найти въ такой книгѣ чистое и ясное понятіе о гомеопатіи въ прежнемъ и новомъ ея видѣ, о томъ, чѣмъ была она въ ученіи своего основателя, и чѣмъ стала въ практикѣ его послѣдователей: что такое — первоначальная гомеопатія Ганеманна, которая теперь почти всѣми оставлена, и нынѣшняя, измѣненная гомеопатія, или «специфическая медицина», такъ увлекательно изложенная недавно Рауомъ; что такое — ультра-гомеопаты и гомеопаты-реформаты. Совсѣмъ иное дѣло — гомеопатія 1798 года, а иное гомеопатія 1840 года! Но главное несчастіе «прагматическаго сочиненія» состоитъ именно въ томъ, что оно слыхало только про старую, первоначальную гомеопатию, а о новой, преобразованной, которой слѣдуютъ теперь почти всѣ гомеопаты, никто ему и не докладывалъ. Между-тѣмъ

нынѣшніе гомеопаты, какъ мы уже сказали, очень сблизились со старою медициною — почти на столько же какъ она съ ними. Новѣйшая гомеопатія, или специфическое леченіе, много надѣется на врачующую силу природы, старается ей помогать осторожно, проповѣдуетъ старинное врачебное правило — *если не можешь помочь больному навѣрное, не вреди задательно* — и такъ далѣе; но прописываетъ еще лекарства по закону «подобные подобными», въ самомъ простомъ и несложномъ видѣ, и въ раздѣленіяхъ только второмъ и третьемъ. Но «прагматическое сочиненіе» не имѣетъ никакого понятія о нынѣшней гомеопатической литературѣ, и потому оно совсѣмъ умолчало о современномъ положеніи предмета, о которомъ взялось писать, не изучивъ его во всемъ объемѣ. Надобно было основательно познакомиться съ дѣломъ, и писать объ немъ свое собственное, оригинальное и современное, писать скромно, важно, осмотрительно, какъ прилично благонамѣренному медицинскому сочиненію. Нѣтъ ничего легче, какъ, взявъ двѣ-три устарѣлыя книги, двѣ-три прежнія журнальныя статьи, переводить или перепечатывать сплошь, парафразируя и переименовая чужія выраженія и прибавляя къ нимъ разныя прибаутки. К чему, напримѣръ, эта «Исторія жизни и поступковъ Ганеманна»? К чему его родословная и разборъ его нравственности? Зачѣмъ вносить въ разсужденіе объ ученыхъ вопросахъ предметы, которые къ нимъ вовсе не принадлежатъ, оскорбительныя личности, сплетни враговъ геніяльнаго человѣка, обидные намеки завистниковъ?

Какое право имѣть «прагматическое сочиненіе» касаться нравственного быта гомеопатовъ и заглядывать въ ихъ совѣсть? Да если бы Ганеманнъ, въ нравственномъ отношеніи, даже былъ хуже — что считаемъ невозможнымъ — того врачебнаго уroda, который такъ мастерски представленъ и заклеименъ Гречемъ въ его «Поѣздкѣ въ Германію» (Ч. II, стр. 56), то и въ такомъ случаѣ слѣдовало оставить частную жизнь и поступки его въ покоѣ. Что сказало бы «прагматическое сочиненіе», если бы, по праву личной защиты и законнаго въ литературѣ возмездія, Ганеманнъ, или кто-нибудь изъ его учениковъ, въ отвѣтъ на этотъ пасквиль, сталъ разбирать динамическо-симметрическо-симпатическо-антагоническо-прагматическую методу леченія, и вмѣстѣ съ тѣмъ «Исторію жизни и *поступковъ*» ея основателя, и его генеалогическое древо, и его корреспонденцію съ пациентами? Ганеманнъ и всѣ его ученики имѣютъ теперь на это полное и неотъемлемое право. Станемъ надѣяться, что они имъ не воспользуются и будутъ великодушнѣе своего неосторожнаго противника.

Рѣшась находить въ гомеопатіи все, безъ разбора, обманомъ, шарлатанствомъ, нелѣпостью, ничтожествомъ, и утверждать, будто она до-сихъ-поръ не вошла въ число медицинскихъ ученій и не принесла никакой пользы врачебному искусству, «прагматическое сочиненіе» ведетъ съ своею противницею войну не совсѣмъ добросовѣстную, когда оно, нападая, пропускаетъ всѣ факты, служащіе въ ея пользу. Говоря, очень слегка, о гомеопатіи въ Россіи, оно рѣ-

шительно умалчиваетъ о Высочайшемъ повелѣніи, отъ 26 сентября 1833 года, которымъ дозволено гомеопатамъ свободно производить во всей имперіи леченіе по гомеопатическому способу. Оно ничего не упоминаетъ и о томъ, что такое же позволеніе даровано гомеопатіи правительствами почти всѣхъ образованныхъ народовъ. Оно прикрываетъ молчаніемъ всѣ распоряженія нашего правительства въ ея пользу, изданіе правилъ о гомеопатическомъ леченіи, учрежденіе центральныхъ гомеопатическихъ аптекъ, и прочая. Ни безпристрастіе, ни полнота сочиненія не дозволяли подобныхъ пропусковъ. «Прагматическое сочиненіе», если бы оно дѣйствовало съ желаніемъ настоящей пользы читателей, могло бы представить намъ очень любопытную и поучительную картину исторіи введенія, развитія и успѣховъ гомеопатіи въ Россіи. Оно и этого не сдѣлало!

Что же, наконецъ, сдѣлало оно примѣчательнаго въ трехъ своихъ книжкахъ? Очень много! Во-первыхъ, оно, «своимъ *любопытнымъ* соотчичамъ, врачамъ и не-врачамъ, посвятило свое прагматическое сочиненіе.... для ихъ *свѣденія и соображенія*». Это — сущая правда, фактъ, который можно повѣрить собственными глазами на первой страницѣ первой части. Далѣе, черезъ двѣ страницы, оно вѣщаетъ такъ: «Чтобы представить мое сочиненіе *сколько* можно болѣе соотвѣтствующимъ своей цѣли, я его въ рукописи, то читалъ *лично*, то давалъ читать, *разнаго званія людямъ*, нѣсколькимъ литераторамъ, моимъ сослуживцамъ и сотоварищамъ, да сверхъ-того третью часть,

какъ самую *рѣшительную*, обществу русскихъ врачей». Что сказали *разнаго званія люди*, прочитавъ «прагматическое сочиненіе», неизвѣстно, но «изъ этого видно, гласить оно, что я вездѣ (у разнаго званія людей?) *искалъ помощи и совѣта къ улучшенію своего сочиненія*, и представляю мой *многочлѣнный и совѣстливый* трудъ въ томъ возможно *очищенномъ* видѣ, какого только я могъ достигнуть». Люди, чуждые литературныхъ занятій, вѣроятно и не воображали, какъ это мудрено набрать на цѣлыя три книжечки чужихъ мыслей изъ двухъ-трехъ нѣмецкихъ книжекъ, и печатныхъ статей изъ стараго «Сына Отечества»: теперь они знаютъ, что для этого нуженъ *многочлѣнный и совѣстливый* трудъ, нужно *искать совѣта и помощи вездѣ*, у разнаго званія людей, у литераторовъ и врачей, читать *лично*, и давать читать. Сколько хлопотъ!... И какая награда!... Но это еще не все. «Приступая къ осуществленію *такою* своего *намѣренія*, говорить прагматическое сочиненіе въ предисловіи ко второй части, я просилъ *на то совѣта и наставленія*» у одного изъ своихъ учителей. Но учитель, смотря на гомеопатію съ одной *схоластической* (!) стороны, находилъ ее недостойною труда и не одобрилъ предпріятія. Однакожъ ученикъ не послушался благихъ совѣтовъ учителя, «потому, изъясняетъ «прагматическое сочиненіе», что уже давно *началъ смотрѣть на гомеопатію съ другой точки зрѣнія*». — Судьбѣ было угодно, чтобы этотъ *совѣстливый, но вмѣстѣ съ тѣмъ неблагодарный*, трудъ достался мнѣ на долю.» А судьба го-

ворить, что она объ этомъ знать не знала!... напротивъ, ей было бы гораздо болѣе угодно, если бы *совѣстливый трудъ* достался кому-нибудь другому на долю; она — въ отчаяніи отъ этого недоразумѣнія, тѣмъ болѣе, что никто не нуждался въ «прагматическомъ сочиненіи» и сочинителю его она никогда не судила писать: она даже думаетъ, что «прагматическое сочиненіе» написано на зло ей, въ отмщеніе за то, что она до-сихъ-поръ не наградила его «способностью и даромъ слова изложить».

Не входя въ разборъ этого спора, обратимся къ причинамъ, которыя подали поводъ къ изданію лежащаго «прагматическаго сочиненія». *Первою причиною*, изъясняетъ оно, былъ недостатокъ въ Россіи *систематическаго* разсужденія о Ганеманнѣ и гомеопатіи. Такъ—это *систематическое* разсужденіе? Безъ предисловія, мы никакъ не догадались бы столь важнаго факта. Однакожъ «систематическое разсужденіе» ошибается въ числахъ годовъ, полагая себя первымъ въ Россіи. До него, должно было существовать по-крайней-мѣрѣ разсужденіе г. Спаскаго, потому-что само оно возникло изъ простаго перепечатанія этого разсужденія, которое составляетъ, безспорно, лучшую часть его! Дѣло въ томъ, что въ Россіи, еще до него, и Ганеманнъ и гомеопатія были прекрасно разсмотрѣны систематически, и ученымъ докторомъ Спаскимъ въ многоупоминаемой статьѣ «Сына Отечества», и извѣстнымъ профессоромъ Эйхвальдомъ, въ двухъ обширныхъ статьяхъ «Энциклопедическаго Лексикона», и многими другими врачами. «Прагматическое сочи-

неніе» забываетъ, что въ его собственныхъ спискахъ источниковъ показано болѣе двадцати русскихъ разсужденій о Ганеманнѣ и гомеопатіи!

Какая же *вторая причина* къ изданію столь многолѣтняго и столь совѣстливаго труда? Вы не повѣрите! Вторая причина—та, что *женскій полъ* началъ заниматься гомеопатическою практикою!....

Третьею, *самою важной побудительной* причиною къ изданію этой *книги* было слѣдующее обстоятельство. Это обстоятельство такъ примѣчательно, что заслуживаетъ быть цѣликомъ представлено «любопытнымъ» читателямъ.

«Занимаясь, съ давняго времени, изученіемъ гомеопатіи, я имѣлъ случай лечить гомеопатически, вмѣстѣ съ гомеопатами, нѣкоторыхъ больныхъ; другихъ моихъ больныхъ, лечимыхъ гомеопатами, я имѣлъ возможность наблюдать самымъ прилежнымъ образомъ; третьи мои больные, лечившіеся гомеопатически долгое время и даже многіе годы, то есть четыре и пять лѣтъ, послѣ мучительнаго и бесполезнаго выжиданія, послѣ обманчивыхъ и несбывшихся гомеопатическихъ надеждъ, опять обращались къ *моему* леченію.

«Я не переставалъ также внимательно наблюдать, какъ за гомеопатическимъ леченіемъ всѣхъ другихъ не моихъ больныхъ, такъ и за степенью успѣха этого леченія. Словомъ, я желалъ найти въ гомеопатической практикѣ, *любимицу* нѣкоторой части публики, что-либо достойное подражанія, или, лучше сказать, *желалъ самъ предаться гомеопатическому способу леченія*, но, видя въ леченіяхъ гомеопатовъ неудачи этого способа, я удержался отъ исполненія своего намеренія».

Все это, если мы хорошо понимаемъ прагматическій языкъ, значитъ въ простомъ и ясномъ русскомъ переводѣ, что сочинитель сочиненія пытался самъ быть

жрецомъ гомеопатіи, *любимицы публики*; что онъ не имѣлъ успѣха на этомъ поприщѣ, разсорился съ гомеопатами, и написалъ на нихъ съ досады — не «*журнальную статью*», этого на нихъ мало — а «*прагматическое сочиненіе*» — такое грозное сочиненіе въ трехъ книжечкахъ, которое бы ихъ уничтожило, стерло съ лица земли. Вотъ это, такъ по-крайней-мѣрѣ — *побудительная причина!*

1840.



II.

По поводу брошюръ: 1. *Опытъ медицинской полемики, или Отчетъ прагматическаго сочиненія о Ганеманнъ и гомеопатіи* (докт. Вольскаго). 1841; 2. *О Иппократѣ (его же)*, 1840; 3. *Ueber Preisfragen zur Vermittelung der Extreme in der Heilkunde.* (Докт. ШТЮРМЕРА). 1839.

Я не докторъ, и обращаюсь къ вамъ, *savantissimi doctores, medicinae professores*: какъ у васъ, въ медицинѣ, настоящимъ медицинскимъ терминомъ, называется врачъ, который не знаетъ различія между *satyriasis* и *satyrias* или *satyriasmus*?... тотъ, который сатириазмъ, или *болѣзнь, искажающую человеческое лицо такъ, что оно бываетъ похоже на лицо сатира*, принимаетъ за «*болѣзненное половое побужденіе*», за *satyriasis*?... тотъ, который «*болѣзненное половое побужденіе*» причисляетъ къ *наростамъ*?... да! къ *наростамъ*, именно къ *наростамъ*: я покажу между вами такого «*врача*»; словомъ, который у дѣтей, въ періодъ ихъ жизни, слѣдую-

щемъ тотчасъ за появленіемъ зубовъ, находить такой чудный «нарость» каковъ «болѣзненное половое побужденіе», берется послѣ этого переводить «Афоризмы» Иппократа, издаетъ въ то самое время неслыханныя брошюры, воспѣваетъ въ нихъ громкія похвалы самому себѣ, и, сѣвъ верхомъ на какую-то динамико-симметрическую методу леченія, любимаго своего конька, осыпаетъ грубою бранью тѣхъ, которые не вѣрятъ его учености?.... Скажите умоляю васъ, какъ зовутъ такого «врача»? Если не скажете, какъ у васъ такой врачъ называется, хоть по-латыни, то я не могу продолжать статьи, потому-что въ порядочномъ русскомъ языкѣ нѣтъ, я не нахожу, не вижу названія для такого «врача». Всѣмъ вамъ извѣстенъ этотъ афоризмъ почтеннѣйшаго отца вашего, Иппократа: «У дѣтей по-старше (то есть, послѣ прорѣзыванія зубовъ) «бываютъ воспаленія горла, искривленіе внутри затылочныхъ позвонковъ, одышки, задержаніе мочи, камни, круглыя глисты, аскариды, круглыя большія бородавки (akrochordones), *сати́ровыя желваки за ушами* (satyriasmī), зобы (choirades) и *другіе наросты* (kae t'alla phymata), но преимущественно вышесказанные». Замѣьте хорошенько эти слова — бородавки, сати́ровыя желваки, или сати́риазмы, зобы и *другіе наросты* — и посмотрите теперь, какъ вашъ динамико-симметрический собратъ переводитъ изрѣченіе почтеннѣйшаго отца вашего: «Дѣти, болѣе *взрослыя* (!), подвержены воспаленіямъ горла, искривленіямъ въ нутрь затылочныхъ позвонковъ, образованію мочевыхъ и *другихъ* камней, круглымъ глистамъ и аскаридамъ, *вися-*

чимъ бородавкамъ, сатириазму (болѣзненному половому побужденію), задержанію мочи, зобамъ, и другимъ различнаго рода и вида наростамъ на тѣлѣ, наиболѣе же вышесказаннымъ» (стр. 200). Такъ вотъ «болѣзненное половое побужденіе» попало въ число *и другихъ наростовъ*, подобныхъ камнямъ, глистамъ, бородавкамъ, заушнымъ желвакамъ или сатириазмамъ, и зобамъ! Вѣрите ли вы глазамъ своимъ? Но этого мало: вашъ динамико-симметрическій собратья къ разряду *и другихъ наростовъ* (кае t'alla phymata) относить здѣсь еще другой страшный наростъ: какой именно? — задержаніе мочи, или странгурию!.... странгурию, которая, по логическому порядку исчисленія, здоровой критикѣ текста и явному смыслу рѣчи, должна стоять подлѣ «камней»! Наконецъ, онъ позволяетъ себѣ и поправлять Иппократа: приписываетъ ему, вмѣсто *и другимъ наростамъ*, слова, которыхъ авторъ никогда не могъ бы сказать — *и различнаго рода и вида наростамъ на тѣлѣ*!.... Откуда взялъ онъ эти наросты *различнаго рода и вида*? Въ подлинникѣ ихъ нѣтъ, какъ нѣтъ словъ *и другимъ* подлѣ слова *камнямъ*! Да и какимъ образомъ попали они *на тѣло*? Наросты на тѣлѣ: такъ, видно, глисты и камни, растутъ по динамико-симметрической мудрости *на тѣлѣ*? Иначе быть не можетъ; потому-что у Иппократа слово phymata, «наросты», означаетъ все, что *нарастаетъ*, и равно относится здѣсь къ глистамъ и камнямъ, какъ бородавкамъ, сатириазмамъ и зобамъ; онъ принималъ добровольное зарожденіе глпствъ.

Этихъ строкъ я не отыскивалъ : онѣ попались мнѣ

случайно; вѣтеръ раскрылъ книгу, и я, увидѣлъ, въ статьѣ о маленькихъ дѣтяхъ, слова — *satyriasmъ* (вмѣсто сатириазмы) или *болѣзненное половое побужденіе*, то есть, ложный переводъ и безсмыслицу вмѣстѣ. Это заставило меня взять Иппократа и сравнить переводъ этихъ восьми строкъ съ подлинникомъ. Чтò же выходитъ изъ сравненія первыхъ попавшихся восьми строчекъ? чтò доказывается ими? Очень не многое: а именно:

1. Совершенное незнаніе языка книги, избранной къ переводу.

2. Совершенное незнаніе духа и понятій переводимаго автора.

3. Полное, совершенное и безпредѣльное незнаніе предмета, другими словами, медицины и фізіологіи, когда *satyriasmі* могли быть приняты за *satyriasis*, и *satyriasis*, «болѣзненное половое побужденіе» могло быть предположено въ дѣтяхъ, едва отнятыхъ отъ груди.

4. Отсутствіе всякой логики, доказываемое однимъ уже предположеніемъ, будто-бы какой-либо авторъ, со здравымъ смысломъ могъ между «наростами» помѣстить «болѣзненное половое побужденіе».

5. Полное и совершенное отсутствіе всякой критики: одно только оно и могло не примѣтить, что слово *stranguriae* должно стоять въ другомъ мѣстѣ, а не между «наростами».

6. Искженіе и даже совершенное уничтоженіе смысла подлинника произвольными и противными понятіямъ автора прибавленіями при переводѣ такого текста, котораго слова должны быть передаваемы съ дипломатическою точностью.

7. Удивительная и непостижимая легкомысленность браться за переводъ классическаго творенія не изучивъ его языка, автора и предмета, и, все перепутавъ, все исказивъ, гордо выпускать подобный *трудъ* въ публику съ хвастливыми предисловіями, въ той, вѣроятно, надеждѣ, что никто на Руси не будетъ въ состояніи примѣтить или не захочетъ обнаружить его ученическихъ промаховъ.

Это ужъ слишкомъ! Этого не можетъ допустить у себя никакая литература, знающая честь себѣ и другимъ, неговоря о тѣхъ бранчивыхъ брошюрахъ, которыми динамико-симметрическій переводчикъ «Афоризмовъ» сопровождаетъ такіе *труды*, и въ которыхъ онъ очень вѣжливо расточаетъ слова — *ложь* — *невѣжество* — *клевета* — *дерзость* — *безстыдство* — людямъ, больше его смышляющимъ и въ дѣлѣ и въ приличіяхъ. Такая самонадѣянность, при такомъ позорѣ, наносимомъ достоинству печати и русской врачебной литературѣ, заслуживаетъ того, чтобы безъ церемоніи указали ей предѣлы, и мы беремся убѣдить положительно всѣхъ и каждого, кому *сіе* читать надлежитъ, въ томъ числѣ и самого переводчика «Афоризмовъ» Иппократа, что мѣра его познаній и родъ его способностей возлагаютъ на него долгъ гораздо бѣльшей скромности. Разбирая переведенные имъ афоризмы, я буду имѣть честь показать вамъ, что всѣ семь великихъ качествъ, только что открытыя нами въ первыхъ взятыхъ наудачу восьми строчкахъ, озаряютъ своимъ блескомъ всѣ поочередно параграфы» того знаменитаго *труда*, которымъ виновникъ его занимался цѣлыхъ девятнадцать лѣтъ — «во

всѣхъ *моихъ походахъ* съ гвардіей», говорить онъ — изучая Иппократа будто-бы въ то самое время, какъ одинъ изъ величайшихъ полководцевъ нашего времени изучалъ Юлія Цезаря, *«и по его примѣру»*. Виновникъ!... я называю его «виновникомъ», но это единственно потому, что не знаю, не придумаю, настоящего имени такому писателю. Да скажите же, ради Эскулапа, какъ у васъ въ медицинѣ, называется такой врачъ, который, въ *своихъ походахъ*, въ то самое время какъ великіе люди изучали Юлія Цезаря, принимаетъ сатировыя серыги у сопливыхъ ребятишекъ за «болѣзненное половое побужденіе», и который... Позвольте: окно открыто; вѣтеръ перекинулъ нѣсколько страницъ, и я вижу новое чудо учености и остроумія виновника. *«Въ самыхъ лучшихъ изданіяхъ Иппократовыхъ твореній это восьмое отдѣленіе вовсе не находится, напримѣръ, in optimis quoque Codd. MSS. aphorismi hi additi non leguntur, и хотя у другихъ»*, и прочая. Что это такое? Что за такой «напримѣръ»? Для какого *напримѣра* приведена здѣсь эта латинская сентенція? Чьи это слова? Что они объясняютъ? Вѣрите ли вы опять глазамъ своимъ? Да вѣдь нашъ виновникъ такъ глубоко ученъ, что онъ даже не знаетъ значенія латинскаго слова *codex* и аббревіаціи *MSS.* !.... *Codex*, какъ вамъ извѣстно, значитъ списокъ, а *MSS.* есть сокращеніе слова *manuscriptus*, «рукописный»; такимъ образомъ *Codd. MSS.* поставлено здѣсь вмѣсто *codicibus manuscriptis*, въ смыслѣ «рукописныхъ списковъ», и, слѣдовательно, приводимая виновникомъ въ «напримѣръ» латинская сентенція, означаетъ: «Даже и въ самыхъ лучшихъ

«*рукописныхъ спискахъ* этихъ афоризмовъ не существуетъ». А виновникъ *рукописные списки*, Codd. MSS., принимаетъ за печатныя *изданія*!! И вообразите, что онъ, виновникъ, приводитъ эти слова въ «*напримѣръ*» для поддержанія совершенно противоположнаго утвержденія своего, а именно, будто-бы афоризмы, о которыхъ идетъ рѣчь, *не* находятся въ *самыхъ лучшихъ изданіяхъ*! Такъ *самыми лучшими изданіями* кажутся ему изданія неполныя, такія изданія, въ которыхъ была бы пропущена часть сочиненій, принадлежащихъ или приписываемыхъ автору? Ums Himmelswillen! да скажите же, пожалуйста, какъ мы въпередъ называемъ, какъ у васъ въ медицинѣ собственно называютъ такого ученаго врача? эскулапа, который такъ хорошо знаетъ латинскій языкъ? медицинскаго писателя, переводчика древнихъ классическихъ твореній, который имѣетъ такое ясное понятіе о рукописныхъ спискахъ и объ ихъ изданіяхъ?....

Я знаю, откуда почерпнута эта чудесная латинская сентенція, поставленная здѣсь въ «*напримѣръ*» съ такимъ отличнымъ остроуміемъ и вкусомъ: она взята изъ вступленія Пирера — виновникъ пишетъ *Пирера*, — къ его изданію Иппократовыхъ сочиненій, въ Bibliotheca iatrica. Этотъ Пиреръ, который какъ на зло, писалъ по-латыни, на каждомъ шагѣ приноситъ новое несчастье учености виновника. Нашъ виновникъ до такой степени чуждъ латинскаго языка, или латинскій языкъ чуждъ нашего виновника — вѣтеръ опять перекинулъ нѣсколько страницъ — что вотъ, я вижу, онъ взялъ изъ того же Пирера еще и другую сентенцію, въ которой опять встрѣчается MSS., но

тутъ уже, рѣшительно не зная какъ перевести это несчастное MSS., онъ оставилъ его, подлѣ русскихъ словъ своего перевода, въ томъ же видѣ, какъ оно есть у Пирера. Бѣдный виновникъ! онъ боялся тронуть это MSS., чтобы не дать промаху, переводя эти латинскія буквы на-угадъ, и наивно сохранилъ ихъ въ цѣлости какъ собственное имя, какъ названіе ка-кахъ-то таинственныхъ библіотекъ! «Въ первомъ томѣ *«сочиненій Пирера»*, говоритъ онъ, упоминается о двадцати девяти книгахъ, будто-бы оставшихся, за смертію Иппократа, неизданными, но книги эти пропали *«или по-крайней мѣрѣ скрыты въ библіотекахъ М. S.»* Эти знаменитыя библіотеки М. S., какъ вы догадываетесь не что иное какъ непонятое виновникомъ латинское выраженіе bibliothecae MSS., то есть, *«собранія рукописей»*. Въ самомъ дѣлѣ, у Пирера сказано: *Passim Hippocratis libri citantur, ab ipso, scripti, illive tributi, qui tamen plane interierunt, saltem in bibliothecis MSS. latent.* «Библіотеки М. S.»! Это ужъ стоитъ двухъ *Intelligenzblat*’овъ. Быть не можетъ, чтобы въ медицинѣ, гдѣ всѣ вещи такъ ясно называются по своимъ природнымъ именамъ, не было настоящаго названія и для такого «ученаго врача!» Не называть же мнѣ его во всю статью виновникомъ, словомъ, которое ровно ничего не значить и которое я употребляю только временно, до отысканія другаго, болѣе выразительнаго!

Ну, какъ называется такой врачъ—вѣтеръ опять перекинулъ нѣсколько страницъ—который ссылается на авторитетъ Гримма, никогда не выдавъ его кни-

ги и даже не зная его фамиліи?... который, напримѣръ, найдя у латинскаго писателя, Пирера, это имя украшенное латинскимъ окончаніемъ наивно называетъ Гримма по-русски *Гриміемъ* и даже не догадывается, что это нѣмецкій, а не латинскій писатель, что онъ всегда подписывался Grimm и что даже и на сочиненіи, призываемомъ въ свидѣтели, его имя выставлено Grimm, а не Grimmius?

Какъ называется такой врачъ, который.... вѣтеръ опять перекинулъ двѣ страницы.... Надобно закрыть окошко: иначе мы никогда не кончимъ опредѣленія такого удивительнаго врача. И я даже примѣчаю, что чѣмъ болѣе страницъ перекидываетъ услужливый вѣтеръ, тѣмъ труднѣе становится вамъ самимъ приискать приличное названіе для такого ученаго мужа. Надо принять, въ отношеніи къ нему, какую-нибудь рѣшительную мѣру: это тѣмъ необходимѣе, что пора приступить къ дѣлу; до-сихъ-поръ мы къ нему не приступали. Дѣло еще впереди, ужасное дѣло, а это одно только вступленіе. Мнѣ хотѣлось, пользуясь попутнымъ вѣтромъ, показать вамъ, съ самаго начала, съ какого рода писателемъ я, несчастнѣйшій изъ людей, долженъ здѣсь возиться, какія принужденъ разбирать книги, въ какія литературныя нечистоты проникать взоромъ.... и когда же!.... въ то самое время какъ все около меня цвѣтетъ, поетъ, сіяетъ, какъ все въ природѣ издерживаетъ сокровища жизни на радость, на веселье, на удовольствіе, и этотъ воздухъ, насыщенный свѣтомъ, благоуханіемъ и звукомъ, явственно говоритъ всѣмъ, что счастье человѣка не можетъ заклю-

чаться въ чтеніи «прагматическихъ сочиненій», что мы, вѣроятно, предназначены къ чему-нибудь лучшему и умнѣйшему на землѣ. О! пожалѣйте обо мнѣ!...

Да что же я хлопочу о приличномъ названіи для нашего неудобо-выразимаго врача, когда онъ самъ себя назвалъ какъ-нельзя удачнѣе! На оберткахъ его чудныхъ твореній ясно сказано, что и книжки, и авторъ, и слогъ, и содержаніе, все здѣсь—*прагматическое*, то есть, Богъ знаетъ какое. Вы помните, что это слово, въ его понятіи, заключаетъ въ себѣ именно это значеніе. Я совершенно доволенъ этимъ самоопредѣленіемъ, и отнынѣ впредь называю ихъ не иначе какъ «прагматическими».

Открывъ настоящее названіе вещей, мы можемъ приступить къ дѣлу. Начнемъ съ «Опыта медицинской полемики, или Отчета прагматическаго сочиненія».

Въ чемъ состоитъ этотъ «Отчетъ»?

Я долженъ сперва просить у васъ извиненія, если, быть-можетъ, употреблю во зло терпѣніе ваше моимъ отчетомъ объ этомъ «Отчетѣ», то есть изложеніемъ исторіи этой безпримѣрной у насъ книжицы. Я тутъ человѣкъ посторонній, совершенно неприкосновенный къ дѣлу, и мнѣ самому очень прискорбно, что злая судьба меня именно избрала судьей въ такой тягѣ, которая неминуемо возбудитъ въ васъ отвращеніе; но долгъ правосудія требуетъ сказать все, не убавляя и не прибавляя. Я постараюсь однакожъ изложить дѣло какъ-можно короче.

Въ началѣ 1840 года родился здѣсь, въ Петербургѣ, уродецъ съ тремя пустыми головами, имѣвшими, какъ

пзъ дѣла видно, видѣ трехъ книжечекъ свѣтло-мѣднаго цвѣта; а у того уродца, на лбахъ такого же цвѣта, надписи; а въ надписяхъ тѣхъ сказано, что онѣ де есть «Прагматическое сочиненіе о Ганеманнѣ и гомеопатіи». Уродецъ давно былъ объявленъ къ рожденію, и заставилъ ждать себя очень долго. Извиняясь въ замедленіи, онъ такимъ образомъ объяснялъ причину своего поздняго появленія: «Чтобы быть полезнымъ медицинскимъ сочинителемъ, *нужно мною знанія, еще болѣе опыта и совѣсти..... Вотъ почему донынѣ не издано было ничего важнаго по этой части!* (Введеніе, стр. XXII и XXIV)». Несмотря на это—со смѣлыми счастье!—онъ рѣшился предстать передъ дневной свѣтъ. Изъ дѣла видно, что приготовленія уродца къ этому великому дню сопровождались, какъ кажется, необыкновеннымъ страхомъ, потому что онъ благовременно старался, всячески, задобрить себѣ благосклонный отзывъ тѣхъ, чье мнѣніе могло бы имѣть вліяніе на его будущую судьбу. Между прочимъ, онъ обращался къ одному очень извѣстному журналу, котораго имени мы не въ правѣ объявлять, потому что это *le secret de la comédie*. Это и повредило уродцу: безъ того прагматическое сочиненіе, вѣроятно, прошло бы незамѣченнымъ; сказанный журналъ навѣрное и не обратилъ бы на него своего вниманія, котораго оно въ самомъ дѣлѣ и не заслуживало; но этотъ обидный поступокъ вызвалъ со стороны сказаннаго журнала объявленіе, что, послѣ того, «прагматическое сочиненіе» не должно ожидать себѣ пощады, если только оно въ самомъ-дѣлѣ таково, ка-

кимъ заранѣе изображаетъ его общая молва. Желая загладить первый промахъ, уродецъ по-несчастію сдѣлалъ другой: онъ приклеилъ къ одному изъ вышесказанныхъ лбовъ своихъ, вышесказаннаго цѣта, огромное предисловіе, въ которомъ, *pro captanda benevolentia*, превознесъ похвалами, и вышесказанный неговорчивый журналъ, и его редактора, въ томъ упованіи, что они, слѣдуя ланкарстерской методѣ, станутъ за это взаимно его расхваливать. Похвалы такого рода не могутъ возбудить другаго чувства кромѣ отвращенія. Вотъ почему, сказанный неговорчивый журналъ, несмотря на похвалы, однажды, въ прекрасное утро, въ веселую минуту, откровенно высказалъ «прагматическому сочиненію» все свое мнѣніе объ его достоинствахъ. Какъ судья въ ихъ дѣлѣ, я долженъ объявить, что не одобряю за это сказаннаго журнала: онъ сдѣлалъ своимъ разборомъ слишкомъ много чести прагматическому сочиненію; оно ея не стоило ни въ какомъ отношеніи, и слѣдовательно, имѣло полное и неоспоримое право пользоваться блаженнымъ спокойствіемъ книгъ, не заслуживающихъ серіознаго вниманія. Я люблю спокойствіе, и защищаю «прагматическое сочиненіе». Сказанный журналъ, нарушая его спокойствіе, поступилъ сверхъ-того весьма неблагоразумно: онъ могъ предвидѣть послѣдствія! Похвалы, не достигающія своей цѣли, у извѣстнаго рода книгъ и людей тотчасъ превращаются въ ругательства. И дѣйствительно, мы теперь видимъ, что тотъ же восхваленный «прагматическимъ сочиненіемъ» журналъ, тотъ же самый «знаменитый и ученый» его редакторъ,

превознесенный до небесъ за свои *достоинства*, теперь, въ новомъ прагматическомъ порожденіи, въ его «Опытъ медицинской полемики», почти на каждой страницѣ безъ зазрѣнія совѣсти называются *невѣждами, лжецами, клеветниками*, и еще нѣсколько хуже. Какъ человѣкъ посторонній, какъ судья въ ихъ дѣлѣ, я опять долженъ сказать прагматическому сочиненію, что это очень не хорошо, и что мнѣ больно видѣть, что на свѣтѣ водятся такія книги и такіе люди. Я люблю скромность и приличіе, и мой долгъ теперь, наоборотъ, защитить всѣмъ своимъ правосудіемъ тѣхъ, кого поносятъ такъ грубо и такъ несправедливо.

Грубость прагматическихъ возраженій на вполне заслуженную критику очевидна сама собою: эта критика, безспорно, стоила большаго уваженія со стороны прагматическаго сочиненія: статья, право, была недурная, какъ для профана въ медицинѣ; ее приписывали многимъ ученымъ и извѣстнымъ врачамъ, и одинъ изъ нихъ, отрекаясь отъ всякаго въ ней участія, объявилъ недавно въ «Сѣверной Пчелѣ» (№ 93, 1841) и «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ», что ему однакожь *«пріятно было бы поставить свое имя подъ этою умною и мастерски написанною статьею»*. Непостижимо, почему эта критика не нравится прагматическому сочиненію, когда она всѣмъ такъ нравится! Какъ судья въ этомъ дѣлѣ, я считаю долгомъ объявить, что у прагматическаго сочиненія долженъ быть престранный вкусъ. Я удивляюсь, и не понимаю, какъ не могла не понравиться ему критика, которая пользовалась

такимъ успѣхомъ между здѣшними врачами, что они перевели ее на нѣмецкій языкъ и отправили уже для напечатанія въ Германію! «Прагматическое сочиненіе» должно, напротивъ, быть ей чрезвычайно благодарнымъ: теперь оно по-крайней-мѣрѣ сдѣлается извѣстнымъ во всей Германіи и, пожалуй, попадетъ даже въ «Конверсаціонсъ-Лексиконъ», чего ему и очень хочется.

Что касается до несправедливости грубостей «Опыта» — если грубости когда-либо могутъ быть справедливыми — то она явственна изъ самаго способа его оправданій. Эти оправданія состоятъ всѣ изъ двусмысленностей, изворотовъ, уловокъ, голословныхъ показаній, и вообще такой діалектики, которая, какъ кажется, считаетъ добросовѣстность пзмишнимъ качествомъ «медицинской полемики», полагая всѣ аргументы позволительными, въ томъ числѣ и явные опечатки. Посмотрите слѣдующій (стр. 27):

«Критика меня упрекаетъ за то, что я рѣшительно умолчалъ о Высочайшемъ повелѣніи отъ 26 сентября 1823 года, которымъ дозволено гомеопатамъ производить во всей имперіи леченіе по гомеопатическому способу. Вотъ опять неправда; *потому-что вышесказаннаго Высочайшаго повелѣнія въ показанное критикою время вовсе не существовало, въ чемъ я положительно убѣдился, справляясь въ самыхъ источникахъ, изъ которыхъ публикуются всѣ Высочайшія повелѣнія!!!?*»

Не нужно и замѣчать, что здѣсь, у критика, въ цифрахъ 1823, вкралась опечатка: должно быть 1833. Высочайшее повелѣніе отъ 26 сентября 1833 года такъ хорошо извѣстно, что каждый, при чтеніи, легко могъ открыть и поправить этотъ недосмотръ типогра-

фія. Что же отвѣчаетъ «прагматическое сочиненіе» на сдѣланный ему упрекъ въ умолчаніи объ этомъ важномъ законѣ въ пользу гомеопатовъ? Оно говоритъ, что *неправда*, что оно ничего не умалчивало, потому что Высочайшаго повелѣнія о гомеопатахъ, отъ 26 сентября 1823 года, не существуетъ: оно даже *справлялось съ источниками*, и *убѣдилось*, что въ томъ году еще не было издано ничего подобнаго!.... Не стыдно ли писателю, который хоть нѣсколько дорожитъ своимъ именемъ, прибѣгать къ такимъ непростительнымъ изворотамъ? Вмѣсто того, чтобы скромно признаться въ пропускѣ или забвеніи, онъ придирается къ опечаткѣ своего критика и ставитъ себя подъ ея защиту. Такія оправданія равносильны страшному самообвиненію: въ другомъ мѣстѣ они называются *крючкомтворствомъ*. Положимъ, что онъ добросовѣстно принялъ число 1823 за настоящее, о которомъ хотѣла говорить критика, въ чемъ однакожь всѣ будутъ сомнѣваться; тѣмъ не менѣе упрекъ въ умолчаніи о правительственномъ распоряженіи въ пользу гомеопатовъ остается въ полной силѣ. Спрашивается: зачѣмъ же прагматическое сочиненіе, хвастая непрерывно, будто оно основывается на печатныхъ правительственныхъ актахъ; ничего не сказало о Высочайшемъ повелѣніи отъ 26 сентября 1833 года, которое однакожь положительно существуетъ и не можетъ быть ему неизвѣстнымъ? Какая причина утайки? Почему «прагматическое сочиненіе» даже и здѣсь уклоняется отъ того, чтобы назвать его и признаться въ его существованіи? Вѣдь ему говорятъ не одними числами, въ ко-

торыхъ такъ часто бывають и у него самого опечатки, но въ то же время и словами, что дѣло идетъ здѣсь о томъ именно Высочайшемъ повелѣніи, *которыя дозволено гомеопатамъ производить во всей имперіи лечение по гомеопатическому способу?*

Послѣ этого можно было бы прямо заключить слѣдствіе и произнести приговоръ, уже совершенно образовавшійся въ умѣ каждого благороднаго человѣка; и этотъ приговоръ былъ бы жестокъ для писателя и для книги, которые позволяютъ себѣ подобныя средства къ оправданію. Но прагматическое сочиненіе готово обвинить нашъ судъ въ поспѣшности рѣшенія. Обратимся къ другимъ его оправданіямъ.

Прагматическое сочиненіе «было обвинено» критикою въ присвоеніи себѣ статьи доктора Спасскаго о книгѣ Шимко безъ указанія на источникъ, изъ котораго оно ее выписало не только самопроизвольно, но еще съ присовокупленіемъ двумысленностей насчетъ ея автора. Эта статья была, по желанію г. Спасскаго, возобновлена въ томъ же журналѣ, въ которомъ черезъ мѣсяцъ явилась и критика: такъ-какъ авторъ статьи слышалъ, что журналъ собирается серьезно разобрать «прагматическое сочиненіе», то онъ и просилъ, въ письмѣ къ редактору, дать ей мѣсто въ томъ же изданіи, потому-что она, *въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, могла быть полезною читающей публикѣ для нѣкоторыхъ любопытныхъ сравненій.* Каждый понимаетъ, о какихъ «любопытныхъ сравненіяхъ» скромно говорилъ авторъ: онъ только хотѣлъ доставить читателямъ средство сравнить, въ случаѣ критики,

множество страниц «прагматическаго сочиненія» со страницами своей статьи, нѣкогда напечатанной въ «Сынѣ Отечества». Онъ полагалъ, и весьма основательно, что читателямъ будетъ *любопытно* видѣть, какъ смѣло, съ какой самоувѣренностью, «прагматическое сочиненіе», среди бѣлаго дня, ограбило его статью, и присвоило себѣ чужой трудъ для увеличенія своего объема. Подобныя явленія, къ счастью, еще рѣдки въ нашей литературѣ, и когда они случаются, особенно съ такою неслыханною смѣлостью, то могутъ по-справедливости возбуждать общее любопытство. Чтѣ же дѣлаетъ, какъ оправдывается «Опытъ медицинской полемики»? Притворясь, будто онъ не понимаетъ, для какихъ «сравненій» г. Спасскій почиталъ возобновленіе своей статьи *полезнымъ*, онъ отважно самъ нападаетъ съ упреками на того, чью похитилъ собственность, издѣвается надъ нимъ, обвиняетъ его даже въ *самонадѣянности*, и говорить: «Несмотря однакожъ на *такую самоувѣренность въ пользу своей статьи* (какъ-будто г. Спасскій намекалъ на «пользу» своей статьи какъ статьи!), г. Спасскій вовсе не объяснилъ чтѣ это за *нѣкоторыя любопытныя сравненія*: а безъ этого какъ добратся до этихъ *нѣкоторыхъ любопытныхъ сравненій?*» И въ томъ же тонѣ «прагматическое сочиненіе» продолжаетъ цѣлыхъ двѣ страницы насмѣхаться надъ трудомъ, который хотѣло выдать за свой, и надъ авторомъ, котораго собственностью наполнило лучшія страницы своей компиляціи. Во всей исторіи литературныхъ безнравственностей, которыхъ списокъ, по-несчастью, безконеченъ, мы не

помнимъ ни одного примѣра, болѣе соблазнительнаго и болѣе прискорбнаго. Если бы негодованіе всѣхъ благородныхъ людей не становилось въ такомъ случаѣ надежнѣйшимъ щитомъ для скромныхъ и даровитыхъ писателей противъ такихъ поступковъ, то нужно было бы сожалѣть о литературѣ, въ которой современныя изданія прикрывали бы ихъ своимъ молчаніемъ. Г. Спасскій здѣсь виноватъ только въ томъ, что онъ выразился слишкомъ деликатно, сказавъ *для некоторыхъ любопытныхъ сравненій*: очень естественно, что «прагматическое сочиненіе» и «Опытъ медицинской полемики» не понимаютъ этихъ тонкостей благороднаго языка; надобно было сказать просто: *для удобнѣйшей повѣрки съ полными*.

Тѣ, которые читали критику, возбуждившую ярость «прагматическаго сочиненія», и статью г. Спасскаго, нарочно возобновленную въ томъ же журналѣ для «нѣкоторыхъ любопытныхъ сравненій», очень хорошо помнятъ тождественность съ нею множества выписанныхъ тамъ страницъ изъ прагматическихъ книжечекъ. Само «прагматическое сочиненіе» созналось потомъ (стр. 14—17 «Опыта»), что оно дѣйствительно взяло себѣ безъ спросу трудъ г. Спасскаго, и оно оправдывало свое похвальное дѣйствіе тѣмъ, что однакожъ поставило передъ ея параграфами знаки отреченія. Оно даже спорило тамъ съ своимъ критикомъ, который говорилъ, что изъ слога г. Спасскаго устранены только *си* и *онѣ*, и утверждало, что это — «ложь», что его *си* и *онѣ* находятся всѣ *на-лицо во всѣхъ приведенныхъ параграфахъ*. Хотя отъ со-

чиненія, котораго образъ дѣйствія такъ хорошо видѣнъ изъ двухъ предыдущихъ примѣровъ, можно ожидать всего, однако не многіе въ состояніи вообразить, до какой степени простерло оно въ этомъ случаѣ свое привычное забвеніе уваженія къ истинѣ. Можно ли представить себѣ, что несмотря на свои собственные признанія, несмотря на предъявленную критикой улику, несмотря на убѣжденіе двадцати-тысячъ читателей, которые собственными глазами видѣли въ журналѣ, что «прагматическое сочиненіе» дѣйствительно перепечатало у себя почти всю статью г. Спасскаго, съ сохраненіемъ его слога и выражений и только съ небольшими измѣненіями въ наружномъ видѣ, къ которымъ обыкновенно прибѣгаютъ контрафакторы для прикрытія своихъ похищеній, оно осмѣлилось утверждать въ другомъ мѣстѣ (стр. 14, 15, 16), что будто-бы нисколько не воспользовалось этою статьею и что его критикъ не постыдился обманывать читающую публику, увѣряя ее, будто оно перепечатало статью г. Спасскаго. «Не обиденъ ли, прибавляетъ оно, та-кой обманъ для читающей публики, и не есть ли «онъ клевета на меня»? Такая храбрость рѣшительно непонятна! Такъ вѣрно къ слову «перепечатаніе» придирается здѣсь крючкотворство прагматическаго сочиненія?... Оно однако жъ гораздо учтивѣ слова «контрафакція», которое употребляетъ законовѣденіе, говоря о подобныхъ дѣйствіяхъ! Не болѣе ли по вкусу ему латинское *plagiat* или англійское *piracy*? Если это не «перепечатаніе», такъ безспорно *plagiat*, въ самомъ обширномъ значеніи слова.

Какъ бы не такъ! «Прагматическое сочиненіе», перепечатавъ разсужденіе г. Спасскаго о книгѣ Шимко, не только имъ не воспользовалось, но даже нашло его совершенно негоднымъ и по-тихоньку замѣнило, говорить, *переводомъ* той же книги, принадлежащимъ ученому перу г. Гаевского. Оно, съ удивительною отвагою и нисколько не краснѣя, еще хочетъ торжественно *показать критику все ея невѣжество въ медицинской литературѣ* и, для этого, *ставитъ ей на видъ, что она, критика, вовсе не знаетъ, что въ то же самое время, то есть въ 1830 году, сочиненіе Шимко было переведено С. Θ. Гаевскимъ*, и что *переводъ (?) г. Спасскаго есть уже второстепенный (?) переводъ (?)*. Оно даже нѣжно упрекаетъ себя за то, что, включивъ въ трудъ, тихонько взятый у г. Спасскаго, девять параграфовъ, тихонько взятыхъ изъ *перевода* г. Гаевского, ничего не сказало, что это взято у другаго. «Но вотъ мое оправданіе», продолжаетъ оно. «Этотъ почтенный мужъ (С. Θ. Гаевскій), который трудится не изъ кичливости или суетнаго самолюбія, а для пользы своихъ соотчичей» (искусныхъ въ перепечатываніи), *«хотя бы они того и не знали, не позволилъ мнѣ много объ немъ распространяться»*. Это очень назидательно. Но можете ли вообразить, что тутъ нѣтъ ни одного слова истины! Вся эта трогательная исторія отъ начала до конца выдуманна единственно для того, чтобы подобострастными похвалами поставить себя подъ защиту извѣстнаго и уважаемаго въ медицинѣ имени: такъ нѣкогда, и точно такими же средствами, «прагма-

тическое сочиненіе» ставило себя подъ защиту журна-
нала, который теперь оно такъ грубо поносить; но
журналъ отказалъ въ ней: г. Гаевскій, безъ сомнѣнія,
сдѣлаеть тоже самое. Онъ, вѣроятно, не потерпитъ,
чтобы его имя употребляли такъ легкомысленно. Г.
Гаевскій никогда не *переводилъ* сочиненія Шимко, и
такого *перевода* нѣтъ и не бывало въ русской лите-
ратурѣ. Г. Гаевскій въ 1830 году помѣстилъ въ
«Журналъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ» (II, стр.
191—205) одно только коротенькое извѣстіе объ
этомъ сочиненіи, на семи листочкахъ самой крупной
печати, и безъ подписи своего имени, потому-что та-
кія летучія статейки никогда и не подписываются по-
рядочными писателями. Г. Гаевскій не приписывалъ
самъ никакой важности этому бѣглому обзору содер-
жанія новой въ то время книги, обзору, который очень
удобно умѣстился бы весь на четырехъ или пяти
страницахъ «Библ. для Чт.» не назвалъ его ни «пере-
водомъ», ни даже разборомъ, но, просто и скромно,
«*извѣстіемъ* о новой книгѣ». При такой тѣснотѣ
рамки, этотъ обзоръ содержанія книжки, имѣющей въ
подлинникѣ сорокъ семь страницъ мелкой печати, со-
ставленъ искусно, весьма хорошо, какъ для малень-
кой статейки, предназначаемой въ Смѣсь журнала; но
это только «извѣстіе о новой книгѣ», въ точномъ
значеніи словъ, и ничего больше. На эту-то скром-
ную статейку «прагматическое сочиненіе» указывало съ
иперболическою похвалою еще въ своемъ разсужде-
ніи о Ганеманиѣ и Гомеопатіи, и ее-то выдаетъ оно
теперь за полный и «вѣрный» *переводъ* Шимкова со-

чиненія. Надобно имѣть обертку темно-мѣднаго цвѣта, а чернила, готовыя на все, чтобы всѣми почитаемыхъ людей приводить въ замѣшательство и краску такою необузданною лестью; чтобы человѣка извѣстнаго, врача, пользующагося въ ученомъ свѣтѣ и въ обществѣ заслуженнымъ уваженіемъ, умнаго писателя, который нѣкогда сочинилъ для журнала коротенькое «извѣстіе» о новой книгѣ и тотчасъ забылъ объ немъ, такъ смѣло увѣрять, въ глаза, передъ всею публикою, будто онъ — *переводчикъ* этой книги, его немногія строчки — прекрасный и *самый вѣрный переводъ* ея, его бѣглый обзоръ — *самое точное и подробное ея изложеніе*; чтобы сверхъ-того еще притворно признаваться, будто оно, «прагматическое сочиненіе», чрезвычайно многимъ ему обязано и — что грѣха таить! — похитило у него даже девять самыхъ важныхъ параграфовъ своей книги!... тогда какъ оно рѣшительно не взяло изъ статьи *ни одного слова*, да и не могло ничего взять по чрезвычайной сжатости ея изложенія!... Мы, изъ любопытства, тщательно сравнили въ «прагматическомъ сочиненіи» страницы, выписанныя имъ у г. Спасскаго, со статьей г. Гаевского, и не нашли ни малѣйшаго слѣда заимствованія изъ этого «извѣстія» о новой книгѣ, помѣщеннаго въ «Журналъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ». И всю эту комедію притворнаго признанія въ мнимомъ похищеніи у г. Гаевского его мнимаго *перевода* книжки Шимко, «прагматическое сочиненіе» изобрѣло — для чего — для того чтобы имѣть новый случай унизить присвоенный себѣ трудъ г. Спасскаго; чтобы похвалу, должную этому труду, пере-

нестъ на небывалый и несуществующий *переводъ* другого ученаго; чтобы, вопреки истинѣ и очевидности, увѣрять публику, будто этотъ трудъ есть только *второстепенный*! Какъ второстепенный? Въ сравненіи съ чѣмъ онъ второстепененъ? Разсужденіе г. Спасскаго, его изложеніе содержанія книжки Шимко, заключаетъ въ себѣ, въ «Сынѣ Отечества», столько же, если не болѣе, печатныхъ страницъ какъ и подлинникъ, а «извѣстіе» г. Гаевского имѣетъ только семь листочковъ самой крупной и рѣдкой печати. Разсужденіе г. Спасскаго вышло въ свѣтъ до появленія «извѣстія» г. Гаевского. Въ какомъ же отношеніи оно можетъ быть «второстепеннымъ» сравнительно съ этою летучею статейкою? Если коротенькое «извѣстіе» г. Гаевского такой вѣрный *переводъ* сочиненія Шимко, то зачѣмъ же «прагматическое сочиненіе» не взяло хоть ея таблицы? Зачѣмъ эту таблицу перепечатало оно отъ слова до слова изъ разсужденія г. Спасскаго? Зачѣмъ во всей контрафакціи этого разсужденія нѣтъ и двухъ строкъ, перенесенныхъ туда изъ мнимаго *перевода* г. Гаевского? И чтó значить все это оправданіе «прагматическаго сочиненія», предположивъ даже, что въ немъ есть хоть одно слово правды? Не думаетъ ли оно уменьшить вину свою страннымъ признаніемъ, что оно тихомолкомъ присвоило себѣ труды, не *одного* писателя, а *двухъ*? что оно напихало въ свою компиляцію столько чужаго, сколько могло поймать и присвоить себѣ, не поблагодаривъ ни одного владѣльца за его собственность? Такое признаніе, напротивъ, удваиваетъ проступокъ «прагматическаго сочиненія»,

которымъ сверхъ-того оно безъ всякаго повода обижаетъ и компрометируетъ одно изъ почетнѣйшихъ врачебныхъ именъ въ Россіи. Мы полагаемъ, что самъ С. Ѳ. Гаевскій поспѣшитъ отклонить отъ себя исторію, выдуманную прагматическими писаніями объ его небываломъ *переводѣ* сочиненія Шимко и о «первостепенности» этого перевода. Онъ, вѣроятно, не захочетъ самъ, чтобы кто-либо, по его молчанію, могъ подумать, будто онъ соглашается носить въ литературѣ непринятое для него званіе Шимкова *переводчика*, которое приписываетъ ему неловкое подобострастіе, ищущее убѣжища подъ щитомъ его имени отъ порицанія, заслуженнаго въ общественномъ мнѣніи.

Послѣ такихъ образчиковъ добросовѣстности «прагматическаго сочиненія» и его дерзкаго дѣтища, «Опыта медицинской полемики», очень трудно уже извлечь изъ подлежащей книжицы что-нибудь любопытное: читатель не станетъ болѣе ничему удивляться. Эту сторону «Опыта» можно почесть приведенною въ достаточную ясность. Я укажу теперь на ребячество и двусмысленность другихъ его оправданій, сопровождаемыхъ, разумѣется, неизбежными грубостями. Вотъ примѣръ ребячества (стр. 16): я предаю его оцѣнкѣ читателей.

«Критика далѣе рассказываетъ такъ:

«Дѣтъ одиннадцатъ или двѣнадцатъ тому назадъ вышла въ Германіи небольшая книга г. Шимко, которой настоящаго (разумѣется, нѣмецкаго) заглавія мы не знаемъ».

«Это опять *убѣдительно* доказываетъ, что критика *вовсе не читала* моего сочиненія, въ первой части котораго, на страницѣ 3, подъ нумеромъ 19, *настоящее заглавіе этой книги самими*

подробнымъ образомъ изложено...» (А тамъ самымъ подробнымъ образомъ изложено заглавіе французскаго перевода этой книги, изданнаго съ прибавленіями докторомъ Дрейфуссомъ въ Москвѣ: «настоящаго» заглавія, заглавія подлинника, *вовсенѣтъ*!) «Критика до такой степени озабочена была изобрѣтеніемъ ложныхъ показаній на прагматическое сочиненіе, что уже забыла въ маѣ, что напечатала у себя въ апрѣлѣ, гдѣ, на страницѣ 165, *самымъ подробнымъ образомъ* показано во французскомъ переводѣ *настоящее* заглавіе книги Шимко....» (настоящее заглавіе нѣмецкой - книги показано посредствомъ французскаго перевода!) «Критикъ не знаетъ *первыхъ четырехъ правилъ ариѳметики*, потому-что я самъ сказалъ, что книга Шимко вышла 1828 года, 29 октября. Следовательно, если бы критикъ *зналъ правила простаго вычитанія*, то онъ не имѣлъ бы нужды прибѣгать къ догадкамъ и говорить одиннадцать или двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, а сказалъ бы просто, что она вышла одиннадцать лѣтъ и 7 мѣсяцевъ тому назадъ».

Это, изволите видѣть, *опытъ* медицинской полемики: авторъ *пытается* умно разсуждать съ своимъ критикомъ и прилично оправдываться!

Изъ такихъ-то остроумныхъ нападковъ состоитъ вся защита «прагматическаго сочиненія», которое постоянно придирается къ мѣстамъ, вовсе не касающимся до его грѣховъ, а отъ настоящихъ и важныхъ обвиненій, произносимыхъ противъ него критикою, всегда отдѣлывается двусмысленностями, общими словами и грубостями.

Одна изъ этихъ двусмысленностей заслуживаетъ особеннаго вниманія читателей по злобному направленію, которое старается сообщить ей «Опытъ медицинской полемики» уловками настоящей ябеды. «Прагматическое сочиненіе» думало найти страшное оружіе противъ своего критика въ остроумной мысли изо-

бразить передъ публикою охужденіе этого частнаго сочиненія такъ, чтобы оно показалось порицаніемъ правительственныхъ актовъ и распоряженій. Къ этому клонить оно всѣ свои извѣты, и непрерывно представляетъ на видъ, что оно, настоящее *прагматическое* сочиненіе, сочиненіе сочиненное *въ духъ правительственнаго, народнаго и медико-полицейскаго*, сочиненіе основанное на *правительственныхъ актахъ, составленное по порученію медицинскаго совѣта, просмотрѣнное и одобренное медицинскимъ совѣтомъ къ напечатанію* (стр. 4, 21, 27 и прочія), оно, такое важное для государства сочиненіе, сдѣлалось однакожъ жертвою дерзновенной критики, которая коротко и ясно доказала ему, что въ немъ нѣтъ ни смысла, ни логики, ни знанія дѣла, ни языка, ни грамматики. Вы уже думаете: какъ, въ самомъ дѣлѣ? неужели у насъ оказываютъ такое неуваженіе офиціальнымъ актамъ, книгамъ, издаваемымъ отъ имени правительственныхъ мѣстъ? Да это ужасъ! говорите вы. Властей не уважаютъ! Что жъ медицинскій совѣтъ? Неужели онъ не вступился за сочиненіе, столь существенное для здоровья и счастія отечества? неужели не обидѣлся тѣмъ, что въ книгѣ, *составленной по его порученію*, и имъ самимъ *просмотрѣнной и одобренной къ напечатанію*, частная критика не нашла ни смысла, ни логики, ни грамматики? — Ну, ни сколько! — Такъ, видно, «Опытъ» сочиняетъ, и совѣтъ не поручалъ составлять этой книги? — Нѣтъ, «Опытъ» не сочиняетъ, а только всегда начинаетъ говорить правду съ той точки, гдѣ оканчивается истина. Вы

«Опыта» не понимает: онъ твердъ въ крючкотворствѣ, котораго все искусство основано на умѣнѣхъ не досказывать и сказанному придавать, кромѣ внутренняго смысла, еще другой смыслъ, наружный, такъ, чтобы въ каждомъ словѣ были и правда и неправда вмѣстѣ. «Опытъ», конечно, не осмѣлился бы говорить о порученіи, если бы его не было. Очень вѣроятно, что «прагматическое сочиненіе», по-крайней-мѣрѣ первоначально, было предпринято вслѣдствіе какого-нибудь «порученія» медицинскаго совѣта: это безъ-сомнѣнія истина, но не вся. «Опытъ» сказалъ половину правды, и молчитъ: понимаете ее, какъ угодно; второй половины онъ не досказываетъ, а эта вторая половина состоитъ въ томъ, что совѣтъ нашелъ составленное по его порученію сочиненіе плохимъ, неприличнымъ, несообразнымъ съ своимъ достоинствомъ, и отвергъ его, и такимъ образомъ оно сдѣлалось собственностью своего сочинителя. Да какъ же вы это знаете? — Посредствомъ логики: у меня есть логика г. Рождественскаго. Доказательствомъ тому, что я вѣрно угадалъ вторую половину истины, служить то, что сочиненіе вышло въ свѣтъ частнымъ образомъ, отъ имени какого-то врача, совершенно неизвѣстнаго въ наукѣ, съ частнымъ смѣшнымъ титуломъ «прагматическаго», и что медицинскій совѣтъ вовсе не обидѣлся за критику, которая обнаружила все безобразіе этого «прагматическаго сочиненія». — Однакожъ, подумайте сами: «Опытъ» говоритъ, что совѣтъ одобрилъ это сочиненіе *къ напечатанію!* Неужели вы скажете, что и это только половина истины? — Да! непременно половина, и еще меньшая половина. Пол-

ная истина, по логикѣ и по ходу дѣлъ человѣческихъ, будетъ такова: «прагматическое сочиненіе», найденное, во всѣхъ отношеніяхъ, несообразнымъ съ сущностью даннаго автору порученія и совершенно противнымъ образу мыслей совѣта, не было и не могло быть одобрено, какъ сочиненіе, составленное, вслѣдствіе этого порученія; но какъ въ немъ нѣтъ ничего вреднаго для общественнаго здоровья и противнаго правиламъ медицинской ценсуры; какъ отъ него никто не можетъ заболѣть даже и зубами, то оно и *одобрено (пропущено) къ напечатанію, если автору угодно издать его на свой собственный счетъ*. Не думайте, чтобы я очень измучилъ свою голову, возстаивая по логикѣ эту длинную истину; ее очень легко угадать во всѣхъ подробностяхъ; таковъ порядокъ «одобреній» всѣхъ ученыхъ сословій, не только у насъ въ Россіи, но и во всей Европѣ! Притомъ, вы тутъ еще не знаете кое-какихъ тонкостей ученаго языка, и «прагматическое сочиненіе», надѣясь на это, хотѣло поймать васъ на чучело: книга, *одобренная* ученымъ сословіемъ, *одобренная*, коротко, и *одобренная къ напечатанію*, то есть въ ценсурномъ отношеніи, это двѣ совершенно разныя вещи. Всѣ творенія Орлова и Кузьмичева *одобренны къ напечатанію*: это однакожъ ничего не доказываетъ въ пользу ихъ внутренняго достоинства. Замѣьте, что «прагматическое сочиненіе» говоритъ только: *я-де одобрено совѣтомъ къ напечатанію*, а не просто — *я одобрено*. Оно хитро! — Очень хорошо: но вы такъ утвердительно говорите, что медицинскій совѣтъ не одобрялъ, не

могъ одобрить, «прагматическаго сочиненія» какъ медицинской книги, такъ смѣло увѣряете, что она совершенно противна образу мыслей этого ученаго трибунала, какъ-будто вы были его секретаремъ. На это надобно имѣть однакожъ какія-нибудь доказательства!— Я и имѣю ихъ. И я тоже основываюсь на правительственныхъ актахъ; но я дѣйствую прямѣе и чище чѣмъ «прагматическое сочиненіе»: я называю эти акты. Законъ 26 сентября 1833 года, который оно всячески скрываетъ, основанъ на предварительномъ «заключеніи» медицинскаго совѣта. Это фактъ. Какъ же вы хотите, чтобы ученое сословіе, которое, въ этомъ заключеніи, признало гомеопатію медицинскимъ ученіемъ, одною изъ настоящихъ врачебныхъ теорій, и нашло полезнымъ дозволить гомеопатамъ во всей имперіи свободное леченіе по этой теоріи, могло когда-либо одобрить содержаніе, духъ и направленіе книги, гдѣ, почти на каждой страницѣ, авторъ, вовсе непонимающій дѣла, чествуетъ гомеопатію *шарлатанствомъ, обманомъ, ложью, ничтожествомъ, изобрѣтеніемъ вреднымъ для чловѣчества*, и осыпаетъ ее эпитетами, свойственными только языку «прагматическаго сочиненія» и его сына, «Опыта медицинской полемики»? Это такъ ясно, какъ то, что, слѣдственно, въ подобномъ сочиненіи нѣтъ, и не можетъ быть, здраваго смысла, и что «прагматическое сочиненіе» совсѣмъ неосновательно жалуется черезъ своего дерзкаго сына на критику, которая говорила ему то же самое. — Но «прагматическое сочиненіе» говоритъ, что оно вездѣ *основывается на правительственныхъ ак-*

такъ, что оно написано *въ духъ правительствен-
номъ, народномъ и медико-полицейскомъ*: и какъ,
тутъ, по положенію, есть только половина правды.... —
Извините! тутъ уже нѣтъ правды ни на волосъ. Какъ
можете вы вѣрить тому, что оно говоритъ о своихъ
достоинствахъ, когда оно не умѣетъ сказать ни одного
правдиваго слова о достоинствахъ другихъ? Оно го-
воритъ это съ отчаянія. Критика замѣтила ему, что
оно не знаетъ значенія словъ, которыя употребляетъ;
что оно, напримѣръ, назвало себя *прагматическимъ*, по-
лагая, будто-бы это слово противоположно слову *поле-
мическій*, между-тѣмъ какъ оно значитъ — политиче-
скій, государственный, правительственный, *дѣловой*.
Для оправданія себя, оно, второпяхъ, вздумало увѣ-
рять, будто оно и въ самомъ дѣлѣ — нѣчто поли-
тическое, правительственное основанное на *прагма-
такъ*, то есть, на государственныхъ дѣлахъ, или
актахъ, потому-что въ одной аптекѣ Гороховой
улицы разсмотрѣло шесть тысячъ гомеопатическихъ
рецептовъ, не выучившись сперва читать ихъ и
такъ хорошо зная общую медицину и латинскій
языкъ, что всѣ лекарства, прописанныя въ этихъ *ак-
такъ* противъ *satyriasmī*, сочло за antidоты про-
тивъ *satyriasis*. Настоящіе правительственные акты
оно знаетъ только для того, чтобы дѣлать на нихъ
неправильныя ссылки, для подкрѣпленія своихъ не-
правильныхъ показаній, или совершенно скрывать ихъ,
когда они противны его страстямъ. Доказательство—
законъ отъ двадцать-шестаго сентября 1833 года, въ
существованіи котораго ни оно, ни его сынокъ никакъ

не хотять сознаться. Почему? Потому, что этотъ законъ есть слѣдствіе заключенія медицинскаго совѣта, которое однимъ ударомъ уничтожаетъ всѣ чудеса его остроумія, всѣ изобрѣтенныя имъ доводы и сравненія для доказанія шарлатанства и вреда гомеопатіи. Что касается до неправильности ссылокъ на тѣ правительственные акты, которыми оно иногда свидѣтельствуется, то докторъ Спасскій уже освободилъ насъ отъ труда подводить справки. Въ статьѣ его, напечатанной въ «Сѣверной Пчелѣ» и повторенной офиціальною газетою, «Санктпетербургскими Вѣдомостями», показано, что всѣ тѣ параграфы «прагматическаго сочиненія», которое оно называетъ *взятыми* изъ заключенія медицинскаго совѣта о гомеопатіи, помѣщенного въ «Журналѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ» (1832, II. 58 — 63), суть неотъемлемый плодъ собственной его изобрѣтательности. «Прагматическое сочиненіе», въ самомъ дѣлѣ, несчастнѣйшее сочиненіе въ мірѣ! гдѣ оно выставляетъ на показъ подвиги своего искусства и трудолюбія, тамъ ему кричатъ, что это — чужое добро; гдѣ оно признается въ похищеніи чужаго ума, тамъ ему показываютъ, что это его собственный, прагматическій умъ. Можно съ ума сойти съ отчаянія! А между-тѣмъ, полагаясь именно на то, что читатели повѣрятъ ему на-слово, будто-бы эти параграфы взяты изъ мнѣнія верховной врачебной инстанціи, оно и провозглашаетъ себя *сочиненіемъ, основаннымъ на заключеніи медицинскаго совѣта* и, слѣдовательно, *правительственнымъ, народнымъ, медико-полицейскимъ*, коротко сказать, *прамати-*

Соч. Сенковск. Т. VIII.

ческимъ. Хорошо: положимъ, что ему приснилось, будто эти параграфы находятся въ заключеніи медицинскаго совѣта и что оно, основавшись на нихъ съ-просонья, сочло себя и въ самомъ дѣлѣ «прагматическимъ». По какому же поводу опять эта другая книжица, «О Иппократѣ и его ученія», названа тоже *прагматическимъ* сочиненіемъ? Она-то на какихъ прагматахъ, на какихъ государственныхъ дѣлахъ, имѣетъ честь основываться? Чѣмъ же она-то правительственная? или народная? или медико-полицейская? Это ясно, что «прагматическое сочиненіе» совершенно спуталось, съ горя: чтобы спасти свою ученость, оно представляетъ такія оправданія, которыя еще явственнѣе показываютъ, что оно употребляетъ разныя ученые слова на-обумъ, не понимая ихъ смысла. Нужны ли новыя доказательства? Вотъ и его сыночекъ, почтеннѣйшій «Опытъ», *digno patre filius dignior*, котораго и его батюшка, и всѣ батюшкины друзья, міромъ учили уму-разуму: вотъ и онъ дѣлаетъ то же самое! По его мнѣнію, *à priori* значитъ — *безотчетно*; онъ такъ и переводитъ этотъ философскій терминъ: «*A priori, то есть, безотчетно*» (стр. 11). А *библіотеки М. S!*... помните ли?

При всемъ должномъ уваженіи къ отеческимъ чувствамъ, нельзя не сказать откровенно прагматическому сочиненію, что если оно хотѣло оправдываться, то надобно было прислать, въ званіи адвоката, кого-нибудь по-умнѣе своего сына, «Опыта». Воспитаніе и рассудокъ этого грубіяна вовсе не дѣлаютъ чести его учителямъ, которыхъ, какъ кажется, было много.

Они научили его одному только—площадной брани. Въ отвѣтахъ его нѣтъ никакого толку: онъ отвѣчаетъ всегда не на тотъ вопросъ, который ему предлагаютъ, по-минутно противорѣчить самому себѣ, запутывается, и вдругъ начинаетъ шумѣть и браниться.

Его спрашиваютъ: какими судьбами «Intelligenzblatt» попалъ у васъ въ число медицинскихъ источниковъ? Вѣдь это газетныя прибавленія, и каждая нѣмецкая газета имѣетъ свой Intelligenzblatt: о какомъ же Intelligenzblatt вы говорили? — А онъ отвѣчаетъ: Ну, ужъ батюшка знаетъ, о какомъ! *Виноватъ ли я, что берлинское общество естествоиспытателей не нашло себѣ другаго журнала кромѣ прибавленій къ Лейпцигской Газетѣ»... Батюшка «составилъ исторію юмео-«патіи по мѣрѣ своихъ средствъ и источниковъ, къ «которымъ безспорно принадлежитъ и Intelligenzblatt, «самымъ подробнымъ образомъ, изъ году въ годъ, «и во многихъ націяхъ» (стр. 21).*

Прошу понять!

Ему объясняютъ, что гомеопатія *увлекла въ свою пользу мнѣнія* по-крайней-мѣрѣ трети, быть-можетъ половины, врачей-*аллопатовъ*. — А онъ кричитъ: Ложь! ложь!.... у насъ всего-на-все *практикуютъ* только три *юмеопата!*

Ему толкуютъ, что гомеопатія теперь, въ 1840 году, въ Германіи, совершенно измѣнилась и прописываетъ лекарства только во второмъ и третьемъ раздѣленіяхъ. — А онъ реветъ: Ложь! вопіющая ложь! батюшка *когда-то* разсматривалъ въ Гороховой улицѣ шесть тысячъ правительственныхъ актовъ, храня-

щихся въ гомеопатической аптекъ, и убѣдился изъ нихъ, что здѣшніе гомеопаты въ *то* время еще прописывали дециллионы частицы.

Ему говорятъ положительно, что и аллопатія и гомеопатія—обѣ лучшія!—А онъ бѣсится: Зачѣмъ вы *хвалите* гомеопатію? Вотъ, вы ее *хвалите*! А прежде говорили, что *гомеопаты* морочатъ людей, лечатъ и по другимъ системамъ, пишутъ дрянныя книжонки: какъ же можно хвалить *гомеопатію*?—И пошелъ браниться!

Подите, говорите! у него, гомеопатія и гомеопаты, это все-равно; и когда говорятъ, повторяютъ и доказываютъ въ разныхъ видахъ, что обѣ системы плохи, то это значить, что одну изъ нихъ очень хвалятъ. Онъ того не понимаетъ, что защищать гомеопатію отъ такого умнаго и совѣстливаго врага какъ его батюшка, «прагматическое сочиненіе» — есть долгъ всякаго благомыслящаго человѣка, а не похвала!

А спросите его: Зачѣмъ вы, господа, сперва не изучили науки, о которой вздумали писать книгу? зачѣмъ не познакомились хорошенько съ сущностью и духомъ гомеопатіи, прежде чѣмъ принялись бранить ее?—Тутъ онъ вамъ отвѣтитъ чудныя вещи: Что, дескать, гомеопатія!.... дрянь!.... стоить ли изучать?.... Батюшка, какъ вамъ извѣстно изъ его предисловій, видя, что гомеопатія въ большой модѣ, что всѣ желаютъ лечиться по Ганеманну, хотѣлъ самъ быть гомеопатомъ. Не удалось!... не попалъ въ модные врачи!... не было счастья. Другіе, знаете, гомеопаты, половчѣе его, много ему вредили. Батюшка ужасно на нихъ осердился! Семка тисну я, говорить, на нихъ

три смертельныя книжонки, чтобы, говорить, отнять у нихъ практику; да попробуемъ, говорить, пустить въ то же время въ ходъ нашу собственную методу леченія.... У насъ, вѣдь, знаете, есть своя! Батюшка ждетъ только, пока судьба надѣлитъ его «даромъ слова *изложить*», чтобы растолковать ее порядкомъ «своимъ любезнымъ соотчикамъ». Пойдетъ, хорошо; не пойдетъ, нужды нѣтъ: не пропадемъ! У насъ есть средства. «Батюшка, прагматическое сочиненіе», извонилъ недавно изобрѣсть совершенно новую науку, которой онъ хочетъ быть основателемъ. Онъ нарекъ ее *медицинской полемикой*, и почитаетъ за нѣчто самостоятельное. Удивительная наука!.... какъ ужъ славно по ней можно браниться!.... и я — первый, смѣю даже сказать, блистательный, опытъ его въ этой наукѣ. Онъ попалъ теперь въ свою настоящую колею! Для созданія такого дива какъ я, первый «Опытъ медицинской полемики», онъ «пожертвовалъ временемъ, здоровьемъ, трудомъ, значительными издержками и *своею личностью*, и все это въ томъ твердомъ убѣжденіи, что *полемика есть верховный и гласный литературный судья и..... вопіющая потребность Россіи!*» (стр. 19.)

Дайте же, пожалуйста, этому неучу, вашему сыну, греческій словарь! Пусть онъ изъ него узнаетъ, что *полемика* происходитъ отъ слова *полемосъ*, «брань», «война»: тогда только можетъ-быть онъ догадается, до какой степени компрометируетъ онъ васъ, своего батюшку, этимъ хвастовствомъ. Узнавъ теперь и сами происхожденіе слова «полемика», вы можете

отечески растолковать ему, что драка не судъ, война не гражданская палата, что тамъ, гдѣ дерутся и воюють—на штыкахъ или на перьяхъ, это все равное—не произносятъ приговоровъ, и что полемика, или литературное боксированіе, всегда оставляетъ синія пятна на *личности* того, кто горячится и много шумить. Она можетъ быть идоломъ однихъ только страстныхъ, мстительныхъ, задорныхъ писаекъ безъ дарованія и, слѣдовательно, съ непомѣрнымъ самолюбіемъ: умные и ученые люди не пускаются въ полемику и презирають ее, потому-что всегда могутъ заняться чѣмъ-нибудь полезнѣйшимъ. Polemica никогда не была и не будетъ верховнымъ трибуналомъ въ литературѣ. Вашъ «Опытъ» несетъ такую околесицу единственно оттого, что, по примѣру вашему, никогда не понимаетъ значенія употребляемыхъ словъ. На страницѣ 38, онъ заговорилъ даже о какихъ-то «*климактерическихъ* болѣзняхъ». *Климактерическія болѣзни!!?*.... Видно, что онъ учился медицинѣ у своего батюшки!

Можно судить объ его удивительномъ толкѣ по одному уже тому, какъ онъ одолжилъ своего почтеннаго родителя на страницѣ 12. Батюшка, «пожертвовавъ временемъ, здоровьемъ, трудомъ, значительными издержками и даже личностью» на его воспитаніе для своихъ цѣлей, нарочно послалъ его—защищать себя противъ критики и, при сей вѣрной окказіи, порекомендовать читателямъ его собственный способъ врачеванія, знаменитую динамико-симметрическо-антагонистическую методу. Сыночекъ, разгорячившись, вдругъ разругалъ *специфическое* леченіе: да и какъ

разругалъ!... А динамико-симметрическо-антагонистическая метода батюшки основана именно на *специфическомъ* дѣйствиі лекарствъ! Это положительно сказано и въ «прагматическомъ сочиненіи», и у «Опыта» на страницѣ 31. Просто, зарѣзалъ!

Это однакожъ ни мало не привело въ замѣшательство ни отца ни сына, благодаря отвагѣ, которыми надѣлила ихъ судьба въ ожиданіи «дара слова *изложить*». Значительная часть книжицы занята днeirамбомъ въ честь этой методѣ и картиною чудесныхъ излеченій, произведенныхъ по ней изобрѣтателемъ. Полемика кончена, гомеопатія истреблена, поприще очищено: «прагматическое сочиненіе» выносить на площадь свою динамико-симметрическо-антагонистическую методу леченія, и само выступаетъ на сцену какъ основатель новой медицинской теоріи, какъ начальникъ рождающейся врачебной школы. Оно будетъ ея Иппократомъ! Хотя по этой методѣ, какъ видно изъ картины ея чудесныхъ дѣствий, можно лечить съ успѣхомъ однихъ только NN., однакожъ это нисколько не уменьшаетъ ея важности для человѣчества: NN тѣ же люди, или около того, и мы должны встрѣтить съ почтеніемъ вѣрный и испытанный способъ возстановливать ихъ драгоцѣнное здоровье. Дорогу новому Иппократу!

Старый Иппократъ говорить:

«Castam et ab omni scelere puram, tum vitam, tum artem meam, perpetuo praestabo».

HIPPOCRATIS JUSJURANDUM.

Новый Иппократъ говоритъ:

«Дай Богъ, чтобы это предсказаніе сбылось (чтобы гомеопаты написали такую же подробную исторію моей жизни, какую я сообщилъ о Ганеманнѣ), и чтобы они почерпнули свѣденія для исторіи моей жизни и моихъ поступковъ изъ такой же книги *безсмертія*, то есть, изъ «Конверсаціонсъ-Лексикона», изъ которой я почерпнулъ самое главнѣйшее о Ганеманнѣ, и гдѣ находится и *жизнеописаніе* безсмертнаго Иппократа, *идеала* *всѣхъ моихъ поступковъ и дѣлъ*. О! еслибъ это когда-либо осуществилось!»

МОЛИТВА ПРАГМАТИЧЕСКАГО СОЧИНЕНІЯ (*Опытъ*, стр. 25 и 26).

У всякаго свой вкусъ: одному Иппократу хочется сохранить навсегда какъ жизнь свою, такъ и искусство добродѣтельными и чистыми отъ всякаго пятна; другому, который изподтишка пользуется чужими трудами, выдумываетъ исторію о небывалыхъ перевѣдахъ и основываетъ науку «брани» (полемику), хочется попасть въ «Конверсаціонсъ-Лексиконъ», во что бы ни стало, хоть-бы даже подъ знаменемъ такой лестной біографіи, какова Ганеманнова въ «прагматическомъ сочиненіи». *O cives, cives, quærenda pecunia primum est, virtus post nummos! Rem facias, rem; si possis, recte, si non, quocunque modo: rem!*

Но эта молитва ясно показываетъ, что почтеннѣйшее «прагматическое сочиненіе» не-шутя мѣтитъ въ Иппократы! Посмотримъ его новое ученіе.

Какой-то русскій врачъ, *на тридцатомъ году своей военно-походной и гражданской госпитальной и частной практики* (стр. 28 и 29), предлагаетъ намъ новый свой, особый, или частный, способъ леченія, который онъ составилъ для себя изъ множества

различныхъ медицинскихъ способовъ врачеванія. Составилъ же онъ этотъ способъ во время 1812—1815 годовъ. Къ составленію же онаго своего, особаго, или частнаго способа леченія онъ былъ наведенъ, не теоретическими мечтаніями, но однимъ чистымъ опытомъ и счастливымъ соображеніемъ всѣхъ тѣхъ медицинскихъ случаевъ, которые ему удалось видѣть, наблюдать и лечить. Его особый или частный способъ леченія есть плодъ самыхъ великихъ и поучительныхъ обстоятельствъ и неизбѣжной потребности.... Это и есть тридцати-лѣтній (?) особый способъ леченія. Кажется, что между двумя Иппократами есть маленькая разница въ скромности. Ни Непиръ, изобрѣтя логариѳмы, ни Ньютонъ, открывъ величайшій изъ законовъ природы, не говорили о себѣ такъ напыщенно, какъ изобрѣтатель своего, особаго или частнаго способа леченія. Великій Ньютонъ говорилъ о себѣ: «Я собралъ, какъ ребенокъ, нѣсколько раковинокъ на берегу морскомъ, и оставилъ неизвѣданнымъ цѣлый океанъ передъ собою!» Великій прагматикъ говорить о себѣ совсѣмъ другое. Иппократъ, Галилей, Беконъ, Кеплеръ, Ньютонъ, Лапласъ, Деви, всѣ геніяльные умы, сознавались въ томъ, что ихъ мысли могутъ заключать въ себѣ ошибки. «Прагматическое сочиненіе» выше всего этого: оно непогрѣшимо какъ Анвальдова панацея!

Новый его, частный или особый, способъ называется, какъ вы знаете, *динамико-симметрическимъ* или *антагонистико-симметрическимъ*. Онъ основывается на слѣдующемъ:

Каждая изъ болѣзней (стр. 37) *производитъ сво-*

его рода специфическое поражение, исключительно той или другой части, органов или системам свойственное или натурою предназначенное, которое нарушает динамическую симметрію между ними (или здоровье) и порождаетъ болѣзнь, не проходящую радикально дотолъ, пока не возстановится натурою, или посредствомъ рациональнаго леченія, потерянная динамическая симметрія тѣла (или здоровье) между больною и между противоположною ей частию, органомъ или системою. Причина этого та, что для сохраненія устройства и гармоніи (то есть, здоровья) между разносвойственными частями, органами и системами тѣла, дана составнымъ его частямъ свыше вдохновенная динамія или жизненная сила, и каждому (?) изъ нихъ (?) назначена особая ея часть, сила и симметрическое ея состояніе, и доколѣ эта динамическая симметрія сохраняетъ въ организмѣ законную правильность (здоровье), дотолѣ человекъ здоровъ и наоборотъ.

Что-то очень мудреное! Надобно разложить столь высокое ученіе на основныя его части. Оно состоитъ изъ слѣдующихъ четырехъ блистательныхъ положеній:

1. Каждая изъ болѣзней производитъ специфическое поражение какой-нибудь части тѣла. Это поражение нарушаетъ здоровье и порождаетъ болѣзнь. Слѣдовательно, болѣзнь, производя поражение, нарушаетъ здоровье и производитъ болѣзнь. Какое глубокомысліе.

2. Болѣзнь не проходитъ дотолъ, пока не возстановится здоровье. Какая вѣковая истина!

3. Составнымъ частямъ тѣла дана свыше вдо-

жизненная динамія, или жизненная сила, и каждому (?) изъ нихъ (?) назначена особая ея сила. Какое свѣтлое открытіе!

4. *Доколь здоровье сохраняетъ въ организмъ законную правильность, дотоль человекъ здоровъ. Какъ это просто!.... и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ вѣрно!*

Иппократъ, Сталь, Сайднемъ, Бургааве, Браунъ — просто ученики подлѣ «прагматическаго сочиненія»! Никто еще не открывалъ въ человѣческой природѣ такихъ великихъ истинъ! И на нихъ-то, какъ на непоколебимыхъ столбахъ, опирается весь золотой чертогъ новаго, своего особаго, или частнаго, способа леченія. По этому ученію, при леченіи, должно дѣйствовать лекарствами, не на больной органъ, а на тѣ органы, которые находятся въ симпатическомъ, или антагонистическомъ, къ нему отношеніи. На этомъ основаніи, при *болѣзняхъ желудка* оно назначаетъ лекарства, *дѣйствующія на толстыя кишки* (наблюденіе 1), *хроническое воспаленіе крови въ артеріяхъ (?)* онъ истребляетъ, *отвлекая наклонность (!) къ накопленіямъ крови изъ артерій въ вены* (наб. 2), *болѣзненное состояніе нервовъ движенія* онъ лечитъ, *производя возвышенное (?) болѣзненное чувство въ самомъ мозгѣ* (наб. 3), *болѣзни легкаго* онъ исцѣляетъ лекарствами, *дѣйствующими на мочевые пути и на охлажденіе (?) крови* (наб. 4), *болѣзни суставовъ, костей и легкихъ, возстановленіемъ въ тѣлѣ динамической симметріи черезъ возбужденіе жизнедѣятельности въ кождѣ* (наб. 5), *болѣзни сердца и груди* средствами, *специфически дѣйствующими* (а сынокъ-то что ска-

залъ о специфическомъ леченіи?... Забыли ль вы, какъ онъ его отдѣлалъ ?) *специфически дѣйствующими на однѣ толстыя кишки и мочевые пути* (наб. 6); болѣзни глазъ (наб. 7), головы (наб. 8), нервическія боли нижнихъ конечностей (наб. 8), *антагонистическимъ раздраженіемъ на шкрахъ ногъ и въ толстыхъ кишкахъ*, боль лица лекарствами, *дѣйствующими на толстыя кишки, печень, и отведеніемъ крови отъ тѣхъ жилъ, которыя сопровождаютъ и раздражаютъ больные нервы лица* (наб. 11), и такъ далѣе.

Разумѣется, что изобрѣтатель новаго *своего*, особаго, или частнаго, тридцати-лѣтняго способа леченія самъ изобрѣлъ его! Онъ вездѣ и приписываетъ себѣ честь изобрѣтенія, хочетъ обратить на него вниманіе врачей; требуетъ для него *ближайшаго критическаго наблюденія и изслѣдованія врачей*, и боится...да!... рѣшительно боится, чтобы знаменитый Шёнлейнъ, *magnus ille Apollo*, не покорыстовался его геніяльнымъ изобрѣтеніемъ (стр. 32 и 37).

Странно, однако жъ! Мнѣ кажется, что тутъ есть маленькая ошибка—хотя я знаю, что прагматическое сочиненіе выше этихъ изъяновъ слабой человѣческой природы. Я сказалъ вамъ съ самаго начала, что я не врачъ. Какъ мыло Саадія, которое, когда его спросили—не роза ли оно? отчего оно такъ пахнетъ розою?—скромно отвѣчало, что оно вовсе не роза, а только долго лежало подлѣ розы, такъ и я о себѣ могу сказать, что я вовсе не медикъ, и если отъ меня крѣпко несеть медициною, запахомъ, признаться, немножко различнымъ отъ розоваго, такъ это единственно

потому, что я долго лежалъ подлѣ медицинскихъ книгъ. Я не какое-нибудь прагматическое сочиненіе, и могу ошибаться. Поэтому я опять обращаюсь къ вамъ, *savantissimi doctores, medicinae professores*; не помните ли вы.... вы, которые читаете все, что каждому врачу читать надлежитъ!..... не помните ли вы, въ исторіи вашего искусства, чего-то какъ двѣ капли воды сходнаго съ этою новою, особою, частною, или тридцатп-лѣтнею методою леченія?.... Мнѣ кажется, что если бы ея изобрѣтатель, гдѣ-нибудь и когда-нибудь встрѣтился случайно съ медициной и полежалъ хоть съ часъ подлѣ нея, то, къ великому удивленію своему, онъ бы увидѣлъ, что онъ изобрѣлъ порохъ, котораго, ужъ конечно, не изобрѣсть ему!.... (потому-что порохъ изобрѣтенъ давнымъ-давно). Мнѣ кажется, что ему стоитъ только заглянуть въ любой курсъ общей терапіи, чтобы посмѣяться надъ самимъ собою и разувѣриться въ своей изобрѣтательности. Ученіе объ отвлеченіи изъ ближайшихъ и изъ отдаленныхъ органовъ, *derivatio et revulsio*, такъ же старо какъ искусство похищать старые ученые труды и мысли и, переимѣнивъ заглавіе, выдавать ихъ за новыя. Еще Галенъ излагалъ правила, какъ производить отвлеченіе, и у него найдете пути динамичесимметрическаго леченія. Отъ начала медицины донынѣ врачи обращали вниманіе на связь и отношенія частей тѣла между собою. Цельсъ ставилъ это въ число медицинскихъ правилъ. Oeder собралъ все, что до него было извѣстно *de derivatione ac revulsione*, привелъ въ систему и издалъ, подъ этимъ заглавіемъ,

въ 1749 году. Впослѣдствіи Watts, Vogel, Timmermann, Willis, de Neufville, и многіе другіе, которыхъ вы лучше моего знаете, развивали ученіе о симпатическихъ и антагонистическихъ отношеніяхъ органовъ между собою. Вольно же «прагматическому сочиненію» подмѣнить слово *симпатическій* смѣшнымъ терминомъ *симметрический* и давно извѣстное выдавать за плодъ своихъ «счастливыхъ соображеній!» Блаженны невѣдующіе; но и ничего не знать порядочно по своей части имѣть тоже свои неудобства: какъ-разъ сдѣлаешься посмѣшищемъ всѣхъ своихъ товарищей! А хуже всего то, что и мы, профаны, станемъ смѣяться во все горло надъ посвященнымъ, вмѣстѣ съ его товарищами!

Что касается до фізіологической теоріи, которую авторъ объясняетъ происхожденіе болѣзней, то она несказаннымъ образомъ забавна при нынѣшнемъ состояніи наукъ. Болѣзнь есть измѣненіе *законной правильности динамической симметріи въ частяхъ тѣла*: чего нѣтъ въ этихъ немногихъ словахъ! И отсутствіе логики: *измѣненіе правильности симметріи вдохновенной динаміи*! И іатроматематическое ученіе о равновѣсіи въ тѣлѣ силъ и соковъ, ученіе, которое бы сдѣлало честь любому раввину Гамбергеровой синагоги. И *вдохновенная динамія*: въ этой «вдохновенной динаміи», которой, признаемся откровенно, ни изобрѣтатель ни я не понимаемъ не только существа, но даже и названія, есть просторъ для всѣхъ бредней, старыхъ и новыхъ; тутъ удобно помѣстятся и архей, и раздражительность, и пневма, и сжимае-

мость фибры, и душа природы, и жизненность, и останется еще довольно мѣста для всѣхъ будущихъ старыхъ выдумокъ «прагматическаго сочиненія». Во всемъ этомъ одно только нахожу я совершенно новое и исключительно принадлежащее генію «прагматическаго сочиненія»: это — названіе метода, *динамико-симметрическаго*, то есть совокупленіе въ одинъ терминъ двухъ словъ безъ всякаго положительнаго смысла, или—двѣ бессмыслицы въ одномъ словѣ. Одно только «прагматическое сочиненіе» и умѣетъ изобрѣтать такіа богатая слова!

Болѣе всего, однакожъ, замѣчательны въ новомъ, особомъ, частномъ, или тридцати-лѣтнемъ *динамико-симметрическомъ* способѣ леченія тотъ гордый видъ самоувѣренности и то сознаніе своей важности, съ какими онъ выходитъ на сцену ученаго свѣта. Нельзя не видѣть, что то и другое опираются на дознанную *успѣшность* способа; на то, что онъ помогаетъ тамъ, гдѣ *ничего не было упущено и употреблено было множество лекарствъ, но все безъ успѣха* (наб. 1.), гдѣ больные были *уже при смерти* (наб. 4.), на *краю гроба* (наб. 5 и 6.), гдѣ *ничто не помогало* (наб. 7.), гдѣ *всѣ жизненныя отправления больнаго разстроились* (наб. 9.), гдѣ больной былъ *лечимъ, втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ, первыми врачами въ столицѣ, но безуспѣшно* (наб. 10.), гдѣ больная не получала *облегченія отъ первыхъ врачей въ Парижѣ, Италіи, Эмсѣ, Москвѣ, Петербургѣ и болѣзнь угрожала опасностью жизни* (наб. 11), и такъ далѣе. Надобно знать, что динамико-симметрическая

метода — о чудеса! — приходи сюда, Иппократъ, и поучись у твоего преемника, который уже назначилъ себѣ мѣсто вѣчнаго упокоенія подлѣ тебя, въ нѣмецкомъ «Конверсаціонсъ-Лексиконѣ»! — *успѣшно излечаетъ въ короткое время пятнадцатилѣтнюю ревмату (наб. 1.), изнурительный кашель (наб. 3.), чахотку (наб. 4. 5. и 12.) и хроническое воспаленіе крови въ артеріяхъ: слышали ль вы про такую болѣзнь со времени открытія кровообращенія?.... хроническое воспаленіе крови въ артеріяхъ? (наб. 2.)... кровь, изволите видѣть, стояла неподвижно въ артеріяхъ въ продолженіи многихъ годовъ и пылала: ужь это болѣзнь такого рода, что ее надобно ЗАЛИТЬ ЛЕКАРСТВАМИ!* (извѣстный афоризмъ динамико-симметрической методы).... Но это еще не все: та же метода успѣшно излечаетъ въ короткое время *изнурительную лихорадку (наб. 5.), кистовидицу правой ключицы и грудной кости (наб. 5.), болѣзни сердца и грудную водяную (наб. 6.), разные виды бѣлей (наб. 6—11.), и тому подобныя счастливыя леченія: авторъ мой бы привести ихъ многу. Эта метода плодъ самыхъ великихъ и поучительныхъ обстоятельствъ и неизбѣжной потребности, основанная на тридцати-лѣтней опытности и счастливыхъ ея послѣдствіяхъ* (стр. 29). Эта метода составлена не изъ какихъ-нибудь теоретическихъ мечтаній, а изъ счастливаго соображенія всѣхъ медицинскихъ случаевъ. Эта метода, тѣмъ же счастливымъ соображеніемъ, изобрѣтена самимъ ея изобрѣтателемъ изъ множества различныхъ способовъ врачеванія. Коротко

сказать, это, свой особый, или частный, тридцатилетний способ леченія (стр. 30), который, того и гляди, похититъ у насъ на-дняхъ великій Шёнлейнъ (стр. 32).

Странная вещь: какъ иногда бываютъ сходны слова, мысли и ихъ направленіе у людей, отдѣленныхъ другъ отъ друга столѣтіями! Казалось бы, и я самъ сначала такъ думалъ, что если во всемъ новомъ изобрѣтеніи «прагматическаго сочиненія» не изобрѣтено ничего новаго, то по-крайней-мѣрѣ эта рекомендація его чудесныхъ свойствъ должна быть оригинальнымъ и неотъемлемымъ плодомъ смѣлости и отваги «прагматическаго сочиненія». Ничего не бывало! Однажды, лежа по-обыкновенію подлѣ медицины, беру на-удачу нѣсколько старинныхъ книжонокъ — гляжу! — что это?... да вѣдь точно такимъ образомъ говорили нѣкогда о себѣ и о чудесахъ своихъ изобрѣтеній многіе смѣлые и отважные мужи, которыхъ имена тоже внесены въ книгу *безсмертія*, въ «Конверсационсъ-Лексиконъ! Извѣстный Георгъ Анвальдъ, лиценціатъ правъ, впоследствии практикъ и изобрѣтатель знаменитой на-нации anwaldina, которая сводила съ ума Европу въ концѣ XV и началѣ XVI столѣтія, былъ призванъ на экзаменъ передъ аугсбургскимъ медицинскимъ факультетомъ: и не такъ ли изъяснялся онъ?... «Ich achte euch nicht würdig, dass ihr mich examiniren sollt. Ich habe dennoch dergleichen Krankheiten curiret, die ihr sammt und sonders nicht curiren konnt, Schlag, Paralysin, Wassersucht, allerlei Podagram und andere mehr, wie auch das Vergicht und rech-

ten Wehetag». (Breslauer Sammlung, 1718, Februar.) Не такъ ли печатаѣ о себѣ одинъ странствующій эскулапъ въ концѣ прошедшаго столѣтія. «In Roussel-Court..... ist kürzlich ein Wundarzt gekommen, welcher die Wundarznei und andre Arzneikunst diese 24 Jahre lang, beides zu Wasser, als Lande, getrieben hat. Er curirt die Gelbsucht, die Bleichsucht, den Scharbock, die Wassersucht, verderbten Magen, Lange Seereisen, Feldzüge und das Missgebahnen der Weiber, das Wochenbette und so weiter, glücklich, wie verschiedene Leute, welche dreissig Jahre her lahm gewesen sind, bezeugen können; — kurz, er heilt alle Krankheit, welche Manns- und Weibspersonen oder Kinder befallen.» (Unzer, der Arzt, 214 St. p. 77. edit. 1769.) Какое удивительное сходство! Разница между этимъ языкомъ и языкомъ «прагматическаго сочиненія» и его почтеннаго потомства состоитъ только въ томъ, что ни Анвальдъ, ни этотъ странствующій эскулапъ, не увѣряли въ то же самое время публики, будто они избрали Иппократа *идеаломъ всѣхъ своихъ дѣйствій* (см. молитву, въ Опытѣ) и во всю жизнь *слѣдуютъ* примѣрамъ великихъ людей, свѣтилъ и украшеній науки, которыхъ *нравственность составляетъ предметъ ихъ ежедневнаго размышленія и возбуждаетъ въ нихъ усерднѣйшее желаніе достигнуть возможности, хотя нѣсколько приблизиться къ нимъ въ этомъ отношеніи* (см. О Иппократѣ, параграфъ 19.)

Я совершенно вѣрю желанію «прагматическаго сочиненія», хоть нѣсколько къ нимъ приблизиться несмо-

тря на то, что оно ѣдетъ въ противоположную сторону, но не могу не замѣтить, что одинъ изъ этихъ великихъ людей, именно Бургааве, не только не бранился, когда ему доказывали, что онъ ошибается, но еще благодарилъ всякаго, кто открывалъ ему то, что онъ, Бургааве, будучи ученѣйшимъ человекомъ своего времени, называлъ своимъ невѣжествомъ. Удивительная проницательность давала ему тысячи средствъ мѣтко открывать причины скрытой болѣзни; между тѣмъ, по свидѣтельству лучшаго его біографа, Мати, онъ очень часто признавался больному, что вовсе не понимаетъ его болѣзни. De Haen, van Doeveren, van Swieten, Morgagni, Tralles, поставляли себѣ честью скромно сознаваться въ своихъ ошибкахъ, и приводили ихъ въ своихъ сочиненіяхъ. Какую пользу думаетъ «прагматическое сочиненіе» принести наукѣ, себѣ и читателямъ, самонадѣянною, бранной и въ высочайшей степени неприличною книжицей, въ которой, подъ именемъ *особаго и частнаго или тридцати-лѣтняго способа леченія*, оно выхваляетъ само себя и своего автора, приводя мнимые блистательные случаи исцѣленія болѣзней, признанныхъ всѣми за неизлечимыя?

Оно, не запинаясь, вылечиваетъ въ короткое время изнурительныя лихорадки и чахотки, даже такія, гдѣ *изъ лежищъ извергалось ежедневно по нѣсколько глубокихъ тарелокъ мокроты самаго злокачественнаго свойства* (наб. 12).

Оно легко уничтожаетъ болѣзни сердца и трудную водянку (набл. 6).

Оно лечитъ множество другихъ болѣзней, въ ко-

торыхъ лучшіе практики Москвы, Эмса, Парижа, Италіи и нашей столицы, ничего не могли помочь!

Но чѣмъ лечитъ оно? На это наложена печать глубокаго, торжественнаго молчанія: а между-тѣмъ изобрѣтатель методы хочетъ, чтобъ мы ему вѣрили на слово! Чтò толку въ этихъ коротенькихъ исторіяхъ болѣзней NN., гдѣ болѣе говорится о докторѣ чѣмъ о больномъ? Кто повѣрялъ эти рассказы? Кто наблюдалъ признаки этихъ болѣзней? Изъ чего состояли рецепты и какое имѣли они дѣйствіе? Никто этого не знаетъ. Да и кто станетъ вѣрить наблюденіямъ и описаніямъ врача, который не знаетъ различія между *satyriasmus* и *satyriasis*, не понимаетъ даже значенія буквъ MSS., *à priori* переводить — *безотчетно*, и поминутно доказываетъ однимъ уже ложнымъ употребленіемъ ученыхъ терминовъ, что онъ не свѣдущъ по своей части, чуждъ латинскаго языка и не обладаетъ даже тѣми общими свѣденіями въ наукахъ, которыя нынче сдѣлались необходимыми для всякаго? Читая врачебныя наблюденія, помѣщенныя въ «Опытъ медицинской полемики», невольно вспоминаешь анекдотъ Бальдингера о томъ, какъ одинъ эскулапъ переважно говорить больному: «Только бы прошли *dolores*, а ужъ съ болями-то мы сладимъ»! *Neuratis periodica* этихъ наблюденій (наб. 9) удивительно напоминаетъ другой анекдотъ; но теперь здѣсь нѣтъ для него мѣста.

Такъ вотъ развязка *тридцати-лѣтней* *походной и гражданской и госпитальной и частной* практики, *счастливыхъ* *соображеній* *всѣхъ* *медицинскихъ* *слу-*

чаевъ и великихъ поучительныхъ событій! Parturient montes, nascitur ridiculus mus.

Напрасно «прагматическое сочиненіе» хвастаетъ похвальными письмами и статейками, которыя оно получило. Эти документы не имѣютъ никакой цѣльности въ наукахъ. Извѣстно, какъ они получаются; и люди, похвалами, часто *отдѣлываются* отъ людей и книгъ, а не хвалятъ ихъ. Люди часто также и ошибаются. Тиссерану, который теперь въ «Конверсационсъ-Лексиконѣ» носить титулъ «медицинскаго шарлатана», люди въ прошломъ столѣтіи выходили на встрѣчу цѣлыми городами; власти окружали жилище его почетными караулами; богословы спорили о томъ, сколько дать ему *gratiae gratis datae*, газеты и журналы прославляли его ученость и искусство: и каковъ былъ конецъ его?... Ни Гейнродъ, ни Симонъ-Младшій, ни Лейпцигское Медицинское Общество, не знаютъ по-русски, не читали и не будутъ читать прагматическихъ сочиненій: какой же авторитетъ могутъ имѣть для насъ ихъ письменные отзывы, основанные на одной только учтивости къ иностранцу? Мы желали бы знать, напротивъ, что сказалъ бы Гейнродъ Симону-Младшему, если бы онъ прочелъ нѣсколько страницъ прагматической книги, или такіа наприимѣръ медицинскія наблюденія въ «Опытѣ»:

НАБЛЮДЕНІЕ ВТОРОЕ. *Чиковникъ NN. страдалъ хроническимъ воспаленіемъ волосныхъ артерій, въ видѣ остраго ревматизма, который четыре года, лишилъ его спокойствія и наконецъ всякой возможности сдѣлать какое-либо движеніе руками и ногами. При*

осмотръ больного нашлось, что болѣзнь его заключается въ хроническомъ воспаленіи крови въ артеріяхъ. Mein Gott! mein Gott! вскричалъ бы этотъ Нѣмецъ: въ какомъ ужасномъ положеніи медицина должна быть въ Россіи! Да вѣдь тамъ не дошли еще до кровообращенія! Что это за небывалая болѣзнь, *воспаленіе крови въ артеріяхъ?* Гдѣ жъ у нихъ остается логика, когда они изобрѣтаютъ такія вещи? Принять кровь за органъ болѣзни, и именно кровь въ артеріяхъ! Какъ-будто для артерій существуетъ особенная кровь; какъ-будто кровь въ человѣкѣ раздѣлена на части и эти части прикованы къ извѣстнымъ сосудамъ и органамъ; какъ-будто кровь всею своей массою не течетъ непрерывно по всему тѣлу; какъ-будто каждая частица крови, вышедши изъ сердца, не пробѣгаетъ съ быстротой молніи полного круга, изъ одного органа въ другой, изъ артерій въ вены, и черезъ полминуты не возвращается опять въ сердце? И гдѣ было это *воспаленіе крови въ артеріяхъ*, въ отдѣльныхъ ли органахъ, или въ цѣломъ тѣлѣ? Что за болѣзнь хроническое *воспаленіе въ видѣ остраго ревматизма?* Это оглушаетъ самый нечувствительный слухъ и можетъ быть поставлено въ одну категорію съ учеными отвѣтами Іоанна-Андрея-Стефана Фелоци, практиковавшаго въ прошедшемъ столѣтіи въ Венгріи. Его спросили въ медицинскомъ совѣтѣ: «Ist auch das Blut im menschlichen Körper und wo hält sich selbiges auf»? А онъ отвѣчалъ: — «Ja, in der Gegend vom Magen und circa praecordia». — «Läuft das Blut auch herum»? — «Ja, wenn der

Mensch lustig ist, läuft selbiges herum, wenn er aber verschreckt und zornig ist, cessirt solches». (*Prüfungsprotokol des Herrn Dr. Feloxi* въ Бальдингеровомъ N. M. für Aerzte).

Между-тѣмъ, отъ этихъ мнѳологическихъ болѣзней больной, *потерявъ, втеченіи двадцати-одного дня, девять чашекъ крови и принимая одну простую маннезію, въ мѣсяцъ совершенно выздоровѣлъ*. *Credat Judaeus Apella, non ego!*

НАБЛЮДЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ. NN, *страдалъ чахоткою, развившеюся вслѣдствіе жестокаго и многократнаго кровохарканія и воспаления легкихъ, отъ которой, въ ноябрь 1826 года, былъ уже при смерти. Я далъ ему лекарства, дѣйствующія на мочевые пути и на охлажденіе крови (?)*, которую старался отвлекать отъ легкихъ къ периферіи тѣла *черезъ повторенныя общія и частныя кровопусканія (?)*. Больной, разумѣется, выздоровѣлъ, и намъ извѣстно нѣчто очень сходное съ этимъ наблюденіемъ: подробности описанія и метода леченія совершенно одинаковы; только, нидеррейскій эскулапъ 1788 года точнѣе прагматическаго писателя, хотя и не говорить, что у больного его была чахотка. Мы приведемъ это наблюденіе съ дипломатическою точностію, для сличенія. Dieser Kranke hat das seitens Stegen bekommen, der Pulss war ganss voll und hart, die Stige waren sehr stark, er schbie auch etwas Blut, so habe ich ihm drei mahl zur Ater gelassen, bis sich die Stige verlohren haben und der Pulss Weiger und milder Geworden ist, darnach hab ich die Laxsirente Mixtur

zur Hand genommen um ihm, damit die Ersten wege zu reinigen, auch hab ich ihm das beiständige Trinken von Gersten Wasser anrekmandirt... die schbanische Pfligen, die ich an die Waden gelegt habe, szin recht gut zu ziehen». У нашего наблюдателя почти тѣ же и лекарства; даже и антагонистическое раздраженіе на икрахъ ногъ (шб. 7 и 8).

Наблюденіе первое. При *алтмадцати-лѣтней* *рвотѣ*, на основаніи своего *динамико-симметрическаго* *способа леченія*, изобрѣтатель *оставилъ желудокъ* *больной въ спокойствіи*, и *далъ ей лекарство, дѣйствующее специфически на толстыя кишки*. Какъ же! это очевидно! больная непременно выздоровѣетъ, если данное лекарство найдетъ себѣ путь въ толстыя кишки мимо желудка, чтобы не раздражать его болѣе, и, понавши въ нихъ, по будетъ на него дѣйствовать! Не на такомъ ли разсчетѣ основывался одинъ, нѣкогда извѣстный, эскулапъ? Больной его былъ раненъ дробью въ голову; призванный на помощь цирюльникъ совѣтовалъ вынуть дробини изъ костей и покрововъ головы. «Нѣтъ, отвѣчалъ докторъ: это произведетъ сильную боль и раздраженіе въ части и безъ-того раздраженной; лучше положить ему на всю рану шпанскую мушку: она притянетъ къ себѣ дробь». (Baldinger's N. M. f. Aerzte, XV).

Но к чему продолжать этотъ разборъ? Другое дѣло, еслибъ мы могли этимъ возратить прошедшее и загладить стыдъ, нанесенный нашей медицинѣ и литературѣ «прагматическими сочиненіями» и ихъ «*Опытами медицинской политики*». Для этого всѣ мы общими

силами написали бы, вмѣсто искушительной жертвы, цѣлыя сотни фоліантовъ. Но стыдъ нанесенъ, книжица напечатана и разошлась уже далеко: остается — молить Бога, чтобы Нѣмцамъ никогда не приходила мысль учиться по-русски.

Странное дѣло! *тридцати-лѣтней военной походной и гражданской юпитальной и частной практики* недостаточно было «прагматическому сочиненію», чтобы удостовѣриться, что въ медицинѣ составляетъ честь — чувствовать и сознаваться, что мы многого не понимаемъ! Великій Сайднемъ, когда его спросили, почему онъ ничего не писалъ о болѣзняхъ головы, отвѣчалъ: «Я не понимаю ихъ». *Самыхъ великихъ и поучительныхъ обстоятельствъ и неизбѣжной потребности* недостаточно было «прагматическому сочиненію», чтобы понять, что для больныхъ гораздо полезнѣе, если врачъ, вмѣсто тридцати-лѣтнихъ трудовъ надъ изобрѣтеніемъ давно изобрѣтеннаго, посвятить хоть два года иппократической жизни своей тому, чтобы познакомиться съ первыми основаніями своей науки! Кто чуждъ ихъ при выходѣ своемъ изъ академіи, пусть лечитъ по «Практическимъ руководствамъ медицины»: они съ этою цѣлію и написаны. Прекрасно называлъ Лютеръ свой катихизисъ: «*Kleiner Katechismus für einfältige Prediger und Pfarrerherrn!*»

Не въ учтивостяхъ отвѣтныхъ писемъ на посланные ученымъ лицамъ и сословіямъ экземпляры своей книги, не въ этихъ условныхъ комплиментахъ, которые, къ сожалѣнію, одинаково расточаются и передъ истиннымъ дарованіемъ и передъ докучливымъ ничтоже-

ствомъ, должно искать настоящей оцѣнки своихъ ученыхъ подвиговъ. Есть тысячи другихъ средствъ узнать подлинное о себѣ мнѣніе тѣхъ, которые, если ихъ попросите черезъ добрыхъ друзей, пришлютъ вамъ двѣ дюжины дипломовъ, а между-тѣмъ думаютъ не очень лестно о вашихъ ученыхъ заслугахъ. На свѣтѣ, какъ въ алгебрѣ, все узнается, если не прямо, то черезъ сближеніе. Напримѣръ Нѣмцы, въ Германіи, не знаютъ русскаго языка и не читали «прагматическаго сочиненія»: я однакожъ берусь показать вамъ съ математическою вѣрностью все, что они думаютъ о «прагматическомъ сочиненіи».

Similis simili gaudet. Это аксіома житейской алгебры, столь же вѣрная какъ то, что въ прямоугольномъ четырехугольникѣ каждые два противоположные бедра совершенно равны между-собою. Если А находитъ, что В ровно такой же великій человекъ какъ самъ онъ, А, и чистосердечно ему удивляется, тогда то, что люди думаютъ про себя о великомъ человекѣ В, необходимо примѣняется во всей точности и къ великому человеку А. Приложимъ эту теорему къ данному случаю.

Требуется знать настоящее мнѣніе ученыхъ германскихъ Нѣмцевъ о «прагматическомъ сочиненіи», котораго они не читали и читать не станутъ.— «Прагматическое сочиненіе» чистосердечно удивляется твореніямъ доктора *Miraboux* *: оно признаетъ ихъ *прекрасны-*

* Такъ называетъ С. доктора Штюмера, который писалъ къ нему, что онъ — «jetzt für die Heilkunde dasselbe ist, was *Miraboux* (то-есть *Mirabò*) und *Luther*, zu ihrer Zeit, in politischen und geistlichen Reformen waren». Изд.

ми, превосходными, и отъ души радуется, что встрѣтилось съ ними въ мысляхъ. Это фактъ, засвидѣтельствованный «Опытомъ», законнымъ сыномъ «прагматическаго сочиненія», несмотря что у «Опыта» было много отцовъ. Достойный батюшка его, послѣ самаго тщательнаго сличенія, *убѣдился*, увѣренъ и положительно всѣхъ увѣряетъ, что геній доктора Miraboux совершенно равенъ его генію, и обратно: онъ даже называетъ его своимъ *предтечею* (Опытъ, стр. 22). А потому, если мы откроемъ настоящее мнѣніе ученыхъ германскихъ Нѣмцевъ о твореніяхъ геніальнаго доктора Miraboux, то будемъ знать и настоящее ихъ мнѣніе о «прагматическомъ сочиненіи», котораго они не читали и читать не станутъ.

Вотъ «Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin», изданіе весьма уважаемое въ ученомъ свѣтѣ (1841, N^o II). Статья извѣстнаго ученаго Нѣмца, доктора Блумрёдера, о *прекрасныхъ* и *превосходныхъ* твореніяхъ доктора Miraboux вообще, и о послѣднемъ его *прекрасномъ* и *превосходномъ* твореніи въ особенности (стр. 264). Заглавіе этого творенія выписано въ началѣ предлагающей статьи.

‘ «Es ist eine der ärgerlichsten Aufgaben, die es geben mag, über eine Schrift berichten zu sollen, welche nichts ist, als ein *bunt zusammengewürfeltes Untereinander hundertmal gesagter, und doch nichts sagender, breit und leer getretener Trivialitäten, allgemeinsten und vagsten Hin- und Herredens, schwindlicher, ebenso unnöthiger wie unnützer Planmachereien und confuser Collectanea* der ungehörigsten Gemein-sprüche aus allen erdenklichen Schriftstellern und Zeitungs-

schreibern citirt, hier und da mit *fehlerhaft geschriebenen lateinischen Brocken*, wie *Kraut und Rüben durch einander geworfen*. (*Similis simili gaudet*.) Dazu kommen nun noch alle Zeichen pathologischen Ursprungs, *eitle, anmassende Schreibsucht, stetes Reden von sich selber, Zudringlichkeit und Anhängen an bedeutende Männer, forcirte Ostentations-Schwärmerei, mit sentimentaler Kläglichkeit durchspickt*. (*Similis simili gaudet*). Es ist zu widerlich.

•Das Quodlibet beginnt mit einer Vertheidigung der Medicin gegen den berühmten russischen Kritiker Senkowski: es wird blos das abgedroschene Thema noch einmal ausgedroschen, dass, wie die Aerzte, auch die Künstler und Philosophen nicht einig seien, Kunst, Philosophie und Medicin aber doch zur Einheit strebe. — In einem Schreiben an Dieffenbach (der Verfasser an Dieffenbach) redet der Verfasser sodann über die bekannte, gegen die Homöopathie gestellte Preisfrage der Gesellschaft correspondirenden Aerzte in Petersburg. Diese Frage war aber augenfällig so unwissenschaftlich gestellt, und wurde von Seite der Homöopathie selbst so hinlänglich gewürdigt und bezeichnet, dass das wiederholte Reden darüber ganz unnöthig ist. — Kindisch ist der Brief an Raimann, von welchem der Verfasser durch Zusammenwirken der Facultäten einen Codex universalis medicalis (sic!) verlangt, in welchem man die Wahrheit und Gewissheit der ganzen Medicin schwarz auf weiss beisammen habe. Mit 40,000 Franken wäre die Sache abgemacht. Wenn es nicht zureiche, wolle der Verfasser selber 25 Dukaten beisteuern. Dass ihm niemand antwortete, brauchte der Verfasser nicht erst zu versichern. Dass überhaupt mit Preisaufgaben, mit Geld, alles dieses und noch mehr zu effectuiren sei, daran zu zweifeln, fällt ihm gar nicht ein. Von diesem Mittel will und hofft er die Versöhnung der Parteien, Vermittelung der Extreme, Reform und Ausbildung der Medicin zur Gewissheit. Aber nicht nur die Heilkunde in allen ihren Zweigen und Richtungen werde reformirt, zu Einheit und Gewissheit gebracht: *das Recensirwesen vor Allem bedürfe einer durchgreifenden Re-*

form (Similis simili gaudet).—Nun folgt ein langes Klagelied, wie weh dem Verfasser die steinherzigen Recensenten gethan, welche, statt in seine Lage mit zartem Sinne einzugehen, statt seine Schmerzen und Krämpfe, seine dornenreiche Bahn, seine Kränklichkeit, seine arme gequälte Brust—«die alles Recht habe, ihren Klagelauten in vielfachen Variationen Luft zu machen» — menschlich zu berücksichtigen, ihn schrecklich misshandelt, körperkrank, geistesschwach, im Gehirne verwirrt, resonirend wie ein Pferd genannt hätten *, worüber seine Frau Mutter, und seine Frau Schwester, in die grösste Betrübniß versetzt worden waren. — Hier müsste aus tiefem Erbarmen Referent die Feder aus der Hand fallen lassen, hätte er dem Verfasser nicht noch einen menschenfreundlichen Rath zu ertheilen. Der Verfasser sagt: «Durch Berufsgeschäfte verhindert, durch Praxis gestört, durch Kränklichkeit verstimmt, und dennoch durch manchen Umstand zum Schreiben gezwungen, bringe ich diesmal Weniges, Schwaches, Unreifes.» Ums Himmelswillen, warum muss er denn schreiben? Warum ruht er nicht auf seinen Lorbeeren? Wozu denn dieses unselige Obenaus und Nirgendsan, dieses krampfhaftes, phantastisch leere Zappeln und veitstanzartige Treiben einem Ziele zu, welches zu erreichen seinen Kräften offenbar unzulänglich ist? Wir rathen und wünschen dem sehr verehrten Herrn Verfasser aufrichtig theilnehmend von ganzem Herzen: Ruhe!»

Кончимъ это длинное разбирательство тяжбы «прагматического сочиненія» съ критикою. Мы забыли сказать, за что такъ осердилось оно на г. Спасскаго. Ему приснилось, будто докторъ Спасскій былъ авторомъ или участникомъ критики, которая разрушила его гордость и превратила ее въ крики ярости и отчаянія. Основываясь на этомъ *актъ*, оно съ грубыми и обид-

* За его «прекрасное и превосходное твореніе» подъ заглавіемъ *Zur Vermittelung der Extreme in der Heilkunde*; за предтечу «прагматического сочиненія».

ными насмѣшками напало на почтеннаго и совершенно невиннаго писателя, и на его сочиненіе, которое само оно перенесло на свои страницы. Мы помнимъ, что, послѣ появленія этой критики, въ публикѣ также многіе приписывали ее, одни доктору Спасскому, другіе другимъ извѣстнымъ врачамъ. Но мы считаемъ себя совершенно въ правѣ объявить, для разсѣянія всѣхъ сомнѣній, что ни г. Спасскій, котораго въ то время не было даже и въ Петербургѣ, ни кто-либо другой изъ врачей или не-врачей, не имѣлъ ни прямаго ни косвеннаго участія въ этой знаменитой критикѣ: настоящій и единственный ея авторъ — баронъ Брамбеусъ, страстный любитель прагматическихъ сочиненій, и онъ принимаетъ на себя всю отвѣтственность за ея содержаніе.

Однакожь это еще не конецъ. Въ слѣдующій статьѣ мы приступимъ къ разбору втораго «прагматическаго сочиненія» — «О Иппократѣ, и его ученіи».

1844.



ИППОКРАТЪ И ЕГО УЧЕНІЕ.

По поводу книги подъ тѣмъ же заглавіемъ (докт. Вольскаго),
1840.

Первый взглядъ на эту книгу ясно уже показываетъ, что тутъ работали двѣ руки и два различныя знанія латинскаго языка, оба ограниченные, но осо-

бенно одно изъ нихъ. Чтобы составить ее, не нужно было знать греческій языкъ, и авторъ книги самъ сознается, что онъ не знаетъ его: довольно взять какое-нибудь изданіе Иппократовыхъ сочиненій съ латинскимъ переводомъ и обыкновеннымъ въ предисловіи извѣстіемъ о жизни и трудахъ Иппократа — и дѣйствительно, здѣсь взято плохое изданіе Пирера, съ стариннымъ латинскимъ переводомъ Фезіуса — дать кому-нибудь немножко лучше знающему латинскій языкъ перевести нѣсколько общихъ мѣстъ объ Иппократѣ изъ предисловія, нѣсколько главъ изъ его сочиненій — и очевидно дано это сдѣлать не-врачу — и потомъ безъ надлежащаго понятія о классической древности, ея исторіи, медицинѣ, литературѣ и сочиненіяхъ, которыя тутъ приводятся, исказить этотъ переводъ своими, неудачными и совершенно произвольными, переправками, прибавленіями и преувеличеніями. Отсюда, въ этой книгѣ, все путаница, противорѣчіе, повтореніе. Отсюда эта безконечная цѣпь гротескныхъ промаховъ противъ литературы, исторіи, медицины и латинскаго языка. Отсюда, безъ всякой пользы и нужды для читателей, это безчисленное множество въ русскомъ текстѣ латинскихъ словъ и фразъ, которыя переводчикъ не-врачъ писалъ всегда для автора въ скобкахъ, какъ скоро не былъ увѣренъ въ настоящемъ ихъ значеніи, и которыя, или такъ и остались въ печати или получили отъ автора другія, большею частью превратныя, толкованія. Отсюда эти *библіотеки* M. S., и эти дивныя «*напримѣры*», — «*въ самыхъ лучшихъ изданіяхъ Иппократовыхъ твореній это восьмое отдѣ-*

леніе вовсе не находится, напримѣръ, in optimis quoque Codd. MSS. aphorismi hi additi non leguntur» (стр. 171), и эти двойныя заглавія многихъ параграфовъ, по-русски и по-латыни, каковы — «*Во какой мѣрѣ достойна уваженія Иппократова анатомія?* quanti Hippocratis anatomen, oporteat, aestimari?» (стр. 109), *Физиологическіе Иппократовы догматы*, dogmata Hippocratis phisiologica (*sic*), и прочая, и прочая. Отсюда Гриммъ называется *Гриммъ*, и въ статьѣ подъ заглавіемъ «Извѣстнѣйшіе новѣйшіе писатели о жизни Иппократа» осталось это непостижимое указаніе на его сочиненіе: «*Во 1781 году*, Jo. Frid. Carol. Grimm, in versione operum Hippocratis *germanica*. Altenb.» (стр. 6), указаніе, буквально выписанное изъ латинскаго предисловія къ сочиненіямъ Иппократа. Отсюда и всѣ прочія заглавія шестнадцати сочиненій, приведенныхъ въ этомъ спискѣ, которыми авторъ будто бы руководствовался (стр. ij), между-тѣмъ какъ мы увидимъ, что онъ не знакомъ ни съ однимъ изъ нихъ, кромѣ Пирера, и еще, можетъ-быть, Куртъ-Шпренгеля; это такъ вѣрно, что и списокъ заключается Пиреромъ, то есть 1806 годомъ и автору уже неизвѣстно ни одно заглавіе позднѣе его, даже неизвѣстенъ Геккеръ и его «Geschichte der Heilkunde, nach den Quellen bearbeitet, Berlin, 1822». Отсюда наконецъ и это непостижимое объясненіе слова сатиризмъ — «*сатиризмъ (большенное половое возбужденіе)*» — вставка, явственна прибавленная самимъ авторомъ книги, какъ врачомъ, къ переводу его сотрудника, не-врача. Нѣтъ

сомнѣнія, что писать такимъ образомъ « прагматическія сочиненія » — дѣло очень нетрудное.

Авторъ пишетъ *жизнь Иппократа*, даетъ это торжественное заглавіе первому отдѣленію своей книги, хочетъ сообщить намъ « прагматическую » біографію великаго врача древности, и, послѣ нѣсколькихъ общихъ мѣстъ, перемѣшанныхъ парадоксами, онъ же объявляетъ, что ничего не скажетъ намъ о *многихъ великихъ дѣлахъ* своего героя, *потому, что они извѣстны всему просвѣщенному міру* (стр. 19). Хороша біографія! Въ сущности, изъ всей этой біографіи, занимающей шестьдесятъ-шесть страницъ, объ Иппократѣ узнаемъ только то, что онъ *сто десять лѣтъ* жилъ, съ бородой былъ, въ *шляпѣ* ходилъ, медицину училъ, а домикъ у него на островѣ Ко имѣлся такой прочный, что онъ и теперь еще тамъ существуетъ.

Біографія начинается положительнымъ увѣреніемъ, что о жизни Иппократа нѣтъ никакихъ достовѣрныхъ свѣдѣній : и это — единственное положеніе во всей книгѣ, носящее на себѣ печать строгой истины. О жизни Иппократа дотога ничего неизвѣстно, что нѣкоторые сомнѣвались, жилъ ли онъ когда-либо на свѣтѣ. Самъ онъ ничего не сообщилъ о себѣ. Ближайшіе къ его вѣку писатели только упомянули объ немъ мимоходомъ. Изъ писемъ Иппократа и другихъ, которыя помѣщены въ собраніяхъ его сочиненій, можно было бы кое-что заимствовать для его біографіи, но эта переписка — поздняя и грубая поддѣлка шарлатановъ. Всѣ дошедшіе до насъ рассказы объ его родословной,

жизни и врачебныхъ подвигахъ, выдуманы спустя долгое время послѣ его смерти. Когда коская медицинская школа восторжествовала надъ всѣми прочими, ея послѣдователи, энтузіасты своего великаго учителя, почти обоготворили его, сочинили для него, по тогдашнему обычаю, небесную генеалогію, сдѣлали его семнадцатымъ потомкомъ Эскулапа и двадцатымъ Юпитера, и приписали ему невѣроятные подвиги, дѣйствія несогласныя съ положительною исторіею того времени, почести, которыхъ онъ не получалъ и не могъ получить. Въ свою очередь, послѣдователи соперничающей книдской школы, съ которою онъ спорилъ о медицинской теоріи и которую наконецъ уронилъ своимъ ученіемъ, ѣдко разбирали его книги, и между прочимъ обвиняли его, будто онъ сталъ славенъ, не своею наукою, а злобнымъ и непростительнымъ средствомъ, коварно сжегши древнюю бібліотеку коскаго храма Эскулапа, послѣ того какъ воспользовался ея медицинскими сокровищами. И всѣ эти сплетни, доказывающія только то, что древность не имѣла вовсе никакихъ свѣденій ни о жизни, ни о характерѣ, ни о нравственности Иппократа, когда обѣ партіи могли смѣло рассказывать объ немъ такіа противорѣчащія исторіи и обѣ находили людей, готовыхъ имъ повѣрить; всѣ эти сплетни дошли до насъ, притомъ, черезъ писателей, жившихъ спустя пять, десять и даже пятнадцать столѣтій послѣ смерти того, къ кому онѣ относятся.

Мы коснулись нравственности: поговоримъ объ ней, потому-что, за недостаткомъ біографическихъ

фактовъ, ею наполнена вся прагматическая біографія.

Тѣ, которые, благоговѣя передъ «отцомъ врачебнаго искусства» прославляютъ нравственность Иппократа, преимущественно опираются на его докторскую присягу, помѣщаемую въ челѣ его сочиненій. Но надобно быть знакомымъ съ учрежденіями древности, чтобы на этомъ документѣ основывать какіе-либо выводы. Если это настоящая *присяга Иппократа*, то она, логически, значитъ только то, что онъ произнесъ и *подписалъ* ее въ коскомъ капищѣ Эскулапа, по окончаніи своего ученія въ этомъ капищѣ и въ принадлежавшей къ нему школѣ, которой онъ впоследствии сдѣлался главою и украшеніемъ. А если онъ произнесъ и *подписалъ* ее, какъ это и показываютъ употребленныя въ ней слова — «дѣйствуя по сей присягѣ и сей моей *подпискѣ*» (*syngraphê*) — то, очевидно, онъ не могъ сочинить ея: это должна быть общая форма присяги, которой требовали Эскулаповы капища * или, по-крайней-мѣрѣ, которой требовало коское капище, отъ всѣхъ, окончившихъ курсъ и принимающихъ врачебное «посвященіе»; отъ всѣхъ питомцевъ своихъ, *Эскулаповичей*, *Asclepiadae*; другими словами, отъ всѣхъ слугителей Эскулапа, называвшихся «святыми людьми», *hieroi anthrôpoi*, или «слугами бога», *theou douloi*, титулы, которые неправильно превращаютъ въ названіе «жрецъ», или наконецъ «врачами», *iatroi*. Извѣстно, что Эскулаповичи, или Асклепіады, нѣкогда принешие изъ Финикіи въ Грецію «тайны» врачебной науки

и богопочитаніе Ашколаба, или Асклепія, и произво-
дившіе родъ свой отъ этого божества, составляли
впослѣдствіи особенную *духовную* касту. Кто въ этомъ
сословіи родился, тотъ и принадлежалъ ему. Онъ
долженъ былъ наслѣдственно изучать тайны медицины
и посвящать себя званію «святаго человѣка», «слуги
бога», «врача», при капищѣ, куда приносились боль-
ные, или, по востребованію, нести въ городъ помощь
науки Эскулапа. Эскулапъ былъ богъ «изъ ученыхъ»,
а не богъ по милости судьбы. Надо хорошо понять
это: Эскулапъ и сынъ его Подалиръ попали на Олимпъ
за свою *науку*, за врачебное *искусство*, которое изо-
брѣли, и за *человѣколюбіе*, съ какимъ они пламенно
старались посредствомъ этой науки и этого иску-
ства, облегчать страданія смертныхъ; слѣдовательно
человѣколюбіе и «наука», *epistêmê*, или искусство,
technê, и составляли «службу» этого бога, какъ по-
дражаніе ему. Всѣ его слуги или «святые люди»
были врачи, и врачи ученые и человѣколюбивые
по положенію. Иппократъ, *изъ Эскулаповичей*, какъ
выражается объ немъ Платонъ, былъ такой же «свя-
той человѣкъ» или «врачъ», какъ всѣ его однопле-
менники, принявшіе посвященіе: слѣдовательно онъ
долженъ былъ исполнить въ своемъ капищѣ обрядъ
предписанной присяги; и если онъ произнесъ и под-
писалъ ту присягу, которая находится въ челѣ его
сочиненій, то она дѣлаетъ величайшую честь нрав-
ственности всего сословія Асклепіадовъ, «слугъ бога»,
или Эскулаповыхъ «жрецовъ», которое отъ своихъ
собратовъ требовало такихъ обѣтовъ, а не лично нрав-

ственности Иппократа, который только подписалъ общую клятвенную форму и неизвѣстно, какъ исполнялъ ее предписанія. Онъ могъ быть человѣкомъ неукоризненной нравственности: но смѣшно же такъ превратно понимать вещи, чтобы превозносить до небесъ благородство души Иппократа и безпощадно поносить Эскулаповыхъ «жрецовъ» именно на основаніи документа, который ровно ничего не доказываетъ въ пользу Иппократа, а «жрецамъ» приносить истинную честь.

Бѣдный Иппократъ! Предлежащее «прагматическое сочиненіе» производитъ его еще и въ величайшіе философы: для чего?.... для того, что слово *philosophos* онъ принималъ въ простомъ и буквальномъ значеніи *любопытный*, и сказалъ въ одномъ мѣстѣ, что *врачъ любопытный* (*philosophos*) *есть существо боюподобное*, то есть подобное любопытному Эскулапу, а «прагматическому сочиненію» показалось, будто онъ говоритъ о *врачѣ-философѣ*! И вотъ оно принялось прославлять его страшнымъ философомъ. Впрочемъ, не оно первое такъ возвеличило Иппократа: весьма справедливо замѣтилъ Геккеръ, что комментаторы и энтузіасты полагали, будто они обидятъ «отца раціональной медицины», если не представятъ его великимъ философомъ, между-тѣмъ какъ самъ онъ вовсе не дорожилъ этою честью. Мы осмѣлимся прибавить, что онъ даже былъ врагъ философіи въ медицинѣ и преслѣдовалъ школу книдскаго капища именно за то, что она увлекалась тогдашними философическими теоріями и отступала отъ старинной, заповѣдной медицины Эскулаповыхъ капищъ.

Иппократъ — философъ!?... Этотъ человѣкъ испыталь судьбу всѣхъ счастливыхъ людей: онъ никогда не былъ понятъ настоящимъ образомъ, благодаря преувеличеніямъ своихъ раболѣпныхъ поклонниковъ. Ихъ энтузіазмъ провозгласилъ его между-прочимъ и «отцомъ медицины»: этотъ незаслуженный титулъ безотчетно повторяютъ еще и нынче, постоянно увѣряя, будто до него медицина была..... *въ трубомъ младенчества*, какъ выражается гдѣ-то «прагматическое сочиненіе», и находилась въ рукахъ эмпириковъ и шарлатановъ. Такой парадоксъ долженъ бы по-крайней-мѣрѣ теперь уступить мѣсто понятію, болѣе согласному съ исторіею греческой образованности. Иппократъ былъ отцомъ, не медицины, а просто своей, иппократической школы, которой его дарованія, его краснорѣчіе и, особенно, согласный съ вѣрою духъ его ученія, доставилъ блистательную побѣду надъ ея соперницами. Когда онъ явился, Греція находилась уже на высочайшей степени своего умственного развитія: никогда геній ея не воспарялъ выше; никогда ея ученая дѣятельность не была горячѣе и не имѣла лучшаго направленія. Это былъ золотой вѣкъ Греціи, вѣкъ Перикла, вѣкъ Сократа, вѣкъ Платона, вѣкъ изысканія истины и анализа. Когда Иппократъ началъ преподавать въ школѣ, семинаріи или академіи косяго капища, медицина, такъ же какъ и философія, находилась уже въ полномъ цвѣтѣ и ея состояніе никогда потомъ не было болѣе блестяще. Греція была покрыта Эскулаповыми капищами, которыя воздвигались всегда въ мѣстахъ самыхъ здоровыхъ, имѣли

свои бани, ванны, инфирмаріи, превосходную воду, часто даже ключи минеральныхъ водъ, были окружены рощами и садами, устроены едва-ли не лучше множества нынѣшнихъ больницъ и госпиталей, и управляемы «святыми людьми», или жрецами, то есть врачами, изъ Асклепиадовъ, самаго просвѣщеннаго, въ то время, и самаго нравственнаго во всей Греціи сословія. Это сословіе пользовалось безпредѣльнымъ уваженіемъ народа и философовъ, и изъ него, вѣрно, еще при жизни Иппократа, вышелъ Аристотель, лучший древній естествоиспытатель. При значительнѣйшихъ этого рода религіозно-врачебныхъ заведеніяхъ, asclepieae, существовали семинаріи для Эскулаповичей: четыре изъ этихъ медицинскихъ школъ, эпидаврская, книдская, коская и аргосская, славились на весь греческій міръ. Нѣтъ ничего смѣшнѣе и неосновательнѣе возгласовъ, безотчетно повторяемыхъ почти во всѣхъ новѣйшихъ исторіяхъ врачебнаго искусства, противъ такъ - называемыхъ *жрецовъ* Эскулапа: сочинители этихъ книгъ, можетъ-быть, прекрасно знаютъ медицину, но ужъ навѣрное имъ не дается ясное понятіе о древности, о самыхъ почтенныхъ ея учрежденіяхъ. Зачѣмъ ругаете вы этихъ *жрецовъ*? Древность на нихъ не жаловалась: она, напротивъ, чрезвычайно почитала ихъ сословіе, сословіе Асклепиадовъ, доколѣ оно не погасло. И эта благородная каста умѣла своимъ благоразуміемъ (доказательство — «присяга» Иппократа) и своимъ примѣрнымъ поведеніемъ постоянно поддерживать полное къ себѣ довѣріе и уваженіе всѣхъ классовъ народа въ самую просвѣщенную эпоху Гре-

цій, когда безчисленныя философическія школы распространяли повсюду страсть къ разсужденію, разбору и насмѣшкѣ. Эскулаповичи, Асклепіады, «слуги» ученаго бога и страждущаго человѣчества, «святые люди», «врачи», которыхъ произвольно унижаете вы обиднымъ прозваніемъ «жрецовъ» и браните наравнѣ со всѣми «жрецами», ненавистными вашей протестантской философіи, никакъ не должны быть смѣшиваемы со служителями алтарей другихъ языческихъ боговъ. Ихъ сословіе можно скорѣе сравнить съ однимъ изъ тѣхъ почтенныхъ сословій на Западѣ, которыя соединяють въ себѣ полудуховное званіе со службою страждущему человѣчеству. Эскулаповичи, слуги бога, или врачи, кромѣ изученія своей «святой науки», своего капищнаго ремесла, своего завѣтнаго знанія, *epistêmê*, которое и самъ Иппократъ называетъ *святынею* (*tà hiera*), словомъ, кромѣ изученія медицины, занимались также философіей, математикою, естественною исторіей и другими науками. Чтò это говорите вы о какомъ-то «жреческомъ духѣ», отъ котораго будто-бы освободилъ медицину Иппократъ? Можно ли разсудительно жаловаться на враждебный истинной наукѣ духъ такого сословія «жрецовъ», которое повсюду заводитъ при своихъ капищахъ врачебныя семинаріи, содержитъ многія знаменитыя училища, настоящія медико-хирургическія академіи, имѣетъ такія школы какъ коская, книдская, эпидаврская, такихъ профессоровъ какъ Эврифонъ или Иппократъ, такія медицинскія библіотеки какъ та, которую будто-бы сжегъ коварно въ Ко мнимый «отецъ медици-

ны»? Да и кому преподавалъ Иппократъ, для кого писалъ онъ свои трактаты, и эти афоризмы, своды храмовыхъ наблюденій надъ больными? Онъ преподавалъ своимъ, роднымъ Эскулаповичамъ, «святымъ людямъ»; писалъ исключительно для нихъ. Онъ ведетъ войну съ книдскою школою; но ведетъ ее прилично, осторожно, почти всегда одними только намеками, потому-что книдскіе профессеры, хоть и вольнодумцы, философы, еретики противъ стариннаго заповѣднаго ученія капищъ, однакожъ такіе же «святые люди» какъ и самъ онъ и служатъ одному и тому же бо-жеству. Онъ охотно описываетъ болѣзни по храмовымъ и своимъ наблюденіямъ, но очень рѣдко говорить о лекарствахъ и способѣ ихъ леченія, потому-что это секретъ сословія, который сообщается только изустно. *Это дѣла святыя*, говоритъ онъ въ своемъ «Законѣ», *и только святымъ людямъ показываются, а профанамъ нельзя, прежде чѣмъ они будутъ посвящены въ святыню* *tês epistêmês*, то есть знанія, именно, капищнаго знанія. Иппократъ не только не составлялъ контраста съ своимъ сословіемъ, но былъ, напротивъ, истиннымъ представителемъ его стариннаго и кореннаго образа мыслей, дѣйствованія и ученія. Что такое вся его книга «О Старинной медицинѣ», если не защита завѣтнаго капищнаго способа леченія, состоявшаго въ строгой діетѣ, наружныхъ и внутреннихъ очищеніяхъ тѣла, внушеніи больному, при помощи религіозныхъ средствъ, совершеннаго душевнаго спокойствія и теплой вѣры въ помощь божества, приличной пищѣ, здоровомъ воздухѣ, иногда

пить минеральных водъ, съ предоставленіемъ цѣлительной силѣ природы довершить остальное, между тѣмъ какъ «святой человѣкъ» долженъ былъ наблюдать одну *общую форму болѣзни* и только въ явно необходимомъ случаѣ помогать природѣ лекарствами, составляющими завѣтную тайну сословія. Въ одну изъ книгъ, приписываемыхъ Иппократу, даже и внесено въ послѣдствіи это основное правило капищнаго врачеванія: *pousôn physies iêtroî, исцѣлители болѣзней—природныя силы человѣка*. Хотя самъ Иппократъ нигдѣ не высказалъ его такъ рѣзко, изъ благоразумія или по уваженію къ законамъ сословія, однакожъ въ этихъ трехъ словахъ содержится вся сущность его ученія. Это—чисто иппократическое правило.

Иппократъ и всѣ Асклепіады были точно такіе же врачи, какихъ мы видимъ и до-сихъ-поръ на Востокѣ: они собственно были хирурги, а не доктора медицины; хирургія составляла главное ихъ знаніе и личное ремесло, а врачеваніе болѣзней относилось къ капищамъ или производилось по ихъ завѣтной медотѣ, въ которой діета, очищеніе тѣла, душевное спокойствіе и цѣлительная сила природы играли первыя роли. При этой системѣ медицины Греція была здорова какъ рыба и сословіе получало большіе доходы; и Иппократъ старается вездѣ, не двинуть впередъ медицину посредствомъ новаго ученія, не усовершенствовать ее введеніемъ новаго способа леченія, а возвратитъ къ старинному и завѣтному пути, которому она всегда слѣдовала при капищахъ Эскулапа. Въ его время медицина находилась уже въ томъ критиче-

скомъ положеніи, въ какомъ мы видѣли ее въ Европѣ въ началѣ нынѣшняго столѣтія: слава тогдашнихъ философій оказывала на нее чрезвычайное вліяніе; страсть къ философствованію обуяла Асклепиадовъ, какъ и прочія ученыя сословія; умозрѣніе замѣнило опытъ, наблюденія и всѣ капищныя преданія, и среди Эскулаповичей явились новыя медицинскія ученія. Особенно отличалась на этомъ поприщѣ книдская школа: философія, которую Иппократъ презрительно называетъ *доха*, «мнѣніемъ, умствованіемъ, умозрѣніемъ», совершенно овладѣла ею. Эта школа, которая была ближе къ нынѣшней медицинѣ чѣмъ Иппократова, и которой до-сихъ-поръ не отдано справедливости, оставила коренное капищное наблюденіе одной только общей формы болѣзни: она начала обращать вниманіе на частныя симптомы, дѣлить, подраздѣлять и классифицировать болѣзни, употреблять частыя и сильныя лекарственныя средства, основывая выводы свои об ихъ дѣйствіи и пользѣ на философскихъ теоріяхъ о природѣ, бывшихъ тогда въ быстромъ ходу, болѣе довѣрять лекарствамъ чѣмъ діетѣ и врачебной силѣ природы, и даже популяризировать медицину, допущеніемъ къ ней профановъ и людей, не вступившихъ правильно въ сословіе Асклепиадовъ. Это послѣднее обстоятельство, свойственное, какъ кажется не одной книдской школѣ, но и многимъ другимъ, было причиною размноженія вольнопрактикующихъ шарлатановъ, надъ которыми внутренняя полиція привилегированнаго религіей врачебнаго сословія не имѣла никакой власти. Вотъ почему Иппократъ, въ своемъ «*Lex*» и

изъявляетъ желаніе, чтобы противъ такихъ врачей былъ изданъ законъ, и чтобы они подлежали суду не одного только общественнаго мнѣнія. Онъ возстаеъ противъ всѣхъ нововведеній, допущенныхъ философическимъ вольнодумствомъ своихъ собратьевъ, книдскихъ и другихъ; объявляетъ медицину *святымъ дѣломъ*, требуетъ чтобы она «показывалась» *святымъ людямъ*, принявшимъ «посвященіе» въ тайны капищной науки, *epistêmê*, гонить прочь профановъ, настаиваетъ, чтобы врачи учились своему дѣлу съ дѣтства, какъ это *всегда* водилось при храмахъ въ блаженномъ сословіи Эскулаповичей, и по своему пристрастію къ заповѣдной старинѣ утверждаетъ даже, будто-бы тотъ, кто съ раннихъ лѣтъ не станетъ изучать медицины, по обычаю предковъ, никогда и знать ея не будетъ. Иппократъ, говорятъ намъ между-тѣмъ, освободилъ медицину отъ стѣснительныхъ узъ «жреческаго духа»!.... А онъ именно старался вновь подчинить ее этому духу, потому-что она, благодаря философін, повсюду уже выходила изъ-подъ его спасительнаго вліянія. Да и къ какой стати было освобождать! Духъ капищъ ученаго бога, для науки, былъ хорошъ, превосходенъ: оппозиція ему со стороны Иппократа была бы совершенно смѣшна и вредна. Любопытно также было бы посмотрѣть, чѣмъ кончились бы для него попытки подобнаго возстанія, явнаго или тайнаго, противъ учреждений, освященныхъ религіей: въ то самое время, въ Аѣинахъ, Сократа безъ церемоніи поподчивали ядомъ единственно за *неблагонамѣренное направленіе* его ученія, будто-бы подкапывавшее вѣру бо-

говъ. Изъ Иппократа хотятъ сдѣлать Лютера своего ордена, между-тѣмъ какъ онъ желалъ быть его Лойолою!... Онъ твердо стоитъ за старину. Вся книга его «О старинной медицинѣ» есть не что иное какъ протестъ противъ новыхъ медицинскихъ ученій и опаснаго вліянія философій на медицину, протестъ, направленный преимущественно противъ книдской школы: онъ удивляется тому, какъ много старина, при всей своей грубости, открыла удивительно вѣрнаго и полезнаго просто здравымъ «толкомъ», *logismô*, и вездѣ старается отвлечь медицину отъ напрасныхъ тонкостей, возвратить ее къ врачующей силѣ природы, къ діетѣ, о которой, не забудьте, отецъ его, старинный Асклепиадъ, написалъ цѣлую книгу, къ наблюденію одной общей формы болѣзней, и къ древней, испытанной методѣ ихъ леченія. Невозможно ничего сказать яснѣе и рѣзче противъ философій, нежели какъ говоритъ Иппократъ: *«Epistêmê (святое, завѣтное знаніе) и doxa (умствованіе, произвольные выводы, философія), это двѣ разныя вещи; первое дѣлаетъ насъ знающими, второе невѣждами. Epistêmê (завѣтное знаніе) поставляетъ въ возможность знать, а doxa (философія) въ невозможность знать; и какъ эта epistêmê, это завѣтное знаніе — дѣла святыя, то.... и прочая. Не странно ли, послѣ этого видѣть, какъ «прагматическое сочиненіе» жалуетъ Иппократа въ отчаянные философы, судя объ его образѣ мыслей по грубому латинскому переводу, котораго оно хорошо не понимаетъ? Цельсь, который нѣсколько лучше зналъ древность, положительно го-*

ворить, что Иппократъ первый *освободилъ медицину* не отъ «скоморошества жрецовъ», а *отъ философіи* (ab studio sapientiae disciplinam hanc separavit).

Поэтому онъ также не былъ, не могъ быть, «отцомъ» никакой медицины. Онъ засталъ уже эту науку въ самомъ блестящемъ видѣ. Медицина гимназій находилась въ то время также въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, и соперничествовала съ медицинною капищъ: онѣ заимствовались другъ у друга, и быстро шли обѣ по пути усовершенствованій. Медицина страдала тогда, не «грубымъ младенчествомъ», а уже избыткомъ учености: она подружилась съ философіей, умствовала и создавала новыя врачебныя теоріи. Самыя первыя слова Иппократовой книги «О старинной медицинѣ», показываютъ, что въ его время много *писали и разсуждали* о медицинѣ. Слѣдовательно, не онъ далъ ей ученое начало: онъ далъ только перевѣсъ коской медицинской школѣ, и отъ него пошла секта иппократистовъ, которая подавила всѣ другія теоріи его чистымъ эскулаповскимъ ученіемъ. Онъ былъ только дѣятельнымъ и краснорѣчивымъ новителемъ этого драгоценнаго для древнихъ ученія, которое онъ защищалъ всѣми силами, старался возвратитъ къ первобытной простотѣ и очистить отъ философическихъ дохвѣ. Надобно однакожъ сознаться, что эти усилія не принесли прочной пользы наукъ: какъ ни удерживалъ онъ медицину отъ смѣшенія съ философіей, а непреодолимое стремленіе вѣка все-таки увлекло ее въ общій потокъ. Оба его сына и

зять предались платонизму, который тогда былъ въ модѣ, и стали догматиками. Вся секта иппократистовъ пошла тѣмъ же опаснымъ путемъ, и между-тѣмъ какъ глава школы терпѣть не могъ философовъ, которыхъ онъ называлъ «софистами», ея приверженцы слѣдовали разнымъ философическимъ ученіямъ, толковали по нимъ его книги, и его самого хотѣли выдать за великаго философа. Если у него встрѣчается ученіе объ элементахъ, пущенное входъ еще Эмпедокломъ, это значить, что онъ невольно долженъ былъ принять его: оно уже было такъ глубоко укоренено въ капищной медицинѣ, что Иппократъ не посмѣлъ изгнать его; но зато онъ старался истолковать его самымъ простымъ образомъ, превратить «элементы» въ простыя «свойства» или «силы» тѣла.

«Прагматическое сочиненіе», которому слѣдовало бы знать все это, къ сожалѣнію, вовсе незнакомо къ классическою древностью и ея литературою. Мы имѣемъ горестное доказательство этой истины въ томъ, какъ оно читало Фукидида и Плутарха. Вы помните, какъ подробно, даже слишкомъ подробно, рассказываетъ Фукидидъ исторію оскверненія въ одну ночь всѣхъ гермесовъ въ Аѣинахъ, обвиненіе Алкивіада въ этой шалости по проискамъ его враговъ, продолжительное слѣдствіе, заочный судъ, приговоръ, бѣгство его изъ арміи, соединеніе съ врагами отечества, мщеніе, длинный рядъ несчастій Аѣинянъ на сушѣ и на морѣ, униженіе Аѣинъ, и, наконецъ, великій переворотъ, предавшій республику въ руки олигархіи, все по милости этихъ ничтожныхъ гермесовъ, которые были

просто маленькіеobeliski, стоявшіе у воротъ каждаго частнаго дома для предохраненія жителей его отъ дурнаго глаза. Это составляетъ главную, самую драматическую и самую любопытную часть обширнаго творенія Фукидида. Плутархъ, въ жизни Алкивіада, заимствовалъ у великаго историка извѣстіе объ этомъ дѣлѣ, и сократилъ его рассказъ по размѣрамъ своей рамки. Вы помните также, какъ онъ же, Фукидидъ, описываетъ борьбу Спарты съ Аѣнинами: это предметъ всей его исторіи. Посмотримъ теперь классическую эрудицію «прагматическаго сочиненія»:

«Въ доказательство того, съ какою мстительностью и ожесточеніемъ Греки преслѣдовали людей, обличенныхъ въ святотатствѣ и неуваженіи къ ихъ храмамъ и божествамъ, я (замѣьте это я) приведу слѣдующіе примѣры: *Плутархъ рассказываетъ*, что они приговорили къ смерти полководца своего, любимца народа, Алкивіада, за то, что онъ (?) обломалъ *статуи* Меркурія, Гермены (Hermes), а *Фукидидъ упоминаетъ*, что *Спартакцы вели кровопролитную войну съ Аѣинянами* за то, что Килонъ поработилъ замокъ въ Дельфахъ».

Фукидидъ только «*упоминаетъ* о кровопролитной войнѣ» Спартакцевъ съ Аѣинянами, а Плутархъ *рассказываетъ*, что Аѣиняне приговорили Алкивіада къ смерти за то, что онъ обломалъ *статуи* гермены!.... Какъ же «прагматическое сочиненіе», которое отыскало въ Фукидидѣ такую мелкую вещь какъ *упоминаніе о кровопролитной войнѣ*, не примѣтило того, что дѣло о гермесахъ или, какъ оно говоритъ, *герменахъ*,

и его послѣдствія, занимають болѣе четверти творенія этого историка? Зачѣмъ обратилось оно отъ Фукидида, отъ свидѣтеля, отъ источника, къ Плутарху, писателю, втораго вѣка нашей эры, который, слѣдовательно, не можетъ быть свидѣтелемъ по этому дѣлу? Не ясно ли, что оно незнакомо ни съ Фукидидомъ, ни даже съ Плутархомъ?

«Прагматическое сочиненіе» хотеть этимъ и другими столь же учеными доводами доказать, что Иппократъ не могъ быть святотатцемъ. Оно взяло все это изъ нѣмецкой книги. Одни уже *гермены*, явственно происходящіе отъ нѣмецкаго множественнаго чиста *die Hermen*, показываютъ, что это—переводъ, хотя «прагматическое сочиненіе» говоритъ: я приведу примѣры.. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на я, все оправданіе *крѣпости* Иппократа, по известному обвиненію его дурностью въ святотатственномъ сожженіи храмовой библіотеки, оправданіе совершенно смѣшное, основанное на подложномъ свидѣтельствѣ о почестяхъ, будто-бы оказанныхъ ему Аѣинами и Аргосомъ, цѣликомъ взято изъ Шпренгеля и только разведено фразами, перепутано и искажено. Впрочемъ, это оправданіе можетъ просто быть взято изъ какого-нибудь лексикона, потому-что тѣ же самые изданные доводы въ пользу Иппократа, и почти всегда одними и тѣми же словами, повторяются во многихъ этого рода собраніяхъ статей.

Такъ перепутано все въ этой книгѣ.

Посмотримъ біографію Иппократа.

Составленіе подробно и точно описанія

Соч. Сеньковск. Т. VIII.

Иппократа, говоритъ авторъ, сопряжено съ величайшими затрудненіями (§ 1). Современные ему писатели о жизни его ничего не писали. Самъ онъ, будучи чуждъ самохвальства, во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ ничего не упоминаетъ о томъ, изъ чего бы можно было извлечь вѣрные свѣденія для описанія его жизни и дѣлъ. Даже Галенъ мало оставилъ свѣдѣній объ его жизни и не сдѣлалъ никакого различія между справедливыми и ложными на этотъ счетъ показаніями.

Замѣтьте хорошенько: современники *ничего* не сказали о жизни Иппократа; самъ онъ *ничего* не говоритъ о себѣ, и изъ Галена нельзя взять ничего *вѣрнаго*. Теперь слѣдуетъ параграфъ второй: «*Источники, изъ которыхъ, кромѣ сочиненій Иппократа и Галлена, можно заимствовать вѣрные свѣдѣнія, относящіяся до (!) жизни Иппократа, суть слѣдующія*», и прочая.

И это не единственный примѣръ такихъ странныхъ противорѣчій; поминутно, въ одномъ мѣстѣ говорится, что ничего неизвѣстно, нѣтъ никакихъ свѣдѣній, а черезъ нѣсколько страницъ находите: *всѣ историки свидѣтельствуютъ единогласно!... или: по свидѣтельству древнихъ и «новѣйшихъ» писателей....* Въ одномъ мѣстѣ (стр. 73), «прагматическое сочиненіе» ссылается даже на свидѣтельство Сократа: *По свидѣтельству Сократа!...»* А Сократъ ничего не писалъ!

И какіе это хочетъ намъ показать авторъ источники *вѣрныхъ* свѣдѣній о жизни Иппократа?—*кромѣ* самого Иппократа, у котораго ровно ничего нѣтъ, и Га-

лена, у котораго нѣтъ ничего вѣрнаго. Читатель приходитъ въ изумленіе, видя списокъ источниковъ *вѣрныхъ* свѣденій о жизни человѣка, умершаго за четыре столѣтія до Рождества Христова, состоящій изъ одного безыменнаго сказанія, состряпаннаго неизвѣстно кѣмъ, когда, по какимъ матеріаламъ, и наполненнаго грубыми баснями, и изъ именъ трехъ византійскихъ компилаторовъ!

Далѣе: *Иппократъ родился въ 458 году до Рождества Христова изъ знатной фамиліи (?) Асклепіадовъ, отъ предка Небра, отца Гераклида и матери Пракситеи, и сверхъ-того ведетъ происхожденіе своего рода по отцу отъ Эскулапа, и по матери отъ Геркулеса, какъ это видно (§ 5) изъ нисходящей родословной линіи, по свидѣтельству Мейбомія (!?):— Иппократъ родился, по свидѣтельству всѣхъ (?) историковъ, за 500 лѣтъ до Р. Х. (только-что было сказано: за 458 лѣтъ), на островѣ Косѣ, то есть, Ко, гдѣ еще показываютъ, какъ драгоцѣнный памятникъ, домикъ, идѣ онъ будто бы жилъ (§ 6).*

Медицина находилась тогда, по мнѣнію автора, которому вовсе не было извѣстно, что Асклепіады и тѣ, кого онъ называетъ «жрецами» — одни и тѣ же лица, медицина находилась тогда въ ужаснѣйшемъ положеніи, была жертвою *скоморошества* жрецовъ: но къ *преобразованію ея наиболѣе послужили предпріятія и попытки....* чѣмъ бы вы думали?... *попытки философовъ усовершенствовать медицину!.... для чего, какъ автору лично извѣстно, они входили въ сношеніе съ Асклепіадами (жрецами) и вмѣстѣ съ ними раз-*

суждали объ этомъ предметъ публично, и среди народа, въ преддверіи Эскулапова храма, какъ ея-мощь удобномъ для жрецовъ мѣстѣ. Такія совѣстливостя стремленія философовъ и Асклепіадовъ (жрецовъ) къ усовершенствованію медицины принудили жрецовъ (Асклепіадовъ) разорвать завѣсу, закрывавшую ихъ тайны и невѣжество, чтобы не быть ниже Асклепіадовъ (жрецовъ), потому что эти скомоорохи-жрецы были такіе горькіе невѣжды въ медицинѣ, что они составляли и вырѣзывали на колоннахъ своихъ храмовъ или на мѣдныхъ доскахъ надписи, въ которыхъ изображались самыя вѣрныя исторіи болѣзней и ихъ же счастливыхъ излеченій, произведенныхъ, разумѣется, ими, скомоорохами-жрецами, и съ помощію ихъ нелѣпныхъ и вредныхъ способовъ леченія. И это, по невѣжеству сказанныхъ скомоороховъ-жрецовъ, велось у нихъ съ самыхъ древнихъ временъ. А надписи тѣ, содержавшія въ себѣ самыя вѣрныя изображенія исторій болѣзней и ихъ счастливыхъ излеченій, хранились въ храмахъ. А изъ тѣхъ исторій, самыхъ вѣрныхъ, потому-что онѣ составлялись невѣждами, скомоорохами, авторъ сдѣлалъ (на страницѣ 23) первое орудіе къ усовершенствованію медицины, для котораго на слѣдующей страницѣ философы сходятся со жрецами, въ преддверіи Эскулапова храма, чтобы разорвать завѣсу, закрывавшую ихъ невѣжество, и тутъ же расходятся. На мѣсто ихъ является «отецъ медицины», Иппократъ.

Отецъ медицины учился ей у своего отца, дѣда медицины, знаменитаго врача, Гераклида, и у другихъ

знаменитыхъ профессоровъ, *косскихъ*, то есть *коскихъ* или *койскихъ* врачей, *Геродика*, *Продика* (*Геродикъ* и *Продикъ* одно и то же лицо), *Георіа Лентина*, *Демокрита* (§ 8) и, по смерти своихъ родителей, принималъ (?) нѣсколько разъ (?) заграничныя путешествія, не съ тою цѣлю, чтобы, по примѣру *шарлатановъ*, порицать все полезное (§ 9).

Онъ горячо любилъ медицинскую науку и любилъ страждущее челоѣчество, и наконецъ рѣшился (?) положить первое (?) основаніе рациональной медицинской наукѣ, и для исполненія этого великаго предпріятія путешествовалъ (!?), но тогда уже, какъ довольно образовалъ въ медицину двухъ своихъ сыновей, *Тессала* и *Дракона*, и зятя своего *Полиба*, Вотъ чѣмъ руководствовался *Иппократъ* въ доведеніи медицинской науки до такого совершенства, чтобъ она была полезна челоѣчеству! (§§ 12 и 13).

По возвращеніи своемъ на родину, *Иппократъ* основалъ (?) на островѣ *Косъ*, то есть *Ко*, медицинскую школу. Наконецъ, послѣ многолѣтней и счастливой своей практики и науки (?) началъ писать медицинскія сочиненія (§ 14). Нравственность *Иппократа* такъ была чиста, такъ высока и поучительна, что она составляетъ предметъ ежедневнаго размышленія автора и возбуждаетъ въ немъ усерднѣйшее желаніе быть ему подобнымъ (§ 19 и многіе другіе). Въ доказательство, какъ безкорыстенъ и какъ силенъ былъ *Иппократъ* въ медицинской наукѣ, авторъ приводитъ подложное письмо его къ *Артарксерксу* съ отказомъ ѣхать въ *Персію* для спасе-

нiя народа и особенно войска, которые чума необыкновеннымъ образомъ истребляла (§ 20). Иппократъ узнаетъ бользнъ царя македонскаго Пердикка, вылечиваетъ его (§ 24) и вылечиваетъ Демокрита. Въ сочиненiяхъ его нѣтъ ни одного мѣста, въ которомъ бы онъ поносилъ неблагодарнымъ и оскорбительнымъ образомъ недостатки бывшей до него медицинскон науки и врачей (§ 25). Онъ былъ гражданиномъ самой высокой нравственности (§ 26); скромность, откровенность и прямота въ дѣлахъ были отличительными свойствами его (§ 29), а человеколюbie и щедрота къ больнымъ превосходятъ всякое описанiе (§ 30). Какъ человекъ-философъ (!) онъ имѣлъ въ себѣ ничто таинственное и непостижимое, былъ необыкновенно скромнъ и умѣренъ, во всемъ честенъ и справедливъ, во всѣхъ своихъ дѣлахъ и поступкахъ умѣлъ соединять въ себѣ величiе, смиренiе, твердость духа и нѣжность. Въ одеждѣ и во всемъ его обхожденiи обнаруживались простота и скромность. Рѣчь Иппократа была кратка, но выразительна; онъ говорилъ мало и болтуновъ не любилъ, и прочая, все въ этомъ же родѣ (§ 36). Онъ желалъ, чтобы всякiй врачъ былъ безъ причудъ и преисполненъ благопристойности (§ 38), училъ иногда выпрашивать у окружающихъ больнаго, не знаютъ ли они какою-либо средства (§ 40), и требовалъ, чтобы врачи изучали медицину съ самыхъ юныхъ своихъ лѣтъ (§ 42).

Иппократъ жилъ сто десять лѣтъ (§ 48): въ параграфѣ 32 онъ жилъ сто девять лѣтъ, а по сви-

дѣтельству другихъ параграфовъ, сто пять и сто четыре; медицинскою же практикою занимался сто два года. Онъ съ семи лѣтъ былъ неразлучнымъ спутникомъ и помощникомъ своего отца во всѣхъ его практическихъ занятіяхъ. На пятнадцатомъ году своей жизни, во время пелопонезской войны, онъ сдѣлался уже извѣстнымъ врачомъ. На тридцатомъ году отъ роду онъ славился уже, какъ великій врачъ, во всей Большой и Малой Азіи. На тридцать-первомъ году онъ былъ отцомъ двухъ сыновей и имѣлъ зятя, которыхъ всѣхъ самъ онъ воспитывалъ. Итакъ, Иппократъ занимался медицинскою практикою сто два года, пользовался именемъ и славнаго и самостоятельнаго врача девяносто четыре года (§ 49). Первые сочиненія (?) онъ началъ писать тогда уже, когда перешелъ за семьдесятый годъ своей жизни (§ 50).

Послѣ всего сказаннаго объ Иппократѣ, его наукъ и высокой нравственности, основанной на богопочитаніи, любви къ ближнему, человеколюбіи и самоотверженіи, авторъ считаетъ должнымъ сказать съ благоговѣніемъ, что Иппократъ былъ ченій, выше вдохновенный и созданный на пользу человечества (§ 67). И, несмотря на то, Булѣ, въ 1804 году, доказывалъ, что неизвѣстны ни время, въ которое жилъ Иппократъ, ни родъ его, ни мѣсто рожденія; что жизнь его есть рядъ басенъ: что Иппократа никогда не существовало, что слово Иппократъ есть названіе собраній врачебныхъ книгъ, а не человека, и прочая (§ 58). Авторъ ужасно негодуетъ на

чудака Будё, и спрашиваетъ: *Скажите, какое зло можетъ быть для науки и для человечества, когда бы и дѣйствительно слово «Иппократъ» было не имя человека, а названіе книги! когда бы Иппократа и никогда не существовало!... если дѣла и поведеніе такъ высоки и поучительны, что они болѣе двадцати двухъ вѣковъ служатъ удивленіемъ и образцомъ для врачей и людей всякаго класса и званія (§ 59), и если авторъ «прагматическаго сочиненія» считаетъ особеннымъ счастіемъ писать объ Иппократѣ и самымъ приятнымъ наслажденіемъ въ жизни говорить и думать о немъ! (§ 68).*

Странное наслажденіе — говорить о томъ, что для насъ непонятно!

О томъ, что Иппократъ ходилъ въ шляпѣ, вы уже знаете. Авторъ сообщаетъ еще любопытныя свѣденія объ его голосѣ, разговорѣ и скромности съ женщинами. Вы спрашиваете: откуда почерпнуты всѣ эти извѣстія? Въ отвѣтъ, авторъ представляетъ вамъ въ началѣ «прагматическаго сочиненія» списокъ *источниковъ*, которыми онъ будто-бы «руководствовался». Весь списокъ *источниковъ* состоитъ изъ сочиненій новѣйшихъ писателей, и въ число этихъ несомнѣнныхъ авторитетовъ онъ вноситъ разные краткіе курсы исторіи медицины, даже жалкій лексиконъ медицинскихъ ученыхъ, Кестнера. Какъ-будто писатели шестнадцатаго, семнадцатаго и восемнадцатаго столѣтій могутъ-быть свидѣтелями объ Иппократѣ! Какъ-будто какой-нибудь Мейбомій (неизвѣстно даже, который изъ четырехъ) можетъ сообщить изыскателю

родословную линію, нисходящую отъ Эскулапа! (§ 5). Между-тѣмъ на нихъ-то, вѣроятно, ссылается «прагматическое сочиненіе» въ безпрерывныхъ возгласахъ своихъ: *По свидѣтельству всѣхъ историковъ!... По единогласному показанію большинства дѣствительныхъ писателей!...* не приводя ни словъ этихъ свидѣтелей, ни имѣть, откуда имъ взяты эти показанія (§§ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 45, 48, и другіе).

Въ другомъ снѣжѣ *источниковъ вѣрныхъ свѣдѣній о жизни* Иппократа, авторъ показываетъ четырехъ писателей, Сорана и трехъ византійскихъ, Стефана, Свидаса и Цецеса, котораго онъ называетъ *Чечесомъ*. И ни съ однимъ изъ этихъ странныхъ *источниковъ* онъ даже не справлялся.

Въ изданіяхъ сочиненій Иппократа обыкновенно помѣщаютъ, составленное неизвѣстно кѣмъ и когда, сказаніе *О жизни и родѣ Иппократа, по Сорану*. Слѣдовательно, это сказаніе не могло бы назваться «вѣрнымъ свѣденіемъ» даже и въ такомъ случаѣ, когда бы мы знали, кто былъ Соранъ и предположили, что онъ заслуживалъ нашего довѣрія. Но и этого Сорана никто не знаетъ. Были два Сорана, извѣстные эфезскіе врачи. Первый изъ нихъ, жившій во время Адріана и Траяна, около семи столѣтій послѣ Иппократа, не могъ быть поставщикомъ матеріаловъ для этого сказанія: Галенъ и Авреліанъ съ уваженіемъ отзываются объ его сочиненіяхъ и приводятъ ихъ названія, но они нигдѣ не говорятъ, чтобы этотъ Соранъ писалъ что-нибудь объ Иппократѣ. Другой Соранъ, предшественникъ Орибазія и Аэція, дѣйствительно

писаль *О житіяхъ и сектахъ врачей*: сочинитель сказанія могъ читать его рукопись и заимствовать изъ нея нѣкоторыя мѣста, но твореніе этого втораго Сорана до насъ не дошло, и мы не знаемъ, въ какой степени самъ онъ былъ достоинъ вѣры и вниманія нашего. Во всякомъ случаѣ рассказы его никогда не могли бъ быть признаны источникомъ вѣрныхъ свѣдѣній объ Иппократѣ, потому-что онъ жилъ въ четвертомъ столѣтіи, слѣдовательно, около восьми сотъ лѣтъ послѣ него. Но и безъ того онъ не стоить уваженія: упоминаетъ о сочиненіяхъ, которыхъ онъ не могъ читать, которыя пропали за нѣсколько вѣковъ до него — и на какія притомъ сочиненія!.. на *Врачебную родословную* Андрея Медика, современника Птолемея, шарлатана, наполнившаго фармакологию магическими и суевѣрными средствами — ссылается на астронома Эратосѣена, жившаго спустя два столѣтія послѣ Иппократа, на Аполлодора, писателя втораго столѣтія, на Истомаха, неизвѣстнаго автора неизвѣстной книги *Объ Иппократической сектѣ*, и наконецъ свидѣтельствуется Сораномъ Коскимъ, Ферекидомъ и Аріемъ Тарсейцемъ, которые жили неизвѣстно когда и не оставили по себѣ никакихъ сочиненій. Каковы источники, таково и сказаніе: оно наполнено грубыми вымыслами, легкомысленными сплетнями, подробностями противорѣчащими логикѣ, исторіи и себѣ самимъ. Это скорѣе дѣтская сказка, чѣмъ біографическій рассказъ.

Кто же таковы почтенные Византійцы Свидасъ, Стефанъ и Цецесъ? Компиляторы, безъ критики и толку, которые просто сократили это смѣшное сказа-

ніе. И притомъ Стефанъ, изъ котораго «прагматическое сочиненіе» заимствуетъ *вѣрные свѣденія о жизни Иппократа*, не говоритъ объ немъ ни одного слова: онъ говоритъ только объ его предкахъ! Вотъ его слова: «*Ко, городъ и островъ. А отъ него получили названіе врачи Иппократъ и Эрасистратъ. А Иппократъ былъ изъ роду Небра. А Небръ былъ самый знаменитый изъ Асклепіадовъ: что засвидѣтельствовала и Пивіа; а отъ него родился Гнозидикъ; отъ Гнозидика Иппократъ и Эній и Подалирь. Отъ Иппократа Гераклидъ, и отъ него же знаменитый Иппократъ, оставившій удивительныя сочиненія*». Все!

У Цецеса, объ Иппократѣ находится около двадцати пяти дрянныхъ стиховъ, занятыхъ бѣльшею частію простымъ исчисленіемъ именъ его предковъ, учителей, сыновей и ихъ учителей. О жизни его Цецесь сообщаетъ всего одно только обстоятельство; но оно наноситъ жестокий ударъ нравственности Иппократа. Цецесь-то положительно и увѣряетъ, что онъ, будучи сдѣланъ библіотекаремъ въ Ко, сжегъ книги и шкафы и бѣжалъ въ Грецію. О! если бы «прагматическое сочиненіе» прежде знало объ этомъ!.... Отдѣлало бы оно его по-свойски! Теперь ужъ нечего дѣлать: его свѣденіе о жизни Иппократа признано *вѣрнымъ*. Изъ послѣднихъ четырехъ стиховъ Цецеса нельзя извлечь ничего для біографіи: они заключаютъ въ себѣ слѣдующее сухое и пошлое извѣстіе: *Онъ былъ современникъ Артаксерксу и Пердиккѣ, училъ медицину, написалъ пятьдесятъ три сочиненія, умеръ на сто-*

четвертомъ году отъ роду и похороненъ между Лариссою и Гиртономъ.

Теперь, вотъ *вѣрные* свѣденія Свидаса:

«*Иппократъ*, съ острова Ко, врачъ, сынъ Гераклида, былъ весьма искусенъ въ медицинской наукѣ. Предпочитается дѣду своему, отцу Гераклида, хоть и называется одинаковымъ именемъ, зато, что былъ какъ-бы звездой медицины, необходимой для жизни. Онъ — изъ потомковъ Хриза и сына его, Элаеа, также врачей. Сначала учился онъ у отца своего, а потомъ у Геродика (Продика), изъ Селимбрии, да у Горгіаса, оратора и философа: а *нѣкоторые говорятъ*, у Демокрита изъ Абдеры. *Разсказываютъ*, будто Иппократъ въ юности путешествовалъ къ нему. *Нѣкоторые же думаютъ*, будто онъ былъ ученикъ и *Продика*. Жилъ въ Македоніи и былъ любимъ царемъ Пердиккою. А сыновей имѣлъ двухъ, Θεσσαλα и Δρακωνα. Умеръ на сто-четвертомъ году жизни. Похороненъ въ Лариссѣ, что въ Θεσσαλίи. Сочинялъ много и отъ себя *ведетъ* знаменитъ дотого, что великій царь персскій, по имени Артаксерксъ, письмомъ къ Гистану, искалъ помощи въ искусствѣ Иппократа. (Слѣдуетъ подложное письмо къ Гистану). Сочиненія его извѣстны всѣмъ врачамъ, и такъ ими цѣнятся, что они считаютъ ихъ за небесный глаголь, а не за человѣческія рѣчи».

Что же тутъ можно найти *вѣрнаго*, или даже *невѣрнаго*, для жизни Иппократа? При всей помощи «думаютъ», да «разсказываютъ», мы узнаемъ только одни имена его учителей и сыновей, и то, что извѣстно всякому и безъ этихъ писателей, а именно,

что онъ жилъ, писалъ о медицинѣ, и умеръ: когда?.... никто не знаетъ!

Посмотримъ писателей, болѣе близкихъ къ его вѣку.

Сократъ и Платонъ жили въ одно время съ нимъ, но были значительно моложе его. У Платона, въ «Протагорѣ», Сократъ говоритъ Иппократу, Аполлодорову сыну: «Скажи, Иппократъ: еслибъ ты обратился къ твоему соименнику, Иппократу, что въ Ко, изъ Эскулаповичей, и далъ ему за себя денегъ, и у тебя бы спросили, кому ты приносишь деньги, принося ихъ Иппократу, что бы отвѣчалъ ты?» — «Что я приношу ихъ ему какъ врачу». — «Съ какою цѣлью»? — «Чтобы сдѣлаться самому врачомъ». Это мѣсто — единственное дошедшее до насъ доказательство, что Иппократъ былъ современникъ Сократа, и что въ то время, когда Платонъ писалъ, сочиненія Иппократа были уже весьма извѣстны въ Греціи. Въ «Федрѣ», и во многихъ другихъ мѣстахъ, гдѣ заходитъ рѣчь о медицинѣ, Платонъ часто произноситъ имя Иппократа, и Тиршъ замѣтилъ, что онъ иногда даже говорить его словами. Опредѣленіе медицины у него — чисто-иппократическое. «Медицина состоитъ въ познаніи того, что въ тѣлѣ человѣческомъ требуетъ *пополненія и очищенія*». Это сходство мыслей и словъ Платона и Иппократа особенно относится къ книгамъ объ афоризмахъ, о предсказаніяхъ, и о діетѣ въ острыхъ болѣзняхъ: эти книги, слѣдовательно, подлинно Иппократовы. Къ нимъ должно еще присоединить книгу «О старинной медицинѣ», потому что ея мысли проявляются въ Платоновомъ «Федрѣ». Сократъ спрашиваетъ Федра: «Не

Соч. Сенковск. Т. VІІІ.

думаешь ли ты, что можно понять до известной степени природу души не изучая природы всего созданнаго?» Федръ отвѣчаетъ: «Если вѣрить Иппократу, изъ Эскулаповичей, то нельзя понять природы тѣла иначе какъ по этой методѣ». — «Это очень хорошо. мой другъ, возражаетъ Сократъ, что Иппократъ такъ говорить: но, кромѣ его, должно спрашивать разсудокъ и посмотрѣть, согласенъ ли онъ съ нимъ», и прочая.

Аристофанъ, второй современникъ, въ комедіи «Thesphorizousai», заставляетъ Эврипида клясться эеиromъ, въ которомъ обитаетъ Юпитеръ, а Мнесилохъ ему говорить: «Клянись лучше Иппократовой клятвой!» И тотъ клянется всѣми богами. Къ Иппократу самому этотъ намекъ вовсе не относится. Неизвѣстно даже, о какомъ говоритъ онъ Иппократѣ, котораго клятва, какъ кажется, сдѣлалась-было пословицею. Если рѣчь идетъ о той клятвѣ, которую мы знаемъ, то она неизбѣжно должна быть гораздо старѣе нашего Иппократа: иначе какъ могла бы она такъ скоро сдѣлаться пословицей и попасть въ комедію Аристофана? Надобно думать, что подъ названіемъ *клятвы Иппократа* Греки того времени вообще разумѣли клятву Эскулаповичей, клятву всѣми богами и богинями. Почему названа она Иппократовой, это другой вопросъ: можетъ-статься, она впервые сочинена была Иппократомъ Старымъ, знаменитымъ дѣдомъ нашего. А впрочемъ это имя было довольно обыкновенное. Въ собраніи такъ-называемыхъ Иппократовыхъ сочиненій, между которыми, какъ извѣстно, есть множество книгъ,

принадлежащихъ разнымъ древнимъ врачамъ, навѣрное находятся труды двухъ или трехъ Иппократовъ.

Ктесіасъ, врачъ книдійской школы, тоже изъ Эскулаповичей, жилъ около временъ Иппократа. Участвовавъ въ походѣ Кира Младшаго, онъ прожилъ семь-надцать лѣтъ плѣнникомъ въ Персіи и пользовался довѣренностью Артаксеркса. Во время Галена 'еще существовали его сочиненія; нынче они затеряны, и только отрывки ихъ уцѣлѣли, въ собраніи Фотія. Изъ этихъ отрывковъ видно, что Ктесіасъ зналъ сочиненія Иппократа и славу его практики. Какъ воспитанникъ соперничающей школы, онъ вездѣ, гдѣ только было можно, вооружался противъ его ученія. Галенъ приводитъ образчики его критики, ѣдкой, но справедливой.

Аристотель, ученикъ Платона, былъ самъ изъ Эскулаповичей. Быть-можетъ онъ еще засталъ Иппократа въ живыхъ. Не удивительно, что у Аристотеля, члена одного и того же сословія съ Иппократомъ, одинаковыя выраженія и мысли попадаютъ еще чаще чѣмъ у Платона. Онъ притомъ зналъ и его сочиненія, и въ одномъ мѣстѣ даже называетъ его по имени, но присовокупляетъ 'эти замѣчательныя слова: «Говоря *великій Иппократъ* разумѣемъ подъ этой похвалою не человѣка, а врача» (Polit. VII, 4). Сохрани насъ, Господи, быть клеветниками Иппократа: но этотъ отзывъ Аристотеля, Эскулаповича, собрата, всегда поражалъ насъ непріятными мыслями о нравственности знаменитаго коскаго профессора. Чтò значить это при-
нужденное и подозрительное молчаніе всѣхъ современ-

никовъ о жизни и дѣйствіяхъ Иппократа, тогда какъ всѣ охотно говорятъ объ его медицинской славѣ? Почему Аристотель избѣгаетъ называть его по имени, и, назвавъ однажды съ похвалою, тотчасъ старается оговорить ее двумысленно и не очень выгодно для похваленнаго? Этотъ человѣкъ, или былъ лицо загадочное даже для своихъ современниковъ и ближайшаго потомства, или сдѣлалъ что-то недоброе! Всѣ, какъ-будто удерживаются говорить объ немъ только изъ уваженія къ его генію или, скорѣе, къ званію его «святаго человѣка» и Асклепіада. Позднѣйшіе писатели гораздо откровеннѣе: положимъ, и мы даже въ томъ увѣрены, что сожженіе библіотеки — басня, клевета Книдійцевъ; но въ древности было общее преданіе, что онъ бѣжалъ изъ своего отечества и скрылся у Македонцевъ. Варронъ и Плиній, люди умные и ученые, которые знали, что говорятъ, безъ обиняковъ приняли это преданіе. Оно прошло черезъ всѣ вѣка древности, до самого Цецеса. Благоразумныя наставленія, которыя Иппократъ даетъ врачамъ касательно ихъ поведенія, ничего не доказываютъ въ его пользу. Онъ училъ при храмѣ, и долженъ былъ учить такъ, какъ требовало сословіе. Эти наставленія онъ слышалъ отъ своихъ учителей и только повторялъ ихъ. «Прагматическое сочиненіе», очень слабое въ латинскомъ языкѣ, приводитъ въ доказательство *благородства души* Иппократа выраженіе Цицерона насчетъ его, *medicus nobilissimus*, и переводитъ эти слова: *благороднѣйшій врачъ*. Оно здѣсь, какъ и вездѣ, жестоко ошибается: слова Цицерона значать — *лучшій, превосходнѣйшій*

врачъ, и съ благородствомъ души не имѣютъ никакой связи. Но оставимъ это. Кажется, что для біографическихъ выгодъ Иппократа, дѣйствительно, всего лучше слѣдовать примѣру его современниковъ: ничего не говорить объ его жизни.

Плутархъ во многихъ мѣстахъ упоминаетъ объ Иппократѣ, называетъ по имени двухъ учениковъ его, Аполлонія и Діоксиппа Коскаго, и иногда приводитъ его мнѣнія. (De Plac. philos. V, 18. De Prof. in veritate, и прочая.)

Наконецъ, какъ видно изъ Галена, Diocles Carystius, котораго древность назвала *вторымъ по времени и по славы* великимъ врачомъ своимъ, порицаетъ ученіе Иппократа касательно отношенія разныхъ болѣзней къ временамъ года и состоянію температуры; Mnesitheus Atheniensis, жившій вскорѣ послѣ Иппократа, подражаетъ его ученію. Герофилъ черезъ сто двадцать лѣтъ послѣ него пишетъ комментаріи на его сочиненія: эти комментаріи были въ рукахъ Галена, и Галенъ не извлекъ изъ нихъ ничего о жизни Иппократа!

Вотъ вся цѣпь свидѣтельствъ объ Иппократѣ. Изъ нихъ мы убѣждаемся только въ томъ, что онъ дѣйствительно принадлежалъ къ почтенному сословію Эскулаповичей, жилъ во времена Сократа, и училъ за деньги, на зло «прагматическому сочиненію», которое утверждаетъ, будто *онъ не зналъ интереса и не разбѣзжалъ по городу въ коляскѣ какъ модный вольнопрактикующій докторъ*; что, уча за деньги и «не разбѣзжая по городу», онъ не могъ быть богатъ и

щедръ; что онъ написалъ нѣсколько сочиненій, сдѣлавшихся вскорѣ извѣстными, и пользовался славою великаго врача; и что когда въ его время говорили *великій Иппократъ*, то подъ этою похвалою разумѣли только врача, а не человѣка. Непріятно, но правда, и дѣлать нечего. Больше рѣшительно нѣтъ никакихъ объ немъ подробностей, кромѣ, можетъ-быть, того, что въ древности всегда существовало преданіе о бѣгствѣ его изъ отечества въ сѣверную Грецію, бѣгствѣ, котораго настоящей причины никто не знаетъ, и что очень умные и ученые люди вѣрили этому преданію. Все прочее — выдумка.

Многіе старались, по упоминаніямъ Платона, опредѣлить годъ рожденія Иппократа. Это пустая затѣя. Въ вымышленныхъ разговорахъ не можетъ быть соблюдена точная хронологія всѣхъ обстоятельствъ, на которыя намекають дѣйствующія лица.

Преданіе о томъ, будто Иппократъ жилъ около ста десяти лѣтъ, явственный вымыселъ иппократистовъ, которые хотѣли только показать этимъ, какъ чудесна медицина ихъ учителя: она заставляетъ жить болѣе ста лѣтъ!

Родословная его, отъ Эскулапа и Геркулеса, и отъ Небра, благороднѣйшаго изъ потомковъ Эскулапа, не стоитъ никакого вниманія. Это плодъ хвастовства иппократистовъ, выдумка совершенно въ духѣ классическаго шарлатанства.

Разсказъ о томъ, будто онъ началъ практиковать съ третьяго года своей жизни и будто на тридцать-первомъ году было у него два сына, уже искусные

въ медицинѣ, и зять — этотъ непостижимый рассказъ «прагматическаго сочиненія» въ состояніи изумить всѣхъ читателей. У древнихъ Грековъ воспитаніе продолжалось до тридцати лѣтъ, и законъ запрещалъ имъ вступать въ бракъ прежде тридцати семи лѣтъ. Это извѣстно всякому.

О пребываніи Иппократа при дворѣ Пердикки Второго и остроумномъ угаданіи его жестокой болѣзни «прагматическое сочиненіе» можетъ рассказывать что угодно, но это старая шутка. Та же самая исторія рассказывается объ Эрасистратѣ, угадавшемъ по пульсу царя Селевка, что страданія его происходятъ отъ любви къ одной фавориткѣ. Ни о страсти царя Пердикки къ Филѣ (Phyla: «прагматическое сочиненіе» превращаетъ ее въ Филу), ни объ его болѣзни, ни объ исцѣленіи Иппократомъ и Эвринеономъ не упоминаетъ исторія.

Подвигъ, оказанный Иппократомъ въ истребленіи аѳинской чумы — нелѣпая сплетня иппократистовъ, старая, возобновленная древними невѣждами исторія о знаменитомъ врачѣ Акронѣ, который будто-бы оказалъ Аѳинянамъ ту же самую услугу. Ничего не бывало! Фукидидъ положительно говоритъ, что чума шла своимъ порядкомъ, и никакія, *ни человѣческія ни божескія* средства не могли остановить ея свирѣпости. «Врачи не знали, говоритъ онъ, какія употреблять лекарства; и сами по большей части умирали, потому-что имѣли больше сношеній съ народомъ». Если бы тутъ находился такой знаменитый врачъ какъ *великій* Иппократъ, то Фукидидъ, современникъ, конечно не забылъ бы упомянуть объ немъ въ этомъ мѣстѣ. И позволитель-

но ли, во врачебной книгѣ, въ наше время, повторять сказку о томъ, будто-бы чуму можно остановить зажженными кострами? А если чума не была остановлена, если, какъ видно изъ Фукидида, Иппократа тутъ не было, то что тогда значать эти почести, будто-бы оказанныя великому врачу-спасителю благодарными Аѳинянами? и этотъ декретъ ихъ въ пользу Иппократа? и эта забавная рѣчь сына его, Ѳессала? и это, во время чумы пришедшее изъ Персіи приглашеніе ѣхать къ царю Артаксерксу и спасать его войско? и этотъ великодушно-смѣшной отказъ Иппократа: не поѣду!.... *вы* дескать, *врачи Грековъ*, Ариманъ поberi васъ всѣхъ!!... *я богатъ* и моя нравственность не позволяетъ мнѣ ѣхать въ Персію, когда у меня есть деньги. Такова сущность этого смѣшнаго письма, хотя слова — другія. Не явные ли это подлоги? Кто имъ вѣрить?... Всѣ эти легенды съ давняго времени присоединяются къ собранію сочиненій Иппократовыхъ; ихъ знали Варронъ и Плиній, но еще Катонъ смѣялся надъ ними. Аэцій и авторъ *De Theriaca ad Pisonem* присоединяютъ къ нимъ еще подробное описаніе того, какъ Иппократъ зажигалъ большіе костры въ горахъ и вѣшалъ вѣнки изъ душистыхъ цвѣтовъ, а Актуарій приводятъ даже рецептъ антидота Иппократова противъ чумы. Необдуманнѣйшій энтузіазмъ вводитъ людей въ большія странности! Прагматическому сочиненію можетъ-статься извѣстно, а можетъ и нѣтъ, что въ 1652 году Fabser Catrinovidarensis открылъ въ Иппократовыхъ сочиненіяхъ и рецептъ для составленія философскаго камня *.

* См. Chr. Democriti, Krankheit und Arznei, 1736, Frankf.

Еще одно, краткое, но необходимое, замѣчаніе насчетъ чумы. *Иллирійцы прислали почетное посольство къ Иппократу съ просьбою, чтобъ онъ поспѣшилъ къ нимъ для прекращенія чумы, которая всю эту страну опустошала ужаснымъ образомъ. Причиною отказа его было опасеніе его, что чума можетъ быть скоро занесена тѣми же вѣтрами въ Фессалію и всю Грецію (§ 27).* Это несправедливо: ходъ афинской чумы былъ не таковъ. Не черезъ Иллирію, Фессалію и Вiotію перешла она въ Аттику: «а прежде всего началась въ Эѳіопіи, что выше Египта, говоритъ Фукидидъ: оттуда сошла внизъ въ Египетъ и Ливію и въ огромную землю Царя, и потомъ вдругъ перешла въ городъ Аѳинянъ. И прежде всего заразила людей въ Пирей: поэтому они думали, что Пелопенезцы отравили колодцы—водопроводы тамъ еще не были устроены—но скоро язва перешла и въ верхній городъ, и тогда уже умирали отъ нея въ большомъ числѣ».

Для полноты всякихъ басней, «прагматическое сочиненіе» приводитъ еще *преданіе* о дочери Иппократа, обращенной Діаною въ ужасное чудовище. Она окружена безчисленными, самыми драгоценными сокровищами; но прежній прекрасный свой видъ можетъ получить не прежде, какъ когда кто-либо изъ рыцарей (!), а не кто другой, поцѣлуетъ ее съ любовію въ самыя уста (§ 55). И «прагматическое сочиненіе» употребляетъ все свое остроуміе, чтобы объяснить *тайну сущности этой выдумки*. Наконецъ оно розобрало ее, добилось въ ней до смысла: Діана, это—многообразныя болѣзни, дочь Иппократа—медицина, а смѣль-

чакъ—тотъ врачъ, который будетъ имѣть смѣлость и терпѣніе проникнуть тайны медицины, безъ отвращенія ко всѣмъ ужасамъ, съ которыми сопряжено познаніе этихъ тайнъ. Что же! «Прагматическое сочиненіе» и не подозреваетъ, что это смѣшное преданіе относится къ дочери, вовсе не того Иппократа, о которомъ оно размышляетъ съ благоговѣніемъ, а другаго Иппократа, прежняго владѣтеля острововъ Станкьой и Лонго! Эта сказка принадлежитъ легковѣрному Mandevye, который даже отъ-души сожалѣетъ, что ему не удалось видѣть этого чудовища въ сто тоазовъ длины. (Itiner. cap. 6).

Оправданіе Иппократа, будто-бы обвиняемаго въ безбожіи, просто такое же недоумѣніе какъ все прочее въ этой прагматической книгѣ. Въ книгахъ о падучей болѣзни и о сложеніи женщинъ, внесенныхъ въ собраніе сочиненій Иппократа, но вовсе ему не принадлежащихъ, находятся насмѣшки надъ народными суевѣріями, надъ очищеніями, продавцами амулетовъ, и такъ далѣе. Основываясь на этомъ, Іоаннъ Mosheim въ семнадцатомъ столѣтіи, Gundling (а не Gundlindius) и Karl Dreylincourt въ восемнадцатомъ, были главными обвинителями Иппократа въ безбожіи. Fabricius и Stephanus Bellunensis опровергали это странное мнѣніе, а Triller, Gölicke и Андрей Schmidt старались даже подвести религіозныя правила Иппократа подъ начала Священнаго Писанія. Споръ былъ основанъ на недоразумѣніи и упалъ самъ собою. Если бы прагматическое сочиненіе, при этомъ случаѣ, прочитало хоть нѣсколько страницъ Триллера и Гёлике, то оно

бы не ссылалось на авторитетъ такихъ чудовищныхъ книгъ. А если бы оно хорошенько поняло съ самаго начала, что Асклеіады и эти знаменитые «жрецы» были одно и то же, что Иппократъ былъ самъ «святой чело-вѣкъ» Эскулапа и принадлежалъ къ этому врачебно-духовному братству, или сословію, что врачебное искусство было частью религіи у Грековъ, священнымъ учрежденіемъ господствующей вѣры, что духовное лицо не можетъ насмѣхаться надъ обрядами, каковы бы они ни были, и что въ вѣкъ Сократа такія шутки оканчивались очень дурно для острослововъ, то оно и не начинало бы пустаго оправданія въ невозможномъ преступленіи. Хотя около временъ Иппократа уже было много мелкихъ вольнопрактикующихъ врачей, большею частью шарлатановъ, независящихъ отъ полиціи капищъ Эскулапа, однакожъ главное и особенно уважаемое всѣми врачебное сословіе составляли служители этого божества, главная медицинская практика, въ храмахъ и въ городѣ, производилась Асклеіадами, наследственною духовно-врачебною братьею, сословіемъ, къ которое никто не проникалъ безъ формальнаго посвященія въ «оргіи» его завѣтнаго званія, *epistêmê*, и отъ котораго, проникнувъ туда, надобно было потомъ завистѣть. Настоящее искусство и настоящая наука были тамъ. Довѣріе общества къ этимъ священнымъ заведеніямъ было непоколебимо, доколѣ все зданіе языческой вѣры не начало разрушаться отъ дѣйствія философіи. Иппократъ и другіе члены сословія, какъ уже сказано, писали свои врачебныя руководства для нихъ, для капищной медицины, и сообразуясь съ ея духомъ; писали для

служителей божества и ихъ науки, а не для публики: этою идеей надобно глубоко проникнуться приступая къ чтенію Иппократа; тогда только ученіе его становится понятнымъ, его правила совершенно естественными. Даже и то, что онъ говорить о примѣрномъ поведеніи и *благопристойной наружности* врача, должно быть понимаемо въ смыслѣ важности и святости сословія, а не личной нравственности учителя: это катихизисъ братства. Врачи жили обыкновенно возлѣ капищъ; хотя многіе изъ нихъ бывали въ отлучкѣ для практики и смѣшивались съ обществомъ, однакожъ и тѣ не отставали отъ капищъ, центровъ сословія, и *сами* посылали туда своихъ больныхъ. Кажется, что одна только хирургія составляла ихъ виѣшнюю практику, а настоящія болѣзни, особенно когда пациентъ былъ богатъ и могъ сдѣлать хорошій подарокъ асклепю, отсылались туда: при ихъ крѣпко экспективной медицинѣ, число пациентовъ въ храмахъ не могло быть значительно. На инкубаци, или проявленія божества больному, не должно смотрѣть какъ на «скоморошество», но какъ на врачебное средство внушенія душевнаго спокойствія и полного довѣрія къ лѣкарству при помощи религіи, потому-что религія сливалась у Грековъ со всѣми обстоятельствами жизни. Самый невѣрующій врачъ не могъ не считать, по чистой совѣсти, этого средства необходимымъ съ такимъ суевѣрнымъ народомъ какъ древніе Греки. Но лучшіе языческіе врачи и самъ Иппократъ также твердо вѣровали въ помощь Эскулапа какъ нынѣшніе восточные въ силу Алкорана, тамъ, гдѣ искусство было недостаточно. У Эліана (XII, I), есть письмо Аспазіи къ Перик-

лу, вымышленное, писанное очень поздно, но писанное еще въ виду нравовъ этого страннаго міра, въ которомъ философія и ханжество держались объ-руку, возвышенное одѣвалось въ плащъ смѣшнаго, и изящное купалось въ лужахъ грязи; но это письмо даетъ хорошее понятіе о томъ, какъ производились инкубаціи, по-крайней-мѣрѣ во время его сочинителя. Разные виды этого таинственнаго леченія имѣли различныя названія: видѣніе лекарства составляло *теорему*; явленіе бога во снѣ называлось *крѣматокене*, а сонъ, имѣвшій образъ происшествія, былъ *аллегорія*, подлежащая толкованію самихъ «слугъ бога».

«АСПАЗІЯ ПЕРИКЛУ ЖЕЛАЕТЪ ЗДОРОВЬЯ».

«Подальрь! (сынъ Эскулапа) Подальрь! наученный любовію искусству лечить, ты, который посвятилъ свою науку любви, благодарю тебя! Аѳины еще увидятъ меня красавицей; я ничего не утратила изъ моихъ предестей, и Периклъ снова найдетъ свою Аспазію такую, какую онъ любилъ. Подальрь! еще разъ благодарю тебя! И ты, любезный Периклъ, благодари его также. Я не хотѣла писать къ тебѣ, не удостоившись въ моемъ исцѣленіи. Сейчасъ ты узнаешь все мое путешествіе. Я послѣдовала въ точности совѣту Нократеса, этого мудраго и искуснаго врача, и поѣхала сначала въ Мемфисъ, чтобы посѣтить храмъ Изиды, но безъ всякаго успѣха. Я видѣла богиню, и ея сына Оруса, сѣдящихъ на тронѣ, поддерживаемомъ двумя львами; себесты обвиваютъ ихъ алтари, на которыхъ утромъ курится ладонь, въ полдень мирра, вечеромъ кифъ. Меня увѣряли, что юный Александръ

незадолго приходилъ въ этотъ храмъ мечтать, въ надеждѣ получить откровеніе лекарства для своего друга Птолемея, и что мольбы его скоро исполнились. Я же, какъ и онъ, спала въ этомъ храмѣ и не исцѣлилась. Изъ Мемфиса я отправилась далѣе и прибыла въ Патрасъ: тамъ въ храмѣ я видѣла богиню (здоровья, дочь Эскулапа) Гигію, не въ томъ видѣ, какъ Аристофанъ представляетъ намъ ее, когда она исцѣляетъ Плутона, не стройную и легкую, не въ воздушномъ облаченіи и короткой туникѣ, не съ вѣткою въ рукахъ, на которую бросается змѣй, но.... въ видѣ таинственного пяти-угольника! Сначала я сдѣлала набожный ходъ къ ключу, и, положивъ жертву къ ногамъ доброй богини, по приказанію ея служителей посмотрѣлась въ зеркало, плававшее на поверхности воды, и не была исцѣлена. На ночь мы поѣхали въ Пергамію и оттуда въ Герину; но боги, казалось, также спали, какъ и унылая Аспазія. Вдругъ слышу имя Подалира и, на вопросъ мой, узнаю, что его храмъ въ Накератѣ: я спѣшу туда, немедленно по приѣздѣ иду купаться въ рѣкѣ Альтоносъ и умащаю себя душистыми бальсами, которые Зосимъ, нашъ другъ, отдалъ мнѣ въ храмѣ Меркурія въ тотъ день, какъ я оставила Аѣины. Наконецъ я начала молиться, чтобъ сподобиться отвѣтовъ бога, и вечеромъ легла на бараньей кожѣ, подлѣ колонны. Скоро я пришла въ то состояніе, когда уже не бодрствуешь, но и сонъ еще не совсѣмъ овладѣлъ чувствами, и мнѣ казалось, будто слабый свѣтъ разливается около меня. Повѣришь ли? такъ! божій Эскулапъ явился мнѣ съ двумя

дочерями своими, окруженный свѣтлымъ облакомъ, и общалъ мнѣ исцѣленіе. Тогда я крѣпко заснула, и къ разсвѣту увидѣла Киприду. Киприда, вѣрный другъ Подалира, явилась мнѣ сама: я узнала ее, хотя она приняла на себя образъ голубя *). Она явилась, и меня исцѣлила. Подалирь, Эскулапъ и Киприда! всякій день вамъ будетъ возноситься ѳиміамъ изъ рукъ Аспазіи и моего любезнаго Перикла. Теперь я расскажу тебѣ сонъ одной Данаянки, спавшей подлѣ меня. Она страдала грудями, и вотъ ея сонъ: она видѣла юнаго бога Гарпократа, лежащаго на морѣ, въ пеленкахъ съ головы до ногъ; онъ казался слабымъ, кричалъ какъ дитя, и просилъ сосать у больной. После того ей приснилось, будто ягненокъ сосалъ ея грудь. Сонъ объяснили: онъ назначалъ употребленіе какого-то растенія; въ ожиданіи исполненія, ей предписали питаться варенымъ виноградомъ. Но довольно о снахъ, мудрый Периклъ: ты можешь-быть смѣешься. Какъ хочешь, а то не сонъ, что я исцѣлилась и люблю тебя. Прощай!»

Эскулапъ, какъ увѣряли Павсанія въ эгрійскомъ храмѣ этого бога, былъ олицетвореніе воздуха, а отецъ его Аполлонъ — олицетвореніе солнца, управляющаго временами года и сообщающаго атмосферѣ ея здоровыя свойства. Отсюда и выборъ мѣстъ съ самымъ воздухомъ для капищъ Эскулапа, и эта важ-

*) Вѣрно, и Подалирь, и Эскулапъ съ дочерьми, явились ей въ подобномъ же видѣ: она увидѣла змѣю, собаку, или другихъ эмблематическихъ животныхъ, а «слуги боговъ» сказали, что это они!

ность воздуха и временъ года въ старообрядномъ ученіи Иппократа. Отправленіе больного въ храмъ Эскулапа, часто даже отдаленный, равнялось нашимъ путешествіямъ къ минеральнымъ водамъ или просто за границу для воздуха и перемѣны образа жизни. Въ Карльсбадѣ и Крейцнахѣ, у Грековъ, были бы непременно храмы Эскулапа: неужели же по этому случаю мы произвели бы тамошнихъ почтенныхъ докторовъ въ *жрецы* и *скоморохи*? Ксенофонтъ и Павсаній говорятъ, что врачи слѣдовали на войну за арміей и, на полѣ сраженія, находились возлѣ полководца, и Павсаній называетъ ихъ положительно *theou douloi*, *слугами бога*. Въ Аѣинахъ было много этихъ слугъ бога, и Платонъ даетъ имъ эпитетъ *komproi Asklepiadaí*, *благопристойные Эскулаповичи*: такъ видно, у нихъ была своя книга *De decenti ornatu* и такая же присяга, какъ та, которую выдаютъ намъ за плодъ высокой нравственности Иппократа!

Мы уже сказали, что заслуги Иппократа относительно къ медицинѣ чрезвычайно преувеличены: одинъ только недостатокъ въ нужныхъ познаніяхъ можетъ приходить въ неописанный восторгъ при его имени. Задолго до него искусство получило ученое направленіе и большая дѣятельность господствовала въ полезномъ сословіи «слугъ бога». Эврифонъ, редакторъ книдскихъ врачебныхъ афоризмовъ, *Cnidiae gnomaе*, предшествовалъ Иппократу: Галенъ, Руфъ и Целій, ссылаются на его сочиненія; Платонъ Комикъ упоминаетъ объ немъ, какъ о знаменитомъ современномъ врачѣ, и описываетъ Кинесіаса, послѣ болѣзни груди,

сухимъ какъ скелетъ: грудь его полна гною, ноги сухи какъ тростникъ, и все тѣло покрыто эсхарами, выжженными Эврифономъ. При дворѣ Артаксеркса Перваго былъ Аполлоній, искусный Асклепиадъ, родомъ съ острова Ко. При Артаксерксѣ Мнемонъ славился Ктесіасъ, современникъ Иппократа, тоже Эскулаповичъ. Дворъ македонскій былъ наполненъ врачами. Въ Аѳинахъ были нѣкогда весьма знаменитые врачи, Acron, Archidamos, Ariston, оставившій особенную микстуру противъ ломоты, Demokedes изъ Кротоны, современникъ Пиагора, Epicharmos, врачъ, поэтъ и философъ, соотечественникъ Иппократа, ученикъ Пиагора. Далѣе, извѣстны Nocrates, Prodicus, Philetas, Metrodoros, Cleophanes, и множество другихъ. Эта тма врачей, которыхъ искусство и слава не подвержены сомнѣнію, вся, или опередила Иппократа или была ему современна. Зачѣмъ же мы станемъ обвинять въ медицинскомъ невѣжествѣ вѣкъ, который произвелъ ихъ? Во время Галена, Эврифоновы гномы, это древнее сочиненіе книдійской школы, еще существовали: онъ приводитъ изъ него раздѣленіе болѣзней. Эврифонъ писалъ и другія сочиненія, и школа Иппократа приняла ихъ. Такимъ образомъ во второй книгѣ «О болѣзняхъ» есть отрывокъ, слово въ слово одинаковый съ помѣщеннымъ у Галена, который заимствовалъ его изъ Эврифона: значить, Иппократъ Гераклидовичъ изволилъ присвоить себѣ чужое добро, а это очень непохвально. Въ книгѣ, приписанной Иппократу, о сложеніи костей, отрывокъ, начинающійся словами—«Большія вены такъ расположены», приве-

день тоже слово въ слово у Аристотеля, который говоритъ, что это — трудъ одного кипрскаго врача: школа Иппократова видно нашла его довольно хорошимъ, что посягнула на хищничество! Подобныхъ доказательствъ тогдашней дѣятельности въ медицинской литературѣ можно представить много: самъ Иппократъ упоминаетъ въ разныхъ мѣстахъ о медицинскихъ писателяхъ того времени. Во многихъ мѣстахъ онъ очень вразумительно ссылается на сочиненія *древнихъ* и приводитъ ихъ мысли. Еще разительнѣе видно цвѣтущее съ давняго времени состояніе науки изъ твореній современниковъ или предшественниковъ Иппократа: мы находимъ въ нихъ ссылки на множество сочиненій, не дошедшихъ до насъ. Авторъ книги «De Articulationibus» ссылается на трактатъ *о треніяхъ*, общаетъ изложить строеніе желѣзъ, объяснить леченіе искривленій позвоночнаго столба, показать соединеніе артерій съ венами, ихъ происхожденіе и дѣйствіе. Авторъ второй книги *Предсказаній* упоминаетъ о сочиненіи объ эмпіемѣ, объ острыхъ болѣзняхъ, о лихорадкахъ, являющихся безъ явныхъ причинъ, объ офталміяхъ, и прочая. Авторъ книги «De Affectionibus» безпрестанно ссылается на свои творенія объ эмпіемѣ, о чахоткѣ, о женскихъ болѣзняхъ, о глазахъ, о лихорадкѣ tertiana, quartana, и на какое-то фармакологическое сочиненіе. Авторъ четвертой книги «О болѣзняхъ», книгъ о человѣческой природѣ, о врачѣ, объ искусствѣ, дѣлаетъ множество ссылокъ на разные сочиненія, теперь погибшія. Куда скрылась эта масса книгъ, которая бы могла составить огромная библио-

теки? За это надо поблагодарить мессеръ Иппократа: его преувеличенная слава сдѣлала чрезвычайный вредъ наукѣ; всѣ покупали только его сочиненія; съ сочиненій другихъ, нѣкогда знаменитыхъ, врачей-наблюдателей мало дѣлалось списковъ; и эти драгоценныя рукописи постепенно всѣ уничтожились, по равнодушію къ нимъ иппократистовъ, тогда какъ мы безспорно нашли бы въ нихъ много замѣчаній вѣрнѣе и важнѣе Иппократовыхъ. О самомъ собраніи сочиненій Иппократа можно положить такую дилемму: или всѣ сочиненія, приписанныя Иппократу, ему принадлежатъ, или только самое малое число ихъ, допускаемое строго критикою. Если справедливо первое, то Иппократъ считалъ счастіемъ и высочайшимъ наслажденіемъ жизни безсовѣстно обирать чужія книги: не могъ же онъ одинъ написать этой массы книгъ, на которыя непрерывно дѣлаются ссылки! Если же справедливо второе, то еще яснѣе становится та истина, что не одному ему принадлежитъ честь такъ-называемой реформы медицины: многія сочиненія, приписанныя Иппократу, но не ему принадлежащія, не уступаютъ въ достоинствахъ лучшимъ твореніямъ великаго учителя и, безъ всякаго сомнѣнія, или современны имъ или еще древнѣе. Строгій разборъ коллекціи Иппократовыхъ твореній, этого ядра врачебной литературы, надѣлавшаго столько вреда и нѣсколько пользы роду человѣческому, могъ бы показать намъ любопытныя подробности постепеннаго развитія медицины въ разныхъ школахъ древней Греціи, еслибъ мы знали имя автора cadaго трактата, входящаго въ со-

ставъ этой древней медицинской библіотеки. А кто безъ критики, безъ знанія дѣла, безъ всякаго понятія о ходѣ наукъ въ древности, приписываетъ Иппократу пятьдесятъ семь сочиненій, увѣряя себя, будто *вѣрность и точность ихъ опредѣлены всѣми писателями*, тотъ не судья въ этомъ дѣлѣ!

Въ то же время, среди этой ученой дѣятельности древней греческой медицины, мы находимъ боренія школъ, ученые пренія учителей между собою. Иппократъ критикуетъ творенія Эврифона, врачей, лечившихъ Иппосеена въ Лариссѣ, и Эвдема, мѣннія Продика, Писоклеса, и такъ далѣе. Авторъ четвертой книги «О Болѣзняхъ» возстаетъ на мѣніе врачей утверждающихъ, будто питье проходитъ въ дыхательное горло. Авторъ книги «De Affectionibus internis» обвиняетъ тѣхъ, которые думаютъ, будто появленіе песку въ мочѣ показываетъ камень въ пузырь, и, слѣдовательно, тутъ вмѣстѣ съ другими и Иппократъ подвергается его обвиненію. Ктесіасъ осмѣиваетъ Иппократа за *reductio ossis femoris*, Діоклесъ за тридцать-третій афоризмъ втораго отдѣленія. Трактаты о переломахъ, о сочлененіяхъ, и другіе, являются въ видѣ пространныхъ полемикъ противъ различныхъ методовъ.

Если философія наносила вредъ медицинѣ своими умозрительными гипотезами, зато она была въ состояніи принести ей большую пользу своими опытными наблюденіями. Въ кругъ ея входили тогда естественныя науки, анатомія, фізіологія, и даже значительная часть патологіи, извѣстная нынче подъ именемъ этиологіи. Анатомія философовъ должна была обратить

на себя все вниманіе Иппократа: но онъ не хотѣлъ воспользоваться ихъ открытіями, не имѣлъ самъ никакого понятія о внутреннемъ устройствѣ тѣла, и положивъ правиломъ наружное наблюденіе общаго типа болѣзней, на долгое время отвлекъ отъ анатоміи всю свою школу. Между-тѣмъ Алькмеонъ изъ Кротоны, за пять сотъ лѣтъ до Рождества Христова, разсѣкаетъ животныхъ. Поэма Эмпедокла о природѣ обнаруживаетъ въ немъ фізіологическія свѣденія. Діогену изъ Аполлоніи принадлежитъ трактатъ «О Природѣ» съ описаніемъ венъ и слѣдами понятія объ артеріяхъ: Аристотель зналъ это сочиненіе, а слова Плутарха доказываютъ, что Діогену было извѣстно различіе сосудовъ (De Plac. IV, 5). Наконецъ, Демокритъ, философъ и врачъ, котораго будто-бы лечилъ Иппократъ: древность прославляла его какъ опытнаго анатома, разсѣкавшаго животныхъ съ цѣлію открыть путь къ леченію внутреннихъ недуговъ, какъ писателя, котораго слогъ подобенъ голосу Юпитера (Sext. Empiric.), какъ основателя врачебной терминологіи, которую объясняли Гегесіанаксъ и Каллимахъ. Целій зналъ еще девять его сочиненій. Какъ же всѣмъ этимъ воспользовался Иппократъ? Срамъ сказать: отвергая все, что носило тогда имя философіи, онъ утверждаетъ, будто анатомія нужнѣе живописцу чѣмъ врачу! «Нѣкоторые утверждаютъ, будто невозможно знать медицины, не зная человека. Но эти рѣчи пахнутъ философіей (teinei es philosophian) — напимѣръ Эмпедокла и другихъ — которые, рассуждая о природѣ, начинаютъ съ того, что такое — человекъ, какъ онъ образуется, какъ происходитъ его

первоначальное устройство. *Что касается до меня, то я думаю, что все, что софисты (то есть, философы) и врачи говорили и писали об этом устройстве, меньше принадлежит врачебному искусству чѣмъ живописи*. (De Prisc. medic.). Послѣ этого можно пожалѣть, что киндская школа не восторжествовала въ борьбѣ съ «отцомъ раціональной медицины». У ея послѣдователей мы конечно нашли бы больше той «философіи», которую отвергалъ Иппократъ, то есть, анатоміи и фізіологіи, и подъ вліяніемъ этой школы медицина быть-можетъ двинулась бы гораздо скорѣе по пути настоящей раціональной науки.

Посмотримъ теперь Иппократово ученіе о болѣзняхъ, отъ котораго «прагматическое сочиненіе» въ такомъ восторгѣ, и за которое оно объявляетъ своему кумиру *удивленіе и благодарность* отъ имени *всѣхъ въ-ковъ*.

Скучный и бесполезный вопросъ объ элементахъ можетъ быть оставленъ всторонѣ: мы уже сказали объ немъ нѣсколько словъ прежде. Прочія общія мысли о природѣ также нисколько не любопытны: всѣ онѣ находятся у философовъ, жившихъ до Иппократа. Онъ уже засталъ ихъ въ медицинѣ. Механизмъ отправления былъ ему неизвѣстенъ. Приступимъ прямо къ жидкостямъ, или сокамъ, которыхъ тоже онъ не выдумалъ, хотя его и провозглашали первымъ гуморалистомъ древности.

Если соки находятся въ правильномъ *смѣшеніи* (crasis), то человекъ здоровъ: слѣдовательно болѣзнь есть нарушеніе правильности смѣшенія соковъ. Въ слу-

чаѣ разстройства этой правильности, одно изъ свойствъ соковъ изолируется, отдѣляется отъ прочихъ, и бродя по тѣлу, измѣняетъ соки, и производитъ признаки болѣзни. Для уничтоженія этой *причины* будущей болѣзни, «врожденная теплота», то есть сама природа, должна переварить свойства соковъ. Ея силою, соки собираются въ одно мѣсто, дѣлаются гуще, тягучее, въ нихъ образуется осадокъ, и наконецъ, дѣйствуя другъ на друга, они какъ-бы перевариваются вмѣстѣ. (De Prisc. med. 19). Это составляетъ *переварку* Иппократа, *coctio*, *perasmos*, процессъ необходимый, чтобы отнять у соковъ раздражающее свойство. Осадокъ, злокачественная непереваренная матерія, или гной, слѣдовательно существуютъ въ тѣлѣ, еще до болѣзни: природныя силы его, или возвратившееся къ правильности смѣшеніе соковъ, коротко сказать, природа, сама непременно выгонитъ эту матерію изъ тѣла посредствомъ *болѣзни*. Но матерія, выгоняемая силою природы, на путяхъ къ выходу острымъ своимъ свойствомъ привела бы въ раздраженіе всѣ органы. Для этого, она должна сдѣлаться, или мы должны сдѣлать ее, *удобною къ выходу*, *meabilis*, *euroi*.

Кто не видитъ, что эта теорія, въ которой проявляется и ученіе о теплотѣ, двигавшей тогда весь міръ, не что иное, какъ ученый фундаментъ, подведенный подъ простонародное понятіе всѣхъ странъ, что въ тѣлѣ почти всегда есть злокачественная матерія, а болѣзнь только выгоняетъ ее; что поэтому, болѣзнь не только неизбежна, но даже полезна: не надобно трогать ея, пусть выйдетъ вся матерія, чтобы тѣло

очистилось! Какъ простонародное и самое первое понятіе людей о болѣзни, оно по-необходимости было и основаніемъ старинной капищной медицины, къ правиламъ которой Иппократъ старался возратить науку, увлекаемую философіей въ противную сторону. Изъ этой идеи о пользѣ болѣзней для тѣла естественно происходятъ всѣ прочія, первоначальныя, священныя, правила Эскулапа, его капищъ, и Иппократа, а именно, спокойное наблюденіе одной только общей формы болѣзни и терпѣливое выжиданіе дѣйствія самой природы, съ маленькимъ и осторожнымъ пособіемъ со стороны искусства. Спрашивается: гдѣ же тутъ преобразование? или гдѣ тутъ новое?...

Усилія тѣла изгнать матерію Иппократъ называлъ *кризисомъ*, *crisis*, и различалъ два вида его — *критическое изверженіе* жидкостей кожею, верхомъ и низомъ, и *критическій переносъ*, *apostasis*. Гдѣ нѣтъ приличной дороги для выхода матеріи, или матерія не сдѣлалась удобною къ выходу, а усилія тѣла стремятся ее выгнать, тамъ она бросается на какой-нибудь органъ. Иппократъ зналъ три такихъ перехода — рожу, антоновъ огонь и опухоль сочлененій. Критическіе дни различны, по различію болѣзней, возрастовъ и временъ года, но постоянны въ извѣстныхъ общихъ формахъ страданія и при одинаковыхъ условіяхъ возрастовъ. Такъ думалъ Иппократъ, и послѣдователи его положительно утверждали, будто ему принадлежитъ слава правильнаго означенія критическихъ дней въ острыхъ болѣзняхъ, по которому дни 3, 4, 7, 14, 20 и 28 должно считать здѣсь рѣшительными. Не

отвергая, что Иппократъ могъ привести въ большую правильность ученіе о критическихъ дняхъ и подкрѣпить ихъ авторитетомъ наблюденій, нельзя однакожъ не видѣть, что самое ученіе существовало еще до него: числа 4 и 7 играли большую роль у Пифагора, у Египтянъ и у сирійскихъ мистиковъ. Идея безспорно — не его, потому-что и въ наблюденіяхъ, приводимыхъ самимъ Иппократомъ для поддержанія этой мысли, вѣроятно, пришедшей изъ Сиріи, вмѣстѣ съ богочитаніемъ Эскулапа, мы находимъ сильное опроверженіе ея. Въ сочиненіяхъ его разсѣяно около двухъ сотъ наблюденій. Изъ свода ихъ, числа дней 7, 14, 20 и 40, оказываются постояннѣе прочихъ, но это только въ 75 случаяхъ изъ 200. Изъ такихъ результатовъ нельзя было создать новой теоріи критическихъ дней: это только плохое доказательство идеи, существовавшей прежде и поддерживаемой по страсти къ старинѣ.

Прогностика составляла одну изъ самыхъ важныхъ частей ученія Иппократа. Это не было, какъ нынче, простое предсказаніе будущаго въ болѣзни: прогностика «святаго человѣка» заключала въ себѣ мысль о прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ. Иппократъ, незнакомый ни съ измѣненіями органовъ въ болѣзни, ни съ существомъ и качественными признаками ея, принималъ ее за что-то самобытное, имѣющее свой ходъ, развитіе и окончаніе. Одни общіе признаки составляли основаніе его прогностики: названіе, сущность и органъ болѣзни, ничего не значили въ его глазахъ. Этой системѣ, конечно, слѣдовало еще самъ

богъ Эскулапъ, потому-что иной, основанной на подробностяхъ, онъ и не могъ слѣдовать, а безъ нея незачтò было бы ему попасть въ боги. Такая прогностика — первый шагъ эмпирической медицины къ достоинству науки. И чтò бы безъ нея была медицина Иппократа? Наборъ фактовъ безъ связи и общаго значенія! Но, съ другой стороны, внутреннее достоинство такой прогностики слишкомъ ничтожно: это не болѣе, какъ наблюденія измѣненій въ исходящихъ изъ тѣла жидкостяхъ, описаніе знаковъ, предвѣщающихъ исходъ болѣзни, изученіе критическихъ движеній и свойствъ вещества, извергаемаго кризисомъ. Рядъ феноменовъ, которыхъ причины не считаютъ нужнымъ отыскивать, можетъ въ извѣстной степени опредѣлить заранѣе пути выхода недуга и самую помощь искусства, но болѣзнь все-таки останется чѣмъ-то общимъ, непонятнымъ, отвлеченнымъ, когда ея частности излишни для науки. Состояніе «слугъ бога» искони знало эту прогностику: храмовые врачи записывали и собирали признаки, предвѣщающіе исходъ болѣзни и, чтобы удивлять толпу пророчествомъ, изучали ихъ, дѣлали изъ нихъ выводы. Древній народъ, какъ и нынѣшній, съ изумленіемъ слушалъ предсказанія и по нимъ судилъ о свѣденіяхъ, умѣ и могуществѣ врачей. Съ другой стороны Иппократова прогностика носитъ на себѣ печать тогдашней діететики палестръ, изъ которой медицина почерпнула многое еще до Иппократа. Выраженіе лица и глазъ больнаго, подробности формы и полноты шеи, груди и оконечностей его, качества потовъ, изверженій, дыханія и аппетита, при-

знаки общіе и поверхностныя, поставлены въ параллель въ больномъ и здоровомъ человѣкѣ, какъ двѣ картины одна противъ другой, для сличенія. И чѣмъ болѣе разницы въ этихъ признакахъ у больного съ здоровымъ, тѣмъ хуже будетъ предсказаніе для пациента, тѣмъ сильнѣе предшествовавшія причины, тѣмъ рѣшительнѣе должны быть мѣры врачебной помощи.

Въ практической медицинѣ Иппократа господствуютъ двѣ идеи — увѣренность въ цѣлебной силѣ природы, и польза подчиненія болѣзни діететическимъ мѣрамъ — хотя и смѣшно было бы думать, будто Иппократъ и Асклепиады употребляли только эти два средства для леченія людей. Если мы не видимъ всѣхъ способовъ, какими они дѣйствовали, то это относится къ тайнамъ касты: потому-то онъ и полагалъ правиломъ, что должно учиться искусству съ дѣтскихъ лѣтъ. Онъ положительно говоритъ, что леченіе производится силами человѣческаго тѣла и средствами искусства. «Врачебное искусство состоитъ изъ трехъ — болѣзни, больного и врача. Врачъ есть жрецъ искусства и, вмѣстѣ съ нимъ, больной долженъ уничтожать болѣзнь» (Epid. I). Это спокойное наблюденіе болѣзни болѣею частью безъ врачебной помощи, отличный типъ практики Иппократа въ его сочиненіяхъ, есть только глазной обманъ; сословіе и его богъ умерли бы съ голоду при такой методѣ: лекарственныя средства, которыми дѣйствовало тогда искусство, тутъ недосказаны. Но мы должны принимать эту медицину въ томъ видѣ, въ какомъ учитель оставилъ ее намъ въ своихъ сочиненіяхъ, въ видѣ *иппократическомъ*, если

не *Иппократовомъ*. Поэтому медицина у Иппократа удивительно проста и леченіе ограничивается единственно діететическимъ содержаніемъ больного, наблюденіемъ критическихъ движеній и ожиданіемъ кризиса. Діететическое содержаніе, по его книгамъ, важнѣе всѣхъ лекарствъ въ мірѣ, хотя и нигдѣ не объяснено, какую должно предписывать діету въ различныхъ болѣзняхъ: это опять секретъ касты, которому надо учиться съ раннихъ лѣтъ, у своихъ. «Я твердо увѣренъ, говоритъ онъ въ книгѣ «О Старинной медицинѣ», что всякій врачъ долженъ изучать природу больного, и тщательно изслѣдовать—если онъ хочетъ выполнить свои обязанности—каковы были отношенія человѣка къ пищѣ, питью, къ роду его жизни, и какое вліяніе всякая вещь имѣетъ на него». И въ томъ же трактатѣ онъ доказываетъ, что медицина есть не болѣе какъ *наука о діетѣ*; доказываетъ это постепеннымъ ходомъ ея образованія и тѣмъ, что «никто не нуждался бы въ медицинѣ, если бы одно и то же содержаніе было равно прилично для болѣзни и здоровья».

Мнѣніе наше о достоинствѣ нынѣшней медицины—не тайна Асклепиадовъ: всѣ его знаютъ. Какъ науку, мы ставимъ ее очень низко; мы даже не ставимъ ея въ число наукъ, потому-что тамъ, гдѣ нѣтъ ничего достовѣрнаго, нѣтъ и науки: тамъ только можетъ быть разглагольствованіе. Мы вполне раздѣляемъ убѣжденіе геніяльнаго Томаса Юнга и другихъ столь же умныхъ и совѣстливыхъ врачей, что, въ общей массѣ человечества, медицина, если взять среднее число ея успѣховъ и ея печальныхъ ошибокъ, не дѣлаетъ никакой

разницы въ итогѣ смертности: въ сложности, столько же умираетъ людей при самой ученой медицинѣ, сколько и въ отсутствіи всякой медицины. Недавно всѣ мы видѣли въ печати отчетъ о дѣйстви медицинѣ въ одной области снабженной множествомъ отличнѣйшихъ врачей; изъ 60,000 человѣкъ, получившихъ втеченіи года пособіе отъ врачебной науки, умерло 2,000, слѣдовательно, 1 изъ 30; это обыкновенная смертность той страны! На нынѣшнюю Англію должно всегда обращать взоръ при сужденіи объ этомъ вопросѣ: она представляетъ намъ фактъ удивительный, ясно показывающій, что медицина не имѣетъ никакого вліянія на общую смертность. Изъ всѣхъ европейскихъ государствъ, нигдѣ врачебная часть не находится въ такомъ жалкомъ положеніи, нигдѣ нѣтъ болѣе злоупотребленій по этой части, какъ въ Англіи: и при всемъ томъ въ Англіи, вѣроятно отъ развитія довольства въ низшихъ классахъ общества, умираетъ теперь 1 изъ 54, а еще въ прошломъ столѣтіи смертность тамъ была такая же, какъ и вездѣ на Западѣ, при пособіяхъ самой «усовершенствованной» медицины, 1 изъ 33, 32 или 30. Медицина Иппократа, которая не давала лекарствъ, навѣрное не хуже медицины Англичанъ, которая отпускаетъ имъ лекарства невѣроятными количествами. Совѣсть всякаго изъ насъ, врача и не-врача, говоритъ, что она даже несравненно лучше. Унижать Иппократовъ способъ леченія въ пользу нашихъ методъ было бы смѣшно и несправедливо: во-первыхъ, мы не знаемъ, увеличивалась ли отъ него общая смертность; во-вторыхъ, нѣтъ

никакой вѣроятности, чтобы онъ дѣлалъ какую-нибудь разницу въ итогѣ погребеній, когда наши, ученые способы леченія не дѣлаютъ никакой. При нынѣшней невѣрности средствъ врачебнаго искусства, метода капищъ, должно сказать по совѣсти, заслуживаетъ даже предпочтенія: здоровый воздухъ, душевное спокойствіе, внутреннія очищенія тѣла, строгая діета и терпѣливое наблюденіе врачующаго дѣйствія самой природы, при самомъ простомъ и осторожномъ пособіи со стороны искусства — лучше всѣхъ теорій. Но не съ этой точки зрѣнія долженъ смотрѣть врачъ на медицину Иппократа. Наука не можетъ оставаться вѣчно въ нынѣшнемъ своемъ положеніи: она должна стремиться къ достовѣрности, должна употребить всѣ усилія, чтобы достигнуть ея, и есть надежда, что она современемъ достигнетъ ея и займетъ почетную степень настоящаго знанія, полезнаго всему человѣчеству, если ей откроютъ и укажутъ вѣрные пути къ этой великой цѣли. Сложивъ руки надъ болѣзною, наблюдая ходъ ея, и ничего не дѣлая, наука никогда не двинется впередъ и человѣчество не получитъ никакой пользы. Такая метода не можетъ служить образцомъ нашему вѣку. Однихъ она дѣйствительно спасетъ; другихъ повергнетъ въ могилу, между-тѣмъ какъ *настоящее* искусство, къ которому всѣ вѣка обязаны стремиться, могло бы сохранить имъ жизнь и здоровье. Если метода Иппократа такъ превосходна, такъ удивительна, какъ «прагматическому сочиненію» кажется, такъ зачѣмъ же оно изобрѣтаетъ новые способы леченія? Чтò значить такое противорѣчіе...

Если болѣзнь есть, какъ думаетъ Иппократъ, рядъ явленій необходимыхъ для изгнанія изъ тѣла какой-нибудь матеріи, и полезныхъ тѣлу, то, безъ всякаго сомнѣнія, врачъ былъ бы безсовѣстенъ, если бы онъ вздумалъ нарушать ходъ этихъ явленій. Но посмотрите, что изъ этого выходитъ: весною, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Греціи, съ появленіемъ холодовъ, показывается ignis sacer (лихорадка) и нарывы; они доходятъ до того, что мясо, кости и сухія жилы истребляются, вся голова и лицо покрываются глубокими язвами, цѣлыя руки, плеча, бедра и берцы, исчезаютъ вплоть до костей. А Иппократъ видитъ, наблюдаетъ это, и ничего не хочетъ предпринять, въ полной увѣренности, что нарывы необходимы для изверженія гною изъ тѣла! (Epid. III, 2). Медицинскія средства, о которыхъ онъ заблагоразсудилъ упомянуть въ своихъ сочиненіяхъ, слишкомъ ограничены и не заслуживаютъ нынче никакого вниманія. Въ первой книгѣ «Эпидемій» онъ приводитъ четырнадцать исторій болѣзней, и только одному больному сдѣлано clyσμα и suppositorium, одному suppositorium, а двумъ вложены пессаріи; прочіе оставлены безъ явнаго врачебнаго пособія, несмотря на самыя сильныя показанія его необходимости.

И эти-то сочиненія предлагаетъ «прагматическое сочиненіе» нашему вѣку какъ образцы врачебной науки и литературы? «Сочиненія его суть произведеніе ума выше человѣческаго!» Другіе энтузіасты сказали объ нихъ еще болѣе, но Павелъ Амманъ давно уже назвалъ подобные отзывы весьма справедливо — menda-

сium епoгme, а Гёликe — insania, тотъ самый Гёликe, котораго сочиненiемъ авторъ будто-бы пользовался для своего панегирика Иппократу. *«Онъ былъ великiй наблюдатель, и всѣ Иппократовы исторiи болѣзней и наблюденiя пользуются между врачами самою высокою довѣренностiю и послужили основанiемъ къ составленiю медицинскихъ правилъ»!* (стр. 114). Для кого это написано? какихъ врачей «прагматическое сочиненiе» хочетъ увѣрить, будто-бы наблюденiя Иппократа пользуются между ними *самою высокою довѣренностiю*? Правда, онъ наблюдалъ, но это были безполезныя наблюденiя безпорядковъ въ тѣлѣ, которыхъ причины онъ не отыскивалъ; самое мѣсто страданiя часто неизвѣстно ему, и всѣ частныя наблюденiя его ограничиваются описанiемъ боли, типа болѣзни, ея силы, критическихъ движенiй, измѣненiя цвѣта, густоты и количества жидкостей, извергаемыхъ изъ тѣла, наконецъ описанiемъ порядна симптомовъ, которые онъ считалъ необходимыми для здоровья, не зная того, что эти симптомы имѣли бы другой видъ, еслибъ онъ лечилъ больнаго. О родѣ дiеты больнаго, объ условiяхъ его содержанiя, о существенныхъ признакахъ и подробностяхъ измѣненiй органовъ, у него нѣтъ ни слова. Чтò же можно вывести изъ такихъ наблюдений? Вмѣсто подробной дiагностики, онъ называетъ болѣзнь по большей части именемъ общиимъ, генерическимъ, прибавляя къ нему иногда качественный эпитетъ, напримѣръ, лихорадка сильная, страшная, febris fortis, vehemens. Изъ такой дiагностики столько же можно понять, о какой именно болѣзни говорить

онъ, какъ по словамъ *дерево зеленое, великое*, узнать, о какомъ деревѣ вы хотите говорить. Но «прагматическое сочиненіе» именно такіа описанія и находятъ удивительными: оно ставитъ Иппократу въ заслугу, что онъ *вовсе отвергалъ подробныя раздѣленія болѣзней и мелочныя ихъ подраздѣленія!* (стр. 113). Послѣ такого описанія болѣзни онъ, обыкновенно, говоритъ о погодѣ, о критическихъ дняхъ, изверженіяхъ, бредѣ и исходѣ болѣзни. Это списокъ умершихъ безъ помощи, составленный подѣ тщательнымъ надзоромъ врача, выжидающаго часъ смерти. Стоитъ разъ прочесть «Эпидеміи», чтобы увѣриться въ этомъ и *увидѣть, какъ-бы повѣрку на опытъ, высокая и удивительная Иппократова ученія* (стр. 96). Изъ 42 больныхъ, которыхъ исторія приведены въ первой и третьей книгахъ «Эпидемій», у 34 была febris vehemens, hoc est, ignis, у 1 angina, у 1 volvulus, у 1 вѣроятно воспаление въ груди, у 5 какія-то неопредѣленные болѣзни. Критическихъ изверженій и переносовъ тутъ находится семь видовъ: кровью разрѣшилась болѣзнь у 4, потомъ у 11, рвотою у 1, нарывомъ у 1, мокротою у 2, мочою у 6, низомъ у 3. О прочихъ не сказано ни слова. Изъ врачебныхъ пособій, у 3 назначены clyσμα, у 5 balanus, у 1 capitis lotio, у 1 venaesectio и fomenta, и еще можно подозрѣвать, что двумъ больнымъ даны были слабительныя. О прочихъ молчаніе. Изъ 43 умерло 23!

Вотъ доказательства, что «Иппократова медицинская практика проста, немногосложна, рациональна, основана на законахъ природы человеческаго орга-

низма. По такимъ чистымъ началамъ своимъ она естественно должна быть благотворительна для больныхъ, что и оправдалось опытами многихъ въковъ!» (стр. 120).

Послѣ этихъ доказательствъ, и послѣ всего, что мы сказали, не странно ли читать въ врачебной книгѣ, будто *Иппократъ первый обработалъ семіологію самымъ положительнымъ образомъ, далъ ей вѣрность и поставилъ на самую высокую степень значенія?* (стр. 116). Кто Иппократъ? Да какъ могъ онъ это сдѣлать, не зная ни анатоміи ни фізіологіи, и руководствуясь въ наблюденіяхъ ложнымъ ученіемъ о перевариваніи соковъ и кризисѣ? Сто разъ сказали всѣ новѣйшіе писатели, и само «прагматическое сочиненіе» только-что создалось, что онъ вовсе и не искалъ частныхъ признаковъ въ болѣзняхъ. Онъ только считаетъ дни и по общимъ признакамъ ждетъ извѣстнаго вида кризиса. Да и въ этихъ общностяхъ какая смѣсь! Ходъ и типъ болѣзней различны, причины неизвѣстны, кризисы неправильны, *cruditas* продолжается, а болѣзнь проходитъ; въ другихъ случаяхъ кризисъ правиленъ, а больной умираетъ, и Иппократъ въ изумленіи говоритъ: *alvus bona, urina bona. Aeger moritur!* Противорѣчія на каждомъ шагѣ. Въ другихъ мѣстахъ значеніе признаковъ совсѣмъ не вѣрно.

Иппократъ обработалъ семіологію *самымъ положительнымъ образомъ!!!!*... Это можно объяснить только посредствомъ *Египтянъ* (*Arabos*). Вы не понимаете, что это значить. «Прагматическое сочиненіе», передѣлавая предисловіе Пирера, нашло у него, что Иппо-

кратовы книги возбуждали къ себѣ чрезвычайное удивленіе у Аравитянъ, *arab Arabos*, и приняло ихъ за *араповъ*. Сомнѣваясь въ томъ, чтобы *арапы* были въ самомъ дѣлѣ такой ученый народъ, оно въ переводѣ вмѣсто ихъ поставило Египтянъ, ихъ сосѣдей, а загадочное слово *Arabos* заключило въ скобки. Послѣ того, оно продолжаетъ искажать своего автора прибавленіями и преувеличеніями: «По смерти Иппократа, наука его находилась и *находится* въ величайшемъ уваженіи у *Египтянъ* (*Arabos*), *Итальянцевъ*, *Испанцевъ*, *Французовъ*, *Анличанъ*, *Белыйцевъ*, *Русскихъ* и народовъ *всею*, какъ просвѣщеннаго, такъ и *впавшаго въ невѣжество*, міра. Въ награду за *изобрѣтеніе* (!) имъ *отлично* *высокой* и полезной для челоуѣчества науки, дано ему *общепринятое* (!?) имя *divinus senex*, *подъ которымъ* ОДНИМЪ онъ *нынѣ* *всегда* *извѣстенъ* (!!!?). Словомъ, *Иппократъ*, *былъ* *врачъ*, *философъ* и *человѣкъ* *своего* *вѣка*—*великій* и *неподражаемый*». Это невѣроятно, однакожь совершенно вѣрно съ подлинникомъ.

Между-тѣмъ безспорно то, что *просвѣщенные народы* *всею* *міра* были бы настоящіе *Египтяне* (*Arabos*), если бы, въ наше время, среди девятнадцатаго столѣтія, они такъ удивлялись Иппократу, и стояли бы даже названія «*Лапландцевъ* (*Arabos*)», если бы вздумали слѣдовать его медицинѣ. Развѣ они уже забыли, сколько вреда имъ и наукѣ сдѣлалъ Иппократъ? Легко можно вообразить, сколько людей было жертвою леченія, основаннаго на «*Афоризмахъ*» и нѣкоторыхъ другихъ книгахъ Иппократа! сколько умерло

отъ дикорадокъ въ средніе и даже новыя вѣка, отъ того что, по его книгамъ, ихъ вовсе не должно лечить! Смертельныя воспаленія желудка отъ леченія рвоты рвотой, по идеѣ Иппократа, до-сихъ-поръ не рѣдки. Извѣстныя острыя болѣзни, въ которыхъ рвотныя лекарства необходимы, по его же ученію, были для врачей смертельными, пока Сайднемъ наконецъ не возсталъ противъ его методы. Сколько вопіющихъ несправедливостей надѣлали судилища на основаніи Иппократовыхъ словъ, что зародышъ восьми мѣсяцевъ «*sua natura*» не можетъ жить! Сколько нелѣпыхъ книгъ породила эта Иппократова медицина! Стыдно сказать, что ученый споръ въ медицинской литературѣ о томъ, изъ которой руки пускать кровь въ воспаленіи груди, продолжался двѣ тысячи лѣтъ, и что правительства должны были нѣсколько разъ вмѣшиваться въ рѣшеніе такого вопроса. И что поддерживало эту жалкую ученую войну? Одно двусмысленное слово Иппократа! Еще смѣшнѣе знаменитый ученый споръ о составленіи *охумellis* по Иппократу, споръ, окончившійся только со смертію послѣдняго изъ спорщиковъ. Сколько драгоцѣнныхъ наблюденій могли бы мы имѣть, еслибъ эпидеміи, отъ возобновленія наукъ до 1820 года, не описывались такъ дурно, такъ безпорядочно и неопредѣленно, какъ это дѣлали изъ слѣпаго подражанія «Эпидеміямъ» Иппократа!

Время, мѣсто, и терпѣніе читателей, не позволяютъ намъ распространяться болѣе объ этихъ предметахъ. До-сихъ-поръ указали мы едва на сотую долю тѣхъ парадоксовъ, преувеличеній, невѣрностей, и жесто-

кихъ. промаховъ, которыми изобилуютъ первыя полтора ста страницъ новаго «прагматическаго сочиненія». Авторъ его справедливо говорить въ посвященіи: *«Подобнаго сочиненія на русскомъ языкѣ вовсе не было!»*.... потому-что здѣсь что слово, то несогласіе или съ самою простою истиною, или логикою, или съ наукою, или со скромностью. Такъ наприимѣръ, откинувъ заглавную страницу, въ самыхъ первыхъ строкахъ книги вы уже находите слова—*«Я имѣлъ множество случаевъ къ усовершенствованію себя по УЧЕНОЙ медицинской части!..»* И тутъ же авторъ увѣряетъ, будто на русскомъ языкѣ нѣтъ перевода трехъ главнѣйшихъ книгъ Иппократа, когда его *Libri isagogici* переведены и изданы покойнымъ докторомъ Мудровымъ!

Несмотря на усталость читателей, нельзя не поговорить объ этомъ новомъ переводѣ.

Можно себѣ представить, каковъ долженъ быть переводъ мыслей и выраженій одного изъ древнѣйшихъ классическихкихъ писателей, когда перо, чуждое всѣхъ ученыхъ пріемовъ, безъ уваженія къ точности въ словахъ и не зная подлинника, принимается за такой важный и темный предметъ, для разоблаченія котораго нужна вся пронизательность искусной критики текстовъ, вся опытность твердаго эллиниста, все трудолюбіе тщательнаго изслѣдователя древности, все знаніе, не только тонкостей греческаго языка, но и особенныхъ тонкостей языка знаменитаго коскаго Асклепіада.

Въ этой прагматической книгѣ переведены три, такъ называемыя, Иппократовы сочиненія, «Присяга», «За-

конъ» и «Афоризмы». О «Присягѣ» мы уже говорили: она логически не можетъ быть сочиненіемъ Иппократа. Отъ слушателей своихъ онъ, частный членъ благоустроеннаго сословія, не въ правѣ былъ принимать никакой присяги: присягу принимали капища, начальство ордена. Самъ, на званіе врача, онъ долженъ былъ *подписать* существующую въ капищахъ форму! Самое содержаніе ея ясно указываетъ на внутреннія полицейскія мѣры сословія, принятыя для собственной его пользы: вести себя благопристойно, не соблазнять женщинъ, и прочая, въ домахъ, посѣщаемыхъ по приглашенію къ больному, не разбалтывать чужихъ домашнихъ тайнъ, учить и воспитывать дѣтей своего наставника даромъ, не брать съ этихъ учениковъ *записей* въ томъ, что по окончаніи науки, за сообщенныя учителемъ тайны ремесла, они будутъ отдавать ему часть барышей своихъ отъ практики, не вмѣшиваться въ операціи съ камнемъ, потому-что эти опасныя операціи, очевидно, поручены были особенному отдѣленію сословія, и прочая. Если бы эта присяга сочинена была Иппократомъ, то она служила бы доказательствомъ только того, что онъ былъ жаденъ, бралъ съ учениковъ своихъ барышническія «*записи*», *syngraphê*, заставлялъ ихъ подписывать кабалу на себя самихъ, и дѣлалъ исключеніе изъ этого мерзкаго правила только въ пользу дѣтей своего учителя. Тогда и слова Платона, положенныя въ уста Сократу, — *если бы ты снесъ Иппократу, что въ Ко, изъ Эскулаповичей, сумму денегъ, съ тѣмъ, чтобы онъ научилъ тебя медицинѣ*, и прочая — приняли бы очень

невыгодный смыслъ для киръ Иппократа: они бы значили, что «свѣтлой челоуѣкъ», *не знавшій интереса*, какъ увѣряетъ «прагматическое сочиненіе», для вѣщней безопасности бралъ также съ учениковъ деньги и впередъ. Но мы уже показали, что когда еще Иппократъ жилъ въ Ко, объ *Иппократовой присягѣ* зналъ Аристофанъ въ Аѣинахъ, и это выраженіе было уже поговоркой: слѣдовательно, начало ей дано какимъ-то древнимъ Иппократомъ, жившимъ гораздо прежде. Оставимъ эту «Присягу». Нельзя однакожъ не замѣтить въ числѣ непрерывныхъ противорѣчій и преувеличеній «прагматическаго сочиненія», что на страницѣ 158 само оно представляетъ (изъ Пирера) списокъ писателей, которые доказывали *подложность* Иппократовой «Присяги», и тутъ еще, въ этомъ списокѣ, прежній двукратный Gundlindius (вмѣсто Gundling), является въ новомъ видѣ Gundlinginus: а на страницѣ 85 та же самая «Присяга» уже давно причислена къ Иппократовымъ сочиненіямъ, которыхъ *вѣрность* и *точность* опредѣлены ВСѢМИ писателями!

Въ списокѣ же тѣхъ, которые приписывали сочиненіе «Присяги» Иппократу, поставлены какіе-то господа Тоеsius и Orsarovus, вѣрно Orsoroëus, переводчикъ «Присяги», «Афоризмовъ», и прочая (Франкфуртъ, 1587).

Далѣе, въ своемъ разсужденіи о подлинности «Афоризмовъ», авторъ, имѣвшій множество случаевъ *усовершенствовать* себя по *ученой* медицинской части, между прочимъ, положительно утверждаетъ, что не только *Эроціанъ* и *Галенъ*, которые, замѣтите, жили во второмъ вѣкѣ, но и свидѣтельства *самыхъ*

древнихъ истолкователей, какія сохранились до нашихъ временъ, какъ-то Орибазія — Орибазій жилъ въ исходѣ четвертаго вѣка — Филотея — Philotheus, греческій монахъ, жилъ въ седьмомъ столѣтіи — и Палладія — Палладій, жилъ тоже въ седьмомъ вѣкѣ — доказываютъ (!), что афоризмы написаны Иппократомъ». Это даетъ понятіе обо всемъ равсужденіи.

Переводъ трехъ книгъ Иппократа сдѣланъ по изданію Пирера, котораго текстъ принадлежитъ къ самымъ дурнымъ — безъ сличенія съ другими изданіями — и прямо по латинскому переводу Фезіуса, старинному, тяжелому, мѣстами темному отъ механической буквальности, часто невѣрному отъ недостатка критики и ясныхъ понятій о духѣ Иппократа и о древности: разумѣтся, что тутъ же, этотъ самый старинный переводъ, по привычкѣ «прагматическаго сочиненія» къ безотчетнымъ похваламъ и къ иперболамъ, провозглашенъ *самымъ* лучшимъ, *самымъ* превосходнѣйшимъ, *всеобще* почитаемый *всѣми* за удивительнѣйшій изъ *всѣхъ* переводовъ.

Русскій переводъ трехъ Иппократовыхъ книгъ, который мы находимъ въ «прагматическомъ сочиненіи», явственно принадлежитъ другому перу и притомъ не врачу. Мы сказали, въ началѣ статьи, какимъ образомъ составилаь эта книжка: всякій, кто хоть немножко обращался съ литературными работами и знаетъ употребительнѣйшіе процессы книгодѣлія, съ перваго взгляда на страницы «прагматическаго сочиненія» убѣждается, что тутъ работали двѣ различныя руки:

одна, принадлежащая не-врачу, знающему посредственно латинскій языкъ, но незнакомому съ медицинскими терминами, подготавливала переводъ, съ латинскаго, трехъ Иппократовыхъ книгъ и разныхъ мѣстъ изъ Пиррова предисловія, оставляя въ скобкахъ всѣ непонятныя выраженія подлинника; другая, принадлежащая врачу, но еще менѣе искусная въ дѣлѣ, портила все это, прибавляла, убавляла, перестанавливала, раздувала фразы иперболами, дописывала къ словамъ ошибочныя объясненія, и даже позволяла себѣ передѣлывать Иппократа. Отсюда такая каша промаховъ и противорѣчій.

Образчикъ перевода «Афоризмовъ» читатели уже видѣли въ началѣ статьи: мы тамъ указали на тотъ афоризмъ (стр. 200), гдѣ между-прочимъ къ слову *сатириазмъ*, механически выставленному переводчикомъ не-врачомъ, «прагматическое сочиненіе» прибавило свое странное объясненіе — *бользенное половое побужденіе*. Такъ переведена вся книга «Афоризмовъ». Но какъ «прагматическое сочиненіе» должно быть почитаемо только издателемъ перевода, то совершенно несправедливо было бы преслѣдовать его за чужія погрѣшности: мы обратимся къ тому, кто переводилъ, и замѣтимъ ему, что никакъ нельзя переводить — *de videndi acie, o быстромъ зрѣніи* (стр. 89) — *oratio ad aram, scilicet Minervae, ad Thessalos, ab Hippocrate dicta, рльчъ, произнесенная Иппократомъ къ жертвеннику* (вмѣсто: у жертвенника) *Минервы и* (это и не нужно) *къ Тессалійцамъ* (стр. 91) — *de significatione mortis et vitae, secundum cursum lu-*

пае, о значеніи жизни и смерти (стр. 91). Такихъ погрѣшностей очень много.

Надобно было также избѣгать двусмысленностей и неправильныхъ словосочиненій: они довольно часто дотогу запутываютъ смыслъ афоризмовъ, что эти изрѣченія не могутъ принести никакой пользы. Напримѣръ:

«Однако же опасно и излишне истощать тѣло». (I, 3.)

«Во время жестокихъ пароксизмовъ, пищу вовсе запрещать и давать ее было бы опасно». (I, 11).

«При появленіи мучоты въ лихорадку, она (?) излечается кровотеченіемъ изъ носа или поносомъ». (IV, 60).

«Сильное и видимое біеніе въ ранахъ артерій, предвѣщаетъ кровотеченіе». (VII, 21.)

«Молодые люди, имѣющіе испражненія низомъ влажными (?), гораздо легче излечаются отъ болѣзней, чѣмъ тѣ, у которыхъ они сухи (?), но въ старости излеченіе тѣхъ (какихъ?) болѣзней труднѣе». (II, 53.)

«Южные вѣтры притупляютъ слухъ.... Когда же вѣтры дуютъ тѣ же, то припадки присоединяются къ болѣзнямъ». (III, 5.) Надобно было такъ выразить мысль Иппократа: Когда бы ни господствовали южные вѣтры, всегда въ болѣзняхъ показываются тѣ припадки, которые выше описаны.

«Если пустая, мутная, малоколичественная, съ малою лихорадкою урина»..... (IV, 79.)

«Ворчаніе и боли въ поясницѣ».... (IV, 63).

«Обнаженіе кости съ рожеею опасно». (VII, 19.)

«Излеченіе долговременнаго истеченія крови чрезъ отверстія венъ, если оно (?) совершенно пропадаетъ,

можетъ *навлечь* за собою водяную.» (17, 12, и многіе другіе.)

Переводчику не-врачу и весьма простиительно быть слабымъ въ медицинской терминологіи. Но онъ уже слишкомъ слабъ: это видно на каждой страницѣ. Слова *ulcus* нельзя переводить *рана*, вмѣсто *язва* (V, 22. 17, 45); *vena frontalis recta* (*veine droite du front*) значить, не *правая лобная вена* (V, 68), а *прямая*; слово *aestivus* не значить *весенній* (II 25), а *лѣтній*; *agrypnia* не есть *чрезмѣрное бдѣніе* (II, 3), а *бессонница*; *morbus peracutus* не есть *болѣзнь сильная* (I, 7) или *жестокая* (III, 9), а *болѣзнь очень острая*, то есть, *разрѣшающаяся* въ продолженіи семи дней; *асме* не значить *жестокость болѣзни* (I, 8, 9, 10), а *точка высшаго ея развитія*, *высшій періодъ*; слова *diaphragma* нельзя переводить *грудобръзная преграда* (VII, 54); *ophtalmia sicca*, противоположная *lippitudini aridae*, о которой Иппократъ говоритъ въ книгѣ «О воздухѣ», и Цельсъ въ началѣ второй книги, не значить — *сухое воспаленіе глазъ*: *lippitudo* показываетъ, что оно не есть *сухое*; *stranguria* не значить собственно *задержаніе мочи* (III, 22, 31); *alphi*, *веснушки*, нельзя переводить *мелкія сыпи*, а *plurimae pustulae ulcerosae purulentaeque*, многіе гноючіе пузырьки (III, 20); *febres continuae et causi* не есть *горячки продолжительныя и перемежающіяся* (III, 21); *os ileum* не *спьдалищная кость* (V, 47); *leucophlegmasia* не *обрызлость тѣла*; *de fetatione et superfetatione* не можетъ значить *о родахъ одного и двухъ младенцевъ* (стр. 90), и прочая, и прочая.

Переводчикъ не соблюлъ нужной точности въ переводѣ, а «прагматическое сочиненіе» вовсе не сообразило, что въ этого рода наставленіяхъ первое достоинство — точность. Иппократъ писалъ такимъ слогомъ, котораго краткость и сила превосходитъ всѣ извѣстные виды лаконизмовъ. Тутъ нельзя пропускать словъ, какъ это дѣлаетъ переводчикъ, а тѣмъ менѣе замѣнять ихъ произвольно другими или дополнять мысль автора, выраженную сжато и коротко, своими странными догадками, какъ это позволилъ себѣ издатель «прагматическаго сочиненія». Въ переводѣ «Афоризмовъ» часто пропущена связь между отдѣльными предложеніями, напримѣръ въ отдѣленіи первомъ между афоризмами 5 и 6, 6 и 7, 22 и 23, въ отдѣленіи шестомъ между афоризмами 55 и 66, и такъ далѣе. Иногда выпущенъ эпитетъ, опредѣляющій значеніе термина: напримѣръ (VI, 18) вмѣсто «*глубокія раны пузыря..... неизлечимы,*» переведено: «*раны пузыря.....*». Та же ошибка въ переводѣ слѣдующаго афоризма. Въ иныхъ пропущены названія болѣзней, лекарствъ, и прочая: напримѣръ (VI, 31), пропущено одно изъ лекарствъ противъ глазныхъ воспаленій, *теплыя припарки*, *fotus*, пропускъ чрезвычайно важный, потому что этотъ афоризмъ Иппократа былъ прямою причиною несчастнаго исхода глазныхъ воспаленій въ продолженіи многихъ вѣковъ; (IV, 69) пропущено существительное, выражающее время болѣзни, къ которому относится наблюденіе, и черезъ это весь афоризмъ потерялъ свое достоинство. Многія мѣста переведены слишкомъ положительно, или отъ пропуска словъ, или

оттого, что «прагматическому сочиненію» вздумалось дополнять Иппократа своими странными мыслями, заставляя его говорить то, объ чемъ тотъ и не мечталъ. Отсюда происходят частыя противорѣчія переведенныхъ афоризмовъ съ тѣми мѣстами Иппократовыхъ сочиненій, гдѣ та же самая мысль выражена другими словами или только пояснена. Напримѣръ, афоризмъ 59 (IV) переведенъ такъ: *«Чистая трехдневная перемежающаяся лихорадка разрѣшается не позже какъ послѣ семи переводовъ»*. У Иппократа же (Praenotiones Coasae I, 213) сказано, что эта болѣзнь иногда разрѣшается послѣ девяти пароксизмовъ! Противорѣчія бы не было, еслибъ не пропустили при переводѣ афоризма словъ *по большей части*. Также слишкомъ положительно переведено (V, 48): *«Обыкновенно мальчики лежатъ въ правой, а дѣвочки въ лѣвой сторонѣ матки»*; здѣсь слову *mallois* дано неправильное значеніе. *«Кровь, натурально изливавшаяся въ нижнюю часть живота неминуемо переходитъ въ иной»* (VI. 20): кромѣ того что *praeter naturam* переведено на оборотъ, *натурально* — а *in ventrem* *нижнюю часть живота*, «прагматическое сочиненіе» мысль Иппократа растолковало съ совершеннымъ незнаніемъ ученія этого врача; Иппократъ не думалъ такъ ошибочно, чтобы *кровь неминуемо переходила въ иной*; въ сочиненіи «О Болѣзняхъ» (X, 42—49) та же мысль изложена подробно и описаны болѣзненные процессы, доводящіе въ такихъ случаяхъ до нагноенія *внутренность*, а не кровь. Такихъ совершенно ложныхъ поясненій и произвольныхъ по-

полненій можно найти довольно много въ переводѣ «Афоризмовъ», не считая *болѣзненнаго полового побужденія*. Вотъ одинъ примѣръ, но зато хорошій (VII, 79): «*Кровавал рвота производитъ чахотку и иное изверженіе изъ легкихъ. За чахоткою слѣдуетъ насморкъ иолвы (!), и прочая. Кто узнаетъ тутъ Иппократово описаніе періодовъ чахотки! Иппократъ принималъ за первый періодъ этой болѣзни кровохарканіе, изверженіе крови верхомъ (sanguinis sputum), за второй — гнойную мокроту, за третій — изнурительныя отдѣленія (colliquatio), за четвертый — выпаденіе волосъ (fluxio e capite). Во многихъ мѣстахъ онъ описываетъ послѣдовательность этихъ періодовъ. Авторъ же «прагматическаго сочиненія» называетъ первымъ періодомъ то (VII, 15) *кровопусканіе* (!), то *кровавую рвоту* (VII, 79), третьимъ *поносъ* (VII 16), четвертымъ *насморкъ иолвы* (!).... Это — непостижимо!*

Наконецъ переводчикъ «Афоризмовъ» не обратилъ вниманія на то, что Иппократъ писалъ въ то время, когда техническій языкъ былъ въ самомъ несовершенномъ состояніи. Эпитеты его иногда взяты метафорически, названія болѣзней общи, общіе термны патологии часто загадочны. Надобно хорошо знать іоническій діалектъ и всѣ сочиненія Иппократа, чтобы отличить мѣста, гдѣ эти недостатки попадаютъ. На латинскіе переводы нельзя полагаться. Напримѣръ, *thanatôdes*, полатыни *lethalis*, не всегда значитъ *смертельный*; иначе, во многихъ афоризмахъ не будетъ смысла, какъ это и случилось въ переводѣ. *Koros*, *korôdes*, переводятъ

буквально *lassus, lassitudo*, но это не значить *усталый, усталость*: нельзя же сказать *лихорадки усталыя, febres lassae*, или *лихорадки усталости, febres lassitudinis*, о которыхъ говорится въ «Эпидеміяхъ». О словѣ *phyma*, нарость, мы говорили недавно: оно значить все, что наростаетъ, а что именно наростаетъ, то надо угадать, и съ большимъ искусствомъ. Оно не соотвѣтствуетъ латинскому *tubercula*: очень странно видѣть, что оно переводится, то *шишки по тѣлу*, то *наросты въ членосоединеніяхъ*, то *опухоли*. Слова *phthysis, spasmus, catastasis* и нѣкоторыя другія, имѣютъ тоже свои оттѣнки въ значеніяхъ, смотря по смыслу, въ какомъ гдѣ употребляются.

Эти общія замѣчанія достаточны для скромнаго и трудолюбиваго переводчика, который безъ-сомнѣнія согласится съ нами въ ихъ основательности. Теперь мы обратимъ вниманіе переводчика на то, какъ бы слѣдовало перевести *нѣкоторые* афоризмы: всѣхъ мы разбирать не можемъ, потому что, по отмѣткамъ, которыя мы сдѣлали при сличеніи съ подлинникомъ, около трехъ сотъ афоризмовъ, то есть двѣ трети всего Иппократова сочиненія, требуютъ совсѣмъ новаго перевода.

1, 6. «*Для сильныхъ болѣзней сильныя средства*». слѣдовало перевести: «*Но (пропущено), въ самыхъ сильныхъ болѣзняхъ, нужно самое строгое леченіе, соблюдаемое во всей точности.*»

1, 10. «*Въ болѣзни, которая съ самаго начала развивается во всей своей силѣ, назначать тотчасъ діету самую малопитательную.*» Въ подлинникѣ сказано: «*И такъ, если близокъ періодъ высшаго развитія болѣз-*

ни, то больные должны вдругъ перейти на діету тощую.»

I, 14. *«Въ пожилыхъ людяхъ мало теплоты, и потому они должны употреблять немного горячительныхъ веществъ; большое количество ихъ можетъ убить старика».* Надобно было сказать, согласно съ теорією жизни по Иппократу: «Но у стариковъ остается мало теплоты; поэтому они довольствуются малымъ питаніемъ; отъ избытка его теплота легко бы исчезла.»

I, 19. *«Въ болѣзняхъ, періодически ожесточающихся, ничею не давать, ничею не предпринимать, и, до наступленія пароксизмовъ, прекращать всякое питаніе».* Совсѣмъ не то; скрадена великая мысль Иппократа, доказывающая, что онъ имѣлъ понятіе объ истинной и ложной слабости. Вотъ что значитъ этотъ афоризмъ: «Больнымъ, находящимся въ періодическомъ ожесточеніи болѣзни, не должно давать (didonai) пищи, и ничѣмъ не должно побуждаться къ этому (то есть, какъ бы ни были искусительны признаки слабости, назначающіе питаніе); но передъ переломомъ болѣзни должно убавлять пищу».

I, 20. *«Во время переломовъ болѣзни, или уже и по окончаніи ихъ, не должно производить никакой новаго въ тѣль движенія ни лекарствами, ни другими какими-либо раздраженіями, но оставить все въ совершенномъ спокойствіи».* Иппократъ принималъ извѣстные виды кризиса, смотря по различію болѣзней и по возрасту больного. Видъ, время появленія, количество, мѣсто, качества критическаго изверженія, были имъ опредѣляемы; правильный во всѣхъ

признакахъ кризисъ назывался *совершеннымъ*, *crisis perfecta*, болѣзнь послѣ такого перелома *болѣзнію совершенно рѣшеною*, *morbis exquisite judicatus*. На основаніи этихъ положеній Иппократъ говоритъ: «Правильныхъ критическихъ движеній совершенныхъ критическихъ изверженій не должно ни побуждать, ни вновь производить очищающими и другими раздражающими средствами, но пережидать».

I, 24. «*Въ острыхъ болѣзняхъ и особенно въ началѣ ихъ рѣдко должно предписывать слабительныя*», и прочая, и авторъ «прагматическаго сочиненія» дѣлаетъ слѣдующееглубокомысленноезамѣчаніе: «*Этотъ афоризмъ весьма важенъ и достоинъ подражанія; но онъ не всѣми исполняется*» (!). Это замѣчаніе достойно временъ Спмфоріана и ванъ-Гельмонта! Разумѣется, не всѣми исполняется: афоризмъ значитъ совсѣмъ противное! «Въ острыхъ болѣзняхъ рѣдко, и то въ началѣ ихъ, можно употреблять слабительныя»: а слабительныя Иппократа были изъ класса острыхъ наркотическихъ растений, которыя имѣють самымъ важнымъ противопоказаніемъ своимъ воспалительное свойство болѣзни; острыми же болѣзнями Иппократъ называлъ воспаленія — обстоятельство, къ сожалѣнію, неизвѣстное «прагматическому сочиненію». Нынче слабительныя образованныхъ врачей состоятъ изъ прохлаждающихъ лекарствъ, которыхъ употребленіе необходимо во все продолженіе болѣзни.

II, 8. «*Если, послѣ болѣзни, употребленная съ аппетитомъ пища не придастъ силъ, то это значитъ, что должно увеличить количества пищи и*

питья». У Иппократа сказано совсѣмъ наоборотъ: «Если кто послѣ болѣзни не укрѣпляется пищей, употребленной съ аппетитомъ, то это значитъ, что онъ слишкомъ много употребляетъ пищи». Та же самая ошибка въ переводѣ афоризма VI, 41.

II, 9. *«Если нужно тѣло очистить, то приготовьте къ тому испражнительные пути свободные и легкіе»*. Не о приготовленіи путей говоритъ Иппократъ, а о приготовленіи критическихъ матерій къ изверженію.

II, 11. *«Жидкою пищею скорѣе преполнишься (?), чѣмъ твердою»*. Должно понимать на оборотъ: не *переполнишься*, отъ чего послѣ болѣзни будешь опять боленъ, а *укрѣпишься*! Та же мысль видна и въ 32 афоризмѣ, въ переводѣ котораго сказано: *«Вообще больные, которые, въ началѣ болѣзней, подѣтъ съ аппетитомъ, но безъ пользы для себя, на послѣдокъ теряютъ аппетитъ, но кто лишается аппетита въ началѣ болѣзни, а получаетъ его въ послѣдствіи, тѣ скорѣе выздоравливаютъ»*, а между-тѣмъ смыслъ подлинника совершенно противоположенъ: «Случается, что больные, когда уже можно позволять имъ пищу (слѣдовательно, въ началѣ выздоровленія, а не въ началѣ болѣзни), съ жадностью принимаютъ пищу, и при всей этой пищѣ не поправляются,» и прочая.

II, 40. *«Охриплость и застарѣлые насморки у очень старыхъ людей не созрѣваютъ»*. Какъ же можетъ «созрѣть» охриплость? Ясно, что этотъ афоризмъ принадлежитъ къ предъидущему, гдѣ сказано, что болѣзни стариковъ оканчиваются со смертію. Малый

запасъ врожденной теплоты недостаточенъ, чтобы довести болѣзни ихъ до «переваренія» болѣзненной матеріи, необходимаго для хорошаго исхода болѣзни.

II, 43. *«Удушенные и разбитые параличѣмъ, хотя еще и не умершіе, никогда не возвращаются къ жизни (какъ же это?... да вѣдь они еще не умирали!) когда показалась у нихъ пѣна около рта».* Дѣло идетъ, не о разбитыхъ параличѣмъ, *kataloumenoi*, а объ *утопшихъ*, *katadoumenoi*. Текстъ Пирера ошибоченъ. «Прагматическое сочиненіе» утверждаетъ, будто оно сличало тексты!

II, 50. Иппократъ говоритъ: «Даже, хотя бы то, къ чему есть старая привычка, было и хуже, все-таки привычное дѣлаетъ менѣе вреда. *А потому должно возвращаться къ привычнымъ вещамъ*». *Est ergo assuetorum usus suscipiendus*). Въмѣсто этого, въ переводѣ сдѣлано заключеніе, противное смыслу всего разсужденія: «А потому *должно ко всему приучаться постепенно*»! То же должно сказать и о слѣдующемъ афоризмѣ, который служить продолженіемъ двумъ предыдущимъ.

III, 4. «Во всякое время года, *если въ одинъ и тотъ же день то холодъ, то жаръ*, осенью должно ожидать появленія болѣзней».

III, 31. Здѣсь старики страдаютъ *членоставными* болями въ почкахъ (?).

«*Меланхоликамъ или черножелчнымъ людямъ дайте слабительныя въ большомъ количествѣ (!?)*». Здѣсь начинается странное прибавленіе «прагматическаго сочиненія»; два слова Иппократа, *tanantia pros-*

titheis, смѣло перетолкованы въ аллопатическомъ смыс-
лѣ: *наблюдая притомъ правило, чтобы дѣйствовать*
на болѣзнь противными ей средствами (!?). Это
ужь явная выходка противъ гомеопатовъ! «Прагмати-
ческое сочиненіе» хотѣло убить ихъ поддѣльнымъ
афоризмомъ. Ничего этого нѣтъ въ подлинникѣ. Афо-
ризмъ имѣетъ связь съ предъидущимъ. Сказавъ, что
чахоточныхъ можно въ извѣстныхъ случаяхъ очищать
вѣрхомъ, но ослабѣвшихъ грудью должно уже очи-
щать низомъ, Иппократъ продолжаетъ: «Даже и ме-
ланхоликовъ надо очищать *побольше и почаще* ни-
зомъ, потому-что и здѣсь *противное полезно*», то
есть противное очищенію вѣрхомъ, или рвотному, о
которомъ была рѣчь въ седьмомъ афоризмѣ. Даже и
въ латинскомъ переводѣ ясно сказано — *contrariâ*
purgandi viâ. И изъ этого «низомъ» выведена цѣлая
теорія аллопатическаго леченія, о которой здѣсь нѣтъ
и рѣчи. Смѣло!

IV. 13. Иппократъ учитъ, что передъ употребле-
ніемъ чемерицы, должно ослизить тѣло питательными
веществами. По переводу должно, напротивъ, передъ
употребленіемъ рвотнаго наполнять желудокъ больного,
который трудно переноситъ рвоту, избыточною пищею!

VI. 21. Противорѣчіе между началомъ и заключе-
ніемъ: «*Черныя испражненія низомъ всегда опасны,*
и тѣмъ болѣе, чѣмъ дурнѣе цвѣтъ испражненія. Но
зло не такъ велико, если испражненія больнаго ча-
стію не чернаго цвѣта». Иппократъ говоритъ: «Чер-
ныя изверженія низомъ.... опасны. Еще болѣе опас-
ности, если въ изверженіяхъ показывается много дур-

ныхъ цвѣтовъ въ одно время. Но этотъ признакъ лучше, если его производятъ слабительныя и если изверженія состоятъ изъ различныхъ цвѣтовъ недурныхъ».

IV, 43. «Ожесточеніе болѣзни на третій день, показываетъ въ лихорадкахъ не перемежающихся опасность, въ перемежающихся противное». Иппократъ положительно говоритъ: «Лихорадки неперемежающіяся опаснѣе, если черезъ три дня онѣ ожесточаются, но какъ бы онѣ ни начинали перемежаться, это показываетъ, что онѣ не опасны». (Cf. Praenot. 1, 266, 267).

IV, 82. «Если въ свищъ мочеваго канала сдѣлается опухоль, перейдетъ въ нагноеніе и прорвется, то свищъ излечится». Слово *fistula urinaria* переведено свищъ мочеваго канала (выраженіе временъ переводчиковъ Рихтера) и названіе органа принято за терминъ болѣзни!

IV, 69. «Холодъ или дрожь обыкновенно начинается у женщины отъ поясницы, и простирается вдоль спины къ головъ, у мужчинъ холодъ находится болѣе сзади, чѣмъ спереди, какъ-то отъ локтей, или сзади ляшекъ. Мужчины имѣютъ кожу рѣдкую, что доказываютъ волосы». Подлинникъ во-все не понятъ; тамъ сказано: «Дрожь начинается по большей части съ поясницы и черезъ спину идетъ къ головъ; да и у мужчинъ болѣе отъ задней части тѣла чѣмъ отъ передней, на примѣръ, отъ локтей и бедръ; да и самая эта кожа рѣдка, что доказываютъ волосы».

IV, 72, содержитъ въ себѣ мысль, противорѣчащую наблюденіямъ Иппократа: «У страдающихъ желтухою

не бывает вѣтровъ». Но Иппократъ подъ словомъ *icterici* разумѣетъ не болѣзнь, а желчное сложеніе!

VI, 7. «Болѣзни живота, соединенныя со вздутіемъ его и вѣтрами, не такъ опасны, какъ тѣ, въ которой нѣтъ этихъ явленій. «Въ подлинникѣ, ни о болѣзняхъ, ни о вздутіи, ни о вѣтрахъ, ни о явленіяхъ, ни объ опасностяхъ, нѣтъ и рѣчи. Тамъ сказано: «Боли, около желудка бывающія, поверхностныя глухи, а неповерхностныя по-сильнѣе». Можно ли изобрѣсть такую вещь!

VI, 49. «Подарические воспалительныя припадки, оканчиваются истеченіемъ сорока дней со времени прекращенія востроленія». Даже если воспаленіе кончилось, то воспалительныя пароксизмы окончатся только черезъ сорокъ дней... И «прагматическое сочиненіе» не примѣтило даже такого промаха своего переводчика?... Но подумайте только, что въ афоризмъ тринадцатомъ, седьмого отдѣленія, оно приняло *ardores*, лихорадочный жаръ, за *лѣтніе жары*!.... а въ семдесятъ-девятомъ *fluxio* сочло за *флюсь*!.... выпаденіе волосъ за *насморкъ*, и еще за *насморкъ юловы* !!!!....

Въ самомъ началѣ книги авторъ говоритъ, однакожь, что онъ посвятилъ *девятнадцать лѣтъ* жизни на тщательное *изученіе* Иппократа, и *изучалъ* его *въ то самое время*, какъ великіе полководцы изучали Юлія Цезаря, и *по ихъ примѣру*.

1841.

КОНЕЦЪ ВОСЬМАГО ТОМА.

61627316



